

История Греции, том 06 (из 12)

Джордж Гроут

HISTORY OF GREECE.

BY

GEORGE GROTE, Esq.

VOL. VI.

The Project Gutenberg eBook of История Греции, том 06 (из 12).

Эта электронная книга предназначена для использования любым человеком в любой точке Соединенных Штатов и большинстве других частей света без каких-либо затрат и почти без ограничений. Вы можете копировать, дарить или повторно использовать ее на условиях Лицензии Проекта Гутенберга, прилагаемой к этой электронной книге или размещенной на сайте www.gutenberg.org. Если вы находитесь не в Соединенных Штатах, то перед использованием этой электронной книги вам придется ознакомиться с законами страны, в которой вы находитесь.

Название: История Греции, том 06 (из 12)

Автор: Джордж Гроут

Дата выхода: 19 июня 2017 [eBook #54936].

Последнее обновление: 23 октября 2024 г.

Язык: Английский

Кредиты: Продюсеры: Генри Флауэр, Адриан Мастронарди, Рамон Пахарес Бокс, а также командой онлайн-распределенной корректуры по адресу <http://www.pgdp.net> (Этот файл был создан на основе изображений щедро предоставленных Интернет-архивом/Американскими Libraries).

*** НАЧАЛО ПРОЕКТА GUTENBERG EBOOK HISTORY OF GREECE, VOLUME 06 (OF 12) ***

[Примечание транскриптора](#)

[Оглавление](#)

ИСТОРИЯ ГРЕЦИИ.

BY GEORGE GROTE, Esq.

VOL. VI.

ПЕРЕПЕЧАТАНО С ЛОНДОНСКОГО ИЗДАНИЯ

НЬЮ-ЙОРК:

HARPER & BROTHERS, PUBLISHERS,

329 И 331 ПЕРЛ-СТРИТ.

1879.

СОДЕРЖАНИЕ.

VOL. VI.

ЧАСТЬ II.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ГРЕЦИИ.

ГЛАВА XLVII.

ОТ ТРИДЦАТИЛЕТНЕГО ПЕРЕМИРИЯ, ЗА ЧЕТЫРНАДЦАТЬ ЛЕТ ДО ПЕЛОПОННЕССКОЙ ВОЙНЫ, ДО БЛОКАДЫ ПОТИДЕИ В ГОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ ПЕЛОПОННЕССКОЙ ВОЙНЕ.

Личная активность теперь преобладает среди афинских граждан - Афинская империя снова исключительно морская, после Тридцатилетнего перемирия. - Хиос, Самос и Лесбос теперь были единственными свободными союзниками Афин, наравне с первоначальными конфедератами Делоса - остальные были подчинены и подчинены. - Афины не старались внушить своим союзникам идею общности интересов - тем не менее, союзники выигрывали от продолжения существования ее империи. - Концепция Периклеса - Афины, императорский город, обязаны защищать подвластных союзников; те, в свою очередь, обязаны повиноваться и платить дань. - Большая сумма доходов, заложенная и накопленная Афинами за годы, предшествовавшие Пелопоннесской войне. - Гордость афинских граждан за царскую власть своего города. - Многочисленные афинские граждане, высаженные Периклесом в качестве клерухов. - Херсонес Фракийский. Синопек. - Активные личные и торговые отношения между Афинами и всеми частями Эгейского моря. - Амфиполь во Фракии, основанный Афинами. - Агнон отправляется в качестве *oekist*. - Положение и значение Амфиполя. - Основание афинянами города Фурии на южном побережье Италии. - Поведение беженцев из разрушенного Сибариса - их посягательства на основание Фурий: они изгнаны, и Фурии восстановлены. - Геродот и Лисий - оба проживали как граждане в Фуриях. Немногие афинские граждане поселились там в качестве колонистов. - Период с 445 по 431 год до н. э. Афины в мире. Ее политическое состояние. Соперничество Периклеса с Фукидидом, сыном Мелесия. - Пункты разногласий между двумя партиями: 1. Мир с Персией. 2. Расходование денег на украшение Афин. - Защита Периклеса против своих политических соперников. - Панэллинские планы и настроения Перикла. - Ожесточенные споры партий в Афинах - голосование об остракизме - Фукидид подвергается остракизму около 443 г. до н. э. - Новые работы, предпринятые в Афинах. Третья длинная стена. Доки в Пейреусе, который был недавно заложен как город архитектором Гипподамом. - Одеон, Парфенон, Пропилеи. Другие храмы. Статуи Афины. - Прославленные художники и архитекторы - Фидий, Иктин, Калликрат. - Влияние этих творений искусства и архитектуры на умы современников. - Попытка Перикла созвать в Афинах общий конгресс из депутатов всех греческих государств. - Восстание Самоса против афинян. - Вооружение афинян против Самоса под командованием Перикла, трагика Софокла и т. д. - Сомнительное и продолжительное состязание - великая сила Самоса - наконец, он вновь завоеван, разоружен и разобран. - Никто из других союзников Афин, кроме Византии, не восстал в то же время. - Обращение самосцев к Спарте за помощью против Афин - отказ, в основном через коринфян. - Правительство Самоса после завоевания - сомнительно, что афиняне возобновили демократию, которую они недавно установили. - Похоронная речь, произнесенная Периклесом над афинскими гражданами, убитыми в Самосской войне. - Положение Афинской империи - отношение Афин к своим союзникам - их чувства к ней в целом были

равнодушием и попустительством, а не ненавистью. - Особые претензии, на которые жаловались Афины в отношениях со своими союзниками. - Ежегодная дань - изменения, внесенные в ее размер. Афинские офицеры и инспекторы по всей империи. - Споры и правонарушения между союзниками передавались на рассмотрение дикастерий в Афинах. Это приносило некоторые неудобства, но преобладала выгода для самих союзников. - Императорские Афины в сравнении с императорской Спартой. - Многочисленные афинские граждане расселились по Эгейскому морю - союзники не имели возможности обратиться к ним за помощью, кроме как через афинские дикастерии. - Дикастерии обеспечивали защиту от проступков как афинских граждан, так и афинских офицеров. - Дикастерии, дефектные или нет, были теми самыми трибуналами, под которыми каждый афинянин держал свою собственную безопасность. - Обстоятельства Пелопоннесской войны повлияли на Афинскую империю в худшую сторону: в результате этой войны в ней стало больше насилия, чем было до этого. - Подчиненные Афинам союзники имели мало практических поводов для жалоб. - Греческий мир теперь был разделен на две большие системы; предполагалось, что каждая из них имеет право наказывать своих непокорных членов. - Политика Коринфа из мирной становится воинственной. - Возникают разногласия между Коринфом и Коркирой - дело Эпидамна. - Эпидамнийцы обращаются за помощью в своем бедственном положении к Коркире; им отказывают - коринфяне посылают туда помощь. - Коркиряне нападают на Эпидамн - Коринф посылает туда вооружение. - Переговоры коркирцев с Коринфом и пелопоннесцами. - Военные действия между Коринфом и Коркирой - морская победа последней. - Крупные приготовления Коринфа к возобновлению войны. - Просьба коркирцев принять их в число союзников Афин. - Обращение коркирских посланников к афинскому общественному собранию. Основные темы, на которых они настаивают, приведенные в Фукидиде. - Посланцы из Коринфа обращаются к афинскому собранию с ответным словом. - Решение афинян - квалифицированное выполнение просьбы Коркиры. Афинские триремы отправляются в Коркиру. - Морской бой между коринфянами и коркирянами: грубая тактика с обеих сторон. - Коркиряне терпят поражение. - Прибытие подкрепления из Афин - коринфский флот отступает, унося с собой множество коркирских пленников. - Военные действия между Афинами и Коринфом еще не начались. - Коринфяне зарождают ненависть к Афинам. - Они начинают поднимать восстание среди афинских союзников - Потидеи, колонии Коринфа, но союзницы Афин. - Отношения Афин с македонским царем Пердиккасом, его козни вместе с Коринфом против нее - он побуждает халкидян восстать против нее - увеличение Олинфа. - Восстание Потидеи - вооружение, посланное туда из Афин. - Бой под Потидеей между афинскими войсками и союзными коринфянами. Потидейцы и халкидяне. - Победа афинян. - Потидея взята афинянами в блокаду.

1-75

ГЛАВА XLVIII.

ОТ БЛОКАДЫ ПОТИДЕИ ДО КОНЦА ПЕРВОГО ГОДА ПЕЛОПОННЕССКОЙ ВОЙНЫ.

Состояние чувств в Греции между Тридцатилетним перемирием и Пелопоннесской войной - признанная вероятность войны - Афины в это время не посягали - указ о запрете торговли с мегарянами. - Ревностное стремление коринфян вызвать всеобщую войну, чтобы сохранить Потидею. - Отношения Спарты с союзниками - они имели решающий голос, одобряя или не одобряя курс политики, который ранее был возрожден Спартой отдельно. - Собрание спартанцев Отдельно выступают посланники союзных держав, жалуясь на то, что Афины нарушили перемирие. - Коринфские посланники обращаются к собранию последними, после того как посланники других союзников возбудили его против Афин. - Международные обычаи того времени, касающиеся спорных моментов между Афинами и Коринфом. - Афины

в праве. - Тенор обращения коринфян - мало намеков на недавние ошибки - сильные попытки возбудить ненависть и тревогу против Афин. - Замечательная картина, нарисованная Афинам ее врагами. - Ответ афинского посланника, случайно оказавшегося в Спарте. - Он рассказывает об Афинской империи - как она была приобретена и как сохраняется. - Он призывает их не нарушать перемирие, а уладить все разногласия путем мирного обращения, которое предусмотрено перемирием. - Спартанцы исключают чужаков и обсуждают вопрос между собой на собрании. - Большинство спартанских ораторов выступают за войну. Царь Архидам выступает против войны. Его речь. - Речь Архидама малоэффективна. Короткое, но воинственное обращение эфора Стенелеида. - Голосование спартанского собрания в пользу войны. - Спартанцы отправляются в Дельфы - получают обнадеживающий ответ. - Общий съезд союзников в Спарте. Вторая речь коринфских посланников, убеждающих в необходимости и целесообразности войны. - Голосование большинства союзников в пользу войны, 432 г. до н.э. - Взгляды и мотивы противоборствующих сторон. - Надежды и уверенность на стороне Спарты; опасения на стороне Афин. Вестники, отправленные из Спарты в Афины с жалобами и просьбами, а тем временем подготовка к войне продолжается. - Требования, направленные Спартой в Афины - требование изгнания Алкмеонидов как нечестивцев - адресованы Периклему. - Положение Перикла в Афинах: ожесточенная враждебность его политических противников: нападки на него. - Преследование Аспазии. Ее характер и достижения. - Семейные отношения Перикла - его связь с Аспазией. Права комических писателей в их нападках на обоих. - Преследование философа Анаксагора и Аспазии - Анаксагор удаляется из Афин - Периклес защищает Аспазию в дикастерии и добивается ее оправдания. - Преследование скульптора Фидия за растрату - возбуждено политическими противниками Перикла. - Обвинение в казнокрадстве против самого Перикла. - Вероятность того, что Периклеса даже не судили за казнокрадство, и, конечно, что он никогда не был признан виновным в этом. - Требование лакедемонян об изгнании Перикла - поступило, когда на Перикла оказывали давление его политические враги - отклонено. - Встречное требование, направленное афинянами в Спарту, об изгнании святотатца. - Новые требования, направленные из Спарты в Афины: вывести войска из Потидеи - оставить Эгину свободной - разрешить мегарянам войти в афинские гавани. - Окончательное и императивное требование Спарты - публичное собрание в Афинах по вопросу о войне и мире. - Большие разногласия в собрании - важная речь Перикла. - Периклес настойчиво призывает афинян не сдаваться. - Его обзор сравнительных сил и вероятных шансов на успех или поражение в войне. - Собрание принимает рекомендацию Перикла - в Спарту отправлен твердый и решительный ответ. - Мнения Фукидида о причинах, чувствах и проектах двух сторон, собирающихся вступить в войну. - Неопределенный период - война еще не объявлена - первый удар нанесли не Афины, а их враги. - Фиванцы открыто нарушают перемирие - ночью они нападают на Платею. - Ворота Платеи открыты олигархической партией внутри - фиванский отряд впускается ночью на агору - сначала, по-видимому, успешно, затем побежден и взят в плен. - Рано утром из Фив должны были прибыть большие силы для поддержки нападавших - их задерживает дождь и разбухание Асопа - они начинают военные действия против платейцев и их имущества за стенами. - Переговоры между платейцами и фиванскими войсками без стен - последние покидают территорию - фиванские пленники в Платее убиты. - Послания из Платеи в Афины - ответ. - Чувства греков, уже предрасположенные к войне, были взвинчены до предела поразительным инцидентом в Платее. - Приготовления к войне со стороны Афин - сигналы, разосланные союзникам - акарнанцы, недавно приобретенные Афинами в качестве союзников - недавнее взятие амфилохийского Аргоса афинянами Формиона. - Сила и ресурсы Афин и их союзников - военные и морские средства - сокровища. - Достаточные основания для уверенности Перикла в результате. - Положение и могущество Спарты и

пелопоннесских союзников - они полны надежд и уверенности в скором поражении Афин. - Усилия Спарты по сбору военно-морских сил. - Сбор объединенных пелопоннесских сил на Коринфском перешейке под командованием Архидама для вторжения в Аттику. - Последний посланник отправлен в Афины - его увольняют, не позволив войти в город. - Поход Архидама в Аттику - бесплодная осада Σεποῖ. - Ожидание Архидама, что Афины уступят в последний момент. - Трудности Перикла в убеждении афинян оставить свою территорию и увидеть ее опустошенной. - Аттика опустела - население стекается в стены Афин. Тяготы, лишения и бедствия. - Поход Архидама в Аттику. - Архидам продвигается к Ахарне, в семи милях от Афин. - Интенсивный шум в стенах Афин - нетерпение идти вперед и сражаться. - Пытливая позиция, твердость и неуклонное превосходство Перикла, отговаривающего их от похода. - Афиняне остаются в своих стенах: только частичные стычки, никаких общих действий. - Афинский флот отправляется разорять берега Пелопоннеса - первое известие о спартанском Брасиде - операции афинян в Акарнании, Кефаллании и т. д. - Афиняне изгоняют эгинетян из Эгины и заселяют остров афинскими клерухами. Эги нетаны поселяются в Тирее в Пелопоннесе. - Афиняне вторгаются в Мегариду и разоряют ее: страдания мегарян. - Меры, принятые Афинами для постоянной обороны. - Сумма, заложенная в акрополе на случай срочной необходимости, не должна быть тронута, кроме как в случае определенных опасностей. - Смертная казнь для тех, кто предложит иное. - Замечания по этому указу. - Блокада Потидеи - Ситалкес, царь одрисских фракийцев - союз, заключенный между ним и Афинами. - Периклес выбран оратором для произнесения заупокойной речи по гражданам, убитым в течение года. - Похоронная речь Перикла. - Очерк афинской политической конституции и общественной жизни в представлении Перикла. - Восхваление Афин и афинского характера. - Взаимная терпимость к разнообразию вкусов и занятий в Афинах. - Лишь отчасти и в некоторых примечательных случаях верно, что государство в непомерной степени вмешивалось в свободу личности в Греции. - Свободная игра индивидуальных вкусов и порывов в Афинах - важность этого явления в обществе. - Необычайная и многогранная активность Афин. - Своеобразный и интересный момент, в который прозвучала речь Периклеса. Афины достигли максимума своего могущества - вскоре после этого начинается тенденция к упадку.

75-153

ГЛАВА XLIX.

ОТ НАЧАЛА ВТОРОГО ГОДА ДО КОНЦА ТРЕТЬЕГО ГОДА ПЕЛОПОННЕССКОЙ ВОЙНЫ.

Бесплодные результаты операций первого года войны. - Второе вторжение пелопоннесцев в Аттику - более масштабное и разорительное, чем первое. - Начало моровой язвы или эпидемии в Афинах. - Описание эпидемии Фукидидом - его представление об обязанности точно наблюдать и записывать. - Обширные и ужасные страдания Афин. - Неэффективность лекарств - отчаяние и деморализация афинян. - Беззаконие, порожденное безрассудством поведения. - Большие жертвы среди граждан - удар по могуществу Афин. - Афинские войска направлены сначала против Пелопоннеса, затем против Потидеи - они подвергаются нападению и разоряются эпидемией. - Раздражение афинян от страданий и потерь - они негодуют на Периклеса - его непоколебимая твердость в защите. - Афинское общественное собрание - последняя речь Перикла - его высокий тон самооценки против общественного недовольства. Мощный эффект его речи - новая решимость продолжать войну - тем не менее, недовольство Периклесом все еще продолжается. Его обвиняют и осуждают на штраф. - Старость Перикла - несчастья и страдания его семьи. Его переизбирают стратегом - он возвращает себе власть и доверие народа. - Последние минуты и смерть Перикла. Его жизнь и характер. - Суждение Фукидида о Периклесе. - Ранняя и поздняя политическая жизнь

Перикла - насколько одна отличалась от другой. - Обвинение Перикла в развращении афинского народа - неправда, и Фукидид не поверил. - Большой прогресс и улучшение афинян при Периклесе. - Периклес не виноват в Пелопоннесской войне. - Военные действия вялые, под давлением эпидемии. - Нападение амбракиотов на амфилохийский Аргос: афинянин Формий отправляется с эскадрой к Наупакту. - Ущерб, нанесенный афинской торговле поннесскими каперами Пело - Лакедемоняне предавали смерти всех своих пленников, взятых на море, даже нейтралов. - Лакедемонские посланники захвачены на пути в Персию и преданы смерти афинянами. - Сдача Потидеи - снисходительная капитуляция, предоставленная афинскими генералами. - Третий год войны - царь Архидам совершает поход на Платею - вторжения в Аттику не было. - Обращение платейцев к Архидаму - его ответ - он напрасно созывает Платею. - Платеяне решают выступить против лакедемонских войск. - Призыв и оправдание Архидам, услышавшего отказ платейцев. - Начало осады Платеи. - Атака и оборона - осаждающие не продвигаются вперед и вынуждены прибегнуть к блокаде. - Вокруг Платеи построена обводная стена - место полностью осаждено, оставлены силы для поддержания блокады. - Афинская армия отправляется в Потидею и Халкидскую Фракию - терпит поражение и возвращается. - Операции на побережье Акарнании. - Совместное нападение на Акарнанию по суше и морю, согласованное амбракиотами и пелопоннесцами. - Сбор амбракиотов, пелопоннесцев и эпиротов - эпиротовских союзников - в поход для нападения на акарнанский город Стратус. - Безрассудство эпиротов - поражение и отпор армии. - Пелопоннесский флот идет из Коринфа в Акарнанию - движения афинского Формиона, чтобы противостоять ему. - Морское сражение между Формионом и пелопоннесским флотом - его полная победа. - Размышления об этих двух поражениях пелопоннесцев. - Возмущение лакедемонян поздним морским поражением: они собирают большой флот под командованием Кнема, чтобы выступить против Формиона. - Неудовлетворительная численность Формиона - его маневрирование. - Пелопоннесский флот вызывает Формиона на бой на побережье у Наупакта. Диспозиция и речи с обеих сторон. - Сражение у Наупакта. Пелопоннесский флот сначала добивается успеха, но затем терпит поражение. - Отступление разбитого пелопоннесского флота. - Формион получает подкрепление - его операции в Акарнании - он возвращается в Афины. - Попытка Кнема и Брасида застать врасплох Пирея, выступившего из Коринфа. - Союз афинян с одрисским царем Ситалкесом. - Власть одрисийцев во Фракии - их обширное господство над другими фракийскими племенами. - Ситалкес, по наущению Афин, предпринимает нападение на Пердиккаса и халкидян Фракии. - Его огромное и многочисленное войско состоит из фракийцев и других варваров. - Он вторгается в Македонию и Халкидику и опустошает их. - Суровость времени года и отсутствие поддержки со стороны афинян вынуждают его отступить.

153-221

ГЛАВА L.

ОТ НАЧАЛА ЧЕТВЕРТОГО ГОДА ПЕЛОПОННЕССКОЙ ВОЙНЫ ДО РЕВОЛЮЦИОННЫХ ВОЛНЕНИЙ В КОРКИРЕ.

Четвертый год войны - внутренние страдания в Афинах. - Возобновление вторжения в Аттику. - Восстание Митилены и большей части Лесбоса против Афин. - Афинские действия - могущественное положение Митилены - афинский флот отправлен туда под командованием Клейппидеса. - Клейппидесу не удается удивить Митилену - он проводит несовершенную блокаду. - Он получает подкрепление и начинает осаду с большей силой - отсутствие решимости у митиленцев. - Митиленейские посланники обращаются к спартамцам на олимпийском празднике с просьбой о помощи. - Тон и темы их обращения. - Практических

оснований для претензий митиленцев к Афинам мало или нет. - Пелопоннесцы обещают помощь Митилене - энергичные демонстрации афинян. - Асопий, сын Формиона, в Акарнании. - Накопленные Афинами сокровища исчерпаны ее усилиями - необходимость прямого взноса. - Бегство плательцев из заблокированного города. - Их план бегства - его чрезвычайная сложность и опасность. Половина гарнизона Платеи бежит в Афины. - Блокада Митилены афинским полководцем Пахесом - митиленцев побуждают держаться лакедемоняне, которые посылают туда Салета. - Митиленцы держатся до тех пор, пока не кончается провизия - Салетус вооружает всех митиленцев для общей вылазки - народ отказывается присоединиться - город сдается Афинам по своему усмотрению. - Пелопоннесский флот под командованием Алкида прибывает к берегам Ионии - изумление и тревога, которые вызывает его присутствие. - Пахес после взятия Митилены преследует флот Алкида, который возвращается в Пелопоннес, так ничего и не предприняв. - Пахес в Нотиуме - он захватывает это место - его вероломство по отношению к Гиппиасу, начальнику гарнизона. - Нотиум отвоен у Афин как отдельный город. - Пахес отправляет в Афины около тысячи митиленейских пленников, лиц, причастных к восстанию, вместе с Салетом. - Важные дебаты в афинском собрании по поводу обращения с пленниками. - Первое упоминание Клеона у Фукидида - новый класс политиков, к которому он принадлежал. - Эвкратес, Клеон, Лисикл, Гипербол и т. д. - характер Клеона. - Возмущение афинян против Митилены - предложение Клеона предать смерти все мужское население военного возраста принимается и проходит. - Раскаяние афинян после принятия указа. Созывается новое собрание для пересмотра постановления. - Рассказ Фукидида о втором собрании - речь Клеона в поддержку уже принятого постановления. - Замечания по поводу речи Клеона. - Выступление Диодота против Клеона - второе постановление, смягчающее первое. Быстрое плавание триремы, везущей в Митилену второй указ, - она прибывает как раз вовремя, чтобы помешать исполнению первого. - Митиленейцы, которых Пахес послал в Афины, преданы смерти - обращение афинян с Митиленом. - Бесчинства, совершенные Пахесом в Митилене - его смерть в афинском дикастерии. - Сдача Платеи лакедемонянам. - Пленный платейский гарнизон предстает перед лакедемонскими судьями. - Речь платейских депутатов перед этими судьями от имени себя и своих товарищей. - Ответ фиванцев. - Лакедемонские судьи приговаривают плательцев к смерти и всех убивают. - Причина суровости лакедемонян - сравнение случаев Платеи и Митилены. - Обстоятельства Коркиры - коркирские пленники отправлены из Коринфа, чтобы совершить переворот в правительстве и внешней политике острова. - Они пытаются совершить революцию - преследуют демократического лидера Питиаса - тот в отместку преследует пятерых из них - их признают виновными. - Они убивают Питиаса и нескольких других сенаторов и становятся хозяевами правительства - они объявляют нейтралитет - их безрезультатная миссия в Афины. - Олигархическая партия в Коркире нападает на народ - упорная борьба в городе - победа народа - прибытие афинского адмирала Никострата. - Умеренность Никострата - действия народа по отношению к побежденным олигархам. - Прибытие лакедемонского адмирала Алкида с флотом из пятидесяти трех трирем. Возобновление террора и борьбы на острове. - Морское сражение у берегов Коркиры между Никостратом и Алкидасом. - Замешательство и незащитное состояние Коркиры - Алкидас отказывается нападать на нее - прибытие афинского флота под командованием Эвримедона - бегство Алкидаса. - Месть победоносного Демоса в Коркире против зарвавшихся олигархов - страшное кровопролитие. - Беззаконные и свирепые убийства - подлое попустительство Эвримедона. - Группа беглецов-олигархов бежит на материк - после чего вновь высаживается на остров и обосновывается на горе Исток. - Политические размышления Фукидида по поводу коркирской резни. - Коркирские политические бесчинства были самыми ужасными за всю войну. - Как начались и стали преувеличиваться эти бесчинства. Поведение противоборствующих сторон. - Контраст

между кровавым характером революций в Коркире и мягким характером аналогичных явлений в Афинах. - Дурная нравственность богачей и вельмож во всех греческих городах.

221-285

ГЛАВА LI.

ОТ ВОЛНЕНИЙ В КОРКИРЕ НА ПЯТОМ ГОДУ ПЕЛОПОННЕССКОЙ ВОЙНЫ ДО КОНЦА ШЕСТОГО ГОДА.

Взятие Миноа, напротив Мегары, афинянами под командованием Никиаса. - Никиас - его первое представление, положение и характер. - Различные обстоятельства и состояние олигархической партии в Афинах. - Аналогии между Никиасом и Периклесом - существенные различия. - Забота Никиаса о том, чтобы сохранить свою популярность и не нанести обиды; его очень религиозный характер. - Его усердие в увеличении своего состояния - спекуляции на рудниках Лаврии - сдача рабов в наем. - Никиас сначала выступал против Клеона - затем против Алкивиада. - Олигархические клубы, или гетеры, в Афинах для политических и судебных целей. - Клеон - его реальная функция - оппозиция - реальная власть, уступающая Никиасу. - Возобновление эпидемической болезни в Афинах еще на год - атмосферные и земные волнения в Греции. Лакедемонское вторжение в Аттику приостановлено на этот год. - Основание лакедемонянами колонии Гераклея близ Фермопил - многочисленные поселенцы, большие надежды и неудачная карьера. - Афинская экспедиция против Мелоса под командованием Никиаса. - Действия афинян при Демосфене в Акарнании. - Экспедиция Демосфена против Этолии - его большие планы. - Марш Демосфена - неосуществимость территории Этолии. - грубость и храбрость жителей. - Он полностью разбит и вынужден с потерями отступить. - Нападение этолийцев и пелопоннесцев под командованием Эврилоха на Наупакт. - Наупакта спасают Демосфен и акарнанцы. - Эврилох, отбитый от Наупакта, вместе с амбракиотами организует нападение на Аргос. - Демосфен и афиняне, а также акарнанцы встают на защиту Аргоса. - Марш Эврилоха через Акарнанию, чтобы присоединиться к амбракиотам. - Их объединенная армия разбита Демосфеном при Ольпе - Эврилох убит. - Оставшийся в живых спартанский полководец заключает сепаратную капитуляцию для себя и пелопоннесцев, покидая амбракиотов. - Амбракиоты несут большие потери при отступлении. - Другой большой отряд амбракиотов, идущий из города в качестве подкрепления, перехватывается Демосфеном в Идомене и разрезается на части. - Отчаяние бракиотского глашатая Ам при виде большого числа убитых. - Беззащитное и слабое состояние Амбракии после этой губительной потери. - Попытка подсчитать потери амбракиотов. - Заключение договора между Амбракией, с одной стороны, и акарнанцами и амфилохийцами - с другой. - Возвращение Демосфена с триумфом в Афины. - Очищение Делоса афинянами. Возрождение Делийского праздника с особой пышностью.

285-313

ГЛАВА LII.

СЕДЬМОЙ ГОД ВОЙНЫ - ВЗЯТИЕ СФАКТЕРИИ.

Седьмой год войны - вторжение в Аттику. - Бедствия в Коркире из-за нападения олигархических изгнанников. Туда отправляются пелопоннесский и афинский флоты. - Демосфенез отправляется на борту афинского флота с отдельным командованием. - Для возведения крепости он выбирает Пилус в Лаконии. Местонахождение Пилуса и Сфактерия. - Адмирал флота Эвримедон настаивает на том, чтобы идти дальше в Коркиру, не останавливаясь в Пилусе. Буря загоняет флот в Пилус. - Демосфенез укрепляет это место

благодаря добровольному рвению солдат. Его оставляют там с гарнизоном, пока флот идет к Коркире. - Медленный поход лакедемонян, чтобы вернуть Пилус. - Приготовления Демосфена к защите Пилуса от них. - Действия лакедемонян - они посылают отряд занять остров Сфактерия напротив Пилуса. - Они атакуют это место по морю и по суше - галантное поведение Брасидаса при атаке со стороны моря. - Возвращение Эвримедона с афинским флотом в Пилус. - Он разбивает лакедемонский флот в гавани Пилуса. - Лакедемонский отряд блокирован афинским флотом на острове Сфактерия - перемирие заключено в Пилусе. - Миссия лакедемонских посланников в Афины с предложением мира и просьбой освободить их солдат в Сфактерии. - Афиняне, по просьбе Клеона, требуют вернуть им Ниссею, Пегею, Трезен и Ахайю в качестве условия отказа от воинов в Сфактерии и заключения мира. - Посланники не соглашаются на эти требования - Клеон препятствует переговорам - их безрезультатно отправляют обратно в Пилус. - Замечания по поводу этого собрания и поведения Афин. - Перемирие прекращается, и война возобновляется в Пилусе. Эвримедон удерживает лакедемонский флот. - Блокада Сфактерии афинским флотом - трудности и лишения для моряков флота. - Длительность и кажущаяся неопределенность блокады - Демосфенез отправляет в Афины подкрепление для нападения на остров. - События в афинском собрании после получения этого известия - предложение Клеона - маневр его политических врагов, чтобы отправить его против его воли в качестве генерала в Пилус. - Размышления об этой процедуре и о поведении партий в Афинах. - Клеон отправляется в Пилус с подкреплением - состояние острова Сфактерия - численность и положение лакедемонян на нем. - Клеон и Демосфен высаживают свои войска на острове и атакуют его. - Многочисленные легкие отряды Демосфена выступают против лакедемонян в Сфактерии. - Бедствие лакедемонян - их храбрость и долгое сопротивление. Они отступают к своему последнему редуту на оконечности острова. Их окружают и заставляют сдаться. - Удивление, вызванное Греции сдачей лакедемонских гоплитов - уменьшение блеска спартанского оружия. - Приговор, вынесенный самим Фукидидом, - размышления о нем. - Предвзятое отношение Фукидида к Клиону. Клеон проявил здравый смысл и решительность и был одной из главных причин успеха. - Эффект, произведенный в Афинах прибытием лакедемонских пленников. - Афиняне продолжают войну с большей надеждой и энергией. Лакедемоняне безрезультатно предпринимают новые попытки заключить мир. - Замечания о политике Афин - ее шансы теперь повсеместно считались наиболее благоприятными для продолжения войны. - Колебания в настроениях афинян за или против войны: было два случая, когда Клеон способствовал тому, чтобы склонить их к войне. - Экспедиция Никиаса против коринфской территории. - Он возвращается на родину - разоряет Эпидавр - устанавливает пост на полуострове Метана. - Эвримедон с афинским флотом отправляется на Коркиру. Поражение и пленение коркирских изгнанников на острове. - Пленников предают смерти - жестокость и ужасы в процессе. - Захват Анакториума афинянами и акарнанцами. - Действия афинян на Хиосе и Лесбосе. - Афиняне захватывают Артаферна, персидского посланника, направлявшегося в Спарту. - Преемственность персидских царей - Ксеркс, Артаксеркс Лонгиман и т. д., Дарий Нот.

313-363

ГЛАВА LIII.

ВОСЬМОЙ ГОД ВОЙНЫ.

Важные операции восьмого года войны. - Захват Китеры афинянами. Никиас опустошает лаконское побережье. - Захват Тиреи - все проживавшие там эгинетяне либо убиты во время нападения, либо преданы смерти после этого как пленники. - Тревога и уныние среди лакедемонян - их неуверенность в отношении гелотов. - Они заманивают в ловушку и

убивают две тысячи самых храбрых гелотов. - Просьба халкидян и пердикков об отправке к ним спартанской помощи под командованием Брасида. - Брасидас приказывает отправиться туда с гелотскими и пелопоннесскими гоплитами. - В Афинах царит оживление и предприимчивость. План против Мегары. Состояние Мегары. - Афиняне под командованием Гиппократа и Демосфена пытаются застать врасплох Нисей и Мегару. - Заговорщики внутри открывают ворота и впускают их в мегарские Длинные стены. Они овладевают всей линией длинных стен. - Афиняне идут к воротам Мегары - провал затеи заговорщиков внутри открыть их. - Афиняне атакуют Ниссею - город сдается им. - Раскол партий в Мегаре - вмешательство Брасида. - Брасидас собирает войско и освобождает Мегару - сражения не происходит - афиняне уходят. - Революция в Мегаре - возвращение изгнанников из Пегеи под обещание амнистии - они нарушают свои клятвы и совершают насильственный олигархический переворот. - Совместный план Гиппократа и Демосфена по вторжению в Беотию сразу с трех сторон. - Демосфен с акарнанским отрядом нападает на Беотию у Сифеса в Коринфском заливе - его план проваливается, и он отступает. - Разочарование в планах афинян - в Беотии не происходит никаких внутренних движений. Гиппократес отправляется с войском из Афин в Делию в Беотии. - Гиппократ укрепляет Делию, после чего армия отступает на родину. - Сбор беотийских войск в Танагре. Пагондас, фиванский бётарх, вызывает их на бой. - Маршировка беотийского войска - большая глубина фиванских гоплитов - особый фиванский отряд из трехсот человек. - Порядок сражения афинской армии. - Битва при Делиуме - ожесточенная борьба - преимущество, полученное благодаря глубине фиванской фаланги. - Поражение и бегство афинян - Гиппократес с тысячей гоплитов убит. - Обмен глашатаями - протест беотийцев против афинян за осквернение храма в Делиуме - они отказываются хоронить убитых только при условии, что те покинут Делию. - Ответ афинского глашатая - он требует разрешения похоронить тела убитых. - Беотийцы упорно требуют освобождения Делиума как условия для разрешения похоронить мертвых. Дебаты по этому вопросу. Замечания по поводу дебатов. - Осада и взятие Делиума беотийцами. - Сократес и Алкивиад лично участвуют в боях в Делиуме. - Поход Брасидаса через Фессалию во Фракию и Македонию. Быстрота и адресность, с которой он проходит через Фессалию. - Отношения между Брасидасом и Пердиккасом - Брасидас заключает соглашение с Аррибеем - Пердиккас обижен. - Брасидас выступает в поход против Аканта. Состояние партий в городе. - Он лично впускается в город, чтобы объяснить свои взгляды - его речь перед аканфским собранием. - Дебаты в аканфском собрании и решение большинства тайным голосованием принять его, после долгих возражений. - Размышления по поводу этого решения - хорошие политические привычки акантийцев. - Доказательства того, что большинство граждан (среди афинских союзников) не ненавидели Афины и не стремились к восстанию. - Брасидас создает в Аргилусе разведку. Он разрабатывает план внезапного нападения на Амфиполь. - Ночной поход Брасидаса из Арны через Аргилус к реке Стримон и Амфиполу. - Он становится хозяином земель вокруг Амфиполя, но не может войти в город. - Он предлагает горожанам самые выгодные условия капитуляции, которые они принимают. - Амфиполь капитулирует. - Фукидид прибывает в Эйон из Фазуса со своей эскадрой - не успев сохранить Амфиполь, он сохраняет Эйон. - Тревога и смятение, вызванные в Афинах взятием Амфиполя, - усиление надежд среди ее врагов. - Необычайная личная слава, уважение и влияние, приобретенные Брасидасом. - Бездействие и уныние Афин после битвы при Делиуме, особенно в том, что касалось остановки завоеваний Брасида во Фракии. - Потеря Амфиполя произошла из-за халатности афинских полководцев - Эвклеса и историка Фукидида. - Афиняне изгоняют Фукидида по предложению Клеона. - Приговор афинян об изгнании Фукидида - основания этого приговора. - Он справедливо заслужил их обвинительный приговор. - Подготовка Брасидаса в Амфиполе к расширенному завоеванию - его действия против Актека, или Афонского мыса. - Он нападает на Торон на Ситонийском полуострове -

его впускают в город внутренние войска - он захватывает его и берет. - Часть населения с небольшим афинским гарнизоном удаляется в отдельную цитадель под названием Ликиф. - Примирильное обращение Брасида к собранию в Тороне. - Он нападает на Леккиф и берет его штурмом. - Личные способности и примирительная эффективность Брасидаса.

363-425

ГЛАВА LIV.

ПЕРЕМИРИЕ НА ОДИН ГОД - ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ВОЙНЫ И БИТВА ПРИ АМФИПОЛЕ - НИКЕЙСКИЙ МИР.

Восьмой год войны - начался с самых благоприятных для Афин обещаний - закончился с большими потерями для нее. - Желание спартанцев заключить мир, чтобы вернуть пленных - они отказываются посылать подкрепления Брасиду. - Царь Плейстоанакс в Спарте - жаждет мира - его особые причины - его долгое изгнание недавно закончилось отзывом. - Переговоры о мире зимой 424-423 гг. до н. э. - Перемирие на один год, заключенное в марте 423 г. до н. э. - Условия перемирия. - Постановление об открытии переговоров для заключения окончательного договора. - Новые события во Фракии - восстание Скионы из Афин на Брасидаса, через два дня после заключения перемирия. - Брасидас переходит к Скионе - его разумное поведение - восторженное восхищение им там. - Брасидас привозит в Скиону подкрепление - он уводит женщин и детей в безопасное место. - Во Фракию прибывают уполномоченные из Спарты и Афин, чтобы сообщить Брасидасу о только что заключенном перемирии. Спор по поводу Скионки. Война продолжается во Фракии, но везде приостановлена. - Восстание мендеев против Афин - Брасидас принимает предложения мендеев, берется их защищать и посылает к ним гарнизон против Афин. Он отправляется в экспедицию против Аррибея в глубь Македонии. - Никиас и Никострат прибывают с афинским войском в Паллен. Они нападают на Менде. Лакедемонский гарнизон под командованием Полидамида сначала отбивает их. - Среди жителей Менде возникают разногласия - мятеж демоса против Полидамида - афиняне вступают в город. - Афиняне осаждают и блокируют Скион. Никиас оставляет там блокадный отряд и возвращается в Афины. - Поход Брасидаса вместе с Пердиккасом в Македонию против Аррибея. - Отступление Брасидаса и Пердиккаса перед иллирийцами. - Обращение Брасидаса к своим воинам перед отступлением. - Контраст между греческим и варварским военным чувством. - Призыв Брасида к праву завоевания или превосходству сил. - Иллирийцы нападают на Брасида во время его отступления, но получают отпор. - Разрыв между Брасидом и Пердиккасом: последний открывает переговоры с афинянами. - Отношения между Афинами и пелопоннесцами - нет прогресса в достижении окончательного мира - лакедемонское подкрепление, направлявшееся к Брасидасу, не может пройти через Фессалию. - Инциденты в Пелопоннесе - случайно сгорел храм Геры в Аргосе. - Война в Аркадии - сражение между Мантинеей и Тегеей. - Беотийцы заключили мир *де-факто*, хотя и не были участниками перемирия. - Суровое обращение Фив с феспийцами. - Окончание срока перемирия на один год. Расположенность Спарты и Афин к миру; но мир невозможен из-за отношений сторон во Фракии. - Отсутствие фактического возобновления военных действий, несмотря на истечение срока перемирия, с марта месяца до пифийского праздника в августе. - Изменение языка государственных деятелей в Афинах - попытки Клеона и его сторонников добиться энергичного продолжения войны во Фракии. - Брасидас - противник мира - его взгляды и мотивы. - Клеон - противник мира - его взгляды и мотивы, изложенные Фукидидом. Клеон не был лично заинтересован в войне. - Активное ведение войны во Фракии было в это время реальным политическим интересом Афин. - Вопрос о мире или войне, как он стоял между Никиасом и Клеоном, в марте 422 года до н. э., после

истечения срока перемирия на один год. - Выступление Клеона за войну в этот момент вполне оправдано - несправедливый отзыв о его мотивах дал Фукидид. - Клеон в это время более чем кто-либо другой из афинских государственных деятелей придерживался внешней политики Перикла. - Диспозиция Никиаса и мирной партии в отношении повторного завоевания Амфиполя. - Клеон предпринимает экспедицию против Амфиполя - берет Торон. - Прибывает в Эйон - посылает посланников пригласить македонские и фракийские вспомогательные войска. - Недовольство собственных войск его бездействием в ожидании этих вспомогательных войск. - Эти ропоты вынуждают его устроить демонстрацию - он идет из Эйона вдоль стен Амфиполя, чтобы разведать вершину холма - видимое спокойствие в Амфиполе. - Брасидас, сначала на горе Кердилиум, а затем въезжает в город через мост. - Его обращение к солдатам. - Клеон пытается заставить его отступить. - Брасидас бросается на отступающую армию - афиняне полностью разбиты - Брасидас и Клеон убиты. - Фракия глубоко скорбит о смерти Брасида - похоронные почести ему воздают в Амфиполе. - Афинское войско, сильно поредевшее от потерь в битве, возвращается домой. - Замечания о битве при Амфиполе - в чем заключались недостатки Клеона. - Позорное поведение афинских гоплитов - поражение в Амфиполе отчасти вызвано политическими чувствами, враждебными Клеону. - Важное влияние смерти Брасидаса на перспективы войны - его восхитительный характер и работоспособность. - Отношение Фукидида к Брасидасу и Клеону. - Характер Клеона - его внешняя политика. Внутренняя политика Клеона как гражданина в конституционной жизни. - Изображение в рыцарях Аристофана. - Несправедливость суждения о Клеоне по таким свидетельствам. - Изображение Сократеса у Аристофана ничем не напоминает. - Пороки, вменяемые Аристофаном Клеону, не согласуются один с другим. - Клеон - человек сильных и горьких оппозиционных талантов - частый обвинитель - часто от имени бедных людей, страдающих от несправедливости. - Необходимость в добровольных обвинителях в Афинах - общая опасность и недоброжелательность, сопутствующие этой функции. - У нас нет доказательств, чтобы решить, в какой доле случаев он обвинял несправедливо. - Частный спор между Клионом и Аристофаном. - Переговоры о мире в течение зимы после битвы при Амфиполе. - Мир под названием Никиасский мир - заключен в марте 421 года до н. э. - Условия мира. - Мир лишь частично принят союзниками Спарты. - Беотийцы, мегаряне и коринфяне отвергают его.

426-494

ИСТОРИЯ ГРЕЦИИ.

ЧАСТЬ II.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИИ ГРЕЦИИ.

ГЛАВА XLVII.

ОТ ТРИДЦАТИЛЕТНЕГО ПЕРЕМИРИЯ, ЗА ЧЕТЫРНАДЦАТЬ ЛЕТ ДО ПЕЛОПОННЕССКОЙ ВОЙНЫ, ДО БЛОКАДЫ ПОТИДЕИ В ГОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ ПЕЛОПОННЕССКОЙ ВОЙНЕ.

Судебные изменения, произведенные в Афинах Периклесом и Эфиальтесом, описанные в предыдущей главе, дали значительной части граждан прямые функции присяжных и активный интерес к конституции, какими они никогда прежде не пользовались; это изменение было одновременно и признаком предыдущего роста демократических настроений в прошлом, и причиной их дальнейшего развития в будущем. В это время афинский народ был готов к личному напряжению во всех направлениях: военная служба на суше или на море не менее соответствовала его склонностям, чем посещение экклесии или дикастерии дома. Особенно морская служба проходила с усердием, которое приводило к постоянному совершенствованию мастерства и эффективности, а более бедные граждане, из которых она в основном состояла, были более строгими в послушании и дисциплине, чем любой из более богатых людей, из которых черпали пехоту или кавалерию.^[1] Морское население, помимо уверенности в себе и храбрости, приобрело в результате этой кропотливой подготовки все большее мастерство, которое с каждым годом ставило афинский флот все выше и выше над остальной Грецией: совершенствование этой силы становилось тем более необходимым, что афинская империя теперь снова ограничивалась морем и морскими городами; неудачи, непосредственно предшествовавшие тридцатилетнему перемирию, разрушили все афинское превосходство над Мегарой, Беотией и другими континентальными территориями, примыкавшими к Аттике.

Морская конфедерация, первоначально возникшая на Делосе под руководством Афин, но с общим синодом и совещательным голосом каждого члена, теперь превратилась в империю, подтвержденную Афинами, над остальными государствами в качестве иностранной зависимости; все они платили дань, кроме Хиоса, Самоса и Лесбоса. Эти три государства все еще оставались на своей первоначальной позиции автономных союзников, сохраняя свою вооруженную силу, корабли и укрепления, с обязательством предоставлять военную и морскую помощь, когда это требовалось, но не платить дань: прекращение работы совещательного синода, однако, лишило их первоначальной безопасности против посягательств Афин. Я уже в общих чертах описал шаги, но мы не знаем их в деталях, благодаря которым произошла эта важная перемена, постепенно и без всякого насильственного переворота, - ведь даже передача общих сокровищ с Делоса в Афины, которая была самым явным символом и свидетельством этой перемены, не была актом афинского насилия, поскольку была принята по предложению саамийцев. На самом деле перемена почти неизбежно вытекала из обстоятельств дела и из активной деятельности афинян в противовес отсталости и отвращению к личной службе со стороны союзников. Мы должны помнить, что конфедерация, даже в ее первоначальном составе, заключалась для постоянных целей и была постоянно обязана голосованием своего большинства, как спартанская конфедерация, для каждого отдельного члена:^[2] она предназначалась для того, чтобы не допускать персидский флот и поддерживать полицию Эгейского моря. В соответствии с этими целями ни одному члену не могло быть позволено отделиться от конфедерации и таким образом получить преимущества защиты за счет остальных: поэтому, когда Наксос и другие члены действительно отделились, этот шаг был воспринят как восстание, и Афины лишь выполнили свой долг президента конфедерации, уменьшив их. С каждым таким сокращением, а также с обменом личной службы на денежное вознаграждение, к которому добровольно стремилось большинство союзников, могущество

Афин возрастало, пока в конце концов она не оказалась с неодолимым флотом посреди разоруженных данников, ни один из которых не мог вырваться из-под ее сковывающей власти, - и хозяйкой моря, использование которого было для них необходимо. Синод на Делосе, даже если он и не был до этого частично заброшен, должен был прекратиться в то время, когда сокровища были перевезены в Афины, - вероятно, около 460 года до н. э. или вскоре после этого.

Таким образом, отношения между Афинами и их союзниками были существенно изменены в результате действий, которые постепенно развивались и следовали одно за другим без какого-либо заранее разработанного плана: она стала имперским городом или городом-деспотом, управляющим совокупностью зависимых подданных, причем без их собственного активного согласия и во многих случаях, несомненно, вопреки их собственному чувству политического права. Маловероятно, чтобы они единодушно сговорились о разрыве конфедерации и прекращении сбора взносов с каждого из ее членов, да и нежелательно было это делать: ведь если Греция в целом оказалась бы в большом проигрыше от такого шага, то сами союзники были бы в наибольшем проигрыше, поскольку оказались бы беззащитны перед персидским и финикийским флотами. Но афиняне совершили большую ошибку, взяв весь союз в свои руки и рассматривая союзников исключительно как подданных, не пытаясь привязать их к себе какой-либо формой политической инкорпорации или коллективного собрания и обсуждения, - не прилагая никаких усилий для поддержания общности чувств и идеи совместных интересов, - не допуская никакого контроля, реального или даже притворного, над собой как управляющими. Если бы они попытались это сделать, это могло бы оказаться трудновыполнимым, - настолько сильна была сила географического распространения, тенденция к изолированной гражданской жизни и отвращение к любым постоянным внешним обязательствам в каждой греческой общине: но они не груши, чтобы когда-либо сделать эту попытку. Увидев, что Афины возвысились в силу обстоятельств до империи, а союзники превратились в подданных, афинские государственные деятели ухватились за это возвышение как за предмет гордости и выгоды:[3] и даже Периклес, самый благоразумный и дальновидный из них, не выдал сознания того, что империя без цемента какого-то всепроникающего интереса или привязанности имеет естественную тенденцию становиться все более обременительной и одиозной, и в конце концов рассыпаться на куски. Таков был ход событий, которые, если бы Периклес последовал его благоразумным советам, можно было бы отсрочить, но нельзя было бы предотвратить.

Вместо того чтобы попытаться сохранить или восстановить чувства равного союза, Периклес официально отрекся от него. Он утверждал, что Афины не обязаны отчитываться перед подданными союзниками за полученные от них деньги, пока они выполняют свой договор, отгоняя персидского врага и обеспечивая безопасность вод Эгейского моря[4]. Это было, по его мнению, обязательство, которое взяли на себя Афины; и если оно будет честно выполнено, союзники не имеют права задавать вопросы или устанавливать контроль. То, что оно было добросовестно выполнено, никто не мог отрицать: ни один военный корабль, кроме кораблей Афин и их союзников, никогда не был замечен между восточным и западным берегами Эгейского моря. В этих водах дежурил афинский флот из шестидесяти трирем, укомплектованный в основном афинскими гражданами, что было полезно как для защиты торговли, так и для постоянного содержания и обучения моряков.[5] И таким эффективным был надзор, что в катастрофический период, предшествовавший тридцатилетнему перемирию, когда Афины потеряли Мегару и Беотию и с трудом отвоевали Эвбею, никто из ее многочисленных морских подданных не воспользовался возможностью восстать.

Общее количество этих отдельных городов-притонов, как говорят, достигало тысячи, согласно стиху Аристофана,[6] что не может быть ниже истины, хотя вполне может быть, и, вероятно, значительно выше истины. Общая сумма ежегодной дани, собранной в начале Пелопоннесской войны, а также, вероятно, за годы, предшествовавшие ей, составляет, по словам Фукидида, около шестисот талантов; о суммах, выплаченных отдельными государствами, у нас, однако, мало сведений или вообще нет[7]. Она находилась под надзором эллиноتامов, первоначально офицеров конфедерации, но теперь перевезенных с Делоса в Афины и выполнявших функции афинской казенной палаты. Общая сумма афинских доходов[8] из всех источников, включая эту дань, в начале Пелопоннесской войны, по словам Ксенофонта, составляла тысячу талантов: таможенные, портовые и рыночные сборы, поступления от серебряных рудников в Лаврии, рента с государственной собственности, штрафы по судебным приговорам, налог с каждой головы рабов, ежегодный платеж каждого медика и т. д, возможно, составляли более значительную сумму, чем четыреста талантов; эта сумма, добавленная к шестистам талантам дани, составила бы общую сумму, названную Ксенофонтом. Но в стихе Аристофана[9], относящемся к девятому году Пелопоннесской войны, 422 г. до н. э., приводится общая сумма того времени - "почти две тысячи талантов": этот, по всей вероятности, намного выше истины, хотя мы вполне можем предположить, что за это время сумма дани, взимаемой с союзников, могла увеличиться: Я думаю, что предполагаемое удвоение дани Алкивиадом, о котором Фукидид нигде не упоминает, не подтверждается никакими вескими доказательствами, и я не могу поверить, что она когда-либо достигала суммы в двенадцать сотен талантов.[10] Каким бы ни был реальный размер афинского бюджета до Пелопоннесской войны, мы знаем, что во время правления Пери доходы, включая дань, управлялись так, что оставался большой ежегодный излишек; Настолько, что за годы, предшествовавшие Пелопоннесской войне, в акрополе было накоплено сокровище чеканных денег, - которое, достигнув максимума, достигло огромной суммы в девять тысяч семьсот талантов (равной двум миллионам двумстам тридцати тысячам фунтов), и оставалось на уровне шести тысяч талантов, после серьезной траты на различные цели, в момент начала войны.[11] Эта система государственной экономии, постоянно откладывающая из года в год значительную сумму, - в которой Афины стояли особняком, поскольку ни одно из пелопоннесских государств не имело никакого государственного резерва,[12] - сама по себе далеко оправдывает Перикла от обвинения в растрате государственных денег на нецелевые раздачи с целью получения популярности; А также оправдать афинский демос от упрека в жадном аппетите к жизни за счет общественного кошелька, который принято приписывать им. После смерти Кимона дальнейшие походы против персов не предпринимались, и даже за несколько лет до его смерти, похоже, мало что было сделано, так что дань осталась неизрасходованной, хотя Афины обязаны были держать ее в резерве на случай будущих нападений, которые в любой момент могли быть возобновлены.

Хотя мы не знаем точной суммы других источников афинского дохода, мы знаем, что дань, получаемая от союзников, была самой крупной статьей в нем.[13] И в целом осуществление империи за границей стало заметной чертой в афинской жизни и необходимостью для афинских чувств, не меньшей, чем демократия дома. Афины больше не были, как раньше, одиночным городом с Аттикой в качестве территории: они были столицей или имперским городом, - городом-деспотом, как выражались ее враги, а иногда и ее собственные граждане,[14] - со многими зависимыми территориями, привязанными к ней и обязанными выполнять ее приказы. Именно так представляли себе достоинство Афин не только Периклес и другие ведущие государственные деятели, но даже самые скромные афинские граждане, и это понятие несло в себе как личную гордость, так и стимул к активному патриотизму. Утверждение афинских интересов среди зависимых территорий было одной из важных задач

в глазах Перикла, и хотя он отбросил все далекие[15] и необдуманные предприятия, такие как вторжение в Египет или на Кипр, он основал множество клерухий и колоний афинских граждан, перемешанных с союзниками, на островах и частях побережья. Он отправил тысячу граждан во фракийский Херсонес, пятьсот - на Наксос и двести пятьдесят - на Андрос. В Херсонесе он дал отпор варварским фракийским захватчикам извне и даже взял на себя труд возвести оборонительную стену через перешеек, соединявший полуостров с Фракией, поскольку варварские фракийские племена, хотя и были изгнаны за некоторое время до этого Кимоном[16], все еще продолжали время от времени возобновлять свои набеги. Со времени оккупации старшим Мильтиадесом, около восьмидесяти лет назад, на этом полуострове было много афинских владельцев, очевидно, перемешанных с полуцивилизованными фракийцами: теперь поселенцы приобрели и большую численность, и лучшую защиту, хотя не похоже, что перекрестная стена сохранялась постоянно. Морские экспедиции Перикла даже простирались в Эвксинское море, вплоть до важного греческого города Синопе, которым в то время управлял деспот по имени Тимесилай, против которого активно выступала значительная часть граждан. Он оставил Ламаха с тринадцатью афинскими триремами для помощи в изгнании деспота, который был отправлен в изгнание вместе со своими друзьями и партией: имущество этих изгнанников было конфисковано и передано на содержание шестисот афинских граждан, принятых в равное общение и проживание с синопейцами. Можно предположить, что по этому случаю Синопа стала членом афинского трибунного союза, если не была им раньше: но мы не знаем, существовали ли во времена Перикла Котиора и Трапезус, зависимые от Синопы, дальше на восток, которые десять тысяч греков нашли при своем отступлении через пятьдесят лет после этого, или нет. Более того, многочисленный и хорошо оснащенный афинский флот под командованием Перикла производил внушительное впечатление на варварских князей и племена вдоль побережья, [17] способствуя, безусловно, безопасности греческой торговли и, вероятно, приобретению новых зависимых союзников.

Именно в результате последовательных действий такого рода многие отряды афинских граждан обосновались в различных частях морской империи города, - одни богатые, вкладывая свое имущество в острова как более безопасные - из-за неоспоримого превосходства Афин на море - даже чем Аттика, которая, после потери Мегарида, не могла быть защищена от сухопутного вторжения пелопоннесцев,[18] - другие бедные, нанимающие себя в качестве рабочих.[Острова Лемнос, Имброс и Скирос, а также территория Эстии на севере Эвбеи были полностью заняты афинскими владельцами и гражданами, а другие места - частично. И, несомненно, островитянам было выгодно объединяться с афинянами в торговых предприятиях, поскольку таким образом они получали больше шансов на защиту афинского флота. Похоже, что Афины время от времени принимали правила для торговли своих зависимых союзников, как мы видим из того факта, что незадолго до Пелопоннесской войны она исключила мегарян из всех своих портов. Торговые отношения между Пиреем и Эгейским морем достигли своего максимума в период, непосредственно предшествовавший Пелопоннесской войне: эти отношения не ограничивались страной к востоку и северу от Аттики, они охватывали и западные регионы. Наиболее важными поселениями, основанными Афинами в этот период, были Амфиполь во Фракии и Турий в Италии.

Амфиполь был основан колонией афинян и других греков под руководством афинянина Агнона в 437 г. до н. э. Он был расположен у реки Стримон во Фракии, на восточном берегу, в том месте, где Стримон возобновляет свое течение после выхода из озера выше. Изначально это был город или поселение эдонийских фракийцев, называвшееся Эннеа Ходои, или Девять путей, - в положении, вдвойне ценном и как близкое к мосту через Стримон, и как удобный центр для корабельной древесины и золотых и серебряных рудников соседнего

региона, - и удаленном примерно на три английские мили от афинского поселения Эйон в устье реки. Предыдущие неудачные попытки основать поселения в Эннеа Ходои уже были отмечены, - во-первых, милезиец Гистиэй, за которым последовал его брат Аристагор (около 497-496 гг. до н.э.), во-вторых, афиняне около 465 г. до н.э., в обоих случаях вторгшиеся поселенцы были разбиты и изгнаны местными фракийскими племенами, хотя во втором случае число посланных Афинами было не менее десяти тысяч.[20] Столь серьезные потери надолго отвратили афинян от повторения попыток: хотя весьма вероятно, что отдельные граждане из Эйона и Фазуса связали себя с влиятельными фракийскими семьями и таким образом активно занялись добычей полезных ископаемых, к собственной выгоде, а также к выгоде города в целом, поскольку имущество клерухов, или афинских граждан, занимающих колониальные земли, несло свою долю в случае введения прямых налогов на афинское имущество в целом. К числу таких удачливых авантюристов можно отнести и самого историка Фукидида, который, по-видимому, происходил от афинских родителей, сочетавшихся браком с фракийцами, и сам был женат на жене, либо фракийке, либо принадлежавшей к семье афинских колонистов в этом регионе, через которую он стал обладателем большой собственности в шахтах, а также большого влияния в окрестных районах[21] Это был один из различных способов, с помощью которых коллективная власть Афин позволяла ее главным гражданам обогащаться индивидуально.

Колония под командованием Агнона, отправленная из Афин в 437 году до н. э., была, по-видимому, и многочисленной, и хорошо обеспеченной, поскольку она завоевала и сохранила ценное положение Эннеа Ходои, несмотря на грозных эдонских соседей, которые пресекли две предыдущие попытки. Название Эннеа Ходой было заменено на Амфиполис, - холм, на котором располагался новый город, с трех сторон был ограничен рекой. Поселенцы, по-видимому, были смешанного происхождения, среди них не было большой доли афинян: некоторые были халкидской расы, другие пришли из Аргилуса, греческого города, колонизированного из Андроса, который владел территорией на западном берегу Стримона, прямо напротив Амфиполя,[22] и который был включен в число союзников Афин. Амфиполь, связанный с морем рекой Стримон и портом Эйон, стал самым важным из всех афинских владений по отношению к Фракии и Македонии.

Колония Фурии на побережье Тарентумского залива в Италии, недалеко от места и на территории древнего Сибариса, была основана Афинами примерно на семь лет раньше Амфиполя, вскоре после заключения тридцатилетнего перемирия со Спартой, в 443 году до нашей эры. После разрушения старого Сибариса Кротонитами в 509 году до н. э. его территория по большей части оставалась неприватизированной: потомки прежних жителей, рассеянные в Лаусе и других частях территории, были недостаточно сильны, чтобы основать новый город, да и сами Кротониты не считали нужным это делать. Однако после более чем шестидесятилетнего перерыва, в течение которого некоторые фессалийские поселенцы предприняли одну безуспешную попытку захвата, сибариты, наконец, убедили афинян взять на себя и защитить реколонизацию; предложение спартанцев было тщетным. Лампон и Ксенокрит, первый из которых был пророком и толкователем оракулов, были посланы Периклесом с десятью кораблями в качестве начальников новой колонии Фурий, основанной под эгидой Афин. Поселенцы были собраны со всех концов Греции, среди них были дорийцы, ионийцы, островитяне, беотийцы, а также афиняне. Но потомки древних сибаритов добились того, чтобы к ним относились как к привилегированным гражданам, и монополизировали для себя обладание политической властью, а также наиболее ценными землями в непосредственной близости от стен; их жены также взяли на себя оскорбительное

превосходство над другими женщинами города во время общественных религиозных процессий. Подобный дух привилегий и монополий, похоже, был частым проявлением среди древних колоний, и зачастую он был фатальным либо для их спокойствия, либо для их роста, а иногда и для того, и для другого. В случае с Фуриями, основанными под эгидой демократических Афин, это вряд ли могло иметь длительный успех, и мы видим, что после не очень долгого периода большинство колонистов подняли восстание против привилегированных сибаритов, либо убили, либо изгнали их, и разделили всю территорию города на равных принципах между колонистами всех разных рас. Эта революция позволила им заключить мир с кротонитами, которые, вероятно, были недружелюбны до тех пор, пока их древние враги, сибариты, были хозяевами города, и могли обратить его силы на месть за своих покоренных предков. И с этого времени город, управляемый демократическим путем, процветал стабильно и без внутренних разногласий в течение тридцати лет, пока разорительные бедствия афинян перед Сиракузами не привели к низвержению афинской партии в Фуриях. Насколько разношерстным было население Фурий, можно судить по названиям десяти племен - именно столько племен было создано по образцу Афин - Аркас, Ахаис, Элея, Беотия, Амфикионис, Дорис, Иас, Афинаис, Эвбойс, Несиотис. Из-за такого смешения рас они не могли прийти к согласию в признании или почитании афинского экиста, да и вообще любого экиста, кроме Аполлона.[23] Спартанский полководец Клеандрид, изгнанный за несколько лет до этого за то, что вместе с царем Плейстоанаксом поддался на подкуп Афин, удалился в Фурии и был назначен полководцем граждан в их войне против Тарентума. В конечном итоге эта война была урегулирована совместным основанием нового города Гераклеи на полпути между ними - на плодородной территории под названием Сирит[24].

Самое интересное обстоятельство, касающееся Фурий, заключается в том, что ритор Лисий и историк Геродот проживали там в качестве граждан. Город был связан с Афинами, но, по-видимому, лишь слабыми узами; он также не был включен в число союзников-трибунов.[25] Из того обстоятельства, что столь значительная часть поселенцев в Фуриях была не коренными афинянами, можно сделать вывод, что в то время было не так уж много тех, кто был готов так далеко оторваться от Афин, даже если их прельщала перспектива получить много земли на плодородной и перспективной территории. И Периклес, вероятно, был заинтересован в том, чтобы те бедные граждане, для которых эмиграция была желательна, стали клерухами на каком-нибудь из островов или портов Эгейского моря, где они, подобно римским колониям, служили бы своего рода гарнизоном для страховки Афинской империи[26].

Четырнадцать лет между тридцатилетним перемирием и началом Пелопоннесской войны - это период полной морской империи Афин, которой, правда, частично противостояли, но никогда не добивались успеха. Это период мира со всеми городами, не входящими в ее собственную империю, и великолепных украшений самого города, созданных гением Фидия и других, как в скульптуре, так и в архитектуре. После смерти Кимона Периклес все больше и больше становился первым гражданином в содружестве: его качества говорили о нем тем больше, чем дольше они были известны, и даже катастрофические неудачи, предшествовавшие тридцатилетнему перемирию, не повергли его, поскольку он протестовал против экспедиции Толмидеса в Беотию, из которой они впервые возникли. Но если личное влияние Перикла возросло, то противостоящая ему партия, похоже, также стала сильнее и лучше организована, чем прежде, и приобрела лидера во многих отношениях более эффективного, чем Кимон, - Фукидида, сына Мелесия. Новый вождь был близким родственником Кимона, но по характеру и талантам больше походил на Перикла: государственный деятель и оратор, чем полководец, хотя при необходимости мог выполнять

обе функции, как и полагалось любому лидеру в те времена. При Фукидиде политическая и парламентская оппозиция Периклему приобрела постоянный характер и такую организацию, какую Кимон, с его исключительно военными способностями, так и не смог создать. Аристократическая партия в содружестве - "почетные и уважаемые" граждане, как мы их называем, приняв их собственную номенклатуру, - теперь наложила на себя обязательство неукоснительно регулярно посещать общественное собрание, собираясь вместе в определенной секции, чтобы быть заметно отделенными от демоса. Таким образом, их аплодисменты и несогласие, их взаимная поддержка друг друга, распределение ролей между различными ораторами способствовали достижению партийных целей в большей степени, чем это было раньше, когда эти выдающиеся личности смешивались с массой граждан.[27] Сам Фукидид был выдающимся оратором, уступая только Периклему, а может быть, даже едва ли уступая ему. Нам рассказывают, что на вопрос Архидам, кто лучше борется - Периклес или он сам, Фукидид ответил: "Даже когда я бросаю его, он отрицает, что упал, добивается своего и перечит тем, кто действительно видел его падение"[28].

Такая оппозиция Периклему, при всей свободе действий, которую допускала демократическая конституция, должна была быть и эффективной, и неудобной; но резкое разделение аристократических вождей, которое ввел Фукидид, сын Мелесия, вероятно, сразу же способствовало сплочению демократического большинства вокруг Периклеса и обострению горечи партийных конфликтов.[29] Насколько мы можем судить о причинах оппозиции, она была частично связана с мирной политикой Перикла по отношению к персам, частично с его расходами на украшение дома. Фукидид утверждал, что Афины опозорились в глазах греков, перетащив сокровища конфедератов с Делоса на свой акрополь под предлогом большей безопасности, а затем использовав их не на ведение войны с персами,[30] а на украшение Афин новыми храмами и дорогими статуями. На это Периклес ответил, что Афины в счет дани взяли на себя обязательство защищать своих союзников и ограждать их от всех внешних врагов, - что она полностью выполнила эту задачу в настоящее время и сохранила резерв, достаточный для обеспечения подобной безопасности в будущем, - что при таких обстоятельствах она не должна отчитываться перед союзниками в расходовании излишков, но вольна тратить их на полезные и почетные для города цели. С этой точки зрения было очень важно сделать Афины внушительными в глазах как союзников, так и всей Эллады, улучшив укрепления, накопив украшения, скульптурные и архитектурные, и устроив религиозные праздники - частые, пышные, музыкальные и поэтические.

Таков был ответ Перикла в защиту своей политики против оппозиции, возглавляемой Фукидидом. И насколько мы можем судить о позициях обеих сторон, ответ был вполне удовлетворительным. Ведь если взглянуть на очень крупную сумму, которую Периклес постоянно держал в казне, никто не сможет обоснованно пожаловаться на то, что его расходы на декоративные цели зашли так далеко, что посягнули на необходимость обороны. Фукидид и его сторонники, похоже, настаивали на том, чтобы этот общий фонд продолжал расходоваться на агрессивную войну против персидского царя в Египте и других местах - в соответствии с проектами, которые Кимон осуществлял при жизни.[31] Но Периклес был прав, утверждая, что такие расходы были бы просто расточительными; они не принесли бы пользы ни Афинам, ни их союзникам, хотя и подвергали бы все шансы далекого поражения, подобного тому, что произошло за несколько лет до этого в Египте. Персидские войска уже были отведены от вод Эгейского моря и побережья Азии либо условиями Каллийского договора, либо - если считать этот договор апокрифическим - поведением, практически аналогичным тому, к которому привели бы эти условия. *Союзники*, правда, могли иметь основания для претензий к Периклему либо за то, что он не уменьшил требуемую с них дань,

видя, что ее более чем достаточно для законных целей конфедерации, либо за то, что не собрал их позитивные настроения по поводу распоряжения ею. Но мы не находим, что именно этот аргумент был принят Фукидидом и его партией, и он не был рассчитан на то, чтобы найти поддержку ни у аристократов, ни у демократов в афинском собрании.

Признавая несправедливость Афин - несправедливость, общую для обеих партий в этом городе, не в меньшей степени для Кимона, чем для Перикла, - в том, что они действовали как деспот вместо вождя, и прекращая всякую апелляцию к активному и сердечному согласию своих многочисленных союзников, мы обнаружим, что планы Перикла были в то же время в высшей степени панэллинскими. Укрепляя и украшая Афины, развивая полную активность их граждан, обеспечивая их храмами, религиозными жертвоприношениями, произведениями искусства, торжественными празднествами - всем тем, что имело непревзойденную привлекательность, - он намеревался возвысить ее до чего-то большего, чем имперский город с многочисленными зависимыми союзниками. Он хотел сделать ее центром греческих чувств, стимулом греческого интеллекта и образцом сильного демократического патриотизма в сочетании с полной свободой индивидуальных вкусов и устремлений. Он хотел не только сохранить приверженность подвластных государств, но и привлечь восхищение и спонтанное почтение независимых соседей, чтобы обеспечить Афинам моральное превосходство, выходящее далеко за пределы их непосредственной власти. И ему удалось возвысить город до видимого величия, [32] которое заставило ее казаться даже намного сильнее, чем она была на самом деле, - и которое имело еще один эффект смягчения в умах подданных унижительного чувства покорности; в то время как он служил нормальной школой, открытой для чужаков со всех сторон, энергичных действий даже при полном разрешении критики, - элегантных занятий, которым следовали экономно, - и любви к знаниям без консервации характера. Таковы были взгляды Перикла в отношении своей страны в годы, предшествовавшие Пелопоннесской войне, как мы находим их записанными в его знаменитой Погребальной оратории, произнесенной в первый год этой войны, - изложение, навсегда запомнившееся настроениями и целями афинской демократии, как они были задуманы ее самым способным президентом.

Однако Фукидид и его партия выступили против этих предполагаемых расходов с таким ожесточением и остротой, что аристократы и демократы стали расходиться, и спор через некоторое время дошел до окончательного решения, которое афинская конституция предусматривала на случай двух противоположных и почти равных партийных лидеров, - голосования об остракизме. О конкретных деталях, предшествовавших этому остракизму, мы не знаем; но мы ясно видим, что общая позиция была такова, что остракизм был призван ее удовлетворить. Вероятно, голосование было предложено партией Фукидида, чтобы добиться изгнания Перикла, более влиятельного человека из двух и наиболее способного возбудить народную ревность. Вызов был принят Периклесом и его друзьями, и результат голосования был таков, что достаточное юридическое большинство приговорило Фукидида к остракизму. [33] И, похоже, это большинство должно было быть очень решительным, так как партия Фукидида была полностью сломлена им: и мы не слышим ни об одном другом человеке, столь же грозном в качестве лидера оппозиции, на протяжении всей оставшейся жизни Периклеса.

Остракизм Фукидида, очевидно, произошел примерно через два года [34] после заключения тридцатилетнего перемирия - 443-442 гг. до н. э., - и именно к следующему периоду относятся великие периклесовские произведения. Южная стена акрополя была построена из трофеев, привезенных Кимоном из его персидских походов; но третья из длинных стен,

соединяющих Афины с гаванью, была построена по проекту Перикла, в какое именно время, мы не знаем. Изначально завершенных длинных стен было две - одна от Афин до Пирея, другая от Афин до Фалерума, как уже говорилось, - пространство между ними было широким, и если бы они оказались в руках врага, то сообщение с Пиреем было бы прервано. Поэтому Периклес побудил народ построить третью или промежуточную стену, идущую параллельно первой стене до Пирея и на небольшом расстоянии[35] - кажется, около одного фурта от нее: таким образом, сообщение между городом и портом оказалось вне всякой возможности прерваться, даже если предположить, что враг проникнет внутрь фалерийской стены. По-видимому, именно в это время были построены великолепные доки и арсенал в Пейреусе, которые, как утверждает Исократес, обошлись в тысячу талантов,[36] а сам город Пейреус был заново выстроен с прямыми улицами, пересекающимися под прямым углом. Очевидно, это было чем-то новым в Греции - города вообще, и Афины в частности, были построены без какой-либо симметрии, ширины или непрерывности улиц:[37] и Гипподамус Милезиец, человек с большими достижениями в физической философии того времени, получил большую известность как самый ранний городской архитектор, поскольку выстроил Пейреус по регулярному плану. Рыночная площадь, или, по крайней мере, одна из них, постоянно носила его имя - Гипподамова агора.[38] В то время, когда так много великих архитекторов проявляли свой гений в строительстве храмов, мы не удивляемся тому, что структура городов также начала упорядочиваться: более того, нам говорят, что новый колониальный город Фурии, в который Гипподамов отправился в качестве поселенца, также был построен в той же систематической форме, что и прямые и широкие улицы.[39]

Новая схема, по которой был построен Пейреус, имела немалую ценность как одно из зримых доказательств военно-морского величия Афин. Но настоящую славу эпохи Периклея составили здания в Афинах и на акрополе. Новый театр, названный Одеоном, был построен для музыкальных и поэтических представлений во время великих панафинейских торжеств; затем великолепный храм Афины, названный Парфеноном, со всеми его шедеврами декоративной скульптуры и рельефами; наконец, дорогие порталы, возведенные для украшения входа в акрополь, на западной стороне холма, через которые проходили торжественные процессии в дни праздников. Похоже, что Одеон и Парфенон были закончены между 445 и 437 годами до н. э., а Пропилеи - несколько позже, между 437 и 431 годами до н. э., в последний год началась Пелопоннесская война.[40] Был также достигнут прогресс в восстановлении или реконструкции Эрехтейона, или древнего храма Афены Полиас, богини-покровительницы города, который был сожжен во время вторжения Ксеркса; Но разразившаяся Пелопоннесская война, похоже, помешала завершить строительство этого храма, а также великого храма Деметры в Элевсисе для празднования Элевсинских мистерий, храма Афены в Сунии и храма Немезиды в Рамнусе. Скульптура была не менее запоминающейся, чем архитектура: Три статуи *Athênê*, все работы Фидия, украшали акрополь, - одна колоссальная, сорок семь футов высотой, из слоновой кости, в Парфеноне,[41] - вторая из бронзы, называемая Лемнийской *Athênê*, - третья колоссальной величины, также из бронзы, называемая *Athênê Promachos*, помещенная между Пропилеями и Парфеноном, и видимая издали, даже мореплавателю, приближающемуся к Пейрею по морю.

Конечно, слава этих великолепных произведений искусства принадлежит не Периклему: великие скульпторы и архитекторы, которыми они были задуманы и исполнены, принадлежали к тому же периоду расширения и стимулирования афинской демократии, который вызвал к жизни аналогичный творческий гений в ораторском искусстве, драматической поэзии и философских

рассуждениях. Один человек, особенно с бессмертным именем, - Фидий, - родившийся немного раньше Марафонской битвы, был тем оригинальным умом, в котором возвышенные идеальные концепции подлинного искусства, кажется, отделились от той твердости исполнения и приверженности освященному типу, которыми были отмечены усилия его предшественников. [Он был главным руководителем и начальником всех тех декоративных дополнений, с помощью которых Периклес придал Афинам такое величие, какое никогда прежде не принадлежало ни одному греческому городу: архитекторы Парфенона и других зданий - Иктин, Калликратес, Коребус, Мнесиклес и другие - работали под его руководством; кроме того, у него была школа учеников и подчиненных, которым была доверена механическая часть его трудов. При всех великих дополнениях, которые Фидий сделал к величию Афин, его последнее и величайшее достижение было вне Афин - колоссальная статуя Зевса в великом храме Олимпии, выполненная в годы, непосредственно предшествовавшие Пелопоннесской войне. Эффект, произведенный этой грандиозной работой, высотой в шестьдесят футов, из слоновой кости и золота, воплотившей в видимом величии некоторые из самых грандиозных концепций греческой поэзии и религии, на умы всех зрителей в течение многих веков подряд, был таким, какого никогда не было и, вероятно, никогда не будет в анналах искусства, священного или профанного.

Если рассматривать эти грандиозные достижения в области искусства только с точки зрения их отношения к афинской и греческой истории, то это явления необычайной важности. Когда мы читаем о глубоком впечатлении, которое они произвели на греческих зрителей более позднего времени, мы можем судить о том, насколько огромным было влияние на то поколение, которое видело их начало и завершение. В 480 году до н. э. Афины были разрушены в результате оккупации Ксеркса: с тех пор греки видели, во-первых, перестройку и укрепление города в увеличенном масштабе, во-вторых, добавление Пирея с его доками и магазинами, в-третьих, объединение двух городов длинными стенами, что позволило сконцентрировать самое многочисленное население, богатство, оружие, корабли и т. д. в Греции, в Греции, [43] и, наконец, быстрое создание стольких новых чудес искусства - скульптур Фидия, а также картин тасийского художника Полигнота в храме Тесея и в портике, называемом Пикилек. Плутарх отмечает [44], что быстрота, с которой были завершены работы, была самым примечательным обстоятельством, связанным с ними; так же, вероятно, можно сказать и о влиянии на современных греков. Гигантские шаги, которыми Афины достигли своей морской империи, теперь немедленно сменились серией работ, которые запечатлели ее как имперский город Греции, придали ей видимость могущества, даже превосходящую реальность, и особенно посрамили старомодную простоту Спарты. [45] Расходы, несомненно, были огромными и могли быть понесены только в то время, когда в акрополе хранились большие сокровища, а также ежегодно поступала значительная дань: если мы можем доверять расчетам, которые кажутся правдоподобными, она не могла быть намного меньше трех тысяч талантов в совокупности, - около шестисот девяноста тысяч фунтов. [46] Расходование столь крупной суммы, разумеется, стало источником огромной частной выгоды для подрядчиков, торговцев, купцов, ремесленников разного профиля и т. д.: так или иначе, она распространялась на значительную часть всего города. И, судя по всему, материалы, использованные для большей части работ, были намеренно самыми дорогими, как наиболее соответствующие почитанию богов: мрамор был отвергнут как слишком распространенный для статуи Athênê, и вместо него была использована слоновая кость; [47] а золото, которым она была окружена, весило не менее сорока талантов. [48] Большие расходы на такие цели, считавшиеся благочестивыми по отношению к богам, были в то же время внушительными по отношению к греческому чувству, которое с восхищением относилось ко всем видам публичного шоу и великолепия и с благодарным почтением относилось к богатым людям, которые им потворствовали. Периклес прекрасно понимал, что видимое великолепие города, столь нового для всех его современников, заставит его огромную реальную силу казаться даже большей, чем она есть на самом деле, и таким образом обеспечит ему реальное, хотя и

непризнанное влияние - возможно, даже превосходство над всеми городами с греческим названием. И несомненно, что даже среди тех, кто больше всего ненавидел и боялся ее, в начале Пелопоннесской войны преобладали сильные чувства невольного почтения.

Шаг, предпринятый Периклесом, по-видимому, вскоре после начала тридцатилетнего перемирия, показывает, насколько это возвышение было его прямой целью и насколько он связывал его с представлениями о гармонии и пользе для Греции в целом. Он убеждал народ отправить посланников в каждый город с греческим названием, большой и малый, приглашая каждого назначить депутатов на конгресс, который должен был состояться в Афинах. На этом съезде должны были обсуждаться три вопроса. 1. Восстановление тех храмов, которые были сожжены персидскими захватчиками. 2. Выполнение клятв, данных по этому случаю богам. 3. Безопасность моря и морской торговли для всех. Двадцать престарелых афинян были посланы по адресу, чтобы добиться созыва этого съезда в Афинах, - общеэллинского съезда для общеэллинских целей. Но те, кто был послан в Беотию и Пелопоннес, полностью провалили свою задачу из-за ревности, теперь уже удивительной, Спарты и ее союзников: об остальных мы ничего не слышим, так как этого отказа было вполне достаточно, чтобы сорвать весь план.^[49] Следует отметить, что зависимые союзники Афин, похоже, были созданы так же, как и совершенно автономные города; так что их даннические отношения с Афинами не были поняты как унижающие их. Мы можем искренне сожалеть, что такой конгресс не состоялся, поскольку он мог бы открыть новые возможности для сближения и объединения разрозненных фракций греческого имени, - всеобъемлющее благо, к которому Спарта была одновременно некомпетентна и безразлична, но которое, возможно, было бы реализовано при Афинах, и, похоже, в данном случае Периклес искренне стремился к этому. События Пелопоннесской войны, однако, погасили все надежды на такой союз.

Четырнадцатилетний период между началом тридцатилетнего перемирия и Пелопоннесской войной отнюдь не был для Афин спокойным. На шестом году этого периода произошло грозное восстание Самоса.

Этот остров был самым могущественным из всех союзников Афин^[50] - более могущественным, чем Хиос или Лесбос, и стоял наравне с ними; то есть не платил денежной дани - привилегия по сравнению с остальными союзниками, - но предоставлял корабли и людей, когда их требовали, и сохранял, при этом условии, свою полную автономию, олигархическое правительство, укрепления и военную силу. Как и большинство других островов у побережья, Самос обладал частью территории на материке, между которой и территорией Милета находился небольшой город Приенк, один из двенадцати первоначальных членов, участвовавших в праздновании Пан-Ионического торжества. По поводу владения этим городом Приенка разразилась война между саамитянами и милезийцами на шестом году тридцатилетнего перемирия (440-439 гг. до н. э.): был ли город до этого независимым, мы не знаем, но в этой войне милезийцы потерпели поражение, и он перешел в руки саамитян. Потерпевшие поражение милезийцы, зачисленные в число союзников Афин, пожаловались ей на поведение саамитян, и их жалобу поддержала партия в самом Самосе, выступавшая против олигархии и ее порядков. Афиняне потребовали от двух спорящих городов вынести вопрос на обсуждение и решение в Афинах, на что саамитяне ответили отказом:^[51] после чего из Афин на остров было отправлено вооружение из сорока кораблей, на которых было установлено демократическое правительство; на острове был оставлен гарнизон, а на Лемнос были отправлены пятьдесят мужчин и столько же мальчиков из главных олигархических семей, чтобы служить заложниками. Однако некоторые из этих семей удалились на материк, где вступили в переговоры с Писсуфнесом, сатрапом Сардиса, чтобы получить помощь и восстановление. Получив от него семьсот наемных войск и переправившись ночью на остров, они, предварительно договорившись с олигархической партией, одолели саамскую

демократию, а также афинский гарнизон, который был отправлен в качестве пленников к Писсуфнесу. Далее им посчастливилось выкрасть с Лемноса своих же недавно отданных заложников, после чего они провозгласили открытое восстание против Афин, к которому присоединилась и Византия. Представляется, что, хотя таким образом они, конечно, привлекли бы на себя всю мощь Афин, первым их шагом было возобновление агрессивных военных действий против Милета,^[52] куда они отплыли с мощным флотом из семидесяти кораблей, двадцать из которых несли на борту войска.

Сразу же после получения этих серьезных сведений флот из шестидесяти трирем - вероятно, все, что были в полной готовности, - был отправлен на Самос под командованием десяти генералов, двое из которых были сам Периклес и поэт Софоклес,^[53] оба, по-видимому, входили в число десяти обычных стратегов года. Но шестнадцать из этих кораблей пришлось использовать, отчасти для созыва контингента с Хиоса и Лесбоса, куда Софоклес отправился лично;^[54] отчасти для наблюдения у берегов Карики за прибытием феникийского флота, который, как сообщалось, приближался; так что у Периклеса оставалось всего сорок четыре корабля в эскадре. Однако он без колебаний напал на саамский флот из семидесяти кораблей, возвращавшийся из Милета, у острова Тракия, и одержал победу. Вскоре он получил подкрепление в виде сорока кораблей из Афин и двадцати пяти из Хиоса и Лесбоса, чтобы высадиться в Самосе, где он одолел сухопутные силы саамитян и заблокировал гавань частью своего флота, окружив город со стороны суши тройной стеной. Тем временем саамитяне отправили Стесагора с пятью кораблями, чтобы он сообщил о приходе феникийского флота, и сообщение об их приближении снова стало настолько распространенным, что Периклес счел необходимым взять шестьдесят кораблей из ста двадцати пяти, чтобы следить за ними у берегов Каунуса и Карики, где он оставался около четырнадцати дней. Феникийский флот^[55] так и не пришел, хотя Диодор утверждает, что он действительно находился в плавании. Писсуфнес, конечно, обещал, а саамийцы ожидали его: но я склонен полагать, что сатрап, хотя и хотел сохранить надежду и поощрить восстание среди афинских союзников, все же не решился открыто нарушить соглашение Каллиаса, по которому персам запрещалось посылать флот на запад от Челидонского мыса. Однако отплытие Перикла настолько ослабило афинский флот у берегов Самоса, что саамийцы, внезапно выплыв из своей гавани в подходящий момент, по наущению и под командованием одного из своих самых выдающихся граждан, философа Мелисса, - удивили и разрушили блокирующую эскадру и одержали победу над оставшимся флотом, прежде чем корабли успели выйти в море.^[56] В течение четырнадцати дней они оставались хозяевами моря, ввозя и вывозя все, что считали нужным: и только после возвращения Периклеса их снова блокировали. Однако теперь к блокирующей эскадре прибавилось подкрепление - из Афин сорок кораблей под командованием Фукидида, Агнона и Формиона, двадцать под командованием Тлепола Муса и Антиклеса, а также тридцать с Хиоса и Лесбоса, - всего около двухсот кораблей. Против этой огромной силы Мелисс и саамийцы предприняли безуспешную попытку сопротивления, но вскоре были полностью блокированы и оставались в таком положении почти девять месяцев, пока не смогли больше держаться. Тогда они капитулировали, будучи вынужденными разрушить свои укрепления, сдать все свои военные корабли, дать заложников за будущее хорошее поведение и выплатить в установленные сроки все расходы на предприятие, которые, как говорят, достигали тысячи талантов. Византийцы тоже подчинились в то же время^[58].

Два или три обстоятельства заслуживают внимания в связи с этим восстанием как иллюстрация существующего состояния Афинской империи. Во-первых, для его подавления потребовались все силы Афин вместе с контингентами с Хиоса и Лесбоса, так что даже Византия, присоединившаяся к восстанию, похоже, осталась невредимой. Примечательно, что ни один из зависимых союзников вблизи Византии или где-либо еще не воспользовался столь благоприятным случаем, чтобы также восстать: этот факт явно указывает на то, что среди них не было особого недовольства. Если бы

восстание распространилось на другие города, возможно, Писсуфнес смог бы выполнить свое обещание привести феникийский флот, что стало бы серьезным бедствием для эгейских греков, от которого их удержала только бесперебойная поддержка Афинской империи.

Далее восставшие саамы обратились за помощью не только к Писсуфнесу, но и к Спарте и ее союзникам, среди которых на специальном собрании был официально обсужден вопрос о согласии или отказе. Несмотря на существовавшее тогда тридцатилетнее перемирие, из которого прошло только шесть лет и которое ни разу не было нарушено Афинами, многие союзники Спарты проголосовали за помощь саамитянам: какое участие приняла сама Спарта, мы не знаем, - но коринфяне были главными и решительными сторонниками отрицательного решения. Они не только утверждали, что перемирие недвусмысленно запрещает выполнять просьбу саамитян, но и признавали право каждой конфедерации наказывать своих отступников, и именно такое решение было принято в итоге, за что коринфяне впоследствии в глазах Афин считались главными авторами.^[59] Конечно, если бы проводилась противоположная политика, Афинская империя могла бы оказаться в большой опасности, феникийский флот, вероятно, тоже был бы привлечен, и дальнейший ход событий мог бы сильно измениться.

Опять же, после повторного завоевания Самоса мы должны считать почти само собой разумеющимся, что афиняне возобновят демократическое правительство, которое они установили незадолго до восстания. Однако, если они это и сделали, оно должно было быть снова свергнуто, без какой-либо попытки поддержать его со стороны Афин. Ведь мы почти не слышим о Самосе, пока через двадцать семь лет после этого, в 412 году до н. э., ближе к последней части Пелопоннесской войны, он не появляется с установленным олигархическим правительством геоморов, или землевладельцев, против которого в течение того же года народ поднимает успешное восстание.^[60] Поскольку Самос оставался в течение промежутка между 439 и 412 годами до н. э. неукрепленным, лишенным флота и зачисленным в число союзников Афин по выплате дани, - и как он, тем не менее, либо сохранил, либо приобрел олигархическое правительство, - мы можем заключить, что Афины не могли систематически вмешиваться, чтобы демократизировать насилием союзников, в случаях, когда естественная тенденция партий была направлена на олигархию. Состояние Лесбоса во время восстания, о котором пойдет речь далее, подтверждает этот вывод^[61].

По возвращении в Афины после завоевания Самоса Периклес был избран для произнесения заупокойной речи над убитыми на войне гражданами, которым, согласно обычаю, были устроены торжественные и публичные похороны в предместье под названием Керамейкус. Этот обычай, по-видимому, был введен вскоре после Персидской войны^[62] и, несомненно, способствовал росту патриотизма граждан, особенно когда оратор, избранный для его произнесения, обладал как личными достоинствами, так и ораторскими способностями Периклеса. Он дважды был заупокойным оратором по выбору граждан: один раз после саамского успеха, а второй раз - в первый год Пелопоннесской войны. Его речь по первому случаю до нас не дошла,^[63] но вторая, к счастью, сохранилась, по крайней мере, по существу, у Фукидида, который также кратко описывает погребальную церемонию, несомненно, одинаковую во всех случаях. Кости умерших воинов выставлялись в палатках за три дня до церемонии, чтобы родственники каждого из них имели возможность принести подношения: затем их клали в кипарисовые гробы и везли на повозках к месту общественного погребения в Керамейкусе; по одному гробу для каждого из десяти племен и один пустой диван, формально установленный, чтобы представить тех воинов, чьи кости не были обнаружены или собраны. За повозками с громкими причитаниями следовали родственники каждого из них, а за ними - многочисленная процессия горожан и чужеземцев. Как только кости опускали в могилу, какой-нибудь знатный гражданин, специально выбранный для

этой цели, поднимался на возвышение и обращался к толпе с соответствующей речью. Такой эффект произвела речь Периклеса после саамской экспедиции, что, когда он закончил ее, присутствовавшая аудитория выразила свое волнение самым живым образом, а женщины особенно увенчали его гирляндами, как победоносного атлета. [64] Только Эльпиника, сестра умершего Кимона, напомнила ему, что победы ее брата были более радостными, поскольку были одержаны над персами и финикийцами, а не над греками и родными людьми. А поэт-современник Ион, друг Кимона, сообщил о непристойном, по его мнению, хвастовстве Перикла, о том, что Агамемнон потратил десять лет на взятие чужого города, в то время как он за девять месяцев уничтожил первую и самую могущественную из ионийских общин. [65] Но если бы у нас была настоящая речь, мы, вероятно, обнаружили бы, что он приписывает всю честь подвига Афинам и их гражданам в целом, ставя их достижения в выгодное сравнение с достижениями Агамемнона и его хозяев, а не себя с Агамемноном.

Как бы ни относиться к этому хвастовству, не может быть никаких сомнений в том, что результат Саамской войны не только спас Афинскую империю от большой опасности, [66] но и сделал ее сильнее, чем когда-либо: а основание Амфиполя, которое произошло через два года после этого, укрепило ее еще больше. В последующие несколько лет мы также не слышим о каких-либо дальнейших тенденциях к недовольству среди его членов, вплоть до периода, непосредственно предшествовавшего Пелопоннесской войне. Общим для них чувством по отношению к Афинам, похоже, была не привязанность и не ненависть, а простое безразличие и согласие с ее господством. Такое количество позитивного недовольства, которое действительно существовало среди них, возникло не из-за фактических перенесенных трудностей, а из-за общего политического инстинкта греческого ума - желания отдельной автономии для каждого города; которое проявлялось в каждом из них через олигархическую партию, чья власть сдерживалась Афинами, и стимулировалось настроениями, передававшимися из греческих общин, не входящих в Афинскую империю. Согласно этим настроениям, положение подвластного Афинам считалось униженным и подневольным, и по мере того, как страх и ненависть к Афинам становились все более и более преобладающими среди союзников Спарты, они высказывали эти настроения все более и более решительно, чтобы искусственно поощрять недовольство среди подвластных Афинской империи. Обладая полным господством на море и всеми видами превосходства, необходимыми для удержания империи на островах, Афины, тем не менее, не имели в своих подданных никаких чувств, способных сделать ее империю популярной, кроме чувства общей демократии, которое, как кажется, сначала действовало без всякой заботы с ее стороны, чтобы поощрить его, пока ход Пелопоннесской войны не сделал такое поощрение частью ее политики. И если бы она даже искренне пыталась поддерживать в союзниках чувство общности интересов и привязанности к постоянной конфедерации, инстинкт политического разделения, вероятно, пресек бы все ее усилия. Но она не сделала этого, - с обычной моралью, которая вырастает в умах фактических обладателей власти, она считала себя вправе требовать повиновения как своего права; и некоторые из афинских ораторов в Фукидиде зашли так далеко, что презрели все притязания на законную власть, даже те, которые могли бы быть справедливо установлены, основывая превосходство Афин на голом признании превосходства силы. [67] Поскольку союзные города в основном находились под властью демократии - скорее под косвенным влиянием, чем под систематическим диктатом Афин, - но каждый из них имел свою собственную внутреннюю аристократию в состоянии оппозиции; поэтому движения за восстание против Афин зарождались в аристократии или в некоторых отдельных гражданах: В то время как народ, хотя и разделял в большей или меньшей степени стремление к автономии, все же испытывал либо страх перед собственной аристократией, либо симпатию к Афинам, что заставляло его то отступать от восстания, то решительно выступать против него. Ни Периклес, ни Клеон, конечно, не делают акцент на привязанности народа, в отличие от привязанности немногих, в этих зависимых городах; но на этом аргументе сильно настаивает Диодор, [68] в дискуссии о Митилене после его

сдачи: и по мере продвижения войны вопрос о союзе с Афинами или Спартой все больше и больше отождествлялся с внутренним преобладанием демократии или олигархии в каждом из них.[69] Мы обнаружим, что в большинстве случаев фактического восстания, когда нам сообщают о предшествующих обстоятельствах, этот шаг принимается или замышляется небольшим числом олигархических недовольных, без консультации с общим голосом; в то время как в тех случаях, когда с общим собранием предварительно советуется, действительно проявляется предпочтение автономии, но ничего похожего на ненависть к Афинам или решительную склонность к разрыву с ней. В случае с Митиленком[70] на четвертом году войны восстало аристократическое правительство, в то время как народ, как только получил оружие, фактически заявил о своей поддержке Афин: а отделение Хиоса, величайшего из союзников, на двадцатом году Пелопоннесской войны, даже после всех тягот, которые союзникам пришлось перенести в этой войне, и после разрушительных бедствий, которые Афины потерпели перед Сиракузами, - было заранее подготовлено и осуществлено тайными переговорами хиосской олигархии, не только без согласия, но и против воли собственного народа.[71] Точно так же восстание на Тасосе не произошло бы, если бы тасийская демократия не была заранее подорвана афинянином Пейсандром и его олигархическими единомышленниками. Так и в Аканте, Амфиполе, Мендах и других афинских зависимых территориях, отвоеванных у Афин Брасидом, мы видим, что последний тайно введен несколькими заговорщиками, а основная масса граждан не приветствует его сразу как освободителя, как люди, уставшие от афинского господства: Они соглашались, не без споров, когда Брасидас уже в городе, и его поведение, столь же примирительное, вскоре завоевывало их уважение: но ни в Аканфе, ни в Амфиполе он не был бы принят свободным решением граждан, если бы они не были встревожены безопасностью своих друзей, их имущества и урожая, все еще остававшихся в землях за стенами.[72] Эти конкретные примеры позволяют утверждать, что, хотя олигархия в различных союзных городах страстно желала избавиться от господства Афин, народ всегда отставал от них, иногда даже противился, и едва ли когда-либо был готов пойти на жертвы ради этой цели. Они разделяли всеобщее греческое стремление к отдельной автономии,[73] ощущали Афинскую империю как постороннее давление, от которого они были бы рады избавиться, если бы это изменение могло быть сделано безопасно: но их положение не было таким уж тяжелым, и они не упускали из виду опасные стороны такого изменения, - отчасти от принудительной руки Афин, отчасти от новых врагов, от которых Афины до сих пор защищали их, и не в последнюю очередь от их собственной олигархии. Конечно, разные города-союзники не все руководствовались одними и теми же чувствами, некоторые были настроены против Афин больше, чем другие.

Конкретные способы, с помощью которых афинское господство воспринималось союзниками как обида, были, по-видимому, в основном тремя. 1. Ежегодная дань. 2. Посягательства, поборы или, возможно, грабежи, совершаемые отдельными афинянами, которые часто пользовались своим превосходным положением, служа в военно-морском флоте, выполняя функции инспекторов в гарнизонах или занимаясь частной спекуляцией. 3. Обязательство, которое брали на себя союзники: значительная часть их судебных процессов должна была решаться в афинских дикастериях.

Что касается дани, то я уже отмечал, что с момента ее первого установления и до начала Пелопоннесской войны ее размер практически не увеличивался, составляя шестьсот талантов в год[74]: по-видимому, она пересматривалась, а распределение корректировалось каждый пятый год, в этот период, вероятно, менялись должностные лица, занимавшиеся сбором; но впоследствии мы увидим, что она становится все больше и обременительнее. Такое же постепенное увеличение можно, вероятно, утверждать и в отношении второй статьи неудобств - досады, причиняемой союзникам отдельными афинянами, в основном офицерами вооружения или влиятельными гражданами.[75] Несомненно, это всегда было более или менее реальной

жалобой, с того момента, как афиняне стали деспотами вместо вождей, но, вероятно, не было очень серьезным по масштабам до начала Пелопоннесской войны, когда восстание со стороны союзников стало более опасным, и когда гарнизоны, инспекторы и корабли для сбора дани стали более важными в работе Афинской империи.

Но третье обстоятельство, о котором говорилось выше, - подчинение союзных городов афинским дикастериям - рассматривалось в качестве причины недовольства больше, чем второе, и, кажется, было неоправданно преувеличено. Вряд ли можно сомневаться, что начало этой юрисдикции, осуществляемой афинскими дикастериями, относится к Делосскому синоду во время первого образования конфедерации. Непременным элементом этой конфедерации было то, что ее члены должны были отказаться от права на частную войну друг с другом и передать свои разногласия на мирный арбитраж, - соглашение, введенное даже в союзы, гораздо менее тесные, чем этот, и абсолютно необходимое для эффективного поддержания любых совместных действий против Персии.^[76] Конечно, среди этих широко разбросанных островов и морских портов Эгейского моря, связанных друг с другом отношениями дружбы, торговли и общих опасений, должно было возникнуть множество причин для споров, как общественных, так и частных. Делосский синод, состоявший из депутатов от всех, был естественным арбитражным советом для таких споров, и, таким образом, должна была сформироваться привычка признавать своего рода федеральный трибунал - мирно решать, насколько каждый союзник добросовестно выполнял свои обязанности, как по отношению к конфедерации в целом, так и к другим союзникам с их отдельными гражданами, - а также приводить в исполнение свои решения и наказывать непокорных членов, в соответствии с правом, которое требовала и осуществляла также Спарта и ее конфедерация.^[77] С самого начала афиняне были руководящими и обеспечивающими председателями этого синода, а когда он постепенно угас, они заняли его место и облеклись его функциями. Именно таким образом началась их судебная власть над союзниками, когда конфедерация превратилась в афинскую империю, - судебные функции синода были перенесены вместе с общим достоянием в Афины и, несомненно, значительно расширены. И в целом эти функции должны были принести больше пользы, чем вреда самим союзникам, особенно самым слабым и беззащитным среди них.

Среди тысячи городов, плативших дань Афинам, - если принять это числовое выражение Аристофана не в его точном значении, а просто как огромное количество, - если маленький город или один из его граждан имел повод для жалобы на более крупный, не было никакого канала, кроме Делосского синода или афинского трибунала, через который он мог бы получить разумную гарантию справедливого суда или правосудия. Не следует думать, что все частные жалобы и иски между гражданами и гражданами в каждом соответствующем городе-субъекте доставлялись на суд в Афины: однако мы не знаем точно, как проводилась граница между делами, доставляемыми туда, и делами, рассматриваемыми дома. Судя по всему, подвластные города были лишены права выносить смертные приговоры, которые могли быть вынесены только после предварительного суда и осуждения в Афинах:^[78] так что последние оставляли за собой право рассматривать большинство тяжких преступлений, или то, что можно назвать "высшей справедливостью" в целом. А политические обвинения, выдвигаемые гражданином против гражданина в любом подвластном городе за предполагаемую измену, коррупцию, неисполнение общественного долга и т. д., несомненно, передавались на рассмотрение в Афины - возможно, это была самая важная часть ее юрисдикции.

Но поддержание этого судебного верховенства не было направлено на то, чтобы Афины изменили отправление правосудия в каждом отдельном союзном городе: оно скорее регулировало отношения между городом и городом, между гражданами разных городов, между афинскими гражданами или офицерами и любым из этих союзных городов, с которыми они имели

отношения, между каждым городом как зависимым правительством с противоборствующими политическими партиями и имперским главой, Афинами. Все это были проблемы, которые императорские Афины должны были решить, и лучшим способом их решения был бы некий общий синод, исходящий от всех союзников: оставив это в стороне, мы обнаружим, что решение, предложенное Афинами, было, возможно, следующим за лучшим, и мы будем тем больше убеждены в этом, когда сравним его с процедурами, принятыми впоследствии Спартой, когда она уничтожила Афинскую империю. При Спарте общее правило заключалось в том, чтобы каждый из зависимых городов находился под управлением декадархии или олигархического совета из десяти главных граждан, а также спартанского гармоста, или губернатора, с небольшим гарнизоном под его командованием. Когда мы перейдем к описанию спартанской морской империи, выяснится, что эти порядки подвергали каждый зависимый город очень большому насилию и вымогательству, но в конечном итоге решали лишь часть проблемы: они служили лишь для поддержания каждого отдельного города под властью Спарты, не способствуя регулированию отношений между гражданами одного и другого города и не связывая империю в единое целое. Афиняне не ставили в своих зависимых городах губернаторов, аналогичных гармостам, хотя иногда делали это по особой необходимости; но их флоты и офицеры были в частых отношениях с этими городами; и поскольку главные офицеры отныне не были склонны злоупотреблять своим положением, возможность подачи жалоб, постоянно открытая для афинской народной дикастерии, служила и средством защиты, и гарантией от неправильного управления такого рода. Это была гарантия, которую сами союзники чутко чувствовали и ценили, как мы знаем из Фукидида: главным источником, из которого им приходилось опасаться зла, были афинские чиновники и главные граждане, которые могли злоупотреблять властью Афин в своих личных целях, - но они смотрели на "афинский демос как на карателя таких злодеев и как на убежище для себя". "Если бы народные дикастерии в Афинах не были так открыты, союзные города пострадали бы гораздо сильнее от афинских капитанов и чиновников в их личном качестве. И поддержание политической гармонии между императорским городом и союзником обеспечивалось Афинами через юрисдикцию своих дикастерий с гораздо меньшими затратами на несправедливость и насилие, чем Спартой; хотя олигархические партизаны иногда могли быть несправедливо осуждены в Афинах, но такая случайная ошибка была намного больше, чем беззакония спартанских гармостов и декархий, которые предавали смерти многих людей без всякого суда.

Следует также помнить, что афинские частные граждане, не работавшие официально, были разбросаны по всей империи в качестве клеруков, владельцев или торговцев; конечно, поэтому между ними и жителями подвластных городов, а также между самими этими городами возникали споры, когда обе стороны не принадлежали к одному и тому же городу. В таких случаях спартанская императорская власть осуществлялась таким образом, что практически не давала средств защиты, поскольку действия гармоста или декархии ограничивались одним отдельным городом; афинские же дикастерии, обладавшие универсальной компетенцией и публичным судом, предоставляли единственное средство защиты, которое допускала данная ситуация. Если тасийский гражданин считал себя обиженным историком Фукидидом, либо как командующий афинским флотом у станции, либо как владелец золотых рудников во Фракии, он имел средство защиты против последнего путем обвинения в афинских дикастериях, которым самый могущественный афинянин был подвластен не меньше, чем самый захудалый тасиец. Для гражданина любого союзного города могло быть иногда затруднительно подавать в афинские суды, но для него также часто было ценной привилегией иметь возможность подавать в эти суды на других, до которых он не мог добраться. Он имел свою долю как выгоды, так и трудностей. Афины, если и лишили своих союзников независимости, то, по крайней мере, дали им взамен преимущество центральной и общей судебной власти; это позволило каждому из них добиваться справедливости в отношении остальных, что было бы невозможно, по крайней мере, для более слабых, даже в условиях общей независимости.

Спарта же, похоже, даже не пыталась ничего подобного предпринять в отношении своих союзников, довольствуясь тем, что держала их под властью хармоста и партизанской олигархии; мы читаем анекдоты, которые показывают, что в Спарте нельзя было добиться справедливости даже за самые грубые нарушения, совершенные хармостом или частными спартанцами из Лаконии. Две дочери беотийца по имени Скедас из Лейктра в Беотии были сначала надруганы, а затем убиты двумя спартанскими гражданами; сын гражданина Орея в Эвбее также был надруган и убит вредителем Аристодекмом: [80] в обоих случаях отцы отправились в Спарту, чтобы рассказать о преступлении эфорам и другим властям, и в обоих случаях к их жалобам отнеслись с глухим вниманием. Но подобные преступления, совершенные афинскими гражданами или офицерами, могли быть официально разоблачены на публичном заседании дикастерии, и нет сомнений, что оба были бы сурово наказаны: мы увидим далее, что подобное преступление, совершенное афинским полководцем Пахесом в Митилене, стоило ему жизни перед афинскими дикастами. [81] Ксенофонт в своем мрачном и одностороннем представлении афинской демократии замечает, что если бы подданные-союзники не были подчинены правосудию в Афинах, они бы мало заботились об афинском народе и оказывали бы знаки внимания только тем отдельным афинянам - генералам, триерархам или посланникам, - которые посещали острова по делам службы; Но при существующей системе подданные были вынуждены посещать Афины либо в качестве истцов, либо в качестве ответчиков и, таким образом, были вынуждены обращаться в суд и к основной массе народа, то есть к тем более скромным гражданам, из которых формировались дикастерии; они обращались к дикастам в суде с просьбой о благосклонности или снисхождении. [82] Как бы это ни было верно, мы должны заметить, что предстать перед судом дикастерия было более легкой участью, чем быть осужденным без возмещения ущерба генералом на службе или быть вынужденным откупиться от его осуждения взяткой; и, кроме того, дикастерий был открыт не только для приема обвинений против граждан союзных городов, но и для рассмотрения жалоб, которые они предпочитали против других.

Если допустить, что афинские дикастерии были настолько несовершенны как трибуналы для отправления правосудия, мы должны помнить, что это были те же самые трибуналы, под которыми каждый афинский гражданин держал свое состояние или репутацию, и что уроженец любого подвластного города получал те же шансы на правосудие, что и уроженец Афин. Соответственно, мы видим, как афинский посланник в Спарте, непосредственно перед Пелопоннесской войной, ставит в заслугу имперскому городу именно это основание для равного обращения с подданными-союзниками. "Если бы наша власть (говорит он) перешла в другие руки, то сравнение сразу показало бы, насколько мы умеренны в ее использовании: но что касается нас, то сама наша умеренность несправедливо обращена скорее на наше унижение, чем на нашу похвалу. Ибо, хотя мы ставим себя в невыгодное положение в делах, рассматриваемых с нашими союзниками, и хотя мы назначили, чтобы такие дела рассматривались между собой и по законам, равным для обеих сторон, нас представляют как одушевленных не чем иным, как любовью к тяжбам." [83] "Наши союзники (добавляет он) были бы меньше, если бы мы открыто использовали нашу превосходящую силу по отношению к ним; но мы отбрасываем такие максимы и имеем с ними дело на равных: и они так привыкли к этому, что считают себя вправе жаловаться на каждое пустяковое разочарование в своих ожиданиях. [84] Они терпели худшие лишения под персами до того, как началась наша империя, и они будут страдать еще хуже под вами (спартанцами), если вам удастся завоевать нас и сделать нашу империю своей". История подтверждает хвастовство афинского оратора как в отношении времени, предшествовавшего Афинской империи, так и после нее. [85] И афинский гражданин, действительно, вполне мог считать не тяготами, а привилегией то, что подданным-союзникам разрешалось подавать на него в дикастерий и защищаться перед тем же трибуналом в случае нанесения ему обиды или предполагаемой измены афинской власти: тем самым они ставились вровень с ним самим. Еще больше он нашел бы оснований превозносить универсальную компетенцию этих дикастерий, обеспечивающих общую юридическую власть для

всех споров многочисленных общин империи друг с другом, а также для безопасного судоходства и общей торговли в Эгейском море. То, что на него поступали жалобы среди подвластных союзников, ничуть не удивительно: ведь Афинская империя в целом была несовместима с той отдельной автономией, на которую каждый город считал себя вправе претендовать, - а это был один из ее выдающихся и постоянно действующих институтов, а также яркий знак зависимости от подчиненных общин. И все же мы можем с уверенностью утверждать, что если империя вообще должна была сохраниться, то не было найдено способа поддерживать ее одновременно менее деспотичной и более полезной, чем надзорная компетенция дикастериес, - система, не основанная на простой "любви к тяжбам", если, конечно, и уж тем более не в тех мелких побочных интересах, о которых говорит Ксенофонт,[86] таких как увеличение таможенных пошлин, аренды домов и найма рабов в Пейреусе, а также увеличение прибыли глашатаев, вызванное наплывом женихов. Это было не что иное, как власть, изначально присущая Делосской конфедерации, арбитраж между членами и принуждение к исполнению обязанностей по отношению к целому, - власть, унаследованная Афинами от этого синода и расширенная для удовлетворения политических потребностей ее империи; для этого она была необходима, даже по мнению самого Ксенофонта.[87] Возможно, дикастериес не всегда был беспристрастен между афинскими гражданами в частном порядке или афинским содружеством в целом и подданными-союзниками, и в этом случае у последних были веские основания жаловаться; но, с другой стороны, у нас нет оснований подозревать его в преднамеренной или постоянной несправедливости или в каких-либо других недостатках, кроме тех, которые были неотделимы от его конституции и процедуры, независимо от того, какими бы ни были стороны в суде.

Сейчас мы рассматриваем Афинскую империю, какой она была до Пелопоннесской войны; До усиления поборов и умножения восстаний, к которым привела эта война, до жестокостей, сопровождавших подавление этих восстаний и так глубоко запятнавших характер Афин, до обострения свирепости, недоверия, презрения к обязательствам и хищного насилия, которые, как так выразился Фукидид, были влиты в греческое лоно лихорадкой всепроникающего поединка.[88] До этого времени было много восстаний в афинских зависимых районах, от самого раннего на Наксосе до самого позднего на Самосе: все они были успешно подавлены, но ни в одном случае Афины не проявляли такой жесткости, как в отношении Митилена, Скионка и Мелоса, как мы увидим в дальнейшем. Политика Периклеса, теперь, когда его власть в Афинах была в полном объеме, была осторожной и консервативной, он был против насильственного расширения империи, а также против увеличения бремени для зависимых союзников, которое бы повлекли за собой такие планы, и стремился поддерживать гарантированную торговлю в Эгейском море, от которой все они должны были выиграть, - не без убеждения, что рано или поздно между Афинами и Спартой должно возникнуть соперничество, и что ресурсы, равно как и нравы союзников, необходимо беречь на случай непредвиденных обстоятельств. Если мы прочитаем у Фукидида речь посланника из Митилены[89] в Олимпии, обращенную к лакедемонянам и их союзникам на четвертом году Пелопоннесской войны по случаю восстания города против Афин, - речь с просьбой о помощи и изложением самых веских доводов против Афин, которые только можно привести, - мы будем удивлены, насколько слабы эти доводы и насколько оратор осознает их слабость. У него нет ничего похожего на практические обиды и притеснения, которые можно было бы предъявить императорскому городу, - он не останавливается на огромной дани, безнаказанных проступках афинских офицеров, трудностях доставки дел на суд Афин или других страданиях подданных в целом, - ему нечего сказать, кроме того, что они беззащитные и униженные подданные и что Афины властвуют над ними без и против их собственного согласия: А в случае с Митиленой и этого сказать было нельзя, поскольку она находилась на положении равного, вооруженного и самостоятельного союзника. Конечно, это состояние вынужденной зависимости было таким, от которого союзники или те из них, кто мог стоять самостоятельно, естественно и разумно избавлялись при любой возможности:[90] но

отрицательные свидетельства, почерпнутые из речи митиленского оратора, значительно подтверждают точку зрения, которую отстаивал афинский оратор в Спарте непосредственно перед войной, - что, помимо факта такой вынужденной зависимости, союзникам практически не на что жаловаться. Более того, такой город, как Митилен, был бы достаточно силен, чтобы защитить себя и свою торговлю без помощи Афин: но для более слабых союзников распад Афинской империи значительно снизил бы безопасность как людей, так и торговли в водах Эгейского моря, и их свобода была бы приобретена ценой значительных положительных недостатков[91].

Почти весь греческий мир, не считая италийских, сицилийских и африканских греков, был в это время включен либо в Лакедемонский союз, либо в Афинский, так что тридцатилетнее перемирие гарантировало приостановку военных действий повсюду. Более того, лакедемонские конфедераты большинством голосов решили отклонить просьбу Самоса о помощи в восстании против Афин: таким образом, в качестве практического международного права было установлено, что ни одна из этих двух великих совокупностей не должна вмешиваться в дела другой, и что каждая должна сдерживать или наказывать своих непокорных членов.[92] В этом отказе, существенно повлиявшем на ход событий, главными советниками были коринфяне, несмотря на страх и неприязнь к Афинам, побудившие многих союзников голосовать за войну.[93] Положение коринфян было своеобразным; в то время как Спарта и другие ее союзники были в основном сухопутными державами, Коринф с ранних времен был морской, торговой и колониальной державой - он действительно когда-то был первой морской державой Греции, наряду с Эгиной; но либо он совсем не увеличил ее за последние сорок лет, либо, если и увеличил, его сравнительное военно-морское значение было полностью потоплено гигантской экспансией Афин. У коринфян была и торговля, и колонии - Лаукас, Анакторий, Амбракия, Коркира и т. д., расположенные вдоль или около побережья Эпира; у них также была колония Потидея, расположенная на перешейке Палленка во Фракии и тесно связанная с ними; интерес их торговли делал их крайне нерасположенными к любым столкновениям с превосходящим флотом афинян. Именно это соображение побудило их противостоять порыву лакедемонских союзников к войне за Самос: хотя их чувства ревности и ненависти к Афинам были сильны даже сейчас,[94] возникшие в результате борьбы за несколько лет до этого за приобретение Мегары для афинского союза, благоразумие подсказывало, что в войне против первой морской державы Греции они наверняка окажутся в наибольшем проигрыше. Пока политика Коринфа была направлена на мир, существовала вероятность, что лакедемонский союз будет избегать войны или, по крайней мере, примет ее только в случае крайней необходимости. Но случай, далекий и неожиданный, произошедший примерно через пять лет после восстания на Самосе, перечеркнул все эти шансы и не только погасил расположение Коринфа к миру, но даже превратил его в зачинщика войны.

Среди различных колоний, основанных Коринфом вдоль побережья Эпира, большее число признавало с ее стороны гегемонию, или верховенство. [95] Какую степень реальной власти и вмешательства подразумевало это признание, помимо почетного достоинства, мы не в состоянии сказать; но коринфяне были популярны, и их вмешательство не выходило за рамки того, что сами колонисты считали приемлемым. В этих дружественных отношениях, однако, могущественная Коркира составляла вопиющее исключение, обычно враждовавшая, иногда в самой острой форме, со своей матерью-городом и отказывавшая ей даже в привычных дарах почета и сыновнего уважения. Именно на фоне таких привычных недоброжелательных отношений между Коринфом и Коркирой разгорелся спор о городе Эпидамне, известном впоследствии, в римские времена, как Диррахий, в районе современного Дураццо, - колонии, основанной коркирянами на побережье Иллирии, в Ионическом заливе, значительно севернее их собственного острова. Так

сильна была святость греческих обычаев в отношении основания колоний, что коркирцы, несмотря на свою вражду с Коринфом, были вынуждены выбрать экиста, или главного основателя Эпидамна, из этого города - гражданина гераклидского происхождения по имени Фалий, вместе с которым прибыли и некоторые коринфские поселенцы: Так что Эпидамн, хотя и был коркирской колонией, тем не менее являлся признанной внучкой, если можно так выразиться, Коринфа, память о котором увековечивалась торжественными мероприятиями, периодически проводимыми в честь экиста.[96]

Основанный на перешейке выступающего полуострова на морском побережье иллирийской Таулантии, Эпидамн поначалу был очень процветающим и приобрел значительную территорию, а также многочисленное население. Но в течение нескольких лет, непосредственно предшествовавших тому периоду, к которому мы сейчас подошли, он подвергся большим потрясениям: внутренняя смута между олигархией и народом, усугубленная нападениями соседних иллирийцев, подорвала его власть; а недавняя революция, в ходе которой народ низложил олигархию, еще больше ослабила ее, поскольку олигархические изгнанники, собрав силы и вступив в союз с иллирийцами, сильно преследовали город как на море, так и на суше. Эпидамнийская демократия оказалась в таком затруднительном положении, что вынуждена была обратиться за помощью к Коркире: ее посланцы в качестве просителей сели в храме Герки, взывали к милосердию коркирцев и просили их выступить посредниками в переговорах с изгнанной олигархией и помощниками против иллирийцев. Хотя от самих коркирцев, управляемых демократическим путем, можно было бы ожидать сочувствия к этим сторонникам и их мольбам, однако их чувства были прямо противоположными: ведь именно эпидамнийская олигархия была главным образом связана с Коркирой, откуда эмигрировали их предки и где все еще можно было найти их семейные захоронения, а также их родственников:[97] в то время как демос, или мелкие собственники и торговцы Эпидамна, возможно, были разнородного происхождения, и, во всяком случае, не имели видимых следов древней родословной на материнском острове. Получив отказ в помощи из Коркиры и сочтя свое бедственное положение невыносимым, эпидамнийцы решили обратиться в Коринф, но так как этот шаг был сомнительным, их посланникам было поручено сначала узнать мнение дельфийского бога. Получив безоговорочное согласие его оракула, они отправились в Коринф со своей миссией, описав свое бедственное положение, а также безрезультатное обращение в Коркиру, - передав Эпидамн коринфянам как своим экистам и вождям, с самыми настоятельными просьбами о немедленной помощи, чтобы уберечь его от разорения, - и не упуская возможности настоять на только что полученной божественной санкции. Было легко убедить коринфян, которые, рассматривая Эпидамн как совместную колонию Коринфа и Коркиры, считали себя не только уполномоченными, но и обязанными взять на себя ее защиту - к такому решению их подтолкнула древняя вражда с Коркирой. Они быстро организовали экспедицию, состоящую частично из предполагаемых новых поселенцев, частично защитных военных сил - коринфских, лейкадских и амбракийских: это объединенное тело, чтобы избежать сопротивления со стороны мощного коркирского флота, было отправлено по суше до Аполлонии, а оттуда перевезено по морю в Эпидамн[98].

Прибытие такого подкрепления спасло город на время, но навлекло на него еще большую опасность со стороны коркирцев, которые рассматривали вмешательство Коринфа как посягательство на свои права и возмущались самым решительным образом. Их чувства еще больше разжигали эпидамнийские олигархические изгнанники, которые, прибыв на остров с просьбами о помощи и воззваниями к гробницам своих коркирских предков, нашли готовое сочувствие. Их разместили на борту флота из двадцати пяти трирем, впоследствии усиленного еще одним подкреплением, которое было отправлено в Эпидамн с оскорбительным требованием немедленно восстановить их, а новоприбывших из Коринфа уволить. Не обращая внимания на эти

требования, коркиряне начали блокаду города с сорока кораблями и вспомогательным сухопутным отрядом иллирийцев, объявив, что любой человек внутри, гражданин или нет, может спокойно покинуть город, если пожелает, но с ним поступят как с врагом, если он останется. Сколько человек воспользовалось этим разрешением, мы не знаем, но, по крайней мере, достаточно, чтобы передать в Коринф весть о том, что их войска в Эпидамне находятся в тесной осаде. Коринфяне немедленно поспешили снарядить вторую экспедицию, достаточную не только для спасения города, но и для преодоления сопротивления, которое наверняка окажут коркиряне. Помимо тридцати трирем и трех тысяч гоплитов, они обратились за помощью в виде кораблей и денег ко многим своим союзникам: восемь полностью укомплектованных кораблей предоставила Мегара, четыре - Палес на острове Кефаллекния, пять - Эпидавр, два - Трезен, один - Гермiona, десять - Леука и восемь - Амбракия, а также денежные взносы из Фив, Флиуса и Элиды. Кроме того, они объявили о публичном приглашении новых поселенцев в Эпидамн, обещая всем равные политические права; каждому, кто желал стать поселенцем, не будучи готовым сразу же уехать, предоставлялась возможность застраховать свое будущее принятие, внося сумму в пятьдесят коринфских драхм. Хотя могло показаться, что перспективы этих новых поселенцев были полны сомнений и опасностей, но такова была уверенность в защите Коринфа со стороны метрополии, что многие были готовы присоединиться к флоту, а также внести залог за свободу будущего перехода.

Все эти действия Коринфа, хотя и были предприняты с намеренной враждебностью по отношению к Коркире, не предварялись никакими формальными предложениями, как это было принято в греческих государствах, - суровость действий проистекала не только из ее ненависти к Коркире, но и из особого политического положения этого острова, который стоял в одиночестве и изоляции, не включенный ни в афинский, ни в лакедемонский союз. Коркиряне, прекрасно зная о серьезных приготовлениях, ведущихся сейчас в Коринфе, и о союзе стольких городов против них, чувствовали себя едва ли способными противостоять им в одиночку, несмотря на свое богатство и грозные военно-морские силы в сто двадцать трирем, уступавшие только афинским. Они попытались предотвратить бурю мирным путем, уговорив нескольких посредников из Спарты и Сикиона сопровождать их в Коринф; Там они потребовали, чтобы войска и поселенцы, недавно отправленные в Эпидамн, были выведены, отрицая всякое право Коринфа вмешиваться в дела этой колонии, и в то же время предложили, если вопрос будет спорным, передать его на рассмотрение либо беспристрастного пелопоннесского города, либо дельфийского оракула; этот арбитр должен определить, какому из двух городов действительно принадлежит Эпидамн как колония, и решение должно быть послушным обоим. Они торжественно отказались прибегать к оружию, которое, если его не прекращать, вынудит их искать новых союзников, к которым они не захотят обращаться. На это коринфяне ответили, что не могут принимать никаких предложений, пока коркирские осаждающие силы не будут выведены из Эпидамна, на что коркирцы ответили, что выведут их немедленно, при условии, что новые поселенцы и войска, посланные Коринфом, будут удалены одновременно. Либо это должно быть взаимное отступление, либо коркиряне согласятся на такое *statu quo* с обеих сторон, пока арбитры не примут решение"[99].

Хотя коркирцы были неоправданно суровы, отвергнув первое прошение Эпидамна, в их предложениях, сделанных в Коринфе, правота и справедливость были на их стороне. Но коринфяне зашли слишком далеко и заняли слишком решительно агрессивную позицию, чтобы прислушаться к арбитражу, и поэтому, как только их вооружение было снаряжено, они отплыли в Эпидамн, послав глашатая официально объявить войну коркирянам. Как только вооружение, состоявшее из семидесяти трирем под командованием Аристея, Калликрата и Тиманора и двух тысяч пятисот гоплитов под командованием Архетима и Изархида, достигло мыса Актиум в устье Амбракийского залива, его встретил коркирейский глашатай в маленькой лодке, запретивший дальнейшее продвижение, - призыв, конечно, не помог, и за ним быстро последовало появление

коркирейского флота. Из ста двадцати трирем, составлявших военно-морской флот острова, сорок были задействованы в осаде Эпидамна, но все остальные восемьдесят были приведены в боевую готовность; старые корабли были специально отремонтированы для этого случая. В последовавшем сражении они одержали полную победу, уничтожив пятнадцать коринфских кораблей и взяв значительное количество пленных. В день победы Эпидамн сдался осаждавшему его флоту по договору, согласно которому находившиеся в нем коринфяне должны быть взяты в плен, а остальные новоприбывшие - проданы в рабство. После поражения коринфяне и их союзники не стали долго удерживать море, а разошлись по домам, в то время как коркиряне остались бесспорными хозяевами соседнего моря. Воздвигнув трофей на Леукимме, прилегающем мысе своего острова, они, согласно печальной практике греческих войн, принялись убивать всех пленных, за исключением коринфян, которых везли домой и держали как ценный приз для переговоров. Затем они начали мстить тем союзникам Коринфа, которые оказали помощь в недавней экспедиции: они опустошили территорию Леукаса, сожгли Киллен, морской порт Элиса, и нанесли такой урон, что коринфяне были вынуждены в конце лета отправить второе войско к мысу Актиум для обороны Леукаса, Анакториума и Амбракии. Коркирская флотилия вновь собралась у мыса Леукимме, но дальнейших действий не последовало, и с наступлением зимы оба флота были распущены[100].

Коринфяне были глубоко унижены поражением на море, а также рассеянием поселенцев, которых они собрали вместе; и хотя их первоначальный проект был сорван потерей Эпидамна, они еще больше стремились к полной мести своему старому врагу Коркире. Целых два года после битвы они занимались строительством новых кораблей и обеспечением вооружения, соответствующего их целям, и в частности отправились не только в пелопоннесские порты, но и на острова под властью Афин, чтобы взять на службу лучших моряков. В результате таких длительных усилий девяносто хорошо оснащенных коринфских кораблей были готовы к отплытию на третий год после битвы, а весь флот, когда его усилили союзники, составлял не менее ста пятидесяти судов: двадцать семь трирем из Амбракии, двенадцать из Мегары, десять из Элиса, столько же из Леукаса и одна из Анакториума. Каждая из этих союзных эскадр имела своих офицеров, а коринфянин Ксеноклейдес и еще четверо были главнокомандующими[101].

Но тщательно продуманные приготовления в Коринфе не были секретом для коркирян, которые, кроме того, хорошо знали многочисленных союзников, которыми мог командовать этот город, и его обширное влияние во всей Греции. Столь грозное нападение было выше их сил, и они не могли отважиться на него в одиночку и без посторонней помощи. Они никогда не записывались в союзники ни Афин, ни Лакедемонии: их гордостью и политикой всегда было придерживаться отдельной линии поведения, что, благодаря своему богатству, силе и особому положению, они до сих пор могли делать в безопасности. Однако то, что они могли действовать безопасно, рассматривалось и друзьями, и врагами как особенность их острова; отсюда можно сделать вывод, насколько мало островов в Эгейском море, находящихся сейчас под властью Афинской империи, смогли бы сохранить реальную независимость, если бы эта империя распалась. Но хотя Коркира спокойно проводила эту политику изоляции вплоть до настоящего момента, рост и консолидация сил в других частях Греции были настолько велики, что даже она не могла больше ее проводить. Просить о приеме в Лакедемонскую конфедерацию, где ее непосредственный враг пользовался первостепенным влиянием, было невозможно, и ей оставалось только искать союза с Афинами. У этого города еще не было зависимых территорий в Ионическом заливе; она не состояла в родстве и не имела никаких дружеских отношений с дорийской Коркирой. Но если не было никаких предшествующих фактов или чувств, которые могли бы заложить основу для союза, то не было и ничего, что могло бы его запретить: ведь в перемирии между Афинами и Спартой было четко оговорено, что любой город, не состоящий в союзе ни с теми, ни с другими, может присоединиться к ним по своему желанию. [Хотя предложение о союзе было формально открыто

для принятия или отказа, время и обстоятельства, при которых оно должно было быть сделано, делали его полным серьезных случайностей для всех сторон; и коркирские посланники, впервые посетившие Афины с целью заключения союза, прибыли туда с сомнительными надеждами на успех, хотя для их острова вопрос был вопросом жизни или смерти.

Согласно современным теориям управления, объявлять войну, заключать мир и заключать союзы - это функции, которые должны быть возложены на исполнительное правительство, помимо представительного собрания. Согласно древним представлениям, это были именно те вопросы, которые необходимо было выносить на решение полного собрания народа: и в действительности они выносились на рассмотрение даже при правительствах, лишь отчасти демократических; гораздо больше, конечно, при полной демократии Афин. Коркирские посланники, прибыв в город, сначала открывали свои дела стратигам, или генералам государства, которые назначали день, когда они должны были быть заслушаны перед общественным собранием, предварительно уведомив об этом граждан. Миссия не была тайной, так как коркирцы сами сообщили о своем намерении в Коринфе, когда предложили передать ссору в арбитраж: даже без такого уведомления политическая необходимость этого шага была достаточно очевидна, чтобы коринфяне его предвидели. Наконец, их *доверенные лица* в Афинах, афинские граждане, следившие за интересами Коринфа, государственными и частными, состоявшие в доверительной переписке с этим правительством, - и которые, иногда по назначению, иногда добровольно, частично выполняли функции послов в современную эпоху, - сообщили бы им о прибытии коркирских посланников. Таким образом, в день, назначенный для заслушивания последних перед общественным собранием, коринфские посланники также присутствовали, чтобы ответить им и воспротивиться удовлетворению их мольбы.

Фукидид привел в своей истории речи обоих, то есть речи собственного сочинения, но представляющие, по всей вероятности, суть того, что было сказано на самом деле и что он, возможно, сам слышал. Несмотря на то, что эти речи пронизаны особым стилем и жесткой структурой историка, они все же являются одними из самых простых и деловых во всем его труде, досконально представляя нам существующую ситуацию, которая была одной из сомнений и трудностей, представляя доводы значительной силы с каждой из противоположных сторон. Коркиряне, сокрушаясь о своей прежней неосмотрительности, побудившей их отложить поиски союза до наступления нужного часа, представили себя в качестве претендентов на дружбу Афин на самых веских основаниях общих интересов и взаимной пользы. Хотя опасность и нужда в поддержке афинян были уже неотложными, они не были навлечены на них несправедливой ссорой или позорным поведением: Они предложили Коринфу справедливый арбитраж в отношении Эпидамна, и их просьба была отклонена, что показало, где была правда в этом деле; кроме того, теперь они в одиночку противостояли не одному Коринфу, который они уже победили, а грозной конфедерации, организованной под ее эгидой, включая отборных моряков, нанятых даже у союзников Афин. Удовлетворив их просьбу, Афины, прежде всего, нейтрализовали бы это нецелое использование своих собственных моряков и в то же время наложили бы на себя нерушимые обязательства, защитили бы правое дело и обеспечили бы себе самое важное подкрепление. Ведь коркирские морские силы были самыми мощными в Греции, и теперь они находились в пределах ее досягаемости: если, отклонив предложение, она позволит Коркире быть побежденной, эти морские силы перейдут на сторону ее врагов: ведь таковыми были Коринф и Пелопоннесский союз, и вскоре они будут открыто заявлены. При существующем положении Греции столкновение между этим союзом и Афинами не могло быть отложено надолго, и именно с учетом этого обстоятельства коринфяне стремились захватить Коркиру вместе с ее морскими силами.^[103] Политика Афин, таким образом, настоятельно требовала, чтобы она сорвала этот замысел, оказав сейчас помощь коркирянам. По условиям тридцатилетнего перемирия ей было позволено это сделать, и хотя некоторые могут возразить,

что в нынешней критической ситуации принятие Коркиры равносильно объявлению войны Коринфу, но факт опровергнет такие предсказания; ведь Афины так укрепят свои позиции, что их враги больше, чем когда-либо, не захотят на нее нападать. Она не только сделает свои морские силы неотразимо мощными, но и станет хозяйкой сообщения между Сицилией и Пелопоннесом, и таким образом не позволит сицилийским дорийцам посылать подкрепления пелопоннесцам[104].

На эти заявления коркирцев ответили коринфские ораторы. Они осудили эгоистичную и незаконную политику Коркиры, которую она проводила не только в отношении Эпидамна, но и во все прежние времена[105], и которая была истинной причиной того, что она всегда стыдилась честных союзников. Прежде всего, она всегда поступала непорядочно и нечестиво по отношению к Коринфу, своему городу-матери, с которым ее связывали те узы колониальной верности, которые признавала греческая мораль и которым охотно подчинялись другие коринфские колонии.[Эпидамн был не коркирской, а коринфской колонией, и коркирцы, совершив ошибку при его осаде, предложили арбитраж, не желая выводить свои войска на время арбитража: теперь они нагло пришли просить Афины стать соучастниками такой несправедливости. Положение о тридцатилетнем перемирии, казалось бы, должно было позволить Афинам принять их в качестве союзников, но это положение не должно было разрешать прием городов, уже связанных колониальными узами верности в другом месте, - тем более прием городов, вовлеченных в активную и продолжающуюся ссору, где любое покровительство одной стороне в ссоре неизбежно означало объявление войны против противоположной. Если какая-либо из сторон имела право обратиться за помощью к Афинам в этом случае, то Коринф имел большее право, чем Коркира: ведь последняя никогда не имела никаких дел с афинянами, в то время как Коринф не только все еще находился в дружеских отношениях с ними в силу тридцатилетнего перемирия, но и оказал им существенную услугу, отговорив пелопоннесских союзников от помощи восставшему Самосу. Таким образом, коринфяне поддерживали принцип греческого международного права, согласно которому каждый союз имеет право наказывать своих непокорных членов: теперь они призывали Афины соблюдать этот принцип, не вмешиваясь в отношения между Коринфом и его колониальными союзниками,[107] тем более что нарушение этого принципа могло бы неприятно отразиться на самих Афинах с их многочисленными зависимыми территориями. Что касается опасения надвигающейся войны между Пелопоннесским союзом и Афинами, то такая возможность была пока неопределенной и, возможно, вообще не наступит, если Афины поступят справедливо и согласятся на примирение с Коринфом в этот критический момент; но она непременно наступит, если она откажется от такого примирения, и опасности, которые это повлечет за собой для Афин, будут гораздо больше, чем обещанное военно-морское сотрудничество Коркиры.[108]

Такова суть аргументов, которые приводили спорящие посланники перед афинским общественным собранием в ходе этого судьбоносного спора. Дебаты продолжались два дня, а затем собрание было перенесено на утро: так велико было число выступавших и, вероятно, расхождение в их взглядах. К сожалению, Фукидид не приводит этих афинских дискуссий, даже Периклеса, который определил конечный результат. Эпидамн с его спорным вопросом о праве метрополии занимал мало внимания афинского собрания: но коркирская морская сила была действительно огромной проблемой, поскольку вопрос заключался в том, должна ли она выступать на их стороне или против них, - проблемой, которую ничто не могло уравновесить, кроме опасностей Пелопоннесской войны. "Давайте избежим этого последнего бедствия (таково было мнение многих) даже ценой того, что Коркира будет завоевана, а все ее корабли и моряки перейдут на службу Пелопоннесской лиге". "На самом деле вы не избежите ее даже такой великой жертвой (отвечали другие): действуют порождающие причины войны, и она неизбежно наступит, что бы вы ни решили относительно Коркиры: воспользуйтесь нынешней возможностью, вместо того чтобы в конечном счете быть вынужденными начать войну с большими

сравнительными неудобствами". Из этих двух мнений первое сначала решительно преобладало в собрании;[109] но постепенно они пришли ко второму, которое соответствовало твердому убеждению Периклеса. Однако было решено выбрать некий средний курс, чтобы спасти Коркиру и, по возможности, избежать нарушения существующего перемирия и последующей Пелопоннесской войны. Выполнение просьбы коркирцев, безоговорочное принятие их в союзники, поставило бы афинян перед необходимостью сопровождать их в нападении на Коринф, если потребуются, что было бы явным нарушением перемирия. Поэтому был заключен лишь союз в сугубо оборонительных целях, чтобы сохранить Коркиру и ее владения в случае нападения на них: для поддержки этой решимости не нашлось сил больше, чем эскадра из десяти трирем под командованием Лакедемония, сына Кимона. Небольшая численность этих сил должна была убедить коринфян в отсутствии агрессии против их города, спасти Коркиру от разорения и фактически разжечь войну так, чтобы ослабить и искалечить военно-морские силы обеих сторон,[110] а это был лучший результат, на который могли надеяться Афины. Лакедемоний и двое его коллег получили четкие инструкции: не вступать в бой с коринфянами, если только они не приближаются к Коркире или какому-либо коркирскому владению с целью нападения, но в этом случае делать все возможное в обороне.

Большое коринфское войско в сто пятьдесят парусов вскоре вышло из залива и достигло гавани на побережье Эпира, у мыса Хеймериум, почти напротив южной оконечности Коркиры: там они основали военно-морскую станцию и лагерь, призвав на помощь значительные силы из дружественных эпирских племен, обитавших поблизости. Коркирский флот из ста десяти кораблей под командованием Мейкиадеса и двух других, вместе с десятью афинскими кораблями, расположился на одном из прилегающих островов под названием Сибота, а сухопутные войска и тысяча закинфских гоплитов были размещены на коркирском мысе Леукимме. Обе стороны приготовились к бою: коринфяне, взяв на борт трехдневный запас провизии, ночью отплыли от Хеймерии и утром встретили в коркирскую флотилию, которая двигалась навстречу им, разделившись на три эскадры, по одной под командованием каждого из трех генералов, и имея десять афинских кораблей крайними справа. Напротив них стояли отборные корабли коринфян, занимавшие левую часть их общего флота: далее шли различные союзники, а крайними справа были мегаряне и амбракиоты. Никогда прежде два столь многочисленных флота, оба греческие, не вступали в бой; но тактика и маневрирование не соответствовали численности. Палубы были переполнены гоплитами и боцманами, а гребцы внизу, по крайней мере, на коркирской стороне, в значительной степени были рабами: корабли с обеих сторон, поданные вперед так, чтобы двигаться в прямом столкновении, нос к носу, сцепились, и началась ожесточенная рукопашная схватка между войсками на борту каждого, как если бы они были на суше, - или, скорее, как на абордажных вечеринках: Все это происходило по старомодной системе греческого морского боя, без каких-либо усовершенствований, которые были введены в афинский флот в течение последнего поколения. В афинском морском нападении корабль, гребцы и рулевой имели гораздо большее значение, чем вооруженное войско на палубе: силой и точностью гребли, быстрой и внезапной сменой направления, обманными приемами афинский капитан стремился направить острый клюв своего судна не на нос, а на более слабые и уязвимые части противника - борта, весла или корму. Таким образом, корабль становился в руках команды настоящим оружием нападения, которое должно было прежде всего вывести противника из строя и сделать его неуправляемым на воде; и только после этого вооруженные войска на палубе начинали свои действия.[Лакедемоний со своими десятью вооруженными кораблями, хотя ему и запрещалось участвовать в сражении, оказывал посильную помощь, занимая позицию в крайнем ряду и делая движения, как будто собирался атаковать; в то время как его моряки имели полную возможность наблюдать за тем, что они презирали как вялое управление кораблями с обеих сторон. После начала сражения все было в смятении; корабли с обеих сторон запутались, весла сломались и

стали неуправляемыми, приказы не слышались и не исполнялись, а индивидуальная доблесть гоплитов и боцманов на палубе стала решающим моментом, от которого зависела победа.

На правом фланге коринфян победил левый фланг коркирян; их двадцать кораблей оттеснили амбракиотов, союзников Коринфа, и не только преследовали их до берега, но и высадились на берег и разграбили палатки. Их опрометчивость, когда они так долго не вступали в бой, оказалась неисчислимо пагубной, тем более что их общее число было меньше: их правое крыло, противостоявшее лучшим кораблям Коринфа, после упорной борьбы было основательно разбито. Многие корабли были выведены из строя, а остальные вынуждены были отступать, как могли, - отступление, которое победоносные корабли другого крыла могли бы защитить, если бы во флоте была хоть какая-то эффективная дисциплина, но которому теперь лишь несовершенно помогали десять афинских кораблей под командованием Лакедемония. Эти афиняне, хотя поначалу и подчинялись указаниям из дома, воздерживаясь от ударов, все же - когда исход битвы стал сомнительным, а тем более когда коринфяне стали настаивать на своей победе - не могли больше оставаться в стороне, а всерьез напали на преследователей и немало сделали для спасения побежденных коркирцев. Как только последних преследовали до их собственного острова, победоносные коринфяне вернулись к месту сражения, которое было покрыто разбитыми и затопленными кораблями, своими и вражескими, а также моряками, солдатами и ранеными, либо беспомощными на борту обломков, либо державшимися над водой, как могли, - среди них было много их собственных граждан и союзников, особенно на их разбитом правом крыле. Они проплыли через эти поврежденные суда, не пытаясь отбуксировать их, но обращая внимание только на экипажи, и сделали некоторых из них пленниками, но большее число предали смерти: некоторые даже из их собственных союзников были убиты таким образом, не будучи легко различимыми. Затем они собрали свои трупы, как могли, и перевезли их в Сиботу, ближайшую точку побережья Эпира; после этого они снова собрали свой флот и вернулись, чтобы возобновить нападение на коркирцев на их собственном побережье. Последние собрали столько своих кораблей, сколько было пригодно для плавания, вместе с небольшим резервом, который оставался в гавани, чтобы во что бы то ни стало предотвратить высадку на побережье; а афинские корабли, теперь уже в строгом соответствии с инструкциями, приготовились с полной энергией сотрудничать в обороне. Было уже за полдень, но коринфский флот, хотя уже прозвучал сигнал к атаке, вдруг увидел, что вместо того, чтобы наступать, он отходит назад; вскоре он развернулся и поплыл прямо к эпирскому побережью. Коркиряне не понимали причины этого внезапного отступления, пока наконец не было объявлено, что приближается неожиданное подкрепление в виде двадцати свежих афинских кораблей под командованием Глаукона и Андокидеса, которые коринфяне заметили первыми и даже сочли их предвестниками более многочисленного флота. Уже стемнело, когда эти свежие корабли достигли мыса Леукимма, пройдя через воды, покрытые обломками и трупами;^[112] и поначалу коркиряне даже приняли их за врагов. Подкрепление было послано из Афин, вероятно, после получения более точной информации о сравнительных силах Коринфа и Коркиры, под впечатлением того, что первоначальные десять кораблей окажутся недостаточными для обороны, - впечатление, более чем подтвердившееся в действительности.

Хотя двадцать афинских кораблей не были, как предполагали коринфяне, предвестниками более крупного флота, их оказалось достаточно, чтобы полностью изменить ход событий. В предыдущем сражении коркирцы потопили или вывели из строя семьдесят кораблей, а коринфяне - только тридцать, так что численное превосходство все еще было на стороне последних, которые, однако, были обременены заботой о тысяче пленников, восемьсот из которых были захвачены рабами, которых нелегко было разместить или охранять в тесных помещениях древней триремы. Даже не считая этого неудобства, коринфяне были не в том настроении, чтобы рисковать вторым сражением против тридцати афинских кораблей в дополнение к оставшимся коркирским: и когда их враги приплыли, чтобы предложить им сражение на эпирском побережье, они не только

отказались, но и не думали ни о чем, кроме немедленного отступления, - с серьезной тревогой, чтобы афиняне не стали действовать агрессивно, считая все дружеские отношения между Афинами и Коринфом практически уничтоженными событиями предыдущего дня. Выстроив свой флот в линию, недалеко от берега, они проверили расположение афинских командиров, отправив вперед небольшую лодку с несколькими людьми, чтобы обратиться к ним со следующим протестом - эти люди не имели при себе посоха герольда (мы должны сказать, никакого флага перемирия), и поэтому были полностью лишены защиты от врага. "Вы поступаете несправедливо, афиняне (воскликнули они), начав войну и нарушив перемирие; ведь вы используете оружие, чтобы противостоять нам в наказании наших врагов. Если вы действительно намерены помешать нам отплыть на Коркиру или в другое место, которое мы выберем, нарушив перемирие, то возьмите прежде всего нас, которые сейчас обращаются к вам, и расправьтесь с нами как с врагами". Не вина коркирцев, что эта последняя идея не была мгновенно реализована: те из них, кто находился достаточно близко, чтобы слышать, подстрекали афинян яростными криками убить людей в лодке. Но те, не слушая таких призывов, отмахнулись от них, ответив: "Мы не начинаем войну и не нарушаем перемирия, пелопоннесцы; мы пришли просто помочь этим коркирянам, нашим союзникам. Если вы хотите плыть куда-то еще, мы не будем возражать, но если вы собираетесь плыть против Коркиры или ее владений, мы приложим все силы, чтобы помешать вам". И ответ, и обращение с людьми в лодке убедили коринфян в том, что их отступление не встретит сопротивления, и они начали его, как только смогли собраться, оставаясь, однако, воздвигнуть трофей в Сиботе, на эпирском побережье, в память о своем преимуществе в предыдущий день. На обратном пути они захватили Анакторий в устье Амбракийского залива, которым до сих пор владели совместно с коркирянами, и посадили в нем подкрепление из коринфских поселенцев в качестве гарантии будущей верности. По достижении Коринфа вооружение было распущено, а большинство пленных - восемьсот рабов - продано; остальные же, числом двести пятьдесят, были задержаны и с ними обращались с особой добротой. Многие из них принадлежали к первым и самым богатым семьям острова, и коринфяне намеревались завладеть ими, чтобы сделать из них орудие для осуществления революции на острове. О бедственных происшествиях, вызванных их возвращением, мы расскажем в одной из следующих глав.

Освободившись от опасности, коркиряне собрали мертвые тела и обломки, приплывшие ночью на их остров, и даже нашли достаточно оснований для возведения трофея, главным образом в связи с их частичным успехом на левом фланге. Правда, от гибели их спасло лишь неожиданное появление последних афинских кораблей, но последний результат был столь же триумфальным для них, сколь катастрофическим и унижительным для коринфян, которые понесли огромные расходы и обложили налогами всех своих добровольных союзников, только для того, чтобы оставить врага сильнее, чем он был до этого. С этого времени они считали тридцатилетнее перемирие нарушенным и питали смертельную и нескрываемую ненависть к Афинам, так что последние ничего не выиграли от умеренности своих адмиралов, пощадивших коринфский флот у берегов Эпира. Коринфяне долго не могли найти возможность нанести удар по своему врагу через одну из его обширных зависимых территорий.

На перешейке малого полуострова Пеллен, который является самым западным из трех зубцов большого полуострова Халкидики, между Термическим и Стримоническим заливами, находился дорийский город Потидея, один из союзников Афин, но первоначально колонизированный из Коринфа и до сих пор сохраняющий определенную столичную лояльность по отношению к последнему: Так что каждый год некоторые коринфяне посылались туда в качестве магистратов под названием Эпидемиурги. В различных точках соседнего побережья также находилось несколько небольших городов, принадлежавших халкидцам и боттиевцам, занесенных подобным образом в список афинских данников. Соседние внутренние территории, Мигдонию и

Халкидику,[113] удерживал македонский царь Пердиккас, сын того Александра, который за пятьдесят лет до этого участвовал в экспедиции Ксеркса. Эти два князя, по-видимому, постепенно расширяли свои владения, после того как персидская власть во Фракии была разрушена усилиями Афин, пока в конце концов не приобрели всю территорию между реками Аксий и Стримон. Пердиккас некоторое время был другом и союзником Афин; но были и другие македонские князья, его брат Филипп и Дердас, владевшие независимыми княжествами в верхней части страны,[114] по-видимому, на верхнем течении Аксия у пеонийских племен, с которыми он находился в состоянии спора. Приняв этих князей в союзники Афин, Пердиккас с этого времени стал их активным врагом, и именно из его интриг проистекали все трудности Афин на этом побережье. Афинская империя была гораздо менее полной и безопасной в отношении морских портов на материке, чем на островах:[115] ведь первые всегда в большей или меньшей степени зависели от любого могущественного соседа на суше, иногда даже больше, чем от владычицы моря; и мы увидим, что Афины сами усердно добивались расположения Ситалкеса и других сильных фракийских владык в качестве помощи для своего господства над морскими портами.[Пердиккас сразу же начал подстрекать и помогать халкидянам и боттиевцам восстать против Афин, а яростная вражда против последних, разгоревшаяся в груди коринфян после недавних событий на Коркире, позволила ему распространить те же проекты на Потидею. Он отправил посланников не только в Коринф, чтобы согласовать меры по провоцированию восстания в Потидее, но и в Спарту, подстрекая Пелопоннесскую лигу к общему объявлению войны Афинам.[117] Кроме того, он убедил многих жителей Халкиды покинуть свои отдельные городки на морском побережье, чтобы совместно поселиться в Олинфе, который находился в нескольких стадиях от моря. Таким образом, этот город, а также интересы халкидян значительно укрепились, а Пердиккас выделил часть территории у озера Больбе для временного содержания сосредоточенного населения.

Афиняне не были в неведении как о его враждебных приготовлениях, так и об опасностях, подстерегавших их из Коринфа после Коркирского морского сражения; сразу после него они послали принять меры против восстания Потидеи; потребовав от жителей снести стену со стороны Пеллена, чтобы оставить город открытым со стороны полуострова или того, что можно назвать морским побережьем, и укрепленным только со стороны материка, - потребовав от них далее и выдачи заложников, и увольнения ежегодных магистратов, прибывших к ним из Коринфа. Афинское войско из тридцати трирем и тысячи гоплитов под командованием Архестрата и десяти других, отправленное для действий против Пердиккаса в Термическом заливе, было одновременно направлено для выполнения этих требований против Потидеи и для подавления любой склонности к восстанию среди соседних халкидян. Сразу же по получении этих требований потидейцы отправили посланников как в Афины, чтобы уклониться и выиграть время, так и в Спарту, совместно с Коринфом, чтобы определить лакедемонское вторжение в Аттику в случае нападения Потидеи на Афины. От спартанских властей они получили четкое утвердительное обещание, несмотря на все еще действующее тридцатилетнее перемирие: в Афинах у них ничего не получилось, и они, соответственно, открыто восстали (кажется, около середины лета 432 года до н.э.), в то самое время, когда отплыли вооруженные силы под командованием Архестрата. Халкидяне и боттиевцы восстали в то же время, по явному подстрекательству Коринфа, сопровождаемые торжественными клятвами и обещаниями помощи.[118] Архестрат со своим флотом, достигнув Термического залива, нашел их всех в про заявленной вражде, но был вынужден ограничиться нападением на Пердиккаса в Македонии, не имея достаточной численности, чтобы допустить разделение своих сил. Он осадил Термы, сотрудничая с македонскими войсками из верхней страны под командованием Филиппа и братьев Дердаса; после взятия этого места он приступил к осаде Пидны. Но, вероятно, было бы разумнее, если бы он сразу же направил все свои силы на блокаду Потидеи; Ведь за шесть с лишним недель, которые он провел в операциях против Терм, коринфяне доставили в Потидею подкрепление из

шестнадцати сотен гоплитов и четырех сотен легковооруженных, частично своих граждан, частично пелопоннесцев, нанятых для этого случая, - под командованием Аристея, сына Адеиманта, человека, пользовавшегося такой известностью как в Коринфе, так и в Потидее, что большинство солдат вызвались добровольцами по его личному почину. Таким образом, Потидея была приведена в состояние полной обороны вскоре после того, как весть о ее восстании достигла Афин, и задолго до того, как на нее можно было послать второе войско. Однако второе войско было быстро отправлено - сорок трирем и две тысячи афинских гоплитов под командованием Каллиаса, сына Каллиады,^[119] с четырьмя другими командирами, которые, достигнув Термического залива, присоединились к прежней армии при осаде Пидны. После недолгой тщетной осады они были вынуждены заключить с Пердиккасом соглашение на самых выгодных условиях из-за необходимости немедленно начать операции против Аристея и Потидеи. Тогда они покинули Македонию, сначала переправившись по морю из Пидны к восточному побережью Термического залива, - затем атаковав, хотя и безрезультатно, город Берей, - а затем двинувшись по суше вдоль восточного побережья залива в направлении Потидеи. На третий день легкого похода они достигли морского порта под названием Гигон, возле которого разбили лагерь^[120].

Несмотря на соглашение, заключенное в Пидне, Пердиккас, чью верность мы еще не раз будем замечать, теперь снова был на стороне халкидян и послал к ним двести коней под командованием Иолая. Аристей разместил своих коринфян и потидейцев на перешейке у Потидеи, устроив рынок за стенами, чтобы они не блуждали в поисках провизии: его позиция была со стороны Олинфа, который находился примерно в семи милях, но в пределах видимости и занимал возвышенное и заметное место. Здесь он ожидал приближения афинян, рассчитывая, что халкидяне из Олинфа по сигналу нападут на них с тыла, когда они атакуют его. Но Каллий был достаточно силен, чтобы оставить в резерве свою македонскую конницу и других союзников для защиты от Олинфа, а сам с афинянами и главными силами двинулся к перешейку и занял позицию перед Аристеем. В последовавшем сражении Аристей с отборным отрядом коринфян, находившихся непосредственно возле него, добился полного успеха, разбив противостоявшие им войска и преследуя их на значительном расстоянии; но оставшиеся потидейцы и пелопоннесцы были разбиты афинянами и загнаны в стены. Вернувшись после преследования, Аристей обнаружил победоносных афинян между собой и Потидеей, и перед ним встал выбор: либо пробивать себе путь через них в последний город, либо совершить отступательный марш в Олинф. Он выбрал первое, как наименьшее из двух опасностей, и пробил себе путь через фланг афинян, вброд в море, чтобы перевернуть край потидейской стены, которая полностью пересекала перешеек, с каждого конца уходящий в воду мол: он осуществил это смелое предприятие и спас свой отряд, хотя и не без значительных трудностей и потерь. Тем временем вспомогательные войска из Олинфа, хотя и начали свой поход, увидев согласованный сигнал, были сдержаны македонскими конниками, так что потидейцы были разбиты и сигнал снова отозван, прежде чем они смогли сделать какое-либо эффективное отвлечение: конница с обеих сторон также не вступила в действие. Разбитые потидейцы и коринфяне, имея в тылу город, потеряли всего триста человек, а афиняне - сто пятьдесят, вместе с генералом Каллиасом^[121].

Победа, однако, была полной, и афиняне, воздвигнув свой трофей и предав вражеских мертвецов погребению, немедленно построили свою блокадную стену через перешеек, со стороны материка, чтобы отрезать Потидею от всякого сообщения с Олинфом и халкидянами. Чтобы сделать блокаду полной, необходимо было построить вторую стену через перешеек, с другой стороны, в направлении Паллена, но у них не было достаточно сил, чтобы выделить для этой цели отдельный корпус, пока через некоторое время к ним не присоединился Формий с шестнадцатью сотнями свежих гоплитов из Афин. Этот полководец, высадившись в Афитисе, на полуострове

Паллен, медленно продвигался к Потидее, опустошая территорию, чтобы вызвать горожан на бой; но вызов не был принят, и он взялся за возведение блокадной стены со стороны Паллен, так что город теперь был полностью закрыт, а за гаванью следил афинский флот. После завершения строительства стены для ее охраны хватало части сил, и Формий был свободен для агрессивных действий против халкидских и боттийских городов. Взятие Потидеи теперь было вопросом более или менее продолжительного времени, и Аристей, чтобы провизии хватило на дольше, предложил гражданам выбрать благоприятный ветер, сесть на корабли и внезапно выйти из гавани, воспользовавшись шансом ускользнуть от афинского флота и оставив позади лишь пятьсот защитников: Хотя он и предложил себя в число тех, кто остался позади, он не смог склонить граждан к такому смелому предпрятию, и поэтому он отправился предложенным путем с небольшим отрядом, чтобы попытаться получить помощь извне, особенно какую-нибудь помощь или отвлечение из Пелопоннеса. Но ему не удалось ничего добиться, кроме частичных военных действий среди халкидян[122] и удачной засады против жителей Сермила, которая ничего не дала для облегчения положения заблокированного города: однако он был так хорошо обеспечен, что продержался целых два года - период, полный важных событий в других местах.

Из этих двух столкновений между Афинами и Коринфом, сначала косвенно в Коркире, а затем явно и открыто в Потидее, возникли те важные движения в лакедемонском союзе, о которых мы расскажем в следующей главе.

ГЛАВА XLVIII. ОТ БЛОКАДЫ ПОТИДЕИ ДО КОНЦА ПЕРВОГО ГОДА ПЕЛОПОННЕССКОЙ ВОЙНЫ.

Еще до недавних военных действий при Коркире и Потидее размышляющим грекам было ясно, что дальнейшее соблюдение тридцатилетнего перемирия весьма сомнительно и что смешанная ненависть, страх и восхищение, которые Афины внушали всей Греции, побудят Спарту и Спартанскую конфедерацию воспользоваться первой благоприятной возможностью для сокрушения афинской державы. То, что Спарта настроена именно так, хорошо понимали и союзники афинян, однако соображения благоразумия и общая медлительность в принятии решений могли отсрочить момент их реализации. Так, не только саамийцы, подняв восстание, обратились за помощью к спартанской конфедерации, которую им, по-видимому, помешали получить главным образом мирные интересы, одушевлявшие тогда коринфян, но и лесбийцы попытались начать переговоры со Спартой с аналогичной целью, хотя власти, до которых только и могло дойти это предложение, поскольку оно оставалось тайным и никогда не было выполнено, не оказали им никакого содействия. [Афины управлялись под руководством Перикла без всякой цели расширения империи или посягательства на другие государства, хотя и с постоянным учетом вероятности войны и стремлением поддерживать город в состоянии, пригодном для ее ведения: но даже великолепные внутренние украшения, которые приобрели Афины в то время, вероятно, не могли не вызвать ревности со стороны других греков к ее конечным целям. Единственным известным случаем, когда Афины столкнулись с членом спартанской конфедерации до Коркирского спора, был указ, принятый в отношении Мегары, - запрещающий мегарянам под страхом смерти торговать или вступать в сношения как с Афинами, так и со всеми портами Афинской империи. Этот запрет был основан на том, что мегаряне укрывали беглых рабов из Афин, а также присвоили и возделывали часть земли на границе; частично эта

земля была собственностью богинь Элевсиса, частично - полосой территории, оспариваемой между двумя государствами, и поэтому оставленной по взаимному согласию на общем пастбище без какого-либо постоянного ограждения.^[124] Что касается этого последнего пункта, афинский глашатай Антемокрит был послан в Мегару, чтобы выразить протест, но с ним так грубо обошлись, что его смерть вскоре после этого была приписана мегарцам как преступление. [Можно предположить, что со времени восстания Мегары, произошедшего четырнадцать лет назад и нанесшего Афинам непоправимый ущерб, между двумя городами царилла острая вражда, проявлявшаяся во многих формах, но настолько обострившаяся в результате последних событий, что спровоцировала Афины на жестокую месть. [Исключение из Афин и всех портов ее империи, включающей почти все острова и морские порты в Эгейском море, было настолько разорительным для мегарян, что они громко жаловались на это в Спарте, представляя это как нарушение тридцатилетнего ' перемирия; хотя это, несомненно, было в законном праве Афин, и было даже менее суровым, чем систематическое изгнание иностранцев Спартой, с которым сравнивал Периклес.

Эти жалобы приобрели еще большее значение после Коркирской войны и блокады Потидеи афинянами. Чувства коринфян по отношению к Афинам стали теперь злобными и воинственными в высшей степени: их обуревала не только обида за прошлое, но и тревога за то, чтобы в дальнейшем оказать на Афины такое сильное враждебное давление, которое позволило бы сохранить Потидею и ее гарнизон от захвата. Поэтому они не теряли времени, пытаясь возбудить чувства спартанцев против Афин и побуждая их пригласить в Спарту всех тех из конфедератов, кто имел какие-либо претензии к этому городу. Не только мегаряне, но и некоторые другие конфедераты выступили там в качестве обвинителей; а эгинетяне, хотя их положение в изоляции делало опасным их появление, громко заявили о себе устами других, жалуясь, что Афины утаили от них автономию, на которую они имели право по перемирию^[127].

Согласно лакедемонской практике, сначала сами спартанцы, не считая своих союзников, должны были решить, существует ли достаточный случай несправедливости, допущенной Афинами против них самих или против Пелопоннеса, - либо в нарушение тридцатилетнего перемирия, либо каким-либо другим образом. Если решение самой Спарты было отрицательным, дело даже не выносилось на голосование союзников; если же оно было утвердительным, то последних также призывали высказать свое мнение; и если большинство голосов совпадало с предыдущим решением Спарты, то вся конфедерация обязывалась придерживаться данной линии политики; если же большинство было противоположным, то спартанцы выступали одни или только с теми из конфедератов, которые были согласны. Каждый союзный город, большой или малый, имел равное право голоса. Таким образом, получается, что сама Спарта голосовала не как член конфедерации, а отдельно и индивидуально, как лидер, и что единственный вопрос, который когда-либо выносился на рассмотрение союзников, заключался в том, согласятся они или нет с ее предыдущим решением. Так и произошло: коринфяне вместе с другими членами конфедерации, которые чувствовали себя ущемленными или встревоженными Афинами, предстали перед общественным собранием спартанских граждан, готовые доказать, что афиняне нарушили перемирие и продолжают идти по ложному пути в Пелопоннес.^[128] Даже в олигархии Спарты такой вопрос мог быть решен только общим собранием спартанских граждан, квалифицированных как по возрасту, так и по регулярному участию в общественных делах и повиновению спартанской дисциплине. К собранию, составленному таким образом, обратились депутаты различных союзных городов, каждый из которых изложил свои аргументы против Афин. Коринфяне предпочли остаться до последнего, после того как собрание уже было разгорячено предыдущими ораторами.

Об этом важном собрании, от которого во многом зависела дальнейшая судьба Греции, Фукидид сохранил необычайно подробный рассказ. Сначала речь коринфских посланников. Затем речь некоторых афинских посланников, которые в это время находились в Спарте по другим делам и, будучи присутствующими на собрании, чтобы слышать речи как коринфян, так и других жалобщиков, получили от магистратов разрешение выступить перед собранием в свою очередь. В-третьих, речь спартанского царя Архидама о том, какой политический курс должна принять Спарта. И наконец, краткое, но очень характерное выступление эфора Стенелеидаса о постановке вопроса на решение. Эти речи, составленные самим Фукидидом, в значительной степени отражают настроения сторон, которым они приписываются: ни одна из них не является ответом на предыдущую, но каждая представляет положение дел с другой точки зрения.

Коринфяне хорошо знали, что аудитория, к которой они собирались обратиться, была благосклонно подготовлена для них, поскольку лакедемонские власти уже дали фактическое обещание им и потидейцам в момент перед восстанием Потидеи, что они вторгнутся в Аттику. Настолько велика была революция в настроениях спартанцев, ведь они отказали в помощи гораздо более могущественному острову Лесбос, когда тот предложил восстать, - революция, вызванная изменившимися интересами и настроениями Коринфа. Коринфяне также не знали, что их позитивные основания для жалоб на Афины в связи с ошибками или нарушением существующего перемирия были немногочисленны и слабы. Ни в споре о Потидее, ни в споре о Коркире Афины не нарушили перемирия и не причинили вреда Пелопоннесскому союзу. В обоих случаях она вступила в столкновение с Коринфом, отдельно от конфедерации: она имела право, как по условиям перемирия, так и согласно принятым нормам международного права, оказать оборонительную помощь коркирянам по их собственной просьбе, - она также имела право, согласно принципам, установленным самими коринфянами в связи с восстанием на Самосе, удержать потидейцев от восстания. Она не совершила ничего, что можно было бы справедливо назвать агрессией: действительно, агрессия, как в случае с Потидеей, так и в случае с Коркирой, была явно на стороне коринфян, и Пелопоннесская конфедерация могла быть замешана только в той мере, в какой она понималась как обязанная поддерживать отдельные ссоры, правильные или неправильные, Коринфа. Все это было хорошо известно коринфским посланникам, и, соответственно, в своей речи в Спарте они лишь вскользь и неясно затрагивают положительные или недавние обиды. Даже то, что они говорят, полностью оправдывает действия Афин по делу Коркиры, поскольку они без колебаний признают намерение захватить большой коркирский флот для использования в интересах Пелопоннесского союза: Что же касается Потидеи, то, если бы перед нами была только речь коринфского посланника без каких-либо других сведений, мы должны были бы считать ее независимым государством, не связанным никакими постоянными узами с Афинами, - мы должны были бы считать, что осада Потидеи Афинами была неспровоцированной агрессией против автономного союзника Коринфа,^[129] - мы никогда не должны были бы представить, что Коринф сознательно подстрекал и помогал восстанию халкидян, а также потидейцев против Афин. Можно было бы сделать вид, что она имела на это право в силу своих неопределенных отношений с Потидеей: но, во всяком случае, инцидент не был таким, чтобы дать афинянам достойный повод для обвинений в возмущении против Коринфа^[130] или в противоправной агрессии против Пелопоннесской конфедерации.

Подробно останавливаться на конкретных обвинениях в неправомерности было бы нецелесообразно для коринфского посланника; ведь против таких обвинений тридцатилетнее перемирие прямо предусматривало обращение к полюбовному арбитражу, о котором он ни разу не упоминает. Он знал, что война между Коринфом и Афинами уже

началась в Потидее; и его дело, на протяжении почти всей весьма категоричной речи, - показать, что Пелопоннесская конфедерация, и особенно Спарта, обязаны принять в ней немедленное участие не столько по благоразумию, сколько по долгу службы. Он использует самый живой язык, чтобы изобразить честолюбие, неустанную деятельность, личные усилия как за границей, так и дома, быстрые решения, сангвинические надежды, никогда не разрушаемые неудачами, - Афины; в противоположность осторожной, домашней, ленивой, скрупулезной рутине Спарты. Он упрекает спартанцев в отсталости и робости, в том, что они не подавили рост Афин до того, как они достигли этой грозной высоты, - особенно в том, что они позволили ей укрепить свой город после отступления Ксеркса, а затем построить длинные стены от города до моря.^[131] Спартанцы, отмечает он, были единственными среди всех греков, кто отличался замечательной системой сдерживания врага, не действуя, а откладывая действия, - не задерживая его рост, а сбивая его, когда его силы удваивались. Ложно, правда, что они приобрели репутацию уверенных, в то время как на самом деле они были просто медлительными:^[132] в сопротивлении Ксерксу, как и в сопротивлении Афинам, они всегда отставали, разочаровывая и оставляя своих друзей на погибель, - в то время как оба этих врага не достигли полного успеха только благодаря своим собственным ошибкам.

Наполовину извинившись за несдержанность этих упреков, которые, однако, поскольку спартанцы были настроены на немедленное вступление в войну, были бы своевременными и даже приятными, коринфский оратор обосновывает необходимость прямого высказывания чрезвычайной опасностью ситуации и грозным характером врага, который им угрожал. "Вы не задумываетесь, - говорит он, - насколько сильно афиняне отличаются от вас самих. *Они* новаторы по своей природе; они остры как в разработке, так и в исполнении того, что они определили: *вы* остры только в сохранении того, что вы получили, в определении ничего сверх, и в выполнении даже меньшего, чем требует абсолютная необходимость.^[133] *Они* снова осмеливаются сверх своих средств, рискуют сверх своего собственного суждения, и сохраняют надежду даже в отчаянных обстоятельствах: *ваша* особенность в том, что ваши действия не соответствуют вашим силам, - вы не верите даже в то, что ваше суждение гарантирует, - когда в трудностях, вы отчаиваетесь во всех выходах. *Они* никогда не отступают, а *вы* - привычные тюфяки: они любят заграничную службу, а вы не можете оторваться от дома: ведь они всегда уверены, что их движения приведут к дальнейшему выигрышу, а вы считаете, что новые проекты поставят под угрозу то, что вы уже имеете. При успехе они делают наибольший марш вперед; при поражении они отступают меньше всего. Более того, они отдают свои тела на службу своему городу, как будто это чужие тела, - в то время как их умы больше всего заняты собой, чтобы служить ему.^[134] Когда их планы по приобретению не удаются, они чувствуют себя людьми, лишенными того, что им принадлежит: однако приобретения, когда они осуществлены, кажутся пустяками по сравнению с тем, что еще предстоит приобрести. Если же они иногда терпят неудачу в своих попытках, то возникают новые надежды в другом направлении, чтобы восполнить недостаток: ведь только у них обладание и надежда на то, к чему они стремятся, почти одновременны, благодаря их привычке быстро исполнять все, что они однажды решили. И так они трудятся всю свою жизнь среди трудностей и опасностей, пренебрегая нынешними удовольствиями в постоянной жажде их увеличения, не зная иного отдыха, кроме выполнения активного долга, и считая бездеятельный отдых худшим состоянием, чем изнурительные занятия. Истину можно выразить двумя словами: таков их врожденный нрав, что они ни сами не пребывают в покое, ни другим не позволяют отдыхать"^[135].

"Вот город, который противостоит вам, лакедемоняне, - а вы все еще отступаете от действия..... Ваши постоянные угрызения совести и апатия вряд ли были бы безопасны, даже если бы у вас были такие же борисы, как вы сами по характеру: но что касается дел с

Афинами, то ваша система устарела и несовременна. В политике, как и в искусстве, побеждают современные усовершенствования: и хотя неизменные учреждения лучше всего, если город не призван действовать, - все же множественность активных обязательств требует множественности и новизны изобретений.^[136] Именно благодаря этим многочисленным испытаниям афинские средства получили гораздо больше нового развития, чем ваши".

В заключение коринфяне заявили, что если после стольких предупреждений, повторенных в последний раз, Спарта все еще отказывается защищать своих союзников против Афин, если она медлит с выполнением данного потидейцам обещания немедленно вторгнуться в Аттику, то они, коринфяне, немедленно будут искать безопасности в каком-нибудь новом союзе, и они считают себя полностью оправданными в этом. Они советовали ей хорошо смотреть на дело и с достоинством продолжать Пелопоннес, как это было передано ей от ее предшественников^[137].

Такова была памятная картина Афин и их граждан, представленная их злейшим врагом перед общественным собранием в Спарте. Она была рассчитана на то, чтобы произвести впечатление на собрание не апелляцией к недавним или конкретным проступкам, а общей системой беспринципной и бесконечной агрессии, которая вменялась Афинам в вину в прошлом, - и уверенностью, что та же самая система, если не будет подавлена мерами решительной вражды, в будущем будет продвинута еще дальше и приведет к полному разорению Пелопоннеса. И на этот вопрос афинский посланник, находившийся в Спарте для каких-то других переговоров, а теперь присутствовавший в собрании, обратился с ответом, испросив и получив разрешение магистратов. Афинская империя была теперь настолько велика, что присутствовавшие здесь молодые люди не имели личного представления о том, при каких обстоятельствах она возникла, и то, что требовалось для них в качестве информации, было бы впечатляющим напоминанием даже для их старших^[138].

Он начал с того, что отказался от намерения защищать свой родной город от обвинений в конкретных проступках или предполагаемых нарушениях существующего перемирия: это не входило в его миссию, и он не признавал Спарту компетентным судьей в спорах между Афинами и Коринфом. Тем не менее он счел своим долгом защитить Афины от общего характера несправедливости и агрессии, вменяемых ей в вину, а также торжественно предостеречь спартанцев от политики, к которой они явно склонялись. Затем он стал доказывать, что Афинская империя была заслуженной и почетной, что она была добровольно уступлена и даже навязана ей, и что она не могла отречься от нее без ущерба для своего собственного существования и безопасности. Далекий от мысли, что обстоятельства, при которых она была приобретена, нуждаются в извинениях, он с гордостью апеллировал к ним как к свидетельству подлинного эллинского патриотизма этого города, который спартанский конгресс теперь, казалось, был настроен прогнать как врага.^[Затем он остановился на обстоятельствах, сопутствовавших персидскому нашествию, указав на превосходство Афин и их непоколебимую стойкость, несмотря на неблагоприятное пренебрежение со стороны Спарты и других греков, - перевес ее военно-морских сил во всем вооружении, - руководящий гений ее полководца Фемистокласа, которого хвалила даже сама Спарта, - и на то, что Афины в тот памятный случай получили право называться главным спасителем Греции. Уже одно это должно было спасти ее империю от порицания: но это было еще не все, потому что империя была предложена ей по настоятельной просьбе союзников, в то время, когда Спарта доказала свою некомпетентность и нежелание вести войну против Персии. 140] Простым применением силы принуждения, неотделимой от ее президентских

обязательств, и сокращением различных союзников, которые восстали, Афины постепенно стали непопулярными, а Спарта тоже стала ее врагом, а не другом. Ослабить контроль над союзниками означало бы сделать их союзниками Спарты против нее; таким образом, к честолюбию и доходам добавился мотив страха, побуждавший Афины поддерживать свое имперское господство силой. В ее положении ни одна греческая держава не могла поступить иначе: ни одна греческая держава, ни Спарта, не действовала бы так справедливо и умеренно и не давала бы так мало поводов для жалоб своим подданным. Хуже они страдали под властью Персии; еще хуже они *будут* страдать, если попадут под власть Спарты, которая держала своих союзников под властью олигархической партии в каждом городе; и если они ненавидели Афины, то только потому, что подданные всегда ненавидели *нынешнее* владычество, каким бы оно ни было[141].

Обосновав происхождение и функционирование афинской империи, посланник в заключение предупредил Спарту, чтобы она спокойно, не торопясь, под влиянием чужих страстей и инвектив, подумала, прежде чем сделать шаг, от которого нет отступления, и который подвергает будущее таким случайностям, которые никто из сторон не мог предвидеть. Он призвал ее не нарушать перемирие, заключенное по взаимной клятве, но урегулировать все разногласия, как это были готовы сделать Афины, путем полюбовного арбитража, который предусматривало это перемирие. Если же она начнет войну, афиняне последуют ее примеру и окажут ей сопротивление, призвав в свидетели тех богов, под чьей санкцией были даны клятвы[142].

Факты, изложенные в предыдущих главах, показали, что рассказ афинского посланника в Спарте о происхождении и характере империи, осуществляемой его городом, хотя, несомненно, и является рассказом пристрастного человека, по существу верен и справедлив; афинские посланники еще не научились брать тот тон, который они взяли в шестнадцатом и семнадцатом годах предстоящей войны в Мелосе и Камарине. В любое время до Коркирского дела темы, на которых настаивали афиняне, вероятно, были бы глубоко выслушаны в Спарте. Но теперь спартанцы были настроены решительно. Очистив собрание от всех "чужаков" и даже союзников, они приступили к обсуждению и решению вопроса между собой. Большинство ораторов говорили на одном языке[143], рассказывая об обидах, нанесенных Афинами, и настаивая на необходимости немедленной войны. Однако один голос, и притом властный, прозвучал против такого заключения: против него выступил древний и уважаемый царь Архидам.

Речь Архидама - это речь сознательного спартанца, который, отбросив ненависть к Афинам и слепую пристрастность к союзникам, рассматривает вопрос с точки зрения интересов и чести только Спарты, не забывая, однако, о ее императорском, а также отдельном характере. Предыдущие ораторы, возмущавшиеся против Афин, вероятно, взывали к спартанской гордости, считая нестерпимым позором, что почти вся сухопутная армия дорийского Пелопоннеса должна подвергаться таким издевательствам со стороны одного ионического города, и не решались начать войну, которую, вероятно, закончило бы одно вторжение в Аттику. Как коринфяне пытались возбудить спартанцев своевременными насмешками и упреками, так и последующие ораторы стремились к тем же целям, восхваляя известную доблесть и дисциплину города. На все эти аргументы Архидам решил ответить. Ссылаясь на опыт старейшин, окружавших его современников, он внушил собранию серьезную ответственность, неопределенность, трудности и опасности войны, в которую они спешили без подготовки.[Он напомнил им о богатстве, населении, превышающем население любого другого греческого города, о военно-морских силах, кавалерии, гоплитах, большом иностранном владычестве Афин, - а затем спросил, какими средствами они собираются ее

разгромить? Кораблей у них было мало; обученных моряков - еще меньше; богатства - почти никакого. Они, конечно, могли бы вторгнуться в Аттику и опустошить ее за счет своего превосходства в численности и сухопутных сил: но у афинян было достаточно владений за границей, чтобы они могли обойтись без продуктов Аттики, а их огромный флот оплатил бы за подобные опустошения Пелопоннесу. Полагать, что одна или две опустошительные экспедиции в Аттику полагат конец войне, было бы прискорбной ошибкой: такие действия только разозлили бы афинян, не ослабив их реальной силы, и война затянулась бы, возможно, на целое поколение.[146] Прежде чем решиться на войну, было совершенно необходимо обеспечить более эффективные средства для ее ведения и умножить число своих союзников не только среди греков, но и среди иностранцев: пока это происходило, в Афины должны были быть отправлены посланники, чтобы выразить недовольство и получить компенсацию за обиды союзников. Если афиняне согласятся - а они, вероятно, так и поступят, видя, что приготовления идут полным ходом, и когда разорение высококультурной земли Аттики, не доведя до конца, станет для них *terrorem*, - тем лучше: если они откажутся, то в течение двух или трех лет война может быть начата с некоторыми надеждами на успех. Архидам напомнил своим соотечественникам, что их союзники будут считать их ответственными за хороший или плохой исход того, что сейчас решено;[147] увещевая их в истинном духе консервативного спартанца придерживаться той осторожной политики, которая всегда была характерна для государства, презирая как насмешки по поводу их опозданий, так и панегирики по поводу их доблести. "Мы, спартанцы, обязаны и нашей храбростью, и нашим благоразумием нашей восхитительной общественной дисциплине: она делает нас воинственными, потому что чувство стыда наиболее тесно связано с дисциплиной, как доблесть - с чувством стыда: она делает нас благоразумными, потому что наше обучение не позволяет нам быть слишком невежественными, чтобы ставить себя выше наших собственных учреждений, и держит нас под жесткой сдержанностью, чтобы не послушаться их".[148] Таким образом, мы, спартанцы, не слишком мудрствуя в неблагородных достижениях, не преуменьшаем силу противника в умных речах, а затем встречаем его недостатками на деле: мы считаем, что возможности соседних государств во многом равны, и что шансы, остающиеся в запасе у обеих сторон, слишком неопределенны, чтобы заранее определять их с помощью речи. Мы всегда делаем реальные приготовления против наших врагов, как если бы они поступали разумно со своей стороны: мы должны рассчитывать на безопасность благодаря нашим собственным предосторожностям, а не на случайность их ошибок. В самом деле, в одном человеке нет большого превосходства по сравнению с другим: самый крепкий тот, кто обучен самым суровым испытаниям. Не будем же мы, со своей стороны, отказываться от этой дисциплины, которую мы получили от наших отцов и которую мы продолжаем до сих пор, к нашей великой пользе: не будем торопиться в один короткий час принять решение, от которого зависит столько жизней, столько имущества, столько городов и, кроме того, наша собственная репутация. Давайте возьмем время на обдумывание, поскольку наши силы дают нам полную возможность это сделать. Отправь посланников к афинянам по поводу Потидеи и других обид, о которых заявляют наши союзники, - и притом тем скорее, чем скорее они готовы дать нам удовлетворение: против того, кто предлагает удовлетворение, обычай запрещает действовать без предварительного заявления, как если бы он был провозглашен виновным. Но в то же время готовьтесь к войне; такой ход политики будет одновременно наилучшим для вашей собственной власти и наиболее устрашающим для ваших врагов"[149].

Речь Архидамы не только сама по себе была полна здравого смысла, но и была произнесена с точки зрения спартанца, апеллируя к спартанскому консервативному чувству и даже предрассудкам. Но, несмотря на все это, несмотря на личное уважение к оратору, прилив противоположных чувств в тот момент был непреодолим. Стенелайдас - один из пяти эфоров,

которым было поручено поставить вопрос на голосование, - закрыл прения; его несколько слов сразу отметили характер человека, темперамент собрания и простоту речи, хотя и без мудрости суждений, за которую Архидам ставил в заслугу своим соотечественникам.

"Я не понимаю (сказал он) этих длинных речей афинян. Они обильно восхваляют себя, но ни разу не опровергли то, в чем их обвиняют, - что они виновны в злодеяниях против наших союзников и против Пелопоннеса. Если в прежние времена они были добрыми людьми против персов, а теперь стали злыми против нас, то они заслуживают двойного наказания, как ставшие злыми вместо добрых.^[150] Но *мы* сейчас такие же, как и тогда: мы лучше знаем, что нельзя сидеть спокойно, пока наши союзники терпят несчастье: мы не будем откладывать нашу помощь, пока они не могут отложить свои страдания. [У других в изобилии богатства, корабли и лошади, но у *нас* хорошие союзники, которых мы не должны бросать на милость афинян: мы не должны доверять наше возмещение арбитражу и словам, когда наши обиды не ограничиваются словами. Мы должны помочь им быстро и всеми силами. И пусть никто не говорит нам, что мы можем с честью рассуждать, когда на самом деле страдаем от несправедливости, - скорее те, кто намерен совершить несправедливость, должны обдумать все заранее. Итак, лакедемоняне, решитесь на войну, достойную Спарты: не позволяйте афинянам стать больше, чем они есть; не предавайте наших союзников на растерзание, а с помощью богов выступите против злодеев".

С этими несколькими словами, так хорошо рассчитанными на то, чтобы победить благоразумные наставления Архидамы, Стенелеидас поставил вопрос на решение собрания, которое в Спарте обычно принималось не поднятием рук и не опусканием шаров в урну, а возгласами, аналогичными "за" или "против" в английской палате общин, - председательствующий эфор объявлял, какой из возгласов преобладает. В данном случае крик "за войну" был явно сильнее:^[152] однако Стенелеидас не смог определить, какой из двух криков громче, чтобы иметь повод для более впечатляющего проявления настроений и более сильного явного большинства, так как часть меньшинства, вероятно, побоялась бы открыто показать свое настоящее мнение как личности. Поэтому он распорядился разделить, подобно спикеру английской палаты общин, когда его решение "за" или "против" ставится под сомнение кем-либо из членов: "Те из вас, кто считает, что перемирие нарушено и что афиняне поступают с нами плохо, переходите на *эту* сторону; те, кто считает наоборот, - на другую". Собрание, соответственно, разделилось, и большинство оказалось на стороне военных.

Первым шагом лакедемонян после принятия этого важного решения было послать в Дельфы и спросить у оракула, выгодно ли им начинать войну: ответ, полученный в ответ (Фукидид, кажется, почти не уверен, что действительно был дан^[153]), гласил, что если они сделают все возможное, то победят, и что бог поможет им, призванный или непризванный. В то же время они созвали общий съезд своих союзников в Спарте, чтобы вынести свое недавнее решение на всеобщее голосование.

Для коринфян, которые беспокоились об облегчении положения Потидеи, решение этого съезда было не менее важным, чем то, которое спартанцы только что приняли по отдельности, и они отправили посланников к каждому из союзников, умоляя их разрешить войну без промедления. Благодаря таким побуждениям, действуя в соответствии с общим импульсом, преобладавшим в то время, конгресс собрался в решительно воинственном настроении: большинство ораторов были полны инвектив против Афин и нетерпеливо ждали действий, в то время как коринфяне, ожидавшие, как и прежде, последнего слова, завершили обсуждение речью, хорошо рассчитанной на то, чтобы обеспечить горячее голосование. Их прежняя речь была направлена на то, чтобы пристыдить, возмутить и

встревожить лакедемонян: теперь дело было сделано, и они должны были навязать союзникам как бесчестье, так и нецелесообразность отступления от волевого лидера. В этом деле были заинтересованы все, и внутренние государства не меньше, чем морские, поскольку и те, и другие в конечном счете окажутся жертвами наступающего города-деспота: любые усилия, необходимые для войны, должны были быть с радостью предприняты, поскольку только через войну они могли прийти к надежному и почетному миру. Были хорошие надежды, что это может быть скоро достигнуто, и что война не продлится долго, - настолько явным было превосходство конфедерации в численности, в военном мастерстве, в равном сердце и послушании всех ее членов.^[154] Морское превосходство Афин зависело главным образом от наемных моряков, а конфедерация, заимствуя из сокровищниц Дельф и Олимпии, вскоре сможет перебить ее, взять в уплату лучших моряков и сравняться с ней в морском деле: они возбудят восстание среди ее союзников и создадут постоянный укрепленный пост для разорения Аттики. Составить общий фонд для этой цели было совершенно необходимо, ибо Афины были более чем пригодны для борьбы с каждым из них в одиночку, и ничто иное, как сердечный союз, не могло спасти их всех от последовательного порабощения, - само предположение о котором было невыносимо для пелопоннесских вольноотпущенников, чьи отцы освободили Грецию от персов. Пусть они не уклонялись от выносливости и самопожертвования в таком деле - это была их наследственная гордость - приобретать успех упорным трудом. Дельфийский бог обещал им свое сотрудничество, и вся Греция будет сочувствовать этому делу, либо из страха перед деспотизмом Афин, либо из надежды на выгоду. Они не будут первыми нарушать перемирие, ведь афиняне уже нарушили его, как ясно следовало из заявления дельфийского бога. Пусть они не теряют времени и посылают помощь потидейцам, дорийцам, которых сейчас осаждают ионийцы, а также другим грекам, которых Афины поработили. С каждым днем необходимость в помощи становилась все сильнее, и чем дольше она откладывалась, тем больнее было бы, когда она придет. "Итак, будьте убеждены, - заключил оратор, - что этот город, сделавший себя деспотом Греции, занимает позицию против всех нас одинаково, одни - для настоящего правления, другие - для будущего завоевания; давайте же нападём на него и покорим его, чтобы в будущем мы могли жить в безопасности и освободить тех греков, которые сейчас находятся в рабстве"^[155].

Если на этом конгрессе и были произнесены речи против войны, то они вряд ли имели успех в деле, в котором потерпел неудачу даже Архидам. После того как коринфяне закончили заседание, вопрос был поставлен перед депутатами всех городов, больших и малых, без разбора, и большинство решило за войну.^[156] Это важное постановление было принято примерно в конце 432 г. до н. э. или в начале января 431 г. до н. э.: предыдущее решение спартанцев по отдельности могло быть принято примерно двумя месяцами раньше, в октябре или ноябре 432 г. до н. э.

Если проанализировать поведение двух великих греческих партий на этом важном этапе, сославшись на существующие договоры и позитивные основания для жалоб, то становится ясно, что Афины были правы. Она не совершила ничего, что можно было бы справедливо назвать нарушением тридцатилетнего перемирия, а в отношении тех своих действий, которые были признаны таковыми, она предложила передать их на дружеский арбитраж, который предписывало само перемирие. Пелопоннесские конфедераты были явными агрессорами в этом споре; и если Спарта, обычно такая отсталая, теперь выступила в столь решительно противоположном духе, мы должны приписать это отчасти ее постоянному страху и ревности к Афинам, отчасти давлению ее союзников, особенно коринфян. Фукидид, признавая эти два главных определяющих мотива и указывая на предполагаемые нарушения перемирия как на простые поводы или предлоги, кажется, считает, что страх и ненависть к

Афинам способствовали определению Спарты больше, чем настойчивость ее союзников.^[157] То, что чрезвычайное возвеличивание Афин в период, непосредственно следующий за персидским вторжением, было хорошо рассчитано, чтобы возбудить тревогу и ревность в Пелопоннесе, неоспоримо: но если мы возьмем Афины в том виде, в каком они были в 432 г. до н.э, то следует отметить, что она не сделала и, насколько нам известно, не пыталась сделать ни одного нового приобретения в течение всех четырнадцати лет, прошедших с момента заключения тридцатилетнего перемирия;^[158] - и, кроме того, это перемирие ознаменовало эпоху значительного унижения и уменьшения ее могущества. Триумф, который одержали тогда Спарта и пелопоннесцы, хотя и не был достаточно полным, чтобы снять всякий страх перед Афинами, все же был достаточно велик, чтобы внушить им надежду, что второе объединенное усилие сможет покорить ее. Эта смесь страха и надежды была именно тем состоянием, из которого могла вырасти война, - и мы видим, что еще до ссоры между Коринфом и Коркирой проникательные греки повсюду предвидели войну как нечто недалекое:^[159] она была близка к началу даже по случаю восстания Самоса,^[160] а мир тогда сохранялся отчасти благодаря торговым и морским интересам Коринфа, отчасти - благодаря спокойствию Афин. Но ссора Коринфа с Коркирой, которую Спарта могла бы утихомирить заранее, если бы считала это своим интересом, - и соединение Коркиры с Афинами - продемонстрировали, что последняя снова занята карьерой возвеличивания, и таким образом снова привели в действие воинственные чувства Спарты; в то время как они превратили Коринф из сторонника мира в шумный орган войны. Восстание в Потидее, подстрекаемое Коринфом и поощряемое Спартой в виде положительного обещания вторгнуться в Аттику, было, по сути, первым явным нарушением перемирия и инициативой Пелопоннесской войны: Спартанское собрание и последующий съезд союзников в Спарте не служили никакой другой цели, кроме как обеспечить формальности, необходимые для одновременных и сердечных действий, и облечь в навязчивую форму состояние войны, уже существовавшее в действительности, хотя еще не объявленное. В этот момент в Пелопоннесе царило настроение не страха перед Афинами, а ненависти к ним, и уверенной надежды покорить их. И действительно, такая уверенность имела под собой веские основания: люди вполне могли думать, что афиняне никогда не вынесут полного опустошения своей высококультурной земли, или, по крайней мере, что они непременно выйдут на поле боя за нее, а это было все, чего желали пелопоннесцы. Ничто, кроме беспримерного превосходства и непоколебимой решимости Перикла, не побуждало афинян упорно придерживаться плана терпеливой обороны и уповать на то военно-морское превосходство, которое враги Афин, за исключением благоразумного Архидам, еще не научились в полной мере ценить. Кроме того, уверенные надежды пелопоннесцев существенно укреплялись благодаря широкому распространению симпатий в пользу их дела, провозглашавшего, как и оно, освобождение Греции от города-деспота^[161].

Афинам же предстоящая война представлялась в совершенно ином свете; она не сулила почти никаких надежд на возможную выгоду и несомненные потери и лишения, - даже если допустить, что такой тяжелой ценой удастся сохранить независимость и союз внутри страны и империю за рубежом. Периклес и более дальновидные афиняне предвидели возможность неизбежной войны еще до коркирского спора^[162]. Но Периклес был лишь первым гражданином в демократическом государстве, которого больше, чем кого-либо другого, уважали, доверяли и слушали все граждане, но большинство его мер встретило горячее сопротивление в условиях царившей в Афинах свободы слова и свободы индивидуальных действий, и даже лютую ненависть многих активных политических противников. Официальное решение лакедемонян объявить войну, конечно, должно было стать известно в Афинах тем афинским посланникам, которые безрезультатно протестовали против него в спартанском собрании. Спарта не предпринимала никаких шагов, чтобы привести это

решение в исполнение, пока не состоялся конгресс союзников и не прозвучал их подтверждающий голос. Спартанцы и тогда не посылали глашатаев и не делали никаких официальных заявлений. Они посылали в Афины различные предложения, но вовсе не для того, чтобы получить удовлетворение или избежать войны, а с противоположной целью - умножить требования и расширить поводы для ссоры[163]. Между тем депутаты, расходившиеся после съезда по своим городам, несли с собой общую резолюцию о немедленных военных приготовлениях, которые должны быть сделаны как можно быстрее[164].

Первое требование, с которым лакедемоняне обратились к Афинам, было политическим маневром, направленным против Перикласа, их главного противника в этом городе. Его мать, Агаристка, принадлежала к великому роду Алкмаэонидов, на которых, как считалось, лежит неизгладимое наследственное пятно из-за святотатства, совершенного их предком Мегаклесом почти за два века до того, когда он зарезал килонских сторонников у алтаря достопочтенных богинь.[165] Как ни древна была эта сделка, она все же достаточно завладела умами афинян, чтобы послужить основой для политического маневра: примерно за семьдесят семь лет до этого, вскоре после изгнания Гиппия из Афин, ее использовал спартанский царь Клеоменес, который в то время требовал от афинян очищения от древнего святотатства, которое должно было быть осуществлено изгнанием Клейстенеса, основателя демократии, и его главных приверженцев. Это требование, адресованное Клеоменесом афинянам по просьбе Исагора, соперника Клейстенеса,[166] было тогда выполнено и послужило целям тех, кто его послал; теперь аналогичный удар лакедемоняне нанесли Периклему, внучатому племяннику Клейстенеса, и, несомненно, по просьбе его политических врагов: религия требовала, как утверждалось, чтобы "мерзость богини была изгнана". "Если бы афиняне выполнили это требование, они лишились бы в этот критический момент своего самого выдающегося лидера; но лакедемоняне, не ожидая выполнения, рассчитывали в любом случае дискредитировать Перикла в народе, как отчасти виновного в войне из-за семейной нечистоплотности,[168] - и это впечатление, несомненно, будет громко провозглашено его политическими противниками в собрании.

Влияние Перикла на афинскую публику становилось все больше и больше по мере того, как продлевался их политический опыт общения с ним. Но вместе с ним росло и ожесточение его врагов; незадолго до этого периода он подвергся косвенным нападкам в виде обвинений в адрес трех разных лиц, более или менее близких к нему, - его любовницы Аспасии, философа Анаксагора и скульптора Фидия. Мы не можем установить ни точную дату, ни точные факты ни одного из этих обвинений. Аспасия, дочь Аксиоха, была родом из Милета, красива, образованна и честолюбива. Она жила в Афинах и, как утверждается, хотя и на основании весьма сомнительных доказательств, содержала рабынь, которых отпускала в качестве куртезанок; Как бы ни относиться к этому сообщению, которое, скорее всего, является одним из скандалов, вызванных политической враждой против Периклеса,[169] несомненно, что она была настолько привлекательна, ее достижения и способности не только к беседе, но даже к ораторскому искусству и критике, что самые выдающиеся афиняне всех возрастов и характеров, в том числе и Сократес, посещали ее, а некоторые из них брали с собой своих жен, чтобы послушать ее. Свободные гражданки Афин жили в строгом и почти восточном затворничестве, как после замужества, так и будучи незамужними: все, что касалось их жизни, их счастья или прав, определялось или управлялось за них родственниками-мужчинами, и они, похоже, были лишены всякой умственной культуры и достижений. Их общество не представляло ни очарования, ни интереса, поэтому мужчины искали их в обществе женщин, называемых *hetærae*, или *courtezans*, буквально "спутницы"; они вели свободный образ жизни, сами управляли своими

делами и поддерживали себя за счет своих способностей угождать. Этих женщин было много, и они, несомненно, отличались самыми разными характерами: но самые выдающиеся и превосходные из них, такие как Аспазия и Феодота,^[170] похоже, были единственными женщинами в Греции, за исключением спартанок, которые либо внушали сильную страсть, либо проявляли умственное превосходство.

При выборе жены Периклес руководствовался теми семейными соображениями, которые в Афинах считались почти обязательными, и женился на женщине, очень близкой ему по родству, от которой у него было два сына, Ксантипп и Парал. Но брак, так и не ставший удобным, был впоследствии расторгнут по взаимному согласию, согласно той полной свободе развода, которую допускал аттический закон; и Периклес согласился с мужскими родственниками жены, которые были ее законными опекунами, чтобы дать ей дорогу к другому мужу.^[171] Затем он взял Аспизию к себе, родил от нее сына, носившего его имя, и с тех пор поддерживал с ней самые тесные и близкие отношения. Не принимая тех преувеличений, которые представляют Аспизию как передавшую Периклесу его выдающееся красноречие или даже как саму сочинявшую ораторские речи для публичного выступления, мы вполне можем считать, что она была способна проявлять интерес и участвовать в том литературном и философском обществе, которое часто посещало дом Периклеса, и о котором его беспринципный сын Ксантипп, недовольный регулярными расходами отца, лишившими его средств на содержание экстравагантного заведения, сообщал за границу с преувеличенными клеветами и превращал их в насмешки. Именно от этого никчемного молодого человека, умершего от афинской эпидемии при жизни Перикла, его политические враги и комические писатели того времени в основном получали скандальные анекдоты для поношения личных привычек этого выдающегося человека.^[172] Комики нападали на него за предполагаемые интриги с разными женщинами, но к имени Аспизии они относились как к общественному достоянию, без всякой жалости и удержу: она была то Омфалой, то Деянирой, то Геркой для этого великого Геракла или Зевса Афинского. В конце концов один из этих комических писателей, Гермипп, не довольствуясь живописными нападками, обвинил ее в дикастерии в нечестии, как участницу философских дискуссий и мнений, исповедуемых в обществе Перикла, Анаксагором и другими. Против самого Анаксагора, как говорят, было выдвинуто аналогичное обвинение либо Клеоном, либо Фукидидом, сыном Мелесия, согласно общему постановлению, недавно принятому в общественном собрании по инициативе Диопитека. И такова была чувствительная антипатия афинской публики, проявившаяся впоследствии в случае с Сократесом и ожесточенная в данном случае всеми ухищрениями политической фракции против философов, чьи мнения противоречили принятым религиозным догмам, что Периклес не решился отдать Анаксагора под суд: тот удалился из Афин, и в его отсутствие против него был вынесен приговор об изгнании.^[173] Но он сам защищал Аспизию перед дикастерией: фактически, обвинение было выдвинуто как против него, так и против нее: против нее, а также против Фидия, было выдвинуто обвинение в приеме свободных женщин для облегчения интриг Периклеса. Он успешно защищал ее и добился оправдательного приговора, но нас не удивляет, что его речь была отмечена сильнейшими личными эмоциями и даже слезами.^[174] Дикасты привыкли к подобным обращениям к своим симпатиям, иногда даже к экстравагантным излишествам, со стороны обычных обвиняемых: но в Периклесе столь явный всплеск эмоций выделяется как нечто совершенно беспрецедентное: ведь постоянное самообладание было одной из самых выдающихся черт его характера.^[175] И мы видим, как ближе к концу своей политической жизни, когда он на время стал непопулярен среди афинского народа, отвлеченного в тот момент ужасными страданиями от моровой язвы, - он противостоит их незаслуженному гневу не просто с достоинством, но с гордостью сознательной невинности и пустынности, которая

поднимается почти до неповиновения; Настолько, что ритор Дионисий, который критикует речь Перикла, как если бы она была просто сочинением Фукидида, порицает этого историка за то, что он нарушил драматические приличия, проявив дерзость там, где смирение было бы уместно.[176]

Насколько мы можем судить по весьма несовершенным данным, почти в этот же период состоялся суд над великим скульптором Фидием, обвиненным в растрате при заключении контракта на изготовление его знаменитой статуи Афины из золота и слоновой кости[177]. Эта статуя была закончена и посвящена в Парфеноне в 437 году до н. э., и с этого времени Фидий работал в Олимпии над своим последним и великим шедевром - колоссальной статуей Олимпиана Зевса. По возвращении в Афины после завершения этой работы, около 433 или 432 года до н. э., политические враги Перикла выдвинули против него обвинение в растрате.[178] Раб Фидия, по имени Менон, в качестве просителя пристал к алтарю, утверждая, что ему известны некоторые факты, доказывающие, что его хозяин совершил растрату. Было предложено получить его показания и обеспечить его персоне защиту народа; после чего он раскрыл различные заявления, порочащие денежную честность Фидия, и последний был помещен в тюрьму, ожидая дня суда над ним в дикастерии. Однако все золото, из которого была сделана статуя, можно было снять и взвесить, чтобы убедиться в его точности, что Периклес и осмелился сделать с обвинителями. Кроме обвинения в растрате, были и другие обстоятельства, сделавшие Фидия непопулярным: выяснилось, что в рельефах на фризе Парфенона он поместил на видных местах свои портреты и портреты Периклеса. Похоже, что Фидий умер в тюрьме до дня суда; некоторые даже говорили, что он был отравлен врагами Перикла, чтобы усугубить подозрения против последнего, который был настоящим объектом нападок. Говорят также, что Драконтидес предложил и провел в общественном собрании постановление о том, что Периклес должен быть призван дать отчет о потраченных им деньгах и что дикасты, перед которыми будет дан отчет, должны будут самым торжественным образом подать свой голос с алтаря: это последнее положение было изменено Агноном, который, предложив, чтобы дикастов было пятнадцать сотен, сохранил голос камешками в урне по обычному обычаю[179].

Если Периклеса когда-либо судили по такому обвинению, то можно не сомневаться, что он был с честью оправдан: ведь слова Фукидида о его денежной честности таковы, что их никогда бы не использовали, если бы приговор о виновности по обвинению в казнокрадстве когда-либо был публично произнесен. Но мы не можем быть уверены, что его когда-либо судили: более того, другое обвинение, выдвинутое его врагами и даже Аристофаном на шестом году Пелопоннесской войны, подразумевает, что никакого суда не было: Ибо утверждалось, что Периклес, чтобы избежать этой опасности, "взорвал Пелопоннесскую войну" и вовлек свою страну в такую путаницу и опасность, что его собственная помощь и руководство стали для неё необходимыми: особенно то, что он принял декрет против мегарян, которым война была действительно начата.[180] Однако мы знаем достаточно, чтобы быть уверенными в том, что такое предположение совершенно недопустимо. Враги Перикла были слишком энергичны и слишком опыты в афинской политической войне, чтобы позволить ему избежать такой хитрости: кроме того, из заверений Фукидида мы узнаем, что война зависела от гораздо более глубоких причин, - что мегарийский указ никак не был ее реальной причиной, - что не Перикл, а пелопоннесцы вызвали ее ударом, нанесенным в Потидее.

Все, что мы можем выяснить из этих неподтвержденных утверждений, - это то, что в год или два, непосредственно предшествовавшие Пелопоннесской войне, Периклес был сильно

подавлен обвинениями политических врагов, - возможно, даже в свой адрес, но, несомненно, в адрес тех, кто пользовался его доверием и привязанностью. [Именно при таком повороте его политического положения лакедемоняне отправили в Афины вышеупомянутое требование, чтобы древнее килонское святотатство было наконец очищено; иными словами, чтобы Периклес и его семья были изгнаны. Несомненно, его враги, а также сторонники Лакедемонии в Афинах, горячо поддержали бы это предложение: партия Лакедемонии в Афинах всегда была сильна, даже в середине войны: выступать в качестве проксена перед лакедемонянами считалось честью даже в самых больших афинских семьях. [182] Однако в этот раз маневр не удался, и афиняне не прислушались к требованию изгнать святотатцев Алкмаэонидов. Напротив, они ответили, что спартанцы тоже имеют счет за святотатство, которое они должны очистить; ведь они нарушили святилище Посейдона на мысе Тенара, вытащив оттуда нескольких беззащитных сторонников, которых следовало предать смерти, - и святилище Афонского Халкика в Спарте, заперев и уморив голодом провинившегося регента Павсания. Требование очистить Лаконию от этих двух актов святотатства было единственным ответом афинян на требование изгнать Перикла. [183] Вероятно, фактический эффект этого требования заключался в том, чтобы укрепить его в общественном мнении: [184] он сильно отличался от эффекта того же маневра, когда его применил Клеоменес против Клейстенеса.

Вскоре после этого прибыли другие спартанские посланники с новыми требованиями. Теперь от афинян требовалось: 1. Вывести свои войска из Потидеи. 2. Заменить Эгину в ее автономии. 3. Отменить указ об исключении мегарцев. Именно на последнем пункте был сделан наибольший акцент; было сделано намек на то, что войны можно будет избежать, если отменить его. Из этих действий ясно видно, что лакедемоняне действовали в согласии с антипериклийскими лидерами в Афинах. Для Спарты и ее конфедерации постановление против мегарян имело меньшее значение, чем спасение коринфских войск, заблокированных в Потидее: но, с другой стороны, у партии, выступающей против Перикла, было бы гораздо больше шансов добиться голосования в собрании против него по вопросу о мегарянах, и это преимущество, если бы оно было получено, послужило бы ослаблению его влияния в целом. Однако ни по одному из этих трех пунктов уступки не было получено: даже в отношении Мегары постановление об исключении было подтверждено и поддержано против всех сил оппозиции. В конце концов лакедемоняне, уже решившиеся на войну и отправившие посланников в соответствии с требованиями обычной практики, а не с целью договориться, прислали третью партию посланников с предложением, которое, по крайней мере, раскрывало их истинную цель без маскировки. Рамфий и еще два спартанца объявили афинянам простое предписание: "Лакедемоняне желают сохранить мир, и он может быть сохранен, если вы оставите греков в покое". На это требование, столь отличное от предыдущих, афиняне решили провести новое собрание по вопросу о войне или мире, открыть весь вопрос заново для обсуждения и раз и навсегда определиться с императивным ответом [185].

Последние требования, выдвинутые Спартой, которые сводились к полному уничтожению Афинской империи, - в сочетании с характером, как колеблющимся, так и неясным, ранее выдвинутых требований, и знанием того, что спартанская конфедерация высказалась императивно в пользу войны, - казалось, могли привести к единодушию в Афинах и собрать это важное собрание под всеобщим убеждением, что война неизбежна. Однако на деле все оказалось иначе. Нежелание вступать в войну было искренним среди значительного большинства членов собрания, а среди значительной их части оно было настолько

преобладающим, что они даже теперь вернулись к открытию, которое лакедемоняне до этого проводили в отношении антимегарского декрета, как если бы это было главной причиной войны. Среди ораторов было много разногласий, некоторые из них настаивали на отмене этого постановления, считая его слишком незначительным, чтобы из-за него вступать в войну, и порицая упрямство Перикла за отказ уступить в таком пустяке. [Против этого мнения Периклес выступил со своим протестом в решительной и ободряющей речи, которую Дионисий Галикарнасский относит к лучшим речам Фукидида: последний историк, возможно, сам слышал оригинал этой речи.

"Я продолжаю, афиняне, придерживаться того же убеждения, что мы не должны уступать пелопоннесцам, - хотя я знаю, что люди находятся в одном настроении, когда принимают решение о войне, и в другом, когда уже вступают в борьбу, - их суждения зависят от поворота событий. Мне остается только повторить то, что я уже говорил в прежние времена, - и я призываю вас, придерживающихся моих взглядов, придерживаться того, что мы сообща решили, хотя результат будет частично неблагоприятным: или же не ставить себе в заслугу мудрость в случае успеха. [187] Ибо очень возможно, что случайности событий могут отклониться от всех разумных путей больше, чем советы человека: таковы неожиданные повороты, которые мы привычно вменяем в вину фортуне. Лакедемоняне и раньше проявляли свои враждебные намерения против нас, но в этот раз они оказались сильнее, чем когда-либо. В то время как перемирие предписывает нам дать и получить полюбовное удовлетворение за наши разногласия и каждому сохранить то, чем он владеет, - они не только не просили такого удовлетворения, но и не получают его, когда мы предложим: они предпочитают решать претензии войной, а не обсуждением: они вышли за пределы тона жалобы и уже перешли к тону повеления. Они требуют, чтобы мы ушли из Потидеи, оставили свободной Эгину и отменили указ против мегарян: эти последние посланцы даже пришли, чтобы объявить нам, что мы должны оставить всех греков свободными. Пусть никто из вас не верит, что мы затеем войну из-за пустяка, если откажемся отменить мегарийский указ, - а они главным образом выдвинули это требование, будто его отмена предотвратит войну, - пусть никто из вас не винит себя, будто мы затеяли войну из-за пустяка. Ибо этот малый вопрос включает в себе всю проверку и испытание вашей стойкости: если вы уступите ему, на вас тут же наложат еще какое-нибудь более серьезное взыскание, как на людей, которые от страха уже уступили в одном вопросе: если же вы будете стойко держаться, вы дадите им понять, что они должны иметь с вами дело на основе равенства" [188].

Затем Периклес рассмотрел относительную силу сторон и шансы на войну. Пелопоннесцы были самодостаточным населением, у них было мало рабов и не было богатств, ни личных, ни общественных; у них не было средств для ведения далекой или длительной войны: они были готовы выставить свои лица, но совсем не были готовы внести свой вклад из своих весьма ограниченных средств: [189] в пограничной войне или в одиночном сухопутном сражении они были непобедимы, но для систематической войны против такой державы, как Афины, у них не было ни компетентного руководства, ни привычки к согласованности и пунктуальности, ни денег, чтобы извлечь выгоду из возможностей, всегда редких и случайных, для успешного нападения. Возможно, они могли бы создать укрепленный пост в Аттике, но это не принесло бы серьезных бед; на море же их неполноценность и беспомощность были бы полными, и непреодолимый афинский флот позаботился бы о том, чтобы сохранить их в таком состоянии. Не могли они рассчитывать и на то, чтобы переманить с афинских кораблей способных иностранных моряков за счет средств, взятых в долг в Олимпии или Дельфах: [190] ведь кроме того, что моряки зависимых островов оказались бы в проигрыше, даже согласившись на более высокую плату, с уверенностью, что афиняне потом отомстят, - самим Афинам хватило бы для комплектования флота в случае

необходимости собственных граждан и метисов: в своих стенах она имела рулевых и моряков лучше и многочисленнее, чем вся Греция в целом. Афины были уязвимы только с одной стороны: Аттика, к сожалению, не была островом - она подвергалась вторжениям и опустошениям. С этим афиняне должны были смириться, не совершая неосторожности ввязаться в сухопутное сражение, чтобы предотвратить его: у них было много земель за пределами Аттики, как островных, так и континентальных, чтобы обеспечить свои потребности, и они могли в свою очередь, с помощью своего флота, опустошить пелопоннесские территории, у жителей которых не было вспомогательных земель, чтобы вернуться к ним[191].

"Не скорбите о потере земель и домов (продолжал оратор): оставьте скорбь для людей: дома и земли приобретают не люди, а люди приобретают их". [192] Нет, если бы я думал, что смогу вас переубедить, я бы призвал вас выступить в поход и разорить их самих, и таким образом показать пелопоннессцам, что, по крайней мере, ради них вы не станете тянуть время. И я мог бы представить еще много оснований для уверенного ожидания успеха, если только вы будете готовы не стремиться к увеличению господства, когда мы находимся в разгаре войны, и не брать на себя новые риски; ибо я всегда больше боялся наших собственных промахов, чем планов нашего врага.[193] Но это вопросы для будущего обсуждения, когда мы перейдем к реальным операциям; пока же давайте отпустим этих посланников с ответом: Что мы разрешим мегарянам пользоваться нашими рынками и гаванями, если лакедемоняне со своей стороны прекратят (ксендзы или) суммарные изгнания нас и наших союзников с их собственной территории, - ибо в перемирии нет ничего, что могло бы помешать ни тому, ни другому: что мы оставим греческие города автономными, если они *были* у нас автономными в момент заключения перемирия, - и как только лакедемоняне предоставят *своим* союзным городам такую автономию, какую каждый из них выберет по своему усмотрению, а не такую, какая удобна Спарте: что пока мы готовы дать удовлетворение согласно перемирию, мы не будем начинать войну, но будем отражать тех, кто ее начнет. Такой ответ одновременно справедлив и соответствует достоинству этого города. Мы должны понять, что война неизбежна: чем бодрее мы ее примем, тем менее яростно будут нападать наши враги: а там, где опасность наибольшая, там и конечная честь наибольшая, как для государства, так и для частного гражданина. Уверен, что наши отцы, когда они выступили против персов, - не имея таких средств, какими располагаем мы, и даже вынужденные отказаться от всего, чем они владели, - и отразили захватчика, и довели дело до нашего настоящего положения, больше благодаря совету, чем удаче, и смелости, превышающей их реальную силу. Мы не должны уступать им: мы должны всячески оберегать наших врагов и оставить непоколебимую силу нашим преемникам"[194].

Эти воодушевляющие призывы Перикла привлекли к себе большинство собрания, так что посланникам был дан ответ, как он и рекомендовал, по каждому из обсуждаемых пунктов. Кроме того, по общему вопросу о мире или войне им было объявлено, что афиняне готовы обсудить все претензии к ним, согласно перемирию, путем равного и дружественного арбитража, но что они ничего не будут делать по авторитетному требованию.[195] С этим ответом посланники вернулись в Спарту, и переговоры были прекращены.

Из рассказа Фукидида следует, что афинская общественность пришла к этому решению не без большой неохоты, опасаясь последствий, особенно уничтожения имущества в Аттике, и что значительное меньшинство выступило против мегарского постановления - основания, искусно заложенного Спартой для нарушения единодушия ее противника и укрепления партии, выступавшей против Перикла. Но из слов того же историка, особенно из действий Коринфа и Спарты, как он их излагает, мы можем сделать решительный вывод, что Афины не

могли избежать войны без такого отречения от своего достоинства и власти, на какое не пойдет ни один народ ни при каком правительстве, и которое даже оставило бы ее без достойной защиты ее личных прав. Принять предложенную ей войну было делом не только благоразумия, но и необходимости: тон требовательности, принятый спартанскими посланниками, превратил бы уступку в свидетельство слабости и страха. Как рассказ Фукидида подтверждает суждение Перикла по этому важному вопросу,[196] так же он показывает нам, что Афины были не менее правы в соответствии с принятыми принципами международных отношений. Не Афины, как впоследствии считали спартанцы[197], а их враги нарушили условия перемирия, поощряя восстание Потидеи и обещая вторжение в Аттику: не Афины, а их враги, нарушив перемирие, выдвинули ряд непомерных требований, чтобы создать как можно больше поводов для войны.[198] Доводы Перикла, оправдывающие войну с точки зрения права и благоразумия, во всех своих основных пунктах подтверждаются беспристрастным голосом Фукидида. И хотя совершенно верно, что честолюбие Афин было велико, а рост их могущества удивителен в течение тридцати пяти лет между отпором Ксерксу и тридцатилетним перемирием, - не менее верно и то, что в результате этого перемирия она много потеряла и ничего не приобрела в возмещение этой потери за четырнадцать лет между перемирием и Коркирским союзом. Политика Периклеса не была направлена на внешнее возвеличивание или на усиление раздражения и посягательств на другие греческие державы: даже коркирский союз ни в коем случае не был им обхаживаем и был принят с учетом обязательств существующего перемирия; обстоятельства же, из которых этот союз вырос, свидетельствуют о более дальновидном стремлении Коринфа, чем Афин, присвоить себе коркирскую военно-морскую силу. Принято приписывать Пелопоннесскую войну амбициям Афин, но это неполный взгляд на дело. Агрессивные настроения, отчасти страх, отчасти ненависть, были на стороне пелопоннесцев, которые не знали, что Афины желают продолжения мира, но были полны решимости не позволить ей оставаться в том состоянии, в котором она находилась по окончании тридцатилетнего перемирия; их целью было напасть на нее и разрушить ее империю, как опасную, незаконную и антиэллинскую. Таким образом, война была отчасти принципиальным состязанием, включавшим народное провозглашение права каждого греческого государства на автономию против Афин; отчасти - состязанием силы, в котором спартанские и коринфские амбиции были не менее заметны и гораздо более агрессивны вначале, чем афинские.

Согласно сказанному, первый удар в войне был нанесен не Афинами, а против них. После решительного ответа, данного спартанским посланникам, в сочетании с предыдущими действиями и приготовлениями, которые велись в Пелопоннесской конфедерации, перемирие вряд ли можно было назвать еще действующим, хотя официального объявления о разрыве не было. Несколько недель прошли в ограниченных и недоверчивых сношениях;[199] хотя люди, пересекавшие границы, не считали нужным брать с собой глашатая, как во время настоящей войны. Если бы избыток честолюбия был на стороне Афин по сравнению с их врагами, это было бы самое время для того, чтобы нанести первый удар, который, конечно, нес в себе большую вероятность успеха, прежде чем их приготовления будут завершены. Но она осталась строго в рамках перемирия, и катастрофическая череда взаимных агрессий, которым суждено было разорвать внутренности Эллады, была открыта ее врагом и соседом.

Маленький городок Платея, до сих пор освященный памятной победой над персами, а также полученным от Павсания посвящением, стал ареной этого непредвиденного предприятия. Он находился в Беотии, сразу к северу от Китерона, на границах Аттики с одной стороны и Фив с другой, от которых его отделяла река Асоп: расстояние между Платеей и Фивами составляло около семидесяти стадий, или чуть больше восьми миль. Хотя по происхождению платейцы были беотийцами, они полностью отделились от беотской лиги и находились в сердечном союзе, а также в квалифицированном общении гражданских прав с афинянами, которые защищали их от ожесточенной вражды Фив на протяжении уже почти трех поколений. Но, несмотря на столь долгий срок, фиванцы, как вожди Беотийской лиги, все еще чувствовали себя обиженными отделением Платеи, и олигархическая фракция богатых платейцев выступила на их стороне, [200] имея цель подорвать демократическое правление города, уничтожить его лидеров, своих политических соперников и установить олигархию с собой в качестве вождей. Науклидес и другие члены этой фракции вступили в тайный сговор с Эвримахом и фиванской олигархией: обоим представлялось заманчивым призом, поскольку война была близка, воспользоваться этим неясным промежутком времени, пока еще не расставлены часовые и не начаты меры предосторожности военного положения, и напасть на город Платею ночью: кроме того, был выбран период религиозного праздника, чтобы население могло быть наиболее полно лишено бдительности. [201] Соответственно, в дождливую ночь ближе к концу марта 431 года до н.э., [202] тело из более чем трехсот фиванских гоплитов под командованием двух бётархов, Пифангела и Диемпора, и с Эвримахом в рядах, появилось у ворот Платеи во время первого сна горожан: Науклидес и его партизаны открыли ворота и провели их на агору, до которой они добрались и заняли ее в боевом порядке без малейшего сопротивления. Лучшая часть фиванских военных сил должна была прибыть в Платею к рассвету, чтобы поддержать их [203].

Науклидес и его друзья, следуя инстинктам политической антипатии, стремились провести фиванцев в дома их противников, демократических лидеров, чтобы схватить или выслать последних. Но фиванцы на это не согласились: считая себя теперь хозяевами города и будучи уверенными в большом подкреплении при свете дня, они думали, что смогут заставить горожан внешне охотно согласиться на их условия без какого-либо фактического насилия: они хотели, кроме того, скорее смягчить и оправдать, чем усугубить уже совершенное грубое общественное зло. Соответственно, их глашатаю было приказано публично пригласить всех платейцев, готовых вернуться к своим древним расовым симпатиям и к бейотской конфедерации, выйти вперед и занять место в вооруженных рядах фиванцев в качестве братьев. И платейцы, внезапно пробужденные ото сна поразительной вестью о том, что их великий враг овладел городом, предположили в темноте, что число нападавших гораздо больше, чем на самом деле, и, несмотря на свою сильную привязанность к Афинам, решили, что их дело безнадежно, и начали переговоры. Но вскоре, несмотря на темноту, в ходе обсуждения они убедились, что реальное число фиванцев не превышает того, с которым можно справиться, - они быстро набрались смелости и решили напасть на них; установили связь друг с другом, пробив стены частных домов, чтобы их не обнаружили при передвижении по улицам или дорогам [204], и образовали баррикады из повозок по всем подходящим дорогам. Немного раньше рассвета, когда приготовления были полностью завершены, они вышли из своих домов на приступ и сразу же сблизились с фиванцами. Последние, все еще считая себя хозяевами города и рассчитывая на благополучное завершение дискуссии, когда рассветет, теперь оказались застигнуты врасплох и оказались в крайне невыгодном положении: ведь они провели всю ночь под проливным дождем - они находились в незнакомом городе, с узкими, кривыми и грязными

дорогами, которые им было бы трудно найти даже при свете дня. Тем не менее, обнаружив внезапное нападение, они, как могли, выстроились в тесный порядок и два или три раза отбили платейцев, но нападение все равно повторялось с громкими криками, а женщины кричали, завывали и сбрасывали черепицу с плоских крыш домов, пока, наконец, фиванцы не растерялись и не сломались. Но бегство оказалось не менее трудным, чем сопротивление; они не могли найти выход из города, и даже ворота, через которые они вошли, единственные открытые, были закрыты одним платейским гражданином, который вбил в них острие копья вместо колышка, которым обычно скрепляли засов. Рассеявшись по городу и преследуемые людьми, знавшими каждую пядь земли, некоторые добежали до вершины стены и спрыгнули вниз, большинство из них погибло при этой попытке, - несколько других спаслись через неохраняемые ворота, прорубив засов топором, который дала им женщина, - а большая часть вбежала в открытые двери большого сарая или здания, примыкавшего к стене, приняв эти двери за вход в городские ворота. Здесь они оказались заблокированы без возможности спастись, и платейцы сначала думали поджечь здание, но в конце концов был заключен договор, по которому они, как и все остальные фиванцы в городе, согласились сдаться по своему усмотрению[205].

Если бы подкрепление из Фив прибыло в ожидаемый час, катастрофа была бы предотвращена. Но сильный дождь и темная ночь задержали весь их поход, а река Асоп настолько вздулась, что ее с трудом можно было перейти вброд, так что, прежде чем они достигли ворот Платеи, их товарищи внутри были либо убиты, либо взяты в плен. Какая судьба постигла их, фиванцы не могли сказать, но они сразу же решили захватить все, что смогут найти, как людей, так и имущество, на территории Платеи, - до сих пор не было принято никаких мер предосторожности, чтобы уберечься от военных опасностей, оставаясь в стенах, - чтобы было что обменять на тех фиванцев, которые попали в плен. Однако прежде чем этот шаг был осуществлен, из города вышел глашатай, чтобы убедить их в том, что они поступили нечестиво, так грубо нарушив перемирие, и особенно предупредить, чтобы они не делали ничего плохого за стенами. Если они отступят, не причинив новых бед, то пленные внутри должны быть отданы им; в противном случае эти пленные будут немедленно убиты. Заключив соглашение и поклявшись в этом, фиванцы удалились, не предпринимая никаких активных действий. Таков, по крайней мере, рассказ фиванцев о том, что предшествовало их отступлению: но платейцы дали совсем другое заявление; они отрицали, что давали какое-либо категорическое обещание или клятву, и утверждали, что не приняли никакого обязательства, кроме как отложить любой решительный шаг в отношении пленников, пока не будет проведено обсуждение, чтобы увидеть, может ли быть заключено удовлетворительное соглашение.

Поскольку Фукидид записывает оба этих заявления, не указывая, какому из них он сам отдал предпочтение, мы можем предположить, что оба они нашли поддержку у уважаемых людей. Фиванская история, несомненно, наиболее вероятна: но платейцы, похоже, нарушили договоренность, даже если исходить из их собственного понимания. Ведь едва фиванцы отступили, как они (платейцы) поспешно ввели в стены своих граждан и лучшее из их движимого имущества, а затем сразу же убили всех своих пленников, даже не вступая в формальности переговоров. Пленников, преданных смерти, среди которых был и сам Эвримах, было сто восемьдесят человек[206].

При первом ночном нападении фиванцев из Платеи отправился гонец, чтобы сообщить новость в Афины; за ним последовал второй гонец, чтобы сообщить о победе и захвате пленных, как только она была достигнута. Афиняне без промедления отправили назад

вестника, который приказал платейцам не предпринимать никаких действий в отношении пленников до тех пор, пока не будет проведена консультация с Афинами. Периклес, несомненно, опасался того, что оказалось на самом деле: пленники были убиты еще до прибытия его гонца. Если не принимать во внимание условия договора и руководствоваться только принятой практикой древних войн, их уничтожение нельзя было назвать необычайно жестоким, хотя фиванцы, когда удача была к ним благосклонна, предпочитали называть его таковым[207], но беспристрастные современники заметили бы, а афиняне в особенности глубоко оплакивали, вопиющую беззастенчивость этого поступка. Для Фив, конечно, лучше всего было бы немедленно вернуть своих захваченных граждан: но рядом с этим наименьшим злом было бы услышать, что их предали смерти. В руках афинян и платейцев они стали бы средством получить от нее гораздо более ценные жертвы, чем стоили их жизни, рассматриваемые как часть фиванской власти: так сильно было чувство симпатии к пленным гражданам, среди которых было несколько важных и значительных людей, как это видно из поведения Афин после битвы при Коронее и Спарты после взятия Сфактерия, о котором будет рассказано далее. Платейцы, повинувшись простому инстинкту гнева и мести, отбросили это большое политическое преимущество, которое более дальновидный Периклес с радостью обратил бы на пользу.

В то время, когда афиняне послали своего глашатая в Платею, они также отдали приказ о захвате всех беотийцев, которых можно было найти в Аттике; в то же время они не теряли времени на то, чтобы послать войска для обеспечения Платеи и поставить ее на ноги в качестве гарнизона города, удалив в Афины стариков и больных, а также женщин и детей. Ни одна из сторон и не думала жаловаться или обсуждать недавний сюрприз: для обеих было очевидно, что война фактически началась, что нельзя думать ни о чем, кроме средств ее ведения, и что дальнейшее личное общение возможно только под охраной глашатаев.[208] Инцидент в Платее, поразительный во всех своих аспектах, поднял обе стороны до полного военного возбуждения. Дух решимости и предприимчивости витал повсюду, особенно среди молодых граждан, еще не знакомых с реальным ожесточением войны, которых взрастило долгое перемирие, только что нарушенное; и зараза возбужденного чувства распространилась от ведущих участников сражения во все уголки Греции, частично проявившись в многочисленных оракулах, пророчествах и религиозных легендах, приспособленных к моменту:[209] недавнее землетрясение на Делосе, а также различные другие необычные физические явления были истолкованы как предсказания надвигающейся ужасной борьбы, - период, фатально отмеченный не только затмениями, землетрясениями, засухой, голодом и мором, но и непосредственными бедствиями войны.[210]

Столь неоправданная агрессия, как нападение на Платею, несомненно, способствовала укреплению единодушия афинского собрания, заставила замолчать противников Перикла и придала дополнительный вес тем частым увещаниям,[211] с помощью которых великий государственный деятель поддерживал мужество своих соотечественников. Были разосланы сведения, чтобы предупредить и ободрить многочисленных союзников Афин, как данников, так и свободных: последние, за исключением фессалийцев, акарнанцев и мессенцев в Наупакте, все были островными, - хианы, лесбиане, коркирцы и закинфы; на остров Кефаллекния также отправили посланников, но он был фактически приобретен в союз только через несколько месяцев после этого.[212] С акарнанцами их связь тоже началась лишь незадолго до этого, кажется, летом предыдущего года, что было вызвано обстоятельствами, связанными с городом Аргос в Амфилохии. Этот город, расположенный на южном побережье Амбракийского залива, первоначально был занят частью амфилохийцев, неэллинским племенем, чей род, очевидно, был чем-то промежуточным между акарнанцами и эпиротами.

Некоторые колонисты из Амбракии, принятые в качестве совместных жителей с амфилохийцами в этом городе, впоследствии изгнали их и оставили город с его территорией исключительно за собой. Изгнанные жители, объединившись с окружающими их племенами, а также с акарнанцами, искали средства для восстановления и, чтобы получить их, обратились за помощью к Афинам. Афиняне отправили экспедицию из тридцати трирем под командованием Формиона, который, присоединившись к амфилохийцам и акарнанцам, атаковал и взял Аргос, обратил амбракиотов в рабство и вернул город амфилохийцам и акарнанцам. Именно по этому случаю был впервые заключен союз акарнанцев с Афинами, и началась их личная привязанность к афинскому адмиралу Формиону[213].

Многочисленные подданные Афин, чьи пожертвования воплощались в ежегодной дани, были распределены по всему Эгейскому морю, включая все острова к северу от Креты, за исключением Мелоса и Теры.[214] Более того, элементы силы, собранные в самих Афинах, были вполне достойны метрополии столь великой империи. Периклес мог доложить своим соотечественникам о трехстах триремах, пригодных для активной службы; двенадцати сотнях всадников и конных лучников; шестнадцати сотнях лучников; и великой силе всех, не менее двадцати девяти тысяч гоплитов, - в основном граждан, но частично и метисов. Отборная часть этих гоплитов, как по возрасту, так и по снаряжению, насчитывала тринадцать тысяч человек; остальные шестнадцать тысяч, включая старших и младших граждан и метисов, несли гарнизонную службу на стенах Афин и Пирея, на длинной линии стены, соединявшей Афины с Пиреем и Фалером, и на различных укрепленных пунктах в Аттике и за ее пределами. Помимо этих крупных военных и морских сил, город обладал в акрополе накопленным сокровищем чеканного серебра в размере не менее шести тысяч талантов, или около одного миллиона четырехсот тысяч фунтов стерлингов, полученных от ежегодного сбора дани с союзников и, возможно, других доходов: Когда-то сокровища достигали девяти тысяч семисот талантов, или около двух миллионов двухсот тридцати тысяч фунтов, но расходы на недавние религиозные и архитектурные украшения в Афинах, а также на осаду Потидеи, сократили их до шести тысяч. Кроме того, акрополь и храмы по всему городу были богаты вотивными подношениями, вкладами, священными табличками, серебряной утварью для процессий и праздников и т. д, на сумму более пятисот талантов; а большая статуя богини, недавно установленная Фидием в Парфеноне, состоящая из слоновой кости и золота, включала в себя количество последнего металла не менее сорока талантов весом, - равное по стоимости более чем четырёмстам талантам серебра, - и все это было устроено так, что могло быть снято со статуи по желанию. Упоминая об этих священных ценностях как о ресурсах государства, Периклес говорил о них лишь как об открытых для применения в случае необходимости, с твердым намерением заменить их в первый же сезон процветания, подобно тому как коринфяне предлагали взять займы в Дельфах и Олимпии. Кроме того, помимо имевшегося в распоряжении клада, поступал большой ежегодный доход, составлявший под единым началом дани с союзников шестьсот талантов, что равнялось примерно ста тридцати восьми тысячам фунтов; кроме того, все остальные статьи[215] составляли в целом не менее тысячи талантов, или около двухсот тридцати тысяч фунтов.

К этому грозному перечню средств для войны следовало добавить другие, не менее важные, но не поддающиеся взвешиванию и подсчету предметы: непревзойденное морское мастерство и дисциплина моряков, демократические настроения, столь же горячие и единомышленные, общей массы граждан, и превосходное развитие руководящего интеллекта. А если учесть, что на стороне противника действительно была неодолимая сухопутная сила, но почти ничего другого - ни кораблей, ни обученных моряков, ни средств, ни способностей к комбинированию или руководству, - то можно убедиться, что у такого оратора, как Периклес, было достаточно материалов, чтобы нарисовать обнадеживающую картину будущего. Он

мог изобразить Афины, держащие Пелопоннес в осаде с помощью своего флота и цепи островных постов;^[216] и он мог гарантировать успех^[217] как неременную награду за настойчивые, упорядоченные и хорошо продуманные усилия в сочетании с твердой выдержкой в период временных, но неизбежных страданий; а также в сочетании с другим условием, едва ли менее трудным для афинского нрава, - воздержанием от соблазнительных спекуляций о далеких предприятиях, пока их силы требовались в связи с необходимостью войны вблизи дома. [Но такие перспективы основывались на дальних расчетах, не ограничиваясь сиюминутными потерями, и поэтому могли в меньшей степени завладеть умом рядового гражданина, или, во всяком случае, быть подавленными на мгновение давлением реальных трудностей. Кроме того, лучшее, что мог обещать Периклес, - это успешное сопротивление, сохранение в неизменном виде той великой империи, к которой привыкли Афины; политика чисто консервативная, без всякого стимула в виде надежды на положительные приобретения, - и не только без сочувствия других государств, но и с чувством простого попустительства со стороны большинства ее союзников, а в других местах - сильной враждебности.

По всем этим последним пунктам положение Пелопоннесского союза было гораздо более обнадеживающим. Столь мощное объединение федератов еще никогда не собиралось вместе, даже для того, чтобы противостоять Ксерксу. В союз были собраны не только все силы Пелопоннеса, за исключением аргейцев и ахейцев, которые поначалу были нейтральны, хотя ахейский город Пеллен присоединился еще в самом начале, а все остальные - впоследствии, но и мегаряне, беотийцы, фокийцы, локрийцы Опунта, амбракиоты, лейкадцы и анакторийцы. Среди них Коринф, Мегара, Сикион, Пеллен, Элида, Амбракия и Леука - морские силы, а беотийцы, фокийцы и локрийцы - конница. Многие из этих городов, однако, поставляли гоплитов, а остальные конфедераты - только гоплитов. Именно на эту последнюю силу, не считая мощной беотийской кавалерии, возлагалась основная ставка, особенно в первой и самой важной операции войны - опустошении Аттики. Связанная сильнейшим общим чувством активной антипатии к Афинам, вся конфедерация была полна надежд и уверенности в этом немедленном продвижении вперед, - столь приятном одновременно и для их ненависти, и для их любви к грабежу, рукой разрушения, наложенной на самую богатую страну Греции, - и дающем шанс даже на прекращение войны сразу, если гордость афинян будет так невыносимо уязвлена, что побудит их выйти и сражаться. Уверенность в немедленном успехе в самом начале, общая цель, которую нужно осуществить, и общий враг, которого нужно уничтожить, и благоприятные симпатии во всей Греции - все эти обстоятельства в начале войны наполняли пелопоннесцев сангвиническими надеждами; и общее убеждение заключалось в том, что Афины, даже если не будут покорены первым вторжением, не смогут продержаться более двух или трех лет против повторения этого разрушительного процесса. [Эта уверенность сильно контрастировала с гордой и решительной покорностью необходимости, не без унылых предчувствий результата, царившей среди слушателей Перикла^[219].

Но хотя пелопоннесцы и были уверены в том, что смогут добиться своего простой сухопутной кампанией, они не пренебрегали вспомогательными приготовлениями к морской и длительной войне. Лакедемоняне решили довести военно-морские силы, уже имевшиеся у них и их союзников, до пятисот трирем, главным образом с помощью дружественных дорийских городов на италийском и сицилийском побережье. Каждый из них должен был внести определенный взнос вместе с определенным контингентом; им был передан приказ делать такие приготовления молча, без немедленного объявления враждебности Афинам и

даже без отказа в настоящее время впустить в свои гавани хоть один афинский корабль.[Кроме того, лакедемоняне разрабатывали планы отправки посланников к персидскому царю и в другие варварские державы, - замечательное свидетельство меланхолического переворота в греческих делах, когда этот властитель, которого общая рука Греции с таким трудом отбила несколько лет назад, теперь призывал снова ввести феникийский флот в Эгейское море с целью сокрушить Афины.

Однако главной задачей было безотлагательное вторжение в Аттику, и для этого лакедемоняне издали циркулярный приказ сразу после попытки внезапного нападения на Платею. Хотя для разрешения любой войны требовалось голосование союзников, лакедемоняне, получив его, брали на себя руководство всеми мерами по ее ведению. Две трети гоплитов каждого из городов конфедерации - видимо, две трети от некоего предполагаемого рейтинга, за который город нес ответственность в книгах конфедерации, так что беотийцы и другие, предоставившие конницу, не были вынуждены посылать две трети всего своего войска гоплитов, - были призваны явиться в определенный день на Коринфский перешеек с провизией и снаряжением для экспедиции определенной продолжительности.[222] В назначенный день все войска были собраны, и спартанский царь Архидам, приняв командование, обратился к командирам и главным офицерам от каждого города с торжественной речью, в которой содержалось как торжественное предупреждение, так и ободрение. Его слова были направлены главным образом на то, чтобы сбить царившую в армии излишнюю самоуверенность. Отметив масштабность события, мощный импульс, взволновавший всю Грецию, и общие добрые пожелания, которые сопровождали их в борьбе с врагом, столь ненавистным, он призвал их не позволять своему огромному превосходству в численности и храбрости склонить их к духу необдуманного беспорядка. "Мы собираемся атаковать (сказал он) врага, превосходно оснащенного во всех отношениях, так что мы можем быть совершенно уверены, что они выйдут и будут сражаться,[223] даже если они сейчас не находятся на марше, чтобы встретить нас на границе, по крайней мере, когда они увидят нас на своей территории, разоряющих и уничтожающих их собственность. Все люди, подвергающиеся какому-либо необычному унижению, приходят в ярость и действуют скорее по страсти, чем по расчету, когда это происходит на их глазах: тем более так поступят афиняне, привыкшие к империи и к опустошению чужой территории, чем к такому обращению со своей".

Сразу же после сбора армии Архидам отправил Мелесиппа посланником в Афины, чтобы сообщить о предстоящем вторжении, все еще надеясь, что афиняне уступят. Но по приказу Перикла уже было принято решение не принимать от лакедемонян ни глашатаев, ни посланников, когда их армия будет на марше, поэтому Мелесиппа отправили обратно, даже не позволив войти в город. Ему было приказано покинуть территорию до захода солнца с проводниками, которые должны были сопровождать его и не позволять ему обратиться к кому-либо ни с одним словом. Расставаясь со своими проводниками на границе, Мелесипп воскликнул,[224] с торжественностью, но слишком точно оправданной событием: "Этот день станет началом многих бедствий для греков".

Архидам, как только ему стало известно о приеме последнего посланника, продолжил свой поход с перешейка в Аттику, куда он вступил по дороге ΣΕνοῦ, пограничной афинской крепости Аттики в сторону Беотии. Его поход был медленным, и он счел необходимым предпринять регулярную атаку на крепость ΣΕνοῦ, которая была приведена в такое хорошее состояние обороны, что после тщетных попыток различных способов штурма, в которых

лакедемоняне не были искусны,^[225] и после задержки на несколько дней перед этим местом, он был вынужден отказаться от этой попытки.

Отсутствие энтузиазма со стороны спартанского царя, его многократные задержки, сначала на перешейке, затем в походе и, наконец, перед СЕпоё, - все это оскорбляло пылкое нетерпение армии, которая громко роптала против него. Он действовал по расчету, уже изложенному в его речи в Спарте,^[226] согласно которому высококультурная земля Аттики должна рассматриваться как залог за спокойствие афинян, которые скорее уступят, когда опустошение, хотя еще и не наступившее, тем не менее приближается и находится у их дверей. С этой точки зрения, небольшая задержка на границе не была недостатком; и, возможно, сторонники мира в Афинах поощряли его надеждой, что это позволит им одержать победу. Нельзя сомневаться и в том, что для Перикла в Афинах это был момент, полный трудностей. Он должен был объявить всем владельцам Аттики горькую правду, что они должны готовиться к тому, что их земли и дома будут разграблены и разрушены, а их люди, семьи и движимое имущество должны быть доставлены для безопасности либо в Афины, либо в один из фортов на этой территории, либо перевезены на один из соседних островов. Правда, он произвел бы благоприятное впечатление, если бы сказал им, что Архидам - друг его семьи, но только в тех пределах, которые связаны с долгом перед городом: поэтому, если захватчики, опустошая Аттику, получают указание пощадить его собственные земли, он немедленно передаст их государству как общественную собственность: И вряд ли такой случай мог возникнуть если не из-за личных чувств Архидама, то, по крайней мере, из-за продуманного маневра спартанцев, которые таким образом хотели настроить афинское общество против Перикла, как они пытались сделать это раньше, требуя изгнания святотатственной расы Алкмаэонидов.^[227] Но хотя это заявление, несомненно, вызвало бы горячее одобрение, урок, который он должен был преподать, не только для признания разумной политики, но и для реальной практики, был отвратителен и для непосредственных интересов, и для достоинства, и для симпатий его соотечественников. Видеть, как разоряются их земли, не поднимая рук для их защиты, - уводить жен и семьи, покидать и разбирать свои загородные резиденции, как это было во время персидского вторжения, - и все это в уверенности, что компенсация будет получена другими способами и в отдаленном конечном успехе, - таковы были рекомендации, которые, вероятно, никто, кроме Перикла, не мог надеяться привести в исполнение. Более того, их было тем труднее выполнить, что афинские граждане, как правило, сохраняли привычку постоянно проживать не в Афинах, а в различных владениях Аттики, многие из которых все еще сохраняли свои храмы, свои праздники, местные обычаи и ограниченную муниципальную автономию, доставшуюся им со времен, когда они были независимы от Афин.[Совсем недавно сельское хозяйство, удобства и украшения, распределенные по всей Аттике, были восстановлены после разрухи персидского нашествия и доведены до более высокого уровня, чем когда-либо; однако плоды этих трудов и сцены местных привязанностей теперь должны были быть снова безропотно оставлены новому агрессору и обменены на крайние лишения и неудобства. Архидам мог сомневаться в том, что афиняне наберутся решимости, необходимой для этого мучительного шага, когда дело дойдет до настоящего кризиса; и не заставят ли они Перикла против его воли сделать предложение о мире. Его задержка на границе и отсрочка фактического опустошения давали наилучший шанс для таких предложений; но поскольку этот расчет не оправдался, армия выдвинула против него правдоподобные претензии за то, что он дал афинянам время спасти так много своего имущества.

Со всех концов Аттики жители стекались в просторные стены Афин, которые теперь служили убежищем для бездомных, как Саламис за сорок девять лет до этого: целые семьи со всем своим движимым имуществом и даже с деревянной отделкой домов; овцы и скот были

перевезены на Эвбею и другие прилегающие острова.[229] Хотя немногие из беглецов получили жилье или прием у друзей, большинство было вынуждено расположиться на пустырях города и Пирея или в многочисленных городских храмах и вокруг них, за исключением акрополя и Элевсиниона, которые всегда были строго закрыты для нечестивцев; Но даже земля, называемая *Пеласгикон*, непосредственно под акрополем, которая, по древнему и зловещему преданию, была запрещена для обитания людей,[230] использовалась в случае необходимости. Многие также размещали свои семьи в башнях и углублениях городских стен[231] или в сараях, хижинах, палатках и даже кадках, расставленных вдоль длинных стен до Пейреуса. Несмотря на столь серьезные потери и лишения, славная стойкость их отцов во времена Ксеркса была точно повторена, и повторена при более почетных обстоятельствах, поскольку в то время не было возможности выбора; в то время как поход Архидам, возможно, теперь мог быть задержан представлениями, действительно губительными для афинского достоинства, но не противоречащими безопасности Афин, лишенных своего ранга и власти. Такие представления, если они и были предложены партией, противостоящей Периклему, не нашли отклика среди страдающего населения.

Проведя несколько дней перед *Σεποῖ*, не взяв крепость и не получив никаких сообщений от афинян, Архидам двинулся в поход на Элевсис и Фриасскую равнину - примерно в середине июня, через восемьдесят дней после неожиданного взятия Платеи. Его армия была неодолимой силы, не менее шестидесяти тысяч гоплитов, по утверждению Плутарха,[232] или ста тысяч, по мнению других: Учитывая количество составляющих союзников, сильные чувства, которыми они руководствовались, и краткость экспедиции в сочетании с возможностью грабежа, даже самое большое из этих двух чисел не является невероятно большим, если считать, что оно включает не только гоплитов, но и конницу и легковооруженных: но поскольку Фукидид, хотя и сравнительно полный в своем рассказе об этом походе, не указал общего количества, мы можем предположить, что он не слышал ничего, на что мог бы положиться. Поскольку афиняне не делали никаких движений к миру, Архидам ожидал, что они выйдут навстречу ему на плодородной равнине Элевсиса и Трии, которая была первой частью территории, которую он сел разорять: но ни одна афинская сила не появилась, чтобы противостоять ему, кроме отряда конницы, который был отбит в стычке у небольших озер под названием Реити. Разорив эту равнину без серьезного сопротивления, Архидам не счел нужным продолжать путь по прямой дороге, которая из Трии вела прямо в Афины через хребет горы Эгалеос, а свернул на запад, оставив эту гору по правую руку, пока не дошел до Кропеи, где пересек часть линии Эгалеос до Ахарнэ. Здесь он расположился примерно в семи милях от Афин, на склоне, спускающемся к равнине, которая тянется к западу и северо-западу от Афин и видна с городских стен; здесь он разбил лагерь, держа свою армию в идеальном порядке для сражения, но в то же время намереваясь нанести ущерб и разорить это место и его окрестности. Ахарны были самыми крупными и многолюдными из всех владений в Аттике, обеспечивая не менее трех тысяч гоплитов для национальной линии, и процветали как за счет кукурузы, винограда и оливок, так и за счет особого изобилия древесного угля из лесов илекса на соседних холмах: более того, если верить Аристофану, ахарнские владельцы были не просто крепкими "дубовыми сердцами", но и особенно вспыльчивыми и раздражительными.[233] Это иллюстрирует состояние греческой территории, подвергшейся вторжению, когда мы видим, что этот большой дем, в котором не могло быть менее двенадцати тысяч свободных жителей обоих полов и всех возрастов, и по крайней мере столько же рабов, полностью опустел. Архидам рассчитал, что когда афиняне увидят его войска так близко от своего города, огнем и мечом проносящиеся по их богатейшему кантону, их негодование станет неудержимым, и они немедленно выступят в бой. Особенно ахарнские владельцы, думал он, будут первыми разжигать этот

нрав и настаивать на защите своих владений, а если остальные граждане откажутся выступить вместе с ними, то они, оставшись без защиты и разорившись, станут недовольными и безразличными к общему благу[234].

Хотя его расчеты не оправдались, они, тем не менее, были основаны на самых рациональных основаниях. То, что предсказывал Архидам, уже свершилось, и ничто этому не препятствовало, кроме личного превосходства Перикла, напряженного до предела. Пока армия вторжения была занята на Фриазийской равнине, у афинян была слабая надежда, что она, подобно Плейстоанаксу за четырнадцать лет до этого, не продвинется дальше вглубь страны: Но когда они подошли к Ахарне, в пределах видимости от городских стен, когда на равнине Афин стали видны опустошители, уничтожающие здания, фруктовые деревья и посевы - зрелище, непривычное для каждого афинского глаза, за исключением тех стариков, которые помнили персидское нашествие, - отчаяние всех граждан достигло небывалых высот. Прежде всего ахарнийцы, а затем и все молодые граждане безумно требовали вооружиться и отправиться на битву. Зная о своей силе, но не имея представления о силе врага, они были уверены, что победа им по плечу. Повсюду собирались группы граждан,[235] гневно обсуждавших критический вопрос момента; обычные сопутствующие возбужденному чувству слова - прорицания и предсказания разного толка, многие из которых, несомненно, обещали успех против врага в Ахарне, - с нетерпением подхватывались и распространялись.

В этом воспаленном нраве афинского ума Периклес, естественно, стал главным объектом жалоб и гнева. Его осуждали как причину всех существующих страданий: его поносили как труса за то, что он не повел граждан на бой в качестве генерала: рациональные убеждения о необходимости войны и единственном практическом средстве ее ведения, которые внушали его неоднократные речи, казалось, были полностью забыты.[236] Этот всплеск спонтанного недовольства, конечно, разжигался многочисленными политическими врагами Перикла, и особенно Клеоном,[237] который теперь приобретал все большее значение как оппозиционный оратор; его талант к инвективам впервые проявился под эгидой аристократической партии, как и возбужденной публики. Но никакие проявления, какими бы бурными они ни были, не могли нарушить ни рассудительности, ни твердости Периклеса. Он спокойно выслушал все заявления, сделанные против него, и решительно отказался созвать какое-либо общественное собрание или какое-либо собрание, наделенное полномочиями, при нынешнем раздраженном настроении граждан.[238] Похоже, что он, как генерал, или, скорее, совет десяти генералов, среди которых он был одним из них, должен был быть наделен конституционной властью не только созывать экклесию, когда они считали нужным, но и препятствовать ее собранию, [239] и откладывать даже те регулярные собрания, которые обычно происходили в определенное время, четыре раза в прютане. Собрание, соответственно, не состоялось, и яростное раздражение народа было таким образом предотвращено от воплощения в какие-либо необдуманые общественные решения. То, что Периклес устоял против этой бушующей силы, - лишь один из многих почетных пунктов его политического характера; но это гораздо менее замечательно, чем то, что его отказ созвать экклесию оказался эффективным средством предотвратить ее проведение. Все афиняне были собраны в стенах города, и если бы он отказался созывать экклесию, они легко могли бы собраться в Пниксе и без него; в такой момент было бы нетрудно найти правдоподобное оправдание. Неприкосновенное уважение, которое афинский народ проявил по этому случаю к формам своей демократической конституции, чему, несомненно, способствовало его давнее уважение к Периклему, но при этом он противостоял волнению, столь же сильному и всепроникающему, и требованию, очевидно разумному, в том, что касается созыва собрания для обсуждения, - это один из самых памятных инцидентов в его истории.

Хотя Периклес решительно запретил общий поход на битву, он постарался найти как можно больше занятий для сжавшихся от нетерпения граждан. Конница была отправлена вместе с фессалийской конницей союзников, чтобы сдерживать вылазки легких войск противника и защищать от грабежа земли вблизи города.^[240] В то же время он снарядил мощную экспедицию, которая отправилась разорять Пелопоннес, даже когда захватчики еще находились в Аттике.^[241] Архидам, продержавшись в опустошении Ахарны достаточно долго, чтобы убедиться, что афиняне не рискнут вступить в бой, повернул от Афин в северо-западном направлении к демам между горами Брилекс и Парнес, по дороге, проходящей через Декелею. Армия продолжала опустошать эти районы, пока не закончился провиант, а затем покинула Аттику по северо-западной дороге у Оропа, которая привела ее в Беотию. Оропийцы не были афинянами, но зависели от Афин, и округ Грея, часть их территории, был опустошен; после этого армия рассеялась и вернулась в свои дома.^[242] Похоже, что они покинули Аттику в конце июля, пробыв в стране от тридцати до сорока дней.

Тем временем афинская экспедиция под командованием Каркина, Протея и Сократеса, к которой присоединились пятьдесят коркирских кораблей и некоторые другие союзники, обошла Пелопоннес, высаживаясь в разных местах, чтобы нанести урон, и среди прочих - в Метоне (Модоне) на юго-западном полуострове лакедемонской территории.^[243] Это место, не имеющее ни сильных, ни хорошо укрепленных гарнизонов, было бы взято без особого труда, если бы Брасидас, сын Теллиса, - галантный спартанец, упоминаемый впервые, но обреченный на великую славу впоследствии, - случайно оказавшийся на страже на соседнем посту, стремительным движением ворвался туда со ста человек, прежде чем рассеянные афинские войска успели собраться, чтобы помешать ему. Он вселил такое мужество в защитников этого места, что все атаки были отбиты, и афиняне были вынуждены отступить, - этот акт доблести принес ему первые общественные почести, оказанные спартанцами во время этой войны. Плывая на север вдоль западного побережья Пелопоннеса, афиняне снова высадились на побережье Элиды, немного южнее мыса Ихтис: они опустошали эту территорию в течение двух дней, разгромив как окрестные войска, так и триста отборных мужчин из центральной части Элейской области. Сильные ветры на безгаванном побережье побудили капитанов обогнуть с большей частью войска мыс Ихтис, чтобы достичь гавани Феи на северной стороне; в то время как мессенские гоплиты, пройдя по суше через мыс, напали на Фею и взяли ее приступом. Когда флот прибыл на место, все они были перебиты - все силы Элиса были в походе, чтобы напасть на них; затем они поплыли на север, высаживаясь в различных других местах, чтобы совершить опустошение, пока не достигли Соллиума, коринфского поселения на побережье Акарнании. Они захватили это место, которое передали жителям соседнего акарнанского города Палерус, а также Астак, откуда они изгнали деспота Еварха и зачислили этот город в афинский союз. Оттуда они перешли в Кефаллекнию, которую им посчастливилось также приобрести в качестве союзника Афин без всякого принуждения, с ее четырьмя отдельными городами, или округами, - Палесом, Кранием, Самом и Пионком. Эти различные операции заняли около трех месяцев, начиная примерно с начала июля, так что в Афины они вернулись ближе к концу сентября^[244] - в начале зимней половины года, согласно распределению Фукидида.

Это была не единственная морская экспедиция лета: еще тридцать трирем под командованием Клеопомпа были отправлены через Еврип к локрийскому побережью напротив северной части Эвбеи. Были произведены некоторые высадки, в результате которых были разграблены локрийские города Троний и Алопек и произведено дальнейшее опустошение; в то же время на необитаемом острове Аталанта, напротив локрийского побережья, был размещен постоянный гарнизон и воздвигнут укрепленный пост, чтобы сдерживать каперов из Опуса и других локрийских городов в их походах на Эвбею.^[245]

Далее было решено изгнать эгинетских жителей из Эгины и заселить остров афинскими колонистами. Этот шаг был отчасти благоразумен из-за важного положения острова на полпути между Аттикой и Пелопоннесом; но сопутствующим мотивом, а возможно, и более сильным, было удовлетворение древней антипатии и месть народу, который был одним из главных в провоцировании войны и причинил Афинам столько страданий. Всех эгинетян с женами и детьми посадили на корабли и высадили в Пелопоннесе, где спартанцы разрешили им занять приморский район и город Тирею, последний рубеж на пути к Аргосу; некоторые из них, однако, нашли убежище в других частях Греции. Остров был передан в распоряжение отряда афинских клерухов, или гражданских собственников, посланных туда по жребия[246].

К страданиям эгинетян, которые в дальнейшем будут еще более плачевно усугубляться, следует добавить страдания мегарян. И те, и другие с большим рвением участвовали в разжигании войны, но ни на кого из них бедствия войны не легли так тяжело. Оба, вероятно, разделяли преждевременную уверенность пелопоннесской конфедерации в том, что Афины не продержатся больше года или двух, и таким образом побуждали себя не обращать внимания на свою собственную незащищенную позицию против нее. Ближе к концу сентября все афинские силы, граждане и метисы, под командованием Перикла вошли в Мегариду и опустошили большую часть ее территории: пока они там находились, сто кораблей, обогнувших Пелопоннес, прибыв в Эгину, вместо того чтобы сразу отправиться домой, присоединились к своим согражданам в Мегариде. Соединение этих двух войск образовало самую большую афинскую армию, которую когда-либо видели вместе: десять тысяч гражданских гоплитов, помимо трех тысяч других, занятых в осаде Потидеи, и три тысячи метальных гоплитов, помимо большого количества легких войск. 247] Против такого большого войска мегаряне, конечно, не могли выступить, и вся их территория была опустошена, вплоть до городских стен. В течение нескольких лет войны афиняне наносили эти разрушения один раз, а часто и дважды в один и тот же год: в афинской экклесии Харином был предложен, хотя, возможно, и не принят, декрет о том, чтобы стратеги каждый год клялись, как часть своей присяги[248], что они дважды вторгнутся в Мегариду и опустошат ее. Поскольку афиняне в то же время держали порт Нисей заблокированным, используя свои превосходящие военно-морские силы и соседнее побережье Саламины, лишения, налагаемые на мегарян, становились крайними и невыносимыми. 249 Не только их кукуруза и фрукты, но даже огородные овощи вблизи города были выкорчеваны и уничтожены, и их положение часто напоминало осажденный город, сильно страдающий от голода. Даже во времена Павсания, столько веков спустя, о бедствиях города в эти годы помнили и сообщали ему, называя причиной того, что одна из их самых памятных статуй так и не была завершена[250].

К этим разнообразным военным операциям Афин в течение этого лета следует добавить еще несколько важных мероприятий; Фукидид также отмечает затмение солнца, которое современные астрономические расчеты относят к третьему августа: если бы это затмение произошло тремя месяцами раньше, непосредственно перед вступлением пелопоннессцев в Аттику, оно, вероятно, было бы истолковано как неблагоприятное предзнаменование и стало причиной отсрочки затеи. Рассчитывая на длительную борьбу, афиняне приняли меры для постоянной обороны Аттики как на море, так и на суше; в чем заключались эти меры, нам подробно не рассказывают, но одна из них была достаточно примечательной, чтобы назвать ее особо. Они выделили тысячу талантов из сокровищ акрополя в качестве неприкосновенного запаса, к которому нельзя будет прикоснуться только в том случае, если враждебные морские силы нападут на город, а других средств для его защиты под рукой не окажется. Кроме того, они постановили, что если кто-либо из граждан предложит или какой-

либо магистрат поставит вопрос в общественном собрании об ином применении этого резерва, то он должен быть наказан смертью. Кроме того, они постановили ежегодно откладывать сто своих лучших трирем и триерархов, чтобы командовать ими и снаряжать их для той же особой необходимости. 251] Можно сомневаться, что это последнее положение было поставлено под такой же строгий контроль или соблюдалось с такой же строгостью, как и положение о деньгах, от которого не отступали до двадцатого года войны, после всех бедствий сицилийской экспедиции и при страшном известии о восстании Хиоса. Именно по этому случаю афиняне сначала отменили приговор о смертной казни для сторонника этой запрещенной перемены, а затем ассигновали деньги на случай неминуемой опасности для государства[252].

Принятое здесь решение об этом священном резерве и строгий приговор, запрещающий выдвигать противоположные предложения, г-н Митфорд считает свидетельством неистребимого варварства демократического правительства[253]. Но мы должны помнить, во-первых, что приговор о смертной казни вряд ли мог быть приведен в исполнение; ведь ни один гражданин не был бы настолько безумен, чтобы выдвинуть запрещенное предложение, пока этот закон был в силе. Кто бы ни захотел его сделать, он должен был сначала предложить отменить запретительный закон, и тогда он не подвергался бы никакой опасности, независимо от того, положительное или отрицательное решение примет собрание; и если бы он получил положительное решение, он бы тогда, и только тогда, перешел к ходатайству о перераспределении фонда. Говоря языком английской парламентской процедуры, он должен был сначала ходатайствовать о приостановке или отмене постоянного постановления, запрещающего предложение, а затем - о самом предложении: собственно, так и было сделано, когда дело, наконец, сдвинулось с мертвой точки. 254] Но хотя смертный приговор едва ли мог вступить в силу, провозглашение его *in terrorem* имело совершенно определенный смысл. Оно выражало глубокое и торжественное убеждение народа в важности его собственного постановления о заповеднике, - оно предупреждало все собрания и всех будущих граждан об опасности отвлечения его на какие-либо другие цели, - оно окружало заповедник искусственной святостью, что заставляло каждого, кто стремился к повторному присвоению, начинать с предварительного предложения, грозного на первый взгляд, поскольку оно устраняло гарантию, которую предыдущие собрания считали чрезвычайно ценной, и открывало дверь в случай, который они рассматривали как измену. Провозглашение более мягкого наказания или простого запрета без какой-либо определенной санкции не дало бы такого же решительного убеждения и не произвело бы такого же сдерживающего эффекта. Собрание 431 года до н. э. ни в коем случае не могло принимать законы, которые последующие собрания не могли бы отменить; но оно могло так сформулировать свои постановления, в случаях особой торжественности, чтобы его авторитет сильно влиял на суждения его преемников и не позволял им рассматривать предложения об отмене, кроме как в случае срочной и очевидной необходимости. Отнюдь не считая, что закон, принятый в Афинах, является проявлением варварства ни в цели, ни в средствах, я считаю его главным образом замечательным за его осторожный и дальновидный взгляд на будущее, - качества, прямо противоположные варварству, - и достойным общего характера Перикла, который, вероятно, и предложил его. Афины только что вступили в войну, которая грозила затянуться на неопределенное время и, несомненно, была очень дорогостоящей. Не дать народу исчерпать все накопленные им средства и поставить его перед необходимостью резервировать что-то на случай крайних потерь было задачей огромной важности. Теперь конкретная случайность, которую Периклес, принимая его за инициатора, назвал единственным условием прикосновения к этой тысяче талантов, может считаться самой невероятной из всех других, в 431 году до нашей эры. Превосходство афинского флота было

столь огромным, что предположить его поражение, а пелопоннесский флот в полном составе направиться к Пирею, было возможностью, для которой требовалось проявить необычайную осторожность, и поистине удивительно, что народ вообще мог быть склонен к подобным размышлениям. Однако, будучи связанным с этой целью, фонд был готов к любой другой ужасной чрезвычайной ситуации, и мы увидим, что его фактическое использование принесло неисчислимую пользу Афинам в момент самой серьезной опасности, когда она вряд ли смогла бы защитить себя без такого специального ресурса. Народ вряд ли одобрил бы столь строгую экономию, если бы она не была предложена ему в столь ранний период войны, когда имеющийся у него резерв был еще гораздо больше. Но в заслугу его прозорливости и постоянства навсегда ставится то, что он сначала принял такую меру предосторожности, а затем придерживался ее в течение девятнадцати лет, испытывая сильное давление денег, пока наконец не возникла ситуация, сделавшая дальнейшее воздержание действительно, а не конструктивно, невозможным.

Продemonстрировать свою силу и отомстить, высадившись и опустошив часть Пелопоннеса, было, несомненно, очень важно для Афин в это первое лето войны: хотя может показаться, что силы, использованные таким образом, были столь же необходимы для завоевания Потидеи, которая все еще оставалась в блокаде, - и соседних Халкидий во Фракии, все еще охваченных восстанием. Именно в течение этого лета перед Афинами открылась перспектива покорить эти города при содействии Ситалкеса, царя одрисских фракийцев. Этот принц женился на сестре Нимфодора, гражданина Абдеры; тот обязался сделать его и его сына Садокуса союзниками Афин. Отправленный в Афины и назначенный прокшеном Афин в Абдере, которая была одним из союзников Афин, Нимфодорус заключил этот союз и обещал от имени Ситалкеса послать достаточное количество фракийских войск, чтобы помочь Афинам в восстановлении восставших городов; в то же время Садокусу была оказана честь афинского гражданства.[Нимфодор также установил хорошие отношения между Пердиккасом Македонским и афинянами, которых убедил вернуть ему Термы, которые они ранее отняли у него. Таким образом, афинянам была обещана мощная помощь против халкидян и потидейцев, но последние все еще держались, и перспективы их скорой сдачи были невелики. Более того, город Астак в Акарнании, который афиняне захватили летом во время своей экспедиции по Пелопоннесу, был возвращен осенью свергнутым деспотом Евархом при помощи сорока коринфских трирем и тысячи гоплитов. Это коринфское войско, восстановив Еварха, совершило несколько неудачных походов в другие районы Акарнании и на остров Кефаллекния: в последнем они попали в засаду и вынуждены были вернуться домой со значительными потерями[256].

Ближе к концу этой осени Периклес, избранный народом для этой цели, произнес погребальную речь при публичном погребении воинов, павших во время похода. Церемонии этого общественного знака уважения уже были описаны в предыдущей главе, в связи с завоеванием Самоса; но то, что придавало этой сцене нетленный интерес, было речью избранного государственного деятеля и оратора; вероятно, ее слышал сам Фукидид и воспроизвел по существу. Огромная толпа граждан и иностранцев, обоих полов и всех возрастов, сопровождала похоронную процессию из Афин в пригород, называемый внешним Керамейкусом, где Периклес, установленный на возвышенном помосте, заранее подготовленном для этого случая, завершил церемонию своей речью. Афинский закон не только предусматривал эти публичные похороны и памятную речь, но и назначал содержание за государственный счет детям убитых воинов до достижения ими воинского возраста: эта практика применялась на протяжении всей войны, хотя мы располагаем лишь описанием и речью, относящимися к этому единственному случаю[257].

Одиннадцать глав Фукидида, составляющих эту погребальную речь, относятся к наиболее памятным реликвиям древности; учитывая, что под языком и изложением историка, всегда впечатляющим, хотя иногда резким и своеобразным, как творение мощного ума, введенного в заблуждение плохим или недостижимым образом, мы обладаем содержанием и мыслями прославленного государственного деятеля. Часть из них, конечно, является и должна быть обычной, присущей всем речам, написанным по схожему поводу. Но это относится лишь к сравнительно небольшой части: большая часть ее своеобразна и во всех отношениях достойна Перикла, - всеобъемлющая, рациональная и полная, не только смысла и сути, но и искреннего патриотизма. Таким образом, она составляет сильный контраст с несерьезной, хотя и изящной риторикой других проповедей, в основном[258] составленных не для реального произнесения; и заслуживает, по сравнению с похоронными речами, оставшимися нам от Платона, Псевдо-Демосфена и даже Лисия, того почетного отличия, которое Фукидид претендует на свою собственную историю, - вечно живого владения, а не просто показухи на данный момент.

В начале своей речи Периклес отличает себя от предшественников, выполнявших ту же функцию оратора, тем, что не соглашается с похвалой, которую было принято воздавать закону, предписывающему произносить эти похоронные речи: Он считает, что публичность самих похорон и общие проявления уважения и скорби со стороны огромного числа граждан более ярко выражают благодарность храбрым мертвецам, когда сцена проходит в тишине, чем когда она переводится в слова оратора, которого легко оскорбить либо некомпетентностью, либо явной слабостью, а может быть, даже несвоевременным преувеличением. Тем не менее, если обычай был закреплен законом, а оратор избран гражданами, он выходит вперед, чтобы исполнить возложенную на него обязанность наилучшим образом"[259].

Одна из примечательных черт этой речи - ее деловой, безличный характер: это сама Афина берется похвалить и наградить своих ушедших сыновей, а также ободрить и напутствовать живых.

После нескольких слов о величине империи и о славных усилиях и выносливости, благодаря которым их предки и они сами приобрели ее, Периклес переходит к обрисовке жизненного плана, конституции и нравов, при которых были достигнуты такие успехи[260].

"Мы живем при такой конституции, что теперь не приходится завидовать законам наших соседей, - мы сами являемся примером для других, а не простыми подражателями. Она называется демократией, поскольку ее постоянная цель направлена на многих, а не на немногих: что касается частных дел и споров, то законы имеют равное отношение к каждому человеку: что касается общественных дел и притязаний на индивидуальное влияние, то шансы каждого человека на продвижение определяются не партийной благосклонностью, а реальными достоинствами, в зависимости от его репутации в своем конкретном ведомстве: ни бедность, ни низкое положение не удерживают его,[261] если он действительно обладает средствами, чтобы принести пользу городу. И наш социальный марш свободен не только в том, что касается общественных дел, но и в том, что касается нетерпимости к разнообразию повседневных занятий друг друга. Ведь мы не сердимся на ближнего за то, что он делает в свое удовольствие, и никогда не бросаем кислых взглядов,[262] которые, хотя и не причиняют никакого вреда, но тем не менее не могут не оскорбить. Таким образом, ведя наше частное общение с взаимной снисходительностью, мы удерживаемся от дурного в общественных делах страхом и почтением к нашим магистратам на данный момент и к

нашим законам, - особенно к тем, которые установлены для защиты несправедливых страдальцев, и даже к тем, которые, хотя и не написаны, но исполняются общим чувством стыда. Кроме того, мы обеспечили нашим умам многочисленные возможности для отдыха от трудов, отчасти благодаря обычным жертвоприношениям и праздникам в течение всего года, отчасти благодаря элегантности наших частных заведений, ежедневное очарование которых изгоняет чувство дискомфорта. Из-за величины нашего города к нам доставляются продукты всей земли, так что мы наслаждаемся иностранными предметами роскоши, как своими собственными и гарантированными, как и теми, которые мы выращиваем у себя дома. Что касается подготовки к войне, то мы отличаемся от наших противников (лакедемонян) по нескольким существенным пунктам. Во-первых, мы открываем наш город как общий курорт: мы не применяем никаких ксеноклазий, чтобы исключить даже врага из какого-либо урока или зрелища, полный вид которого он может счесть выгодным для себя; ибо мы меньше доверяем маневрам и шарлатанству, чем нашей родной храбрости, для военной эффективности. Далее, что касается воспитания, то в то время как лакедемоняне с ранней юности подвергают себя изнурительным упражнениям для достижения мужества, мы, с нашими легкими привычками жизни, не менее подготовлены, чем они, к встрече с любыми опасностями в меру наших сил. Доказательством тому служит то, что пелопоннесские конфедераты нападают на нас не поодиночке, а всей своей объединенной силой; мы же, нападая на них у себя дома, в большинстве случаев побеждаем всех, кто пытается защитить свою территорию. Ни один из наших врагов никогда не встречался и не сражался со всеми нашими силами; отчасти из-за нашего большого флота, отчасти из-за нашего рассеяния в различных одновременных сухопутных экспедициях. Но когда им случается вступить в бой с какой-либо ее частью, то в случае победы они делают вид, что победили всех нас, а в случае поражения - что побеждены все.

"Итак, если мы готовы мужественно переносить опасности, как при потворствующей системе, так и при постоянном труде, и проявлять спонтанную храбрость, как и силу закона, - мы выигрываем в конечном счете, поскольку, не досадуя заранее на грядущие страдания, в час испытаний оказываемся не менее смелыми, чем те, кто трудится без устали.

"В других вопросах, как и в этих, наш город заслуживает восхищения. Ибо мы сочетаем изящество вкуса с простотой жизни, стремимся к знаниям, не изнеживаясь:[263] мы используем богатство не для болтовни и показухи, а как реальную помощь в надлежащее время: ни одному бедняку не зазорно признаться в своей бедности, хотя он скорее *может* подвергнуться упрекам за то, что на самом деле не удерживает себя от бедности. Судьи, исполняющие государственные обязанности, выполняют и свои домашние обязанности, - частный гражданин, занимаясь профессиональным делом, обладает компетентными знаниями в области государственных дел, ибо мы одни считаем человека, который держится в стороне от этих дел, не безвредным, а бесполезным. Более того, мы всегда слышим и высказываемся по общественным вопросам, когда их обсуждают наши лидеры, - или, возможно, выводим для себя правильные рассуждения о них: отнюдь не считая обсуждение препятствием к действию, мы жалуемся только тогда, когда нам не говорят, что нужно сделать, прежде чем это станет нашей обязанностью. Ибо, по правде говоря, мы самым замечательным образом сочетаем эти два качества - чрезвычайную смелость в исполнении и всестороннее обсуждение того, что мы собираемся сделать: в то время как у других только незнание придает смелость, а обсуждение вносит колебания. Уверен, что тех людей следует считать самыми стойкими сердцем, которые, зная наиболее точно как ужасы войны, так и сладости мира, все же не менее охотно идут на риск.

"В общем, я утверждаю, что наш город, рассматриваемый как единое целое, является школьной учительницей Греции;[\[264\]](#) в то время как, рассматриваемый по отдельности, мы позволяем одному и тому же человеку обставить себя и обеспечить себя самым разнообразным образом и с самым полным изяществом и утонченностью. Это не пустое бахвальство, а подлинная реальность: и сила города, приобретенная благодаря только что указанным склонностям, существует, чтобы доказать это. Только Афины, из всех городов, в реальном испытании превосходят свою репутацию: ее враг, нападая на нее, не уязвит свою гордость поражением от слабых рук, - ее подданные не будут считать себя униженными, как если бы их повиновение было оказано недостойному начальнику.[\[265\]](#) Выставив таким образом нашу силу, не неподтвержденную, но подкрепленную самыми очевидными доказательствами, мы будем вызывать восхищение не только у потомков, но и у современников. Мы не нуждаемся ни в Гомере, ни в каком-либо другом панегиристе, чьи слова могут понравиться на мгновение, в то время как истина, когда она станет известна, опровергнет их предполагаемый смысл: мы заставили всю землю и море стать доступными для нашего мужества и установили повсюду нетленные памятники нашей доброты, равно как и нашей враждебности.

"Таков город, за который эти воины благородно погибли в бою, отстаивая свое справедливое право на неприкосновенные права,[\[266\]](#) и за который все мы, оставшиеся здесь, должны с готовностью трудиться. Именно по этой причине я долго говорил об этом городе, чтобы извлечь из него урок, что конфликт между нами и врагами, не обладающими ничем подобным, происходит не из равных побуждений, - и чтобы доказать доказательствами истинность моего восхваления, произнесенного в ее адрес".

Периклес продолжает в том же духе смешанное увещевание живых и восхваление мертвых, со многими особыми и выразительными замечаниями, обращенными к родственникам последних, которые собрались вокруг него и, несомненно, были очень близки к нему. Но выдержка, которую я уже сделал, так длинна, что дальнейшее добавление было бы недопустимо: тем не менее, нельзя было обойти вниманием картину афинского содружества в его славе, представленную самым выдающимся гражданином эпохи. Влияние демократической конституции с ее распространенным и равным гражданством, вызывающее не только сильную привязанность, но и болезненное самопожертвование со стороны всех афинян, нигде так убедительно не подчеркивается, как в приведенных выше словах Периклеса, а также в других последующих: "Созерцая ежедневно перед собой фактическое могущество государства и страстно привязываясь к нему, когда вы представляете себе его полное величие, подумайте, что все это было приобретено людьми смелыми, знающими свой долг и полными благородного чувства стыда за свои действия"[\[267\]](#), - такова связь, которую он представляет между величием государства как объектом общей страсти и мужеством, умом и взаимным уважением отдельных граждан как его порождающими и сохраняющими причинами: В партнерстве заинтересованы как бедные, так и богатые.

Но требования патриотизма, хотя и выдвигаются как существенно и заслуженно первостепенные, ни в коем случае не понимаются как исключительно господствующие или поглощающие всю демократическую деятельность. При условии соблюдения этих законов и санкций, защищающих как общество, так и отдельных людей от зла, гордостью Афин является богатый и разнообразный фонд человеческих порывов, - безудержная игра фантазии и разнообразие частных увлечений, сочетающиеся с взаимной радостной снисходительностью одного человека к другому и отсутствием даже тех "черных взглядов", которые так омрачают жизнь, даже если они никогда не переходят во вражду на деле. Эта

часть речи Перикла заслуживает особого внимания, потому что она служит для исправления утверждения, которое часто слишком огульно делается в отношении античности в сравнении с современными обществами, - утверждения, что древние общества приносили личность в жертву государству и что только в наше время индивидуальная деятельность была оставлена свободной в должной степени. Это в значительной степени верно для Спарты: это также верно, в значительной степени, для идеальных обществ, изображенных Платоном и Аристотелем: но это явно не верно для афинской демократии, и мы не можем с уверенностью утверждать это для большей части греческих городов.

Я вернусь к этому вопросу позже, когда дойду до времен великих философов-спекулянтов, а пока я не могу пройти мимо этой речи Периклеса, не отметив вкратце вывод, который она предлагает, чтобы отрицать предполагаемое непомерное вмешательство государства в индивидуальную свободу, как общий факт для древнегреческих республик. Несомненно, в его сознании присутствует сравнение с крайней узостью и строгостью Спарты, и поэтому его утверждения о степени позитивной свободы в Афинах следует понимать как частично обусловленные таким контрастом. Но даже с учетом этого, акцент, который он делает на свободе мысли и действия в Афинах, не только от чрезмерных ограничений закона, но и от практической нетерпимости между людьми и людьми, и тирании большинства над отдельными инакомыслящими во вкусах и стремлениях, заслуживает серьезного внимания, и выявляет один из тех моментов в национальном характере, от которых в основном зависело интеллектуальное развитие того времени. Национальный нрав был в высшей степени снисходителен ко всем разновидностям положительных импульсов: особым побуждениям в душе каждого человека позволялось проявляться и приносить плоды, не подавляясь внешним мнением и не приучаясь к принудительному соответствию какому-то принятому стандарту: антипатия к любому из них не составляла части привычной морали гражданина. В то время как большая часть причин, порождающих человеческую ненависть, становилась недействительной, а общество - более комфортным, более поучительным и более стимулирующим, - все зародыши плодотворного гения, столь редкие повсюду, находили в такой атмосфере максимальное поощрение. В рамках закона, который в Афинах соблюдался так же точно, как и везде в Греции, индивидуальные порывы, вкусы и даже эксцентричность принимались со снисхождением, а не становились, как в других местах, поводом для нетерпимости со стороны соседей или общества. Эта замечательная черта афинской жизни поможет нам в одной из следующих глав объяснить поразительную карьеру Сократеса, а кроме того, она представляет нам под другим видом большую часть того, что афинские цензоры осуждали под названием "демократическая свобода". Свобода и разнообразие индивидуальной жизни в этом городе были оскорбительны для Ксенофонта, Платона и Аристотеля, - они были привязаны либо однообразным учениям Спарты, либо к какому-то другому идеальному стандарту, который, хотя сам по себе гораздо лучше спартанского, был вынужден навязывать обществу тяжеловесное единообразие. Такая свобода индивидуальных действий, не только от чрезмерных ограничений закона, но и от тирании ревнивого мнения, как в Афинах, изображенная Периклесом, более естественна для демократии, где нет избранных, принимающих поклонение и задающих моду, чем для любой другой формы правления. Но и в демократических государствах такое встречается крайне редко: нельзя не признать, что ни одно из современных правительств, ни демократическое, ни аристократическое, ни монархическое, не представляет собой ничего похожего на картину великодушности терпимости к общественному инакомыслию и непосредственности индивидуального вкуса, которую мы читаем в речи афинского государственного деятеля. Во всех них нетерпимость национального мнения сводит индивидуальный характер к одному из

нескольких установленных типов, к которому вынужден приспосабливаться каждый человек или каждая семья, и за пределами которого все исключения встречают либо ненависть, либо насмешки. Налагать на людей такие ограничения, как закон или мнение, необходимые для безопасности и комфорта общества, но поощрять, а не подавлять свободную игру индивидуальных импульсов в этих пределах - вот идеал, к которому если и приближались в Афинах, то уж точно никогда не достигали, да и в современном обществе сравнительно мало изучают и заботятся о нем.

С этим взаимным потворством индивидуальному разнообразию было связано не только гостеприимное принятие всех чужаков в Афинах, которое Периклес противопоставляет ксендзу или ревнивому изгнанию, практиковавшемуся в Спарте, но и многогранная деятельность, телесная и умственная, наблюдаемая в первых, столь противоположная тому узкому кругу мыслей, исключительной дисциплине тела и бесконечной подготовке к войне, которые составляли систему вторых. Его утверждение, что Афины были равны Спарте даже в ее единственном превосходстве - эффективности на поле боя, - несомненно, несостоятельно; но не менее впечатляет его эскиз того множества одновременных импульсов, которые в это же время будоражили и побуждали афинский ум, - сила одного не подразумевает слабость остальных: жажда всех удовольствий искусства и изящества, аппетит к интеллектуальной экспансии, совпадающие в одном лоне с энергичной стремительностью и выносливостью: обилие развлекательных зрелищ, ничуть не ослабляющее бодрость повиновения даже самым суровым призывам патриотического долга: то сочетание разума и мужества, которое встречает опасность тем охотнее, что заранее обсуждает и просчитывает ее: наконец, тревожный интерес, а также компетентность суждений в общественных обсуждениях и общественных действиях, общие для каждого гражданина, богатого и бедного, и сочетающиеся с частной промышленностью каждого человека. Столь всеобъемлющий идеал многогранного социального развития, раскрывающий способности к действию и выносливости, а также к наслаждению, был бы достаточно примечателен, даже если бы мы предполагали, что он существует только в воображении философа: но он становится еще более примечательным, когда мы вспоминаем, что основные черты его, по крайней мере, были взяты из сограждан оратора. Однако ее следует рассматривать как принадлежащую исключительно Афинам Перикла и его современников; она не подошла бы ни для периода персидской войны, за пятьдесят лет до нее, ни для периода Демосфена, семьдесят лет спустя после нее. В первый период искусство, письмо и философия были еще отсталыми, и даже активная энергия и демократические стимулы, хотя и очень мощные, не были развиты до того уровня, которого они достигли впоследствии: в последний период, хотя интеллектуальные проявления Афин сохранились в полном объеме или даже усилились, мы найдем личную предприимчивость и энергичный дух ее граждан значительно ослабленными. Как обстоятельства, о которых я уже рассказывал, в значительной степени объясняют предыдущее движение вверх, так и те, что наполняют последующие главы, содержащие бедствия Пелопоннесской войны, будут найдены для более полного объяснения тенденции к упадку, которая вскоре должна была начаться. Афины были поставлены на грань полного разорения, и удивительно, что они вообще оправились, но ничуть не удивительно, что они оправились за счет значительной потери личной энергии в характере своих граждан.

И поэтому время, в которое Периклес произнес свою речь, придает ей дополнительный и особый пафос. Она была произнесена в то время, когда Афины были еще возвышенны и достигли своего максимума. Хотя ее реальная мощь, несомненно, значительно уменьшилась по сравнению с периодом до тридцатилетнего перемирия, однако великие сооружения и произведения искусства, достигнутые с тех пор, компенсировали эту потерю, насколько это

касалось чувства величия; и никто, ни граждане, ни враги, не считал Афины пришедшими в упадок. Она была написана в начале великой борьбы с Пелопоннесской конфедерацией, о предстоящих трудностях которой Периклес не скрывал ни от себя, ни от своих сограждан, хотя полностью рассчитывал на конечный успех. Аттика уже была захвачена; это уже не была "нерастраченная территория", как обозначил ее Еврипид в своей трагедии "Медея",^[269] представленной за три или четыре месяца до похода Архидама, - и картина Афин в их социальной славе была вполне рассчитана на то, чтобы разбудить гордость и укрепить мужество тех отдельных граждан, которые были вынуждены однажды, и будут вынуждены снова и снова, покидать свои сельские жилища и поля ради худой палатки или тесной норы в городе.^[270] Такие бедствия, конечно, можно было предвидеть: но было еще одно, более серьезное бедствие, которое, хотя и надвигалось в то время, нельзя было предвидеть: страшный мор, о котором будет рассказано в следующей главе. Яркие краски и тон веселой уверенности, которыми проникнуты рассуждения Периклеса, кажутся тем более поразительными, что они непосредственно предшествуют ужасному описанию этой беды: контраст, к которому Фукидид, несомненно, не был равнодушен, и это еще одно обстоятельство, повышающее интерес к сочинению.

ГЛАВА XLIX. ОТ НАЧАЛА ВТОРОГО ГОДА ДО КОНЦА ТРЕТЬЕГО ГОДА ПЕЛОПОННЕССКОЙ ВОЙНЫ.

По истечении года после попытки фиванцев внезапно захватить Платею воюющие стороны в Греции оставались в неизменном положении с точки зрения относительной силы. Ни вторжением в Аттику, ни летучими десантами вокруг пелопоннесского побережья ничего решительного не было достигнуто: несмотря на взаимный ущерб, нанесенный, несомненно, в наибольшей степени Аттике, не было достигнуто никакого прогресса в осуществлении тех целей, которые побудили пелопоннессцев к войне. В частности, самое насущное из всех их желаний - освобождение Потидеи - никак не продвигалось вперед, поскольку афиняне не сочли нужным ослабить блокаду этого города. Таким образом, результаты операций первого года разочаровали надежды коринфян и других ярых подстрекателей к войне, но оправдали ожидания Перикла и Архидама.

Второе опустошение Аттики было решено провести в начале весны, и были приняты меры для проведения его на всей территории, так как теперь была определена политика Афин не рисковать сражением с захватчиками. В конце марта или в начале апреля все пелопоннесские войска - две трети от каждого города-конфедерата, как и раньше, - были собраны под командованием Архидама и отправились в Аттику. На этот раз они провели планомерную работу по разрушению не только на Фриасийской равнине и равнине, расположенной непосредственно возле Афин, как раньше, но и в более южных частях Аттики, вплоть до рудников Лауриума. Они обошли и опустошили как восточное, так и западное побережье, пробыв в стране не менее сорока дней. Они нашли территорию пустынной, как и прежде, все население ушло в стены^[271].

В отношении этого второго вторжения Периклес рекомендовал ту же оборонительную политику, что и в отношении первого; и, по-видимому, граждане теперь согласились с ней, если не добровольно, то, по крайней мере, с полным убеждением в ее необходимости. Но теперь произошло новое событие, отвлекшее их внимание от захватчика, хотя и

чрезвычайно усугубившее их страдания. Через несколько дней после того, как Архидам вошел в Аттику, в Афинах неожиданно разразился мор, или эпидемическая болезнь.

Оказывается, этот страшный недуг уже некоторое время свирепствовал во всех регионах вокруг Средиземного моря; начавшись, как считалось, в Эфиопии, затем перейдя в Египет и Ливию и охватив значительную часть Азии под властью персов: примерно за шестнадцать лет до этого подобное бедствие было в Риме и в различных частях Италии. В последнее время болезнь ощущалась на Лемносе и некоторых других островах Эгейского моря, но, по-видимому, не с такой силой, чтобы привлечь внимание греческого мира: в конце концов она перешла в Афины и впервые проявилась в Пейреусе. Прогресс болезни был столь же быстрым и разрушительным, сколь внезапным было ее появление; а чрезвычайное скопление людей в городе и длинных стенах, вызванное присутствием захватчиков в стране, было слишком благоприятным для любой формы заражения. Семьи, теснившиеся в тесных хижинах и местах временного пристанища,[\[272\]](#) по всему городу, построенному, как и большинство греческих городов, без особого внимания к условиям салюта, - и находящиеся в состоянии душевного раздражения от вынужденного оставления и принесения в жертву своего имущества в стране, передавали болезнь с фатальной легкостью от одного к другому. Начавшись примерно в середине апреля, летняя жара еще больше способствовала расстройству, симптомы которого, столь же бурные и внезапные, были тем более заметны, что этот год был особенно свободен от болезней любого другого рода[\[273\]](#).

Об этой чуме - или, правильнее сказать, эруптивной тифозной лихорадке,[\[274\]](#) отличной от оспы, но аналогичной ей, - не менее четкое, чем впечатляющее, описание оставил историк Фукидид, сам не только наблюдавший, но и страдавший от нее. Не последнюю роль в этом играет то, что его описание симптомов, данное на столь раннем этапе развития медицинской науки и наблюдений, является таким, чтобы проинструктировать читателя-медика нынешнего века и позволить понять и идентифицировать болезнь. Особого внимания заслуживают замечания, которыми начинается это изложение. "Что касается этой болезни (говорит он), пусть каждый человек, врач он или нет, скажет, что он думает об источнике, из которого она, вероятно, возникла, и о причинах, которые он считает достаточно мощными, чтобы произвести столь великий переворот. Но я, сам перенесший эту болезнь и видевший, как страдают от нее другие, изложу, *что это было на самом деле*, и укажу, кроме того, на другие вопросы, которые снабдят любого человека, принявшего их близко к сердцу, знаниями и средствами расчета на случай, если подобное несчастье повторится." Записывать прошлые факты как основу для рационального предвидения будущего"[\[275\]](#) - то самое чувство, которое Фукидид упоминает в своем предисловии[\[276\]](#) как побудившее его к написанию истории, - было в то время столь малопонятной обязанностью, что у нас есть основания восхищаться не столько тем, как он выполняет ее на практике, сколько тем, с какой четкостью он представляет ее себе в теории. Из его слов мы можем сделать вывод, что в его время активно велись спекуляции относительно причин этой чумы в соответствии с туманной и причудливой физикой и скудным запасом установленных фактов, к которым в то время можно было только прибегнуть. Не поддавшись зуду теоретизирования на основе одной из тех расплывчатых гипотез, которые тогда казались правдоподобным объяснением всего, он, вероятно, отказался от точки зрения, которая в то время вызывала наибольший интерес и доверие: но его простое и точное изложение наблюдаемых фактов имеет нетленную ценность и даже дает основания предполагать, что он был не чужд привычкам и обучению своего современника Гиппократеса и других Асклепиадов Коса[\[277\]](#).

Вряд ли историку Греции под силу повторить вслед за Фукидидом мучительное перечисление симптомов, жестоких до крайности и пронизывающих все части тела, которыми отмечено это страшное расстройство. Начавшись в Пейреусе, оно быстро перешло в город, и как тот, так и другой быстро наполнились болезнями и страданиями, подобных которым еще никто не знал. Приступы были совершенно внезапными, и большая часть страдальцев погибала после мучительных агоний на седьмой или девятый день: другие, чья сила конституции позволяла им пережить этот период, после оказывались жертвами изнурительной и неизлечимой диареи: у третьих, после прохождения обеих этих стадий, болезнь закреплялась в каком-то определенном члене, глазах, гениталиях, руках или ногах, которые становились навсегда бесполезными, а в некоторых случаях ампутировались, даже если сам пациент выздоравливал. Были и такие, чье выздоровление сопровождалось полной потерей памяти, так что они больше не знали себя и не узнавали своих друзей. Ни одно лечение или средство не производило, за исключением случайных случаев, никакого благотворного эффекта, и врачи или хирурги, к чьей помощи обращались, становились полностью виноватыми; безрезультатно пробуя свои привычные средства, они вскоре сами заражались болезнью и погибали: ни чары, ни заклинания[278], к которым прибегал несчастный пациент, не могли быть более эффективными. Одни утверждали, что пелопоннесцы отравили цистерны с водой, другие ссылались на гнев богов, особенно Аполлона, известного слушателем "Илиады" как виновника моровой язвы в греческом войске до Трои. Вспомнили, что этот дельфийский бог обещал лакедемонянам в ответ на их просьбу перед самой войной, что будет помогать им как по вызову, так и без него, - и беспорядки, бушующие сейчас, приписали вмешательству их неодолимого союзника; а пожилые люди еще больше напомнили о прорицательном стихе, который пели во времена их молодости: "Придет дорийская война, а вместе с ней и мор"[279]. Под влиянием бедствий, которые наводили и взаимно усугубляли эти мрачные идеи, обращались к пророкам, а в храмах устраивали торжественные молебны, чтобы умиротворить божественный гнев.

Когда выяснилось, что ни жрец, ни врач не могут ни замедлить распространение, ни смягчить интенсивность болезни, афиняне впали в полное отчаяние, и пространство внутри стен превратилось в сцену опустошающего несчастья. Каждый человек, пораженный недугом, сразу же терял мужество - состояние депрессии, само по себе являющееся одним из худших признаков болезни, заставляло его лечь и умереть, не предпринимая ни малейших попыток найти какие-либо средства защиты. И хотя поначалу друзья и родственники оказывали помощь больному с обычным семейным сочувствием, но так ужасно было число этих сопровождающих, которые погибли, "как овцы", от такого контакта, что в конце концов никто не стал подвергать себя такому риску; а самые великодушные духи, которые дольше всех упорствовали в исполнении своего долга, были унесены в самом большом количестве.[280] Таким образом, больного оставляли умирать в одиночестве и без посторонней помощи: иногда все обитатели дома уходили один за другим, ни один человек не хотел к нему приближаться: дезертирство с одной стороны, посещение - с другой, и то и другое усугубляло бедствие. Оставались только те, кто, пережив расстройство и выздоровев, был готов ухаживать за страдальцами. Эти люди составляли единственное исключение из всепроникающего несчастья того времени, потому что болезнь редко нападала на кого-либо дважды, а если и нападала, то второй приступ никогда не был смертельным. Довольные собственным спасением, они считали себя недостижимыми для всех болезней и были полны сострадания к другим, чьи страдания только начинались. Именно от них исходило и главное внимание к телам умерших жертв, ибо таково было состояние ужаса и скорби, что даже ближайшие родственники пренебрегали погребальными обязанностями, священными в глазах грека превыше всего. Ни одно обстоятельство не дает нам столь яркого представления о царившей агонии и отчаянии, как слова очевидца о том, что смерти

происходили среди этой тесной толпы без малейшего внимания,^[281] что мертвые и умирающие лежали, навалившись друг на друга, не только на общественных дорогах, но даже в храмах, несмотря на понятное осквернение священного здания, - что полумертвых страдалцев видели лежащими вокруг всех источников от невыносимой жажды, - что многочисленные трупы, непогребенные и выставленные напоказ, находились в таком состоянии, что собаки, которые к ним приставали, умирали, а стервятники или другие птицы с подобными привычками никогда не приближались. Те тела, которые избежали полного пренебрежения, были сожжены или похоронены^[282] без обычного траура и с неприличной небрежностью. В некоторых случаях носильщики тела, проходя мимо погребальной кучи, на которой горело другое тело, клали туда свое, чтобы его тоже сожгли;^[283] или, возможно, если куча была приготовлена для еще не прибывшего тела, клали на нее свое, поджигали кучу и уходили. Такой непристойный беспорядок был бы невыносим для чувств афинян в любое обычное время.

Ко всем этим сценам физических страданий, смерти и безрассудного отчаяния добавилось еще одно зло, от которого страдали те, кому посчастливилось избежать всего остального. Узы закона и морали ослабили на фоне такой полной неуверенности каждого человека как в своей собственной жизни, так и в жизни других. Людям не было дела до того, чтобы воздерживаться от зла в обстоятельствах, когда наказание вряд ли их настигнет, - ни до того, чтобы сдерживать свои страсти и терпеть лишения, повинувшись даже самым сильным убеждениям, когда шанс на то, что они останутся в живых, был так мал, чтобы получить награду или насладиться каким-либо будущим признанием. Короткий и сладкий промежуток времени, пока их судьба не была реализована, пока они не погрузились в широко распространенное несчастье, которое они наблюдали вокруг, и которое затрагивало без разбора добродетельных и распутных людей, - это все, чем они хотели насладиться; они с жадностью принимали непосредственные удовольствия чувства, а также такие положительные выгоды, пусть и плохо заработанные, которые могли стать средством их получения, и отбрасывали все мысли как о чести, так и о дальновидной выгоде. Жизнь и имущество были одинаково эфемерны, и не оставалось никакой надежды, кроме как урвать мгновение наслаждения, прежде чем протянутая рука судьбы обрушится на жертву.

Меланхоличная картина общества под натиском убийственной эпидемии, с ее чередой физических мучений, убогости и деморализации, была нарисована не одним выдающимся автором, но ни один из них не был более впечатляюще верен и лаконичен, чем Фукидид,^[284] у которого не было предшественников и ничего, кроме реальности, с которой можно было бы копировать. Можно заметить, что среди всех меланхолических сопутствующих моменту событий нет человеческих жертвоприношений, подобных тем, что приносили в Карфагене во время моровой язвы, чтобы умиротворить гнев богов, нет жестоких гонений на мнимых авторов болезни, подобных тем, что обрушились на унтори (помазателей дверей) во время чумы в Милане в 1630 году.^[285] Три года в общей сложности это бедствие опустошало Афины: непрерывно, в течение всего второго и третьего года войны, - после чего наступил период заметного затишья на полтора года, но затем оно снова возродилось и продолжалось еще год с той же яростью, что и в первый раз. Потери, которые этот неожиданный враг нанес Афинам, были неисчислимы. Из двенадцати сотен всадников, все из числа богатых людей государства, триста умерли от эпидемии; кроме того, четыре тысячи и четыреста гоплитов выбыли из прежнего списка, а число более бедного населения было столь велико, что не поддается исчислению.[Никакие усилия пелопоннесцев не могли бы так сильно погубить Афины или привести войну к такому концу, какого они желали: и болезнь была тем более в их пользу, что она вообще не распространилась в Пелопоннес, хотя и

перешла из Афин на некоторые более населенные острова. 287] Лакедемонская армия была выведена из Аттики несколько раньше, чем следовало бы, из опасения заразиться. 288]

Но пока лакедемоняне еще находились в Аттике и в первой свежести страшной болезни, Периклес снарядил и вывел из Пирея вооружение из ста трирем и четырех тысяч гоплитов для нападения на берега Пелопоннеса: триста всадников также везли в нескольких конных транспортах, приготовленных для этого случая из старых трирем. Уменьшить толпу, скопившуюся в городе, было, несомненно, выгодно, и, возможно, те, кто отправился на борту, рассматривали это как шанс на спасение, чтобы покинуть зараженный дом. Но, к несчастью, они несли с собой заразу, которая опустошала флот не меньше, чем город, и сводила на нет все его усилия. Усилившись пятьюдесятью военными кораблями с Хиоса и Лесбоса, афиняне сначала высадились у Эпидавра в Пелопоннесе, опустошили его территорию и предприняли безуспешную попытку захватить город; затем они совершили аналогичные вторжения в более южные районы Арголического полуострова - Трезен, Халиес и Гермину; и, наконец, напали и захватили Прасиес на восточном побережье Лаконии. Вернувшись в Афины, тот же самый отряд под командованием Агнона и Клеопомпа немедленно отправился на осаду Потидеи, блокада которой все еще продолжалась без видимого прогресса. По прибытии туда была предпринята атака на стены с помощью таранных орудий и других агрессивных методов, которые тогда практиковались, но ничего не было достигнуто. На самом деле, вооружение стало неспособным к серьезным усилиям из-за обострения, которое приняла болезнь, переданная солдатами, только что прибывшими из Афин, даже тем, кто до этого был свободен от нее в Потидее. Смертность была столь ужасающей, что из четырех тысяч гоплитов под командованием Агнона не менее десяти-пятидесяти умерли в течение сорока дней. В таком плачевном состоянии вооружение было возвращено в Афины, а Потидею, как и прежде, пришлось медленно блокировать[289].

Вернувшись из похода на Пелопоннес, Периклес застал своих соотечественников почти растерянными[290] от многообразных страданий. Помимо бушующей эпидемии, они только что проехали через Аттику и убедились в разрушениях, произведенных захватчиками на всей территории - за исключением марафонских Тетраполиса и Декелеи; районы были пощажены, как нам говорят, благодаря снисходительности, основанной на древней легендарной симпатии, - во время их долгого сорокадневного пребывания. Богатые нашли свои удобные особняки и фермы, бедные - скромные домики в различных владениях разрушенными и разоренными. Смерть,[292] болезни, потеря имущества и отчаяние перед будущим довели афинян до последней степени гнева и непримиримости; они выплеснули свои чувства против Периклеса, как виновника не только войны, но и всего того, что они сейчас переживают. С его согласия или без него они отправили посланников в Спарту, чтобы начать переговоры о мире, но спартанцы остались глухи к этим предложениям. Это новое разочарование привело их в еще большую ярость против Перикла, чьи давние политические враги теперь, несомненно, находили сильное сочувствие в своих обличениях его характера и политики. Та непоколебимая и величественная твердость, которая стояла на первом месте среди многих его выдающихся качеств, никогда не была столь настоятельно востребована и никогда не проявлялась столь эффективно. В качестве стратига, или генерала, он созвал официальное собрание народа, чтобы публично оправдаться перед преобладающими настроениями и рекомендовать упорно придерживаться своей линии политики. Речи его противников, несомненно, очень горькие, не приводятся Фукидидом; но речь самого Периклеса изложена довольно подробно, и это незабываемое выступление. В нем поразительно ярко проявляются и характер человека, и влияние обстоятельств, - неприступный ум, сознающий не только правильные цели, но и справедливые и разумные предвидения, мужественно и даже с вызовом противостоящий естественной трудности дела,

усугубленной крайностью неисчислимого несчастья. Он предвидел,^[293] когда первоначально советовал войну, возможное нетерпение своих соотечественников при первых трудностях, но он не мог предвидеть эпидемию, которая это нетерпение раздула до безумия: И теперь он обращался к ним не только с непоколебимой приверженностью своим собственным обдуманному убеждению, но и в тоне укоризненного предостережения против их незаслуженной перемены настроения по отношению к нему, - стремясь в то же время бороться с тем неконтролируемым отчаянием, которое в данный момент перекрывало и их гордость, и их патриотизм. Далекий от того, чтобы смириться перед нынешними настроениями, именно в это время он самым прямым и безоговорочным образом заявляет о своих правах на их уважение и требует продолжения того, что они так долго оказывали ему, как нечто принадлежащее ему по приобретенному праву.

Его главная цель на протяжении всего этого разговора - наполнить умы слушателей патриотическим сочувствием к благу всего города, чтобы уравновесить поглощающее чувство частного горя. Если коллективный город процветает, утверждает он, частные несчастья можно, по крайней мере, перенести: но никакое частное процветание не поможет, если коллективный город падет; это утверждение буквально верно в древние времена и при обстоятельствах древних войн, хотя и менее верно в настоящее время. "Отвлеченные домашним бедствием, вы теперь сердитесь и на меня, который советовал вам идти на войну, и на самих себя, которые последовали этому совету. Вы слушали меня, считая, что я превосхожу других в суждениях, в речах, в патриотизме и в неподкупной честности,^[294] - и не следует теперь считать меня виновным в том, что я дал такой совет, когда в действительности война была неизбежна, и было бы еще более опасно уклониться от нее. Я все тот же человек, все так же неизменен, - но вы, в ваших несчастьях, не можете придерживаться убеждений, которые вы приняли, когда еще не пострадали. Горести, обрушившиеся на вас, действительно, чрезвычайны и непредвиденны: но, живя в великом городе и воспитываясь в соответствующих ему нравах, вы должны также решиться выдержать сильнейший напор невзгод и никогда не терять своего достоинства. Я уже не раз объяснял вам, что у вас нет оснований сомневаться в конечном успехе войны, но теперь я напомню вам, более категорично, чем прежде, и даже с показной наглостью, подходящей в качестве стимула для вашего нынешнего неестественного уныния, - что ваша морская сила делает вас хозяевами не только ваших союзников, но и всего моря,^[295] одной половины видимого поля для действий и применения. По сравнению с такой огромной державой временное использование ваших домов и территории - сущий пустяк, декоративный аксессуар, не стоящий внимания; и это тоже, если вы сохраните свою свободу, вы быстро восстановите ее. Ваши отцы первыми завоевали эту империю, не имея ни одного из тех преимуществ, которыми вы наслаждаетесь сейчас; вы не должны позорить себя, теряя то, что они приобрели. Радуюсь чести и империи, которой пользуется город, вы не должны уклоняться от трудов, которыми только и поддерживается эта честь: более того, сейчас вы боретесь не просто за свободу вместо рабства, но за империю против потери империи, со всеми опасностями, вытекающими из непопулярности империи. Теперь вам небезопасно отречься от престола, даже если бы вы решили это сделать; ведь вы держите свою империю, как деспотию, - возможно, несправедливую при первоначальном приобретении, но губительную при расставании с ней после приобретения. Не гневайтесь на меня, чьему совету вы последовали, вступая в войну, потому что враги нанесли такой урон, какого от них можно было ожидать; тем более из-за этой непредвиденной беды: Я знаю, что это делает меня объектом вашей особой нынешней ненависти, хотя и весьма несправедливой, если только вы не согласитесь отдать мне должное и за неожиданную удачу, которая может случиться. Наш город приобрел свою особую славу благодаря непоколебимой стойкости перед несчастьем: его сила, его имя, его империя греков над греками таковы, каких еще

никогда не видели: и если мы хотим быть великими, мы должны принять на себя последствия той временной зависти и ненависти, которые являются необходимой ценой постоянной славы. Ведите себя сейчас достойно этой славы: проявите мужество, которое необходимо, чтобы защитить вас от позора в настоящее время, а также гарантировать вашу честь в будущем. Не отправляйте больше посольства в Спарту и переносите свои несчастья, не выказывая признаков беды"[296].

Неотразимые доводы, а также гордая и решительная речь, изложенная с красноречием, которое не смог воспроизвести Фукидид, - в сочетании с возрастом и характером Перикла - вызвали одобрение собравшегося народа; который, находясь в Пниксе и занимаясь по привычке государственными делами, на мгновение забывал о своих личных страданиях, думая о безопасности и величии Афин: Возможно, эти страдания, хотя они все еще продолжались, могли бы несколько облегчиться, когда захватчики покинут Аттику и когда для всего населения больше не будет необходимости заключать себя в стены. Поэтому собрание постановило, что больше не следует делать никаких предложений о мире и что война должна продолжаться энергично. Но хотя в принятом таким образом общественном решении проявилась древняя привычка уважать авторитет Перикла, чувства отдельных людей, взятых в отдельности, все еще были полны гнева против него, как автора системы, которая привела их к такому бедствию. Его политические противники - Клеон, Симмиас или Лакратидас, возможно, все трое вместе - позаботились о том, чтобы дать возможность этому распространенному раздражению проявиться в действии, выдвинув против него обвинение в дикастерии. Обвинение, как говорят, было выдвинуто на основании денежных махинаций и закончилось тем, что его приговорили к выплате значительного штрафа, о размере которого разные авторы сообщают по-разному - пятнадцать, пятьдесят или восемьдесят талантов.[297] Таким образом, обвиняющая сторона, казалось, добилась своего и опозорила, а также исключила из переизбрания государственного деятеля-ветерана. Но событие разочаровало их ожидания: наложение штрафа не только удовлетворило все раздражение народа против него, но даже вызвало серьезную реакцию в его пользу и вернуло как никогда древние чувства уважения и восхищения. Быстро выяснилось, что те, кто сменил Перикла на посту полководца, не обладали и не заслуживали в равной степени общественного доверия, и он был вскоре переизбран с такой же силой и влиянием, какими пользовался в своей жизни[298].

Но эта жизнь, долгая, почетная и полезная, уже значительно перевалила за шестидесятый год, и было слишком много обстоятельств, помимо недавнего штрафа, которые стремились не только ускорить, но и омрачить ее завершение. В тот самый момент, когда Периклес почти укоризненным тоном проповедовал своим соотечественникам необходимость мужественной и неустанной преданности общей стране посреди личных страданий, он сам находился среди величайших страдальцев и с трудом подавал пример соблюдения своих собственных заповедей. Эпидемия унесла не только двух его сыновей, единственных законных, Ксантиппа и Парала, но и сестру, нескольких других родственников, а также лучших и самых полезных политических друзей. Среди этой череды домашних бедствий, во время похорон многих самых дорогих друзей, он справился со своим горем и сохранил привычное самообладание до последнего несчастья - смерти своего любимого сына Парала, в результате чего его дом остался без законного представителя, который мог бы поддерживать семью и наследственные священные обряды. После этого последнего удара, хотя он и старался владеть собой, как прежде, но во время похорон юноши, когда его обязанностью было возложить гирлянду на тело умершего, его горе стало неудержимым, и он впервые в жизни разразился обильными слезами и рыданиями[299].

В разгар этих личных испытаний он получил через Алкивиада и некоторых других друзей известие о восстановлении доверия народа к нему и о его переизбрании на пост стратега: не без труда его убедили вновь явиться в общественное собрание и возобновить управление делами. Народ официально выразил ему сожаление по поводу недавнего приговора - возможно, штраф был бы ему возвращен или разрешено уклониться от него, сохранив формы закона,[300] - при нынешнем нраве города; что еще больше проявилось в его отношении, когда ему было предоставлено замечательное освобождение от закона, предложенного им самим. За несколько лет до этого он сам был автором закона, по которому гражданство Афин ограничивалось лицами, рожденными как от афинских отцов, так и от афинских матерей; по этому закону несколько тысяч человек, незаконнорожденных по материнской линии, как говорят, были лишены гражданства по случаю общественной раздачи кукурузы. Как ни неразумно было предоставлять одному Периклесу освобождение от закона, который строго соблюдался в отношении многих других, народ теперь был движим не столько состраданием, сколько желанием исправить свою собственную прежнюю суровость. Без законного наследника дом Перикла, одна из ветвей великого рода Алкмаeonидов по материнской линии, оказался бы заброшенным, и преемственность семейных священных обрядов была бы нарушена - несчастье, болезненно ощущаемое каждой афинской семьей, как рассчитанное на то, чтобы причинить зло всем умершим членам и вызвать их посмертное неудовольствие по отношению к городу. Поэтому Периклесу было дано разрешение узаконить и записать в свой род и фратрию своего естественного сына от Аспасии, который носил его собственное имя[301].

Таким образом, Периклес был восстановлен в должности стратега, а также в своей власти над государственными советами, - по-видимому, около августа или сентября 430 г. до н. э. Он прожил еще около года и, похоже, сохранял свое влияние до тех пор, пока позволяло здоровье. Однако мы ничего не слышим о нем после этого момента, и он пал жертвой не бурных симптомов эпидемии, а медленной и изнуряющей лихорадки,[302] которая подорвала его силы и возможности. Одному другу, который пришел спросить о нем, когда он был в этой болезни, Периклес ответил, показав амулет, который его женщины повесили ему на шею, - доказательство того, как низко он пал и как полностью превратился в пассивный объект в руках других. А согласно другому анекдоту, который мы читаем, еще более интересному и в равной степени иллюстрирующему его характер, в последние минуты его жизни, когда он лежал без сознания, друзья вокруг его кровати обсуждали деяния его жизни и девять трофеев, которые он воздвиг в разное время в честь стольких побед. Он слышал, что они говорили, хотя им казалось, что он ничего не слышит, и прервал их, заметив: "То, что вы восхваляете в моей жизни, отчасти объясняется удачей и в лучшем случае является общим для меня со многими другими генералами. Но особенность, которой я больше всего горжусь, вы не заметили - ни один афинянин никогда не надевал траур по моему поводу"[303].

Такой повод для самовосхваления, несомненно, более приятный для воспоминания в такой момент, чем любой другой, иллюстрирует тот дальновидный расчет, отвращение к далеким или опасным предприятиям и экономию общественных сил, которыми отмечена вся его политическая карьера; карьера, не имеющая аналогов в истории Афин, - поскольку он сохранял большое влияние, постепенно перерастая в решающее личное превосходство, в течение тридцати-сорока лет. Разные авторы, как древние, так и современные, представляли его характер в очень разных свете, и наши материалы для определения баланса не так хороши, как хотелось бы. Но его огромное и продолжительное возвышение, а также его беспримерное красноречие - факты, засвидетельствованные не только его врагами, но и друзьями, причем первыми даже более убедительно, чем вторыми. Комические писатели, которые ненавидели его и чьим ремеслом было высмеивать и преследовать каждого

ведущего политического персонажа, исчерпали свои возможности иллюстрации, чтобы представить как одно, так и другое:[304] Телеклейдес, Кратин, Евполис, Аристофан, все слушатели и все враги, говорят о нем, как об олимпийском Зевсе, метаемом грома и молнии, - как о Геракле и Ахиллесе, - как о единственном ораторе, на чьих устах сидело убеждение и который оставлял свое жало в умах слушателей: В то время как философ Платон,[305] не одобрявший его политическую деятельность и моральные последствия, которые он произвел на Афины, тем не менее превозносит его интеллектуальное и ораторское превосходство: "его величественный интеллект" - языком не менее решительным, чем у Фукидида. Есть и другой, не менее ценный пункт восхваления, по которому свидетельство выглядит неопровержимым: на протяжении всей своей долгой карьеры, среди самой острой политической вражды, поведение Перикла по отношению к противникам всегда было мягким и либеральным.[Сознательное самолюбие и высокомерие манер, в которых упрекал его современный поэт Ион,[307] противопоставляя его непритязательной простоте его собственного покровителя Кимона, - хотя, возможно, и преувеличенное, несомненно, по существу вполне обосновано, и те, кто прочтет последнюю речь, приведенную выше из Фукидида, сразу же признают в ней это свойство. Его природный вкус, любовь к философским изысканиям и неустанное участие в государственных делах - все это способствовало тому, что он отдалился от обычного знакомства и стал небрежен, возможно, неправомерно небрежен, к меньшим средствам примирения с общественностью.

Но если признать, что этот последний упрек вполне обоснован, как кажется, он помогает отрицать то более серьезное и тяжкое политическое преступление, которое ему вменяется в вину, - принесение постоянного благополучия и нравственности государства в жертву поддержанию собственной политической власти, - развращение народа путем распределения общественных денег. "Он передал бразды правления народу (по словам Плутарха[308]) и формировал свою администрацию для его непосредственной пользы, всегда устраивая дома какое-нибудь общественное зрелище, или фестиваль, или шествие, таким образом вскармливая город в изящных удовольствиях, - и ежегодно посылая шестьдесят трирем, укомплектованных гражданами-моряками на полном жаловании, которые таким образом поддерживали практику и приобретали морское мастерство". Обвинение, выдвинутое против Перикла и подкрепленное утверждениями, которые сами по себе скорее почетны, чем нет, - о порочном стремлении к сиюминутной популярности и о неправомерных уступках сиюминутным чувствам народа вопреки его постоянным интересам, - это именно то, что Фукидид самым резким образом отрицает; и не просто отрицает, а противопоставляет Перикла его преемникам в тех явных обстоятельствах, *что они делали* это, а *он* - нет. Язык современного историка[309] вполне заслуживает того, чтобы его процитировать: "Периклес, могущественный как по достоинству характера, так и по мудрости, не замечая ни малейшей примеси разврата, свободной рукой сдерживал народ и был его настоящим вождем, а не ведомым им. Ибо, не будучи искателем власти из недостойных источников, он говорил не с целью добиться благосклонности, а обладал достаточным чувством собственного достоинства, чтобы иногда противоречить им, даже не боясь их недовольства. Таким образом, всякий раз, когда он видел их наглыми и несвоевременно самоуверенными, он строил свои речи так, чтобы встревожить и разбить их: когда он снова видел их излишне напуганными, он старался противодействовать этому и вернуть им уверенность: так что правительство было по имени демократией, но в действительности империей, осуществляемой первым гражданином в государстве. Но те, кто сменил его после смерти, будучи более равными друг другу, и каждый из них желал преобладания над остальными, взяли другой курс - добиваться расположения народа и жертвовать ради этого даже важными государственными интересами. Отсюда происходило

множество других дурных мер, каких можно было ожидать в великом и императорском городе, и особенно сицилийская экспедиция" и т. д.

Как видно, приведенное здесь суждение Фукидида самым безоговорочным образом опровергает упреки, обычно выдвигаемые против Перикла в том, что он развратил афинский народ, раздавая общественные деньги и поддаваясь его неразумным капризам с целью приобретения и сохранения собственной политической власти. Однако историк особо отмечает противоположные качества - самооценку, осознанное достоинство, безразличие к сиюминутным народным аплодисментам или гневу, когда речь идет о том, что было неизменно правильным и полезным, - как особую характеристику этого великого государственного деятеля. Действительно, можно провести различие, и Плутарх утверждает, что отмечает такое различие, между ранней и поздней частью его долгой политической карьеры: он начал, как говорит этот биограф, с развращения народа, чтобы получить власть, но, получив ее, он использовал ее независимым и патриотическим образом, так что суждение Фукидида, верное в отношении поздней части его жизни, не было бы применимо к ранней. Это различие может быть в определенной степени обоснованным, поскольку способность оказывать смелое и успешное сопротивление временным отклонениям общественного мнения обязательно подразумевает уже сложившееся влияние, и вряд ли когда-либо может быть осуществлена даже самым твердым политиком в годы его становления: в это время он обязательно является примыкающим к какой-то партии или тенденции, которую он находит уже действующей, и должен активно и усердно выступать вперед, прежде чем он сможет создать для себя отдельное личное влияние. Но если мы признаем различие в этой степени, нет ничего, что могло бы оправдать нас в ограничении восхваления Фукидида исключительно поздней жизнью Периклеса, или в представлении ранней жизни как чего-то резко контрастирующего с этим восхвалением. Если правильно истолковать то, что говорит историк, то он, очевидно, не так представлял себе раннюю жизнь Перикла. Либо те политические изменения, которые, по мнению Платона, Аристотеля, Плутарха и других, свидетельствуют о развращающем влиянии Перикла и его политического возвышения, - такие как ограничение функций Ареопага, а также власти магистратов, учреждение многочисленных и частых народных дикастерий с регулярной оплатой, и, возможно, назначение жалованья тем, кто посещал эkkлeсию, расходы на общественные работы, религиозные сооружения и украшения, диобели (или раздача двух оболв на голову более бедным гражданам на различных праздниках, чтобы они могли оплатить свои места в театре), принимая все так, как оно было, и т.д., - не показались Фукидиду озорными и развращающими, как считали другие авторы; или же он не относил их к Периклесу.

И то, и другое, вероятно, в какой-то степени верно. Внутренние политические изменения в Афинах, касающиеся Ареопага и дикастерий, произошли, когда Периклес был молодым человеком, и нельзя предположить, что он еще не приобрел того огромного личного превосходства, которое впоследствии принадлежало ему. Эфиальтес в те ранние времена, похоже, был более значительным человеком, чем Периклес, если судить по тому, что его выбрали для убийства его политические противники, - так что они с большей справедливостью могут быть приписаны партии, с которой был связан Периклес, а не самому государственному деятелю. Но, во-вторых, у нас нет оснований предполагать, что Фукидид считал эти перемены вредными или ухудшившими афинский характер. Все, что он говорит о влиянии Перикла на настроения и поступки своих соотечественников, исключительно благоприятно. Он представляет президентство этого государственного деятеля как умеренное, осторожное, консервативное и успешное; он описывает его как равномерно удерживающего народ от необдуманных предприятий и попыток расширить свою империю, - как предвидящего необходимость войны и поддерживающего морские,

военные и финансовые силы государства в постоянном состоянии, чтобы выдержать ее, - как рассчитывающего, с дальновидной мудростью, условия, от которых зависел конечный успех. Если мы проследим за подробной похоронной речью Периклеса, которую Фукидид, поскольку он подробно излагает ее, вероятно, рассматривал как точную иллюстрацию политической точки зрения этого государственного деятеля, то обнаружим концепцию демократического равенства, не менее рациональную, чем щедрую; заботу об отдыхе и комфорте граждан, но не желание освободить их от активных обязанностей, общественных или частных, - и, менее всего, какую-либо мысль об освобождении от такой деятельности путем злоупотребления милостыней из общего дохода. Вся картина, нарисованная Периклесом, Афин, "как школьной учительницы Греции", предполагает выдающееся развитие частной промышленности и торговли, не меньшее, чем государственного гражданства и воинской службы, - литературы, искусств и развлекательных вкусов.

Хотя Фукидид и не говорит напрямую о конституционных изменениях, произошедших в Афинах при Периклесе, все же все, что он говорит, заставляет нас предположить, что он считал деятельность этого государственного деятеля в целом, как на афинскую власть, так и на афинский характер, чрезвычайно ценной, а его смерть - невосполнимой потерей. Таким образом, мы можем обратиться к мнению историка, который является нашим лучшим свидетелем во всех мыслимых отношениях, как к обоснованному ответу на обвинение Перикла в том, что он испортил афинские привычки, характер и правительство. Если он потратил значительную часть общественной казны на религиозные сооружения и украшения, а также на величественные работы для города, то сумма, которую он оставил нетронутой, готовой к использованию в начале Пелопоннесской войны, была такой, что казалась более чем достаточной для всех целей обороны, общественной безопасности или военной чести. Невозможно доказать, что Периклес когда-либо жертвовал большим ради меньшего, - постоянным и ценным ради преходящего и показного, - обеспеченными нынешними владениями ради жажды новых, далеких или неопределенных завоеваний. Если бы к его совету прислушались, то опрометчивости, которая привела к поражению афинян Толмидеса при Коронее в Беотии, удалось бы избежать, и Афины, возможно, сохранили бы свое господство над Мегарой и Беотией, что защитило бы их территорию от вторжения и придало бы новый поворот последующей истории. Периклеса не следует считать автором афинского характера: он нашел его с очень выраженными положительными чертами и склонностями, среди которых те, которые он в первую очередь выявил и улучшил, были лучшими. Жадность экспедиций против персов, которую Кимон направил бы в Египет и на Кипр, он подавил, после того как она достигла всего, на что могла быть направлена: амбиции Афин он скорее умерил, чем поощрил: демократическое движение Афин он упорядочил и развил в судебные учреждения, которые стали одной из выдающихся черт афинской жизни и, по моему мнению, принесли большую пользу национальному уму и личной безопасности, несмотря на многие недостатки их прямого характера как трибуналов. Но то, в чем было наибольшее различие между Афинами, какими их нашел Периклес, и какими он их оставил, это, несомненно, мирное и интеллектуальное развитие, - риторика, поэзия, искусства, философские исследования и разнообразные развлечения. К этому можно добавить значительное улучшение в возделывании аттической земли, расширение афинской торговли, достижение и кропотливое поддержание максимума морского мастерства, подтвержденного сражениями при Формионе, увеличение зоны полной безопасности за счет строительства Длинных стен, - и, наконец, облачение Афин в императорскую мантию, украшенную архитектурными и скульптурными орнаментами, - все это представляет собой пример подлинного прогресса, осуществленного в течение политической жизни Перикла, такого, что вменяемые ему злодеяния, в большей степени мнимые, чем реальные, лишь в малой степени могут быть сплавлены. Как мало, сравнительно говоря, было бы верно в

картине, нарисованной Периклесом в его погребальной речи 431 года до н. э., если бы эта речь была произнесена над теми воинами, которые пали при Танагре за двадцать семь лет до этого!

М. Бёкх заметил,^[310] что Периклес принес землевладельцев Аттики в жертву морским интересам и империи Афин. Это, конечно, основано на разрушительных вторжениях в страну во время Пелопоннесской войны; ведь до начала этой войны положение аттических земледельцев и собственников было особенно завидным; и порицание М. Боэция, таким образом, зависит от вопроса, насколько Периклес способствовал возникновению или был в состоянии предотвратить эту меланхоличную войну, результаты которой были столь фатальными не только для Афин, но и для всей греческой расы. Если мы внимательно проследим за рассказом Фукидида, то увидим, что, по мнению этого историка, Периклес не только не вызвал войну, но и не смог бы ее предотвратить без таких уступок, которые афинское благоразумие, равно как и афинский патриотизм, категорически запрещали: Более того, мы увидим, что расчеты, на которых Периклес основывал свои надежды на успех в случае войны, были, по мнению историка, совершенно здравыми и безопасными. Мы можем даже пойти дальше и утверждать, что правление Перикла в течение четырнадцати лет, предшествовавших войне, демонстрирует "умеренность", по выражению Фукидида,^[311] продиктованную в первую очередь стремлением избежать увеличения поводов для войны; Хотя в месяцы, непосредственно предшествовавшие началу войны, после поведения коринфян в Потидее и постановлений конгресса в Спарте, он упорно сопротивлялся всякому выполнению особых требований Спарты, - требований, по сути неискренних, частичное выполнение которых понизило бы достоинство Афин, не обеспечив мира. Истории о Фидии, Аспасии и мегарянах, даже если допустить, что в их основе есть доля правды, должны, если следовать Фукидиду, рассматриваться в худшем случае как сопутствующие факторы и предлоги, а не как реальные причины войны: хотя современные авторы, говоря о Периклесе, слишком склонны использовать выражения, которые молчаливо предполагают, что эти истории имеют под собой веские основания.

Видя, что Периклес не вызвал и не мог предотвратить Пелопоннесскую войну, что он проводил свой курс в отношении этого события с дальновидным благоразумием того, кто знал, что безопасность и достоинство императорских Афин существенно взаимосвязаны, мы не имеем права сваливать на него вину за принесение в жертву землевладельцев Аттики. Их, конечно, можно было бы оправдать, если бы они жаловались, когда они так разорительно страдали; но беспристрастный историк, рассматривая дело в целом, не может признать их жалобы основанием для порицания афинского государственного деятеля.

Отношение Афин к союзникам, слабое место ее положения, было не в силах серьезно исправить Периклесом, возможно, и не в его силах, поскольку идея политической инкорпорации, как и идея обеспечения общей и равной конфедеративной связи, поддерживаемой эффективной федеральной властью между различными городами, редко приходила в голову даже лучшим греческим умам.[Мы слышали, что он пытался созвать в Афинах конгресс депутатов от всех городов Греции, включая союзников Афин;^[313] но этот план не удалось воплотить в жизнь из-за нежелания пелопоннессцев, что, впрочем, удивительно. Практически, союзники не подвергались плохому обращению во время его правления: и если, среди других плохих последствий затянувшейся войны, они, как и Афины, и все остальные греки, страдают все больше и больше, то это зависит от причин, в которых он не виноват, и от действий, которые полностью отклонялись от его мудрых и трезвых расчетов. Если взять его в целом, с его силой мысли, слова и действия, с его компетентностью, гражданской и военной, как в совете, так и в поле, с его энергичным и

культурным интеллектом, с его всеобъемлющими идеями сообщества в мирном и многостороннем развитии, с его неподкупной общественной моралью, осторожностью и твердостью, в стране, где все эти качества были редки, а их сочетание в одном человеке, конечно, гораздо реже, мы найдем ему аналогов во всем ходе греческой истории.

Под влиянием большой смертности и болезней в Афинах военные действия, естественно, затихали; враги тоже, хотя и были более активны, но не имели особых успехов. Флот из ста трирем с тысячей гоплитов на борту был отправлен лакедемонянами под командованием Кнема для нападения на Закинф, но не добился ничего, кроме опустошения открытых частей острова, и затем вернулся домой. Вскоре после этого, в сентябре, амбракиоты напали на амфилохийский город Аргос, расположенный на южном берегу Амбракийского залива: этот город, как уже говорилось в предыдущей главе, был отвоеван у них за два года до этого афинянами при Формионе и возвращен амфилохийцам и акарнанцам. Амбракиоты, будучи колонистами и союзниками Коринфа, в то же время были движимы активной враждой к афинскому влиянию в АкARNании и желанием вернуть утраченный город Аргос. Заручившись помощью хаонийцев и некоторых других эпирских племен, они выступили в поход на Аргос и, опустошив его территорию, попытались взять город штурмом, но были отбиты и вынуждены отступить.[314] Эта экспедиция, по-видимому, внушила афинянам необходимость постоянного войска для защиты их интересов в этих краях; поэтому осенью Формион был послан с эскадрой из двадцати трирем занять Наупактус, ныне населенный мессенцами, в качестве постоянной морской станции и наблюдать за входом в Коринфский залив. 315] В событиях следующего года мы найдем полное подтверждение этой необходимости.

Хотя пелопоннесцы слишком уступали в морской силе, чтобы начать официальную войну на море против Афин, их одиночные каперы, особенно мегарские каперы из гавани Нисей, активно вредили ее торговле[316] - и не только афинской, но и торговле других нейтральных греков, не стесняясь в средствах и не делая различий. Несколько торговых и рыболовных судов с большим количеством пленных были захвачены. 317 Пленные, попавшие в руки лакедемонян, - даже нейтральные греки и афиняне - были преданы смерти, а их тела брошены в расщелины гор. По отношению к нейтралам этот захват был пиратским, а расправа - неоправданно жестокой, если судить даже по принятой у греков практике, которая была неполноценной с точки зрения гуманности: но увольнение этих нейтральных пленников или продажа их в рабство придали бы пиратскому захвату огласку и спровоцировали бы нейтральные города, так что пленников, вероятно, убили как лучший способ избавиться от них и тем самым подавить доказательства[318].

Некоторые из этих пелопоннесских каперов доходили до юго-западного побережья Малой Азии, где находили временное убежище и мешали торговым судам из Фазелиса и Феникии в Афины; для их защиты афиняне осенью отправили эскадру из шести трирем под командованием Мелесандра. Кроме того, ему было поручено обеспечить сбор обычной дани с афинских союзников и, возможно, собрать посильные взносы в других местах. Для выполнения этой последней обязанности он предпринял экспедицию с морского побережья против одного из ликийских городов во внутренних районах страны, но его нападение было отбито с потерями, а сам он убит[319].

Вскоре афинянам представилась возможность отомстить Спарте за столь жестокое обращение с морскими пленниками. Во исполнение идеи, возникшей в начале войны, лакедемоняне отправили Анкрита и еще двух посланников в Персию, чтобы выпросить у великого царя денежную и военную помощь против Афин; таким образом, раздоры среди

греков постепенно подготовили почву для того, чтобы он восстановил свое господство в Эгейском море. Их сопровождали Тимагор из Тегеи, аргеец по имени Поллис, не имевший никакой официальной миссии от своего города, и коринфянин Аристей. Поскольку море было во власти Афин, они отправились по суше через Фракию к Геллеспонту; Аристей, желая ничего не упустить для облегчения положения Потидеи, убедил их обратиться к Ситалкесу, царю одрисских фракийцев. Этот князь был тогда в союзе с Афинами, а его сын Садокус даже получил афинское гражданство: посланники считали возможным не только отстранить его от афинского союза, но даже получить от него войско для действий против афинян и для блокады Потидеи, но, получив отказ, обратились к нему за безопасным сопровождением до берегов Геллеспонта на пути в Персию. Но Леарх и Амейниадес, афинские жители, приближенные к Ситалкесу, имели достаточно влияния, чтобы не только отклонить эти просьбы, но и побудить Садока, в знак усердия в его новом качестве афинского гражданина, помочь им в захвате Аристее и его спутников во время их путешествия через Фракию. В результате вся партия была схвачена и доставлена в качестве пленников в Афины, где их немедленно предали смерти без суда и следствия, а тела бросили в скалистые расщелины в качестве возмездия за пленных моряков, убитых лакедемонянами[320].

Такая месть Аристее, зачинщику восстания в Потидее, избавила афинян от опасного врага, и теперь блокированный город был брошен на произвол судьбы. Примерно в середине зимы он капитулировал после двухлетней блокады и после того, как прошел через крайние страдания от голода, до такой степени, что некоторые из умерших были даже съедены оставшимися в живых. Несмотря на такие невыносимые страдания, афинские полководцы, Ксенофонт, сын Эврипида, и двое его коллег, приняли выгодные условия капитуляции - разрешили всему населению и коринфским союзникам свободно удалиться, выдав определенную сумму денег на голову, а также одну одежду на каждого мужчину и две на каждую женщину, - и они нашли приют в окрестных халкидских поселениях. Эти условия были необычайно благоприятными, учитывая отчаянное положение города, который должен был очень скоро сдаться по своему усмотрению: но тяготы, даже для армии, не находящейся в холоде зимы, были очень суровыми, и они уже основательно устали и от продолжительности, и от расходов на осаду. Афинам она обошлась не менее чем в две тысячи талантов, поскольку за все два года осады численность нападавших ни разу не была меньше трех тысяч гоплитов, а в течение некоторого времени и значительно больше, - каждый гоплит получал по две драхмы *в день*. Афиняне, узнав об условиях капитуляции, были недовольны снисходительностью генералов, поскольку еще немного терпения - и город сдался бы по собственному желанию: в этом случае расходы были бы частично покрыты за счет продажи пленных в рабство, а афинская месть, вероятно, была бы удовлетворена преданием воинов смерти. 321] Из Афин была отправлена тысяча колонистов, чтобы занять Потидею и свободные территории. 322]

С момента фактического начала войны, когда фиванцы напали на Платею, прошло уже два полных года, но пелопоннесцы не достигли ничего из того, на что рассчитывали. Они не спасли Потидею, и их дважды повторенное вторжение, хотя и подкрепленное неожиданными бедствиями, вызванными эпидемией, еще не привело Афины к достаточному унижению, - хотя, возможно, посланники, которых она отправила летом прошлого года с предложениями о мире, вопреки совету Перикла, произвели впечатление, что она не сможет долго продержаться. В то же время пелопоннесские союзники понесли незначительный урон, поскольку опустошения, причиненные афинским флотом их побережью, возможно, почти компенсировались добычей, которую их войска захватили в Аттике. Вероятно, к этому

времени общественное мнение в Греции уже свыкло с состоянием войны, так что ничего, кроме решительного поражения и унижения с одной стороны, если не с обеих, не хватило бы для ее прекращения. В эту третью весну пелопоннесцы не стали повторять свой ежегодный поход в Аттику - отчасти, как мы можем предположить, из-за страха перед бушевавшей там эпидемией, но еще больше из-за сильного желания фиванцев отомстить за Платею.

В этот злополучный город Архидам немедленно отправился во главе армии конфедератов. Но не успел он войти в город и начать опустошать его территорию, как платейские глашатаи вышли вперед, чтобы схватить его за руку, и обратились к нему в следующих выражениях: "Архидам и лакедемоняне, вы поступаете неправильно и недостойно ни себя, ни своих отцов, вторгаясь на территорию Платеи. Ибо лакедемонянин Павсаний, сын Клеомброта, освободив Грецию от персов, вместе с теми греками, кто готов был нести свою долю опасности, принес жертву Зевсу Элевтерию на рыночной площади Платеи и там же, в присутствии всех союзников, выделил платейцам их собственный город и территорию для полной автономии, чтобы никто не вторгся к ним незаконно или с целью поработить их: Если же такое вторжение произойдет, то присутствующие союзники обязались выступить со всей своей силой в качестве защитников. В то время как ваши отцы предоставили нам этот грант, учитывая нашу доблесть и бесстрашие в той опасной ситуации, вы сейчас поступаете прямо противоположным образом: вы пришли вместе с нашими злейшими врагами, фиванцами, чтобы поработить нас. И мы, со своей стороны, призываем тебя в свидетели богов, утвердивших эту клятву, а также твоих отцовских и наших местных богов, не нарушать клятву, причиняя зло платейской территории, но позволить нам жить дальше в той автономии, которую гарантировал Павсаний"[323].

На что Архидам ответил "Вы говорите справедливо, люди Платеи, если ваше поведение будет соответствовать вашим словам. Оставайтесь сами автономными, как разрешил Павсаний, и помогите нам освободить тех других греков, которые, пережив вместе с вами те же опасности и дав ту же клятву, теперь порабощены афинянами. Именно для их освобождения и освобождения других греков и была создана эта грозная боевая дружина. В соответствии с вашими клятвами, вы должны по праву, и мы приглашаем вас, принять активное участие в этом деле. Но если вы не можете действовать таким образом, то, по крайней мере, сохраняйте спокойствие, в соответствии с призывом, который мы уже послали вам; наслаждайтесь своей территорией и сохраняйте нейтралитет, принимая обе стороны как друзей, но ни одну из них не для военных целей. Этим мы будем удовлетворены".

В ответе Архидам содержит намек на обстоятельство, о котором историк ранее не упоминал напрямую: лакедемоняне направили платейцам официальный призыв отказаться от союза с Афинами и сохранять нейтралитет: в какое время это произошло,[324] мы не знаем, но это свидетельствует об особых настроениях, царивших в городе. Но платейцы не выполнили дважды повторенное приглашение. Глашатаи, вернувшись за инструкциями в город, принесли ответ, что без согласия афинян выполнить его невозможно, так как их жены и семьи сейчас находятся в Афинах: кроме того, если они будут придерживаться нейтралитета и признают обе стороны друзьями, фиванцы могут снова предпринять попытку захватить их город. В ответ на их угрозы совести Архидам снова обратился к ним: "Хорошо, тогда передайте нам, лакедемонянам, ваш город и дома: обозначьте границы вашей территории, укажите количество ваших фруктовых деревьев и всего остального имущества, которое можно сосчитать; а затем уходите, куда пожелаете, пока длится война. Как только она закончится, мы вернем вам все, что получили, - а пока мы будем держать это в доверительном управлении, возделывать и выплачивать вам такое пособие, которого хватит на ваши нужды"[325].

Предложение было настолько справедливым и заманчивым, что все платейцы сначала были склонны принять его при условии, что афиняне согласятся; и они добились от Архидам перемирия на срок, достаточный для того, чтобы отправить посланников в Афины. После общения с афинским собранием посланники вернулись в Платею со следующим ответом: "Мужи Платеи, афиняне говорят, что с самого начала союза они ни разу не допустили, чтобы вам причинили зло, - не предадут они вас и теперь, но помогут вам в меру своих сил. И они заверяют вас клятвами, которые давали им ваши отцы, ни в коем случае не отступить от союза".

Это послание пробудило в душах платейцев всю силу древних и стойких чувств. Они решили сохранить союз с Афинами любой ценой и даже до крайнего предела, если того потребует необходимость. Поступить иначе, учитывая положение их жен и семей, без согласия афинян было просто невозможно; и хотя мы не можем удивляться тому, что последние отказались дать согласие, мы все же можем заметить, что в их ситуации великодушный союзник вполне мог бы его дать. Ведь силы Платеи составляли лишь малую часть совокупной мощи Афин, и афиняне не могли защитить ее от превосходящих сухопутных сил своих врагов - по сути, эта попытка была настолько безнадежной, что они даже не пытались ее предпринять на протяжении всей последующей длительной блокады.

Об окончательном отказе платейцев Архидам узнал из уст в уста со стен, так как посылать гонцов было небезопасно. Как только спартанский принц услышал ответ, он приготовился к враждебным действиям - очевидно, с очень искренним нежеланием, о чем свидетельствует следующий призыв, произнесенный с особой силой

"Вы, боги и герои, владеющие платейской территорией, будьте моими свидетелями, что мы не по ошибке - пока эти платейцы не откажутся от клятвы, обязательной для всех нас, - вторглись на эту территорию, на которой наши отцы победили персов после молитв к вам и которую вы называли благоприятной для греков, чтобы сражаться на ней, - и не по ошибке, что мы можем сделать в дальнейшем, ибо мы старались предложить разумные условия, но безуспешно. Будьте же теперь согласны: пусть те, кто начал зло, получают за него наказание, а те, кто стремится наложить наказание справедливо, добьются своего".

Таким образом Архидам, произнося слова, вероятно, под стенами и в пределах слышимости граждан, которые их охраняли, пытался примирить богов и героев города, который он собирался разрушить и обезлюдить. Вся эта предварительная дискуссия,^[326] так ярко и драматично изложенная Фукидидом, убедительно иллюстрирует уважительную неохоту, с которой лакедемоняне впервые взялись за штурм этой сцены славы своих отцов. Что заслуживает внимания, так это то, что их непосредственное чувство относится вовсе не к платейскому народу, а только к платейской территории; оно чисто местное, хотя и частично переносится на народ, как арендаторов этого места, по вторичной ассоциации. Однако не что иное, как давняя антипатия^[327] фиванцев, побудила Архидам предпринять это предприятие; ведь завоевание Платеи не имело никакого значения для главных целей войны, хотя ее выгодное положение привело к тому, что она оказалась зажатой между двумя великими противоборствующими силами в Греции.

Архидам немедленно приступил к осаде, надеясь, что его многочисленное войско, вся сила Пелопоннесской конфедерации, вскоре захватит не очень большое и, вероятно, не очень хорошо укрепленное место, но защищаемое решительным гарнизоном из четырехсот местных жителей и восьмидесяти афинян: в городе не было никого, кроме ста десяти рабынь для приготовления пищи. Фруктовых деревьев, срубленных при расчистке возделанной земли, хватило на то, чтобы построить вокруг города крепкий частокол, полностью

блокировавший жителей. Затем Архидам, имея поблизости в лесах Китхерона множество древесины, начал возводить курган напротив части городской стены, чтобы можно было подойти по наклонной плоскости и взять город штурмом. Дерево, камни и земля были свалены в огромную кучу, по обеим сторонам которой параллельно, под прямым углом к городской стене, были установлены деревянные палицы, чтобы удерживать рыхлую массу материалов между ними. Семьдесят дней и столько же ночей армия трудилась над этой работой без перерыва, по очереди принимая пищу и отдыхая: благодаря такому неустанному усердию курган приблизился к высоте городской стены. Но поскольку он постепенно возвышался, платейцы не бездействовали: они построили дополнительную стену из дерева, которую поставили на вершине своей собственной городской стены, чтобы усилить ту часть, которая находилась против вражеского кургана: поддерживая ее кирпичной кладкой, для которой использовали материалы из соседних домов: шкуры, сырые и выделанные, были развешаны перед ней, чтобы защитить своих рабочих от ракет, а деревянные изделия от стрел, несущих огонь.[328] А поскольку осаждающие все еще продолжали нагромождать материалы, чтобы поднять свой курган на высоту даже этого недавнего добавления, платейцы встретили их, пробив отверстие в нижней части своей городской стены и засыпав землей нижнюю часть кургана; таким образом, он уступил место наверху и оставил пустое пространство у стены, пока осаждающие не заполнили его, спустив вниз большое количество жесткой глины, свернутой в плетеный тростник, который не мог быть вынут таким же образом. Кроме того, платейцы прорыли подземный ход из внутренних помещений своего города в землю непосредственно под курганом и таким образом незаметно унесли нижний слой земли, принадлежащий последнему; так что осаждающие видели, что их курган постоянно опускается, несмотря на свежие добавления сверху, - но не знали причины. Тем не менее, было очевидно, что эти уловки в конце концов окажутся неэффективными, и платейцы построили новую часть городской стены внутри, в форме полумесяца, взяв начало от старой городской стены с каждой стороны кургана: таким образом, осаждающие лишились всякой пользы от кургана, предполагая, что он успешно завершен; поскольку, когда они перешли через него, перед ними стояла новая городская стена, которую нужно было переносить таким же образом.

Это был не единственный метод атаки. Архидам привел еще таранные орудия, одно из которых сильно потрясло и поставило под угрозу дополнительную высоту стены, возведенную платейцами над курганом, а другие были направлены на различные участки контура городской стены. Против этих новых нападавших использовались различные средства защиты: защитники на стенах сбрасывали веревки, хватались за голову приближающегося двигателя и основной силой вытаскивали его с правильной линии, либо вверх, либо в сторону: или приготавливали на стене тяжелые деревянные балки, прикрепленные с обоих концов длинными железными цепями к двум столбам, выступающим под прямым углом из стены, при помощи которых балки поднимались вверх и удерживались на высоте: таким образом, в надлежащий момент, когда таранная машина приближалась стене, цепи внезапно отпускались, и балка с большой силой падала прямо на двигатель и отламывала его выступающий клюв.[329] Какими бы грубыми ни казались эти оборонительные приемы, они оказались эффективными против осаждающих, которые после трех месяцев безуспешных усилий были вынуждены отказаться от мысли взять город каким-либо иным способом, кроме блокады и голода, - процесса в равной степени утомительного и дорогостоящего[330].

Однако, прежде чем подвергать себя таким неудобствам, они прибегли к еще одной хитрости - попытке поджечь город. С высоты своей насыпи они сбросили большое количество факелов, частично в пространство между насыпью и недавно построенным

полумесяцем стены, частично, насколько они могли дотянуться, в другие части города: затем добавили смолу и другие горючие вещества, и вся масса была подожжена. Пожар был грандиозным, такого еще никогда не было: большая часть города стала неприступной, и весь он едва избежал разрушения. Ничто не смогло бы сохранить его, если бы ветер был более благоприятным: существовала и другая история, о том, что в самый подходящий момент разразилась гроза, чтобы погасить пламя, которой Фукидид не доверяет.^[331] Несмотря на частичный ущерб, город оставался по-прежнему защищенным, а дух жителей - непокоренным.

Теперь не оставалось ничего другого, кроме как возвести вокруг Платеи обводную стену и уповать на медленный процесс голода. Задача была распределена по частям между различными городами-конфедератами и выполнена примерно в середине сентября, немного раньше осеннего равноденствия.^[332] Были построены две стены, отличающиеся друг от друга, с промежуточным пространством в шестнадцать футов, покрытым так, чтобы выглядеть как одна очень толстая стена: кроме того, было два рва, из которых брали кирпичи для стены, - один с внутренней стороны в сторону Платеи, другой - с внешней против любой иностранной силы, способной оказать помощь. Внутреннее крытое пространство между стенами должно было служить постоянными помещениями для оставленных на страже войск, состоявших наполовину из беотийцев и наполовину из пелопоннесцев^[333].

В то самое время, когда Архидам начал осаду Платеи, афиняне со своей стороны отправили на Халкидский полуостров отряд из двух тысяч гоплитов и двухсот всадников под командованием Ксенофонта, сына Эврипида (с двумя коллегами), того самого, который так недавно добился капитуляции Потидеи. Несомненно, это было необходимо для того, чтобы переправить и обустроить новых колонистов, которые должны были занять опустевшее место Потидеи: кроме того, генерал получил некоторые сведения о положении и партиях халкидских городов и надеялся, что сможет эффективно действовать против них. Сначала они вторглись на территорию, принадлежащую боттийскому городу Спартолу, не без надежды на то, что сам город будет предан им находящимися в нем разумными существами; но этому помешало прибытие из Олинфа дополнительных сил, частично гоплитов, частично пельтастов. Эти пельтасты, род войск между тяжеловооруженными и легковооруженными, снабженные пельтастами (или легким щитом) и коротким копьем или копьем, похоже, возникли среди этих халкидских греков, будучи экипированными наполовину по-гречески, наполовину по-фракийски: впоследствии мы увидим их значительно улучшенными и использованными некоторыми из самых искусных греческих полководцев. Халкидские гоплиты, как правило, не отличаются особыми достоинствами: с другой стороны, их конница и пельтасты очень хороши: в сражении, которое произошло под стенами Спартола, афинские гоплиты победили врага, но их конница и легкие войска были полностью разбиты халкидцами. Последние, еще более усиленные прибывшими из Олинфа свежими пельтастами, осмелились даже напасть на афинских гоплитов, которые сочли благоразумным отступить на две роты, оставленные в резерве для охраны багажа. Во время этого отступления их преследовали конные и легковооруженные халкидцы, которые отступали, когда афиняне поворачивали на них, но атаковали их со всех сторон на марше; они использовали ракеты так эффективно, что отступающие гоплиты уже не могли поддерживать устойчивый порядок, а обратились в бегство и искали убежища в Потидее. Четыреста тридцать гоплитов, почти четвертая часть всего войска, вместе со всеми тремя генералами погибли в этом поражении, и экспедиция с позором вернулась в Афины^[334].

В западных районах Греции действия Афин и их союзников были более успешными. Оттеснение амбракиотов из амфилохийского Аргоса в предыдущем году только раззадорило их и побудило задумать еще более масштабные планы агрессии против акарнанцев и афинян. В согласии со своим городом-матерью Коринфом, где они получили горячую поддержку, они убедили лакедемонян принять участие в одновременном нападении на АкARNанию, как по суше, так и по морю, что не позволит акарнанцам сосредоточить свои силы в одном пункте и поставит каждый из их городов на изолированную самооборону; таким образом, все они могут быть побеждены последовательно и отделены, вместе с Кифаллинией и Закинфом, от афинского союза. Флот Формиона в Наупакте, состоявший всего из двадцати трирем, считался неспособным справиться с пелопоннесским флотом, который мог быть построен в Коринфе. Была даже некоторая надежда, что важная станция в Наупакте может быть захвачена, чтобы полностью изгнать афинян из этих мест.

Задуманная схема операций была гораздо более всеобъемлющей, чем все, что еще было доступно в ходе войны. Сухопутные войска амбракиотов вместе с их соседями и колонистами лейкадийцами и анакторийцами собрались возле своего города, а их морские силы были собраны в Леукасе, на акарнанском побережье. К Амбракии присоединился не только лакедемонский адмирал Кнем с тысячей пелопоннесских гоплитов, которые нашли способ переправиться из Пелопоннеса, ускользнув от бдительности Формиона, но и многочисленные эпирские и македонские вспомогательные войска, собранные даже из самых далеких и северных племен. Присутствовала тысяча хаонийцев под командованием Фотия и Никанора, двух ежегодных вождей, выбранных из царского рода. Ни это племя, ни пришедшие вместе с ними феспротийцы не признавали никакого наследственного царя. Молоссы и атинтанцы, которые также присоединились к войску, были под началом Сабиллинфа, регента от имени молодого принца Тарипа. Кроме того, с берегов реки Аос пришли паранейцы под предводительством своего царя Орэда, а также тысяча орестеев, племя скорее македонское, чем эпиротское, присланное их царем Антиохом. Даже царь Пердиккас, хотя тогда номинально находился в союзе с Афинами, послал тысячу своих македонских подданных, которые, однако, прибыли слишком поздно, чтобы быть полезными.^[335] Это большое и разнообразное скопление эпиротов, новое явление в греческой истории, собранное, несомненно, в надежде на грабеж, доказывает обширные связи внутренних племен с городом Амбракия, которому суждено было стать впоследствии столицей эпиротийского царя Пирра.

Было решено, что пелопоннесский флот из Коринфа присоединится к уже собранному в Леукасе и выступит к побережью АкARNании в то же время, когда сухопутные войска войдут на эту территорию. Но Кнемус, обнаружив, что сухопутные войска собраны и готовы у Амбракии, счел излишним дожидаться флота из Коринфа и двинулся прямо в АкARNанию, через Лимнею, пограничную деревенскую территорию, принадлежавшую амфилохийскому Аргосу. Он направил свой поход на Стратус - внутренний город и главное место в АкARNании, - захват которого, вероятно, повлечет за собой сдачу остальных; тем более что акарнанцы, отвлеченные присутствием кораблей в Леукасе и встревоженные большим количеством захватчиков на их границе, не осмеливались покинуть свои отдельные дома, так что Стратус был полностью оставлен своими собственными гражданами. Не мог помочь им и Формий, хотя они послали к нему срочное сообщение, поскольку он не мог оставить Наупактус без охраны, когда было известно о приближении большого флота из Коринфа. При таких обстоятельствах Кнемус и его армия питали самые уверенные надежды одолеть Страту без труда. Они шли тремя отрядами: эпироты - в центре, лейкадцы и анакторийцы - справа, пелопоннесцы и амбракиоты, а также сам Кнем - слева. Так мало было надежд на сопротивление, что эти три дивизии не старались держаться поблизости или даже в поле

зрения друг друга. Обе греческие дивизии, конечно, поддерживали хороший порядок на марше и держали разведчиков начеку; но эпироты продвигались без всякой осторожности и порядка; особенно хаонийцы, которые составляли фургон. Эти люди, считавшиеся самыми воинственными из всех эпиотов, были настолько полны самомнения и опрометчивости, что, приблизившись к Стратусу, не стали останавливаться, чтобы разбить лагерь и штурмовать его вместе с греками, а пошли вместе с другими эпиотами прямо вперед к городу, намереваясь атаковать его в одиночку и будучи уверенными, что возьмут его с первого штурма, прежде чем греки подойдут, и вся слава будет принадлежать им. Стратиане наблюдали за этой неосторожностью и извлекали из нее выгоду. Устроив засады в удобных местах и предоставив эпиотам возможность без всяких подозрений подойти к воротам, они внезапно выступили и напали на них, а войска в засаде поднялись и атаковали их в то же время. Застигнутые врасплох хаонийцы были уничтожены с большой резней, а остальные эпиоты бежали, не оказав почти никакого сопротивления. Они так спешили вперед, опережая своих греческих союзников, что ни правая, ни левая дивизии не знали о сражении, пока летящие варвары, горячо преследуемые акарнанцами, не дали им знать о нем. Тогда две дивизии соединились, защитили беглецов и сдержали дальнейшее преследование, причем стратиане отказались вступать с ними в рукопашную схватку до прибытия остальных акарнанцев. Однако они сильно досаждали войскам Кнема дальним обстрелом, в котором акарнанцы были весьма искусны; и Кнем не решился продолжать атаку при таких обескураживающих обстоятельствах. Как только наступила ночь, чтобы больше не опасаться пращей, он отступил к реке Анапус, расстояние между девятью и десятью милями. Прекрасно понимая, что весть о победе привлечет другие акарнанские силы, которые немедленно придут на помощь Стратусу, он воспользовался прибытием своих акарнанских союзников из *Ἐπιτιάδα* (единственного города в стране, который был связан с лакедемонскими интересами) и укрылся возле их города. Оттуда его войска рассеялись и вернулись по своим домам[336].

Тем временем пелопоннесский флот из Коринфа, предназначенный для сотрудничества с Кнемом у берегов АкARNании, встретил на своем пути неожиданные и непреодолимые трудности. Набрав сорок семь трирем из Коринфа, Сикиона и других мест, с солдатами на борту и с сопровождающими судами для хранения запасов, он вышел из гавани Коринфа и направился вдоль северного побережья Ахайи. Его командиры, не намереваясь вступать в бой с Формионом и его двадцатью кораблями у Наупакта, ни на минуту не предполагали, что он решится напасть на столь значительно превосходящее его число: триремы, соответственно, были оборудованы скорее как транспорты для многочисленных солдат, чем для морского боя, и мало внимания уделялось выбору искусных гребцов[337].

За исключением боя у Коркиры, да и то лишь частично, пелопоннесцы еще никогда не испытывали афинскую морскую эффективность в той степени совершенства, которой она достигла сейчас: сами сохраняя старый неусовершенствованный способ ведения боя и работы кораблей на море, они не имели практического представления о том, в какой степени он был вытеснен афинским обучением. Среди афинян же, напротив, не только моряки в целом испытывали подтвержденное чувство собственного превосходства, но и Формион, особенно самый искусный из их капитанов, постоянно внушал своим людям убеждение, что ни один пелопоннесский флот, бы он ни был так велик, не сможет с успехом противостоять им.[Коринфские адмиралы, Махаон и два его коллеги, с удивлением заметили, что Формион со своей небольшой афинской эскадрой, вместо того чтобы оставаться в безопасности в Наупакте, движется параллельно с ними и следит за их продвижением, пока они не выйдут из Коринфского залива в более открытое море. Продвинувшись вдоль северного побережья Пелопоннеса до Патрэ в Ахайе, они изменили курс и взяли курс на северо-запад, чтобы

пересечь побережье Этолии, направляясь в Акарнанию. Однако при этом они заметили, что Формион надвигается на них со стороны Халкиса и устья реки Эвены, и впервые узнали, что он собирается напасть на них. Смущенные этим происшествием и не желая вступать в морское сражение в открытом море, они изменили план своего плавания, вернулись к берегам Пелопоннеса и остановились на ночлег вблизи Риума, самого узкого места пролива. Их привал был просто обманом, чтобы обмануть Формиона и побудить его вернуться на ночь к своему берегу: ведь в течение ночи они покинули свою стоянку и попытались перебраться через широту залива, где он был недалеко от пролива и сравнительно узким, прежде чем Формион сможет спуститься на них: И если бы афинский капитан действительно вернулся на ночную стоянку на свой берег, они, вероятно, добрались бы до Этолийского или северного побережья без всякого беспокойства в широком море: но он внимательно следил за их передвижениями, держал море всю ночь, и таким образом получил возможность напасть на них в середине канала, даже во время более короткого прохода у пролива, на первой утренней заре.[339] Увидев его приближение, коринфские адмиралы выстроили свои триремы в круг, носами наружу, как спицы колеса; круг был сделан настолько большим, насколько он мог, не оставляя афинским атакующим кораблям возможности практиковать маневр *diekplus*,[340] а внутреннего пространства было достаточно не только для судов-хранилищ, но и для пяти избранных трирем, которые держались в качестве резерва, чтобы выныривать при необходимости через промежутки между крайними триремами.

В таком положении они были обнаружены и атакованы вскоре после рассвета Формионом, который направился к ним со своими кораблями в одном строю, все они были прекрасными моряками, а его собственный корабль шел впереди; всем было строго запрещено атаковать, пока он не подаст сигнал. Он быстро обогнул пелопоннесский круг, приближаясь к носам их кораблей так близко, как только мог, и постоянно создавая видимость, что вот-вот столкнется с ними. Отчасти из-за устрашающего эффекта этого маневра, совершенно нового для пелопоннесцев, отчасти из-за естественной трудности, хорошо известной Формиону, - удержать каждый корабль в точном неподвижном положении - порядок в круге, как внутри, так и снаружи, вскоре нарушился. Вскоре к нему на помощь пришел новый союзник, на которого он полностью рассчитывал, отложив нападение до этого благоприятного случая. Сильный сухопутный ветер из Коринфского залива, который всегда начинался вскоре рассвета, обрушился на пелопоннесский флот со своей обычной силой, в тот момент, когда устойчивость его строя уже несколько сдала позиции, и заставил корабли как никогда выйти из правильного соотношения один к другому. Триремы стали сталкиваться друг с другом или запутываться с судами-хранилищами, так что на каждом корабле люди были вынуждены постоянно отталкивать шестами своих соседей с каждой стороны - не без громкого шума и взаимных упреков, из-за которых не были слышны ни приказы капитана, ни подбадривающие звуки или песни, которыми келеусты оживляли гребцов и поддерживали их в такт. Более того, свежий бриз вызвал такое волнение, что гребцы, неумелые при любых обстоятельствах, не могли вытащить весла из воды, и лоцманы потеряли всякое управление своими судами.[341] Наступил критический момент, и Формио дал сигнал к атаке. Сначала он бросился на один из кораблей адмирала и вывел его из строя, затем его товарищи с таким же успехом атаковали другие, так что пелопоннесцы, сбитые с толку и напуганные, почти не пытались сопротивляться, но нарушили свой порядок и обратились в бегство. Они бежали частично в Патрею, частично в Димку в Ахайе, преследуемые афинянами, которые, почти не потеряв ни одного человека, захватили двенадцать трирем, взяли на борт и увезли почти все экипажи и отплыли с ними в Моликреум, или Антирриум, северный мыс в узком устье Коринфского залива, напротив соответствующего мыса Риум в Ахайе. Воздвигнув в Антирриуме трофей в честь победы и посвятив одну из пленных трирем Посейдону, они вернулись в Наупактус, а пелопоннесские корабли отправились вдоль берега из Патр в

Киллен, главный порт на территории Элиды. Вскоре к ним присоединился Кнемус, перешедший со своей эскадрой из Леукаса[342].

Эти два только что рассказанных инцидента с их подробностями - отражение Кнема и его армии от Стратуса и поражение пелопоннесского флота от Формиона - дают повод для некоторых интересных замечаний. Первый из них показывает, что эпироты сильно уступают грекам - и даже менее развитой части греков - в таких качествах, как порядок, дисциплина, стойкость и способность к сотрудничеству ради общей цели. Уверенность в успехе у них преувеличена до детской опрометчивости, так что они пренебрегают даже самыми обычными мерами предосторожности как на марше, так и в атаке; в то время как греческие дивизии справа и слева от них никогда не бывают настолько воодушевлены, чтобы упустить ни то, ни другое. Если на суше мы невольно обнаруживаем врожденное превосходство греков над эпиротами, то в морском бою нас не меньше поражает удивительное превосходство афинян над своими противниками; превосходство, конечно, не врожденное, как у греков над эпиротами, но зависящее в данном случае от предыдущих трудов, тренировок и изобретательского таланта, с одной стороны, по сравнению с пренебрежением и старомодной рутинной - с другой. Нигде так ярко не проявляется необычайная ценность того мастерства моряков, которое афиняне приобретали годами улучшенной практики, как в этих первых сражениях при Формионе. Оно постепенно становится менее заметным по мере продвижения в войне, так как пелопоннесцы совершенствуются, учась мореходству, как русские при Петре Великом учились военному искусству у шведов при Карле Двенадцатом, - в то время как афинские триремы и их экипажи, кажется, становятся менее отборными и эффективными еще до ужасного бедствия при Сиракузах, а после него непоправимо ухудшаются.

Ни для кого обстоятельства этого памятного морского сражения не казались столь непонятными, как для лакедемонян. Они, конечно, слышали об афинском мореходстве, но никогда его не ощущали и не могли понять, что оно означает: поэтому они приписали поражение лишь позорной трусости и послали возмущенный приказ Кнему в Киллен, чтобы он принял командование, снарядил более многочисленный и лучший флот и исправил бесчестье. Три спартанских комиссара - Брасидас, Тимократес и Ликофрон - были отправлены к нему, чтобы помочь советами и усилиями в сборе военно-морских контингентов из разных союзных городов; и таким образом, под влиянием всеобщего негодования, вызванного недавним поражением, большой флот из семидесяти семи трирем был быстро собран в Панорме - ахейской гавани недалеко от мыса Риум и непосредственно в пределах внутреннего залива. Там же, на берегу, были собраны сухопутные войска для помощи флоту. Такие приготовления не ускользнули от бдительности Формиона, который передал в Афины известие о своей победе, одновременно настоятельно требуя подкреплений для борьбы с растущими силами противника. Афиняне немедленно отправили к нему двадцать свежих кораблей, но по совету критянина Никиаса, их проксена в Гортине, они разрешили ему сначала отвести корабли в Крету, пообещав уменьшить враждебный город Кидонию. Он дал это обещание в качестве частной услуги жителям Полихны, пограничным врагам Кидонии; но когда флот прибыл, он не смог его выполнить: ничего не удалось сделать, кроме опустошения кидонских земель, и флот долго не мог уйти из-за неблагоприятных ветров и погоды.[343] Это непродуманное отклонение флота от прямого курса, чтобы присоединиться к Формиону, является доказательством того, насколько сильно начали страдать афинские советы от потери Перикла, который как раз находился в последней болезни и вскоре после этого умер. Та склонность соблазняться новыми предприятиями и проектами приобретения, от которой он так настойчиво предостерегал своих соотечественников,[344] уже начинала проявлять свои пагубные последствия.

Потеряв этот драгоценный промежуток времени, Формион оказался теперь, имея не более двадцати трирем, против значительно возросших сил противника - семидесяти семи трирем, с большими сухопутными силами, чтобы поддержать их: последнее - не малая помощь в древней войне. Он занял свою позицию у мыса Антирриум, или Моликрического риума, как его называли, - противоположного мысу Ахайского риума: линия между ними, шириной, кажется, около английской мили, образует вход в Коринфский залив. Мессенский отряд из Наупакта сопровождал его и служил на суше. Но он держался на внешней стороне залива, желая сражаться на большой и открытой ширине моря, что было необходимо для афинского маневрирования: в то время как его противники со своей стороны оставались на внутренней стороне ахейского мыса по соответствующей причине, считая, что для них узкое море было выгодно, так как делало морское сражение похожим на сухопутное, сводя на нет все превосходство в морском мастерстве.[345] Если мы вернемся к случаю битвы при Саламине, то обнаружим, что узость пространства в то время считалась лучшей из всех защит для меньшего флота против большего. Но так изменилось мнение, вызванное системой маневрирования, введенной с того времени в афинском флоте, что простор морских просторов теперь не менее желанен для Формиона, чем страшен для его врагов. Афинская практика произвела революцию в военно-морском деле.

Шесть или семь дней подряд оба флота тянулись друг к другу: Формион пытался заманить пелопоннесцев на внешнюю сторону залива, а они со своей стороны делали все возможное, чтобы загнать его внутрь.[346] Для него каждый день отсрочки был выгоден, так как давал новый шанс на прибытие подкреплений: по этой причине пелопоннесские командиры стремились ускорить действия и в конце концов прибегли к хорошо продуманному плану их форсирования. Но, несмотря на огромное численное превосходство, среди моряков, многие из которых пострадали в недавнем поражении, царило такое уныние и нежелание, что Кнемус и Брасидасу пришлось прибегнуть к настойчивым увещаниям, настаивая на благоприятной перспективе, открывающейся перед ними, указывая, что недавняя битва была проиграна лишь из-за бесхозяйственности и неосмотрительности, которые в будущем будут исправлены, и взывая к врожденной храбрости пелопоннесского воина. В заключение они намекнули, что если те, кто хорошо ведет себя в предстоящей битве, получают должные почести, то отстающие, несомненно, будут наказаны:[347] эта тема редко затрагивалась древними полководцами в их проповедях накануне битвы и наглядно демонстрировала нежелание многих пелопоннесских моряков, которых вновь привели в бой главным образом возвышение и напряженные приказы Спарты. На это нежелание Формий недвусмысленно намекал в ободряющих увещаниях, с которыми он обращался к своим людям: ведь и они, несмотря на свою привычную уверенность на море, укрепленную недавней победой, были удручены малочисленностью. Он напомнил им об их долгой практике и рациональном убеждении в превосходстве на море, которое никакое увеличение численности, особенно при наличии противника, сознающего свою слабость, не могло перевесить; и призвал их проявить привычную дисциплину и быстрое понимание приказов, и прежде всего выполнять свои регулярные движения в полной тишине во время настоящего сражения,[348] полезной во всех военных делах и необходимой для правильного ведения морского боя. Идея полной тишины на борту афинских кораблей во время морского боя не только поражает воображение, но и является одним из самых убедительных доказательств силы самообладания и воинских привычек этих граждан-воинов.

Обычное положение пелопоннесского флота у Панорма было внутри пролива, но почти напротив его ширины, - напротив Формиона, который лежал на внешней стороне пролива, а также у противоположного мыса: поэтому в пелопоннесской линии правое крыло занимало северную, или северо-восточную, сторону по направлению к Наупакту. Кнемус и Брасидас

решили двинуться вперед по заливу, как бы против этого города, который был главной афинской станцией; они знали, что Формион будет вынужден встать на защиту этого места, и надеялись прижать его и заставить действовать под землей, где маневры афинян были бы бесполезны. Соответственно, они начали это движение рано утром, отплыв в линию по четыре в бок к северному побережью внутреннего залива; правая эскадра под командованием лакедемонянина Тимократеса находилась в авангарде, согласно ее естественному положению,[349] и в нее было решено поставить двадцать лучших парусных кораблей, так как заранее было известно, что успех плана действий зависит от их быстроты. Как они и предполагали, Формий, как только увидел их движение, посадил своих людей на корабли и поплыл в глубь пролива, хотя и с большой неохотой; ведь мессенцы находились на суше рядом с ним, и он знал, что Наупактус с женами и семьями и длинной стеной[350] совершенно не защищен. Он выстроил свои корабли в боевую линию впереди, вероятно, свой корабль был ведущим, и поплыл вдоль суши к Наупактусу, в то время как мессенцы, шедшие по берегу, держались рядом с ним. Таким образом, оба флота двигались в одном направлении и к одной и той же точке: афинский - близко к берегу, пелопоннесский - несколько дальше. 351] Теперь последние заняли у Формиона желаемую позицию, прижавшись к суше и не имея возможности для тактики. Внезапно раздался сигнал, и весь пелопоннесский флот, обращенный влево, перестроился из колонны в линию и, вместо того чтобы продолжать плыть вдоль берега, стал быстро грести носами к берегу, чтобы подойти к афинянам на близкое расстояние. На правую эскадру пелопоннесцев, занимавшую сторону Наупакта, была возложена особая обязанность - отрезать афинян от всякой возможности бежать туда; для этой важной цели справа были поставлены лучшие корабли. По мнению полководцев, план действий полностью удался; афиняне оказались в ситуации, когда сопротивление было невозможно, и у них не было никаких шансов на спасение, кроме бегства. Но они настолько превосходили в скорости передвижения даже лучших пелопоннесцев, что одиннадцать кораблей, самые головные из двадцати, нашли возможность проскочить мимо,[352] прежде чем правое крыло врага сомкнулось на берегу; они проделали наилучший путь к Наупактусу. Оставшиеся девять кораблей были пойманы и вытаснены на берег с серьезными повреждениями, их экипажи частично погибли, частично спаслись вплавь. Пелопоннесцы отбуксировали одну трирему со всем экипажем и еще несколько пустых; но не одна из них была спасена благодаря храбрости мессенских гоплитов, которые, несмотря на тяжелое снаряжение, бросились в воду и взобрались на борт, сражаясь с палубы и отгоняя врага даже после того, как канат уже был закреплен и начался процесс оттаскивания[353].

Победа пелопоннесцев казалась несомненной, и пока их левая и центральная части были заняты, двадцать кораблей правого крыла отделились от остальных, чтобы преследовать одиннадцать беглых афинских кораблей, которые им не удалось отрезать. Десять из них быстро вошли в гавань Наупакта и заняли оборонительную позицию у храма Аполлона, прежде чем кто-либо из преследователей смог приблизиться; одиннадцатый же, несколько менее быстрый, был настигнут лакедемонским адмиралом, который на борту лейкадской триремы сильно опередил своих товарищей, надеясь настичь хотя бы эту добычу. У входа в гавань Наупакта было пришвартовано торговое судно, и афинский капитан, заметив, что лейкадский преследователь пока один, воспользовался возможностью для смелого и стремительного маневра. Он стремительно обогнул торговое судно, направил свою трирему навстречу наступающему лейкадцу и ударил его клювом в мидель с такой силой, что тот сразу же вышел из строя; его командир, лакедемонский адмирал Тимократес, был так поражен этой неожиданной катастрофой, что тут же умертвил себя и упал за борт в гавань. Преследующие корабли, шедшие сзади, тоже были так поражены и ошеломлены этим, что, бросив весла, держались за воду и перестали продвигаться вперед, а некоторые даже сели

на мель из-за незнания берега. С другой стороны, десять афинских трирем, находившихся в гавани, были в высшей степени воодушевлены случившимся, и одного слова Формиона было достаточно, чтобы привести их в активное движение вперед и заставить их энергично атаковать смущенного врага, чьи корабли, расстроенные пылом преследования и внезапно остановленные, не могли быть быстро приведены в движение, и ожидали не что иное, как повторной атаки. Сначала афиняне разбили двадцать преследующих кораблей на правом фланге; затем они использовали свое преимущество против левого и центрального, которые, вероятно, приблизились к правому; так что после короткого сопротивления все они были полностью разбиты и бежали через залив к своей первоначальной позиции в Панорме.^[354] Таким образом, одиннадцать афинских кораблей не только разбили, устроили и прогнали весь флот противника, захватив шесть ближайших пелопоннесских трирем, но и спасли те свои корабли, которые были выбиты на берег и захвачены в начале боя: кроме того, пелопоннесские экипажи понесли значительные потери как убитыми, так и пленными.

Таким образом, несмотря не только на огромное неравенство в численности, но и на катастрофический удар, нанесенный афинянам вначале, Формион в итоге одержал полную победу; победу, свидетелями которой были даже лакедемоняне, вынужденные просить перемирия, чтобы похоронить и собрать своих мертвых, в то время как афиняне, со своей стороны, подбирали тела своих воинов. Побежденная сторона, однако, считала себя вправе в знак успеха, достигнутого в начале сражения, воздвигнуть трофей на ахейском Риуме, где они также посвятили единственную афинскую трирему, которую им удалось захватить. Однако они были настолько разгромлены - и, кроме того, так боялись ожидаемого подкрепления из Афин, - что воспользовались ночью, чтобы удалиться и отплыть в Коринфский залив: все, кроме лейкадийцев, вернулись к себе домой.

Подкрепление прибыло не сразу, после того неприятного задержания, которое едва не привело к гибели Формиона и всего его флота. Оно подтвердило его господство над входом в залив и над побережьем Акарнании, где у пелопоннесцев теперь не было никаких морских сил. Чтобы еще больше укрепить афинское влияние в Акарнании, он предпринял осенью экспедицию, высадившись в Астакусе и отправившись вглубь Акарнании с четырьмя сотнями афинских гоплитов и четырьмя сотнями мессенцев. Некоторых из ведущих людей Страта и Коронты, которые были связаны с пелопоннесскими интересами, он отправил в изгнание, а вождя по имени Кинес из Коронты, который, похоже, до сих пор находился в изгнании, вновь поселил в родном городе. Главной целью было осадить и взять мощный город *Æniadæ*, расположенный недалеко от устья Ахелоуса; этот город находился в разладе с другими акарнанцами и был присоединен к пелопоннесцам. Но из-за большого разлива вод Ахелоуса осада зимой стала невозможной, и Формий вернулся на станцию в Наупактусе. Отсюда в конце зимы он отправился в Афины, захватив с собой призовые корабли и пленных, которые были свободными людьми. Последних обменяли на афинских пленников, находившихся в руках Спарты^[355].

Отказавшись от морского поединка у Риума и отступив в Коринф, Кнемус и Брасидас уговорили мегарян, пока флот не рассеялся, попробовать провести смелый эксперимент - внезапно напасть на Пирей. Афиняне настолько осознавали свое превосходство на море, что, хотя они тщательно охраняли берега Аттики от каперов, им и в голову не приходило, что на их собственную главную гавань может быть совершено нападение. Соответственно, Пирей был не только не защищен цепью у входа, но даже не имел ни одного регулярного сторожевого корабля, который бы стоял наготове. Моряки уходящего "Пелопона", достигнув Коринфа, были немедленно высажены и отправлены сначала через перешеек, а затем в Мегару, - каждый нес свою одежду для сидения^[356] и весло вместе с петлей, которой весло

крепилось к отверстию в борту и таким образом предотвращалось от соскальзывания. В Ниссее, гавани Мегары, стояло сорок трирем, которые, хотя и были старыми и не в лучшем состоянии, были достаточны для такого короткого путешествия; моряки сразу же по прибытии спустили их на воду и поднялись на борт. Но так велико было благоговение перед Афинами и их могуществом, что, когда план был приведен в исполнение, мужество пелопоннесцев не выдержало, хотя ничто не мешало им на самом деле достичь Пейреуса: но было сделано вид, что ветер неблагоприятный, и они довольствовались тем, что переправились к станции Будорум на противоположном афинском острове Саламине, где застали врасплох и захватили три сторожевых корабля, обычно блокировавших гавань Мегары, а затем высадились на острове. Они заняли большую часть Саламины, опустошили владения и захватили людей и товары. Огненные сигналы немедленно возвестили об этом непредвиденном нападении как в Пирее, так и в Афинах, вызвав в тех и других крайнее изумление и тревогу; ведь афинские граждане, не понимая смысла сигналов, решили, что Пирей сам попал в руки врага. Все население с рассветом бросилось к Пейрею и вышло в море со всеми триремами, которые были готовы против пелопоннесцев; но те, осознав грозящую им опасность, поспешили покинуть Саламин с добычей и тремя захваченными сторожевыми кораблями. Урок был полезен для афинян: с тех пор Пирей был обнесен цепью через устье и имел постоянную охрану до конца войны.[357] Однако через сорок лет мы обнаружим, что за ним так же небрежно следят, а лакедемонский капитан Телеутиас удивляет гораздо большей смелостью и ловкостью.[358]

Как летом этого года амбракиоты совместно с пелопоннесцами привели многочисленное войско эпирских племен для вторжения в Акарнанию, так и осенью афиняне получили помощь против халкидов Фракии от еще более могущественного варварского князя Ситалкеса, царя одрисских фракийцев. Среди многочисленных племен, обитавших между Дунаем и Эгейским морем, - все они носили общее название фракийцев, хотя у каждого было и свое имя, - одрисийцы были в это время самыми воинственными и могущественными. Одрисский царь Терес, отец Ситалкеса, воспользовался этой силой, чтобы покорить[359] и сделать данниками огромное количество различных племен, особенно тех, которые жили на равнине, а не в горах. Его владения, самые большие из существовавших между Ионическим морем и Эвксинским, простирались от Абдеры, или устья Несты, в Эгейском море до устья Дуная в Эвксинском; хотя, похоже, это следует понимать с умозаключениями, поскольку многие промежуточные племена, особенно горные, не признавали его власти. Ситалкес сам вторгся и покорил некоторые племена пеонийцев, которые присоединились к фракийцам на западе, между Аксием и Стримонам.[360] Господство в понимании одрисского царя означало дань, подарки и военную силу, когда это требовалось; по крайней мере, по двум первым пунктам мы можем заключить, что он был достаточно обеспечен, поскольку его племянник и преемник Сеутес, при котором доходы увеличились и достигли максимума, получал ежегодно четыреста талантов золота и серебра в качестве дани и такую же сумму в виде различных подарков, а также многих других подарков из промышленных изделий и украшений. Последние поступали из греческих колоний на побережье, которые, кроме того, вносили значительный вклад в дань, хотя в каких пропорциях, нам не известно: даже греческие города, расположенные не во Фракии, посылали подарки для продвижения своих торговых объектов, как покупатели продуктов, грабежей и рабов, приобретенных фракийскими вождями или племенами.[Резиденция одрисийцев, как их правильно называть, и князей этого племени, ныне правящих многими другими племенами, находилась, по-видимому, примерно в двенадцати днях пути вглубь от Византии,[362] в верховьях Гебруса и Стримона, к югу от горы Хемус и к северо-востоку от Родопа. Вожди одрисов были связаны более или менее отдаленными отношениями с вождями подчиненных племен и даже браком со скифскими князьями к северу от Дуная: скифский князь Ариапейтес[363] женился на

дочери одрисовского Тереса, первого, кто распространил власть своего племени на сколько-нибудь значительную часть Фракии.

Естественное состояние фракийских племен - по мнению Геродота, постоянного и неисправимого - заключалось в разобщенности и неспособности к политическому объединению; если бы такое объединение было возможно, говорит он, они были бы достаточно сильны, чтобы победить любой другой народ, - хотя Фукидид считает их намного уступающими скифам. Вероятно, в период, когда Геродот наводил справки, владычество одрисов еще не достигло того развития, которое Фукидид описывает в третий год Пелопоннесской войны, и которое привело к объединению этих племен, правда, частичному и временному, но такому, какого они никогда не достигали ни до, ни после этого. Уже упоминалось, что одрисский князь Ситалкес взял в жены, вернее, в одну из жен, сестру Нимфодоруса, грека, из Абдеры; при посредничестве которой он стал союзником, а его сын Садокус даже гражданином Афин, - и был вынужден пообещать, что вновь покорит халкидян Фракии в пользу афинян,^[364] своих древних сородичей, согласно мифу Терей, как его трактовали обе стороны. В то же время Пердиккас, царь Македонии, оскорбил его отказом выполнить обещание отдать ему в жены свою сестру - обещание, данное в качестве компенсации за вмешательство Ситалкеса и Нимфодоры в заключение мира с Афинами, в тот момент, когда он был сильно смущен гражданскими разногласиями со своим братом Филиппом. Последний, правивший от своего имени и, казалось бы, независимо от Пердикки, частью македонян в верховьях Аксия, был изгнан своим более могущественным братом и укрылся у Ситалкеса: теперь он был, по-видимому, мертв, но его сын Аминтас получил от одрисского князя обещание восстановить его. У афинян были послы, проживавшие в Ситалкесе, и они отправили Агнона в качестве специального посланника для согласования его похода против халкидян, с которыми должно было сотрудничать афинское войско. В отношениях с Ситалкесом необходимо было быть либеральным в подарках, как ему самому, так и подчиненным вождям, от которых зависела его власть: среди фракийцев ничего нельзя было добиться иначе, как с помощью взяток,^[365] а афиняне были более компетентны в этом вопросе, чем любой другой народ в Греции. Совместная экспедиция против халкидян была окончательно решена.

Но силы Ситалкеса, собранные из разных частей Фракии, собирались с опозданием. Он созвал все подвластные ему племена между Гемом, Родопом и двумя морями: К нему присоединились геты, живущие между горой Хемус и Дунаем, вооруженные, как скифы, их соседи по ту сторону реки, луком и стрелами на лошадях, а также агриане, лелеи и другие пеонийские племена, подвластные ему; Наконец, несколько фракийских племен, называемых диями, отличавшихся особыми короткими мечами и сохранявших свирепую независимость на Родопских высотах, были соблазнены возможностью грабежа или предложением жалованья и перешли под его знамена. В целом его армия насчитывала, или предполагалось, что она насчитывала, сто пятьдесят тысяч человек, треть из которых составляла конница, по большей части геты и одрисы. Самыми грозными воинами в его лагере были независимые племена Родопека; но все войско, одинаково многочисленное, воинственное, хищное и жестокое, наводило ужас на всех, кто находился даже в отдаленных пределах его похода.

Начиная с центральной территории Одрисии и взяв с собой Агнона и других афинских посланников, он сначала пересек необитаемую гору Керкине, которая отделяла пеонийцев на западе от фракийских племен синти и мæди на востоке, пока не достиг пеонийского города или района под названием Добекрус;^[366] именно здесь к нему подошли многочисленные войска и дополнительные добровольцы, которые составили всю его армию.

Из Добекруса, вероятно, двигаясь вдоль одного из притоков Аксия, он вошел в ту часть Верхней Македонии, которая лежит вдоль верхнего Аксия и составляла отдельное княжество Филиппа: присутствие в его войске Аминтоса, сына Филиппа, побудило некоторые из укрепленных мест, Гортинию, Аталанту и другие, открыть свои ворота без сопротивления, а Эйдоменка была взята штурмом, и Эвроп тщетно атакован. Отсюда он прошел еще дальше на юг, в Нижнюю Македонию, царство Пердикки, опустошив территорию по обе стороны Аксия до окрестностей городов Пелла и Кирр, и, по-видимому, вплоть до устья реки и верховья Термического залива. Дальше на юг он не пошел, а распределил свои силы по районам между левым берегом Аксия и верховьями Стримонского залива - Мигдонии, Крестонии и Антему, а часть его армии была отряжена для захвата территории халкидян и боттиев. Македонцы под командованием Пердиккаса, отказавшись от мысли сражаться в пешем строю с таким подавляющим войском, либо бежали, либо заперлись в немногочисленных укреплениях, которые представляла собой страна. Конница из Верхней Македонии, хорошо вооруженная и отличная, предприняла несколько организованных и успешных вылазок против фракийцев, легко вооруженных копьями, короткими мечами и пельтастами, или маленькими щитами, - но вскоре она была закрыта, преследуемая со всех сторон превосходящим числом, и вынуждена была думать только об отступлении и спасении[367].

К счастью для врагов одрисского царя, его поход состоялся только в начале зимы, кажется, в ноябре или декабре. Мы можем быть уверены, что афиняне, когда они договаривались с ним о совместном нападении на халкидян, предполагали, что это должно произойти в более подходящее время года: вероятно, дождавшись известия о том, что его армия в движении, и прождав долго впустую, они начали отчаиваться в его приходе вообще, и не сочли нужным посылать туда свои силы.[368] Только некоторые посланники и подарки были отправлены в качестве комплиментов, вместо совместного вооружения; и это разочарование, в сочетании с суровой погодой, наготой страны и лишениями его армии в тот сезон, побудило Ситалкеса вскоре вступить в переговоры с Пердиккасом; Кроме того, он склонил на свою сторону Сеутеса, племянника одрисского князя, пообещав его сестре Стратоникке в жены денежную сумму при условии, что фракийское войско будет быстро выведено. Так и было сделано, после того как он тридцать дней метался по Македонии: восемь из этих дней его отряд опустошал Халкидские земли. Но этот промежуток времени был достаточно долгим, чтобы навести ужас на все окрестности: такое количество свирепых варваров еще никогда не собиралось вместе, и никто не знал, в каком направлении они могут направить свои набеги. Независимые фракийские племена (панэи, удоманты, дрои и дерсеи) на равнинах к северо-востоку от Стримона и у горы Пангея, недалеко от Амфиполя, первыми почувствовали тревогу, чтобы Ситалкес не воспользовался случаем и не попытался их покорить; С другой стороны, фессалийцы, магнаты и другие греки к северу от Фермопил ожидали, что он перенесет свое вторжение дальше на юг, и начали организовывать средства для сопротивления ему: Даже в целом пелопоннесская конфедерация с тревогой услышала об этом новом союзнике, которого Афины выводили на поле боя, возможно, против них. Все эти тревоги рассеялись, когда Ситалкес, пробыв тридцать дней, вернулся тем же путем, что и пришел, и грозная лавина, как видно, растаяла, не обрушившись на них. Неверный Пердиккас по этому случаю исполнил свое обещание Сеутесу, навлекая на себя большие беды нарушением своего предыдущего аналогичного обещания Ситалкесу[369].

ГЛАВА L.

ОТ НАЧАЛА ЧЕТВЕРТОГО ГОДА ПЕЛОПОННЕССКОЙ ВОЙНЫ ДО РЕВОЛЮЦИОННЫХ ВОЛНЕНИЙ В КОРКИРЕ.

Второй и третий годы войны были для афинян годами тяжелых страданий из-за продолжавшейся эпидемии, которая существенно ослабла только зимой третьего года (429-428 гг. до н. э.). Неудивительно, что под давлением такого бедствия их военные усилия ослабли, хотя победы при Формионе подняли их морскую репутацию на более высокий уровень, чем когда-либо. Для их врагов разрушительные последствия этой эпидемии - последствия все еще ощущались, хотя само расстройство было приостановлено на четвертый год войны - были материальной помощью, а также стимулом к упорству; и пелопоннесцы под командованием Архидама снова повторили в этом году свое вторжение и опустошение Аттики, которое было прервано в течение предыдущего года. Как и прежде, они не встретили серьезного сопротивления: войдя в страну в начале мая, они продолжали опустошать ее до тех пор, пока не иссякли запасы провизии.^[370] К этому ущербу афиняне, вероятно, уже привыкли: но они быстро получили, даже когда захватчики находились в их стране, известие о событии, гораздо более неприятном и грозном, - восстании Митилены и большей части Лесбоса.

Это восстание, конечно, не застало афинян врасплох, но мысль о нем возникла гораздо раньше, чем они предполагали, так как митиленская олигархия замышляла его еще до войны и тайно обращалась к Спарте за помощью, но безуспешно. Через некоторое время после начала военных действий они возобновили этот замысел, которому горячо способствовали беотийцы, родственные лесбийцам по эолийскому роду и диалекту. Митиленские вожди, похоже, окончательно решили восстать предыдущей осенью или зимой; но они сочли благоразумным провести тщательную подготовку, прежде чем заявить о себе открыто: кроме того, они приняли меры, чтобы заставить три других города Лесбоса - Антиссу, Эресу и Пирру - разделить их судьбу, объединить свои отдельные правительства и стать частью Митиленки. Метимна, второй город Лесбоса, расположенный на севере острова, был решительно настроен против них и присоединился к Афинам. Митиленейцы построили новые корабли, привели свои стены в более совершенное состояние обороны, вырыли мол, чтобы сузить вход в гавань и сделать его способным закрываться цепью, отправили эмиссаров нанимать скифских стрелков и закупать кукурузу в Эвксине, а также приняли другие меры, необходимые для эффективного сопротивления. Хотя олигархический характер их правительства давал им много средств для сохранения тайны, а главное, избавлял от необходимости предварительно советоваться с народом, все же меры такой важности не могли быть приняты, не вызвав внимания. Уведомления афинянам посылали различные митиленейские граждане, отчасти из личных чувств, отчасти в качестве *проксенов* (или *консулов*, если использовать современное слово, приближающееся по смыслу) от Афин, - особенно митиленейский гражданин по имени Доксандр, разгневанный на правительство за то, что оно отказало его двум сыновьям в браке с двумя наследницами-сиротами.[Не менее общительными были и жители острова Тенедос, движимые древней соседской ревностью к Митилене; таким образом, афиняне были предупреждены как об интригах между Митиленой и спартанцами, так и о ее грядущем восстании, если они немедленно не вмешаются. 372

Это известие, по-видимому, стало достоверным в феврале или марте 428 г. до н. э. Но таково было тогда удрученное состояние афинян - после двухлетних страданий от эпидемии и уже без противодействия благотворных внушений Перикла, - что они поначалу не могли

заставить себя поверить в то, что так боялись оказаться правдой. Лесбос, как и Хиос, был их союзником на равных, оставаясь на тех условиях, которые вначале были общими для всех членов Делосской конфедерации. Митилен не платил дани Афинам: он сохранил свои стены, крупные военно-морские силы и обширные земельные владения на противоположном азиатском континенте: его правительство было олигархическим и управляло всеми внутренними делами без малейшей связи с Афинами. Ее обязательства как союзника заключались в том, что в случае войны она должна была предоставить вооруженные корабли, в определенном количестве или нет, мы не знаем: она, несомненно, была бы ограничена от ведения войны с Тенедосом или любым другим субъектом Афин: и его правительство или граждане, вероятно, были бы обязаны отвечать перед афинскими дикастериями в случае любой жалобы на ущерб от правительства или граждан Тенедоса или любого другого союзника Афин, - эти последние были также ответственны перед теми же трибуналами по аналогичным жалобам от Митиленка. Таким образом, на практике этот город был практически независимым и настолько могущественным, что афиняне, находившиеся в подавленном состоянии, боялись с ним справиться, а потому не хотели верить тревожным известиям, дошедшим до них. Они отправили посланников с дружеским посланием, чтобы убедить митиленцев приостановить свои действия, и только когда эти посланники вернулись без успеха, они убедились в необходимости более решительных мер. Десять митиленейских трирем, служивших контингентом в афинском флоте, были захвачены, а их экипажи поставлены под охрану; Клейпидесу, который вместе с двумя коллегами собирался отправиться с флотом из сорока трирем вокруг Пелопоннеса, было приказано изменить свое назначение и немедленно отправиться в Митилену.^[373] Предполагалось, что он достигнет этого города как раз во время приближающегося праздника Аполлона Малого, который отмечался в его окрестностях, - по этому случаю все население Митиленеи имело привычку отправляться в храм, так что город, будучи безлюдным, мог быть легко застигнут и захвачен флотом. На случай, если этот расчет не оправдается, Клейпидесу было поручено потребовать от митиленцев сдать военные корабли и разрушить укрепления, а в случае отказа - немедленно атаковать их.

Но шум дебатов в Афинах был слишком велик, чтобы позволить такому плану увенчаться успехом. Митиленейцы держали в городе своих шпионов, и как только решение было принято, один из них отправился сообщить о нем в Митилен. Переправившись в Герест в Эвбее, он сел на борт корабля в точке отправления и на третий день пути из Афин с попутным ветром добрался до Митилены, так что когда вскоре после этого прибыл Клейпидес, он нашел праздник отложенным, а правительство подготовленным к его приезду. В просьбе, которую он послал, ему было отказано, и митиленский флот даже вышел из гавани, чтобы напасть на него, но был отбит без особого труда; тогда митиленские вожди, обнаружив, что на них напали до того, как их приготовления были завершены, и желая выиграть время, прежде чем объявить о своем восстании, начали переговоры с Клейпидесом и убедили его приостановить военные действия, пока в Афины не будут отправлены послы, подтвердив, что у них нет серьезного намерения восставать. Это произошло примерно в середине мая, вскоре после вторжения лакедемонян в Аттику. Не очень благоразумно Клейпидеса побудили принять это предложение, сочтя, что его вооружение недостаточно для борьбы с таким мощным городом и островом; он остался пришвартованным в гавани на севере Митилены, пока посланники, среди которых был один из тех самых граждан Митилены, которые послали выдать предполагаемое восстание, но которые впоследствии изменили свое мнение, не вернулись из Афин. Тем временем митиленское правительство, не зная о Клейпиде и прекрасно понимая, что посольство окажется безрезультатным, воспользовалось перемирием и отправило в Спарту тайных посланников с просьбой о немедленной помощи: А по прибытии лакедемонянина Мелеаса и фиванца Гермæондаса,

которые были отправлены в Митилену раньше, но прибыли тайком только после прибытия Клейппидеса, вместе с ними была отправлена вторая трирема с дополнительными посланниками, чтобы повторить просьбу. Эти прибытия и депеши происходили без ведома афинского адмирала, главным образом из-за особенностей расположения города, который первоначально находился на маленьком островке, отделенном от Лесбоса узким каналом, или *эврипом*, и впоследствии был расширен в сторону основного острова, как Сиракузы и многие другие греческие поселения. Поэтому у него было две гавани, одна на севере, другая на юге от города: Клейппидес стоял на якоре у первой, но вторая оставалась неохраваемой[374].

Во время отсутствия митиленейских посланников в Афинах к афинскому адмиралу прибыло подкрепление с Лемноса, Имброса и некоторых других союзников, а также из лесбийского города Метимны, так что, когда посланники вернулись с неблагоприятным ответом, война возобновилась с еще большей силой. Митиленеяне, предприняв генеральную вылазку со всеми своими военными силами, получили некоторое преимущество в сражении, но, не чувствуя себя достаточно смелыми, чтобы удержать поле боя, они отступили за свои стены. Весть об их восстании, когда она впервые распространилась за границей, произвела неблагоприятное впечатление на стабильность Афинской империи: но когда стало ясно, что их поведение было нерешительным, а их успехи несоразмерны их предполагаемой силе, произошла реакция чувств, - и хианы и другие союзники с еще большим рвением пришли, повинаясь призыву Афин о подкреплении. Клейппидес вскоре нашел свое вооружение достаточно большим, чтобы разбить два отдельных лагеря, устроить рынки и морские станции к северу и югу от города, чтобы наблюдать и блокировать обе гавани сразу.[375] Но он мало чем командовал за пределами своего лагеря и не смог захватить город по суше; тем более что митиленеяне получили подкрепление из Антиссы, Пирры и Эресуса, других городов Лесбоса, которые действовали вместе с ними. Они даже были достаточно сильны для похода на Метимну, надеясь, что она будет предана им кем-то из жителей; но это ожидание не оправдалось, и они не смогли сделать ничего большего, чем укрепить укрепления и подтвердить главенство митиленцев в трех других подчиненных городах; таким образом, метимнеяне, которые вскоре после этого напали на Антиссу, были отбиты с большими потерями. В таком неопределенном состоянии остров пребывал до тех пор, пока где-то в августе 428 года до н. э. афиняне не отправили Пахеса принять командование с подкреплением в тысячу гоплитов, которые приплыли туда на триремах. Теперь у афинян было достаточно сил, чтобы не только удержать митиленцев в своих стенах, но и окружить город единой обводной стеной, укрепленной отдельными крепостями на подходящих позициях. Таким образом, к началу октября Митилен был полностью блокирован как с суши, так и с моря[376].

Тем временем митиленейские посланники после трудного плавания достигли Спарты немного раньше олимпийского праздника, примерно в середине июня. Спартанцы велели им явиться в Олимпию на праздник, где, естественно, будут присутствовать все члены Пелопоннесской конфедерации, и там изложить свои просьбы после окончания праздника в присутствии всех.[377] Фукидид подробно изложил нам свою версию речи, в которой это было сделано, - речи небезынтересной. Произнесенная людьми, которые только что восстали из Афин и были крайне заинтересованы в том, чтобы вызвать негодование против нее, а также симпатии к себе, - и перед аудиторией, состоящей исключительно из врагов Афин, готовых выслушать, но не присутствующих опровергнуть самые жестокие клеветы против нее, мы должны были бы ожидать уверенного чувства праведности и обоснованности, хотя и опасного усилия со стороны митиленцев, и правдоподобного набора обид и притеснений, заявленных против общего врага. Вместо этого речь носит

апологетический и смущенный характер: Оратор не только не утверждает о каких-либо вымогательствах или жестоких действиях Афин по отношению к митиленейцам, но даже признает тот факт, что они относились к ним с заметным почтением;^[378] и это в течение долгого мирного периода, когда она меньше трепетала перед своими союзниками в целом и имела бы гораздо больше возможностей для реализации любых жестоких целей по отношению к ним, чем она могла бы наслаждаться теперь, когда началась война, когда их недовольство, вероятно, найдет сильных покровителей.^[379] По его собственным данным, митиленцы, хотя в прошлом с ними прекрасно обращались Афины, теперь, в силу самого факта войны, приобрели большую уверенность в продолжении подобного обращения в будущем. Именно на этой уверенности в будущем, тем не менее, он основывает оправдание восстания, не претендуя на то, чтобы иметь какой-либо предмет для позитивной жалобы. Митиленеи, утверждает он, не могли иметь перспективной безопасности против Афин: ведь она последовательно и систематически обращала в рабство всех своих союзников, кроме Лесбоса и Хиоса, хотя изначально все были в равных условиях; и были все основания опасаться, что она воспользуется первой удобной возможностью, чтобы свести двух последних оставшихся на тот же уровень, - тем более что их положение теперь было привилегией и исключением, оскорбительным для ее имперской гордости и преувеличенного превосходства. До сих пор Афины проводили политику, направленную на то, чтобы оставить эти два исключения, как доказательство того, что другие союзники справедливо подверглись их участи, поскольку в противном случае Лесбос и Хиос, имея равные голоса, не объединили бы усилия в их сокращении:^[380] но теперь в этой политике больше не было необходимости, и митиленейцы, чувствуя себя свободными только по имени, были вынуждены, заботясь о собственной безопасности, воспользоваться скорейшей возможностью освободиться на самом деле. Это была не просто забота о собственной безопасности, но и дальнейший импульс общегреческого патриотизма; желание встать в ряды противников, а не помощников Афин, узурпировавших суверенитет над столькими свободными греческими государствами.^[381] Митиленейцы, однако, были вынуждены восстать, имея лишь наполовину завершенные приготовления, и поэтому имели двойное право на помощь Спарты - единственной надежды и защитницы греческой автономии. И спартанская помощь - если бы она была оказана немедленно и от всей души, при повторном нападении на Аттику в этом же году, как по морю, так и по суше - не могла бы не сломить общего врага, измученного мором, а также издержками трехлетней войны, и занявшего все свои морские силы либо в осаде Митилены, либо вокруг Пелопоннеса. В заключение оратор воззвал не только к эллинскому патриотизму и симпатиям пелопоннесцев, но и к священному имени Зевса Олимпийского, в округе которого проходило собрание, чтобы его настоятельная просьба не была оставлена без внимания^[382].

Вслед за этой речью оратора мы видим откровенное признание в том, что у митиленцев не было никаких оснований жаловаться на поведение Афин по отношению к себе: они уважали и их достоинство, и их общественную силу, и их личную безопасность. Этот важный факт помогает нам объяснить, во-первых, безразличие, с которым митиленейцы отнеслись к восстанию; во-вторых, варварское решение, принятое афинянами после его подавления. Причины восстания в основном две. 1. Митиленцы не были уверены в том, что Афины не низведут их до состояния подвластных союзников, как остальных. 2. Они не желали идти на поводу у амбиций Афин и становиться участниками войны ради сохранения империи, которая по сути своей оскорбляет греческие политические инстинкты. В обеих этих причинах есть своя сила; и обе они затрагивают больное место афинской империи. Эта империя, несомненно, противоречила одному из фундаментальных инстинктов греческого ума - праву каждого отдельного города управлять своими политическими делами без внешнего контроля. Пелопоннесский союз признавал эту автономию в теории, посредством общего

синода и равного голосования всех членов в Спарте в важных случаях; хотя было совершенно верно,^[383] как утверждал Периклес в Афинах, что на практике не более чем автономия, ограниченная спартанскими руководящими нитями, - и хотя Спарта держала под постоянной опекой заложников за верность своих аркадских союзников, созывая их военные контингенты, не сообщая им, куда они должны были отправиться. Но Афины провозгласили себя деспотом, лишив своих союзников автономии не только в теории, но и на практике: далеко не склонная культивировать в них чувство реальной общности интересов с собой, она даже не обманывала их теми формами и фикциями, которые так часто успокаивают недовольство в отсутствие реальности. Несомненно, природа ее империи, одновременно широко раскинувшейся, морской и не связанной или лишь частично связанной с родственными расами, делала формы периодических обсуждений труднодостижимыми; в то же время это давало ей как военно-морскому начальнику власть гораздо более деспотичную, чем мог бы осуществлять любой вождь на суше. Сомнительно, что она могла преодолеть эти политические трудности - несомненно, что она и не пыталась их преодолеть; так что ее империя признавалась деспотией, противной политическому инстинкту греческого ума; и восстания против нее, подобные восстанию Митилея, - в той мере, в какой они представляли подлинное чувство, а не были просто движениями олигархической партии против собственной демократии, - были восстаниями этого оскорбленного инстинкта, гораздо более чем последствиями фактического угнетения. Митилеяны, конечно, могли бы утверждать, что у них нет никакой гарантии от того, что однажды они будут сведены к общему состоянию таких же подданных, как и все остальные; но афинский оратор, если бы он присутствовал здесь, мог бы дать не самый лучший ответ на эту часть их рассуждений; - Он бы заявил, что если бы Афины были настроены на такой план, то воспользовались бы четырнадцатилетним перемирием для его осуществления; и он бы показал, что унижение союзников Афинами и изменение ее положения от президента до деспота было гораздо менее преднамеренным и систематическим, чем утверждал митилеянский оратор.

Однако пелопоннесских слушателей речь последнего полностью удовлетворила; лесбийцы были объявлены членами Пелопоннесского союза, и было принято решение о втором нападении на Аттику. Лакедемоняне, первенствовавшие в этом движении, созвали контингенты из своих союзников и рано прибыли со своими на перешеек: там они начали готовить повозки или грузовики для перетаскивания через перешеек трирем, сражавшихся против Формиона, из гавани Лехей в Саронический залив, чтобы использовать их против Афин. Но остальные союзники не откликнулись на призыв, оставшись дома и занятые сбором урожая; и лакедемоняне, достаточно разочарованные этой вялостью и неповиновением, были еще больше сбиты с толку неожиданным появлением ста афинских трирем у берегов перешейка. Афиняне, хотя их собственное присутствие на олимпийском празднике было запрещено войной, несомненно, более или менее подробно узнали о происходивших там событиях, связанных с Митилею. Видя всеобщее мнение о своем подавленном и беспомощном состоянии, они решили опровергнуть его большими и немедленными усилиями и, соответственно, немедленно снарядили сто трирем, потребовав личной службы от всех мужчин, как граждан, так и метеков, и исключив только два самых богатых класса солонийской переписи, *то есть* пентакосиомедимнов и гиппеев, или всадников. С этим огромным флотом они провели демонстрацию вдоль перешейка в виду лакедемонян и высадились в различных частях пелопоннесского побережья, чтобы нанести им урон. В то же время тридцать других афинских трирем, отправленных несколько ранее в Акарнанию под командованием Асопия, сына Формиона, высадились в разных местах Лаконии с той же целью; и эта новость достигла лакедемонян на перешейке, в то время как другой большой афинский флот

шествовал перед их глазами.[384] Пораженные столь неожиданной демонстрацией силы, они начали чувствовать, насколько митиленцы ввели их в заблуждение относительно истощения Афин, и насколько они были некомпетентны, особенно без присутствия своих союзников, чтобы предпринять какое-либо совместное эффективное движение по морю и суше против Аттики. Поэтому они вернулись домой, решив отправить экспедицию из сорока трирем под командованием Алкида на помощь самому Митилену; в то же время они направили запросы своим союзникам, чтобы те предоставили эти триремы[385].

Тем временем Асопий со своими тридцатью триремами прибыл в Акарнанию, откуда все корабли, кроме двенадцати, были отправлены домой. Он был назначен командиром как сын Формиона, который, по-видимому, либо умер, либо стал негоден к службе после своих побед в предыдущем году; акарнанцы особо просили, чтобы командование эскадрой было поручено сыну или, по крайней мере, какому-нибудь родственнику Формиона; так любимы были среди них его имя и характер. Однако Асопий не добился ничего важного, хотя вновь предпринял совместно с акарнанцами бесплодный поход на Cēniadæ. В конце концов он потерпел поражение и был убит при попытке высадиться на территории Леукаса[386].

Сангвиническое заявление митиленцев в Олимпии о том, что Афины оказались беспомощны из-за эпидемии, было опровергнуто ее недавней демонстрацией; если взять вместе численность и оснащение, то морские силы, которые она выставила этим летом, укомплектованные моряками более высокого класса, превосходили все предыдущие годы; хотя только по численности они уступали двумстам пятидесяти триерам, которые она выслала в первое лето войны.[387] Но утверждение, что Афины обеднели в финансах, не так уж лишено основания: ведь все сокровища акрополя, шесть тысяч талантов в начале войны, теперь были израсходованы, за исключением той тысячи талантов, которая была торжественно отложена на случай последних усилий по обороне. Это неудивительно, когда мы узнаем, что каждый гоплит, занятый в течение почти двух с половиной лет в блокаде Потидеи, получал две драхмы в день, одну для себя и вторую для сопровождающего: за все время блокады там было занято три тысячи гоплитов, а значительную часть времени - четыре тысячи шестьсот; кроме того, флот, все моряки которого получали по одной драхме в день на человека. Таким образом, афиняне впервые были вынуждены собрать прямые взносы между собой в размере двухсот талантов для продолжения осады Митилены; в то же время они отправили Лисиклеса с четырьмя коллегами, командуя двенадцатью триремами, для сбора денег. Какое отношение эти корабли для сбора денег имели к регулярной дани, выплачиваемой подданными-союзниками, и разрешалось ли им посещать эти последние, мы не знаем: в данном случае Лисикл высадился в Миусе, недалеко от устья Месандра, и отправился вверх по стране, чтобы взимать взносы с карийских деревень на равнине этой реки; но он был застигнут врасплох карийцами, возможно, при содействии активных саамских изгнанников из Аннеи, расположенной по соседству, и убит со значительным числом своих людей.[388]

Пока афиняне держали осаду Митилены, их верные друзья, платейцы, более года оставались в тесной блокаде пелопоннесцев и беотийцев, не имея никакой возможности получить помощь. В конце концов, провизия стала подводить, и полководец Евпомпидий, поддерживаемый пророком Теэнетом, - а пророки[389] часто были одними из самых храбрых солдат в армии, - убедил гарнизон принять смелое, но, казалось бы, отчаянное решение - прорваться за крепостную стену, невзирая на стражу. Проект казался настолько отчаянным, что в момент исполнения одна половина гарнизона отказалась от него как от равносильного верной смерти: другая половина, числом около двухсот двенадцати человек, упорствовала и спаслась. Счастье было бы для оставшихся, если бы они погибли при попытке и тем самым избежали более печальной участи, ожидавшей их!

Уже говорилось, что окружение Платеи было выполнено двойной стеной и двойным рвом, один ров был без окружающих стен, другой - между ними и городом; две стены были на расстоянии шестнадцати футов друг от друга, соединены вместе и покрыты крышей по всему периметру, чтобы выглядеть как одна толстая стена и обеспечить крытые помещения для осаждающих. И внешняя, и внутренняя окружности были снабжены бойницами, а после каждых десяти бойниц шла крытая башня, покрывавшая всю ширину двойной стены, - она давала свободный проход внутрь, но не давала его снаружи. В целом, весь контур крытой стены охранялся днем и ночью: но в сырые ночи осаждающие настолько ослабляли бдительность, что уходили под прикрытие башен, оставляя промежуточные пространства без охраны, и именно на этом упущении был основан план побега. Платеяне подготовили лестницы подходящей высоты, чтобы взобраться на блок с двойной стеной, определив его высоту путем многократного подсчета рядов кирпичей, которые были достаточно близко, чтобы они могли их различить, и не были эффективно покрыты побелкой. Холодной и темной декабрьской ночью, под дождем, снегом и ревущим ветром, они вышли из ворот, легко вооруженные, некоторые из них были со щитами и копьями, но большинство - с нагрудниками, копьями и луками и стрелами: правая нога была обнажена, а левая обута, чтобы надежнее держаться на грязной земле.^[390] Позабывшись о том, чтобы ветер дул им в лицо, и на таком расстоянии друг от друга, чтобы не было слышно лязга оружия, они пересекли внутренний ров и достигли подножия стены, не будучи обнаруженными: лестницы, которые несли в фургоне, были немедленно установлены, и Аммеас, сын Коребуса, в сопровождении одиннадцати других, вооруженный только коротким мечом и нагрудником, взобрался на стену; другие, вооруженные копьями, последовали за ним, их щиты несли и передавали им, когда они были на вершине, товарищи, стоявшие позади. В обязанности первой роты входило овладение и поддержание двух башен, правой и левой, чтобы промежуточное пространство оставалось свободным для прохода. Это было успешно сделано, стражники в обеих башнях были удивлены и убиты, не встревожив остальных осаждающих: многие из платейцев уже достигли вершины стены, когда шум плитки, случайно сбитой одним из них, возвестил о происхождении. Немедленно поднялся общий шум, была объявлена тревога, и разбуженный гарнизон бросился снизу вверх на вершину стены, не зная, где находится враг; недоумение еще больше усилили платейцы, находившиеся в городе, которые воспользовались этой возможностью, чтобы совершить ложное нападение с противоположной стороны. В такой неразберихе и темноте блокирующий отряд не мог определить, куда наносить удары, и все оставались на своих постах, кроме резерва из трехсот человек, постоянно готовых к особым ситуациям, которые вышли и патрулировали внешнюю сторону рва, чтобы перехватить беглецов изнутри. В то же время были подняты сигналы, чтобы предупредить союзников в Фивах, но и здесь платейцы в городе предусмотрели и подготовили сигналы, которые тут же подняли, чтобы лишить это телеграфное сообщение всякого особого смысла^[391].

Тем временем бежавшие платейцы, хозяева двух соседних башен, на вершинах которых одни стояли, а другие держали дверной проем, чтобы отражать копьями и дротиками все приближения заградителей, продолжали свой бег без перерыва по пространству между ними, обрушивая бойницы, чтобы сделать его более ровным и установить большее количество лестниц. Таким образом, все они последовательно перебрались через внешний ров; каждый, сразу после переправы, стоял наготове на внешнем берегу с луком и копьем, чтобы отражать нападающих и обеспечивать безопасный проход для своих товарищей в тылу. Наконец, когда все спустились, осталась последняя и самая большая трудность - бегство тех, кто занимал две башни и держал промежуточную часть стены свободной: но и это было выполнено успешно и без потерь. Внешний ров, однако, оказался неудобным - он был настолько полон воды от дождя, что его едва можно было перейти вброд, и в то же время на нем был тонкий лед от предыдущего мороза: ведь буря, которая в других отношениях была главным подспорьем для их бегства, в данном случае замедлила их прохождение по рву из-за необычного скопления воды. Но только когда все

переправились, кроме защитников башен, - а они еще спускались и карабкались, - пелопоннесцы в количестве трехсот человек с факелами подошли к месту. Незащищенная правая сторона была повернута ко рву, и платейцы, уже перебравшиеся через него и стоявшие на берегу, немедленно атаковали их стрелами и копьями - факелы позволяли им хорошо прицелиться, в то время как пелопоннесцы со своей стороны не могли различить врагов в темноте и не имели представления об их положении. Таким образом, их сдерживали до тех пор, пока самые задние платейцы не преодолели трудности прохода: после этого все тело скрылось так быстро, как только могло, сначала по дороге в сторону Фив, в то время как их преследователи были видны при свете факелов в противоположном направлении, по дороге, которая вела через высоты, называемые Дриос-Кефалæ, в Афины: Пройдя около трех четвертей мили по дороге в Фивы, оставив по правую руку часовню героя Андрократеса, беглецы покинули ее и, направившись на восток к Эритрее и Гисие, вскоре оказались в безопасности среди гор, отделяющих в этом месте Беотию от Аттики; оттуда они перешли в радостную гавань и убежище Афин.[392]

Таким образом, двести двенадцать храбрецов обрели жизнь и свободу, избавившись от той неминуемой участи, которая слишком скоро настигла остальных, и сохранив для будущих времен истинный род и почетные традиции Платеи. Только один человек был взят в плен на краю внешнего рва, а несколько человек, изначально записавшихся в отряд, потеряли мужество и в отчаянии вернулись даже от подножия внутренней стены, сообщив своим товарищам внутри, что вся группа погибла. Поэтому на рассвете платейцы послали глашатая просить перемирия для погребения тел погибших, и только по ответу на эту просьбу они узнали истинную правду. Описание этой памятной вспышки демонстрирует не меньшую смелость в исполнении, чем мастерство и предусмотрительность в замысле; и оно тем интереснее, что люди, которые таким образом добились своего спасения, были именно теми храбрецами, которые больше всего этого заслуживали.

Тем временем Пахес и афиняне держали Митилену в тесной блокаде, провиант был почти исчерпан, и осажденные уже начали подумывать о капитуляции, когда их дух был поднят прибытием лакедемонского посланника Салефа, который высадился в Пирре на западе Лесбоса и сумел пробраться внутрь через овраг, мешавший продолжению блокадной стены, - примерно в феврале 427 года до н.э. Он побуждал митиленцев держаться, уверяя их, что пелопоннесский флот под командованием Алкидаса вот-вот отправится им на помощь, и что в Аттику немедленно вторгнется общая пелопоннесская армия. Его собственное прибытие и пребывание в городе само по себе было немалым стимулом: мы увидим впоследствии, когда перейдем к осаде Сиракуз афинянами, как много может зависеть от присутствия одного-единственного спартанца. Все мысли о сдаче были отброшены, и митиленцы с нетерпением ждали прибытия Алкида, который в начале апреля с сорока двумя триерами выступил из Пелопоннеса, а лакедемонская армия в это время вторглась в Аттику, чтобы занять внимание Афин. Их опустошения в этот раз были более усердными, поисковыми и разрушительными для страны, чем прежде, и продолжались тем дольше, что они ожидали прибытия новостей с Лесбоса. Но ни одно из них не дошло до них, запасы провизии были исчерпаны, и армия была вынуждена разойтись[393].

Новости, когда они все же пришли, оказались весьма неудовлетворительными.

Салет и митиленцы держались до полного истощения провизии, но ни облегчения, ни вестей из Пелопоннеса не поступало. В конце концов, даже Салетус убедился, что помощи не будет; поэтому в качестве последней надежды он задумал отчаянную атаку на афинян и их стену блокады. С этой целью он раздал полные паноплии массе народа, или общинников, которые до сих пор были без них, имея в лучшем случае только луки и копья.[394] Но он недостаточно хорошо рассчитал последствия этого важного шага. Митиленеи, жившие при олигархическом правлении, не были заинтересованы в нынешнем состязании, которое было предпринято без всякой

апелляции к их мнению. У них не было причин для неприязни к Афинам, поскольку они не испытывали никаких практических неудобств от афинского союза: в дальнейшем мы увидим, что даже среди подданных-союзников, не говоря уже о таких привилегированных союзниках, как митиленцы, основная масса граждан никогда не была готова, а иногда и вовсе не желала восставать. Митиленская олигархия восстала, несмотря на отсутствие практических нарушений, потому что желала бесконтрольной автономии города, а также безопасности для его продолжения: но это было чувство, которого народ был чужд, не имея никакой доли в управлении собственным городом и оставаясь мертвым и пассивным, как это было в интересах олигархии, чтобы они были в отношении политических чувств. При обычных обстоятельствах греческая олигархия могла добиться от своего народа спокойной покорности, но если когда-либо требовались энергичные усилия, то подлинной преданности, под влиянием которой только и могли быть сделаны такие усилия, оказывалось недостаточно. Так, митиленейские демос, как только они обнаружили, что окрепли и облагородились благодаря обладанию тяжелыми доспехами, отказались подчиниться приказу Салефа, чтобы выйти в поход и подвергнуть свою жизнь опасности в отчаянной борьбе. Они были убеждены - что было неестественно в условиях тайны государственных дел, обычно практикуемой олигархией, но что, несомненно, афинский демос был бы слишком хорошо информирован, - что их губернаторы морят их голодом и утаили запасы провизии для себя. Поэтому первым делом они применили свое оружие, потребовав, чтобы эти спрятанные запасы были доставлены и справедливо распределены между всеми, угрожая, что если их требование не будет немедленно выполнено, они вступят в переговоры с афинянами и сдадут город. Правящие митиленейцы, не имея возможности предотвратить это, но предвидя, что это будет их безвозвратной гибелью, предпочли сами договориться о капитуляции. С Пахесом было решено, что афинское войско должно вступить во владение Митиленом, что судьба его жителей и города должна быть предоставлена афинскому собранию, а митиленцы должны отправить в Афины посланников, чтобы те вступились за них: до возвращения этих посланников Пахес обязался, чтобы никто не был ни убит, ни закован в цепи, ни продан в рабство. Ничего не было сказано о Салете, который спрятался в городе, как мог. Несмотря на гарантии, полученные от Пахеса, тревога митиленейцев, которые были главными зачинщиками восстания, была столь велика, что когда он фактически овладел городом, они бросились в качестве сторонников к алтарям за защитой; но, будучи побуждены его заверениями покинуть свое святилище, были помещены на острове Тенедос до получения ответа из Афин[395].

Овладев Митиленом, Пахес отправил несколько трирем на другую сторону острова и легко захватил Антису. Но прежде чем он успел смять два оставшихся города - Пирру и Эресу, - он получил известие, которое заставило его переключить внимание на другое место.

К всеобщему изумлению, пелопоннесский флот Алкида был замечен на побережье Ионии. Он должен был появиться там гораздо раньше, и если бы Алкид был человеком энергичным, он достиг бы Митилены еще до сдачи города. Но пелопоннесцы, собираясь войти в афинские воды и отважиться на афинский флот, находились под тем же впечатлением сознательной слабости и робости - особенно после победы при Формионе в предыдущем году, - что и сухопутные войска, шедшие в атаку на лакедемонские тяжеловооруженные отряды.[396] Алкидас, хотя афиняне не препятствовали ему, не зная о его отплытии, хотя лесбийские и ионийские изгнанники на борту корабля и опытные лоцманы из числа саамских изгнанников, которые обосновались в Анэе, побуждали его поспешить вперед,[397] на Азиатском континенте и выступали как ревностные враги Афин, - тем не менее, вместо того чтобы плыть прямо к Лесбосу, задержались сначала у Пелопоннеса, затем у острова Делос, захватывая частные суда с их экипажами; И наконец, достигнув островов Икар и Микон, он услышал нежелательную весть о том, что осажденный город капитулировал. Не поверив сначала сообщению, он поплыл дальше, в Эмбатон, в Эритрею на побережье Малой Азии, где новости подтвердились. Поскольку с момента заключения

капитуляции прошло всего семь дней, Тевтиапл, элейский капитан флота, настойчиво предлагал отплыть немедленно и ночью застать Митилену врасплох в ее нынешнем неустроенном состоянии: подготовки к приему не было, и был велик шанс, что афиняне будут внезапно побеждены, митиленцы снова вооружены, а город отвоёван.

Такое предложение, которое было более чем смелым, не соответствовало нраву Алкида. Не могли его побудить и просьбы изгнанников обосноваться и укрепиться в каком-либо порту Ионии или в эолийском городе Киме, чтобы оказать поддержку и поддержку тем подданным Афинской империи, которые были настроены на восстание; хотя его с уверенностью заверили, что многие из них восстанут по его призыву и что сатрап Сард Писсуфнес поможет ему покрыть расходы. Будучи посланным с явной целью освободить Митилену, Алкидас считал себя лишенным права на какие-либо другие проекты и решил немедленно вернуться в Пелопоннес, не опасаясь ничего так сильно, как преследования Пахеса и афинского флота. Из Эмбатона он отправился в обратный путь, плывя на юг по Малой Азии до самого Эфеса. Но пленники, взятые во время плавания, теперь мешали его бегству, и число их было немалым, так как все торговые суда на его пути подходили к флоту без подозрений, считая его афинским: пелопоннесский флот у берегов Ионии был еще чем-то неслыханным и невероятным. Чтобы избавиться от пленников, Алкидас остановился в Мионнесе, близ Теоса, и там предал смерти большее их число - варварский поступок, вызвавший живое возмущение соседних ионийских городов, к которым они принадлежали; Когда он достиг Эфеса, саамские изгнанники, жившие в Анэе, которые так активно помогали ему, послали ему энергичный протест, напоминая, что убийство людей, не участвующих в войне, не врагов и даже не связанных с Афинами, кроме как по принуждению, позорно для того, кто выступает как освободитель Греции, и что, если он будет упорствовать, он превратит своих друзей во врагов, а не врагов в друзей. Алкидас так остро почувствовал это неприятие, что сразу же освободил оставшихся пленников, среди которых было несколько хианцев, а затем отправился из Эфеса, взяв курс через море к Крете и Пелопоннесу. После долгой задержки у берегов Креты из-за штормовой погоды, которая мешала и рассеивала его флот, он наконец достиг безопасной гавани Киллена в Элисе, где его разрозненные корабли в конце концов воссоединились[398].

Таким бесславным было плавание первого пелопоннесского адмирала, осмелившегося войти в это *Mare clausum*, которое было частью территории Афин.[399] Но хотя он мало чего добился, само его присутствие вызывало повсюду не столько тревогу, сколько изумление: ведь ионические города были все не укреплены, и Алкидас мог взять и разграбить любой из них внезапным нападением, даже если не мог удержать его надолго. Из Эритреи и других мест к Пахесу поступали срочные послания, а афинские триеры под названием "Парал" и "Саламиния", привилегированные суда, на которых обычно перевозили общественные и священные депутации, сами видели пелопоннесский флот, стоящий на якоре у Икара, и принесли ему те же сведения. Пахес, получив свободу рук после захвата Митилены, немедленно отправился в погоню за злоумышленником, которого он преследовал до самого острова Патмос. Там выяснилось, что Алкидас окончательно исчез из восточных вод, и афинский адмирал, хотя и обрадовался бы встрече с пелопоннесским флотом в открытом море, счел удачей, что тот не занял позицию в какой-нибудь азиатской гавани, - в этом случае ему пришлось бы предпринять хлопотную и утомительную блокаду,[400] к тому же все шансы на восстание среди афинских зависимых территорий. Мы увидим, как много в этом отношении зависело от личного характера лакедемонского полководца, когда перейдем к экспедиции Брасидаса.

Возвращаясь с Патмоса в Митилену, Пахес по просьбе некоторых изгнанников остановился в Нотии. Нотий был портом Колофона, от которого он находился на небольшом расстоянии, как Пирей от Афин[401].

Примерно за три года до этого в Колофоне произошел сильный внутренний разлад, и одна из сторон, призвав на помощь перса Итаманеса (кажется, одного из генералов сатрапа Писсуфнеса), поставила его во владение городом; после чего противоположная сторона, вынужденная удалиться, отдельно и независимо обосновалась в Нотиуме. Но оставшиеся в городе колофонцы вскоре сумели добиться расположения партии в Нотиуме, благодаря чему им удалось вновь овладеть им с помощью аркадских наемников, находившихся на службе у Писсуфнеса. Эти аркадяне сформировали в Нотиуме постоянный гарнизон, который занял отдельную цитадель, или укрепленное помещение, а сам город снова стал гаванью Колофона. Однако значительная часть изгнанников, изгнанных по этому случаю, теперь обратилась за помощью к Пахесу, чтобы он восстановил их и изгнал аркадян. Прибыв на место, афинский полководец уговорил аркадского капитана Гиппия явиться на переговоры, пообещав, что если ничего не удастся уладить, то он снова заменит его "целым и невредимым" в укреплении. Но не успел аркадянин явиться на переговоры, как Пахес, взяв его под стражу, но без оков и жестокого обращения, немедленно напал на укрепление, пока гарнизон полагался на перемирие, взял его штурмом и предал смерти как аркадян, так и персов, оказавшихся внутри. Овладев укреплением, он снова ввел в него Гиппия, "целого и невредимого", согласно условиям договора, который был исполнен буквально, и сразу после этого расстрелял его стрелами и копьями. Такого рода мошенничество, основанное на буквальном исполнении и реальном нарушении соглашения, имеет множество примеров в греческой истории; но нигде мы не читаем о более вопиющем сочетании обмана и жестокости, чем поведение Пахеса в Нотиуме. Как это было замечено в Афинах, мы не знаем: но можем не без удивления отметить, что Фукидид рассказывает об этом ясно и спокойно, без единого слова комментария^[402].

Нотий был отделен от Колофона и передан во владение тем колофонцам, которые выступали против персидского господства в верхнем городе. Но поскольку до этого времени он был лишь придатком Колофона, а не отдельным городом, афиняне вскоре после этого отправили туда кисти и провели церемонии колонизации в соответствии со своими законами и обычаями, пригласив со всех концов оставшихся изгнанников Колофона. [Неизвестно, отправились ли новые поселенцы из самих Афин, но этот шаг должен был дать новорожденному городу Нотиум своего рода эллинское гражданство и признанную коллективную личность; без этого ни его теорий, ни торжественная делегация не были бы допущены к публичным жертвоприношениям, ни его частные граждане к борьбе за приз на Олимпийских и других больших праздниках.

Очистив азиатские воды от врагов Афин, Пахес вернулся на Лесбос, разрушил города Пирра и Эресус и вскоре оказался настолько полным хозяином Митилены и всего острова, что смог отправить домой большую часть своих войск; взяв с собой в плен митиленцев, которые были помещены в Тенедос, а также других людей, замешанных в позднем восстании, общим числом более тысячи человек. Среди переданных пленников был и лакедемонянин Салетус, которого недавно обнаружили в месте его укрытия.

Теперь афиняне должны были высказаться о судьбе этих пленников, и они приступили к обсуждению в состоянии крайнего гнева и мести. Что касается Салета, то решение предать его смерти было единодушным и немедленным, и они не стали слушать его обещаний, наверняка обманчивых, прекратить блокаду Платеи, если ему будет сохранена жизнь. Что делать с Митиленком и его жителями - вопрос более сомнительный, и он был вынесен на официальное обсуждение в общественном собрании.

Именно в ходе этих дебатов Фукидид впервые обращает внимание на Клеона, который, однако, упоминается Плутархом как возвысившийся несколькими годами ранее, при жизни Периклеса. В связи с большим ростом торговли и населения в Афинах и Пирее за последние сорок лет, похоже, вырос новый класс политиков, людей, занимающихся различными видами торговли и

производства, которые начали соперничать по значимости с древними семьями аттических собственников. Это изменение было в значительной степени аналогично тому, что происходило в городах средневековой Европы, когда купцы и торговцы различных гильдий постепенно вступали в конкуренцию с патрицианскими семьями, в которых изначально находилось главенство, и в конечном итоге вытеснили их. В Афинах лица древнего рода и положения не пользовались в это время никакими политическими привилегиями, а после реформ Эфиальтеса и Периклеса политическая конституция стала полностью демократической. Но они все еще продолжали составлять два высших класса в солонской переписи, основанной на собственности, - пентакосиомедимни и гиппеи, или рыцари: новые люди, обогащенные торговлей, несомненно, попадали в эти классы, но, вероятно, лишь в меньшинстве, и впитывали чувства класса в том виде, в каком они его находили, вместо того чтобы привнести в него какой-либо новый дух. Теперь отдельный афинянин, принадлежавший к этому классу, хотя и не имел законного права на предпочтение, но, когда он выдвигался в качестве кандидата на политическое влияние, продолжал быть решительно предпочитаемым и приветствуемым общественными настроениями в Афинах, которые сохраняли в своих спонтанных симпатиях различия, стертые из политического кодекса.^[404] Кроме этого места, подготовленного для него в общественной симпатии, особенно выгодной в начале политической жизни, - он находил себе дальнейшую поддержку со стороны семейных связей, ассоциаций, политических клубов и т. д., которые оказывали очень большое влияние как на политику, так и на судебную систему Афин, и членом которых он стал как само собой разумеющееся. Такие преимущества, несомненно, были лишь вспомогательными, позволяя человеку достичь определенной точки влияния, но оставляя ему возможность добиваться остального своими личными качествами и способностями. Тем не менее их влияние было весьма реальным, и те, кто, не обладая ими, встречался и препирался с ним в общественном собрании, боролись с большими неудобствами. Человек, занимающий столь низкое или среднее положение, не мог рассчитывать на благосклонность или снисходительность общества, чтобы встретить его на полпути, - не было у него и связей, которые могли бы способствовать первым успехам или помочь ему выбраться из первых затруднений. Он находил других людей, которые уже занимали руководящие посты и были настроены сдерживать новых конкурентов; так что ему приходилось пробивать себе дорогу без посторонней помощи, от первого до последнего шага, благодаря личным качествам, усердию в посещении, знакомству с бизнесом, силе поразительной речи, а вместе с тем и непоколебимой смелости, необходимой для того, чтобы противостоять оппозиции и вражде, которую он должен был испытывать со стороны высокородных политиков и организованных партийных клубов, как только он, казалось, поднимался на руководящие посты.

Свободный ход политических и судебных дел привел к появлению нескольких таких людей в годы, начавшиеся и непосредственно предшествовавшие Пелопоннесской войне. Даже при жизни Перикла они возникали в большем или меньшем количестве: но личное восхождение этого великого человека, сочетавшего аристократическое положение с сильными и подлинно демократическими настроениями, а также с расширенным интеллектом, редко присущим кому-либо из них, наложило особый отпечаток на афинскую политику. Афинский мир разделился на его сторонников и его противников, среди которых были люди высокородные и низкородные, хотя аристократическая партия, так правильно называемая, большинство богатых и высокородных афинян, либо выступала против него, либо не любила его. Примерно через два года после его смерти мы начинаем слышать о новом классе политиков: Эвкратес, продавец веревок; Клеон, продавец кож; Лисиклес, продавец овец; Гипербол, ламповщик;^[405] двое первых из них, должно быть, уже при жизни Перикла были известны как ораторы в экклесии. Среди них самым выдающимся был Клеон, сын Клеетуса.

Клеон приобрел свое первое значение среди ораторов против Перикла, чтобы таким образом получить для себя в начале своей политической карьеры расположение многочисленных и

аристократических антипериклийцев. Фукидид описывает его в общих чертах как человека самого буйного нрава и характера в Афинах, бесчестного в своих клеветах и яростного в своей инвективе и обвинениях.^[406] Аристофан в своей комедии о рыцарях воспроизводит эти черты с другими новыми и отчетливыми, а также с преувеличенными деталями, комическими, сатирическими и презрительными. В комедии Клеон изображен с той точки зрения, с которой он предстал бы перед афинскими рыцарями: кожевник, пахнущий дубленным двором, низкорощенный драчун, устрашающий противников жестокостью своих обвинений, громкостью голоса, наглостью жестов, к тому же продажный в своей политике, угрожающий людям обвинениями, а затем получающий деньги за их отказ; расхититель общественной казны, преследующий как заслуги, так и звания, и добивающийся благосклонности собрания самыми подлыми и виновными уловками. Общие черты, изложенные Фукидидом (не считая Аристофана, который не претендует на то, чтобы писать историю), мы вполне можем принять; мощные и яростные инвективы Клеона, часто нечестные, вместе с его самоуверенностью и дерзостью в общественном собрании. Люди из среднего класса, такие как Клеон и Гипербол, которые упорно обращались к общественному собранию и пытались играть в нем ведущую роль, выступая против лиц более высокого происхождения, чем они сами, были уверены, что они были людьми более чем обычной дерзости. Если бы они не обладали этим качеством, то никогда бы не преодолели противодействие, оказанное им: мы вполне можем поверить, что они обладали им в недовольном избытке, - и даже если бы они не обладали им, та же самая мера самоуверенности, которая в Алкивиаде была бы терпима в соответствии с его рангом и положением, в них была бы выдана за невыносимую наглость. К сожалению, у нас нет образцов, которые позволили бы нам оценить инвективу Клеона. Мы не можем определить, была ли она более яростной, чем у Демосфена и Эсхинеса, семьдесят лет спустя, - каждый из этих выдающихся ораторов вменял другому грубейшую наглость, клевету, лжесвидетельство, разврат, громкий голос и отвратительную дерзость манер, на языке, который Клеон вряд ли мог превзойти по интенсивности язвительности, хотя, несомненно, он неизмеримо отставал от него в классической отделке. Мы даже не можем сказать, в какой степени обличения Клеона в адрес ветерана Периклеса были более яростными, чем те памятные инвективы против старости сэра Роберта Уолпола, с которых началась политическая карьера лорда Чэтема. Талант к инвективам, которым обладал Клеон, примененный сначала против Периклеса, был бы расценен как большая дерзость сторонниками этого прославленного государственного деятеля, а также беспристрастными и рассудительными гражданами; но среди многочисленных врагов Периклеса он был бы воспринят как вспышка патриотического негодования и обеспечил бы оратору ту внешнюю поддержку, которая поначалу поддерживала его, пока он лично не овладел общественным собранием^[407].

В какой степени или по каким причинам это влияние постепенно усиливалось, мы не знаем; но к тому времени, когда на обсуждение был вынесен вопрос о Митиленке, оно достигло своего рода превосходства, которое описывает Фукидид, говоря, что Клеон был "в то время самым убедительным оратором в глазах народа". Факт огромной силы речи Клеона и его способности вести общественные дела в популярной манере подтверждается лучше, чем что-либо другое о нем, потому что это зависит от двух свидетелей, оба враждебно настроенных к нему, - Фукидида и Аристофана. Собрание и дикастерия были театром и местом встречи Клеона: ведь афинский народ, взятый вместе в месте своего собрания, и афинский народ, взятый по отдельности, не всегда были одним и тем же человеком и не имели одинакового способа суждения: Демос, сидящий в Пниксе, был иным человеком, чем Демос дома.^[408] Возвышенное сочетание качеств, которыми обладал Периклес, преобладало как над одним, так и над другим; качества же Клеона значительно поколебали первого, не вызвав большого уважения у второго.

Когда судьба Митилены и ее жителей была вынесена на рассмотрение афинского собрания, Клеон взял на себя ведущую роль в обсуждении. Никогда не было темы, более подходящей для его

бурного темперамента и способности к яростным инвективам. В совокупности дело Митилены представляло собой бунт, настолько непростительный и отягченный, насколько может быть непростительным любой бунт; и нам достаточно прочитать основания для него, изложенные самими митиленейскими ораторами перед пелопоннесцами в Олимпии, чтобы убедиться, что подобное действие, если смотреть на него с афинской точки зрения, должно было оправдать и даже потребовать самого высокого уровня возмущения. Митиленейцы признают, что у них не только нет оснований жаловаться на Афины, но что с ними обращались хорошо и почетно, с особыми привилегиями. Но они боятся, что она может притеснять их в будущем: они ненавидят сам принцип ее империи и охотно подстрекают, а также помогают ее врагам покорить ее: они выбирают именно тот момент, когда она была измотана страшным мором, нашествием и затратами на войну. Ничего другого не требовалось, чтобы разжечь самый сильный гнев в груди афинского патриота: но был еще один момент, который имел такое же значение, как и остальные, если не больше: бунтовщики первыми пригласили пелопоннесский флот через Эгейское море и первыми объявили Афинам и их союзникам о шаткости ее империи. [409] Буйный Клеон по такому случаю нашел в собрании аудиторию едва ли менее буйную, чем он сам, и легко смог бы убедить их, что все, что похоже на милосердие к митиленейцам, является изменой Афинам. Он предложил применить к пленному городу наказания, предусмотренные обычаями войны, в самой суровой и полной мере: убить все мужское население Митилены военного возраста, вероятно, около шести тысяч человек, а всех женщин и детей продать в рабство [410]. Это предложение, хотя Диодот и другие решительно возражали, было одобрено и принято собранием, и в Митилену немедленно была отправлена трирема с приказом Пахесу привести его в исполнение [411].

Такой приговор, в принципе, был не чем иным, как очень строгим применением принятых законов войны. Не только отвоєванный мятежник, но даже военнопленный, если не было никаких особых соглашений, находился во власти своего завоевателя: его можно было убить, продать или отдать на выкуп; и мы увидим, что лакедемоняне в течение очень короткого времени выполняли эту максиму без малейших послаблений по отношению к платейским пленникам. И, несомненно, афинский народ, пока он находился в собрании, под влиянием того всепоглощающего временного усиления общих и преобладающих настроений, которое происходит из самого факта множества людей, и пока он обсуждал принцип дела "Что заслужил Митилена?", думал только об этом. Меньше, чем самая строгая мера войны, по их мнению, было бы недостаточно для возмещения вреда, причиненного митиленцами. Но когда собрание распалось, когда граждане, более не возбуждаемые сочувствующими товарищами и оживленными ораторами в Пниксе, погрузились в сравнительную тишину индивидуальной жизни, когда разговор зашел не о правильности принятия такого решения, а о деталях его исполнения, то сразу же стали заметны ощутимые перемены и явное раскаяние. Мы также должны помнить, и это немаловажный принцип в человеческих делах, особенно в демократическом народе, как афиняне, на счету которых так много постановлений, принятых и впоследствии не исполненных, что чувство гнева против митиленцев было действительно частично разряжено самим *вынесением* приговора, совершенно не считая его исполнения; подобно тому, как разъяренный человек избавляет себя от перекипающего гнева проклятиями в адрес других, которые он сам не хотел бы впоследствии исполнять. Афиняне, в целом самый гуманный народ Греции, - хотя гуманность, по нашим представлениям, не может быть присуща никому из греков, - осознали, что санкционировали жестокий и страшный указ, а капитан и моряки, [412] которым было поручено его исполнить, отправились в плавание со скорбным отвращением. Митиленейские посланники, присутствовавшие в Афинах, которым, вероятно, было позволено выступить на собрании и отстаивать свои интересы, вместе с афинянами, которые были приближенными и друзьями Митилены, и вообще меньшинством предыдущего собрания, вскоре заметили это раскаяние и сделали все возможное, чтобы способствовать ему; В течение того же вечера оно стало настолько сильным и широким, что стратеги вняли мольбам посланников и созвали на утро новое собрание,

чтобы пересмотреть решение. Тем самым они совершили незаконное действие и подвергли себя опасности импичмента: но перемена в настроениях народа была настолько очевидной, что не допускала никаких угрызений совести[413].

Хотя Фукидид дал нам лишь краткое изложение, без речей, того, что происходило на первом собрании, но что касается второго собрания, то он подробно излагает нам речи Клеона и Диодота, двух главных ораторов первого собрания. Мы можем быть уверены, что второе собрание было во всех отношениях одним из самых интересных и тревожных за всю войну; и хотя мы не можем точно определить, какие обстоятельства определяли Фукидида в его выборе речей, все же можно предположить, что эта причина, а также поражение Клиона, которого он недолюбливал, повлияли на него здесь. Этот оратор выступил в защиту своего предложения, принятого накануне, и с негодованием осудил неразумную мягкость и щепетильность народа, который не мог смириться с тем, что его союзники, согласно очевидной реальности, являются людьми, которых держит только голый страх. Он говорил о вреде и глупости отмены в один день того, что было решено в предыдущий, о виновном честолюбии ораторов, которые приносили в жертву самые ценные интересы содружества либо ради материальной выгоды, либо ради личных заслуг, чтобы эффектно выступить, одержать победу над соперниками и поставить свои собственные фантазии вместо фактов и реальности. Он осуждал ошибочное поощрение подобных заблуждений публикой, "умудренной не по писанному", которая приходила на собрание не для того, чтобы применить свой здравый смысл в решении государственных вопросов, а просто ради удовольствия послушать речи[414]. Он вновь заявил о чудовищном и неспровоцированном злодеянии, совершенном митиленцами, - и о причинах для применения к ним максимального наказания, которое предписывала "справедливость". Он призывал к "справедливости" по отношению к ним; ничего меньше, но и ничего больше: он предупреждал собрание, что имперские нужды Афин требуют постоянного поддержания чувства страха в умах безвольных подданных, и что они должны готовиться к тому, что их империя исчезнет, если они позволят себе руководствоваться либо состраданием к тем, кто, будучи победителем, не будет сострадать им,[415]- либо неразумной умеренностью по отношению к тем, кто не будет ни чувствовать, ни вознаграждать этого, - либо просто впечатлением от соблазнительных речей. Справедливость по отношению к митиленцам, а также сильные политические интересы Афин требовали исполнения приговора, вынесенного накануне[416].

Проповедь Клеона во многих отношениях примечательна. Если нас удивляет, что человек, вся значимость которого заключалась в его языке, так сурово обличает свободу и неоправданное влияние речи в общественном собрании, мы должны вспомнить, что Клеон имел преимущество обращаться к сильно распространенным настроениям того момента, и поэтому он мог выдать веления этих настроений за простой, честный смысл и патриотизм; В то время как оппоненты, выступающие против царящих настроений и потому вынужденные прибегать к побочным аргументам, иносказаниям и большим или меньшим маневрам, могут быть представлены как просто ловкие софисты, демонстрирующие свои таланты в создании видимости худших доводов, - если и не подкупленные, то, по крайней мере, беспринципные и не имеющие искренних моральных убеждений. Поскольку такой способ решения вопросов как общественной, так и частной морали в настоящее время не менее распространен, чем во времена Пелопоннесской войны, - воспользоваться каким-либо сильным и достаточно широко распространенным в обществе настроением, рассматривать веления этого чувства как простой здравый смысл и очевидную правоту, а затем отбрасывать все рациональные оценки добра и зла как нечестивые или аморальные, или, в лучшем случае, просто неискренние тонкости, - мы вполне можем обратить внимание на случай, когда Клеон использует его для поддержки предложения, которое сейчас справедливо считается варварским.

Если применить к этому предложению наши современные взгляды, то преобладающие настроения не только не будут в пользу Клеона, но и непреодолимо будут в пользу его противников. Хладнокровное предание смерти около шести тысяч человек настолько возмутило бы современные чувства, что перевесило бы все соображения о прошлых проступках осуждаемых. Тем не менее, речь Диодота, который следовал за Клеоном и выступал против него, не только не содержит апелляции к каким-либо подобным милосердным предрасположенностям, но даже положительно отказывается от обращения к ним: оратор не меньше, чем Клеон, осуждает влияние сострадательных чувств или духа простого компромисса и умеренности. [Он отбрасывает соображения справедливости или аналогии с уголовным судопроизводством, [418] и основывает свою оппозицию на соображениях общественного благоразумия, связанных с будущим благосостоянием и безопасностью Афин.

Он начинает с обоснования необходимости пересмотра только что принятого постановления и настаивает на вреде поспешного или сильного увлечения решением столь важного вопроса; он протестует против необоснованных инсинуаций о коррупции или самодовольстве, с помощью которых Клеон пытался заставить замолчать или дискредитировать своих противников; [420] а затем, перейдя к рассмотрению вопроса с точки зрения общественной мудрости и благоразумия, он доказывает, что строгий приговор, вынесенный накануне, не подлежит защите. Этот приговор не помешал бы никому из союзников восстать, если бы они видели, или им казалось, что они видят, что у них есть шанс на успех; но он, возможно, заставил бы их, [421] если бы они начали восстание, упорствовать вплоть до отчаяния и похоронить себя под руинами своего города. И хотя следовало бы использовать все средства, чтобы предотвратить их восстание, заранее приняв меры предосторожности, было бы ошибочно пытаться удержать их с помощью огромных наказаний, налагаемых впоследствии на тех, кто был отвоеван". Развивая этот аргумент, оратор приводит несколько замечательных взглядов на теорию наказания в целом и на то, что даже самое сильное усугубление страданий, причиняемых осужденному преступнику, дает незначительную прибавку к профилактическому эффекту, - взглядов, которые могли бы считаться редкими и глубокими даже в прошлом веке. [422] И далее он подкрепляет свой аргумент, решительно заявляя о нецелесообразности смешивать митиленский демос в одном наказании с их олигархией: восстание было делом исключительно последних, а первые не только не принимали в нем никакого участия, но, как только они завладели оружием, сдали город спонтанно. Во всех союзных городах к Афинам хорошо относились общинники, от которых в основном зависела ее власть в борьбе с сомнительной верностью олигархии, [423] но это чувство не могло сохраниться, если бы теперь стало ясно, что все митиленейцы без разбора были объединены в одну общую гибель. В заключение Диодот рекомендует предать суду тех митиленцев, которых Пахес послал в Афины в качестве вождей восстания, по отдельности, а остальное население пощадить [424].

Это речь человека, который чувствует, что против него настроена вся аудитория, и поэтому он должен победить, взывая к ее разуму. Такие же призывы, однако, можно было бы сделать, и, возможно, они были сделаны во время предыдущей дискуссии, но безуспешно; но Диодот знал, что царящие настроения, хотя они все еще якобы преобладают, были тихо подорваны в течение последних нескольких часов, и что реакция к жалости и умеренности, которая росла под ними, будет работать в пользу его аргументов, хотя он мог бы отказаться от намерения призвать их на помощь. После нескольких других выступлений, как за, так и против, собрание пришло к голосованию, и предложение Диодота было принято; но принято столь незначительным большинством, что решение поначалу казалось сомнительным [425].

Но трирема, на которой был подан первый голос, стартовала накануне и уже двадцать четыре часа находилась на пути к Митилену. Немедленно вышла в море вторая триера с новым постановлением, но ничто, кроме сверхчеловеческих усилий, не могло позволить ей достичь осужденного города до того, как страшный приговор, находившийся в пути, будет приведен в исполнение. Митиленейские посланники хорошо снабдили судно провизией, пообещав большое вознаграждение команде, если она прибудет вовремя; при этом было проявлено небывалое напряжение, не имеющее аналогов в истории афинского мореходства, - между Афинами и Митиленом гребцы ни разу не ослабили весла, а лишь по очереди делали короткие перерывы для отдыха, подкрепившись ячменной мукой, размоченной в вине и масле, которые глотали сидя на месте. К счастью, не было неблагоприятного ветра, который мог бы помешать им: но цель была бы потеряна, если бы не случилось так, что экипаж первой триеры был так же медлителен и нерасположен к передаче своего строгого приказа, как экипаж второй - к своевременному получению отсрочки. И, в конце концов, оно пришло не более чем вовремя: первая трирема прибыла, приказ о казни был в руках Пахеса, а его меры уже готовились. Так близко было население Митилены к этому массовому уничтожению:[\[426\]](#) так близки были Афины к фактическому совершению чудовища, которое вызвало бы против нее во всей Греции чувство раздражения, более смертельное, чем то, которое она впоследствии испытала даже от действий на Мелосе, Скионке и в других местах. Если бы казнь была осуществлена, то больше всех пострадал бы от нее, причем вполне заслуженно, ее инициатор Клеон. Ведь если реакция афинян была столь немедленной и ощутимой после вынесения приговора, то гораздо более бурной она была бы, когда они узнали, что дело было бесповоротно совершено, и когда все его болезненные подробности предстали перед их воображением: и Клеон был бы признан виновным в том, что так опозорил их в собственных глазах. Как оказалось, ему посчастливилось избежать этой опасности, и его предложение предать смерти тех митиленцев, которых Пахес отослал домой как активных участников восстания, было впоследствии принято и исполнено. Оно, несомненно, выглядело настолько умеренным после предыдущего постановления, принятого, но отмененного, что было принято без особого сопротивления и не вызвало никаких последующих раскаяний: тем не менее, число убитых превышало тысячу человек[\[427\]](#).

Кроме этого приговора, афиняне разрушили укрепления Митилены и завладели всеми ее военными кораблями. Взамен дани они также установили новое постоянное распределение земли острова, за исключением Метимны, которая осталась им верна. Они разделили ее на три тысячи участков, из которых триста были отведены для посвящения богам, а остальные - афинским клерухам, или владельческим поселенцам, выбранным по жребию из числа граждан; лесбийские владельцы по-прежнему оставались на земле в качестве арендаторов и платили афинским клерухам ежегодную ренту в размере двух мин, около четырех фунтов стерлингов, за каждый участок. Мы были бы рады узнать об этом новом земельном поселении больше, чем достаточно слов историка. Казалось бы, две тысячи семьсот афинских граждан со своими семьями должны были отправиться на Лесбос, по крайней мере на время, в качестве клерухов, то есть не отказываясь от своих прав афинских граждан и не освобождаясь ни от афинских налогов, ни от личной военной службы. Но кажется несомненным, что эти люди недолго оставались на Лесбосе, и мы даже можем подозревать, что клерухический надел острова был впоследствии отменен. На противоположном материке Азии находилась полоса, которая до сих пор принадлежала Митилену; теперь она была отделена от этого города и отныне зачислена в число подданных Афин[\[428\]](#).

К несчастьям Митилены в качестве подходящего приложения относится судьба Пахеса, афинского полководца, о вероломстве которого в Нотиуме мы недавно рассказывали. Оказывается, воспылав страстью к двум прекрасным свободным женщинам из Митилены, Элланде и Ламаксис, он убил их мужей и завладел ими силой. Возможно, у них были личные друзья в Афинах, что, конечно, было характерно для многих митиленских семей: всех случаях они отправились туда, желая получить возмещение за это безобразие, и подали жалобу на Пахеса в афинскую дикастерию, в тот суд, которому подлежал каждый офицер по окончании срока службы. Их дело вызвало столь глубокие чувства в этом открытом и многочисленном собрании афинских граждан, что виновный полководец, не дожидаясь приговора, зарубил себя мечом в открытом суде[429].

Сдача Платеи лакедемонянам произошла вскоре после сдачи Митилены афинянам - несколько позже, тем же летом. Хотя бегство половины гарнизона позволило дольше продержаться остальным, все же они были на исходе, а оставшиеся защитники были ослаблены и находились на грани гибели от голода. Лакедемонский командир блокадного отряда, зная их беззащитное состояние, мог бы легко взять город штурмом, если бы ему не запретил прямой приказ из Спарты. Ибо спартанское правительство, рассчитывая, что когда-нибудь с Афинами может быть заключен мир на условиях взаимной уступки мест, приобретенных в результате войны, хотело получить Платею не силой, а путем капитуляции и добровольной сдачи, что послужило бы оправданием для отказа от нее: хотя такое различие между захватом силой и капитуляцией, не допустимое в современной дипломатии, как выяснилось впоследствии, говорило против лакедемонян не меньше, чем в их пользу.[430] Действуя по этим приказам, лакедемонский полководец послал глашатая, призывая платейцев добровольно сдаться и подчиниться лакедемонянам как судьям, с условием "наказать виновных, но ни один не должен быть наказан несправедливо". Для осажденных, находившихся в состоянии безнадежного голода, все условия были почти одинаковы, и они сдали город. После нескольких дней перерыва, в течение которых они получали пропитание от блокирующей армии, из Спарты прибыли пять человек, чтобы вынести решение об их судьбе, - один из них, Аристоменид, Гераклид из царского рода[432].

Пятеро спартанцев заняли свое место в качестве судей, несомненно, в полном присутствии блокирующей армии, и особенно с фиванцами, великими врагами Платеи, рядом с ними, - взятые пленники, двести платейцев и двадцать пять афинян, были представлены на суд, или приговор. Никто не выдвигал против них никаких обвинений, но судьи задали им простой вопрос: "Оказывали ли вы во время нынешней войны какие-либо услуги лакедемонянам или их союзникам?". Платеяне были сбиты с толку неожиданным и нелепым вопросом: он допускал только один ответ, но прежде чем дать какой-либо категоричный ответ, они попросили разрешения подробно изложить свое дело. Несмотря на сопротивление фиванцев,[433] их просьба была удовлетворена, и Астимах и Лакон, последний из которых был прокшеном Спарты в Платее, были назначены выступать от имени этого органа. Возможно, выступали оба делегата: если так, то Фукидид объединил обе речи в одну.

Более отчаянного положения и представить себе нельзя, ведь вопрос был сформулирован таким образом, чтобы исключить упоминание каких-либо фактов, предшествовавших Пелопоннесской войне, но ораторы, прекрасно понимая, насколько малы их шансы на успех, пренебрегли рамками самого вопроса и, отстаивая с непоколебимым мужеством достоинство своего маленького города, не оставили без внимания ни одной темы, которая могла бы затронуть симпатии их судей. После того как они выступили против насмешки над судом и приговором, которому их подвергли, они обратились к эллинским симпатиям и высокой репутации лакедемонян за их добродетель, - они упомянули о первом союзе Платеи с Афинами, заключенном по рекомендации самих

лакедемонян, которые тогда отказались, хотя официально просили, взять на себя защиту города от фиванского гнета. Затем они обратились к персидской войне, где патриотизм платейцев по отношению к Греции проявился не менее ярко, чем фиванская измена,[434] - к победе, одержанной над персами на их земле, где она была освящена обещаниями Павсания и торжественными обращениями к местным богам. От персидской войны они перешли к дерзкому нападению фиванцев на Платею в разгар перемирия - и не упустили напомнить судьям о личном обязательстве Спарты - о помощи, которую они вместе с афинянами оказали Спарте, когда та была вынуждена восстать из-за восстания гелотов в Итоме. Эта речь столь же трогательна, как и все, что мы находим у Фукидида, а мастерство ее заключается в том, как часто слушатели раз за разом возвращаются к этим же темам с помощью хорошо продуманных переходов.[435] И такое впечатление она произвела на пятерых лакедемонских судей, что фиванцы почти сразу же оказались перед необходимостью дать на нее ответ, хотя мы ясно видим, что вся схема действий - формальный и оскорбительный вопрос, а также приговор, который должен был последовать за ответом, - была заранее согласована между ними и лакедемонянами.

Фиванские ораторы утверждали, что платейцы заслужили и навлекли на себя по собственной вине вражду Фив, что они решительно выступили против персов только потому, что так поступили и Афины, и что все заслуги, какими бы они ни были, которые они таким образом приобрели, были уравновешены и аннулированы тем, что впоследствии они вступили в союз с Афинами для угнетения и порабощения эгинетян и других греков, столь же известных своим рвением против Ксеркса и имевших равное право на защиту по обещаниям Павсания. Далее фиванцы оправдывали свой ночной сюрприз в Платее, утверждая, что их пригласили самые уважаемые граждане города,[436] которые хотели лишь вернуть Платею из союза с чужаком в ее естественный беотийский дом, - и , что они воздерживались от каких-либо оскорбительных действий в отношении жителей, пока не были вынуждены применить силу для их собственной защиты. Затем они, в свою очередь, упрекнули платейцев в нарушении веры, из-за которого в конце концов фиванские пленники в городе были преданы смерти. И хотя они оправдывали свой союз с Ксерксом во время персидского нашествия, утверждая, что Фивы тогда находились под властью бесчестной партии-олигарха, которая приняла эту сторону в своих корыстных целях и увела народ с собой силой, - они в то же время обвиняли платейцев в постоянной измене обычаям и братству беотийцев.[437] Все это подкреплялось изложением претензий Фив на благодарность Лакедемонии, как за то, что они привлекли Беотию к лакедемонскому союзу во время битвы при Коронэе, так и за то, что они предоставили столь большую часть общих сил в продолжавшейся тогда войне.

Речи фиванцев, вдохновленных горькой и пока еще неудовлетворенной ненавистью к Платее, оказались действенными: вернее, они были излишними, поскольку лакедемоняне уже все решили. После предложения, дважды сделанного Архидамом платейцам, приглашая их остаться нейтральными и даже предлагая гарантировать их нейтралитет, - после торжественного апологетического протеста, принесенного им в ответ на их отказ богам перед началом осады, - лакедемоняне считали себя освобожденными от всякого обязательства уважать святость этого места;[439] рассматривая жителей как добровольно отказавшихся от неприкосновенности и запечатлевших свою собственную гибель. Отсюда важность, которую придают этому протесту, и та эмфатическая деталь, с которой он изложен в Фукидиде. Пять судей, в качестве единственного ответа на эти две речи, снова призвали к себе платейцев и повторили каждому из них в отдельности тот же вопрос, который был задан ранее: каждого из них, когда он последовательно отвечал отрицательно,[440] уводили и убивали вместе с двадцатью пятью афинскими пленниками. Захваченные женщины были проданы в рабство, а город и территория Платеи были переданы фиванцам, которые сначала основали в них несколько олигархических платейских изгнанников вместе с некоторыми мегарскими изгнанниками, - но через несколько месяцев

отозвали этот шаг и вычеркнули Платею, [441] как отдельный город и территорию, из списка Эллады. Они снесли все частные постройки и использовали материалы для строительства огромного барака вокруг Герцеговины, или храма Геры, на двести футов во все стороны, с двухэтажными квартирами наверху и внизу; частично для размещения посетителей храма, частично для проживания фермеров-арендаторов или пастухов, которые должны были занимать землю. Новый храм длиной в сто футов был также построен в честь Геры и украшен кушетками, приготовленными из медной и железной мебели, найденной в частных домах платейцев. [442] Платейская территория была сдана в аренду на десять лет, как общественная собственность, принадлежащая Фивам, и нанималась частными фиванскими земледельцами.

Такова была меланхоличная судьба Платеи после двухлетней блокады. [443] Ее самобытность и местные традиции, казалось, исчезли, а жертвоприношения в честь умерших победителей, сражавшихся при Павсании, были приостановлены, - на чем платейские ораторы настаивали перед лакедемонянами как на нечестивости, которую нельзя терпеть, [444] и на что последние, возможно, вряд ли согласились бы при других обстоятельствах, кроме как из желания примирить фиванцев в их явной антипатии. Именно таким образом Фукидид объясняет поведение Спарты, которое он называет крайне жестким. [445] И в самом деле, оно было более строгим, если рассматривать только принцип дела и не учитывать количество жертв, чем даже первый неисполненный приговор Афин против митиленцев: ведь ни Спарта, ни даже Фивы не имели никаких справедливых оснований считать Платею восставшим городом, тогда как Митилен был городом, восставшим при обстоятельствах, особенно оскорбительных для Афин. Кроме того, Спарта обещала суд и справедливость платейцам после их сдачи: Пахес же ничего не обещал митиленцам, кроме того, что их судьба должна быть передана на решение афинского народа. Этот маленький город, интересный своим эллинским патриотизмом, благодарной и упорной привязанностью и незаслуженными страданиями, существовал только в лице своих граждан, укрытых в Афинах: впоследствии мы увидим его восстановленным, снова разрушенным и, наконец, снова восстановленным: так неоднозначна была судьба маленького греческого государства, сметенного противоречивой политикой больших соседей. Расправа над двадцатью пятью пленными афинянами, как и над Салетом, не выходила за рамки допустимой и терпимой, хотя и не всегда практикуемой с обеих сторон, жестокости по отношению к военнопленным.

Теперь мы рассмотрели обстоятельства, наглядно иллюстрирующие нравы той эпохи, которые последовали за сдачей Митилены и Платеи. Далее мы отправимся на запад Греции - на остров Коркира, - где нас ждут не менее кровавые и даже более отвратительные сцены.

Уже упоминалось, [446] что во время морских сражений между коринфянами и коркирянами за год до Пелопоннесской войны первые захватили двести пятьдесят коркирских пленников, людей первого ранга и значения на острове. Вместо того чтобы, следуя порыву слепой ненависти, расправиться с пленниками, коринфяне проявили если не большую гуманность, то, по крайней мере, более дальновидный расчет: они хорошо обращались с пленниками и прилагали все усилия, чтобы заполучить их, с целью при первой же возможности произвести на острове переворот - заключить союз с Коринфом [447] и отсоединить его от Афин. Такая возможность представилась зимой или весной этого года, когда Митилена и Платея находились в блокаде; вероятно, примерно в то время, когда Алкивиад отплыл в Ионию и когда была надежда, что не только Митилена будет освобождена, но и соседние области Афин поднимут восстание, и все ее внимание будет занято в этом квартале. Соответственно, коркирские пленники были отправлены из Коринфа домой, номинально под тяжелым выкупом в восемьсот талантов, за который коркирские граждане, выступавшие в качестве проксениев в Коринфе, сами несли ответственность: [448] проксении, поддавшись на этот обман, несомненно, были участниками всего замысла.

Но вскоре стало ясно, в какой форме на самом деле должен был быть уплачен выкуп. Новоприбывшие, вероятно, поначалу сердечно приветствованные после столь долгого заключения, использовали все свое влияние в сочетании с самой активной личной агитацией, чтобы добиться полного разрыва союзнических отношений с Афинами. На в Афины было отправлено уведомление о происходящем, и афинская трирема прибыла с посланниками, чтобы попытаться противостоять этим маневрам; в то время как коринфская трирема также доставила посланников из Коринфа, чтобы помочь взглядам противоположной стороны. Само присутствие коринфских посланников свидетельствовало об изменении политических настроений на острове: но еще более заметным это изменение стало, когда официальное общественное собрание, выслушав обоих посланников, постановило, что Коркира сохранит союз с Афинами на первоначально оговоренных ограниченных условиях простой взаимной обороны,^[449] но в то же время будет находиться в дружеских отношениях с пелопоннесцами, как это было до эпидамнийской ссоры. Но с тех пор союз между Афинами и Коркирой стал практически более тесным, а коркирский флот помогал афинянам во время вторжения в Пелопоннес,^[450] поэтому в принятой резолюции настоящее отменялось, чтобы вернуться в прошлое, причем в прошлое, которое уже нельзя было восстановить.

С учетом войны, бушевавшей тогда между Афинами и пелопоннесцами, такое заявление было самопротиворечивым: да и олигархическая партия не задумывала его как нечто иное, чем шаг к более полной революции, как внешней, так и внутренней. Вслед за этим они выдвинули политическое обвинение против Пейтиаса, гражданина, пользовавшегося наибольшим личным влиянием в народе, который по собственному выбору выступал в роли проксена при афинянах. Они обвинили его в том, что он стремился привести Коркиру в рабство к Афинам. Каковы были судебные учреждения острова, по которым его судили, мы не знаем: но он был оправдан; затем он отомстил, обвинив в свою очередь пятерых самых богатых из своих олигархических обвинителей в преступлении святотатства - в нарушении святости священной рощи Зевса и Алкиноса, когда в ней были вырублены колья для их виноградных лоз.^[451] Это было действие, четко запрещенное законом, под штрафом в статер или четыре драхмы за каждый вырубленный кол: но это не редкое явление, даже в обществах, политически лучше организованных, чем Коркира, найти законы, существующие и не отмененные, но привычно нарушаемые, иногда даже каждым, но еще чаще людьми богатыми и властными, которых большинство людей побоялось бы преследовать: Более того, в данном случае ни один человек не пострадал от этого поступка, и любой, кто выступил бы с обвинением, навлечет на себя одиозную славу доносчика, - чего, вероятно, Пейтиас не стал бы делать при обычных обстоятельствах, хотя и считал себя оправданным, приняв такой способ мести против тех, кто его преследовал. Язык Фукидида предполагает, что этот факт не отрицался: нетрудно предположить, что эти богачи могли обычно прибегать к священному имуществу для изготовления виноградных кольев. Будучи признанными виновными и осужденными, они обратились в храмы с просьбой о снисхождении и разрешении выплатить штраф в рассрочку, но Пейтиас, бывший в то время членом (ежегодного) сената, которому было передано прошение, воспротивился ему и отклонил его, предоставив закону идти своим чередом. Более того, было известно, что он собирался воспользоваться своим сенаторским статусом и возросшей благосклонностью, вероятно, вызванной недавним судебным оправданием, чтобы предложить общественному собранию отменить недавно принятое решение и принять новое постановление о признании только тех же друзей и тех же врагов, что и Афины.

Под давлением разорительного штрафа, наложенного на пятерых осужденных, а также страха, что Пейтиас может доказать свою правоту и тем самым полностью разрушить их проект коринфского союза, олигархическая партия решила доказать свою правоту с помощью насилия и убийства. Они собрали отряд, вооруженный кинжалами, ворвались в здание сената во время полного заседания и там убили Пейтиаса с шестьюдесятью другими лицами, частично сенаторами, частично частными

лицами: некоторые другие его друзья избежали той же участи, поднявшись на борт аттической триремы, которая привезла посланников и которая все еще находилась в гавани, но теперь немедленно отплыла в Афины. Эти убийцы, под влиянием нового ужаса, вызванного их недавним поступком, созвали собрание, заявили, что их поступок был неизбежен, чтобы предохранить Коркиру от превращения в рабыню Афин, и предложили резолюцию о полном нейтралитете как по отношению к Афинам, так и к пелопоннесцам - не принимать визитов ни от одной из воюющих сторон, кроме мирных и с одним-единственным кораблем за раз. И это постановление собрание было вынуждено принять, поскольку, вероятно, оно было не очень многочисленным, а олигархические партизаны были под рукой с оружием.^[452] В то же время они отправили посланников в Афины, чтобы сообщить о последних событиях с такой окраской, которая соответствовала их взглядам, и отговорить беглых партизан Питиаса от провоцирования любого вооруженного вмешательства Афин, которое могло бы вызвать контрреволюцию на острове.^[453] На некоторых беглецов действовали представления такого рода, а может быть, и страх скомпрометировать свои семьи, оставшиеся позади, но большинство из них, а вместе с ними и афиняне, лучше понимали и то, что было сделано, и то, что могло за этим последовать. Олигархические посланники вместе с теми беглецами, которых удалось склонить к своим взглядам, были схвачены афинянами как заговорщики и помещены под стражу в Эгине; В то время как флот из шестидесяти афинских трирем под командованием Эвримедона был немедленно снаряжен для отплытия в Коркиру, что было тем более необходимо, что лакедемонский флот под командованием Алкида, недавно собранный в Киллене после возвращения из Ионии, как считалось, был на пути к отплытию туда.^[454]

Но олигархические лидеры в Коркире знали, что лучше не полагаться на шансы этой миссии в Афинах, и приступили к исполнению своего заговора с той быстротой, которая была наилучшим образом рассчитана для обеспечения его успеха. По прибытии коринфской триремы, которая привезла послов из Спарты, а также, вероятно, известие о скором появлении флота Алкида, они организовали свои силы и напали на народ и демократические власти. Коркирцы сначала были побеждены и рассеяны, но ночью они собрались вместе и укрепились в верхней части города у акрополя, а оттуда вниз к гиллейской гавани, одной из двух гаваней, которыми владел город; другая гавань и главный арсенал, обращенный к матерiku Эпир, были в руках олигархической партии, вместе с рыночной площадью, расположенной рядом с ней, на которой и вокруг которой жили в основном более богатые коркирцы. В таком разделенном состоянии город оставался весь следующий день, в течение которого демос рассылал по территории эмиссаров, прося помощи у работающих рабов и обещая им освобождение в качестве награды; олигархия также наняла и закупила восемьсот эпирских наемников с материка. Подкрепленные рабами, которые стекались по призыву, демосцы возобновили борьбу на следующий день, еще более яростную, чем прежде. Они имели преимущество перед олигархией как в положении, так и в численности, а напряженная решимость, с которой они сражались, передалась даже женщинам, которые, храбрысь от опасностей и беспорядков, принимали активное участие в бою, особенно сбрасывая черепицу с крыш домов. Ближе к полудню народ одержал решительную победу и даже был готов взять штурмом нижний город вместе с соседним арсеналом, принадлежавшим олигархии, - у последней не было другого шанса на безопасность, кроме отчаянного решения поджечь эту часть города с рыночной площадью, домами и постройками, в том числе и своими. Эта мера отбросила нападавших, но уничтожила много имущества, принадлежавшего купцам на складах, а также большую часть города: если бы ветер был благоприятным, весь город был бы уничтожен. Победив таким образом народ, коринфские триремы вместе с большей частью эпирских наемников сочли за лучшее покинуть остров; на следующее утро победители еще более усилились благодаря прибытию афинского адмирала Никострата с двенадцатью триремами из Наупакта^[455] и пятью сотнями мессенских гоплитов.

Никострат сделал все возможное, чтобы унять неистовое волнение и убедить народ использовать свою победу с умеренностью. При нем был заключен договор об амнистии и мире между враждующими сторонами, за исключением десяти провозглашенных лиц из числа наиболее жестоких олигархов, которые должны были предстать перед судом как главари: эти люди, конечно, вскоре исчезли, так что никакого суда вообще не было, чего, по-видимому, и добивался Никострат. В то же время между Коркирой и Афинами был заключен наступательный и оборонительный союз, и афинский адмирал уже собирался отплыть, когда коркирские вожди уговорили его оставить с ними для большей безопасности пять кораблей из двенадцати, предложив взамен пять своих трирем. Несмотря на опасность этого предложения для себя, Никострат согласился, и коркирцы, готовя пять кораблей для отправки с ним, стали зачислять в экипажи имена своих главных врагов. Для последних это выглядело как отправка их в Афины, что они считали смертным приговором. Под этим впечатлением они укрылись в качестве сторонников в храме Диоскуров, где Никострат навестил их и попытался успокоить обещанием, что ничто не направлено против их личной безопасности. Но ему не удалось удовлетворить их, а поскольку они упорно отказывались служить, коркирские демосы начали подозревать предательство. Они снова взяли за оружие, обыскали дома раскольников в поисках оружия и собирались предать некоторых из них смерти, если бы Никострат не взял их под свою защиту. Главные люди побежденной стороны, числом около четырехсот, укрылись в храме и на священной земле Хере; и вожди народа, опасаясь, что в таком неприкосновенном положении они еще могут вызвать восстание в городе, начали переговоры и убедили их переправиться на маленький остров, расположенный прямо напротив Гереума; там их держали под наблюдением, регулярно передавая им провизию, в течение четырех дней^[456].

По истечении этих четырех дней, когда беспокойство народных вождей все еще продолжалось, а Никострат все еще откладывал свой отъезд, в этой меланхоличной драме наступил новый этап. Пелопоннесский флот под командованием Алкидая прибыл к Сиботе на противоположном материке - в количестве пятидесяти трех трирем, так как к сорока триремам, возвращенным из Ионии, добавились еще тринадцать из Леуки и Амбракии, а лакедемоняне прислали Брасида в качестве советника, который сам по себе стоил больше, чем новые тринадцать трирем, если бы он был послан сменить Алкидая, а не принес с собой полномочия давать советы.^[457] Презируя небольшую эскадру Никострата, находившуюся в Наупакте, они стремились разобраться с Коркирой до прибытия подкреплений из Афин, но ремонт, необходимый кораблям Алкида после их неудачного плавания домой, привел к досадной задержке. Когда на рассвете пелопоннесский флот был замечен приближающимся из Сиботы, смятение в Коркире было неописуемым: демос и недавно освобожденные рабы были взбудоражены как недавней страшной битвой, так и страхом перед захватчиками, - олигархическая партия, хотя и потерпела поражение, все еще присутствовала и составляла значительное меньшинство, а город был наполовину сожжен. Среди такой стихии не было достаточной власти, чтобы командовать, и еще меньше доверия или готовности повиноваться. Трирем было много, и был отдан приказ немедленно укомплектовать шестьдесят из них, а Никострат, единственный человек, сохранивший хладнокровие, необходимое для эффективного сопротивления, умолял коркирских вождей действовать планомерно и подождать, пока все они не будут укомплектованы, чтобы отплыть из гавани в полном составе. Он предложил себе со своими двенадцатью афинскими триремами отправиться сначала одному и занять пелопоннесский флот, пока коркирские шестьдесят трирем не выйдут в полном составе, чтобы поддержать его. Он отправился в путь со своей эскадрой, но коркиряне, вместо того чтобы последовать его совету, отправили свои корабли один за другим и без всякого отбора экипажей. Два из них сразу же дезертировали к врагу, другие представляли собой зрелище сражающихся между собой экипажей; даже те, которые

действительно вступили в бой, подошли на одиночных кораблях, без малейшего порядка или согласованности.

Пелопоннесцы, вскоре убедившись, что им нечего бояться таких врагов, сочли достаточным выставить двадцать своих кораблей против коркирян, а с остальными тридцатью тремя двинулись вперед, чтобы сразиться с двенадцатью афинянами. Никострат, имея достаточно места на море, не боялся такого численного превосходства, тем более что две из его двенадцати трирем были лучшими кораблями афинского флота - "Саламиния" и "Парал".^[458] Он старался избегать сближения с центром противника и грести по флангам; и когда ему удалось вскоре вывести из строя один из их кораблей удачным ударом клюва одного из своих судов, пелопоннесцы, вместо того чтобы атаковать его превосходящими силами, образовали круг и встали в оборону, как это было в первом бою с Формионом на середине пролива у Риума. Никострат, как и Формион, греб вокруг этого круга, стараясь вызвать замешательство притворным приближением и ожидая, что некоторые корабли потеряют свои места или столкнутся друг с другом, чтобы дать ему возможность атаковать. И, возможно, ему это удалось бы, если бы оставшиеся двадцать пелопоннесских кораблей, видя происходящее и с ужасом вспоминая успех подобного маневра в предыдущем сражении, не покинули коркирские корабли, беспорядочное состояние которых они презирали, и не поспешили присоединиться к своим товарищам. Теперь весь флот из пятидесяти трех трирем снова стал агрессивным и пошел в атаку на Никострата, который отступил перед ними, но отстал на корму и держал корабли головой к врагу. Таким образом ему удалось отвлечь их от города, оставив большинству коркирских кораблей возможность вернуться в гавань; при этом маневрирование афинских трирем было настолько превосходным, что пелопоннесцы так и не смогли сблизиться с ним или вынудить его к действию. Вечером они вернулись в Сиботу, не испытывая большего триумфа, чем успех в борьбе с коркирянами, тринадцать трирем которых они унесли с собой в качестве призов^[459].

В Коркире ожидали, что на следующий день они предпримут прямую атаку на город и гавань, которая вряд ли могла не увенчаться успехом; и мы легко можем поверить (как утверждали впоследствии), что Брасидас посоветовал Алкиду принять это решительное решение. А коркирские вожди, напуганные как никогда, сначала вывезли своих пленников с маленького острова в Гереум, а затем попытались прийти к компромиссу с олигархической партией в целом, чтобы организовать эффективную и объединенную оборону. Были подготовлены и укомплектованы тридцать трирем, причем некоторых из олигархических коркирцев даже уговорили войти в состав экипажей. Но медлительность Алкида оказалась их лучшей защитой: вместо того чтобы сразу подойти к городу, он высадился на острове в некотором отдалении от него, на мысе Леукимне; опустошив соседние земли в течение нескольких часов, он вернулся на свой пост в Сиботе. Он упустил возможность, которая уже никогда не вернется: в ту же ночь огненные сигналы Леукаса возвестили ему о приближении из Афин флота под командованием Эвримедона - шестидесяти трирем. Теперь он думал только о том, как спастись пелопоннесскому флоту, который был фактически спасен этим телеграфным извещением. Воспользовавшись темнотой, он отошел вдоль суши до перешейка, отделяющего Леукас от материка, - через этот перешеек корабли перетаскивали вручную или с помощью механизмов, чтобы не столкнуться с афинским флотом, плывущим вокруг Леукадского мыса, и не быть замеченными им. Отсюда Алкидас отправился домой в Пелопоннес, оставив коркирских олигархов на произвол судьбы^[460].

Судьба эта была в высшей степени плачевной. Прибытие Эвримедона открывает третий неожиданный переход в этом избитом повествовании, - коркирский Демос резко и неожиданно переходит от сильной тревоги и беспомощности к восторженному и неодолимому владычеству. В лоне греков, среди населения, казалось бы, наименее утонченного из всех греков, - включая

множество рабов, только что освобожденных против воли их хозяев, и, конечно, самых свирепых и недовольных из всех рабов на острове, - такая перемена должна была вызвать почти неуправляемую жажду мести, как единственную компенсацию за пережитый ужас и страдания. Как только стало известно, что пелопоннесский флот бежал, а флот Эвримедона приблизился, коркирские вожди привели в город пятьсот мессенских гоплитов, которые до сих пор стояли лагерем в стороне; таким образом они обеспечили себе защиту от последних усилий отчаяния со стороны внутренних врагов. Затем тридцать кораблей, недавно укомплектованных и готовых в гавани, обращенной к континенту, к выходу против пелопоннесского флота, но теперь уже не нужных, получили приказ отплыть в другую, гиллейскую гавань. Еще во время плавания некоторые несносные люди из побежденной партии, будучи замеченными на людях, были убиты; когда же корабли прибыли в гиллейскую гавань и экипажи были высажены, была устроена более массовая резня, выделив тех лиц из олигархической фракции, которых накануне уговорили подняться на борт в составе экипажей, и предав их смерти.^[461] Затем постигла участь тех сторонников, около четырехсот человек, которые были возвращены с островка напротив и все еще находились под святилищем в священном участке Гераклеи. Им было предложено покинуть святилище и предстать перед судом; и пятьдесят из них, приняв это предложение, предстали перед судом - все были осуждены и все казнены. Казнь состоялась, как видно, тут же, на месте, на виду у несчастных, все еще остававшихся на священной земле;^[462] , которые, видя, что их участь безвыходна, предпочли смерть от собственных рук голодной смерти или мечу врагов. Некоторые повесились на ветвях деревьев, окружавших храм, другие помогали своим друзьям в самоубийстве, и так или иначе вся группа погибла: вероятно, их утешала вера в то, что это осквернение участка обрушит гнев богов на их оставшихся в живых врагов.

Эвримедон оставался со своим флотом семь дней, и все это время победившие коркирцы вели кровопролитное преследование тех, кто был причастен к позднему олигархическому перевороту. Пятистам из этой партии удалось спастись бегством на материк, а тех, кто не успел или не смог бежать, убивали везде, где только можно было найти. Некоторые получили смертельные раны на самом алтаре, другие разделили ту же участь, будучи оттащенными от него с помощью насилия. В одном случае группа убийц, преследовавших своих жертв до храма Дионисия, воздержалась от пролития крови, но заложила вход и оставила их голодать, как это сделали лакедемоняне в прошлом в отношении Павсания. Жестокость того времени была такова, что в одном случае отец зарубил собственного сына. Пострадала не только олигархическая партия: шлюзы частной вражды также были открыты, и различные лица, по ложному обвинению в причастности к олигархическим движениям, были убиты личными врагами или должниками. Эта плачевная приостановка правовых, а также моральных ограничений продолжалась в течение недели пребывания Эвримедона - достаточно долго, чтобы насытить яростные чувства, из которых она возникла;^[463] но без каких-либо видимых усилий с его стороны, чтобы смягчить победителей или защитить побежденных. В дальнейшем мы увидим еще больше причин, чтобы оценить подлость и отсутствие гуманности в его характере: но если бы Никострат остался командовать, мы можем справедливо предположить, судя по тому, что он сделал в предыдущей части мятежа, с очень меньшими силами, что он бы гораздо раньше установил пределы кирской резни: к сожалению, Фукидид вообще ничего не рассказывает нам о Никострате после морского сражения предыдущего дня^[464].

Мы были бы рады услышать что-нибудь о шагах, предпринятых для восстановления или исцеления после этой вспышки убийственной ярости, в которой, несомненно, новоиспеченные рабы были не самыми отсталыми, и после отъезда Эвримедона. Но и здесь Фукидид разочаровывает наше любопытство. От него мы слышим только, что бежавшие на материк олигархические изгнанники были достаточно сильны, чтобы завладеть крепостями и большей частью территории, принадлежавшей Коркире; точно так же изгнанники с Самоса и Митилены

стали более или менее полными хозяевами Перреи или материковых владений, принадлежавших этим островам. Они даже отправили посланников в Коринф и Спарту в надежде получить помощь для восстановления силой, но их просьба не нашла поддержки, и они были вынуждены довольствоваться своими силами. Притесняя в течение некоторого времени коркирцев на острове хищническими набегами, чтобы вызвать значительный недостаток и бедствия, они собрали отряд эпирских наемников, перешли на остров и там основали укрепленную позицию на горе, называемой Истон, недалеко от города. Они сожгли свои корабли, чтобы отрезать всякую надежду на отступление, и в течение почти двух лет поддерживали себя системой грабежей и разбоя, причиняя острову огромные страдания.^[465] Это был частый способ, с помощью которого в старину захватчики изматывали и овладевали городом, стены которого они считали неприступными. Конечная судьба этих захватчиков Истонка, о которой речь пойдет в одной из [следующих глав](#), станет подходящим завершением кровавой драмы, еще не законченной на Коркире.

Такая драма не могла разыгаться в важном городе с греческим названием, не произведя глубокого и обширного впечатления во всех остальных городах. И Фукидид воспользовался ею, чтобы дать как бы общий очерк греческой политики во время Пелопоннесской войны; насилие гражданских раздоров в каждом городе, усугубленное внешней войной и соперничеством Афин и Спарты, - первые везде отстаивали демократическую партию, вторые - олигархическую. Коркирская смута стала первым случаем, когда эти две причины политической антипатии и раздражения проявились в полной совместной силе, и когда пагубность настроений и деморализация, вытекающие из такого союза, были видны без маскировки. Нарисованная Фукидидом картина морального и политического чувства под этими влияниями навсегда останется в памяти как работа аналитика и философа: он задумал и описал извращающие причины с духом обобщения, который делает эти две главы едва ли менее применимыми к другим политическим обществам, далеким как по времени, так и по месту, - особенно, с точки зрения многих, к Франции 1789-1799 годов, - чем к Греции пятого века до христианской эры. Смертельное ожесточение, вливаемое в внутрипартийные состязания сопутствующими опасностями внешней войны и вмешательства иностранных врагов, - взаимные страхи между политическими соперниками, когда каждый думает, что другой упредит его в нанесении смертельного удара, и где конституционные максимы перестали быть авторитетом ни как сдерживание, ни как защита, - превосходная популярность того, кто больше всех орудовал мечом, или кто обрушивается своими врагами в самых безмерных выражениях, в сочетании с предрасположенностью относиться как к благоразумию в действиях, так и к откровенности в словах, как будто это не что иное, как предательство или трусость, - исключительное отношение к целям партии с безрассудным принятием и даже восхищенным предпочтением мошенничества или насилия как наиболее эффективных средств, - потеря уважения к законной власти, так же как и доверия к частному соглашению, извращение обычной морали, влекущее за собой изменение значения всех обычных слов, означающих порицание или одобрение, - неестественное преобладание честолюбивых и спорных страстей, подавляющих в сознании людей все реальные общественные цели и уравнивающих на время лучшее и худшее дело, принимая демократию с одной стороны и аристократию с другой как простое притворство для освящения личного триумфа, - все эти мрачные социальные явления, на которые указывает историк, имеют свои причины, глубоко укоренившиеся в человеческом разуме, и, вероятно, если основы конституционной морали не будут заложены более надежно и прочно, чем это было до сих пор, будут повторяться время от времени, с различными изменениями, "пока человеческая природа будет такой же, как сейчас", говоря языком самого Фукидида.^[466] Он описал, с

точностью, не уступающей его очерку о моровой язве в Афинах, симптомы некоего болезненного политического состояния, когда ярость кишечного конфликта, вместо того чтобы быть удержанной в таких пределах, которые заключаются в поддержании единого общества среди враждующих сторон, становится на время воспаленной и отравленной всей беспринципной враждебностью внешней войны, в основном от фактического союза между партиями внутри государства и иностранцами вне его. Следуя впечатляющему описанию историка, мы должны помнить об общем состоянии нравов в его время, особенно о жестокости, допускаемой законами войны, по сравнению с той большей гуманностью и уважением к жизни, которые выросли за последние два столетия в современной Европе. И еще следует вспомнить, что если бы он описывал последствия политической ярости карфагенян и евреев, а не современных ему греков, то добавил бы к списку ужасов калечение, распятие и другие изощрения простого убийства.

Язык Фукидида следует воспринимать скорее как обобщение и концентрацию явлений, которые он наблюдал среди различных сообществ, а не как полностью относящиеся к какому-то одному из них. Мы также не должны верить, как может показаться при поверхностном прочтении его вступительных слов, что кровопролитие в Коркире было лишь самым ранним, но отнюдь не самым страшным из целой серии подобных ужасов, охвативших греческий мир. Фактов, изложенных в его собственной истории, достаточно, чтобы показать, что хотя те же причины, которые действовали на этом несчастном острове, распространились и произвели аналогичные беды во многих других общинах, случай Коркиры, как и первый, был также самым худшим и наиболее усугубленным по интенсивности. К счастью, рассказ Фукидида позволяет нам понять его от начала до конца и оценить степень вины различных участников, что редко удастся сделать с уверенностью; ведь когда начинается обмен насилием, чувства, вызванные самим поединком, сразу же берут верх в умах обеих сторон над первоначальной причиной спора, а также над всеми угрызениями по поводу пригодности средств. Неоправданные поступки в изобилии совершаются обеими сторонами, и, сравнивая их, мы часто вынуждены прибегать к эмфатическому языку, который Тацит использует в отношении Оттона и Вителлия: "Deteriorem fore, quisquis vicisset"; из двух плохих людей римский мир мог предвидеть только то, что победитель, кем бы он ни был, окажется худшим.

Но в отношении коркирской революции мы можем выступить с более разборчивой критикой. Мы видим, что с самого начала она является делом рук корыстной олигархической партии, играющей в игру иностранного врага, причем злейшего и древнейшего врага острова, - стремящейся подорвать существующую демократию и приобрести власть для себя, и готовой применить любые меры мошенничества или насилия для достижения этих целей. В то время как демократия, на которую они нападают, является чисто оборонительной и консервативной, олигархические движители, испробовав честные средства, первыми прибегают к нечестным средствам, которые, как они считают, с большим эффектом используются против них самих. Они приводят в пример судебное преследование против Питиаса, чтобы уничтожить политического антагониста; используя это же оружие, он оказывается более чем подходящим для них и применяет его для их гибели. Далее они переходят к использованию кинжала в сенате против него и его ближайших соратников, а также к массовому применению меча против демократии в целом. Таким образом, коркирские демосцы оказываются в обороне, и вместо обычных привязанностей в их груди безоговорочно поселяются все самые сильные антиобщественные чувства - страх, драчливость, ненависть, месть; они еще больше преувеличиваются благодаря колебаниям побед и поражений, последовательно приносимых Никостратом, Алкидаем и Эвримедоном. Поведение победителей таково, какого и следовало ожидать в столь безумных

обстоятельствах от грубых мужчин, смешавшихся с освобожденными рабами: оно мстительно и убийственно до крайности, не обходится без нарушения данных обещаний. Но мы должны помнить, что они вынуждены встать на свою защиту, и что все их силы необходимы для того, чтобы эта защита была успешной. Они спровоцированы агрессией, не менее виновной в конце, чем в средствах, - агрессией, тем более беспричинной, что, если посмотреть на состояние острова в то время, когда олигархические пленники были возвращены из Коринфа, не было никаких оснований утверждать, что он понес или терпит какие-либо потери, лишения или позор от союза с Афинами. Эти олигархические мятежники, найдя остров в состоянии безопасности и спокойствия, - поскольку война не требовала от них особых усилий, - ввергают его в море крови, с бесчинствами и страданиями с обеих сторон, которые в конце концов заканчиваются их собственным полным истреблением. Наше сострадание к их последним страданиям не должно мешать нам оценить поведение, которым они были заработаны.

В течение нескольких лет с этого времени у нас будет повод рассказать о двух политических движениях в Афинах, схожих по принципу и общему результату с коркирской революцией; олигархические заговорщики выступают против существующей и консервативной демократии, причем сначала заговор удается, но затем его подавляют, и демос снова восстанавливается. Контраст между Афинами и Коркирой при таких обстоятельствах будет весьма поучительным, особенно в отношении демоса, как в часы поражения, так и в дни победы. Тогда станет ясно, насколько важна привычка активно участвовать в политических и судебных делах - открытые, конфликтные дискуссии, разрядка злобных страстей посредством речи с последующим призывом к голосованию, - постоянно присутствующая в сознании каждого гражданина, в его характере дикаста или экклезиаста, условия мирного общества и верховная власть конституционного большинства, - насколько все эти обстоятельства, которые в Афинах более, чем в любой другой демократии, доносили до чувств отдельных людей, способствовали смягчению инстинктов кишечного насилия и мести даже при очень сильных провокациях.

Но случай с Коркирой, как и случай с Афинами, разные во многих отношениях, сговорились, чтобы проиллюстрировать другую истину, имеющую большое значение в греческой истории. Оба они показывают, насколько ложными и наглыми были притязания богатых и великих людей различных греческих городов на высшую нравственность, высший интеллект и большую пригодность к честному и полезному использованию правительственных полномочий по сравнению с массой граждан. Хотя греческие олигархии, властвуя над модой, а особенно над значением слов, присвоили себе титул "лучших людей, благородных и хороших, элегантных, превосходных" и т. д. и наделяли тех, кто не принадлежал к их кругу, эпитетами противоположного тона, подразумевающими низкие моральные качества, - ни одно из таких различий не подтверждается фактами греческой истории.^[467] Обилие немощей, сопровождаемых иногда дурными страстями, несомненно, действовало на людей в целом, часто развращая и вводя в заблуждение даже афинскую демократию, лучшую, по-видимому, из всех демократий в Греции. Но, в конце концов, богатые и великие люди были лишь частью народа, и если брать их как класс, за исключением отдельных почетных исключений, то отнюдь не лучшей его частью. Если они и были освобождены своим положением от некоторых пороков, которые преследовали более мелких и бедных людей, они впитали от этого же положения безмерное самомнение и избыток личных амбиций, а также личных appetитов, свойственных им самим, не менее антисоциальных по своей тенденции и действующих в гораздо более широких масштабах. Предрассудки и суеверия, свойственные эпохе, они ничуть не превосходили, рассматривая их как класс; а их вражда между собой, злобная и беспринципная, была одной из главных причин несчастий в

греческом содружестве, - и действительно, многие из самых примечательных деяний, совершенных демократами, заключались в том, что они позволили сделать себя орудием одного аристократа для разорения другого. Сильный партийный эгоизм, который характеризовал их как единое целое, иногда преувеличенный в сильнейшую антинародную антипатию, как мы видим в знаменитой олигархической клятве, процитированной Аристотелем,^[468] мы найдем много иллюстраций по мере продвижения в истории, но ни одна не будет более поразительной, чем эта коркирская революция.

ГЛАВА LI. ОТ КОРКИРСКИХ БЕДСТВИЙ НА ПЯТОМ ГОДУ ПЕЛОПОННЕССКОЙ ВОЙНЫ ДО КОНЦА ШЕСТОГО ГОДА.

Примерно в то же время, когда произошли коркирские события, афинский полководец Никиас направил свое войско против скалистого острова Миноа, который лежал в устье Мегары и был занят мегарийским фортом и гарнизоном. Узкий канал, отделявший его от мегарийского порта Нисей и служивший входом в гавань, защищали две башни, выступавшие из Нисей, которые Никиас атаковал и разрушил с помощью таранных машин со своих кораблей. Таким образом, он отрезал Миною от сообщения с мегарянами с этой стороны и укрепил ее с другой, где она соединялась с материком лагуной, перегороженной дамбой. Таким образом, Миноа, получив надежную изоляцию, была еще более укреплена и стала афинским владением, так как здесь было очень удобно держать эффективную блокаду против мегарийской гавани, что афиняне до сих пор делали только с противоположного берега Саламины^[469].

Хотя Никиас, сын Никерата, уже некоторое время занимал видное место в общественной жизни и, как говорят, не раз был стратегом вместе с Периклесом, это первый случай, когда Фукидид представляет его нашему вниманию. Теперь он был одним из стратегов, или полководцев, и, судя по всему, пользовался большим и постоянным личным уважением, чем любой гражданин Афин с настоящего времени и до своей смерти. По богатству и семейному положению он принадлежал к первому классу афинян: по политическому характеру Аристотель ставил его, вместе с Фукидидом, сыном Мелесия, и Фераменесом, выше всех других имен в афинской истории, - кажется, даже выше Перикла^[470] Такая критика Аристотеля заслуживает уважительного внимания, хотя факты, представленные нам, полностью опровергают столь возвышенную оценку. Тем не менее, он отмечает положение, занимаемое Никиасом в афинской политике, как главным представителем той партии, которую можно назвать олигархической, сменившей Кимона и Фукидида и предшествовавшей Фераменесу. Рассматривая условия, при которых эта партия продолжала существовать, мы увидим, что в промежуток времени между Фукидидом (сыном Мелесия) и Никиасом демократические формы приобрели такое прочное господство, что ни одному политику не подобало бы выдавать доказательства положительной враждебности к ним до сицилийской экспедиции и большого стеснения во внешних отношениях Афин, которое возникло вследствие этого бедствия. После этой перемены афинские олигархи ободрились и стали агрессивными, так что мы найдем Фераменеса среди главных заговорщиков в революции Четырехсот: но Никиас представляет олигархическую партию в ее прежнем состоянии затишья и неподвижности, приспособившаяся к суверенной демократии и

существуя в форме общих чувств, а не общих целей. И это замечательная иллюстрация истинного нрава афинского народа, что человек с таким характером, известный как олигарх, но не боявшийся его, и искренне выполнявший свой долг перед демократией, должен был оставаться до самой своей смерти самым уважаемым и влиятельным человеком в городе. Он был человеком в некотором роде даже посредственным, по уму, образованию и ораторскому искусству: передовой в своих военных обязанностях, и не только лично храбрый в поле, но и компетентный как генерал в обычных обстоятельствах:^[471] усердный в исполнении всех политических обязанностей дома, особенно на посту стратега, или одного из десяти генералов государства, на который он часто избирался и переизбирался. Из многих ценных качеств, сочетавшихся в его предшественнике Периклесе, воспоминания о котором были еще свежи в афинском сознании, Никиас обладал двумя, на которых, в основном, и основывалось его влияние, - хотя, говоря правильно, это влияние относится к общей сумме его характера, а не к каким-то особым качествам в нем: Во-первых, он был абсолютно неподкупным в том, что касается денежных прибылей, - качество, столь редкое для греческих государственных деятелей всех городов, что если человек однажды становился известным благодаря тому, что обладал им, он приобретал большую степень доверия, чем могло бы дать ему любое превосходство интеллекта: во-вторых, он придерживался периклеанского мнения о необходимости консервативной или стационарной внешней политики для Афин, избегая новых приобретений на расстоянии, авантюрных рисков или провоцирования новых врагов. При этой важной аналогии между ними были и существенные различия, даже в том, что касалось внешней политики. Периклес был консерватором, решительно не соглашавшимся на потерю или абстракцию империи, а также воздерживавшимся от ее возвеличивания: Никиас в политике был слабонервным, не любил энергичных усилий ради любой цели и был склонен не только поддерживать мир, но даже покупать его значительными жертвами. Тем не менее, он был главным защитником консервативной партии своего времени, всегда влиятельной в Афинах: и поскольку он был постоянно знаком с деталями и фактическим ходом государственных дел, мог в полной мере реализовать осторожную и благоразумную точку зрения и пользовался безоговорочным доверием в честных целях, его ценность как постоянного советника неуклонно признавалась, даже если в отдельных случаях его советам могли не следовать.

Помимо этих двух основных качеств, общих с Периклесом, Никиас в совершенстве владел теми второстепенными и сопутствующими способами поддержания хорошего положения в народе, которые этот великий человек не особенно старался применять на практике. В то время как Периклес привязался к Аспазии, чьи великолепные качества не искупали в глазах общественности ни ее иностранного происхождения, ни ее безбрачия, домашние привычки Никиаса, похоже, строго соответствовали правилам афинского этикета. Периклес был окружен философами, Никиас - пророками, чьи советы были необходимы и как утешение для его темперамента, и как руководство для его ума в трудных ситуациях; один из них постоянно находился в его услужении и доверии, и на его поведение, похоже, чувствительно повлияла разница в характере одного пророка и другого,^[472] подобно тому, как правительство Людовика Четырнадцатого и других католических принцев менялось из-за смены исповедников. К такой строго благопристойной и ультрарелигиозной жизни, что было вполне приемлемо для афинян, Никиас добавил разумное использование большого состояния с целью добиться популярности. Те литургии - или дорогостоящие общественные обязанности, которые богачи брали на себя каждый в свою очередь, как в других городах Греции, так и в Афинах, - которые выпали на его долю, были выполнены с таким великолепием, щедростью и хорошим вкусом, что обеспечили ему всеобщие похвалы; и настолько превосходили его предшественников, что надолго запомнились и были воспеты. Большинство этих литургий было связано с религиозной службой государства, так что

Никиас своей манерой их совершать демонстрировал ревность к чести богов и одновременно создавал себе популярность. Кроме того, удивительная осторожность и робость - не перед врагом, а перед своими согражданами, - которые отличали его характер, делали его крайне осторожным, чтобы не нанести обиду или не нажить личных врагов. В то время как его поведение по отношению к более бедным гражданам в целом было ровным и примирительным, подарки, которые он делал, были многочисленными, как для того, чтобы приобрести друзей, так и для того, чтобы заставить замолчать обидчиков. Мы не удивляемся, когда слышим, что различные хулиганы, которых комические писатели презирают, наживались на этой восприимчивости, - но, несомненно, Никиасу как общественному деятелю, хотя его иногда и могли обмануть в деньгах, очень помогала репутация, которую он таким образом приобрел.

Расходы, неизбежные в такой карьере, в сочетании со строгой личной честностью, не могли быть покрыты иначе, как за счет другого качества, которое не следует считать порочающим Никиаса, хотя и в этом он отличался от Периклеса. Он был аккуратным и усердным добытчиком денег; спекулянт на серебряных рудниках Лаврии и владельцем тысячи рабов, которых он отдавал на работу в них, получая за каждого фиксированную сумму за голову: управляющие рабами, которые занимались деталями этого бизнеса, были людьми с большими способностями и высокой денежной стоимостью.^[473] Большая часть богатства Никиаса хранилась в этой форме, а не в земельной собственности. Судя по тому, что до нас дошло от авторов комиксов, это, должно быть, считалось вполне джентльменским способом зарабатывания денег: ведь в то время как они изобилюют насмешками над кожевником Клеоном, ламповщиком Гиперболом и матерью-торговкой овощами, которой Еврипид обязан своим рождением, мы не слышим от них ничего, что бы унижало раба-буквоеда Никиаса. Степень, до которой последний был занят заботами о своем личном состоянии, а также общая сдержанность его нрава, заставляли его часто желать отстраниться от общественных обязанностей: но такое неамбициозное нежелание, редкое среди государственных людей того времени, скорее заставляло афинян еще больше стремиться выдвинуть его и сохранить его услуги. В глазах пентакосиомедимни и гиппеев, двух самых богатых классов Афин, он был одним из них - и в целом лучшим человеком, так как его мало кто мог упрекнуть или оклеветать, его можно было противопоставить кожевникам и ламповщикам, которые часто переигрывали их в общественных собраниях. Гоплиты, презиравшие Клеона и не очень уважавшие даже храброго, выносливого и воинственного Ламаха, потому что он был беден,^[474] уважали в Никии союз богатства и семьи с честностью, мужеством и осторожностью в командовании. Морские и торговые люди почитали его как благопристойного, честного, религиозного джентльмена, который давал великолепные хореги, с вниманием относился к беднейшим людям и никогда не превращал государственную службу в работу ради собственной выгоды, - более того, если он и не обладал командирскими качествами, чтобы придать своим советам императивный и неотразимый авторитет, то все же всегда был достоин того, чтобы с ним советовались, и надежно предохранял от государственных бедствий. До роковой сицилийской экспедиции он никогда не командовал ни одним очень серьезным или трудным предприятием, но все, что он делал, было выполнено успешно; так что он пользовался репутацией как *tunate*, так и благоразумного полководца.^[475] Он, кажется, действовал как *prohexenus* к лакедемонянам в Афинах; вероятно, по своему собственному выбору и среди нескольких других.

Первая половина политической жизни Никиаса - после того, как он стал пользоваться полным вниманием в Афинах, будучи уже в зрелом возрасте, - прошла в оппозиции к Клеону; последняя половина - в оппозиции к Алкивиаду. Если использовать термины, которые не совсем подходят для афинской демократии, но которые, тем не менее, лучше, чем какие-

либо другие, показывают разницу, которую мы хотим отметить, то Никиас был министром или министерским человеком, часто фактически осуществляющим и всегда могущим осуществлять официальные функции, - Клеон был человеком оппозиции, в чьи обязанности входил надзор и порицание официальных людей за их общественное поведение. Мы должны лишить эти слова того смысла, который они несут в себе в английской политической жизни, - постоянного парламентского большинства в пользу одной партии: Клеон часто выступал в общественном собрании с резолюциями, которые его противники Никиас и другие люди подобного ранга и положения, занимавшие должности стратига, посла и другие важные посты, назначенные общим голосованием, были вынуждены исполнять против своей воли. В достижении этих должностей им помогали политические клубы, или *заговоры* (если переводить оригинал буквально), среди ведущих афинян, чтобы поддерживать друг друга как для получения должности, так и для взаимной страховки под судебным судом. Эти клубы, или гетеры, без сомнения, должны были играть самую важную роль в практической деятельности афинской политики, и приходится сожалеть, что мы не располагаем никакими подробностями о них. Мы знаем, что в Афинах они были полностью олигархическими,[476] при этом равенство или что-то близкое к нему в ранге и положении должно было быть необходимым для социальной гармонии членов: в некоторых городах, похоже, такие политические ассоциации существовали в форме гимнасий[477] для взаимных упражнений членов или сисситий для совместных банкетов. В Афинах они были многочисленны и, несомненно, не были в дружбе друг с другом, так как антипатии между различными олигархическими людьми были очень сильны, а союз, заключенный между ними во времена Четырехсот, возник только из общего желания свергнуть демократию и просуществовал совсем недолго. Но от них во многом зависело назначение людей на должности стратегов и другие главные посты, а также возможность пройти через испытание ответственностью, которой подвергался каждый человек после года пребывания в должности. Никиас и люди его ранга и состояния, которым помогали эти клубы и которые, в свою очередь, оказывали помощь, составляли то, что можно назвать министрами, или исполнительными функционерами Афин: люди, которые действовали, отдавали приказы отдельным людям конкретных действиях и следили за исполнением того, что постановили сенат и общественное собрание. Особенно в том, что касается военных и морских сил города, столь многочисленных и активно используемых в это время, полномочия стратегов, которыми они обладали, должны были быть очень велики и необходимы для безопасности государства.

Пока Никиас занимал должность, которую можно назвать министерской, Клеон не имел достаточного значения, чтобы достичь того же, но был ограничен низшей функцией оппозиции: мы увидим в следующей главе, как он стал как бы продвигаться, частично благодаря собственной проницательности, частично благодаря нечестной хитрости и просчетам Никиаса и других противников, в деле Сфактерия. Но теперь его призванием было находить недостатки, порицать, обличать; театром его действий был сенат, общественные собрания, дикастерии; его главным талантом была речь, в которой он, несомненно, превзошел всех своих современников. Два дара, которые были объединены в Периклесе - превосходная способность к речи и действию, - теперь были разделены и перешли, хотя оба в значительно меньшей степени, один к Никиасу, другой к Клеону. Как оппозиционер, вспыльчивый и жестокий, Клеон был чрезвычайно грозен для всех действующих функционеров; а благодаря своему влиянию в общественном собрании он, несомненно, был автором многих важных позитивных мер, выходя тем самым за рамки функций, относящихся к тому, что называется оппозицией. Но хотя он и был самым эффективным оратором в общественном собрании, он не был по этой причине самым влиятельным человеком в демократии: его ораторские способности, по сути, выделялись тем сильнее, что они были найдены помимо этой должности и тех качеств, которые считались даже в Афинах

практически необходимыми для того, чтобы сделать человека лидером в политической жизни. Чтобы понять политическое состояние Афин в это время, необходимо провести сравнение между Никиасом и Клеоном и отметить, что, хотя последний, возможно, был более победоносным оратором, первый был более руководящим и влиятельным лидером; очки, завоеванные Клеоном, были шумными и ощутимыми, иногда, однако, без сомнения, значительными, - но ход дел был гораздо более под руководством Никиаса.

Именно летом этого года, пятого по счету, - 427 г. до н. э., афиняне начали небольшие операции в Сицилии; вероятно, вопреки советам Никиаса и Клеона - ни один из них не был благосклонен к этим далеким начинаниям. Однако я оставляю ряд афинских мер на Сицилии, которые впоследствии стали поворотным пунктом в судьбе государства, для отдельного раздела. Я рассмотрю их отдельно и сведу к афинской экспедиции против Сиракуз, когда дойду до даты этого важного события.

Осенью того же года эпидемическое расстройство, после некоторого перерыва, возобновилось в Афинах и продолжалось еще целый год, к печальному разорению и силы, и комфорта города. И похоже, что эта осень, как и последующее лето, отличались сильными атмосферными и земными волнениями. Многочисленные землетрясения происходили в Афинах, в Эвбее, в Беотии, особенно вблизи Орхомена. Внезапные морские волны и небывалые приливы ощущались также на побережье Эвбеи и Локриса, на островах Аталанти и Пепарет; афинский форт и один из двух сторожевых кораблей на Аталанте были частично разрушены. Землетрясения произвели один благоприятный для Афин эффект: они удержали лакедемонян от вторжения в Аттику. Агис, царь Спарты, уже достиг перешейка с этой целью; но повторные землетрясения были восприняты как неблагоприятное предзнаменование, и от этой затеи пришлось отказаться^[478].

Однако эти землетрясения, как считалось, не могли удержать лакедемонян от основания Гераклеи, новой колонии у Фермопильского пролива. В связи с этим мы узнаем о той части греческого населения, которая ранее не упоминалась во время войны. Побережье к северу от Фермопильского пролива было занято тремя подразделениями малийцев - паралиями, иереями и трахинянами. Эти последние, примыкавшие к горе Сета с северной стороны, а также дорийцы, маленькое племя, называемое так правильно, которое считалось первобытным очагом дорийцев вообще, примыкавших к той же горной цепи на юге, подвергались преследованиям и грабежам со стороны хищных горцев, вероятно, этолийцев, на высоких землях между ними. Сначала трахиняне были склонны броситься под защиту Афин, но, не чувствуя достаточной уверенности в том, как она поступит с ними, они вместе с дорийцами потребовали помощи у Спарты: не похоже, чтобы Афины, обладая только морским превосходством и уступая на суше, могли оказать им действенную помощь. Лакедемоняне с готовностью ухватились за эту возможность и решили основать сильную колонию в этой заманчивой ситуации: в соседних областях имелся лес для строительства кораблей,^[479] так что они могли надеяться получить военно-морскую позицию для нападения на соседний остров Эвбея, а также облегчить переброску войск против союзников Афин во Фракии; неосуществимость такой переправы заставила их за три года до этого бросить Потидею на произвол судьбы. Значительное число колонистов, спартанцев и лакедемонских перизков, было собрано под руководством трех спартанских экистов - Леона, Дамагона и Алкида; последний, как мы полагаем, хотя Фукидид и не говорит об этом, был тем самым адмиралом, который добился столь незначительного успеха в Ионии и на Коркире. Далее было объявлено о приглашении всех других греков в качестве колонистов, за исключением ионийцев, ахейцев и некоторых других племен, которые здесь не указаны. Вероятно, исключение ахейцев было скорее продолжением древних настроений, чем

продиктовано какими-либо нынешними причинами, поскольку ахейцы не были теперь объявлены врагами Спарты. В это место стекалось не менее десяти тысяч колонистов, уверенных в стабильности колонии под мощной защитой Спарты; был построен и укреплен новый город большой площади под названием Гераклея, [480] недалеко от Трахиса, в двух милях с четвертью от ближайшего Маликийского залива, но примерно в два раза дальше от Фермопильского пролива. Рядом с последним и для того, чтобы эффективно владеть им, был построен порт с причалом и помещениями для судоходства.

Многолюдный город, основанный под защитой лакедемонян в этом важном месте, встревожил афинян и вызвал большие ожидания во всех частях Греции: но лакедемоняне-кистинцы были суровы и неумелы в управлении, а фессалийцы, которым подчинялась трахинийская территория, рассматривали колонию как посягательство на их землю. Стремясь предотвратить ее рост, они с первого же момента начали преследовать ее враждебными действиями, в то время как *Ἰετᾶν* нападавшие не были праздными: и Ираклия, на которую давили извне и которой плохо управляли внутри, уменьшилась от своей первоначальной численности и обещаний, едва поддерживая свое существование. 481] Однако в более поздние времена она возродилась и стала местом, имеющим большое значение.

Главное афинское войско этого лета, состоявшее из шестидесяти трирем, под командованием Никиаса предприняло экспедицию против острова Мелос. Мелос и Тера, населенные древними колонистами из Лакедемонии, с самого начала не были и до сих пор отказываются быть ни членами Афинского союза, ни подданными Афинской империи. Таким образом, они выделялись на фоне остальных островов Эгейского моря, и афиняне считали себя вправе прибегать к принуждению и завоеванию, полагая, что имеют право командовать всеми островами. Они, конечно, могли бы настаивать, и весьма убедительно, что мелийцы теперь пользуются своей долей защиты Эгейского моря от пиратства, не внося при этом никакого вклада в расходы на нее: Но учитывая упорное нежелание и сильные лакедемонские наклонности мелийцев, которые не принимали никакого участия в войне и не давали Афинам никаких поводов для обид, попытка завоевать их силой вряд ли могла быть оправдана даже с точки зрения расчета выгод и потерь, и была простым удовлетворением гордости власти при осуществлении того, что в наши дни мы должны назвать принципом морской империи. Мелос и Тера образовали неудобные углы, нарушившие симметрию поля великого пропри [482], а первый в конечном счете повлек за собой тяжелейшие потери для Афин - кровавое деяние, глубоко обесчестившее ее летопись. По этому случаю Никиас посетил остров со своим флотом и, тщетно создав жителей, опустошил земли, но удалился, не предприняв осады. Затем он отплыл и прибыл в Оропус, расположенный на северо-восточной границе Аттики и граничащий с Беотией: гоплиты на его кораблях высадились ночью и отправились в глубь Беотии, в окрестности Танагры. Здесь их встретил, по сигналу, афинский отряд, который отправился туда по суше; объединенная афинская армия опустошила танагрскую территорию, получив незначительное преимущество над ее защитниками. Отступив, Никиас вновь собрал свое вооружение, отплыл на север вдоль побережья Локриды с обычными опустошениями и вернулся домой, не добившись ничего нового [483].

Примерно в то же время, когда он отправился в путь, тридцать других афинских трирем под командованием Демосфена и Проклеса были посланы вокруг Пелопоннеса, чтобы действовать на побережье Акарнании. Вместе со всем акарнанским войском, кроме людей *Ἰεπιάδε*, - с пятнадцатью триремами из Коркиры и некоторыми войсками из Кефаллекнии и Закинфа - они опустошили всю территорию Леукаса, как внутри, так и вне перешейка, и

заклучили жителей в их городе, который был слишком силен, чтобы его можно было взять чем-либо, кроме обводной стены и утомительной блокады. Акарнанцы, к которым город был особенно враждебен, настоятельно просили Демосфена принять эту меру немедленно, поскольку такой возможности больше не представится, а успех был почти несомненен.

Но этот предприимчивый офицер совершил грубую неосторожность, обидев их в важном вопросе, чтобы напасть на страну, которая из всех других была самой труднодоступной, - на внутренние районы Этолии. Мессенцы из Наупакта, страдавшие от бесчинств соседних этолийских племен, распалили его воображение, предложив ему грандиозный план действий, [484] более достойный больших сил, которыми он командовал, чем простое сокращение Леукаса. Различные племена этолийцев - грубые, храбрые, активные, хищные и непревзойденные в использовании копья, которое они редко выпускали из рук, - простирались по всей стране от Парнаса и Ἰθια до восточного берега Achelôus. По замыслу мессенцев, Демосфенес должен был напасть на великие центральные племена Этолии - аподотов, офионийцев и эвританов: если они будут покорены, то все остальные континентальные племена между Амбракийским заливом и горой Парнас можно будет пригласить или заставить вступить в афинский союз, в который уже входили акарнанцы. Получив таким образом командование над большим континентальным войском, [485] Демосфенес задумал во главе его совершить поход на запад от Парнаса, через территорию озолийских локрийцев, обитавших к северу от Коринфского залива, дружественных Афинам и враждебных Итолийцам, на которых они походили как по своим привычкам, так и в боевых действиях, - пока не достигнет Китиниума в Дорисе, в верхней части долины реки Кефис. Затем он должен был легко спуститься в эту долину на территорию фокийцев, которые, скорее всего, присоединятся к афинянам, если представится благоприятная возможность, но, во всяком случае, будут вынуждены это сделать. Из Фокиса предполагалось вторгнуться с севера на сопредельную территорию Беотии, великого врага Афин, которую, возможно, удастся полностью покорить, если одновременно напасть на нее из Аттики. Любой афинский полководец, который смог бы осуществить этот всеобъемлющий план, приобрел бы на родине высокую и заслуженную славу. Но Демосфенес был плохо информирован как о непобедимых варварах, так и о безлюдной стране под названием Этолия: некоторые из племен говорили на языке, едва понятном грекам, и даже ели свое мясо сырым, а страна до сих пор остается не только непокоренной, но и не пройденной врагом с оружием в руках.

Демосфенес отступил из Леукаса, несмотря на уговоры акарнанцев, которые не только не смогли уговорить его сопровождать, но и ушли домой с видимым отвращением. Затем он отплыл со своими остальными войсками - мессенцами, кефалленцами и закинфами - в Ἰθια, на территорию озолийских локрийцев, где его войско было высажено вместе с тремястами эпибатами (или морскими пехотинцами) с трирем, включая в этот раз, что обычно не делалось на кораблях, [486] нескольких отборных гоплитов, отобранных из молодых людей одного возраста, внесенных в афинский список. Проведя ночь в священном храме Зевса Немея в Ἰθια, памятом как место, где, по преданию, был убит поэт Гесиод, он рано утром под руководством мессенца Хромона отправился в Этолию; в первый день он взял Потиданию, во второй - Крокилею, в третий - Тейхию - все эти деревни не были укреплены и не оборонялись, так как жители покинули их и бежали в горы выше. Здесь он склонялся к тому, чтобы остановиться и дожидаться прихода озолийских локрийцев, которые намеревались одновременно вторгнуться в Этолию и были почти незаменимы для его успеха, поскольку были знакомы с этлийской войной и схожи по вооружению. Но мессенцы снова убедили его без промедления продвинуться вглубь страны, чтобы напасть на деревни и взять их по отдельности, прежде чем удастся собрать все силы вместе. Демосфенес был

настолько воодушевлен тем, что пока не встретил никакого сопротивления, что двинулся к Эгитию, который также оказался пустынным и был взят без сопротивления.

Однако на этом его удача закончилась. Горы вокруг Эгития были заняты не только жителями этого селения, но и всеми силами Итолии, собранными даже из далеких племен бомиков и калликов, граничивших с Малиакским заливом. О вторжении Демосфена стало известно заранее, и этолийцы не только предупредили все свои племена о приближении врага, но и отправили послов в Спарту и Коринф с просьбой о помощи. [487](#) Однако они показали себя вполне способными защитить свою территорию без посторонней помощи, и Демосфен обнаружил, что на его позиции в Эгитиуме со всех сторон сразу напали эти активные горцы, вооруженные копьями, спускавшиеся с соседних холмов. Не вступая в ближний бой, они отступили, когда афиняне выдвинулись вперед, чтобы атаковать их, - и возобновили свою агрессию в тот момент, когда преследователи, которые никогда не могли продвинуться далеко из-за пересеченной местности, начали возвращаться к основному телу. Небольшое число лучников вместе с Демосфеном некоторое время сдерживали нападавших без щитов, но вскоре офицер, командовавший лучниками, был убит, а запас стрел почти иссяк; что еще хуже, Хромон, мессенец, единственный человек, знавший местность и способный служить проводником, тоже был убит. Таким образом, лучники стали либо неэффективны, либо рассеялись, а гоплиты изнуряли себя тщетными попытками преследовать и отбивать активного врага, который постоянно возвращался к ним, и с каждым последующим наступлением все больше и больше их истончал и расстраивал. В конце концов войска Демосфена были полностью разбиты и вынуждены обратиться в бегство, но без проторенных дорог, без проводников, в стране, не только чужой для них, но и непроходимой из-за постоянных гор, скал и лесов. Многие из них были убиты в бегстве преследователями, превосходившими их не только в скорости передвижения, но и в знании местности: некоторые даже заблудились в лесу и погибли в пламени, разожженном вокруг них эйтолийцами: В конце концов беглецы собрались в Сенеон, у моря, потеряв Проклеса, коллегу Демосфена по командованию, а также сто двадцать гоплитов, одних из самых хорошо вооруженных и энергичных в афинском строю. [Оставшиеся силы вскоре были переправлены из Наупакта в Афины, но Демосфен остался, слишком опасаясь недовольства соотечественников, чтобы вернуться в такой момент. Несомненно, что его поведение было таким, что справедливо вызвало их недовольство, и что экспедиция в Этолию, отторгающая постоянного союзника и провоцирующая нового врага, была задумана с такой степенью опрометчивости, которую ничто, кроме неожиданной благосклонности судьбы, не могло уравновесить.

Сила нового врага, которого безуспешная атака заставила активизироваться, вскоре дала о себе знать. Посланники Этолии, отправленные в Спарту и Коринф, без труда добились обещания выделить значительные силы для участия в экспедиции против Наупакта. Примерно в сентябре в Дельфах под командованием Эврилоха, Макария и Менедема было собрано три тысячи пелопоннесских гоплитов, включая пятьсот из недавно основанной колонии Гераклеи. Их путь к Наупакту пролегал через территорию озолийских локрийцев, которых они намеревались либо захватить, либо покорить. С Амфиссой, крупнейшим локрийским городом, расположенным в непосредственной близости от Дельф, у них не было особых трудностей, поскольку амфиссцы находились в состоянии вражды со своими соседями по ту сторону Парнаса и боялись, что новое вооружение может стать орудием фокийской вражды против них. При первом же обращении они присоединились к спартанскому союзу и дали заложников за верность ему: кроме того, они убедили сделать то же самое многие другие локрийские мелкие поселения - в том числе мионейцев, которые были хозяевами самого трудного перевала на дороге. Эврилох получил от этих поселений

подкрепление для своей армии, а также заложников за их верность, которых он поместил в Китиниуме в Дорисе; таким образом, он смог пройти через всю территорию озолийских локрийцев без сопротивления, за исключением *Сенеон* и *Еуралιον*, которые он взял силой. Прибыв на территорию Наупакта, к нему присоединились все силы этолийцев, и совместными усилиями они, опустошив все окрестности, захватили коринфскую колонию Моликрейон, которая перешла в подчинение Афинской империи[489].

Наупактус, с большой протяженностью стен и слабой обороной, находился в самой большой опасности и, несомненно, был бы взят, если бы его не спасли усилия афинянина Демосфена, который оставался там со времени злополучной экспедиции афинян. Узнав о предстоящем походе Эврилоха, он лично отправился к акарнанцам и уговорил их послать отряд на помощь в обороне Наупакта: долгое время они оставались глухи к его просьбам из-за отказа блокировать Леукас, но в конце концов их склонили к согласию. Во главе тысячи акарнанских гоплитов Демосфенес бросился в Наупакт, а Эврилох, видя, что город оказался вне пределов досягаемости для нападения, отказался от всех своих замыслов и двинулся дальше на запад, к соседним территориям Этолии, Калидону, Плерону и Прошиуму, близ Акелоса и границ Акарнании. Этолийцы, которые присоединились к нему с общей целью напасть на Наупакт, покинули его и удалились в свои дома. Но амбракиоты, обрадованные тем, что в их окрестностях находится столь значительное пелопоннесское войско, убедили его помочь им напасть на амфилохийский Аргос, а также на Акарнанию; они уверяли его, что теперь есть все шансы подчинить все население материка между Амбракийским и Коринфским заливами господству Лакедемонии. Убедив таким образом Эврилоха держать свои силы в готовности, они сами с тремя тысячами амбракийских гоплитов вторглись на территорию амфилохийского Аргоса и захватили укрепленный холм Ольпæ, непосредственно примыкающий к Амбракийскому заливу, примерно в трех милях от самого Аргоса: этот холм в прежние времена использовался акарнанцами как место публичных судебных собраний всего народа[490].

Это предприятие, немедленно сообщенное Эврилоху, послужило сигналом к движению с обеих сторон. Акарнанцы со всеми своими силами двинулись на защиту Аргоса и заняли пост Кренæ на территории Амфилохии, надеясь помешать Эврилоху соединиться с амбракиотами в Ольпе. В то же время они отправили срочные послания Демосфену в Наупакт и афинскому охранному эскадрону из двадцати трирем под командованием Аристотелеса и Гиерофона, прося их о помощи в настоящем деле и приглашая Демосфена выступить в качестве их командира. Они забыли о своем недовольстве, вызванном его недавним отказом от блокады в Леукасе, за что, вероятно, считали, что он был достаточно наказан своим позором в Этолии; в то же время они знали и уважали его военные способности. На самом деле, случайность, из-за которой он задержался в Наупакте, теперь была удачной как для них, так и для него: она обеспечила им полководца, которого все они уважали, устранив зависть среди их собственных многочисленных мелких поселений, - она обеспечила ему средства для восстановления его собственной репутации в Афинах. Демосфен, не замедливший воспользоваться этой золотой возможностью, быстро вошел в Амбракийский залив с двадцатью афинскими триерами, ведя за собой двести мессенских гоплитов и шестьдесят афинских лучников. Он нашел все силы акарнанцев сосредоточенными у амфилохийского Аргоса и был назначен генералом вместе с акарнанскими генералами, но в действительности осуществлял все руководство операциями.

Он также обнаружил, что все силы противника, как три тысячи амбракийских гоплитов, так и пелопоннесская дивизия под командованием Эврилоха, уже объединились и заняли

позиции в Ольпее, примерно в трех милях от него. Эврилох, как только ему стало известно, что амбракиоты достигли Ольпеи, сразу же разбил свой лагерь в Просхиуме в Этолии, зная, что лучший шанс пройти через враждебную территорию Акарнании заключается в быстроте: все акарнанские силы, однако, уже ушли в Аргос, так что его поход через эту страну был беспрепятственным. Он пересек Акелос, прошел на запад от Стратуса, через акарнанские города Фития, Медеон и Лимнея, затем, оставив Акарнанию и прямую дорогу из Акарнании в Аргос, двинулся скорее на восток, в горный район Фиама, на территорию агрцев, которые были врагами акарнанцев. Оттуда он ночью спустился на территорию Аргоса и под покровом темноты незаметно прошел между самым Аргосом и акарнанскими войсками в Крæне, чтобы в безопасности присоединиться к трем тысячам амбракиотов в Ольпæ, к их великой радости, ибо они опасались, что враги в Аргосе и Крæне задержат его проход, и, чувствуя недостаточность своих сил для борьбы в одиночку, отправили домой срочные сообщения, требуя большого подкрепления для себя и своей защиты[491].

Таким образом, Демосфен, обнаружив у Ольпеса объединенного и грозного врага, превосходящего его самого по численности, направил свои войска из Аргоса и Кренна, чтобы напасть на них. Местность была пересеченной и гористой, а между двумя армиями лежало крутое ущелье, которое ни одна из них не хотела проходить первой, так что они пролежали в бездействии пять дней. Если бы Геродот был нашим историком, он, вероятно, приписал бы эту задержку неблагоприятным жертвоприношениям (что, возможно, так и было) и привел бы интересные анекдоты о пророках с обеих сторон; но более позитивный и практичный гений Фукидида просто сообщает нам, что на шестой день обе армии привели себя в боевой порядок, - обе, вероятно, устали ждать. На местности, благоприятной для засады, Демосфенес спрятал в заросшей лощине четыреста гоплитов и легковооруженных, чтобы они могли внезапно появиться в разгар боя на пелопоннесском левом фланге, который обходил его справа. Сам он находился справа с мессенцами и некоторыми афинянами, против Эврилоха слева от противника: акарнанцы с амфилохийскими аконтистами, или дартерами, занимали его левую сторону, против амбракийских гоплитов: Амбракиоты и пелопоннесцы, однако, смешались в рядах Эврилоха, и только мантинейцы занимали отдельный участок слева от центра. Началась битва, и Эврилох с превосходящим числом войск стал окружать Демосфена, как вдруг люди из засады поднялись и зашли ему в тыл. Его людей охватила паника, и они не оказали сопротивления, достойного их пелопоннесской репутации: они разбились и бежали, а Эврилох, несомненно, проявив особую храбрость, чтобы восстановить битву, был рано убит. Демосфен, имея под рукой свои лучшие войска, сильно нажал на них, и их паника передалась войскам в центре, так что все они были обращены в бегство и преследовались до Ольпеи. Справа от линии Эврилоха амбракиоты, самые воинственные греки в эпиротических областях, полностью разбили противостоящих им акарнанцев и преследовали их до самого Аргоса. Однако победа Демосфена над оставшимися войсками была настолько полной, что амбракиотам с большим трудом удалось отбить дорогу в Ольпею, что было сделано не без тяжелых потерь и поздно вечером. Из всех побитых войск мантинейцы лучше всех сохранили порядок отступления.[492] Потери в войске Демосфена составили около трехсот человек: у противников они были гораздо больше, но их число не указано.

Из трех спартанских командиров двое, Эврилох и Макарий, были убиты, а третий, Менедей, оказался в осаде и на море, и на суше - афинская эскадра стояла на страже вдоль побережья. Казалось бы, он мог пробиться к Амбракии, тем более что там он встретил бы амбракийское подкрепление, прибывшее из города. Но независимо от того, было ли это возможно или нет, полководец, слишком удрученный, чтобы пытаться это сделать, воспользовался обычным перемирием, предоставленным для погребения мертвых, и начал

переговоры с Демосфеном и акарнанскими генералами, чтобы получить возможность беспрепятственного отступления. В этом ему было категорически отказано, но Демосфен (с согласия акарнанских вождей) тайно сообщил спартанскому полководцу и тем, кто его окружал, а также мантинейцам и другим пелопоннесским войскам, что если они решат отступить отдельно и скрытно, бросив своих товарищей, то им не будет оказано никакого сопротивления: Ибо он хотел таким образом не только изолировать амбракиотов, великих врагов Аргоса и Акарнании, вместе с разношерстными наемниками, пришедшими под началом Эврилоха, но и добиться более постоянного преимущества - опозорить спартанцев и пелопоннесцев в глазах эпирских греков, как трусов и предателей воинского содружества. Сама причина, побудившая Демосфена предоставить отдельную возможность бегства, должна была побудить Менедея и окружавших его пелопоннесцев с негодованием отвергнуть ее: однако они так беспокоились о личной безопасности, что эта позорная конвенция была принята, ратифицирована и немедленно приведена в действие. Это единственный в греческой истории пример отдельной измены офицеров, когда они, чтобы обеспечить себе безопасность, бросают тех, кто находится под их командованием. Если бы офицеры были афинянами, это, несомненно, приводилось бы в качестве примера притворной верности демократии: Но поскольку это был поступок спартанского полководца в союзе со многими ведущими пелопоннесцами, мы можем отметить его только как еще одно проявление внутripелопоннесского эгоизма и небрежного отношения к обязательствам по отношению к внепелопоннесским грекам, которое мы обнаружили столь прискорбно распространенным во время вторжения Ксеркса; в данном случае оно усиливается тем, что покинутые люди были соотечественниками и соратниками дорийцев, которые только что сражались в том же строю.

Как только церемония погребения мертвых была завершена, Менедей и пелопоннесцы, находившиеся под защитой этого тайного соглашения, под предлогом сбора дров и овощей хитростью и небольшими группами скрылись: отойдя на небольшое расстояние, они ускорили шаг и скрылись, к ужасу амбракийцев, которые побежали за ними и попытались догнать их. Акарнанцы преследовали их, и их вождям с большим трудом удалось объяснить им только что заключенный тайный договор. Не без подозрений в предательстве и даже личной опасности со стороны своих собственных войск, они, наконец, заставили беглых пелопоннесцев проявить уважение; в то время как амбракиоты, самые отвратительные из них для акарнанского чувства, были преследованы без всяких ограничений, и две сотни из них были убиты, прежде чем они смогли скрыться на дружественной территории агрцев.^[493] Отличить амбракиотов от пелопоннесцев, схожих по расе и диалекту, было, однако, непростой задачей, и в отдельных случаях возникало много споров.

Как ни несправедлива была эта потеря для Амбракии, ее ждало еще более тяжелое бедствие. Большое подкрепление из города, о котором срочно просил отряд в Ольпее, отправилось в путь, как только его смогли подготовить, и вступило на территорию Амфилохии примерно в то время, когда произошла битва при Ольпее, но, не зная об этом несчастье, надеялось прибыть достаточно скоро, чтобы поддержать своих друзей. На следующий день после битвы амфилохийцы сообщили Демосфену об их походе, а заодно указали ему лучший способ застать их врасплох на изрезанной и гористой дороге, по которой им предстояло идти, у двух заметных вершин, называемых Идоменками, прямо над узким проходом, ведущим дальше к Ольфе. По линии марша амбракиотов было заранее известно, что они отдохнут ночь на нижней из этих двух вершин, чтобы на следующее утро отправиться через перевал. В ту же ночь отряд амфилохийцев под руководством Демосфена занял более высокую из двух вершин, а сам полководец, разделив свои силы на две части, вечером после ужина выступил с позиции в Ольпе. Одна из этих частей, имея в своем распоряжении

проводников-амфилохийцев, направилась по безлюдной горной дороге в Идоменку; другая, под командованием самого Демосфена, прошла прямо через перевал, ведущий из Идоменки в Ольпэ. После ночного марша они достигли лагеря амбракиотов немного раньше рассвета - сам Демосфен со своими мессенцами в фургоне. Неожданность была полной; амбракиоты были найдены все еще лежащими и спящими, и даже дозорные, не знавшие о недавней битве, услышав, как к ним обращаются на дорийском диалекте мессенцы, которых Демосфенес поставил впереди с этой целью, и не видя в утренних сумерках, приняли их за своих сограждан, возвращающихся из другого лагеря. Таким образом, акарнанцы и мессенцы пали среди амбракиотов спящими и безоружными, не имея никакой возможности сопротивляться. Большое число их было уничтожено на месте, а остальные разбежались во все стороны по соседним горам, не зная ни дорог, ни местности; это была страна амфилохийцев, подданных Амбракии, но не привыкших к своему положению и теперь воспользовавшихся своим прекрасным знанием местности и легким вооружением, чтобы страшно отомстить своим хозяевам. Некоторые из амбракиотов запутались в оврагах, другие попали в засады, устроенные амфилохийцами. Другие же, больше всего боясь попасть в руки амфилохийцев, варварских по происхождению и крайне враждебных по чувствам, не видя другой возможности спастись, поплыли к афинским кораблям, курсировавшим вдоль берега. Лишь небольшая часть из них осталась в живых и вернулась в Амбракию[494].

Полная победа над Идоменой, прекрасно подготовленная Демосфеном, была достигнута почти без потерь, и акарнанцы, воздвигнув свой трофей, осквернили мертвых врагов и унесли захваченное оружие в Аргос.

На следующий день их посетил глашатай, прибывший от тех амбракиотов, которые бежали на территорию Агрии после битвы при Ольпе и последующего преследования. Он пришел с обычной просьбой побежденных солдат о разрешении похоронить их мертвых, павших в той погоне. Ни он, ни те, от кого он пришел, ничего не знали о гибели своих братьев в Идомене, как и те, кто был в неведении о поражении в Ольпе; с другой стороны, акарнанцы в лагере, чьи мысли были заняты более недавним и крупным преимуществом в Идомене, предположили, что послание относится к людям, убитым в этой битве. В лагере были свалены в кучу многочисленные паны, только что приобретенные в Идомене, и герольд, увидев их, был поражен размером кучи, настолько она превышала число пропавших без вести в его собственном отряде. Присутствовавший при этом акарнанец спросил о причине его удивления и поинтересовался, сколько его товарищей было убито, имея в виду убитых в Идоменке. "Около двухсот, - ответил глашатай. "Но на этом оружии изображено не столько человек, сколько более тысячи". "Значит, это не оружие тех, кто сражался с нами". "Нет, но это оружие тех, кто сражался вчера в Идомене". "Мы ни с кем не сражались вчера: это было позавчера, при отступлении". "О, тогда вы должны узнать, что вчера *мы* сражались с этими другими, которые шли в качестве подкрепления из города Амбракии".

Несчастный герольд впервые узнал, что большое подкрепление из его города было разбито на куски. Так сильно было его чувство смешанного страдания и удивления, что он издал громкий крик горя и поспешил прочь, не говоря больше ни слова; он даже не стал выполнять свою просьбу о погребении тел погибших, которой, похоже, в этом роковом случае пренебрегли[495].

Его горе было оправдано невероятным масштабом бедствия, которое, по мнению Фукидида, было самым большим, постигшим любой греческий город за все время войны до заключения Никиасского мира; настолько невероятно большим, что, хотя он узнал число убитых, он

отказывается назвать его из опасения, что ему не поверят, - о чем мы, его читатели, имеем все основания сожалеть. Оказывается, почти все взрослое военное население Амбракии было уничтожено, и Демосфенес настоятельно просил акарнанцев немедленно отправиться туда: если бы они согласились, Фукидид положительно говорит нам, что город сдался бы без боя[496]. Но они отказались предпринять это предприятие, опасаясь, по словам историка, что афиняне в Амбракии будут для них более беспокойными соседями, чем амбракийцы. В том, что эта причина действовала, сомневаться не приходится, но вряд ли она была единственной или даже главной; ведь если бы это было так, они бы в равной степени боялись сотрудничества афинян в блокаде Леукаса, которого они настойчиво добивались от Демосфена, и поссорились с ним за отказ. Амбракия была менее близка к ним, чем Леука, и в своем нынешнем истощенном состоянии внушала меньше опасений: но неудовольствие, вызванное прежним отказом Демосфена, вероятно, никогда не было полностью умиротворено, и они не жалели, что нашли возможность нанести ему еще одно оскорбление.

При распределении добычи триста паноплий были сначала выделены в качестве привилегии Демосфена: остальные были распределены: одна треть - афинянам, две трети - акарнанским городам. Огромный резерв, выделенный лично Демосфену, позволяет нам сделать некоторые смутные предположения относительно общей потери амбракиотов. Доля в одну треть, выделенная афинскому народу, должна была быть, как мы можем предположить, в шесть раз больше, а возможно, даже в большей пропорции, чем резерв полководца: ведь последний в то время находился под недовольством народа и стремился прежде всего вернуть его расположение, - цель, которая была бы скорее расстроена, чем достигнута, если бы его личная доля оружия не была значительно несоразмерна коллективным требованиям города. Если исходить из этого предположения, то паноплии, выделенные Афинам, составят восемнадцать сотен, а общее число убитых амбракиотов, чье оружие стало общественной собственностью, - пять тысяч четыреста. К этому следует добавить амбракиотов, убитых амфилохийцами во время бегства из Идомены, в лощинах, оврагах и на обочинах: вероятно, убившие их амфилохийцы присвоили бы оружие себе, не внося его в общий фонд. При таком подсчете общее число амбракиотов, убитых в обоих сражениях и в обеих погонях, составит около шести тысяч: это число соответствует серьезным выражениям Фукидида, а также его заявлениям, что первый отряд, отправившийся в Ольпею, насчитывал три тысячи человек и что в послании, отправленном домой, в качестве подкрепления приводились все силы города. Насколько беспомощной стала Амбракия, еще более убедительно доказывает тот факт, что вскоре после этого коринфяне были вынуждены отправить по суше отряд из трехсот гоплитов для ее защиты[497].

Афинские триремы вскоре вернулись на свою станцию в Нау пактус, после чего между акарнанцами и амфилохийцами, с одной стороны, и амбракиотами и пелопоннесцами, бежавшими после битвы при Ольпее на территорию Салинфия и Агры, с другой, было заключено соглашение, гарантирующее безопасный и неограниченный выход для обоих последних.[498] С амбракиотами было достигнуто более прочное умиротворение: акарнанцы и амфилохийцы заключили с ними мир и союз на сто лет при условии, что они сдадут всю амфилохийскую территорию и заложников, находившихся в их владении, и обязуются не оказывать помощи Анакторию, враждовавшему в то время с акарнанцами. Каждая сторона, однако, сохраняла свой отдельный союз - амбракиоты с Пелопоннесской конфедерацией, акарнанцы с Афинами: было оговорено, что акарнанцы не должны помогать амбракиотам против Афин, а амбракиоты - акарнанцам против Пелопоннесской лиги; но против всех других врагов каждый обязывался оказывать помощь другому[499].

Лично для Демосфена события на побережье Амбракийского залива стали счастливым случаем, заслуженным благодаря его мастерству. Он получил возможность искупить свою неосторожность, допущенную в Итолийской экспедиции, и вновь завоевать расположение афинского народа. Зимой он с триумфом отплыл домой в Афины с припасенным подарком в триста паноплий, которые приобрели дополнительную ценность благодаря тому, что большее количество паноплий, припасенных из добычи для афинского народа, было захвачено в море и так и не достигло Афин. Таким образом, паноплии, привезенные Демосфеном, стали единственным трофеем победы и как таковые были помещены в афинские храмы, где Фукидид упоминает их как все еще существующие в то время, когда он писал[500].

Той же осенью оракул побудил афинян предпринять более полное очищение священного острова Делос. Вероятно, этот шаг был предпринят, чтобы умиловить Аполлона, поскольку они были убеждены, что ужасные эпидемии были вызваны его гневом. И поскольку именно в этот период второй приступ эпидемии, продолжавшийся целый год, исчез, многие из них, вероятно, приписывали это облегчение воздействию их благочестивых забот на Делосе. Все гробницы на острове были вскрыты, тела умерших эксгумированы и перезахоронены на соседнем острове Ренея, и был отдан приказ, чтобы впредь на священном острове не умирали и не рождались. Более того, древний Делийский фестиваль - некогда общий пункт встречи и торжественности для всей ионийской расы, прославленный своими музыкальными состязаниями, до того как лидийские и персидские завоевания подорвали свободу и процветание Ионии - теперь был возобновлен. Афиняне отпраздновали этот праздник с сопутствующими ему состязаниями, даже с гонками на колесницах, более пышно, чем когда-либо в прежние времена; они назначили подобный праздник, который должен был отмечаться каждый четвертый год. В этот период они были исключены как из Олимпийских, так и из Пифийских игр, что, вероятно, сделало возрождение Делийского фестиваля более приятным для них. Религиозное рвение и благотворительность Никиаса ярко проявились на Делосе[501].

ГЛАВА LII. СЕДЬМОЙ ГОД ВОЙНЫ - ВЗЯТИЕ СФАКТЕРИИ.

Вторжение лакедемонян в Аттику стало уже обычным предприятием, которое предпринималось в каждый год войны, кроме третьего и шестого, да и то лишь по случайным причинам; впрочем, на него уже не возлагалось таких надежд, как в начале войны. Нынешней весной Агис, царь Спарты, ввел пелопоннесское войско на эту территорию, кажется, в конце апреля, и повторил обычные опустошения.

Однако казалось, что Коркира станет главной ареной военных действий этого года: изгнанники олигархической партии, вернувшись на остров и укрепившись на горе Истон, с такой активностью вели войну против коркирцев в городе, что там царили бедствия и даже голод, а на помощь агрессорам были посланы шестьдесят пелопоннесских трирем. Как только в Афинах стало известно, как тяжело приходится коркирянам в городе, афинскому флоту из сорока трирем, собиравшемуся отплыть в Сицилию под командованием Эвримедона и Софокла, был отдан приказ остановиться своим плаванием в Коркире и оказать любую помощь, которая может понадобиться.[502] Но во время этого плавания в другом месте произошел случай, которого никто не предвидел и не предполагал, который придал

новый характер и обещание всей войне, - наглядно подтвердив замечания Перикла и Архидама перед ее началом о невозможности предугадать, какой оборот могут принять события.

После блестящих успехов в Амбракийском заливе Демосфенес так высоко поднялся в глазах своих соотечественников, что они по его просьбе разрешили ему подняться на борт и использовать флот для любого спуска, который он сочтет нужным, на побережье Пелопоннеса. Привязанность этого деятельного офицера к мессенцам в Наупакте натолкнула его на мысль посадить их отряд на какой-нибудь хорошо выбранный морской пост на древней мессенской территории, откуда они могли бы постоянно досаждать лакедемонянам и провоцировать восстания среди гелотов, - тем более, что они схожи по расе и диалекту. Мессенцы, активно занимавшиеся каперством и, несомненно, хорошо знавшие все пункты этого побережья, принадлежавшие ранее их предкам, вероятно, указали ему Пилус, расположенный на юго-западном берегу. Это древнее и гомеровское название было применено специально и правильно для обозначения мыса, который образует северное окончание современной бухты Наварино, напротив острова Сфагия, или Сфактерия; хотя в туманном языке весь соседний район, кажется, также назывался Пилус. Обогнув Лаконию, Демосфен просит задержать флот в этом месте надолго, чтобы дать ему возможность укрепить его, обещаясь после этого остаться и поддерживать его гарнизоном. Это был необитаемый мыс, расположенный примерно в сорока пяти милях от Спарты, то есть на таком же расстоянии, как и любая другая часть ее территории, представляющий собой изрезанные скалы и удобный для обороны как с моря, так и с суши; но его дополнительная рекомендация, касающаяся морской мощи Афин, заключалась в том, что он нависал над просторным и безопасным бассейном, который сейчас называется Наваринским заливом. К этому бассейну примыкал островок под названием Сфактерия, или Сфагия (Sphagia, untrod den), необитаемый и заросший лесом, который тянулся вдоль берега примерно на милю и три четверти, оставляя только два узких входа: один на северном конце, напротив места, указанного Демосфеном, настолько узкий, что допускал только две триремы на борт, - другой на южном конце, примерно в четыре раза шире; внутренняя же вода, к которой подходили эти два канала, была просторной и защищенной. Именно на побережье Пелопоннеса, немного не доходя до северного или самого узкого из двух каналов, Демосфенес и предложил поставить свой маленький форт, благо место было очень благоприятным, а в центре мыса находился источник пресной воды[504].

Но Эвримедон и Софокл решительно отвергли все предложения о задержке; и не без оснований, поскольку им сообщили (хотя, казалось бы, неправду), что пелопоннесский флот действительно достиг Коркиры: они могли хорошо помнить о беде, которая произошла за три года до этого из-за задержки подкрепления, посланного в Формион, в ходе нескольких безрезультатных операций на побережье Креты. Флот, не останавливаясь, прошел мимо Пилуса, но страшная буря отбросила его назад и заставила искать убежища в той самой гавани, которую выбрал Демосфенес, - единственной гавани поблизости. Этот офицер воспользовался этим происшествием, чтобы возобновить свое предложение, которое, однако, показалось полководцам химерическим: вокруг Пелопоннеса было много пустынных мысов, сказали они, если бы он решил тратить ресурсы города на их занятие[506], и его доводы в ответ ничуть их не тронули. Оказавшись безуспешным, Демосфенес решил воспользоваться неопределенным разрешением, данным ему афинским народом, и обратиться сначала к солдатам, а в последнюю очередь к таксиархам, или низшим офицерам, и убедить их поддержать его проект, даже вопреки воле командиров. Такое

столкновение авторитетов могло бы вызвать много неудобств: но случилось так, что и солдаты, и таксиархи придерживались того же мнения, что и их командиры, и отказались подчиниться: нас не может удивить такое нежелание, если мы подумаем о кажущейся невероятности сохранения такого поста против огромного реального и еще большего предполагаемого превосходства лакедемонских сухопутных сил. Однако случилось так, что флот задержался там на несколько дней из-за штормовой погоды, так что солдаты, не имея никаких дел, были охвачены спонтанным порывом заняться укреплением и столпились вокруг, чтобы выполнить его со всем рвением жаждущих добровольцев. Отправляясь из Афин, они не имели ни инструментов для рубки камня, ни приспособлений для переноски раствора:[507] поэтому они были вынуждены строить свою стену, собирая такие куски скалы или камни, какие находили, и складывая их вместе, как попало: когда требовался раствор, они подносили его на спине, согнутой внутрь, с руками, соединенными за спиной, чтобы он не выскользнул. Однако эти недостатки были восполнены отчасти беспредельным рвением солдат, отчасти естественными трудностями местности, которая почти не требовала укреплений, кроме как в отдельных местах; работа была завершена в грубой форме за шесть дней, и Демосфенес остался в гарнизоне с пятью кораблями, в то время как Эвримедон с главным флотом отплыл на Коркиру. Экипажи пяти кораблей, два из которых, однако, были отправлены, чтобы предупредить Эвримедона, составляли в общей сложности около тысячи человек: но вскоре прибыли два вооруженных мессенских капера, с которых Демосфенес получил подкрепление в виде сорока мессенских гоплитов, а также запас плетеных щитов, хотя они больше годились для показа, чем для использования, которыми он вооружил своих гребцов. В общей сложности, судя по всему, у него было около двухсот гоплитов, помимо полувооруженных моряков[508].

Известие об этой попытке даже на лакедемонской территории нанести досаду и оскорбление враждебным постом было вскоре передано в Спарту, однако немедленных мер для похода туда принято не было; это объяснялось как природной медлительностью спартанского характера, усиленной проходившим в то время праздником, так и уверенностью в том, что при любом нападении враг будет изгнан. Более сильное впечатление, однако, произвело известие о вторжении лакедемонской армии в Аттику, которая в то же время страдала от недостатка провизии, так как кукуруза еще не созрела, и от необычайно холодной весны: соответственно, Агис отправил их обратно в Спарту, и укрепление Пилуса дало эффект, сократив вторжение до необычайно короткого периода в пятнадцать дней. Подобным образом действовала и защита Коркиры: пелопоннесский флот, недавно прибывший туда или еще находившийся в пути, получил приказ немедленно вернуться для атаки Пилуса. Избежав афинского флота, переправив корабли через перешеек у Леукаса, он достиг Пилуса примерно в то же время, что и лакедемонский сухопутный отряд из Спарты, состоявший из самих спартанцев и соседних периеков: ведь более отдаленные периеки, а также пелопоннесские союзники, только что вернувшиеся из Аттики, были призваны прибыть, как только смогут, но не сопровождали этот первый поход[509].

В последний момент, прежде чем пелопоннесский флот вошел и занял гавань, Демосфен отрядил две из пяти своих трирем, чтобы предупредить Эвримедона и главный флот и попросить немедленной помощи: остальные корабли он вытащил на берег под укреплением, защитив их палисадами, поставленными впереди, и приготовился защищаться наилучшим образом. Расставив большую часть своих войск - некоторые из них были простыми моряками без оружия, а многие лишь полувооруженными - вокруг укреплений, чтобы отражать атаки сухопутных войск, он сам, с шестьюдесятью отборными гоплитами и несколькими лучниками, вышел из укреплений на берег моря. Именно с этой стороны стена была

наиболее слабой, так как афиняне, уверенные в своем морском превосходстве, не позаботились о том, чтобы подготовиться к нападению флота. Поэтому Демосфен предвидел, что основной удар будет нанесен со стороны моря, и единственный шанс на безопасность заключался в том, чтобы не дать врагу высадиться; этой цели способствовал скалистый и опасный берег, который не оставлял кораблям никакой возможности подойти, кроме как по узкому пространству непосредственно под укреплением. Именно здесь он занял пост у самой кромки воды, обратившись к своим людям с несколькими словами ободрения и предупредив их, что сейчас бесполезно проявлять остроту при описании опасностей, которые были слишком очевидны, и что единственный шанс спастись заключается в смелой встрече с врагом, прежде чем он сможет ступить на берег; трудности высадки с кораблей перед лицом сопротивления были известны афинским мореплавателям лучше, чем кому-либо другому[510].

С флотом из сорока трех трирем под командованием Фрасимелида и мощным сухопутным войском, атакующим одновременно, лакедемоняне имели хорошие надежды сразу же взять штурмом скалу, так поспешно превращенную в военный пост. Но поскольку они предвидели, что первая атака может оказаться неудачной и что флот Эвримедона, вероятно, вернется, они решили немедленно занять остров Сфактерия, естественное место, где афинский флот мог бы расположиться для оказания помощи гарнизону на берегу. Соседнее побережье материка Пелопоннес было без гавани и враждебно, так что поблизости не было другого места, где они могли бы расположиться. Лакедемонские военачальники рассчитывали, что смогут механически перекрыть оба входа в гавань триремами, сцепленными вместе, с острова на материк, носами наружу; таким образом, заняв остров и оба канала, они смогут, во всяком случае, не подпустить афинский флот и удержать Демосфена, тесно запертого[511] на Пилусской скале, где его провизия быстро бы его покинула. Исходя из этих соображений, они отобрали по жребию несколько гоплитов из каждой спартанской лохии, сопровождаемых, как обычно, гелотами, и отправили их в Сфактерию; в то время как их сухопутные войска и флот сразу же подошли для атаки укрепления.

О штурме со стороны суши мы почти ничего не слышим: лакедемоняне, как известно, были неумелы в нападении на что-либо похожее на укрепленное место, и, похоже, теперь они не произвели особого впечатления. Но главное напряжение и сила атаки пришлись на морской берег, как и предвидел Демосфен. Место для высадки, даже если оно было практически пригодным, было скалистым и трудным, и настолько узким, что лакедемонские корабли могли подходить только небольшими эскадрами за раз; в то время как афиняне прочно удерживали свои позиции, чтобы ни один человек не смог ступить на сушу. Атакующие триремы гребли с громкими криками и увещеваниями друг друга, стараясь занять такое положение, чтобы гоплиты на носу могли высадиться: но таковы были трудности, вызванные отчасти скалами, а отчасти обороной, что эскадра за эскадрой пытались сделать это безрезультатно. Даже доблестный пример Брасидаса не принес им большего успеха. Этот офицер, командуя триремой и заметив, что некоторые лоцманы, находившиеся рядом с ним, осторожно подводили свои корабли близко к берегу, боясь разбить их о скалы, возмущенно призывал их не жалеть досок своих судов, когда враг оскорбил их, воздвигнув в стране форт: Лакедемоняне, восклицал он, должны высадиться силой, даже если их корабли будут разбиты вдребезги, - и пелопоннесские союзники не должны отступать, жертвуя своими кораблями ради Спарты, в обмен на многочисленные услуги, которые она им оказала.[512] Брасидас, как в исполнении, так и в увещеваниях, заставил своего лоцмана подвести корабль вплотную и лично вышел на трап, чтобы первым спрыгнуть на берег. Но тут на него обрушилось все оружие афинских защитников, которые отбили его и нанесли ему столько ран, что он потерял сознание и упал назад в носовую или переднюю часть триремы, за

гребцами, а его щит, выскользнув из руки, упал и покатился за борт в море. Его корабль, как и остальные, вынужден был удалиться, так и не высадив десант: все эти атаки с моря, повторявшиеся в течение целого дня и части следующего, были отбиты Демосфеном и его маленьким отрядом с победной храбростью. Обеим сторонам казалось странным изменением обычных отношений,[513] что афиняне, по сути своей морские, должны сражаться на суше - и притом на лакедемонской земле - против лакедемонян, отборных сухопутных воинов Греции, которые теперь находились на кораблях и тщетно пытались высадиться на свой собственный берег. В честь своего успеха афиняне воздвигли трофей, главным украшением которого стал щит Брасидаса, выброшенный на берег водой.

На третий день лакедемоняне не стали повторять атаку, а отправили часть своих судов в Асинк, в Мессенский залив, за лесом для постройки таранных машин; которые они намеревались применить против стены Демосфена со стороны гавани, где она была выше и не могла быть атакована без машин, но где в то же время было очень удобно высаживаться, - ведь предыдущая атака была предпринята со стороны моря, где стена была ниже, но трудности высадки были непреодолимы.[514] Но прежде чем эти корабли вернулись, положение дел серьезно изменилось из-за нежелательного возвращения афинского флота из Закинфа под командованием Эвримедона, усиленного четырьмя хианскими кораблями и некоторыми сторожевыми кораблями в Наупакте, так что теперь набралось пятьдесят парусов. Афинский адмирал, обнаружив, что вражеский флот владеет гаванью, и видя, что остров Сфактерия занят, а противоположный берег покрыт лакедемонскими гоплитами,[515] - ведь теперь прибыли союзники из всех частей Пелопоннеса, - тщетно искал место для высадки и не смог найти никакой другой ночной стоянки, кроме необитаемого острова Прот, расположенного не очень далеко. Отсюда он утром отплыл в Пилус, приготовившись к морскому сражению, - надеясь, что, возможно, лакедемоняне выйдут сражаться с ним в открытое море, но решив, если этого не произойдет, пробиться внутрь и напасть на флот в гавани; ширина моря между Сфактерией и материком была достаточной для морского маневра.[516] Лакедемонские адмиралы, видимо, сбитые с толку скоростью возвращения афинского флота, и не думали выходить из гавани для боя, и даже не реализовали свой план блокирования двух входов в гавань триремами, тесно сцепленными между собой. Оба входа были оставлены открытыми, хотя они решили защищаться внутри: но и здесь их меры предосторожности были столь несовершенны, что несколько трирем еще были пришвартованы, а гребцы не полностью поднялись на борт, когда афинские адмиралы вплыли сразу через оба входа, чтобы напасть на них. Большинство лакедемонских трирем, находившихся на плаву и в боевом состоянии, некоторое время сопротивлялись нападению, но в конце концов были побеждены и отброшены к берегу, причем многие из них получили серьезные повреждения. [Пять из них были захвачены и отбуксированы, одна - со всей командой на борту, а афиняне, энергично продолжая добиваться успеха, бросились на те, что укрылись на берегу, а также на те, что не были укомплектованы в момент начала атаки и не успели подняться на плаву или вступить в бой. Некоторые из побежденных трирем, покинутые своими экипажами, выскочили на сушу, и афиняне уже собирались отбуксировать их, когда лакедемонские гоплиты на берегу оказали новое упорное сопротивление. Возбужденные до предела свидетельством позорного поражения своего флота и осознанием жестоких последствий, которые могли бы наступить, они со всем вооружением вошли в воду, схватили корабли, чтобы их не утащили, и вступили в отчаянную схватку, чтобы отразить нападавших: мы уже видели подобный акт храбрости за два года до этого со стороны мессенских гоплитов, сопровождавших флот Формиона у Наупакта.[518] Необычайная смелость и доблесть была проявлена с обеих сторон, как при нападении, так и при обороне, и такой шум и смятение, что ни сухопутное мастерство лакедемонян, ни морское мастерство афинян не принесли большой пользы: поединок был личным и со

значительными страданиями с обеих сторон. В конце концов лакедемоняне добились своего и спасли все корабли на берегу; ни один не был унесен, кроме тех, что были захвачены первыми. Таким образом, обе стороны разошлись: афиняне удалились в крепость Пилус, где их, несомненно, приветствовали с переполнявшей их радостью товарищи, и где они воздвигли трофей в честь своей победы, отдав мертвых врагов для погребения и подобрав плавающие обломки и куски[519].

Но главная награда победы заключалась не в пяти захваченных кораблях и не в облегчении, оказанном осажденным в Пилусе. Она заключалась в гоплитах, занявших остров Сфактерия, которые теперь были отрезаны от материка, а также от всех припасов. Афиняне, триумфально проплывая вокруг него, уже считали их своими пленниками, а лакедемоняне на противоположном материке, глубоко огорченные, но не знающие, что делать, послали в Спарту за советом. Положение было настолько серьезным, что эфоры немедленно прибыли на место лично. Поскольку они все еще могли собрать шестьдесят трирем, большее число, чем афиняне, - помимо больших сил на суше и полного распоряжения ресурсами страны, - в то время как афиняне не имели на берегу ничего, кроме сжатого мыса Пилуса, можно было предположить, что напряженная попытка переправить пленный отряд через узкий пролив на материк имела бы неплохие шансы на успех. И, вероятно, если бы командовали Демосфенез или Брасидас, такая попытка была бы предпринята. Но мужество лакедемонян было скорее стойким и непреклонным, чем авантюрным; кроме того, превосходство афинян на море действовало на умы людей как бы завораживающе, подобно тому, как спартанцы действовали на суше; так что эфоры, достигнув Пилуса, впали в отчаяние от своего положения и послали глашатая к афинским генералам с предложением перемирия, чтобы дать посланцам время отправиться в Афины и заключить мир.

На это согласились Эвримедон и Демосфенес, и перемирие было заключено на следующих условиях: Лакедемоняне согласились сдать не только все свои триремы, стоящие в гавани, но и все остальные, находящиеся в их портах, общим числом шестьдесят; кроме того, воздержаться от всякого нападения на крепость в Пилусе, как по суше, так и по морю, на время, необходимое для отправки посланников в Афины и для их возвращения, которое должно быть осуществлено на афинской триреме, предоставленной для этой цели. Афиняне со своей стороны обязались воздерживаться от любых военных действий в течение этого времени; однако было решено, что они должны строго и неусыпно следить за островом, но не высаживаться на него. Для пропитания отряда на острове лакедемонянам было разрешено ежедневно присылать по два куска ячменной муки в готовых лепешках, два котила вина[520] и немного мяса на каждого гоплита, а также половину этого количества на каждого из сопровождающих его гелотов; но все это должно было делаться под наблюдением афинян, с неременным обязательством не присылать никаких тайных дополнительных припасов. Кроме того, было четко оговорено, что если хоть одно положение перемирия, малое или большое, будет нарушено, то все оно будет считаться недействительным. Наконец, афиняне обязались по возвращении посланников из Афин вернуть триремы в том же состоянии, в каком они их получили.

Такие условия в достаточной мере свидетельствуют об унижении и беспокойстве лакедемонян, а сдача всего их военно-морского флота в количестве шестидесяти трирем, которая была немедленно приведена в исполнение, в то же время показывает, что они искренне верили в возможность заключения мира. Прекрасно понимая, что они сами были зачинщиками войны в то время, когда афиняне желали мира, и что последние к тому же делали бесплодные предложения, находясь под давлением эпидемии, они полагали, что в

Афинах все еще царят те же настроения и что их нынешние мирные пожелания будут с такой радостью приняты, что они без труда добьются отказа от пленных в Сфактерии[521].

Лакедемонские посланники, доставленные в Афины на афинской триреме, предстали перед общественным собранием, чтобы, согласно обычаю, изложить свою миссию, предварив свое обращение извинениями за ту краткость речи, которая присуща их стране. По сути, их предложение было очень простым: "Отдайте нам людей на острове и примите, в обмен на эту услугу, мир с союзом Спарты". Они отстаивали свою позицию, обращаясь к Афинам с призывами, хорошо продуманными и примирительными, отчасти к великодушию, но в большей степени к благоразумному расчету; явно признавая высокое и славное положение, на котором она сейчас находилась, а также свое собственное униженное достоинство и более низкое положение.[522] Они, лакедемоняне, первая и величайшая держава Греции, теперь были поражены неблагоприятной военной судьбой, и это без их собственных проступков, так что они впервые были вынуждены просить врага о мире, который Афины имели драгоценную возможность предоставить, не только с честью для себя, но и таким образом, чтобы создать в их умах неизгладимую дружбу. И Афинам следовало использовать свою нынешнюю удачу, пока она у них есть, - не рассчитывать на ее постоянство и не злоупотреблять ею чрезмерными требованиями; ее собственное императорское благоразумие, как и нынешние обстоятельства спартанцев, могли бы научить ее, как неожиданно происходят самые катастрофические потери. Предоставив просимое, она могла бы заключить мир, который был бы гораздо более прочным, чем если бы он был основан на вымогательских уступках ослабленного врага, потому что он опирался бы на спартанскую честь и благодарность; чем сильнее была прежняя вражда, тем сильнее были бы реакционные настроения.[Но если Афины теперь откажутся, и если при дальнейшем ведении войны погибнут люди в Сфактерии, - к уже существующим, которые касались скорее Спарты как главы Пелопоннесской конфедерации, добавится новый и неоспоримый повод для ссоры,[524] свойственный самой Спарте. Приняв предложение спартанцев, Афины заслужили бы не только добрую волю и благодарность; она приобрела бы еще большее благоволение и славу, даровав Греции мир, который все греки признали бы ее поступком. А когда две главенствующие державы, Афины и Спарта, будут установлены в сердечной дружбе, остальные греческие государства окажутся слишком слабыми, чтобы противостоять тому, что они оба могут предписать"[525].

Таков был язык, которого придерживались лакедемоняне на собрании в Афинах. Он был хорошо рассчитан для их целей, хотя, когда мы возвращаемся к началу войны и читаем возвышенные заявления спартанских эфоров и собрания о несправедливости своих союзников и необходимости добиться от Афин полного возмещения ущерба, контраст действительно поразителен. В данном случае лакедемоняне действовали исключительно из собственных интересов и соображений необходимости; они отделились от своих союзников и запросили для себя особого мира с такой же беспечностью, как спартанский полководец Менедей в предыдущем году, когда после битвы при Ольпее он отказался от своих амбракийских союзников, чтобы заключить отдельный капитуляционный договор с Демосфеном.

Однако то, как Афины должны были поступить с предложением, было далеко не очевидно. По всей вероятности, трирема, доставившая лакедемонских посланников, принесла и первые новости о том непредвиденном и мгновенном повороте событий, который сделал спартанцев в Сфактерии пленниками - так тогда считалось - и отдал в их руки весь лакедемонский флот, что придавало войне совершенно новый характер. Внезапное прибытие

столь впечатляющих сведений, поразительное присутствие лакедемонских посланников с оливковой ветвью и в униженном виде, должно было вызвать у восприимчивой афинской публики эмоции чрезвычайной интенсивности, воодушевление и уверенность, каких, вероятно, никогда не испытывали со времен покорения Самоса. Поначалу было трудно оценить всю важность новой ситуации, и даже сам Периклес, возможно, сомневался, что ему посоветовать: но у широкой публики сразу же сложилось впечатление, что Афины теперь могут выдвигать свои условия в качестве компенсации за пленников на острове. [Клеон^[526] стал выразительным органом этой господствующей тенденции, как он это сделал за три года до этого в приговоре, вынесенном митиленейцам; человек, который, подобно ведущим журналам современности, часто, казалось, руководил публикой, потому что он горячо выражал то, что они уже чувствовали, и проводил это в жизнь в его побочных выводах и последствиях. В данном случае он, несомненно, говорил с самым искренним убеждением; ведь он был полон чувств афинской силы и афинского императорского достоинства, а также был склонен к сангвиническому взгляду на будущие шансы. Более того, в открывшейся дискуссии, где оставалось много места для сомнений, он выступил с предложением, одновременно простым и решительным. Напомнив афинянам о позорном тридцатилетнем перемирии, на которое они были вынуждены согласиться из-за несчастий того времени, за четырнадцать лет до Пелопоннесской войны, Клеон настаивал на том, что сейчас настало время Афинам вернуть то, что они тогда потеряли - Ниссею, Пегею, Трезен и Ахайю. Он предложил, чтобы Спарта вернула их Афинам в обмен на солдат, заблокированных сейчас в Сфактерии; после этого можно заключить перемирие на срок, который будет сочтен целесообразным.

Это постановление, принятое собранием, было передано в качестве ответа Афин лакедемонским посланникам, которые, вероятно, удалились после своего первого обращения и теперь снова были посланы в собрание, чтобы выслушать его. Узнав о резолюции, они не стали комментировать ее суть, а предложили афинянам назвать уполномоченных, которые могли бы свободно и обдуманно обсудить с ними подходящие условия для умиротворения. Тут, однако, Клеон обрушился на них с гневным упреком. По его словам, он с самого начала думал, что они пришли с нечестными целями, но теперь все стало ясно: ничего другого не могло означать это желание договориться с несколькими людьми, не считаясь с общей массой. Если у них действительно есть какое-либо справедливое предложение, он призвал их открыто заявить о нем всем. Но посланники не могли заставить себя сделать это. Вероятно, они прибыли с полномочиями пойти на определенные уступки, но объявить об этом немедленно означало бы сделать переговоры невозможными, к тому же опозорить их перед союзниками. Такое бесчестие было бы также без всякой выгоды, если бы афиняне в конце концов отвергли условия, что, судя по настроению собравшихся, было слишком вероятным. Кроме того, они совершенно не умели вести переговоры с общественным собранием - такие дискуссии были настолько редки, что практически не встречались в лакедемонской системе. Чтобы ответить на обличение такого пылкого оратора, как Клеон, требовались готовность к речи, ловкость и самообладание, которые они не имели возможности приобрести. Они промолчали, удрученные оратором и запуганные нравом собравшихся: на этом их миссия была завершена, и они были вновь доставлены на триreme в Пилус^[528].

Вероятно, если бы эти посланники смогли дать эффективный ответ Клеону и защитить свое предложение от обвинения в мошенничестве, их поддержали бы Никиас и несколько ведущих афинян, так что собрание могло бы, по крайней мере, рассмотреть вопрос о частной

дискуссии между дипломатическими агентами обеих сторон. Но в данном случае было совершенно необходимо, чтобы посланники выступили с защитой, которую Никиас мог бы эффективно поддержать, но не мог инициировать: поскольку они были некомпетентны в этом вопросе, все дело сорвалось. В дальнейшем мы найдем и другие примеры, когда неспособность лакедемонских посланников встретить открытые дебаты афинской политической жизни приводила к плачевным результатам. В данном случае предложение посланников заключить договор с избранными комиссарами было не только вполне разумным, но и давало единственную возможность - хотя, конечно, не уверенность - окончательного умиротворения, и маневр, с помощью которого Клеон дискредитировал его, был грубым злоупотреблением публичностью, небезызвестным в современной, хотя и более частым в древней политической жизни. Клеон, вероятно, полагал, что если будут названы комиссары, то ими станут Никиас, Лахес и другие политики того же ранга и цвета кожи; люди, чье стремление к миру и союзу со Спартой сделает их слишком покладистыми и беспечными в обеспечении интересов Афин; и когда мы перейдем к описанию поведения Никиаса четыре года спустя, станет ясно, что это подозрение было небезосновательным.

К сожалению, Фукидид, описывая ход этого собрания, столь важного по своим последствиям, поскольку оно прервало многообещающую возможность заключения мира, как обычно, краток - рассказывает только о том, что сказал Клеон и что было решено собранием. Но хотя о Никиасе и его сторонниках ничего не говорится, из других источников мы узнаем и можем сделать вывод из того, что произошло впоследствии, что они решительно выступали против Клеона и холодно смотрели на последующее предприятие против Сфактерия как на его своеобразную меру[529].

Принято считать, что отстранение лакедемонских посланников по этому случаю - своеобразный пример демократической глупости. Но переоценка перспективных шансов, вытекающих из успеха, в степени более экстравагантной, чем та, в которой сейчас были виновны Афины, отнюдь не свойственна демократии. Другие правительства, противоположные демократии не только по нравам, но и по форме, - способный деспот, как император Наполеон, и могущественная аристократия, как в Англии, [530] - находили успех в полной мере, как и введение в заблуждение. То, что Афины хотели извлечь выгоду из этой неожиданной удачи, было вполне разумно: то, что она воспользовалась ею, чтобы вернуть себе преимущества, от которых раньше вынуждали отказываться несчастья, было чувством неестественным. А вот было ли требование чрезмерным и насколько - это вопрос, который всегда является одним из самых неудобных для любого правительства - царского, олигархического или демократического.

Однако можно отметить, что Клеон придал афинским чувствам невежливый оборот, направив их на полное и буквальное возвращение утраченного за двадцать лет до этого. Если не рассматривать его четырехкратное требование как муку, которая будет изменена в ходе последующих переговоров, то оно выглядит правдоподобным, но мало дальновидным и мудрым: Ведь хотя, с одной стороны, оно требовало от Спарты отдать многое, что не принадлежало ей и должно было быть вырвано силой у союзников, - с другой стороны, положение Афин было не таким, как в момент заключения тридцатилетнего перемирия; не похоже, что восстановление Ахайи и Трезена имело бы для нее какую-либо существенную ценность. Ниссея и Пегея - что было бы равносильно целой Мегариде, поскольку сама Мегара вряд ли могла быть удержана, если бы оба ее порта находились во владении врага, - была бы, действительно, очень ценной, поскольку тогда она могла бы защитить свою территорию от вторжения из Пелопоннеса, к тому же обладая портом в Коринфском заливе. И кажется, что если бы сейчас были назначены компетентные уполномоченные для частного

обсуждения с лакедемонскими посланниками, то при нынешнем настоятельном желании Спарты, в сочетании с ее готовностью отказаться от своих союзников, этот важный пункт мог бы быть продавлен и реализован в обмен на Сфакторию. Но даже если бы такое приобретение было признано неосуществимым, афиняне все равно смогли бы достичь договоренности, которая расширила бы брешь и разрушила доверие между Спартой и ее союзниками; для них это было очень важно. Поэтому при нынешнем настроении Спарты были все основания попробовать, что можно сделать путем переговоров, и шаг, которым Клион резко оборвал эти надежды, был явно недобрым.

Когда посланцы безрезультатно вернулись в Пилус,^[531] через двадцать дней после их отъезда оттуда, перемирие немедленно прекратилось, и лакедемоняне потребовали триремы, которые они сдали. Но Эвримедон отказался выполнить это требование, утверждая, что лакедемоняне во время перемирия предприняли обманную попытку заставить врасплох Пилусскую скалу и, кроме того, нарушили условия перемирия; в то время как в перемирии было четко оговорено, что нарушение одной из сторон даже самого незначительного из его условий должно отменить все обязательства с обеих сторон. Фукидид, не высказывая своего мнения, скорее намекает, что для отказа не было справедливых оснований: хотя если бы случайное ослабление бдительности предоставило лакедемонянам возможность удивить Пилус, они, скорее всего, воспользовались бы ею, видя, что таким образом отгонят афинский флот от единственного места высадки и сделают невозможной дальнейшую блокаду Сфактории. Однако, как бы то ни было, Эвримедон упорствовал в своем отказе, несмотря на громкие протесты лакедемонян против его вероломства. Военные действия были энергично возобновлены: лакедемонская армия на суше снова начала атаковать укрепления Пилуса, а афинский флот стал вдвойне бдительным в блокаде Сфактории, в которой он был усилен двадцатью новыми кораблями из Афин, составляя в общей сложности флот из семидесяти трирем. Два корабля постоянно гребли вокруг острова в противоположных направлениях в течение всего дня, а ночью весь флот стоял на вахте, за исключением морской стороны острова в штормовую погоду^[532].

Блокада, однако, вскоре оказалась более полной лишений для самих осаждающих и более трудной для соблюдения в отношении острова и его обитателей, чем предполагалось изначально. Афиняне сильно страдали от недостатка воды; у них был только один действительно хороший источник в укреплении самого Пилуса, совершенно недостаточный для снабжения большого флота: Многие из них были вынуждены скрести галечник и пить солоноватую воду, какую только могли найти; корабли же и люди постоянно находились на плаву, так как отдохнуть и подкрепиться они могли, только высаживаясь на скалу Пилуса или даже на край самой Сфактории, со всеми шансами быть прерванными врагом, - другого места для высадки не было,^[533] а древние триремы не давали возможности ни поесть, ни поспать. Поначалу все это терпеливо переносилось в надежде, что Сфактория будет быстро выморена голодом, а спартанцы будут вынуждены возобновить требование о капитуляции: но такого требования не последовало, и афиняне на флоте постепенно заболели телом, а также стали нетерпеливыми и злыми духом. Несмотря на всю их бдительность, тайные поставки провизии постоянно попадали на остров, соблазняясь большими вознаграждениями, предложенными спартанским правительством. Способные пловцы ухитрялись переплывать пролив, волоча за собой на веревках шкуры, набитые льняным и маковым семенем, смешанным с медом; а торговые суда, в основном укомплектованные гелотами, отправлялись с разных концов лаконского побережья, выбирая по преимуществу бурные ночи и подвергаясь любому риску, чтобы вывести свое судно с грузом на берег острова со стороны моря в то время, когда афинские сторожевые корабли не могли быть начеку.^{[Их мало заботило повреждение судна при высадке, если только они могли доставить}

груз на берег; ведь им была гарантирована достаточная компенсация, а также освобождение каждого хелота, которому удалось добраться до острова с припасами. Хотя афиняне удвоили бдительность и переловили многих из этих дерзких контрабандистов, все же нашлись и те, кто ускользнул от них: к тому же пайки, поставляемые на остров по договоренности во время отсутствия посланников на пути в Афины, были настолько обильны, что командир Эпитадас мог экономить и таким образом дольше сохранять запасы. Неделя проходила за неделей без каких-либо признаков капитуляции, и афиняне не только ощущали нынешние страдания от своего положения, но и опасались за свои припасы, доставленные морем вокруг Пелопоннеса на этот далекий и голый берег. Они даже начали сомневаться в том, что блокада может продолжаться бесконечно долго, если не случится такой бурной погоды, какая, вероятно, наступит в конце лета. В таком состоянии усталости и неуверенности деятельный Демосфенез начал организовывать наступление на остров с целью захвата его силой. Он не только послал за войсками к соседним союзникам, Закинфу и Наупакту, но и передал в Афины настоятельную просьбу о предоставлении ему подкреплений для этой цели, прямо указав и на неудобное состояние вооружения, и на бесперспективность простой блокады[535].

Прибытие этих посланников вызвало бесконечную тревогу у афинян дома. Задолго до этого ожидавшие услышать, что Сфактерия сдалась, они теперь были вынуждены считать сомнительным даже окончательное завоевание: они были удивлены тем, что лакедемоняне не прислали новых посланников с просьбой о мире, и начали подозревать, что такое молчание было основано на вполне обоснованных надеждах на то, что им удастся продержаться. Но больше всех был обескуражен Клеон, который заметил, что народ теперь сожалеет о своем оскорбительном отказе от лакедемонского послания и недоволен им как его автором; в то время как его многочисленные политические враги, напротив, радовались такому повороту событий, поскольку это открывало возможность погубить его. Сначала Клеон утверждал, что посланники исказили факты; в ответ на это последний попросил, чтобы в случае недоверия к их точности для проверки были посланы инспекционные комиссары, и сам Клеон вместе с Теогонесом был немедленно назначен на эту должность.

Но Клеон не собирался отправляться в Пилус в качестве комиссара, поскольку его недоверие к этому заявлению было лишь общим подозрением, не основанным на каких-либо положительных доказательствах: кроме того, он видел, что диспозиция собрания склонялась к тому, чтобы выполнить просьбу Демосфена и послать подкрепление. Поэтому он сразу же изменил свой тон: "Если вы действительно верите в эту историю (сказал он), не теряйте времени на отправку комиссаров, а сразу же отплывайте, чтобы захватить людей. Если бы наши генералы были *мужчинами* (здесь он с упреком указал на своего врага Никиаса, тогдашнего стратига[536]), было бы легко с надлежащими силами отплыть и захватить солдат на острове. Так по крайней мере поступил бы я, будь я генералом". Его слова сразу же вызвали враждебный ропот со стороны части собрания: "Почему же ты не отплываешь сразу, если считаешь дело таким легким?" Никиас, вняв этому ропоту и радуясь, что поймал своего политического врага в ловушку, выступил вперед и призвал его к безотлагательному осуществлению задуманного, заявив, что он и его коллеги готовы предоставить ему любую часть военных сил города, которую он пожелает попросить. Клеон сначала не согласился с этим предложением, считая, что это просто хитрость в споре и несерьезные намерения; но как только он убедился, что сказанное действительно имеет смысл, он попытался отступить и заметил Никиасу: "Это твое дело плыть: *ты* генерал, а не я".[537] В ответ Никиас лишь повторил свое увещание, формально отказавшись от командования против Сфактерии и

призвал афинян вспомнить сказанное Клеоном, а также удержать его при исполнении обязательства. Чем больше Клеон пытался уклониться от выполнения долга, тем громче и единодушнее становились крики собравшихся о том, что Никиас должен передать его ему и что он должен взять его на себя. Наконец, видя, что отступать уже нельзя, Клеон нехотя согласился и вышел вперед, чтобы объявить о своем намерении в решительной речи: "Я нисколько не боюсь лакедемонян (сказал он): Я отплыву, не взяв с собой даже гоплитов из обычного афинского списка, а только лемнийских и имбрийских гоплитов, которые сейчас находятся здесь (то есть афинских клерухов или горожан, имевших имущество на Лемносе и Имбросе и обычно проживавших там), вместе с некоторыми пельтастами, привезенными из Эноса во Фракии, и четырьмя сотнями лучников. С этой силой, добавленной к той, что уже находится в Пилосе, я намереваюсь в течение двадцати дней либо привести лакедемонян в Сфакторию в качестве пленников, либо убить их на острове". Афиняне, как отмечает Фукидид, несколько посмеялись над распушенностью языка Клеона; но благоразумные люди с удовольствием подумали, что одно из двух преимуществ теперь несомненно: либо они избавятся от Клеона, что, по их мнению, было наиболее вероятным и наиболее желательным решением, либо, если они ошиблись в этом вопросе, лакедемоняне на острове будут убиты или захвачены.^[538] Соответственно, было принято решение о немедленном отплытии Клеона, который назначил Демосфена своим коллегой по командованию и сразу же послал в Пилус сообщение о том, что он собирается отправиться с требуемым подкреплением.

Эта любопытная сцена, интересная тем, что вскрывает внутренние переживания афинского собрания, при правильном рассмотрении наводит на размышления, сильно отличающиеся от тех, которые обычно с ней связывают. Большинство историков считают ее просто проявлением легкомыслия или глупости афинского народа, который, как предполагается, наслаждался прекрасной шуткой, поставив во главе этого предприятия некомпетентного человека против его собственной воли, чтобы позабавиться его промахами: Таким образом, Клеон презрен, а афинский народ смешон. Конечно, если бы этот народ был склонен вести свои государственные дела, руководствуясь такими детскими капризами, как здесь подразумевается, он представлял бы собой совсем иную фигуру, чем та, которую нам представляет история. Правда в том, что в отношении предполагаемой распушенности языка Клеона, вызвавшей большой или меньший смех среди присутствующих, не было никого по-настоящему смешного, кроме самих смеющихся: ведь заявление, которое он сделал, было настолько далеко от экстравагантности, что было реализовано в точности, и реализовано, добавим, без какой-либо особой помощи со стороны непредвиденных благоприятных случайностей. Чтобы показать, насколько это соответствует действительности, достаточно сравнить шутов до этого факта с шутами после него. В то время как первые высмеивают Клеона как обещателя экстравагантных и невозможных результатов, Аристофан в своей комедии о рыцарях, примерно через шесть месяцев после этого,^[539] смеется над ним как над ничем не достигшим, - как над хитроумно поставившим себя на место Демосфена и укравшим у этого полководца славу взятия Сфактерии, после того как все трудности предприятия были уже преодолены, а "пирог готов", по выражению комического поэта, "испечен". Обе шутки - преувеличения в противоположных направлениях; но последняя по времени, если она вообще хороша по отношению к Клеону, - это язвительный сарказм в адрес тех, кто высмеивал Клеона как экстравагантного хвастуна.

Если мы намерены справедливо сравнить поведение Клеона с поведением его политических противников, мы должны различать два случая: первый - тот, в котором он сорвал мирную миссию лакедемонских посланников; второй - последующая задержка и дилемма, которая была недавно описана. В первом случае его совет был ошибочным как с точки зрения

политики, так и оскорбительным: его оппоненты, предлагавшие обсуждение вопроса специальными комиссарами как справедливый шанс для достижения почетных условий мира, придерживались более справедливого взгляда на государственные интересы. Но дело полностью изменилось, когда миссия по заключению мира (мудро или неразумно) была сорвана, а судьба Сфактерия была поставлена на карту войны. Тогда появились настоятельные причины для энергичного продолжения войны и использования всех сил, необходимых для захвата этого острова. И если посмотреть на это с другой стороны, то мы увидим, что в поведении Клеона не было ничего такого, за что его можно было бы упрекнуть или высмеять; в то время как его политические противники, в том числе и Никиас, прискорбно робки, невежественны и безрассудны в отношении общественных интересов; они стремятся лишь превратить существующее разочарование и дилемму в возможность погубить его.

Предоставить подкрепление, о котором просил Демосфенес, было, очевидно, правильной мерой, и Клеон видел, что народ согласится с ним, предложив это: но в то же время у него были веские основания упрекать Никиаса и других стратегов, чьей обязанностью было выступить с этим предложением, в том, что они умолкли и оставили дело на самотек, как будто это было дело Клеона, а не их. Его насмешка: "Вот что бы я сделал, будь я генералом", была просто фразой в пылу дебатов, которую, должно быть, очень часто использовали, без всякой мысли со стороны слушателей истолковать ее как обещание, которое оратор должен был выполнить: для Клеона не было позором отказаться от обвинения, которого он никогда не добивался, и признать свою некомпетентность в командовании. Причина, по которой его заставили занять этот пост, несмотря на его собственное безоговорочное нежелание, заключалась не в том, что афинский народ любил шутки, как полагают некоторые историки, а в двух чувствах, оба совершенно серьезные, которые разделяли собрание, - чувствах, противоположных по своей природе, но совпавших в этом случае и приведших к одному и тому же результату. Его враги громко призывали его вперед, предвидя, что предприятие, затеянное им, потерпит неудачу и что он таким образом будет погублен: его друзья, понимая этот маневр, но не разделяя таких ожиданий и приписывая его нежелание скромности, тем более горячо высказывались в защиту своего вождя и отвечали на презрительные возгласы искренними возгласами поддержки. "Почему бы тебе не попробовать свои силы в этом предприятии, Клеон, если ты считаешь его таким легким? Ты скоро поймешь, что это слишком для тебя", - кричали его враги, а друзья отвечали: "Да, конечно, попробуй, Клеон, во что бы то ни стало попробуй: не отступай; мы ручаемся, что ты с честью выйдешь из этого дела, и мы поддержим тебя". Такое подбадривание и подбадривание как раз соответствует нраву оживленной толпы, как утверждает Фукидид^[540], разделенной по чувствам; и друзья, и враги, таким образом, объединились, чтобы навязать Клеону принуждение, от которого нельзя уклониться. Из всех сторон, о которых здесь идет речь, наиболее бесславно ведут себя Никиас и его друзья-олигархи; они заставляют политического врага принять верховное командование вопреки его собственному решительному протесту, убежденные, что он потерпит неудачу, поставив под угрозу жизни многих солдат и судьбы государства в чрезвычайной ситуации, - но при этом удовлетворяя себя мыслью, что они приведут его к позору и гибели.

Следует заметить, что Никиас и его товарищи по стратегии отступили в этом случае отчасти потому, что действительно боялись долга. Они ожидали, что в Сфактерии будет оказано сопротивление до смерти, подобное тому, что было при Фермопилах: в этом случае, хотя победа, возможно, и будет одержана превосходящими силами нападающих, она не будет достигнута без большого кровопролития и опасностей, а также без необратимой ссоры со Спартой. Если Клеон более правильно оценил шансы, то он должен получить за это похвалу,

как тот, кто "bene ausus vana contemnere". И кажется вероятным, что если бы он не поддержал просьбу Демосфена о подкреплении, - вернее, если бы он не был поставлен так, что вынужден был выступить вперед, - Никиас и его друзья отказались бы от этого предприятия и возобновили бы переговоры о мире при обстоятельствах, не почетных и не выгодных для Афин. Таким образом, Клеон стал одним из главных авторов самого важного успеха, которого Афины добились за всю войну.

Прибыв к Демосфену с подкреплением, Клеон обнаружил, что тот уже всю готовится к нападению, а солдаты в Пилусе с нетерпением ждут начала агрессивных действий, которые избавили бы их от утомительной блокады. В последнее время Сфактерия стала более открытой для нападения из-за случайного возгорания леса, возникшего в результате пожара, разожженного афинскими моряками, высадившимися на берег и готовившими себе пищу: под воздействием сильного ветра большая часть дерева на острове загорелась и была уничтожена. Для Демосфена эта случайность была особенно приятной, так как болезненный опыт поражения на покрытых лесом холмах Этолии научил его, как трудно нападающим справиться с врагом, которого они не видят и который знает все хорошие точки обороны в стране. [541\]](#) Таким образом, остров был лишен леса, и он смог осмотреть гарнизон, подсчитать его численность и на основе определенных данных составить план нападения. Он также впервые обнаружил, что занижил реальную численность гарнизона, поскольку до этого подозревал, что лакедемоняне прислали пайки на большее количество людей, чем было на самом деле. Всего на острове находилось четыреста двадцать лакедемонских гоплитов, из которых более ста двадцати были коренными спартамцами, принадлежавшими к первым семьям города. Полководец Эпитада с главным отрядом занял центр острова, возле единственного источника воды, который здесь был: [542\]](#) передовой отряд из тридцати гоплитов был размещен недалеко от берега моря, в самом дальнем от Пилуса конце острова; конец же, непосредственно обращенный к Пилусу, особенно крутой и изрезанный и содержащий даже грубый круг из камней неизвестного происхождения, служивший своего рода защитой, был занят как резервный пост [543\]](#).

Такова была добыча, которую Клеон и Демосфен стремились захватить. В день прибытия первого они послали к лакедемонским полководцам на материке глашатая с предложением сдать гоплитов на острове, при условии, что они будут просто содержаться под охраной без каких-либо трудностей, пока не наступит окончательное умиротворение. Разумеется, вызов был отклонен, после чего, оставив только один день на отдых, оба генерала воспользовались ночью, чтобы посадить всех своих гоплитов на несколько трирем и сделать вид, будто они просто начинают обычное ночное кругосветное плавание, чтобы не возбудить никаких подозрений у обитателей острова. Все афинские гоплиты, числом восемьсот человек, были высажены двумя подразделениями, по одному с каждой стороны острова, незадолго до рассвета: передовой отряд из тридцати лакедемонян, совершенно неподготовленный, был застигнут врасплох еще во сне и весь перебит. [544\]](#) В тот же день все оставшиеся силы с семидесяти двух трирем также были высажены, оставив на борту только таламиев, или гребцов низшего звена, и оставив лишь достаточное количество для того, чтобы укомплектовать стены Пилуса. Всего в нападении на остров участвовало не менее десяти тысяч воинов - люди всех родов войск: восемьсот гоплитов, восемьсот пельтастов, восемьсот лучников, остальные вооружены копьями, рогатинами и камнями. Демосфен держал гоплитов в одном компактном корпусе, а легковооруженных разделил на отдельные роты примерно по двести человек в каждой, приказав им занять возвышенности по всему периметру и преследовать фланги и тыл лакедемонян [545\]](#).

Чтобы противостоять этому большому войску, у лакедемонского полководца Эпитадаса было всего триста шестьдесят гоплитов; его передовой отряд из тридцати человек был убит, и еще столько же должны были оставаться в резерве для охраны скалистого участка в его тылу; о гелотах, которые были с ним, Фукидид ничего не говорит во время всего действия. Как только он увидел численность и расположение своих врагов, Эпитадас привел своих людей в боевой порядок и двинулся вперед, чтобы столкнуться с основным корпусом гоплитов, который он видел перед собой. Но спартанский марш был привычно медленным:[546] к тому же земля была неровной и неровной, утыканной пнями, покрытой пылью и пеплом от недавно сгоревших дров, так что марш одновременно быстрый и упорядоченный был едва ли возможен: к тому же ему пришлось преодолеть все промежуточное пространство, поскольку афинские гоплиты оставались неподвижными на своих позициях. Не успел он начать марш, как оказался атакован с тыла и с флангов, особенно с правого или незащищенного фланга, многочисленными ротами легковооруженных.[Несмотря на необычайное превосходство в численности, эти люди поначалу с трепетом ожидали, что им придется вступить в схватку с лакедемонскими гоплитами,[548] но все же они начали бой, пустили в ход свое ракетное оружие и так раздражали марш, что гоплиты были вынуждены остановиться, а Эпитадас приказал самым активным из них выйти из своих рядов и отразить нападавших. Но у преследователей с копьем и щитом было мало шансов догнать легко одетых и вооруженных людей, которые всегда отступали, в каком бы направлении ни начиналось преследование, имели преимущество на трудной местности, удваивали свое раздражение против преследователей, как только те отступали, чтобы занять свое место в строю, и всегда заботились о том, чтобы обойти гоплитов сзади.

После того как лакедемоняне убедились в неэффективности преследования, легковооруженные, став гораздо смелее, чем вначале, стали насаждать на них все ближе и ближе, осыпая стрелами, копьями и камнями, поднимая крики и шум, которые разносились по воздуху, делая слова команды неслышными для лакедемонян, которые в то же время почти ослепли от густых облаков пыли, поднятых недавно разбросанными древесными поленицами.[549] Такой способ ведения боя не был предусмотрен ликургским учением, и чем дольше он продолжался, тем мучительнее становилась неловкость обнаглевших гоплитов: их постоянные попытки уничтожить или даже достать проворных и постоянно возвращающихся врагов оказывались безрезультатными, а их собственное число постоянно уменьшалось от ран, которые они не могли вернуть. Их единственное наступательное оружие состояло из длинного копья и короткого меча, обычных для греческих гоплитов, без какого-либо ракетного оружия; они даже не могли подбирать и отбрасывать копья своих врагов, поскольку острия этих копий обычно отламывались и застревали в щитах, а иногда и в теле, которое они ранили. Кроме того, луки лучников, несомненно, тщательно отобранные перед выходом из Афин, были мощно натянуты, так что их стрелы могли иногда пронзать и наносить раны даже через щит или шлем, но, во всяком случае, набитый дублет, который был единственной защитой гоплита на его незащищенной стороне, был очень недостаточной защитой от них.[550] В таком тяжелом положении лакедемоняне находились долгое время, плохо обеспеченные для обороны и совершенно беспомощные для нападения, не имея возможности приблизиться к афинским гоплитам. Наконец лакедемонский командир, видя, что его положение становится все хуже и хуже, отдал приказ сомкнуть ряды и отступить к последнему реду в тылу: но это движение не было выполнено без труда, так как легковооруженные нападавшие стали вдвойне шумнее и стремительнее, и многие раненые, неспособные двигаться или хотя бы сохранять строй, были настигнуты и убиты[551].

Уменьшившийся остаток, однако, благополучно достиг последнего поста, и здесь они находились в относительной безопасности, поскольку местность была настолько скалистой

и труднопроходимой, что враги не могли атаковать их ни во фланг, ни в тыл: хотя позиция, во всяком случае, не могла долго сохраняться отдельно, поскольку единственный источник воды на острове находился в центре, который они только что были вынуждены покинуть. Теперь, когда легковооруженных стало меньше, Демосфенез и Клеон привели восемьсот афинских гоплитов, которые до этого не участвовали в боях; но лакедемоняне были здесь как дома[552] со своим оружием и могли продемонстрировать свое известное превосходство над гоплитами, тем более что у них было преимущество в виде более высокой земли против врагов, нападающих снизу. Хотя афиняне были вдвое многочисленнее и при этом еще не истощены, они отразили множество последовательных атак. Осажденные держались, несмотря на всю усталость и страдания, которые им пришлось перенести из-за скудного рациона, которым они недавно питались. Борьба длилась так долго, что жара и жажда уже начали сказываться на нападавших, когда к Клеону и Демосфену подошел командир мессенцев и намекнул, что теперь они трудятся напрасно, пообещав при этом, что если они предоставят ему отряд легких солдат и лучников, то он найдет дорогу к более высоким скалам, в тыл нападавшим.[553] Он незаметно подобрался с тыла, перебрался через безлюдные скалы и почти без сил встал на краю моря, среди подступов, которые лакедемоняне оставили без охраны, не предполагая, что в этом направлении к ним могут пристать. Внезапно он появился со своим отрядом на возвышенности над ними, так что их позиция оказалась под контролем, и они, как и при Фермопиле, оказались между двух огней, без всякой надежды на спасение. Их враги впереди, ободренные успехом мессенцев, наступали с еще большим рвением, пока, наконец, мужество лакедемонян не уступило, и позиция была взята[554].

Еще несколько мгновений, и все они были бы перебиты, но Клеон и Демосфен, желая доставить их в качестве пленников в Афины, заставили своих людей остановиться и провозгласили глашатаем предложение сдаться, при условии, что они сдадут оружие и будут переданы в распоряжение афинян. Большинство из них, не в силах больше сопротивляться, сразу же согласились с этим предложением, в знак согласия опустив щиты и взмахнув обеими руками над головой. После окончания битвы полководец Стифон, который первоначально был лишь третьим командиром, но теперь стал главным, так как Эпитадас был убит, а второй командир Гиппагретес лежал на поле инвалидом от ран, вошел в совещание с Клионом и Демосфеном и попросил разрешения послать за приказами к лакедемонянам на материк. Афинские военачальники, хотя и отказались от этой просьбы, послали сами и пригласили лакедемонских глашатаев с материка, через которых дважды или трижды происходил обмен сообщениями между Стифоном и главными лакедемонскими властями. Наконец пришло последнее сообщение: "Лакедемоняне приказывают вам посоветоваться между собой, но не делать ничего постыдного"[555] Совет был принят быстро; они сдались и сдали оружие; их было двести девяносто два человека, оставшихся в живых из первоначального числа в четыреста двадцать человек. Из них не менее ста двадцати были коренными спартанцами, некоторые из них принадлежали к первым семьям города. 556 Ночью их держали под охраной, а наутро распределили между афинскими триерархами, чтобы доставить в качестве пленников в Афины; лакедемонянам же на берегу было предоставлено перемирие, чтобы они могли перевезти тела погибших для погребения. Эпитадас так бережно относился к провизии, что на острове все же нашлось немного еды, хотя гарнизон в течение пятидесяти двух дней питался случайными припасами, которые удалось сэкономить за двадцать дней перемирия, когда регулярно поставлялись продукты в оговоренном количестве. Таким образом, с момента первого заключения на острове до часа капитуляции прошло семьдесят два дня[557].

В наше время лучшие войска не стали бы ни упрекать, ни удивлять, сдавшись в плен при обстоятельствах, во всех отношениях схожих с тем, что произошло с этим доблестным остатком в Сфактерии. И все же в Греции удивление было огромным и всеобщим, когда стало известно, что лакедемоняне согласились стать пленниками:[558] ведь ужас, внушаемый их именем, и глубокое впечатление от Фермопилы создали убеждение, что они скорее перенесут любой голод и погибнут при любом превосходстве вражеских сил, чем будут мечтать о том, чтобы сдать оружие и выжить в плену. События в Сфактерии, потрясшие эту предвзятую идею, дискредитировали военную доблесть Спарты в глазах всей Греции, и особенно в глазах ее союзников. Даже в самой Спарте преобладало то же самое чувство, которое частично проявилось в ответе, переданном Стифону от генералов на берегу, которые не осмелились запретить сдачу, но косвенно ее отрицали: несомненно, что спартанцы потеряли бы меньше от своей смерти, чем от сдачи. Но мы с отвращением читаем злобную насмешку одного из союзников Афин (не афинянина), участвовавшего в деле, обращенную в форме вопроса к одному из пленников: "Неужели все твои лучшие люди перебиты?". Ответ свидетельствовал о том, с каким презрением лакедемоняне относились к луку и его случайным ударам в строю: "Это была бы отличная стрела, которая могла бы выделить лучшего человека". Язык, который Геродот вкладывает в уста Демарата, написанные в первые годы Пелопоннесской войны, свидетельствует о той же вере в спартанскую доблесть: "Лакедемоняне умирают, но никогда не сдаются"[559] Такое впечатление отныне не то чтобы исчезло, но заметно ослабело, и уже никогда не восстановилось до прежнего уровня.

Но общее мнение греков о взятии Сфактерии, как ни примечательно это событие, гораздо менее удивительно, чем то, которое произнес сам Фукидид. Клеон и Демосфенез, вернувшись с частью эскадры и взяв с собой всех пленных, отправились из Сфактерии на следующий день, кроме одного, и достигли Афин через двадцать дней после того, как Клеон покинул их. Таким образом, "обещание Клеона, *каким бы безумным оно ни было*, сбылось", - замечает историк[560].

У людей с оружием в руках всегда есть выбор между смертью и тюремным заключением, и греки ошиблись, приняв за уверенность, что лакедемоняне выберут первое. Но Клеон никогда не обещал вернуть их домой в качестве пленников: его обещание было дизъюнктивным - они должны быть либо доставлены домой, либо убиты в течение двадцати дней: и ни одно предложение во всей "Фукидиде" не поражает меня так сильно, как то, в котором он клеймит такое ожидание как "безумное". Вот четыреста двадцать лакедемонских гоплитов, без какого-либо другого рода войск, которые могли бы им помочь, - без возможности получить подкрепление, без каких-либо регулярных укреплений, без узкого прохода, такого как Фермопилы, без достаточного или определенного запаса продовольствия, - запертые на небольшом открытом острове длиной менее двух миль. Против них выставлено десять тысяч разношерстного войска, в том числе восьмисот свежих гоплитов из Афин, под командованием Демосфена, человека в равной степени предприимчивого и опытного: ведь таланты, а также присутствие и приготовления Демосфена являются частью данных дела, а личная компетентность Клеона, способного командовать в одиночку, не входит в расчет. И если при таких обстоятельствах Клеон решил, что эта брошенная на произвол судьбы компания храбрецов будет либо убита, либо взята в плен, то как на него можно смотреть, не то что как на безумного хвастуна, но даже как на человека, переступившего самую осторожную и недоверчивую оценку вероятности? Даже сомневаться в таком результате, а тем более высказывать такое мнение, как у Фукидида, означает не только представление о сверхчеловеческой силе лакедемонских гоплитов, но и

позорную трусость Демосфена и нападавших. Да и двадцатидневный интервал, названный Клеоном, вовсе не был экстравагантно узким, учитывая расстояние Афин от Пилуса: ведь атака этого мелкого острова не могла занять более одного-двух дней, хотя блокада его могла по разным причинам затянуться или даже быть полностью сорвана страшной бурей. Если мы внимательно рассмотрим это обещание, данное Клеоном на собрании, то обнаружим, что оно не заслуживает того приговора, который вынес ему Фукидид, как безумное хвастовство, сбывшееся случайно, а является разумным и даже скромным предвидением будущего:[561] оставляя за собой единственное сомнение в этом деле - будет ли гарнизон острова в конце концов убит или попадет в плен. Демосфен, если бы он находился в Афинах, а не в Пилусе, охотно поставил бы свою печать на договоре, заключенном Клеоном.

Я с неохотой, хотя и не без убеждения, повторяю утверждение одного из биографов Фукидида,[562] что Клеон был причиной изгнания последнего как полководца и поэтому получил от него более суровую меру, чем полагалось в его качестве историка. Но хотя эти настроения, вероятно, не без влияния диктовали безотчетное суждение, которое я только что критиковал, - как и другие мнения относительно Клеона, о которых я еще скажу в одной из следующих глав, - я все же рассматриваю это суждение не как свойственное Фукидиду, а как общее для него с Никиасом и теми, кого мы должны назвать, за неимением лучшего названия, олигархической партией того времени в Афинах. И это дает нам некоторое представление о предрассудках и узости взглядов, которые преобладали среди этой партии во время нынешнего памятного кризиса; так резко контрастируя с ясными и решительными расчетами и благоразумным поведением в действиях Клеона, который, будучи вынужден против своей воли занять пост генерала, сделал лучшее, что можно было сделать в его ситуации, - он выбрал Демосфена в качестве коллеги и от души поддержал его операции. Хотя военная атака Сфактерия, один из лучших образцов полководческого искусства во всей войне, отличающийся не только ловким использованием различных видов войск, но и заботой о сохранении жизни нападавших, - полностью принадлежит Демосфену, но если бы Клеон не был компетентен выступить в афинском собрании и опровергнуть те мрачные предсказания, которые мы видим у Фукидида, Демосфен никогда бы не получил подкрепления и не был бы в состоянии высадиться на остров. Таким образом, слава предприятия принадлежит обоим: и Клеон, отнюдь не украв лавры Демосфена (как это представляет Аристофан в своей комедии о рыцарях), на самом деле был средством возложить их на его голову, хотя в то же время заслуженно разделил их. До сих пор было принято смотреть на Клеона только с точки зрения его противников, через свидетельства которых мы его знаем: Но на самом деле эта история событий в Сфактерии, при правильном рассмотрении, является позором для этих противников и немалой честью для него; она выставляет их как лишенных политической дальновидности и прямолинейного патриотизма, - как жертвующих возможностями войны, а также жизнями своих сограждан и солдат, ради того, чтобы погубить политического врага. Долг Никиаса, как стратига, состоял в том, чтобы предложить и, если нужно, лично взять на себя уменьшение Сфактерии: если он считал это предприятие опасным, это была веская причина для выделения для него больших военных сил, как мы увидим впоследствии, когда он будет рассуждать о сицилийской экспедиции, - но не для того, чтобы упустить его или свалить на других[563].

Возвращение Клеона и Демосфена в Афины в обещанный двадцатидневный срок с тремя сотнями лакедемонских пленников, должно быть, стало самым триумфальным и волнующим событием, которое произошло с афинянами за всю войну. Оно сразу же изменило перспективы, положение и чувства обеих противоборствующих сторон. Такое количество

лакедемонских пленников, особенно сто двадцать спартанцев, вызывало почти оцепенение у общей массы греков и было неоценимым призом для похитителей. Возвращение Демосфена в предыдущем году из Амбракийского залива, когда он привел с собой три сотни амбракийских паноплиев, было, вероятно, достаточно триумфальным; но вступление в Пирей по этому случаю из Сфактерии с тремя сотнями лакедемонских пленников, несомненно, должно было вызвать эмоции, превосходящие все прежние впечатления; И очень жаль, что до нас не дошло описание этой сцены, а также восторженных проявлений народа, когда пленников вели из Пирея в Афины. Нам также было бы любопытно прочитать какой-нибудь отчет о первом афинском собрании, состоявшемся после этого события, - о бурном ликовании Клеона его радостными сторонниками, которые помогли возложить на него обязанности генерала, будучи уверены, что он будет хорошо их исполнять, - контрастирующем с молчанием или отказом Никиаса и других униженных политических врагов. Но все эти подробности, к сожалению, нам недоступны, хотя они составляют кровь и оживление греческой истории, которая сейчас лежит перед нами лишь в виде скелета.

Первым побуждением афинян было рассматривать пленников как гарантию своей территории от вторжения:[564] они решили держать их под надежной охраной до заключения мира, но если в любой момент до этого события лакедемонская армия войдет в Аттику, вывести пленников и предать их смерти на глазах у захватчиков. В то же время они были полны духа в отношении продолжения войны и еще больше утвердились в надежде не только сохранить свое могущество без потерь, но и вернуть многое из того, что они потеряли до тридцатилетнего перемирия. Пилус был переведен в улучшенное состояние обороны, а прилегающий к нему остров Сфактерия, несомненно, стал вспомогательным занятием: мессенцы, переведенные туда из Наупакта и обрадованные тем, что снова стали хозяевами даже отдаленной скалы своей исконной территории, начали с готовностью захватывать и опустошать Лаконию, а гелоты, потрясенные недавними событиями, проявили склонность дезертировать к ним. Лакедемонские власти, переживавшие доселе невиданные и неведомые беды, ошутимо встревожились, чтобы подобное дезертирство не распространилось по стране. Не желая предоставлять очевидные доказательства своих затруднений, они все же заставили себя, вероятно под давлением друзей и родственников сфактерийских пленников, послать в Афины несколько миссий с предложением мира; но все они оказались безрезультатными.[565] Мы не знаем, что они предложили, но это не соответствовало тем ожиданиям, которым афиняне считали себя вправе предаваться.

Мы, рассматривающие эти факты со знанием последующей истории, видим, что афиняне могли заключить с лакедемонянами более выгодную сделку в течение шести или восьми месяцев после взятия Сфактерии, чем та, которую они могли заключить после этого; и у них есть основания раскаиваться в том, что они упустили эту возможность. Возможно, и Периклес, если бы он был еще жив, мог бы так же предусмотрительно отнестись к будущему и иметь достаточное влияние на своих соотечественников, чтобы суметь остановить прилив успеха в его высшей точке, прежде чем он снова начнет убывать. Но если мы вернемся в положение Афин осенью, последовавшей за возвращением Клеона и Демосфена из Сфактерии, то легко поймем, в каких чувствах продолжалась война. Фактическое обладание пленниками ставило Афины в гораздо более выгодное положение, чем в то время, когда они были только заперты в Сфактерии и когда лакедемонские посланники впервые прибыли просить мира. Теперь она была уверена, что сможет заключить мир со Спартой на приемлемых условиях, когда бы она ни решила его заключить, а также была уверена, что избежит тягот вторжения. Далее, и это было, пожалуй, самой важной особенностью дела, опасения по поводу лакедемонской доблести теперь были значительно снижены, а перспективы успеха Афин считались невероятно улучшенными,[566] даже в оценке

беспристрастных греков; гораздо больше в глазах самих афинян. Более того, идея о приливе удачи, о благосклонности богов, которая уже началась и, вероятно, продолжится, о будущем успехе как следствии прошлого, была той, которая сильно влияла на греческие расчеты в целом. Почему бы не воспользоваться нынешней удачей и не попытаться вернуть наиболее важные пункты, утраченные до и во время тридцатилетнего перемирия, особенно в Мегаре и Бётии, - пункты, которые Спарта не могла уступить путем переговоров, поскольку они не находились в ее владении? Хотя эти рассуждения, как мы увидим в следующей главе, не увенчались успехом, в них не было ничего неразумного. Вероятно, почти все настроения в Афинах в этот момент были воинственными, и даже Никиас, униженный успехом в Сфактерии, забыл о своей обычной осторожности, желая восстановить свои личные заслуги каким-нибудь военным подвигом. В том, что Демосфен, теперь уже в полной мере уважаемый, будет стремиться к продолжению войны, с которой, по сути, были связаны перспективы его личной славы, как это делает Фукидид[567] в отношении Брасида на лакедемонской стороне, сомневаться не приходится. Комедия Аристофана под названием "Ахарнийцы" была поставлена примерно за шесть месяцев до дела Сфактерия, когда никто не мог предвидеть такого события, а комедия "Рыцари" - примерно через шесть месяцев после него.[568] Между ними есть замечательное различие: в то время как первая дышит величайшей болезнью войны и всячески настаивает на необходимости заключения мира, хотя в то время Афины имели возможность прийти даже к приличному соглашению, вторая, безмерно презирая и высмеивая Клеона, говорит в одном или двух местах только о тяготах войны и совсем не делает того акцента и повторения, с которым ахарняне говорили о мире, хотя выходит в то время, когда мир был в пределах досягаемости для афинян.

Поэтому, чтобы правильно понять историю этого периода, мы должны различать различные случаи, которые часто путают. В тот момент, когда Сфактерия была впервые блокирована и когда лакедемоняне впервые послали просить мира, в Афинах было немало сторонников, готовых принять это предложение, и возвышение Клеона было одной из главных причин, почему оно было отклонено. Но после того как из Сфактерии были доставлены пленники, влияние Клеона, хотя и более значительное, чем прежде, уже не требовалось для отклонения мирных предложений лакедемонян и продолжения войны: общий нрав Афин был тогда воинственным, и было очень мало людей, которые могли бы решительно выступить за противоположную политику. В течение следующего года, однако, шансы на войну оказались в основном неблагоприятными для Афин, так что к концу этого года она стала гораздо более расположена к миру. [569] Затем было заключено перемирие на один год, но даже после его истечения Клеон продолжал стремиться, и на веских основаниях, как будет показано далее, к возобновлению войны во Фракии, в то время как значительная часть афинской общественности устала от нее. Он был одним из главных виновников возобновления военных действий, которые закончились битвой при Амфиполе, смертельной как для него самого, так и для Брасидаса. Таким образом, было два разных случая, когда личное влияние и сангвинический характер Клеона, похоже, сыграли решающую роль в том, что афинская общественность решила на войну вместо мира. Но в тот момент, которого мы сейчас достигли, то есть в год, следующий за взятием Сфактерии, афиняне были достаточно воинственны и без него; вероятно, как сам Никиас, так и остальные.

Одним из первых действий Никиаса, сразу же после бесславного захвата Сфактерии, было проведение экспедиции, совместно с двумя коллегами, против коринфской территории: он взял с собой восемьдесят трирем, две тысячи афинских гоплитов, двести всадников на борту нескольких конных транспортов и еще несколько гоплитов из Милета, Андроса и Карыста.[570] Выступив вечером из Пирея, он прибыл немного раньше рассвета на берег у подножия холма и деревни Солигея,[571] примерно в семи милях от Коринфа и в двух или

трех милях к югу от перешейка. Коринфские войска со всей территории Коринфа в пределах перешейка уже были собраны на самом перешейке, чтобы отразить его; ведь сведения о предполагаемой экспедиции достигли Коринфа за некоторое время до этого из Аргоса, с которым, возможно, был каким-то образом связан план экспедиции. Афиняне причалили к берегу в темноте, и коринфяне узнали об этом только по сигналам из Солигеи. Не имея возможности помешать высадке, они немедленно отправили половину своих сил под командованием Баттуса и Ликофрона для отражения захватчика, а оставшуюся половину оставили в гавани Кенхреи, на северной стороне горы Онейон, для охраны порта Кроммион, расположенного за перешейком, на случай нападения на него с моря. Баттус с одной лоханью гоплитов бросился в деревню Солигею, которая была не укреплена, а Ликофрон повел остальные войска в атаку на афинян. Сражение развернулось справа от афинян, почти сразу после их высадки, у пункта под названием Херсонес. Здесь афинские гоплиты вместе со своими карийскими союзниками отразили атаку коринфян после упорного и жаркого рукопашного боя на копьях и щитах; но коринфяне, отступив на возвышенность, вернулись в атаку и с помощью свежей лохии оттеснили афинян к берегу и к их кораблям; отсюда последние снова повернули и снова вернули себе частичное преимущество. [На левом крыле афинян сражение было не менее ожесточенным, но здесь, после продолжительного поединка, последние одержали более решительную победу, во многом благодаря помощи своей конницы, - преследуя коринфян, которые в беспорядке бежали на соседний холм и там заняли позицию. 573 Афиняне победили по всей линии, потеряв около сорока семи человек, а коринфяне - двести двенадцать, вместе с генералом Ликофроном. Победители воздвигли свой трофей, разделись донага и похоронили своих мертвецов.

Коринфский отряд, оставшийся в Кенхреях, не мог видеть битвы из-за хребта горы Оней, но наконец о ней стало известно по пыли беглецов, и они сразу же поспешили на помощь. Подкрепление пришло и из Коринфа, и из Кенхреи, и, как казалось, из соседних пелопоннесских городов, так что Никиас счел благоразумным удалиться на свои корабли и остановиться на соседних островах. Здесь он впервые обнаружил, что двое из убитых афинян не были подобраны для погребения; тогда он немедленно послал глашатая просить о перемирии, чтобы достать эти два пропавших тела. Здесь мы имеем замечательное доказательство святости этой обязанности; ведь сама отправка герольда была равносильна признанию поражения[574].

Отсюда Никиас отплыл в Кроммион, где в течение нескольких часов опустошал окрестности и отдыхал на ночь. На следующий день он снова снялся с мели, проплыл вдоль побережья Эпидавра, которому мимоходом нанес некоторый ущерб, и остановился на полуострове Метана, между Эпидавром и Трезеном[575]. На этом полуострове он основал постоянный гарнизон, построив укрепление на узком участке суши, который соединял его с Эпидаврским полуостровом. Это был его последний подвиг, после чего он отплыл домой, но пост в Метане еще долго оставался центром грабежа соседних областей - Эпидавра, Трезена и Галии.

Пока Никиас занимался этой экспедицией, Эвримедон и Софокл отплыли из Пилуса со значительной частью флота, участвовавшего в захвате Сфактерии, к острову Коркира. Уже говорилось, что демократическое правительство Коркиры испытывало сильное давление и лишения со стороны олигархических беглецов, которые вернулись на остров с отрядом варварских помощников и обосновались на горе Истон, недалеко от города.[576] Эвримедон и афиняне, присоединившись к коркирцам в городе, атаковали и взяли штурмом пост на горе Истоне; побежденные же, отступив сначала на возвышенную и недоступную вершину, были вынуждены сдаться на условиях афинян. Они полностью отказались от своих наемных

помощников, оговорив лишь, что сами должны быть отправлены в Афины и предоставлены на усмотрение афинского народа. Эвримедон, согласившись с этими условиями, разместил разоруженных пленников на соседнем островке Птихия, поставив четкое условие, что если хоть один человек попытается бежать, то вся капитуляция будет признана недействительной[577].

К несчастью для этих пленников, приказ, отданный Эвримедону, вел его напрямик в Сицилию. Поэтому ему было невыносимо отправлять отряд своей эскадры, чтобы доставить этих людей в Афины, - в то время как честь доставить их туда должна была достаться не ему, а офицеру, которому их можно было доверить: А коркирцы, находившиеся в городе, со своей стороны, не менее сильно желали, чтобы пленников не отправляли в Афины; ибо вражда их против них была крайне ожесточенной, и они боялись, что афиняне могут пощадить их жизнь, и тогда их вражда с островом возобновится. И вот подлая ревность Эвримедона в сочетании с местью и неуверенностью победивших коркирцев привела к жестокой катастрофе, не имеющей аналогов нигде в Греции, но слишком хорошо согласующейся с предыдущими актами кровавой драмы, разыгравшейся на этом острове.

Коркирские вожди, видимо, не без участия Эвримедона, отправили в Птихию обманных эмиссаров под видом друзей пленников. Эти эмиссары, уверяя пленников, что афинские военачальники, несмотря на подписанный договор, собираются передать их коркирцам на уничтожение, побудили некоторых из них попытаться бежать на приготовленной для этой цели лодке. По общему согласию, лодка была захвачена во время побега, так что условия капитуляции были действительно нарушены: после этого Эвримедон передал пленников их врагам на острове, которые заключили их всех вместе в одно огромное здание под охраной гоплитов. Из этого здания их вывели компаниями по двадцать человек в каждой, заковали в цепи и заставили маршировать между двумя линиями гоплитов, выстроенных по обе стороны дороги. Тех, кто задерживался на марше, подгоняли сзади плетью: когда они продвигались вперед, их личные враги с обеих сторон вычленяли их, нанося удары и пронзая их, пока в конце концов они не погибали. Так были уничтожены три роты подряд, прежде чем оставшиеся во внутренних помещениях пленники, думавшие лишь о том, что место их заключения собираются изменить, догадались о происходящем: в конце концов они выяснили это и все до одного отказались покинуть здание или позволить кому-либо еще войти в него. В то же время они жалобно умоляли афинян вмешаться, хотя бы для того, чтобы убить их и тем самым уберечь от жестокости своих безжалостных соотечественников. Последние воздержались от попыток выбить дверь здания, но проделали отверстие в крыше, откуда пустили стрелы и осыпали пленников, находившихся внутри; те сначала пытались защититься, но в конце концов отчаялись и своими руками помогали в деле уничтожения. Некоторые из них пронзили себе горло стрелами, пущенными с крыши; другие повесились либо на веревках из подстилки, случайно оказавшейся в здании, либо на полосках, вырванных и скрученных из их собственной одежды. Наступила ночь, но работа по разрушению, как сверху, так и изнутри, продолжалась без перерыва, так что до утра все эти несчастные погибли либо от рук врагов, либо от своих собственных. На рассвете коркирцы вошли в здание, сложили мертвые тела на телеги и вывезли их из города: точное число нам неизвестно, но, судя по всему, их было не менее трехсот. Женщины, захваченные в Истоне вместе с этими пленниками, были проданы в рабство[578].

Так закончились кровавые раздоры на этом злополучном острове: олигархическая партия была полностью уничтожена, демократия победила, и в течение всей войны больше не было никаких насилий.[579] Следует вспомнить, что эти смертельные распри начались с возвращения олигархических пленников из Коринфа, принесших с собой проекты измены и

революции: они закончились уничтожением этой партии вышеописанным способом; промежуток времени был заполнен взаимными жестокостями и возмездием, где, конечно, победители имели больше всего возможностей удовлетворить свои мстительные страсти. По окончании этих событий Эвримедон вместе с афинской эскадрой отправился в Сицилию: о том, что он там делал, будет рассказано в одной из следующих глав, посвященных исключительно сицилийским делам.

В результате полного разгрома Амбракии во время кампании предыдущего года Анакторий оказался беззащитным перед акарнанцами и афинской эскадрой из Наупакта. Они осадили и взяли его в течение нынешнего лета, [580] изгнав коринфских владельцев и вновь заселив город и его территорию акарнанскими поселенцами из всех поселений страны.

Во всей морской империи Афин дела продолжали оставаться совершенно спокойными, за исключением того, что жители Хиоса осенью вызвали подозрение афинян тем, что недавно построили новую стену в своем городе, как будто это было сделано с намерением воспользоваться первой возможностью для восстания. [581] Они торжественно заявили о своей непричастности к подобным замыслам, но афиняне не успокоились, потребовав разрушения неприятной стены. Присутствие на противоположном континенте активного отряда митиленейских изгнанников, которые захватили Ретий и Антандр весной следующего года, вероятно, заставило афинян проявлять больше беспокойства и бдительности в отношении Хиоса [582].

Афинская регулярная эскадра, занимавшаяся сбором дани, курсировала среди приморских подданных и в течение осени захватила пленника, отличавшегося некоторой важностью и необычностью. Это был персидский посол Артаферн, захваченный в Эйоне на Стримоне, когда он направлялся в Спарту с депешами от великого царя. Его привезли в Афины, перевели и обнародовали депеши, написанные в ассирийском стиле. Великий царь сказал лакедемонянам, что он не может понять, что они имеют в виду, так как среди многочисленных посланников, которых они отправили, ни один не рассказал одну и ту же историю. Поэтому он просил их, если они хотят, чтобы их поняли, отправить несколько посланников со свежими и ясными инструкциями, чтобы они сопровождали Артаферна. [583] Такова была суть депеши, передающей замечательное свидетельство о походах лакедемонского правительства в его внешней политике. Если бы аналогичные свидетельства существовали в отношении Афин, показывая, что их внешняя политика проводилась с половиной такой же неустойчивости и глупости, из них можно было бы сделать множество выводов в пользу дискредитации демократии. Но в целом не было никаких мотивов для дискредитации лакедемонских институтов, которые включали в себя царскую власть в двойной мере, - две параллельные линии наследственных царей, а также полное освобождение от всего, что напоминает народное обсуждение. Крайние недостатки во внешнем управлении Спартой, выявленные в результате отправки Артаферна, частично объясняются привычной верностью, часто отмечаемой в лакедемонском характере, частично - ежегодной сменой эфоров, так часто приводящей к власти людей, которые стремились исправить то, что было сделано их предшественниками, и еще больше - отсутствием обсуждения или агитации государственных мер среди граждан. В последующей истории мы найдем не один пример такой склонности эфоров не только изменять политику своих предшественников, но даже подрывать договоры, заключенные ими; и такова была привычная секретность спартанских государственных дел, что при этом они не боялись ни критики, ни обсуждения. Брасидас, отправляясь из Спарты в экспедицию, о которой будет рассказано в следующей главе, не мог доверять заверениям лакедемонского руководства, не скрепив их самыми торжественными клятвами [584].

Афиняне отправили Артаферна на триреме в Эфес и воспользовались этой возможностью, чтобы получить доступ к великому царю. Они отправили с ним посланников, намереваясь сопровождать его до Суз, но когда они достигли Азии, только что пришло известие, что царь Артаксеркс недавно умер. При таких обстоятельствах миссия была признана нецелесообразной, и афиняне отказались от своего замысла[585].

О великой монархии Персии за этот долгий промежуток времени в пятьдесят четыре года, прошедший после отпора Ксеркса из Греции, у нас мало сведений, кроме имен сменявших друг друга царей. В 465 году до н. э. Ксеркс был убит Артабаном и Митридатом в результате одного из тех заговоров крупных домашних чиновников, которые так часто происходят в восточных дворцах. Он оставил двух сыновей, или, по крайней мере, двух сыновей, присутствовавших и выделявшихся среди множества других, - Дария и Артаксеркса. Но Артабан убедил Артаксеркса, что Дарий был убийцей Ксеркса, и таким образом убедил его отомстить за смерть отца, став соучастником убийства его брата Дария: затем он попытался убить самого Артаксеркса и присвоить корону. Однако Артаксеркс, заранее осведомленный об этом замысле, либо убил Артабана собственной рукой, либо обеспечил его убийство, после чего царствовал (известный под именем Артаксеркса Лонгимана) в течение сорока лет, вплоть до того периода, к которому мы пришли сейчас[586].

Уже упоминалось о восстании Египта из-под власти Артаксеркса под предводительством ливийского принца Инанеса, которому активно помогали афиняне. После нескольких лет успеха это восстание было подавлено, а Египет вновь покорен энергией персидского полководца Мегабиза, с большими потерями для афинских войск. После Каллийского мира, ошибочно называемого Кимонийским, заключенного между афинянами и персидским царем, война больше не возобновлялась. В Ктесиасе, среди различных анекдотов, собранных, по-видимому, при дворе в Сузах, мы читаем романтические приключения, приписываемые Мегабизу, его жене Амитис, матери Аместрис и греческому врачу из Коса по имени Аполлонид. Зопир, сын Мегабиза, после смерти отца дезертировал из Персии и прибыл в качестве изгнанника в Афины[587].

После смерти Артаксеркса Лонгимана вновь проявились семейные нарушения, характерные для персидского престолонаследия. Его сын Ксеркс стал его преемником, но был убит, процарствовав несколько недель или месяцев. За ним последовал другой сын, Согдиан, который погиб таким же образом через короткий промежуток времени.[588] Наконец, третий сын, Охус (известный под именем Дария Нота), либо более удачливый, либо более удачливый, сохранил свою корону и жизнь между девятнадцатью и двадцатью годами. От своей царицы, дикарки Парисатис, он был отцом Артаксеркса Мнемона и Кира Младшего - обоих имен, представляющих интерес для греческой истории, к которым мы еще вернемся в дальнейшем.

ГЛАВА LIII. ВОСЬМОЙ ГОД ВОЙНЫ.

Восьмой год войны, которого мы теперь касаемся, представляет собой события более важные и решающие, чем все предыдущие. Анализируя предыдущие годы, мы замечаем, что, хотя боевых действий было много, с лишениями и трудностями, которым подвергались обе стороны, но операции носили в основном пустынный характер, не рассчитанный на то,

чтобы определить исход войны. Но захват Сфактерии и пленных, а также сдача всего лакедемонского флота стали событием, полным последствий и впечатляющим в глазах всей Греции. Оно побудило афинян к серии операций, более масштабных и амбициозных, чем все, что они до сих пор задумывали; были направлены не только против Спарты в ее собственной стране, но и на восстановление того превосходства в Мегаре и Беотии, которое они потеряли во время или до тридцатилетнего перемирия. С другой стороны, она настолько запугала и лакедемонян, восставших халкидских союзников Афин во Фракии, и Пердиккаса, царя Македонии, что между ними была согласована экспедиция Брасидаса, нанесящая столь серьезный удар по Афинской империи. Таким образом, этот год стал поворотным пунктом войны. Если бы операции Афин увенчались успехом, она восстановила бы почти такое же могущество, каким обладала до тридцатилетнего перемирия: но случилось так, что Спарта, а точнее спартанец Брасид, добилась успеха, получив достаточно, чтобы нейтрализовать все преимущества, полученные Афинами от захвата Сфактерии.

Первое предприятие, предпринятое афинянами в течение весны, было направлено против острова Китеры, расположенного на южном побережье Лаконии. Он был населен лакедемонскими периэками и управлялся губернатором и гарнизоном гоплитов, ежегодно отправляемых туда. Он был обычным местом высадки торговых судов из Ливии и Египта; а поскольку он лежал очень близко к мысу Малей, прямо напротив Гифийского залива - единственной доступной части в целом негостеприимного побережья Лаконии, - возможность того, что он может попасть в руки врага, считалась настолько опасной для Спарты, что некоторые политики, как говорят, желали, чтобы остров оказался на дне моря.^[589] Никиас, совместно с Никостратом и Автоклесом, отправил туда флот из шестидесяти трирем, с двумя тысячами афинских гоплитов, несколькими всадниками и союзниками, в основном милезийцами. На острове было два города - Кифера и Скандея: первый - нижний город, расположенный близко к морю, напротив мыса Малей, и верхний - на холме выше; второй, по-видимому, на южном или западном побережье. По приказу Никиаса оба города были атакованы одновременно; десять трирем и милезийские гоплиты высадились и захватили Скандею; афиняне высадились в Китире и изгнали жителей из нижнего города в верхний, где они быстро капитулировали. Некоторые из них действительно тайно пригласили к себе Никиаса, который с помощью интриг добился легких условий для жителей. Несколько человек, указанных китерийцами в разведке с Никиасом, были уведены в качестве пленников в Афины, но остальные остались нетронутыми и были зачислены в число союзников, обязанных платить по четыре таланта в год; афинский гарнизон был размещен в Кифаре для защиты острова. Отсюда Никиас в течение семи дней совершал походы и вылазки на побережье, у Гелоса, Асинка, Афродисии, Котирты и других мест. Лакедемонские силы были рассеяны по мелким гарнизонам, которые остались каждый для обороны своего отдельного поста, не объединившись для отражения афинян, так что было только одно действие, и то малозначительное, которое афиняне сочли достойным трофея.

Возвращаясь домой из Китеры, Никиас сначала опустошил небольшую полосу возделанных земель у Эпидавра Лимского, на скалистом восточном побережье Лаконии, а затем напал на поселение эгинетян в Тирее, пограничной полосе между Лаконией и Арголидой. Этот город и район были переданы Спартой эгинетянам в тот момент, когда они были изгнаны Афинами со своего острова в первый год войны. Новые жители, сочтя город слишком удаленным от моря^[591] для своих морских привычек, занялись возведением укрепления недалеко от берега; в этой работе им помогал лакедемонский отряд под командованием Тантала, стоявший на страже в этом районе. Когда афиняне высадились на берег, и эгинетяне, и лакедемоняне сразу же покинули новое укрепление. Первые с командиром Танталом заняли верхний город Тирею, но лакедемонские войска, не сочтя это целесообразным, отказались

участвовать в обороне и удалились в соседние горы, несмотря на настоятельные уговоры эгинетян. Афиняне сразу же после высадки подошли к городу Тирея и взяли его штурмом, сжигая или уничтожая все внутри: все эгинетяне были либо убиты, либо взяты в плен, и даже Тантал, искалеченный ранами, тоже попал в плен. Отсюда войско вернулось в Афины, где состоялось голосование о том, как распорядиться пленными. Китерийцы, доставленные домой, были распределены для безопасного содержания между зависимыми островами: Тантал был оставлен вместе с пленниками из Сфактерии; но для эгинетян была уготована более тяжелая участь: все они были преданы смерти, став жертвами давнего безразличия между Афинами и Эгиной. Этот жестокий акт был не более чем строгим применением принятых в те времена военных обычаев: если бы победителями были лакедемоняне, можно не сомневаться, что они действовали бы с такой же жестокостью[592].

Оккупация Китеры, помимо Пилуса, афинским гарнизоном, последовавшая за катастрофой в Сфактерии, вызвала в умах спартанцев такие чувства тревоги и подавленности, каких они никогда прежде не испытывали. За несколько коротких месяцев их положение полностью изменилось: от превосходства и агрессии за границей до оскорбления и незащищенности дома. Они ожидали не что иное, как непрекращающиеся иностранные нападения на все их слабые места, а также вероятность внутреннего дезертирства из-за постоянного недовольства гелиотов: вероятно, им было неизвестно, что даже сама Кифа была потеряна частично из-за предательства. Взятие Сфактерии вызвало особые чувства среди гелотов, к которым лакедемоняне обращались с призывами и обещаниями освобождения, чтобы обеспечить поддержку своим гоплитам, блокированным на острове; и если окончательная сдача этих гоплитов ослабила ужас перед лакедемонской доблестью во всей Греции, то среди угнетенных гелотов этот эффект был еще сильнее. Теперь перед их глазами было убежище в Пилусе и ядро, которое могло распространиться на возрожденную Мессению; а создание афинского гарнизона в Кифаре открыло новый канал связи с врагами Спарты, чтобы склонить всех смелых гелотов выступить в качестве освободителей своей порабощенной расы.[Лакедемоняне, привычно осторожные во все времена, теперь почувствовали, что фортуна повернулась решительно против них, и действовали с подтвержденным недоверием и тревогой, ограничившись строго оборонительными мерами и организовав отряд из четырехсот конников вместе с луком, превышающий их обычный состав.

Но мера предосторожности, которую они сочли необходимым принять в отношении гелотов, лучше всего характеризует их опасения в тот момент и демонстрирует, поистине, утонченность мошенничества и жестокость, равных которым редко можно найти в истории. Желая выделить из общей массы наиболее смелых и доблестных, эфоры объявили, что те гелоты, которые считают, что заслужили свою свободу выдающимися заслугами на войне, могут выступить и потребовать ее. Значительное число людей повиновалось этому призыву; вероятно, многие из них подверглись неминуемой опасности в течение предыдущего лета, чтобы доставить провизию блокированным солдатам в Сфактерии.[594] Они были осмотрены правительством, и две тысячи из них были отобраны как полностью достойные освобождения; оно было немедленно даровано им в публичной церемонии, с гирляндами, посещением храмов и полной религиозной торжественностью. Теперь правительство произвело желаемый отбор, и теперь каждый человек среди этих только что получивших право голоса хелотов был убран, никто не знал как.[595] Уловка, сразу столь вероломная по замыслу, столь убийственная по цели и столь полная по исполнению, не имеет аналогов в греческой истории, - мы могли бы почти сказать, не имеет аналогов ни в какой истории. Он подразумевает разврат, гораздо больший, чем неукоснительное исполнение варварского обычного закона в отношении военнопленных или мятежников, даже в большом количестве.

Эфоры, должно быть, использовали множество инструментов, не зависящих друг от друга, для совершения этого кровавого деяния, но, похоже, о деталях ничего не было известно; яркое доказательство таинственной эффективности этого Совета пяти, превосходящего даже Совет десяти в Венеции, а также полного отсутствия публичного расследования или обсуждения.

Пока лакедемоняне находились в таком беспокойном состоянии дома, к ним прибыли посланники от Пердикки из Македонии и халкидян из Фракии с просьбой о помощи против Афин, которые, как считалось, в условиях нынешнего прилива успеха могли возобновить агрессивные меры против них. Кроме того, в соседних городах^[596], подвластных Афинам, были и другие партии, которые втайне поддерживали это обращение, намереваясь выступить с открытым восстанием, как только придут какие-либо вспомогательные силы, чтобы оправдать их опасность. Пердиккас (у которого на руках был спор со своим родственником Аррибеем, князем линкестов-македонцев, который он очень хотел успешно завершить) и халкидяне предложили в то же время обеспечить жалование и содержание, а также облегчить транзит войск, которые могут быть посланы к ним; и что было еще более важно для успеха предприятия, они специально попросили, чтобы командование было возложено на Брасидаса.^[597] Он уже оправился от ран, полученных при Пилусе, и его репутация авантюрного храбреца, как ни велика она была в пустыне, выделялась еще больше, потому что ни один спартанец еще не отличил его себя. Другие его выдающиеся качества, кроме личной доблести, еще не проявились, так как он никогда не был под верховным командованием. Но он сгорал от нетерпения приступить к операции, назначенной ему посланцами, хотя в это время она должна была казаться настолько сложной и опасной, что, вероятно, ни один спартанец, кроме него самого, не стал бы вступать в нее с малейшей надеждой на успех. Устроить Афинам неудобства во Фракии было для Спарты очень важным делом, к тому же она получила возможность выслать еще один большой отряд своих опасных гелотов. Семьсот из них были вооружены как гоплиты и отданы под командование Брасидаса, но лакедемоняне не выделили ему ни одного из своих собственных войск. С санкции спартанского имени, с семью сотнями гоплитов-гелотов и с другими гоплитами, которых он мог собрать в Пелопоннесе на средства, полученные от халкидян, Брасидас приготовился предпринять эту экспедицию, в равной степени авантюрную и важную.

Если бы у афинян возникли подозрения относительно его замысла, они легко могли бы помешать ему добраться до Фракии. Но они ничего не знали об этом до тех пор, пока он не присоединился к Пердиккасу, и не ожидали серьезного нападения со стороны Спарты в этот момент ее депрессии, тем более такого смелого предприятия, которое она когда-либо предпринимала. Теперь они были полны надежд на грядущие завоевания со своей стороны, их дела были настолько процветающими и многообещающими, что партии, благоприятствующие их интересам, начали возрождаться как в Мегаре, так и в Беотии, а Гиппократ и Демосфен, два главных стратига на этот год, были людьми энергичными, хорошо подготовленными как к разработке, так и к осуществлению военных достижений.

Первая возможность представилась в отношении Мегары. Жители этого города пострадали от войны больше, чем кто-либо другой в Греции: они были главной причиной того, что война обрушилась на Афины, и афиняне отомстили им за все тяготы, которые сами перенесли от лакедемонского нашествия. Дважды в год они опустошали Мегариду, граничившую с их собственной территорией, и притом с такой разрушительной силой на всем ее ограниченном пространстве, что лишали всех средств к существованию близлежащие к городу земли, одновременно держа гавань Ниссеи в тесном заточении. В таких тяжелых условиях мегаряне

с большим трудом обеспечивали себя даже первичными жизненными потребностями. 598] Но за последние несколько месяцев их положение стало еще более невыносимым из-за беспорядков в городе, закончившихся изгнанием мощного отряда изгнанников, которые захватили и удерживали Пегею, мегарянский порт в Коринфском заливе. Вероятно, импорт из Пегеи был их главным средством против разрушений, которые обрушились на них со стороны Афин; так что стало едва ли возможно продержаться, когда изгнанники в Пегее не только лишили их этого средства, но и приняли активное участие в их преследовании. Эти изгнанники были олигархическими, а правительство в Мегаре теперь стало более или менее демократическим: но лишения в городе вскоре достигли такой высоты, что некоторые граждане стали добиваться компромисса, чтобы изгнанники в Пегесе были приняты обратно. Руководителям Мегары было очевидно, что основная масса горожан не сможет долго выдерживать натиск врагов с обеих сторон, но они также чувствовали, что изгнанники в Пегее, их злейшие политические соперники, были худшими врагами, чем афиняне, и что возвращение этих изгнанников было бы смертным приговором для них самих. Чтобы предотвратить эту контрреволюцию, они вступили в тайную переписку с Гиппократом и Демосфеном, обещаясь предать Мегару и Ниссею афинянам; хотя Ниссея, гавань Мегары, расположенная в одной миле от города, была отдельной крепостью, занятой пелопоннесским гарнизоном, и исключительно им, как и Длинные стены, для удержания Мегары в составе Лакедемонской конфедерации[599].

План внезапного нападения был согласован и, что еще более примечательно, при чрезвычайной публичности всех афинских дел и в вопросе, в который должны были быть посвящены многие лица, оставался в тайне до самого момента исполнения. Большой отряд афинян, четыре тысячи гоплитов и шестьсот конницы, был назначен для ночного похода по большой дороге через Элевсис в Мегару; сами же Гиппократес и Демосфен отправились на корабле из Пирея на остров Миноа, который находился недалеко от Ниссеи и уже некоторое время был занят афинским гарнизоном. Здесь Гиппократес с шестьюстами гоплитов укрылся в углублении, из которого была вырыта кирпичная земля, на материке напротив Минои, недалеко от ворот в Длинной стене, которые открывались в месте соединения этой стены с рвом и стеной, окружавшими Ниссею; Демосфен, с несколькими легковооруженными платейцами и отрядом активных молодых афинян, называемых Периполами и служивших подвижной стражей Аттики на первом или втором году военной службы, расположился в засаде в священном участке Ареса, еще ближе к тем же воротам.

Добиться того, чтобы ворота были открыты, - такова была задача заговорщиков внутри. Среди смен, к которым вынуждены были прибегать мегарцы, чтобы добыть провиант, особенно после блокады Миноа, не обошлось без хищнических вылазок по ночам. Некоторые из этих заговорщиков еще до начала интриги с Афинами имели привычку по разрешению пелопоннесского командующего Нисей и Длинными стенами проносить ночью на телеге через эти ворота небольшую лодку-скорлупку. Вывезенная таким образом лодка спускалась к берегу по ложбине сухого рва, окружавшего стену Ниссеи, затем выходила в море для какого-нибудь ночного предприятия и возвращалась обратно по рву до рассвета утром; ворота открывались, по разрешению, чтобы впустить ее. Это был единственный путь, по которому мегарское судно могло выйти в море, поскольку афиняне в Миноа были полными хозяевами гавани. В ночь, назначенную для сюрприза, это судно вынесли и вернули в обычный час. Но как только ворота в Длинной стене были открыты, чтобы впустить его, Демосфен и его товарищи бросились вперед, чтобы прорваться внутрь; мегарцы вместе с лодкой в то же время напали на стражников и убили их, чтобы облегчить вход. Этой активной и решительной группе удалось овладеть воротами и держать их открытыми до тех пор, пока шестьсот гоплитов под командованием Гиппократеса не подошли и не проникли в

внутреннее пространство между Длинными стенами. Они немедленно взобрались на стены с каждой стороны, каждый по мере того, как входил, не думая о порядке, чтобы оттеснить или уничтожить пелопоннесских стражников; те, застигнутые врасплох и полагая, что мегарцы в целом находятся в согласии с врагом против них, - в этом их убеждении также убедился афинский глашатай, громко объявивший, что каждый мегарец, который пожелает, может занять свой пост в рядах афинских гоплитов,^[600] - сначала оказали некоторое сопротивление, но вскоре были обескуражены и бежали в Ниссею. К рассвету афиняне овладели всей линией Длинных стен и оказались под самыми воротами Мегары, подкрепленные большими силами, которые, пройдя по суше через Элевсис, прибыли в условленный момент.

Тем временем мегарцы, находившиеся в городе, были в величайшем волнении и смятении. Но заговорщики, подготовив свой план, решили предложить открыть ворота и вывести всю силу города на бой с афинянами: когда ворота будут открыты, они сами намеревались принять участие в бою с афинянами и облегчить им вход, - и натерли свои тела маслом, чтобы заметно выделяться в глазах последних. Их план был сорван лишь за мгновение до того, как он должен был быть приведен в исполнение, благодаря разглашению одного из их товарищей. Их противники в городе, осведомленные о задуманном, поспешили к воротам и перехватили людей, натертых маслом, когда те собирались их открыть. Не выдавая ни малейшего представления о только что узнанной важной тайне, эти противники громко протестовали против того, чтобы открывать ворота и выходить на бой с врагом, для которого они даже в моменты большей силы не представляли себе равных в открытом поле. Настаивая общественной вредности этой меры, они в то же время ополчились против ворот и заявили, что погибнут, прежде чем позволят их открыть. К такому упорному сопротивлению заговорщики не были готовы, поэтому они были вынуждены отказаться от своего замысла и оставить ворота закрытыми.

Афинские полководцы, ожидавшие открытия ворот, вскоре поняли, что их друзья внутри потерпели поражение, и немедленно решили завладеть Нисей, которая лежала позади них; это приобретение было важно не только само по себе, но и как вероятное средство для овладения Мегарой. Они принялись за дело с характерной для афинян быстротой. Каменщики и инструменты в изобилии были немедленно отправлены из Афин, и армия распределила между собой стену окружения вокруг Ниссеи на отдельные части. Сначала было построено внутреннее пространство между Длинными стенами, чтобы отрезать сообщение с Мегарой; затем стены были проведены с внешней стороны обеих Длинных стен до самого моря, чтобы полностью закрыть Ниссею с ее укреплениями и рвом. Разбросанные дома, составлявшие как бы украшенное предместье Нисей, служили кирпичом для этого замыкающего круга, а иногда даже составляли его часть в том виде, в каком они стояли, с парапетами на крышах; деревья же вырубались, чтобы обеспечить материал там, где это было уместно для палисадов. За полтора дня работа по обводнению была почти завершена, так что пелопоннесцы в Ниссее не видели перед собой ничего, кроме безнадежного состояния блокады. Лишенные всех коммуникаций, они не только полагали, что весь город Мегара присоединился к афинянам, но и лишились провизии, которая всегда доставлялась им из города в виде ежедневных пайков. Отчаявшись в скорой помощи из Пелопоннеса, они приняли легкие условия капитуляции, предложенные им афинскими генералами.^[601] Сдав оружие, каждый человек из них должен был быть выкуплен за оговоренную цену; нам не говорят, сколько именно, но, несомненно, за умеренную сумму. Однако лакедемонский полководец и другие лакедемоняне, которые могли находиться в Ниссее, должны были сдаться в плен афинянам, чтобы быть в их распоряжении. На этих условиях Нисей был сдан афинянам, которые прервали его сообщение с Мегарой, держа промежуточное пространство между Длинными стенами

фактически заблокированным, - стенами, авторами которых они сами были в прежние времена[602].

Такое прерывание сообщения через Длинные стены свидетельствовало о том, что афинские генералы были убеждены, что Мегара теперь вне их досягаемости. Но город в его нынешнем смятенном состоянии, несомненно, попал бы в их руки, [603] если бы не был вырван у них случайным соседством и энергичным вмешательством Брасидаса. Этот офицер, занятый сбором войск для своей фракийской экспедиции, находился недалеко от Коринфа и Сикиона, когда впервые узнал о неожиданности и захвате Длинных стен. Отчасти из-за тревоги, которую вызвало известие в этих пелопоннесских городах, отчасти из-за личного влияния, он собрал две тысячи семьсот коринфских гоплитов, шестьсот сикионских и четыреста флизийских, кроме своего небольшого войска, и с этими объединенными силами отправился в Триподиск, в Мегариде, на полпути между Мегарой и Пегеей, на дороге через гору Геранею; предварительно отправив беотийцам срочный вызов с просьбой встретить его в этом месте с подкреплением. Он рассчитывал быстрым движением сохранить Мегару и, возможно, даже Ниссею; но, достигнув ночью Триподиска, он узнал, что тот уже сдался. Тревожась за безопасность Мегары, он без промедления отправился туда ночным маршем. Взяв с собой лишь отряд из трехсот человек, он, не дождавшись ответа, явился к воротам города, прося принять его и предлагая оказать немедленную помощь в восстановлении Нисеи. Одна из двух сторон в Мегаре с радостью подчинилась, но другая, прекрасно понимая, что в этом случае изгнанники в Пегее будут возвращены обратно, была готова к упорному сопротивлению, и в этом случае афинские войска, находящиеся всего в одной миле, были бы введены в качестве вспомогательных. В этих условиях обе стороны пришли к компромиссу и договорились отказать Брасидасу в приеме. Они ожидали, что между ним и афинянами произойдет сражение, и каждый рассчитывал, что Мегара последует за судьбой победителя[604].

Безуспешно вернувшись в Триподиск, Брасидас рано утром присоединил к себе две тысячи беотийских гоплитов и шестьсот конников; беотийцы были приведены в движение теми же известиями, что и он сам, и еще до прибытия его гонца начали свой поход с такой быстротой, что уже достигли Платеи. [605] Таким образом, общее число войск Брасидаса увеличилось до шести тысяч гоплитов и шестисот конников, с которыми он направился прямо в окрестности Мегары. Афинские легкие войска, рассеянные по равнине, были застигнуты врасплох и загнаны беотийской конницей; но афинская конница, пришедшая им на помощь, вела с нападавшими ожесточенный бой, в котором, после некоторых потерь с обеих сторон, небольшое преимущество осталось на стороне афинян. Они заключили перемирие, чтобы похоронить беотийского офицера кавалерии, который был убит вместе с другими. После этой нерешительной кавалерийской стычки Брасидас со своими главными силами вышел на равнину между Мегарой и морем, заняв позицию рядом с афинскими гоплитами, которые расположились в боевом порядке у Ниссеи и Длинных стен. Он предложил им сражение, если они его выберут; но каждая сторона ожидала, что другая нападет, и каждая не хотела начинать атаку со своей стороны, Брасидас прекрасно понимал, что, если афиняне откажутся сражаться, Мегара будет сохранена от попадания в их руки, - а предотвратить эту потерю было его главной задачей, и на самом деле она была предотвращена только благодаря его прибытию. Если же он нападет и будет разбит, то потеряет это преимущество, а в случае победы вряд ли сможет надеяться на большее. Афинские полководцы рассуждали о том, что они уже получили материальное приобретение в Ниссее, отрезавшей Мегару от моря; что противостоящая им армия не только превосходит их по числу гоплитов, но и состоит из контингентов многих городов, так что ни один город не рискует участвовать в сражении; в то время как их собственные силы были полностью афинскими и состояли из лучших гоплитов в Афинах, что сделало бы поражение крайне разорительным для города: Они не считали нужным идти на такой риск даже ради овладения Мегарой. С такими взглядами вождей с обеих сторон

обе армии некоторое время оставались на позициях, каждая ожидая нападения другой: в конце концов афиняне, видя, что их противники не собираются предпринимать никаких агрессивных действий, первыми отошли в Ниссею. Оставив таким образом хозяина поля, Брасидас с триумфом удалился в Мегару, ворота которой теперь были открыты без всякого резерва, чтобы впустить его[606].

Армия Брасида, одержав главную победу, ради которой она была собрана, быстро рассеялась - он сам возобновил свои приготовления к Фракии; афиняне со своей стороны также вернулись домой, оставив достаточный гарнизон для занятия Ниссеи и Длинных стен. Но внутри Мегары произошёл полный и жестокий переворот. В то время как дружественные Афинам вожди, не считая безопасным оставаться, немедленно бежали и искали убежища у афинян,[607] противоположная партия открыла связь с изгнанниками в Пегесе и приняла их в город, обязав, однако, самыми торжественными обещаниями соблюдать полную амнистию прошлого и не заботиться ни о чем, кроме благополучия общего города. Новоприбывшие соблюдали свое обещание лишь в течение того времени, которое прошло, пока они не получили власть нарушить его. Вскоре они заняли места в главных государственных командах и нашли средства обратить военную силу в свою пользу. Приказав провести смотр и проверку вооружения гоплитов в городе, мегарийские лохи были так собраны и обучены, что вожди смогли выделить из них жертвы, которые посчитали нужными. Они схватили многих из своих самых отвратительных врагов, некоторых из них подозревали в соучастии в недавнем заговоре с Афинами: схваченных подвергли формам публичного суда, перед тем, что называлось общественным собранием, где каждый избиратель, действуя под военным террором, был вынужден открыто отдать свой голос. Все были приговорены к смерти и казнены, в количестве ста человек.[608] Конституция Мегары была затем преобразована в олигархию самого близкого типа, несколько самых жестоких людей полностью завладели правительством. Но они, вероятно, проводили его энергично и благоразумно для своих целей, поскольку Фукидид отмечает, что редко можно увидеть революцию, совершенную столь небольшой партией, и при этом столь прочную. Как долго она продолжалась, он не упоминает. Через несколько месяцев после этих событий мегаряне вновь овладели своими Длинными стенами, захватив их у афинян,[609] которым они действительно не могли оказать никакой существенной пользы, и сравнивали всю их линию с землей; но афиняне все еще удерживали Нисей. Мы можем отметить, как частично объясняющее прочность этого нового правительства, что перемирие, заключенное в начале следующего года, должно было значительно облегчить трудности любого правительства, будь то олигархического или демократического, в Мегаре.

План внезапного нападения на Мегару был продуман и выполнен мастерски, и сорвался лишь благодаря случайности, которой всегда подвержены подобные планы, а также неожиданной быстроте Брасидаса. Более того, она удалась настолько, что афиняне смогли взять Ниссею - один из постов, сданных ими по тридцатилетнему перемирию, и имевший для них значительную положительную ценность: так что в целом она считалась победой, что дало генералам еще больше стимула для того, чтобы развернуть свою деятельность в другом месте. Так, вскоре после возвращения войск из Мегарид Гиппократ и Демосфен разработали еще более обширный план вторжения в Беотию в сотрудничестве с некоторыми недовольными в беотийских городах, которые хотели сломать и демократизировать олигархические правительства, особенно через посредство фиванского изгнанника по имени Птеодорус. Демосфен с сорока триремами был отправлен вокруг Пелопоннеса в Наупакт с поручением собрать акарнанское войско, отплыть в глубь Коринфского или Крисского залива и занять Сифею, приморский город, принадлежащий беотийским феспийцам, где уже была установлена разведка. В тот же день Гиппократес, заранее решив, что главные силы Афин войдут в Беотию в юго-восточном углу территории у Танагры и укрепят Делиум, храм Аполлона, на берегу Эвбейского пролива, договорился, чтобы некоторые беотийские и фокийские недовольные стали хозяевами Херанеи на границах Фокисы. Таким

образом, Беотия будет атакована с трех сторон в один и тот же момент, и силы страны будут отвлечены и не смогут сотрудничать. Кроме того, ожидалось, что в некоторых городах произойдут внутренние движения, которые, возможно, приведут к установлению демократических правительств и немедленному заключению союза с афинянами.

В августе Демосфен отплыл из Афин в Наупактус, где собрал своих акарнанских союзников - теперь уже более сильных и сплоченных, чем когда-либо, так как упорные жители Иниады были вынуждены присоединиться к своим акарнанским братьям: кроме того, соседние агрцы со своим князем Салинфием также были привлечены к афинскому союзу. В назначенный день, кажется, в начале октября, он отплыл с сильным отрядом этих союзников к Сифе, в полном ожидании, что она будет предана ему.^[611] Но исполнение этого предприятия было менее счастливым, чем в случае с Мегарой. Во-первых, произошла ошибка в определении дня, о котором договорились Гиппократ и Демосфен: во-вторых, весь заговор был раскрыт и предан фокийцем из Фанотея (граничащего с Херонеей) по имени Никомах, - сообщен сначала лакедемонянам, а через них - ботархам. Сифæ и Херонея были немедленно поставлены в оборонительное положение, и Демосфенез, прибыв к первому месту, не только не нашел в нем сторонников, но и грозные силы беотийцев, которые сделали нападение бесполезным: кроме того, Гиппократес еще не начал свой поход, так что защитникам нечем было отвлечь свое внимание от Сифæ. [В этих условиях Демосфен не только был вынужден отступить, не нанеся ни одного удара, и довольствоваться безуспешным походом на территорию Сикиона,^[613] но и все ожидаемые внутренние движения в Беотии были предотвращены.

Только после того, как беотийские войска, отразив нападение по морю, отступили от Сифеса, Гиппократ начал свой поход из Афин, чтобы вторгнуться на беотийскую территорию возле Танагры. Вероятно, он был воодушевлен ложными обещаниями беотийских изгнанников, иначе кажется удивительным, что он должен был упорствовать в осуществлении только своей части плана после известного провала другой части. Тем не менее, все было исполнено в манере, которая подразумевает необычную готовность и уверенность. Все военное население Афин было отправлено в Беотию, в окрестности Делиума, восточного побережья территории, принадлежащей беотийскому городу Танагру; экспедиция состояла из представителей всех сословий, не только граждан, но и метисов, не проживающих на свободе, и даже не проживающих на свободе чужеземцев, случайно оказавшихся в Афинах. Конечно, это утверждение следует понимать с учетом резерва многочисленной охраны, оставленной для города: но помимо реально действующей силы из семи тысяч гоплитов и нескольких сотен всадников, поход сопровождали не менее двадцати пяти тысяч легковооруженных, полувооруженных, или безоружных сопровождающих. [Что касается легковооруженных, то в это время в Афинах не было ни одного обученного войска такого рода, кроме небольшого отряда лучников. Не было предпринято никаких усилий для организации дартеров или пращей: гоплиты, всадники и моряки составляли всю эффективную силу города. Похоже, что и беотийцы испытывали не меньшую, чем афиняне, нужду в местных дартерах и пращниках, поскольку те, кого они использовали при последующей осаде Делиума, были в значительной степени наняты из Малийского залива. ⁶¹⁶] Использовать в одно и то же время тяжеловооруженных и легковооруженных не было естественным для любого греческого сообщества, но было практикой, которая выросла с опытом и необходимостью. Чувства афинян, проявившиеся в "Персах" Эсхила через несколько лет после поражения Ксеркса, провозглашают исключительную гордость копьем и щитом и презрение к луку: и только в этом году, встревоженные афинским захватом Пилуса и Китеры, лакедемоняне, вопреки своему предыдущему обычаю, начали организовывать полк лучников.^[617] Эффективное использование Демосфеном легких вооруженных в Сфактерии против лакедемонских гоплитов послужило поучительным уроком в отношении ценности прежнего типа войск.

Беотийский Делий,[618] который Гиппократес намеревался теперь занять и укрепить, был храмом Аполлона, сильно расположенным и нависающим над морем, примерно в пяти милях от Танагры и чуть более чем в миле от пограничной территории Оропа, - территории изначально беотийской, но в это время зависимой от Афин и даже частично включенной в афинское политическое сообщество под названием дема Грæа.[619] Сам Ороп находился примерно в одном дне пути от Афин, по дороге, которая вела через Декелею и Сфендалею, между горами Парнес и Феллея: так как расстояние, которое предстояло преодолеть, было столь незначительным, а общее настроение того времени было уверенным, вероятно, что люди всех возрастов, вооружений и склонностей толпились, чтобы присоединиться к походу, отчасти из простого любопытства и возбуждения. Гиппократ достиг Делиума на следующий день после того, как отправился из Афин: на следующий день он приступил к работам по укреплению, которые были завершены за два с половиной дня, причем все руки помогали, а инструменты и рабочие были привезены вместе с армией из Афин. Выкопав ров вокруг священной земли, он высыпал землю на насыпь рядом с ровом, установил колья, вбил фашины и добавил слои камня и кирпича, чтобы скрепить работу и сделать из нее вал достаточной высоты и прочности. Виноградные лозы[620] вокруг храма вместе с кольями, которые служили опорой для них, были срублены для получения древесины; прилегающие дома предоставили кирпич и камень: сами внешние здания храма также, с некоторых сторон, служили, как они стояли, для облегчения и укрепления обороны; но была одна сторона, на которой пристроенное здание, когда-то бывшее портиком, упало; и здесь афиняне построили несколько деревянных башен в помощь защитникам. К середине пятого дня после отъезда из Афин работы были настолько завершены, что армия покинула Делиум и начала поход из Беотии в обратном направлении; остановившись на расстоянии около мили с четвертью, она вошла в афинскую территорию Ороп. Здесь гоплиты ожидали прихода Гиппократа, который все еще оставался в Делиуме, размещая гарнизон и отдавая последние распоряжения относительно будущей обороны; в то время как большая часть легковооруженных и безоружных, отделившись от гоплитов и, похоже, не предвидя предстоящей опасности, продолжала свой обратный марш в Афины.[621] Их позиция, вероятно, находилась около западной оконечности равнины Оропа, на краю невысоких холмов между этой равниной и Делиумом[622].

Однако за эти пять дней войска со всех частей Беотии успели собраться в Танагре, и их численность была как раз завершена, когда афиняне начали свой поход из Делиума домой. Отряды прибыли не только из Фив и зависимых от них городов, но и из Халиартуса, Коронеи, Орхомена, Копфы и Феспии, а танагрский отряд присоединился на месте. Правительство Беотийской конфедерации в это время принадлежало одиннадцати беотархам - двое выбирались из Фив, остальные в неизвестной пропорции из других городов, непосредственных членов конфедерации, - и четырьмя сенатами, или советами, состав которых неизвестен. Хотя все бётархи, собравшиеся в Танагре, составляли своего рода военный совет, верховное командование принадлежало Пагонде и Арантидесу, бётархам из Фив; либо Пагонде как старшему из них, либо, возможно, обоим, сменявшим друг друга изо дня в день.[Поскольку афиняне, очевидно, полностью отступили и уже перешли границу, все остальные бётархи, кроме Пагонды, не хотели рисковать сражением[624] на небеотийской земле и были склонны позволить им беспрепятственно вернуться домой. Такое нежелание неудивительно, если учесть, что шансы на поражение были значительными и что, вероятно, некоторые из этих бётархов боялись усиления власти, которое победа придавала бы деспотическим тенденциям Фив. Но Пагондас решительно выступил против этого предложения и увлек за собой солдат разных городов, даже вопреки настроениям их отдельных лидеров, выступавших за немедленное сражение. Он созвал их и обратился к ним по отдельности, чтобы все не бросили оружие в один и тот же момент.[625] Он охарактеризовал настроения других бётархов как недостойное проявление слабости, которое, при правильном рассмотрении, не имело даже рекомендаций высшего благоразумия. Ведь афиняне только что вторглись в страну и построили крепость с целью постоянного опустошения; врагов по

одну сторону границы было не меньше, чем по другую. Более того, они были самыми беспокойными и назойливыми из всех врагов, и беотийцы, имевшие несчастье быть их соседями, могли обезопасить себя от них, только решительно защищаясь и отвечая на первые удары. Если они хотели защитить свою автономию и свою собственность от рабства, от которого давно страдали их соседи в Эвбее, а также многие другие части Греции, их единственным шансом было идти вперед и победить этих захватчиков, следуя славному примеру своих отцов и предшественников на поле Коронеи. Жертвоприношения благоприятствовали продвижению вперед, и Аполлон, чей храм афиняне осквернили, превратив его в место для , должен был оказать сердечную помощь беотийской обороне[626].

Найдя свои увещевания благосклонными, Пагондас быстрым маршем повел войско на позицию, близкую к афинянам. Ему не терпелось сразиться с ними, пока они не отступили еще дальше; к тому же день был уже почти прожит, - было уже за полдень. Достигнув места, где от афинян его отделял только холм, из-за которого ни одна из армий не могла видеть другую, он расставил свои войска в порядке, подходящем для боя. Фиванские гоплиты с зависимыми от них союзниками, выстроившись в глубину не менее чем на двадцать пять щитов, заняли правое крыло: гоплиты Халиарта, Коронеи, Копфы и окрестностей - в центре; Феспии, Танагры и Орхомена - слева; Орхомен, будучи вторым городом в Беотии после Фив, получил второй почетный пост на противоположном конце линии. Каждый контингент принял свой собственный способ построения гоплитов и свою глубину строя: в этом вопросе не было единообразия, что является замечательным доказательством распространенности инакомыслия в Греции и того, насколько каждый город, даже среди конфедератов, выделялся как отдельная единица.[627] Фукидид указывает только на огромную глубину строя фиванских гоплитов; в отношении остальных он просто намекает, что общего правила не придерживались. Есть еще один момент, который он не уточняет, но который, хотя мы и узнаем о нем только из более низкого авторитета Диодора, представляется верным и важным. В первых рядах фиванского тяжеловооруженного войска было триста отборных воинов, отличавшихся телесной силой, доблестью и дисциплиной, которые привыкли сражаться парами, причем каждый мужчина был привязан к своему соседу особыми узами интимной дружбы. Эти пары назывались *heniōchi* и *parabatai*, возницы и спутники; название, вероятно, перешло из гомеровских времен, когда передовые герои действительно сражались на колесницах перед простыми солдатами, но теперь сохранилось после того, как оно утратило свое значение.[628] Эта группа, состоявшая из лучших людей в различных дворцах Фив и прошедшая специальную подготовку для защиты Кадмеи, или цитадели, была впоследствии отделена от передних рядов фаланги и организована в отдельный полк под названием Священный Лохус, или Группа: мы увидим, насколько она способствовала недолговечному военному превосходству Фив. На обоих флангах этой массы беотийских гоплитов, общей численностью около семи тысяч человек, было распределено по тысяче конницы, пятьсот пельтастов и десять тысяч легковооруженных или безоружных. Язык историка, кажется, подразумевает, что легковооруженные на стороне беотийцев были чем-то более эффективным, чем простое множество, следовавшее за афинянами.

Именно в таком порядке Пагондас вывел свое войско на холм, остановив его на мгновение перед афинянами, чтобы убедиться в ровности шеренги, прежде чем дать команду к атаке.[629] Гиппократ, со своей стороны, узнав еще в Делиуме, что беотийцы двинулись из Танагры, сначала послал приказ своему войску выстроиться в боевой порядок, а затем прибыл сам, чтобы командовать ими; оставив в Делиуме триста конников, частично для гарнизона, частично для действий в тылу беотийцев во время битвы. Афинские гоплиты были выстроены по восемь человек в глубину вдоль всей линии, а конница и те легковооруженные, которые еще оставались, расположились на каждом фланге. Гиппократ, прибыв на место и осмотрев занятую местность, прошел по фронту линии, коротко ободряя своих солдат, которые, поскольку битва происходила

на границе с Оропией, могли вообразить, что они не в своей стране и поэтому без необходимости подвергаются опасности. Он также в форме, подобной той, которую принял Пагондас, напомнил афинянам, что по обе стороны границы они одинаково сражаются за защиту Аттики, чтобы не допустить в нее беотийцев, поскольку пелопоннесцы никогда не осмелятся войти в страну без помощи беотийских коней.^[630] Далее он напомнил им о великом имени Афин и о памятной победе Миронида при Ctenophyta, благодаря которой их отцы овладели всей Беотией. Но едва он закончил свою речь, как его заставили остановиться звуки беотийского пэана. Пагондас, после нескольких ободряющих фраз, дал команду: беотийские гоплиты стали спускаться с холма, а афинские гоплиты, не уступая им в рвении, двинулись навстречу бегущим шагом^[631].

На крайних участках линии с каждой стороны овраги препятствовали фактической встрече двух армий: но на всем остальном протяжении линии столкновение было грозным, а поведение обеих сторон - решительным. Обе армии, сохраняя плотный строй, дошли до самого близкого боя, до соприкосновения и толчков щитами друг о друга.^[632] На левой половине линии беотийцев, состоявшей из гоплитов из Феспий, Танагры и Орхомена, афиняне одержали победу. Феспийцы, сопротивлявшиеся дольше всех, даже после того, как их товарищи сдались, были окружены и понесли самые тяжелые потери от афинян, которые в пылу успеха, кружась, чтобы окружить врага, пришли в беспорядок и вступили в конфликт даже со своими собственными гражданами, не узнав их в тот момент: в результате погибло несколько человек.

Пока левая часть беотийской линии была измотана и отброшена для защиты вправо, фиванцы с этой стороны получили решающее преимущество. Хотя решимость и дисциплина афинян ничуть не уступали, но как только дело дошло до ближних боев и столкновений щитом и копьем, огромная глубина фиванской колонны (более чем втрое превышающая глубину афинян, двадцать пять против восьми) позволила им смять врагов за счет простого превосходства в весе и массе. Более того, фиванцы, похоже, превосходили афинян в гимнастической подготовке и приобретенной телесной силе, так как уступали им и в речи, и в интеллекте. Отборные фиванские воины в передней шеренге были особенно сильны: но помимо такого превосходства, если предположить простое равенство индивидуальной силы и решимости с обеих сторон,^[633] очевидно, что когда две противостоящие колонны вступали в конфликт, щит против щита, сравнительная сила давления вперед решала победу. Этот мотив достаточен для объяснения необычайной глубины фиванской колонны, которая была увеличена Эпаминондасом, полвека спустя, в битве при Лейктре, с глубины в двадцать пять человек до еще более удивительной глубины в пятьдесят: нам не нужно сомневаться в правильности текста, как некоторые критики, или предполагать, как другие, что большая глубина фиванских колонн возникла из-за того, что задние ряды были слишком бедны, чтобы обеспечить себя доспехами. [Даже при глубине в восемь человек, которая была у афинской колонны в данном сражении^[635] и, по-видимому, была обычной глубиной в битве, копья четырех задних шеренг вряд ли могли достаточно выступать за пределы первой линии, чтобы причинить какой-либо вред. Все шеренги, стоящие за первыми четырьмя, использовались отчасти для того, чтобы занять место тех из передовых линий, которые могли быть убиты, отчасти для того, чтобы продвигать вперед стоящие перед ними линии сзади. Чем больше была глубина колонны, тем неодолимее становилась эта движущая сила: поэтому фиванцы при Делиуме, как и при Леукре, нашли свой счет в углублении колонны до такой степени, до которой, как мы можем справедливо предположить, их гоплиты были обучены заранее.

Таким образом, фиванцы справа оттеснили назад^[636] войска слева от афинской линии, которые сначала медленно, но ненадолго отступили, сохраняя строй, так что победа афинян справа восстановила бы битву, если бы Пагонда не отрядил с тыла два отряда конницы gons; Которые,

незаметно объехав холм сзади, внезапно появились слева от беотийцев и произвели на афинян, и без того смятых в своих рядах пылким преследованием, устрашающее действие свежей армии, прибывшей на подкрепление беотийцам. Таким образом, даже на правом, победоносном участке своей линии, афиняне потеряли мужество и сдались; а на левом, где они с самого начала терпели поражение, их все сильнее и сильнее теснили преследующие фиванцы, так что в конце концов все афинское войско было разбито, рассеяно и обращено в бегство. Гарнизон Делиума, усиленный тремя сотнями конников, которых Гиппократ оставил там для нападения на тыл беотийцев во время боя, либо не предпринял энергичных действий, либо был отражен беотийским резервом, поставленным для наблюдения за ними. Бегство стало всеобщим среди афинян, и разные части их армии разошлись в разные стороны: правые искали убежища в Делиуме, центральная часть бежала в Оропус, а левая направилась к высоким землям Парнеса. Преследование беотийцев было энергичным и разрушительным: у них была эффективная конница, усиленная некоторыми локрийскими лошадьми, прибывшими еще во время боя: их пельтасты, а также легковооруженные, могли оказать ценную услугу против отступающих гоплитов.^[637] К счастью для побежденных, битва началась очень поздно днем, не оставляя длительного периода дневного света: это важное обстоятельство спасло афинскую армию от почти полного уничтожения. [Однако, как бы то ни было, полководец Гиппократес вместе с почти тысячей гоплитов и значительным числом легковооруженных и сопровождающих был убит; потери же беотийцев, в основном на их разбитом левом крыле, составили не более пятисот гоплитов. Некоторые пленники^[639], по-видимому, были взяты, но мы мало что о них слышим. Те, кто бежал в Делиум и Оропус, были переправлены морем в Афины.

Победители удалились в Танагру, воздвигнув свой трофей, похоронив своих мертвецов и разорив врагов. Обильная добыча в виде оружия, полученного от раздетых воинов, еще долго украшала храмы Фив, да и другие трофеи, как говорят, были немалыми. Пагондас также решил осадить недавно основанную крепость в Делиуме, но прежде чем приступить к операции, которая, возможно, окажется утомительной, поскольку афиняне всегда могли подкрепить гарнизон морем, он попробовал другое средство для достижения той же цели. Он послал к афинянам глашатая, который, случайно встретив на своем пути афинского глашатая, пришедшего просить обычного разрешения на погребение убитых, предупредил его, что такая просьба не будет удовлетворена, пока не будет передано сообщение беотийского генерала, и таким образом побудил его вернуться к афинским командирам. Беотийскому глашатаю было поручено заявить о нарушении священных обычаев, допущенном афинянами при захвате и укреплении храма Делиума, где сейчас находился их гарнизон, выполнявший многочисленные функции, которые религия запрещала выполнять в священном месте, и употреблявший в качестве питья воду, специально освященную для жертвоприношений. Поэтому беотийцы торжественно призвали их именем Аполлона и заключенных с ним богов покинуть это место, унеся с собой все, что им принадлежит; глашатай дал понять, что, если этот призыв не будет выполнен, не будет дано разрешение на погребение мертвых.

Афинский глашатай, отправившийся к беотийским военачальникам, получил ответ следующего содержания: "Афиняне не признали, что до сих пор были виновны в каком-либо проступке в отношении храма, и заявили, что в будущем будут по возможности бережно относиться к нему. Их целью овладения храмом были не злые чувства по отношению к святыне, а необходимость отомстить за неоднократные вторжения беотийцев в Аттику. Владение территорией, согласно принятым в Греции обычаям, всегда сопровождалось владением расположенными на ней храмами, которые должны были исполнять все обычные обязательства перед богом-резидентом, насколько позволяли обстоятельства. Именно на этом основании действовали сами беотийцы,

когда завладели своей нынешней территорией, изгнав прежних обитателей и присвоив храмы; на том же основании действовали и афиняне, сохраняя за собой ту часть Беотии, которую они теперь завоевали, и завоеывая еще большую, если бы могли. Необходимость заставила их использовать освященную воду - необходимость, проистекающая не из амбиций Афин, а из предыдущих агрессивных действий беотийцев на Аттику, - необходимость, которую, как они верили, боги простят, поскольку их алтари служили защитой для невольных преступников, и никто, кроме тех, кто согрешил без принуждения, не испытал их неудовольствия. Беотийцы были виновны в гораздо большей нечестивости, отказываясь отдавать мертвых, кроме как на определенных условиях, связанных со священной землей, чем афиняне, которые просто отказались превратить обязанность погребения в непристойную сделку. Скажи нам безоговорочно (заклучил афинский глашатай), что мы можем хоронить наших мертвых во время перемирия, в соответствии с предписаниями наших предков. Не говори нам, что мы можем сделать это при условии выхода из Беотии, ибо мы больше не в Беотии, мы на своей территории, завоеванной мечом".

Беотийские полководцы отстранили глашатая коротким и решительным ответом: "Если вы находитесь в Беотии, вы можете забрать все, что вам принадлежит, но только при условии, что вы выйдете из нее. Если же ты находишься на своей территории, то можешь принять собственное решение, не спрашивая нас"[640].

В этом споре, любопытном как иллюстрация греческих нравов и чувств, с обеих сторон, похоже, были особые мольбы и уклонения. Заключительное предложение беотийцев было хорошим ответом на случайный аргумент, выдвинутый афинским глашатаем, который основывал защиту Афин в отношении храма в Делиуме на утверждении, что эта территория была афинской, а не беотийской, афинской по завоеванию и по праву сильнейшего, и в заключение утверждал то же самое об Оропии, районе, к которому относилось поле битвы. Только на этот же аргумент о фактическом превосходстве силы беотийцы ответили, сказав: "Если территория, к которой относится ваше заявление, принадлежит вам по праву завоевания (*то есть* если вы *фактически* являетесь ее хозяевами и сильнейшими в ней), то вы, конечно, можете делать на ней все, что считаете нужным: вам не нужно просить у нас перемирия; вы можете хоронить своих мертвых без перемирия." Беотийцы знали, что в этот момент поле битвы охранялось отрядом их армии,[642] и что афиняне не могли получить тела погибших без разрешения; но поскольку афинский глашатай утверждал обратное как факт, не приходится удивляться, что они возмутились приведением такого аргумента; они ответили ему ответом, достаточно уместным в простом дипломатическом фехтовании.

Но если бы афинский глашатай, вместо того чтобы поднимать побочный вопрос о территориальной собственности в сочетании с неосторожным определением того, что составляет территориальную собственность, в качестве защиты от предполагаемого осквернения храма в Делиуме, ограничился бы главным вопросом, он бы поставил беотийцев в полное неадекватное положение. Согласно общепринятым в Греции принципам, победитель, если его об этом просили, обязан был предоставить побежденному перемирие для погребения своих мертвых; предоставить и разрешить его абсолютно, не выдвигая никаких условий. В этом, главном вопросе, беотийцы погрешили против самого священного международного права Греции, когда потребовали эвакуации храма в Делиуме в качестве условия для согласия на погребение афинских мертвых. В конце концов, после того как они взяли Делиум, мы обнаружим, что они предоставили это безоговорочно; и мы можем сомневаться, что они когда-либо упорствовали бы в отказе, если бы афинский глашатай настаивал на этом одном важном принципе отдельно и исключительно; и если бы он не стал, неумело отстаивая право занимать и жить в Делиуме, одновременно возмущать их чувства и предоставлять им побочный вопрос как средство уклонения от главного требования[643].

Чтобы судить об этом любопытном споре с полной беспристрастностью, мы должны добавить, говоря о поведении афинян при занятии Делиума, что для врага особый выбор храма в качестве укрепленного и занятого пункта был, конечно, редким и, возможно, едва ли допустимым действием в греческой войне. Не соответствует действительности и обвинение, выдвинутое афинским глашатаем. Одно дело, когда превосходящий по силе враг захватывает страну и присваивает все, что в ней находится, как священное, так и профанное: другое дело, когда пограничный враг, еще не имеющий достаточных сил для завоевания всей страны, превращает удобный храм в регулярную крепость с гарнизоном и делает его базой для операций против соседнего населения. На этом основании беотийцы могли бы обоснованно жаловаться на захват Делиума: хотя я полагаю, что ни один беспристрастный толкователь греческих международных обычаев не счел бы их оправданными, если бы они поставили это условием предоставления буриала-труса, когда их об этом просили.

Прервав переговоры, беотийские полководцы приготовились осадить Делий, к ним присоединились две тысячи коринфских гоплитов, а также мегарцы и пелопоннесский гарнизон Ниссеи, который присоединился к ним после известия о битве. Хотя они послали из Маликийского залива за дротиками и пращниками, вероятно, Cætæans и Ætolians, их прямые атаки сначала были отбиты гарнизоном при поддержке афинской эскадры у побережья, несмотря на поспешные и неуклюжие оборонительные сооружения, которыми был защищен только форт. В конце концов они придумали необычный огневой механизм, который позволил им овладеть этим местом. Сначала они распилили на две части толстую балку, пробили в ней длинный канал из конца в конец, покрыли большую часть канала железом, а затем аккуратно соединили обе половины вместе. С дальнего конца этой пологой балки на цепях подвешивали котел, наполненный смолой, серой и горящим углем; наконец, из конца внутреннего канала балки выходила железная труба в таком направлении, чтобы приближаться к котлу. Такова была машина, которую, построив на некотором расстоянии, привезли на телегах и поставили у стены, рядом с палисадом и деревянными башнями. Затем беотийцы прикрепили большие мехи к своему концу балки, с силой вдывая воздух через внутренний канал, чтобы поднять сильный огонь в котле на другом конце. Деревянные части стены, вскоре загоревшиеся, стали непригодны для защитников, которые бежали, как могли, не пытаясь оказать дальнейшее сопротивление. Двести из них попали в плен, несколько человек были убиты, но большая часть благополучно добралась до корабля. Взятие Делиума произошло на семнадцатый день после битвы, в течение всего этого времени убитые афиняне оставались на поле непогребенными. Однако вскоре прибыл афинский глашатай, чтобы вновь подать прошение о погребении; оно было немедленно удовлетворено, причем безоговорочно[644].

Такова была памятная экспедиция и битва при Делиуме, фатально подорвавшая чувство уверенности и надежды, царившее до этого в Афинах, помимо болезненной непосредственной потери, которую она нанесла городу. Среди гоплитов, принимавших участие в энергичной атаке и толкании щитов, следует отметить философа Сократеса. Его храбрость как в битве, так и при отступлении была высоко оценена друзьями, и, несомненно, не без оснований: до этого он с честью служил в рядах гоплитов в Потидее, а также в Амфиполе: его терпение в трудных условиях и выносливость в жару и холод были не менее примечательны, чем его личная храбрость. Он и его друг Лахес были среди тех гоплитов, которые при отступлении из Делиума, вместо того чтобы бросить оружие и обратиться в бегство, сохранили строй, оружие и твердость духа, так что преследующая конница сочла опасным возиться с ними и обратилась к более легкой добыче в виде обезоруженных беглецов. Алкивиад также служил при Делиуме в коннице и помогал защищать Сократеса при отступлении. Таким образом, последний рисковал своей жизнью в Делиуме почти в то же время, когда Аристофанес выставлял его на посмешище в комедии "Облака", как мечтателя, никчемного в нравственном отношении и неспособного физически[645].

Как ни тяжел был удар, нанесенный афинянам при Делиуме, их бедствия во Фракии в то же время или ближе к концу того же лета и осени были еще более катастрофическими. Я уже упоминал об обстоятельствах, которые привели к подготовке лакедемонского войска, предназначенного для действий против афинян во Фракии, под командованием Брасида, в согласии с халкидянами, восставшими подданными Афин, и с Пердиккасом Македонским. Разрушив замыслы афинян против Мегары (как описано выше), [646] Брасидас завершил сбор своего подразделения - семнадцати сотен гоплитов, частично гелотов, частично дорийских пелопоннесцев, - и направил их к концу лета в лакедемонскую колонию Гераклею, расположенную в Трахинии у Малиакского залива. Чтобы добраться до Македонии и Фракии, ему нужно было пройти через Фессалию, что было нелегко; ведь война длилась уже так долго, что все государства Греции стали с недоверием относиться к транзиту вооруженных чужеземцев. Кроме того, фессалийцы в массе своей были настроены дружелюбно по отношению к Афинам, и у него не было достаточных средств, чтобы заставить их проехать: если же он будет ждать официального разрешения, то сильно сомневался, что оно будет получено, и был совершенно уверен в задержке и огласке, которые заставили бы афинян быть начеку. Но хотя таков был нрав фессалийского народа, фессалийские правительства, все олигархические, симпатизировали Лакедемону, а федеральная власть или власть тагуса, связывавшего отдельные города, была, как правило, очень слаба. Что еще более важно, македонские пердикки, как и халкидяне, имели в каждом городе влиятельных гостей и партизан, которых они убеждали активно участвовать в продвижении армии [647].

К этим людям Брасидас отправил послание в Фарсал, как только достиг Ираклии; а Никонидас из Лариссы с другими фессалийскими друзьями Пердикки, собравшимися в Мелитее, в Ахайе Фтиотис, взялся сопровождать его через Фессалию. Благодаря их вниманию и поддержке, а также собственной смелости, ловкости и быстроте движений, ему удалось осуществить, казалось бы, невозможное предприятие - пройти через всю страну не только без согласия, но и вопреки чувствам ее жителей, причем с такой быстротой, чтобы избежать сопротивления. Пройдя через Ахайю Фтиотис, территорию, зависимую от фессалийцев, Брасидас начал свой поход из Мелитэи через саму Фессалию вместе со своими могущественными туземными проводниками. Несмотря на всю возможную скрытность и быстроту, о его походе стало известно настолько, что множество добровольцев из окрестностей, оскорбленных таким поведением и недружелюбно настроенных к Никониду, собрались, чтобы воспротивиться его продвижению по долине реки Энипея. Упрекнув его в незаконном нарушении независимой территории путем введения вооруженных сил без разрешения генерального правительства, они запретили ему двигаться дальше. Единственный шанс продвинуться вперед заключался в том, чтобы обезоружить их сопротивлением честными словами. Его проводники оправдывались тем, что внезапность его прибытия наложила на них, как на его гостей, обязанность провести его, не дожидаясь официального разрешения: оскорблять своих соотечественников, однако, было самым далеким от их мыслей, и они отказались бы от предприятия, если бы собравшиеся упорствовали в своих требованиях. Такой же примирительный тон был принят и самим Брасидасом. "Он заявил, что испытывает сильное чувство уважения и дружбы к Фессалии и ее жителям: его оружие направлено против афинян, а не против них; он не знал ни о каких недружественных отношениях, существующих между фессалийцами и лакедемонянами, которые бы исключали возможность пребывания одних из них на территории других. Против запрета тех сторон, которые сейчас перед ним, он не мог идти вперед, да и не думал пытаться; но он ставил на их доброе чувство, должны ли они запретить его". Такие примирительные речи смогли смягчить противников и побудить их разойтись. Но его проводники так боялись возобновления сопротивления в других частях, что торопили его еще быстрее, [648] и он "прошел через страну бегом, не останавливаясь". Покинув Мелитэю утром, он в ту же ночь достиг Фарсала и расположился лагерем на реке Апидан: на следующий день он отправился в Факиум, а еще через день - в Перрхебию, [649] территорию, примыкающую к Фессалии и зависящую от нее, под горной грядой Олимпа. Здесь он был в безопасности, так что фессалийские

проводники оставили его, а перребийцы провели его через перевал Олимпа - тот самый, через который шла армия Ксеркса, - в Диум, в Македонии, на территории Пердикки, на северном краю горы[650].

Афиняне вскоре узнали об этом краденном переходе, столь умело и быстро осуществленном, причем таким способом, который мало кто из греков, а уж тем более лакедемонян, счел бы возможным. Осознав, что новый враг оказался в пределах досягаемости их владений во Фракии, они передали туда приказ усилить бдительность и в то же время объявили Пердиккасу открытую войну;[651] но, к сожалению, не прислали никаких действенных сил, в тот момент, когда своевременное оборонительное вмешательство было крайне необходимо. Пердиккас немедленно предложил Брасидасу присоединиться к нему в нападении на Аррибея, князя македонян, называемого Линкестеем, или Линкусом; спартанец не мог отказаться, поскольку Пердиккас обеспечивал половину жалованья и содержания армии, - но он подчинился с неохотой, так как ему не терпелось начать операции против союзников Афин. Это нежелание еще более усилили посланцы от халкидян из Фракии, которые, будучи ревностными врагами Афин, немедленно присоединились к нему, но препятствовали любым энергичным усилиям по избавлению Пердиккаса от неудобных врагов внутри страны, чтобы у последнего были более настоятельные мотивы для примирения и помощи им. Поэтому Брасидас, хотя и присоединился к Пердикке и вместе с македонской армией двинулся к территории Линкеста, не только не хотел активных военных действий, но даже благосклонно отнесся к предложениям Аррибея, в которых тот выражал желание стать союзником Лакедемона и предлагал передать все свои разногласия с Пердиккой на рассмотрение самого спартанского полководца. Передав эти предложения Пердиккасу, Брасидас предложил ему выслушать справедливый компромисс, приняв Аррибея в союз с Лакедемоном. Но Пердиккас с негодованием отказался: "Он призвал Брасида не как судью, чтобы решать споры между ним и его врагами, а как помощника, чтобы утихомиривать их, где бы он ни указывал на них; и он протестовал против беззакония Брасида, заключившего соглашение с Аррибæй, в то время как лакедемонское войско наполовину оплачивалось и содержалось им" (Perdikkas.[652]) Несмотря на такие напоминания и даже враждебный протест, Брасидас упорно продолжал намеченную конференцию с Арри bæus и был настолько удовлетворен сделанными предложениями, что вывел свои войска, не пройдя через перевал в Линкус. Слишком слабый, чтобы действовать в одиночку, Пердиккас громко жаловался и сократил свои ассигнования на будущее, чтобы обеспечить только треть армии Брасидаса вместо половины.

Однако с этими неудобствами Брасидас смирился, поспешив начать поход в Халкидику и совместные с халкидянами действия по соблазнению или покорению афинских союзников. Первой его операцией был поход на Акант, расположенный на перешейке Афонского полуострова, на территорию которого он вторгся за некоторое время до сбора винограда, вероятно, в середине сентября; когда виноград уже созрел, но еще не поспел, и весь урожай, конечно, мог погибнуть от рук превосходящего по силе врага: так важно было для Брасида избежать необходимости тратить еще месяц на завоевание Линкесты. В городе Акант была партия, объединившаяся с халкидянами, которая хотела принять его и открыто восстать из Афин. Но большинство горожан было против этого шага, и только рассказывая о страшных потерях от неурожая, антиафинская партия смогла убедить их даже удовлетворить просьбу Брасида о допуске в одиночку,[653] чтобы официально объяснить свои цели перед общественным собранием, которое впоследствии примет решение. "Для лакедемонянина (говорит Фукидид) он был неважным оратором", и если ему можно приписать заслугу в том, что мы находим написанным у Фукидида, то такой эпитет был бы меньше, чем его пустыня. Несомненно, однако,

что содержание речи подлинное, и она является одной из самых интересных в греческой истории; отчасти как манифест исповедуемой лакедемонской политики, отчасти потому, что она имела большой практический эффект в определении, по случаю первостепенной важности, толпы, которая, хотя и была неблагоприятно настроена к нему, не была вне досягаемости аргументов мента. Я привожу основные положения этой речи, не связывая себя словами.

"Я и мои солдаты посланы, акантийцы, чтобы осуществить цель, которую мы провозгласили, начав войну; мы взяли в руки оружие, чтобы освободить Грецию от афинян. Пусть никто не упрекает нас за то, что мы долго шли к цели, или за ошибку, которую мы совершили в самом начале, полагая, что мы быстро расправимся с афинянами путем операций против Аттики, не подвергая вас никакому риску. Достаточно того, что мы сейчас здесь, при первой же возможности, решительно настроены на их уничтожение, если вы окажете нам помощь. Я удивлен, что меня не пускают в ваш город, более того, что меня не принимают с радостью. Мы, лакедемоняне, предприняли этот долгий и опасный поход, веря, что придем к друзьям, с нетерпением ожидающим нас; и было бы ужасно, если бы вы сейчас разочаровали нас и выступили против своей собственной свободы, а также свободы других греков. Твой пример, как благоразумия, так и силы, будет фатально сдерживать других греков и заставит их подозревать, что у меня нет ни силы, чтобы защитить их от Афин, ни честной цели. Что же касается силы, то мое нынешнее войско было таким, с которым афиняне, хотя и превосходящие их числом, побоялись сражаться под Ниссеей; и они вряд ли пошлют против меня равное войско по морю. Что же касается моей цели, то она заключается не во вреде, а в освобождении; лакедемонские власти обязались передо мной самыми торжественными клятвами, что каждый город, который присоединится ко мне, сохранит свою автономию. Поэтому у вас есть наилучшая уверенность как в моих целях, так и в моей силе; тем более не стоит опасаться, что я пришел с корыстными замыслами, чтобы послужить интересам каких-то отдельных людей среди вас и переделать вашу установленную конституцию в ущерб либо многим, либо немногим. Это было бы хуже, чем иностранное порабощение, и мы, лакедемоняне, должны были бы предпринять все эти усилия, чтобы заслужить ненависть вместо благодарности. Мы должны играть роль недостойных предателей, что еще хуже, чем то бесцеремонное угнетение, в котором мы обвиняем афинян: мы должны сразу же нарушить свои клятвы и погрешить против наших самых сильных политических интересов. Возможно, вы скажете, что, хотя вы желаете мне добра, вы хотите, чтобы вас оставили в покое и чтобы вы держались в стороне от опасной борьбы. Вы скажете мне, что я должен нести свои предложения в другие места, к тем, кто может безопасно принять их, но не навязывать свой союз какому-либо народу против его собственной воли. Если вы скажете так, я сначала призову ваших местных богов и героев в свидетели, что пришел к вам с доброй миссией и напрасно прибежал к уговорам; затем я примусь опустошать вашу территорию и вымогать ваше согласие, считая себя вправе делать это на двух основаниях. Во-первых, чтобы лакедемоняне не понесли реального ущерба от этих добрых пожеланий, которые вы высказываете по отношению ко мне, не присоединяясь к ним на самом деле, - ущерба в виде той дани, которую вы ежегодно отправляете в Афины. Далее, чтобы вы не мешали грекам вообще стать свободными. Мы, лакедемоняне, можем оправдаться тем, что освобождаем какой-либо город против его собственной воли только на основании общего блага; но поскольку мы сознаем, что желаем только уничтожения чужой империи, а не приобретения империи для себя, мы не выполним свой долг, если допустим, что вы будете препятствовать тому освобождению, которое мы сейчас несем всем. Итак, хорошо обдумайте мои слова: примите на себя славу начала эры освобождения Греции, сохраните от ущерба свое имущество и присоедините вечно почетное имя к общине Аканта"[654].

Ничто не могло быть правдоподобнее и разумнее этого обращения Брасидаса к акантийцам, и у них не было никакой возможности уличить в ложности утверждения, которое он потом повторял и в других местах,[655] что он отважился на афинскую битву при Ниссее с той же армией, которая

сейчас находится снаружи стен. Возможно, простота его речи и манеры поведения даже придавала силу его заверениям. Как только он удалился, этот вопрос стал активно обсуждаться в собрании, причем мнения ораторов сильно расходились, и обе стороны проявляли полную свободу; решение, принятое только после долгих дебатов, было определено отчасти честными обещаниями Брасидаса, отчасти определенными потерями, которые повлечет за собой гибель виноградников. По тайному голосованию граждан большинство решило присоединиться к предложениям Брасидаса и восстать из Афин.^[656] Получив от него и от лакедемонских властей новое обещание о сохранении полной автономии для каждого города, который присоединится к нему, они ввели его войско в город. Соседний город Стагейрус, колония Андроса, каким был и Акант, вскоре последовал этому примеру^[657].

Мало найдется в истории поступков, в которых греческий политический разум и мораль проявились бы с большей пользой, чем в этом действии акантийцев. Привычка к честному, свободному и мирному обсуждению; установленное уважение к голосу большинства; забота о защите индивидуальной независимости суждений путем тайного голосования; взвешенная оценка доводов с обеих сторон каждым отдельным гражданином - все эти основные законы и условия здорового политического действия проявляются как часть утвержденного характера акантийцев. Мы не найдем, чтобы Брасидас входил в другие города столь достойным образом и столь гармонично.

Но есть и другой вывод, на который неотразимо наталкивает описанная сцена. Она служит ярчайшим доказательством того, что акантийцы мало на что жаловались, будучи подданными Афин, и что они продолжали бы работать в этом качестве, если бы их предоставили самим себе, не боясь уничтожить свой урожай. Таково ярко выраженное мнение основной массы граждан: партия, желающая иного, находится в решительном меньшинстве. Лишь совокупное воздействие тяжелых надвигающихся потерь и заманчивых заверений самого достойного представителя Спарты, которого она когда-либо посылала, побуждает их восстать из Афин: и даже тогда решение принимается без длительного сопротивления и большого несогласного меньшинства, в случае, когда тайное голосование гарантировало свободное и подлинное выражение предпочтений каждого человека. Невозможно, чтобы сцена в Аканте в этот критический момент носила такой характер, если бы Афинская империя была практически одиозной и обременительной для союзников, как это обычно изображается. Если бы это было так; если бы акантийцы чувствовали, что имперское превосходство Афин угнетает их лишениями или унижениями, от которых их соседи, восставшие халкидяне в Олинфе и других местах, были освобождены, они бы приветствовали приход Брасидаса с тем радушием, которого он сам ожидал и с удивлением не нашел. Чувство нынешней обиды, всегда острое и часто чрезмерное, стало бы их главным побуждением: им не потребовалось бы ни запугивания, ни уговоров, чтобы побудить их открыть свои ворота освободителю, который в своей речи в городе не находит реальных страданий, к которым можно было бы апеллировать, но вынужден завоевывать явно нежелающую аудиторию путем чередования угроз и обещаний.

Как и в Аканте, так и в большинстве других фракийских подвластных Афинам городов, основная масса граждан, хотя и подстрекаемая халкидянами, не проявляет спонтанной склонности к восстанию из Афин. Мы увидим, что партия, которая вводит Брасидаса, - это сговорившееся меньшинство, которое не только не посоветовалось с большинством заранее, но и действует так, чтобы не оставить большинству свободы выбора, ратифицировать или отвергнуть его: вводит иностранную силу, чтобы покорить их и скомпрометировать их без их собственного согласия во враждебности к Афинам. Теперь, что делает события в Аканте столь важным доказательством, так это то, что большинство не попадает в ловушку и не сжимается, а свободно выносит свое решение после всестороннего обсуждения: основания этого решения ясно изложены нам, чтобы показать,

что ненависть к Афинам, если она вообще существует, ни в коем случае не является сильным или определяющим чувством. Если бы среди афинских союзников на Халкидском полуострове существовало такое сильное чувство, то не было бы сейчас никакой афинской силы, которая помешала бы им всем открыть ворота перед освободителем Брасидасом стихийным большинством, как он сам, ободренный сангвиническими обещаниями халкидян, очевидно, ожидал, что они это сделают. Но ничего подобного не произошло.

То, что я уже отмечал, рассказывая о восстании Митилены, привилегированного союзника Афин, теперь подтверждается восстанием Аканта, данника и подданного. Обстоятельства обоих случаев доказывают, что императорские Афины не внушали ненависти и не вызывали болезненного недовольства у населения подвластных городов в целом: движения против нее возникли в результате действий партии меньшинств, такого же характера, как та платейская партия, которая ввела фиванских нападающих в Платею в начале Пелопоннесской войны. Конечно, существуют различия в настроениях между городами; но поведение городов в целом показывает, что афинская империя не воспринималась ими как схема грабежа и угнетения, как хотели бы заставить нас поверить мистер Митфорд и другие. Действительно, Афины управляли своей империей, руководствуясь собственными чувствами и интересами, и ее власть держалась скорее на благоразумии, чем на привязанности ее союзников, за исключением тех случаев, когда те из них, кто управлялся демократическим путем, симпатизировали ее демократии: Верно и то, что ограничения в любой форме автономии каждого отдельного города были оскорбительны для политических инстинктов греков: кроме того, Афины все меньше и меньше старались скрыть или смягчить реальный характер своей империи, как опирающейся просто на установленный факт и превосходящую силу. Но это совсем другое дело, чем переносить практические трудности и притеснения, которые, если бы они были реальными, вызвали бы сильную положительную ненависть среди подданных-союзников, такую, какую Брасидас ожидал найти во Фракии, но на самом деле не нашел, несмотря на легкое открытие, которое обеспечило его присутствие.

Приобретение Аканта и Стагейруса позволило Брасидасу в кратчайшие сроки расширить свои завоевания, войти в Аргилус, а оттуда сделать капитальное приобретение Амфиполя.

Аргилус был расположен между Стагеиром и рекой Стримон, вдоль западного берега которой и простиралась его территория. На восточном берегу той же реки, к югу от озера, которое она образует под названием Керкинитис, и к северу от города Эйон в ее устье, находился город и территория Амфиполя, соединявшегося с землями Аргила важным мостом, расположенным там же. Аргильцы были колонистами с Андроса, как Акант и Стагирус, и присоединение этих двух городов к Брасидасу дало ему возможность культивировать интеллигенцию в Аргиле, где существовало постоянное недовольство Афинами с момента основания соседнего города Амфиполя.^[658] Этот город был основан афинянином Агноном во главе многочисленной армии колонистов на месте, принадлежавшем эдонским фракийцам, под названием Эннеа Ходои, или Девять путей, примерно за пять лет до начала войны (до н. э. 437). После двух предыдущих попыток колонизации, предпринятых Гистиеем и Аристагором во время восстания ионийцев, и второй попытки, предпринятой афинянами около 465 года до н.э., они потерпели неудачу, обе эти попытки, к сожалению, не увенчались успехом. Однако это место было настолько ценным из-за близости к золотым и серебряным рудникам у горы Пангея и большим лесам корабельной древесины, а также из-за управления рекой Стримон и торговли с внутренними районами Фракии и Македонии, что афиняне отправили вторую экспедицию под командованием Агнона, который основал город и дал ему название Амфиполис. Однако среди поселенцев была лишь небольшая часть афинских граждан, остальные были смешанного происхождения, некоторые из них - аргильцы, значительное число - халкидяне. Афинский полководец Эвклиз был губернатором в городе, хотя, казалось бы, не имел под своим командованием никакого войска.

Среди этих смешанных жителей был организован заговор с целью предать город Брасиду, причем как аргильчане, так и халкидяне подговаривали тех, кто жил в Амфиполе; влияние Пердикки, немалое из-за торговли этого места с Македонией, было использовано для увеличения числа партизан. Однако из всех зачинщиков самыми энергичными и полезными были жители Аргилуса. Амфиполь вместе с афинянами, как его основателями, был для них одиозен с самого начала; его основание, несомненно, сократило их торговлю и значение как хозяев нижнего течения Стримона. Они уже давно готовили ловушки против города, и прибытие Брасидаса представило им неожиданный шанс на успех. Именно они позволили ему осуществить этот сюрприз, отложив объявление о своем отступлении из Афин до тех пор, пока не смогут сделать его подспорьем для завоевания Амфиполя.

Отправившись со своим войском из Арне на Халкидском полуострове, Брасидас после полудня прибыл в Аулон и Бромискус, расположенные у канала, соединяющего озеро Больбе с морем; отсюда, после того как его люди поужинали, он начал свой ночной марш к Амфиполю, в холодную и снежную ночь ноября или начала декабря. В середине ночи он добрался до Аргилуса, где его сразу же приняли вожди, объявившие о своем восстании из Афин. С их помощью и под их руководством он поспешил к мосту через Стримон, которого достиг еще до рассвета.^[659] Его охранял лишь слабый пикет - сам город Амфиполь располагался на холме на некотором расстоянии выше по реке;^[660] так что Брасидас, предваряемый аргильскими заговорщиками, без труда удивил и одолел стражу. Овладев этим важным сообщением, он со своим войском немедленно переправился на территорию Амфиполя, где его прибытие вызвало сильнейшее волнение и ужас. Правитель Эвклиз, магистраты и горожане оказались совершенно неподготовленными: земли, принадлежащие городу, были заняты жителями с их семьями и имуществом, рассчитывающими на спокойную безопасность, как будто в пределах досягаемости не было врага. Тем из них, кто находился близко к городу, удалось бежать туда с семьями, оставив свое имущество незащищенным, но более отдаленные оказались как в личном, так и в имущественном отношении во власти захватчика. Даже в самом городе, заполненном друзьями и родственниками погибших без них, царило неопишемое смятение, которым заговорщики пытались воспользоваться, чтобы открыть ворота. Дезорганизация была настолько полной, что если бы Брасидас без промедления подошел к воротам и штурмовал город, многие полагали, что он взял бы его сразу. Однако такой риск был слишком велик даже для его смелости, тем более что отпор, скорее всего, стал бы его гибелью. Кроме того, доверившись заверениям заговорщиков, что ворота будут открыты, он решил, что безопаснее будет захватить как можно больше людей из числа горожан, чтобы воздействовать на настроения тех, кто находится внутри стен; наконец, этот процесс захвата и грабежа, вероятно, был больше по вкусу его собственным солдатам, и ему нельзя было препятствовать.

Но он напрасно ждал открытия ворот. Заговорщики в городе, несмотря на полный успех своего сюрприза и всеобщее смятение вокруг, оказались не в состоянии увлечь за собой большинство. Как и в Аканте, так и в Амфиполе, те, кто действительно ненавидел Афины и желал восстания, составляли лишь партийное меньшинство; большинство граждан в этот критический момент поддержали Эвклиса и немногих окружавших его коренных афинян, решив защищаться и отправив экспресс к Фукидиду (историку) на Фасос, коллеге Эвклиса, как генерала во Фракии, за немедленной помощью. Этот шаг, разумеется, немедленно доведенный до сведения Брасидаса изнутри, заставил его приложить все усилия, чтобы склонить амфиполитанцев к сдаче до прибытия подкрепления; тем более что он был уверен, что Фукидид, будучи крупным владельцем и работником золотых рудников в соседней области, обладает большим личным влиянием среди фракийских племен и сможет собрать их вместе для помощи этому месту вместе со своей собственной афинской эскадрой. Поэтому он прислал предложения о сдаче на самых выгодных условиях, гарантируя каждому гражданину, решившему остаться, амфиполитанцу или даже

афинянину, дальнейшее проживание с нетронутой собственностью и равными политическими правами, и предоставляя каждому, кто решил уехать, пять дней на то, чтобы вывезти свое имущество.

Такие легкие условия, когда о них стало известно в городе, сразу же произвели ощутимое изменение мнения среди граждан, оказавшись приемлемыми как для афинян, так и для амфиполитанцев, хотя и на разных основаниях.^[661] Имущество оставшихся граждан, а также многих их родственников находилось в руках Брасидаса: никто не рассчитывал на скорое прибытие подкрепления; и даже если бы оно прибыло, город мог быть сохранен, но оставшиеся граждане все равно были бы либо убиты, либо взяты в плен: последовала бы кровопролитная битва, и, возможно, в конце концов Брасидас, при поддержке оставшихся, мог бы одержать победу. Афинские граждане в Амфиполе, понимая, что подвергаются особой опасности, были вполне удовлетворены его предложением, поскольку оно выводило их из критического положения и обеспечивало им возможность бегства со сравнительно небольшими потерями; а неафинские граждане, причастные к такому же избавлению от опасности, не испытывали особого желания принять капитуляцию, которая сохраняла в неприкосновенности их права и имущество и лишь отделяла их от Афин, к которым они испытывали не ненависть, а равнодушие. Прежде всего, друзья и родственники граждан, оказавшихся за пределами области, настойчиво призывали к капитуляции, так что вскоре заговорщики осмелели настолько, что открыто заявили о себе, настаивая на умеренности Брасидаса и благоразумии, с которым он был принят. Эвклис обнаружил, что тон мнений даже среди его собственных афинян постепенно меняется против него, и не смог предотвратить принятие условий и вступление врага в город в тот же день.

Подобное решение не было бы принято, если бы граждане знали, насколько близок Фукидид и его войска. Послание, отправленное рано утром из Амфиполя, застало его в Тасосе с семьей триерами; с ними он немедленно вышел в море, чтобы вечером того же дня достичь Эйона в устье Стримона, в трех милях от Амфиполя. Он надеялся успеть спасти Амфиполь, но тот сдался за несколько часов до этого. Он прибыл как раз вовремя, чтобы сохранить Эйон, потому что в городе уже начали договариваться о приеме Брасидаса, который, вероятно, вошел бы в него на рассвете следующего утра. Приведя город в состояние обороны, Фукидид успешно отразил нападение, которое Брасидас предпринял как по суше, так и на лодках по реке. В то же время он принял и обеспечил афинских граждан, отступавших из Амфиполя^[662].

Взятие этого города, возможно, самого важного из всех иностранных владений Афин, и открытие моста через Стримон, по которому даже все ее восточные союзники стали доступны по суше, вызвало огромное волнение во всем греческом мире. Тревога, охватившая Афины^[663], была сильнее, чем когда-либо прежде: надежда и радость преобладали среди ее врагов, а волнение и новые стремления широко распространились среди ее союзников. Кровавое поражение при Делиуме и неожиданные завоевания Брасидаса вновь понизили *престиж* афинского успеха, спустя шестнадцать месяцев после того, как он был так мощно возвышен взятием Сфактерия. Потеря репутации, которую понесла тогда Спарта, теперь компенсировалась реакцией на необоснованные ужасы, которые она наводила на вероятную карьеру своего врага. Афинян огорчала не только потеря Амфиполя, как бы серьезна она ни была, но и неуверенность в сохранении всей империи: они не знали, кто из их подданных-союзников может в следующий раз восстать, рассчитывая на помощь Брасидаса, облегченную недавно приобретенным страмонийским мостом. А поскольку действия этого полководца отчасти ставили в заслугу его стране, считалось, что Спарта, впервые сбросив с себя уныние,^[664] взяла на вооружение стремительность и предприимчивость, которые когда-то считались исключительной чертой Афин. Но помимо всех этих неблагоприятных для афинян факторов, существовал еще один, более

угрожающий: личное возвышение и положение самого Брасидаса. Не только смелость, богатство агрессивных ресурсов, быстрота движений, способность возбуждать умы солдат придавали эффективность этому полководцу, но и его неподкупная честность, добросовестность, умеренность, воздержание от партийной грубости или подсиживания, от всякого вмешательства во внутренние конституции различных городов, в строгом соответствии с манифестом, в котором Спарта провозгласила себя освободительницей Греции. Таких талантов и такой официальной значимости еще не было. На фоне полного блеска успехов, которые считались невероятными еще до того, как они произошли, они внушили этому выдающемуся человеку такое доверие и перевернули мнение о нем, что он лично стал одной из первых сил в Греции. Многочисленные просьбы были переданы ему в Амфиполис от афинских союзников, которые возлагали на него большие надежды и боялись афинян: антиафинская партия в каждом из них с нетерпением ждала восстания, а остальные жители были менее сдержаны в страхе[665].

Из тех, кто предавался этим сангвиническим расчетам, многим еще предстояло узнать на горьком опыте, что Афины все еще мало ослаблены в своем могуществе: но ее бездействие в течение этой важной осени было таким, что вполне может объяснить их ошибку. Можно было предположить, что, услышав тревожные новости о соединении Брасидаса с халкидянами и Пердиккаса с их зависимыми союзниками, они немедленно отправят во Фракию компетентные силы, которые, если бы были посланы в то время, вероятно, предотвратили бы все последующие бедствия. Так они поступили бы и в любое другое время, а возможно, и тогда, если бы Периклес был жив. Но известие пришло как раз в тот период, когда Афины были заняты экспедицией в Беотию, которая очень скоро закончилась гибельным поражением при Делиуме. В условиях уныния, вызванного гибелью стратига Гиппократеса и тысячи граждан, мысль о новой экспедиции во Фракию, вероятно, была бы невыносима для афинских гоплитов: тяготы зимней службы во Фракии, испытанные за несколько лет до этого во время блокады Потидеи, вероятно, также усугубили бы их нежелание. В греческой истории мы должны неуклонно помнить, что читаем о солдатах-гражданах, а не о профессиональных воинах, и что настроение времени, будь то уверенность или тревога, в невыразимой степени изменяет все расчеты военного и политического благоразумия. Даже после быстрых успехов Брасидаса, не только при Аканте и Стагире, но даже при Амфиполе, они послали лишь несколько недостаточных охранников[666] в наиболее угрожаемые пункты, оставив таким образом предприимчивому врагу всю оставшуюся зиму для беспрепятственных операций. Не умаляя заслуг Брасидаса, мы можем заметить, что его необыкновенный успех в значительной степени объясняется не менее необыкновенным унынием, которое в то время охватило афинскую общественность: это чувство поощрялось Никиасом и другими ведущими людьми той же партии, которые опирались на него, чтобы добиться принятия лакедемонских предложений о мире.

Но, обращая внимание на недостатки Афин, не направивших вовремя силы против Брасидаса, мы должны в то же время признать, что самая серьезная и невосполнимая потеря, которую она понесла, - Амфиполь - была в большей степени виной ее офицеров, чем ее самой. Эвклиз и историк Фукидид, два афинских полководца во Фракии, которым она доверила оборону этого важного города, располагали достаточными средствами, чтобы исключить всякий риск его захвата, если бы они заранее проявили самую обычную бдительность и осторожность. То, что Фукидид стал изгнанником сразу после этого события и оставался им в течение двадцати лет, следует из его собственного заявления: и мы слышим, на основании вполне достаточного в данном случае авторитета, что афиняне осудили его и, вероятно, Эвклеса также на изгнание, по предложению Клеона[667].

Рассматривая этот приговор, историки[668] обычно считают Фукидида невиновным человеком и не находят в нем ничего достойного осуждения, кроме клеветы демагога и несправедливости

народа. Но такой взгляд на дело не может быть поддержан, если собрать воедино все факты, даже те, на которые указывает сам Фукидид. В тот момент, когда Брасидас напал на Амфиполь, Фукидид был в Тасосе; и это событие всегда обсуждается так, как будто он был там по необходимости или по долгу службы, как будто Тасос был его особой миссией. Теперь мы знаем из его собственного заявления, что его командование не было особым или ограниченным Тасосом: он был послан как совместный командир вместе с Эвклесом во Фракию, и особенно в Амфиполь. [Оба они несли солидарную ответственность за надлежащую оборону Амфиполя, афинской империи и интересов в этом квартале. Такое назначение двух или более офицеров, сокомандных и совместно ответственных, было обычной привычкой Афин, где масштабы или область военных действий были значительными, вместо того чтобы назначать одного верховного ответственного командира, с подчиненными офицерами, действующими под его началом и ответственными перед ним. Если, таким образом, Фукидид "был размещен на Тасосе", по выражению доктора Тирлуолла, то это потому, что он решил разместиться там по собственному усмотрению.

Соответственно, вопрос, который мы должны поставить, заключается не в том, сделал ли Фукидид все, что можно было сделать, после получения тревожного известия из Тасоса, что является той частью дела, которую он ставит перед нами на первый план, а в том, принял ли он и Эвклис совместно лучшие общие меры для безопасности Афинской империи во Фракии, особенно для Амфиполя, первой жемчужины ее империи. Они допустили, чтобы Афины лишились этой жемчужины, и как? Им было трудно защищать свою позицию? Их одолели превосходящие силы? Были ли они отвлечены одновременными восстаниями в разных местах, или на них напали неизвестные или непредвиденные враги? Ни одно из этих оснований для оправдания не может быть приведено. Во-первых, их положение было самым надежным из всех остальных: им нужно было только держать мост через Стримон под наблюдением и охраной или удерживать афинскую эскадру в Эйоне, и Амфиполь был в безопасности. Одной или другой из этих мер предосторожности было бы достаточно; обе вместе они были бы настолько достаточны, что, вероятно, не позволили бы сформировать план нападения. Далее, силы под командованием Брасидаса ни в коем случае не были превосходящими, их не хватало даже для захвата уступающего по численности Эиона, когда он охранялся должным образом, и уж тем более для захвата Амфиполя. Наконец, не было ни одновременных восстаний, отвлекающих внимание, ни неизвестных врагов, способных сбить с толку хорошо продуманную схему обороны. Был только один враг, в одном квартале, с одной дорогой, по которой можно было подойти; враг, действительно, превосходящий по своим достоинствам и чрезвычайно опасный для Афин, но не имеющий никаких шансов на успех, кроме как из-за упущений афинских офицеров.

Теперь Фукидид и Эвклис знали, что Брасидас подговорил Аканта и Стагеира восстать, причем так, чтобы существенно расширить свое личное влияние: они знали, что население Аргилуса андрийского происхождения,^[670] как и население Аканта и Стагеира, и поэтому особенно склонно к соблазну по примеру этих двух городов. Наконец, они знали, и сам Фукидид рассказывает нам,^[671] что это аргильское население, чья территория граничила со Стримоном и западным подножием моста, и которое имело много связей в Амфиполе, уже давно было недовольно Афинами, и особенно афинским владением этим городом. И все же, имея такое предвидение, достаточное предупреждение о необходимости бдительной обороны, Фукидид и Эвклис отменяют или опускают обе меры предосторожности, от которых зависела безопасность Амфиполя; обе меры предосторожности очевидны, любая из них достаточна. Один покидает мост под слабой охраной,^[672] и везде оказывается настолько неподготовленным, что можно предположить, что Афины находятся в глубоком покое; другой застаёт свою эскадру не в Эйоне, а на Тасосе, острове, находящемся вне всякой опасности, как со стороны Брасидаса, у которого не было кораблей, так и со стороны любого другого врага. Прибытие Брасидаса обрушивается на них

обоих как удар грома. В сложившихся обстоятельствах не требуется ничего другого, кроме этого очевидного факта, чтобы доказать их неразумность как полководцев.

Присутствие Фукидида на Фракийской станции было важно для Афин, отчасти потому, что он обладал ценными семейными связями, шахтерской собственностью и влиянием среди континентального населения вокруг Амфиполя. [673] Это была одна из основных причин, по которой он был назван; афинский народ частично доверял его частному влиянию, помимо общественных сил под его командованием, и надеялся на него, даже больше, чем на его коллегу Эвклеса, в отношении дальнейшей безопасности города: вместо этого они обнаружили, что даже их собственная эскадра под его командованием не находится под рукой вблизи уязвимого места в момент, когда враг наступает. Поведение Эвклеса, пожалуй, легче поддается объяснению, чем поведение Фукидида. Ведь, судя по всему, у Эвклеса в Амфиполе не было наемного войска, только граждане-гоплиты, частично афиняне, частично другого происхождения. Несомненно, эти люди находили утомительным нести караул всю зиму на Стримонском мосту: и Эвклис мог вообразить, что, навязывая большую вечную стражу, он рискует сделать Афины непопулярными: кроме того, строгое постоянство караула ночь за ночью, когда не возникает реальной опасности, с неоплачиваемой гражданской силой нелегко поддерживать. Это недостаточное оправдание, но оно лучше, чем все, что можно предложить от имени Фукидида; у него с собой был платный афинский отряд, и он мог с таким же успехом держать его в Эйоне, как и на Фасосе. Мы можем быть уверены, что отсутствие Фукидида с его флотом на Фасосе было одним из существенных условий в заговоре Брасидаса с аргильцами.

Сказать вместе с доктором Тирлуоллом, что "человеческое благоразумие и активность не смогли бы достичь большего, чем это сделал Фукидид *при тех же обстоятельствах*", - это правда, как факт, и заслуживает доверия в той мере, в какой это возможно. Но она совершенно неприемлема в качестве оправдания и отвечает лишь одной части дела. Командующий офицер несет ответственность не только за то, что делает большинство "при обстоятельствах", но и за сами обстоятельства, в той мере, в какой они находятся под его контролем; и ничто не находится в большей степени под его контролем, чем положение, которое он выбирает для себя. Если бы император Наполеон или герцог Веллингтон потеряли, застигнутые врасплох малочисленным противником, пост высшей важности, который они считали достаточно защищенным, были бы они удовлетворены, услышав от ответственного командира: "Не имея ни малейшего представления о том, что неприятель предпримет какую-либо внезапную попытку, я думал, что могу держать свои силы в половине дня пути от подвергшегося опасности поста, на другом посту, которого неприятель физически не мог достичь; но, как только мне сообщили, что произошла неожиданность, я поспешил на место, сделал все, что могли сделать человеческое благоразумие и активность, чтобы отразить неприятеля; и хотя я обнаружил, что он уже овладел главным постом из всех, я отбил его у второго поста, которым он также собирался овладеть?" Неужели кто-то воображает, что эти прославленные вожди, страдающие от потери неоценимой позиции, которая меняет все перспективы кампании, будут удовлетворены таким рапортом и похвалят офицера за его энергичность и храбрость "при данных обстоятельствах?" Они наверняка ответят, что он правильно поступил, вернувшись, что его поведение после возвращения было поведением храброго человека, и что его храбрость не подлежит осуждению. Но в то же время они добавили бы, что его неразумность и прозорливость в том, что он не поставил ценную позицию под достаточную охрану заранее и оставил ее открытой для врага, в то время как сам отсутствовал в другом месте, которое было вне опасности, и его легкая вера в то, что не будет опасного сюрприза, в то время как характер вражеского офицера, а также недовольство соседей (Аргилуса) ясно указывали на то, что они будут, если будет предоставлена хотя бы малейшая возможность, что это недостатки, заслуживающие серьезного порицания и лишаящие его права в будущем командовать с доверием и ответственностью. Мы также не можем сомневаться, что все чувства

соответствующих армий, которым пришлось бы расплачиваться своей лучшей кровью за несчастный просчет этого офицера, согласились бы с таким приговором, несколько не подозревая, что они виновны в несправедливости или "направили бы раздражение, вызванное потерей, против невинного объекта".

Пылкий продавец кожи в Пниксе, в Афинах, когда он выдвинул так называемые "свои клеветнические доводы" против Фукидида и Эвклеса, как причинивших, в результате преступного бездействия, фатальный и непоправимый ущерб их стране, мог бы, возможно, изложить свое дело с большей громкостью и язвительностью; но можно сомневаться, что он сказал бы что-нибудь более обидное, чем содержалось бы в достойном упреке уважаемого современного генерала подчиненному офицеру при подобных обстоятельствах. По моему мнению, обвинение против этих двух офицеров - я полагаю, что в их число входил и Эвклиз - не только выдвинуто на самых справедливых *предположительных* основаниях, которых было бы достаточно для оправдания продавшего кожу Клеона, но и положительный обвинительный приговор в их адрес полностью заслужен. Было ли назначенное изгнание более суровым наказанием, чем того требовало дело, я не берусь судить. У каждой эпохи есть свой собственный стандарт чувств для измерения надлежащей интенсивности наказания: наказания, которые наши деды считали правильными и приемлемыми, в наши дни показались бы невыносимо суровыми. Но если учесть огромную ценность Амфиполя для Афин в сочетании с поведением, из-за которого он был потерян, я не думаю, что найдется хоть один афинянин или грек, который посчитал бы наказание в виде изгнания слишком суровым.

Больно видеть столь веские основания для официального порицания в отношении человека, который как историк заслужил неизменное восхищение потомков, - мое собственное, одно из первых и самых теплых. Но, критикуя поведение Фукидида офицера, мы обязаны по справедливости забыть Фукидида историка. Он не был известен в этом качестве в то время, когда был вынесен этот приговор: возможно, он никогда не стал бы таким известным, как неаполитанский историк Колетта, если бы изгнание не отбросило его от активных обязанностей и надежд гражданина. Можно сомневаться, что он когда-либо возвращался домой из Эйна, чтобы встретиться с горем, гневом и тревогой, которые так сильно ощущались в Афинах после потери Амфиполя. Осужденный, с явкой или без, он оставался в изгнании в течение двадцати лет;^[674] и вернулся в Афины только после окончания Пелопоннесской войны. Говорят, что большую часть этого долгого изгнания он потратил на свои владения во Фракии: он также посетил большую часть Греции, как врагов Афин, так и нейтральные государства. Как бы мы ни сожалели о таком несчастье, выпавшем на его долю, у человечества в целом были и будут самые веские причины радоваться этому. Этому вынужденному отдыху мы обязаны завершением или, скорее, приближением к завершению его истории: и не менее несомненно, что возможности, которыми пользовался изгнанник, лично консультируя нейтралов и врагов, во многом способствовали формированию того беспристрастного, всеобъемлющего, панэллинского духа, который царит в целом в его бессмертном труде.

Тем временем Брасидас, установленный в Амфиполе в начале декабря 424 года до н. э., еще более энергично использовал свою возросшую мощь против Афин. Первой его заботой было восстановление Амфиполя, в чем ему лично помогал македонец Пердиккас, чьи интриги способствовали захвату города. Этот город переживал частичное отделение и обновление жителей, к тому же теперь он был отрезан от порта Эйон и устья реки, которые оставались в руках афинян. Должно было потребоваться много новых мер, как для внутреннего устройства, так и для внешней обороны. Брасидас принял меры по строительству военных кораблей в озере над городом, чтобы форсировать нижнюю часть реки;^[675] но самым важным его шагом было строительство палисада,^[676] соединяющего стены города с мостом. Таким образом, он стал

постоянным хозяином переправы через Стримон, чтобы закрыть дверь, через которую он сам вошел, и в то же время поддерживать легкое сообщение с Аргилусом и западным берегом Стримона. Он также сделал несколько приобретений на восточном берегу реки. Питтакус, князь соседнего эдоно-фракийского города Миркинус, был недавно убит своей женой Брауро и некоторыми личными врагами: вероятно, он был союзником Афин, и теперь его убийцы стремились укрепить свои позиции, добиваясь союза с новым завоевателем Амфиполя. Тасийские континентальные колонии Галепс и *Æsymê* также заявили о своей приверженности ему.

Послав в Лакедемон сообщение о своем прекрасном положении и больших надеждах, он в то же время, не дожидаясь ответа, начал действовать сам, со всеми союзниками, которых смог собрать. Сначала он выступил против полуострова, называемого Акте, - узкого языка земли, который простирается от окрестностей Аканта до могучего мыса, называемого горой Афон, - около тридцати миль в длину и от четырех до пяти миль в ширину.[677] Длинный, изрезанный, лесистый хребет, покрывающий этот полуостров так, что оставляет лишь узкое пространство для жилья, земледелия или кормления скота, был в это время занят множеством отдельных мелких общин, некоторые из которых разделялись по расе и языку. Сане, колония с Андроса, была расположена во внутреннем заливе, называемом Сингитским, между Афоном и Ситонийским полуостровом, недалеко от Ксерксейского канала: остальная часть Актека была распределена между бисалтийцами, крестонийцами и эдонийцами, все фракции фракийского имени; пеласгами, или тирренцами, из расы, которая когда-то занимала Лемнос и Имброс, и некоторыми халкидийцами. Некоторые из этих маленьких общин говорили обычно на двух языках. Тисс, Клеон, Олофикс и другие покорились по прибытии Брасидаса; но Санек и Дион держались, и он не смог примириться с ними, даже опустошив их территорию.

Затем он отправился на Ситонский полуостров, чтобы напасть на Торон, расположенный у южной оконечности этого полуострова, напротив мыса Канастрæум, крайнего мыса полуострова Паллен[678].

Торон был населен халкидским населением, но не принимал участия в восстании соседних халкидцев против Афин. Небольшой афинский гарнизон был послан туда, вероятно, после недавних опасностей, и теперь защищал его, а также ремонтировал городскую стену в различных частях, где она была настолько запущена, что обвалилась. Они занимали в качестве своеобразной цитадели выступающий мыс под названием Ликиф, соединяющийся узким перешейком с холмом, на котором стоял город, и образующий порт, в котором стояли две афинские триремы в качестве сторожевых кораблей. Небольшой отряд в Тороне, не имея никаких сведений[679] или даже подозрений относительно остальных, вступил в переписку с Брасидасом и обязался предоставить ему средства для проникновения в город и овладения им. В соответствии с этим он двинулся ночным маршем к храму Диоскуров, Кастора и Поллукса, примерно в четверти мили от городских ворот, которых он достиг немного раньше рассвета, выслав вперед сто пельтастов, чтобы они находились еще ближе и бросились на ворота в тот момент, когда изнутри будет подан сигнал. Его торонтские партизаны, некоторые из которых уже затаились на месте, ожидая его прибытия, договорились с ним окончательно, а затем вернулись в город, ведя с собой семь решительных людей из своей армии, вооруженных только кинжалами, и имея Лисистрата из Олинфа в качестве начальника: первоначально для этой службы было назначено двадцать человек, но опасность оказалась настолько крайней, что только семь из них отважились пойти. Этих потерявших надежду людей, которым удалось пробраться внутрь через небольшой проем в стене в сторону моря, бесшумно провели на самый верх сторожевой башни на городском холме, где они застали

врасплох и перебили стражников, а также открыли соседние ворота, выходящие на мыс Канастр, и большие ворота, ведущие на агору. Затем они привели пельтастов извне, которые, не терпя промедления, постепенно пробрались под стены: часть этих пельтастов осталась у больших ворот, другие были приведены к столбу на вершине, и тут же был зажжен сигнальный огонь, чтобы пригласить самого Брасидаса. Он и его люди поспешили вперед к городу на предельной скорости и с громкими криками, наводящими ужас на неподготовленных горожан. В открытые ворота можно было попасть без труда, но некоторые забирались наверх по балкам или на подмости, которые лежали рядом со стеной в помощь рабочим, ремонтирующим ее. И пока нападавшие действовали во всех направлениях, Брасидас сам проводил часть из них, чтобы закрепить за собой высокие и главные части города.

Торонтийцы были настолько поражены и ошеломлены, что почти не пытались сопротивляться. Даже пятьдесят афинских гоплитов, занимавших агору, будучи найдены еще спящими, были частью убиты, а частью вынуждены искать убежища на отдельно охраняемом мысе Ликиф, куда за ними последовала часть населения Торонта; одни из привязанности к Афинам, другие из чистого ужаса. К этим беглецам Брасидас обратился с прокламацией, приглашая их вернуться и обещая им полную безопасность личности, имущества и политических прав; в то же время он послал глашатая с официальной повесткой к афинянам в Леккифе, требуя от них покинуть это место как принадлежащее халкидянам, но разрешая им унести свое имущество. Они отказались покинуть это место, но попросили перемирия на один день, чтобы похоронить своих убитых. Брасидас дал им два дня, которые они и он потратили на подготовку к обороне и нападению на Ликиф; каждая сторона укрепила дома на перешейке или рядом с ним.

Тем временем он созвал общее собрание жителей Торонта, к которым обратился тем же примирительным и справедливым языком, что и в других местах. "Он пришел не для того, чтобы причинить вред ни городу, ни отдельным гражданам. Те, кто впустил его, не должны считаться плохими людьми или предателями, ибо они действовали с целью блага и освобождения своего города, а не для того, чтобы поработить его или получить выгоду для себя. С другой стороны, он не думал хуже о тех, кто ушел в Лакедемон за их симпатии к Афинам: он хотел, чтобы они свободно вернулись; и он был уверен, что чем больше они будут знать лакедемонян, тем лучше будут их уважать. Он готов был простить и забыть прежнюю вражду, но, приглашая всех их жить в будущем как сердечные друзья и сограждане, он также должен в будущем считать каждого человека ответственным за его поведение, как друга или как врага".

По истечении двухдневного перемирия Брасидас напал на афинский гарнизон в Ликифе, пообещав вознаграждение в тридцать мин тому воину, который первым прорвется в него. Несмотря на очень слабые средства обороны, частично деревянный частокол, частично дома с крышами, гарнизон отбивался от него целый день: на следующее утро он пригнал машину для поджога деревянных построек, подобную той, что использовали беотийцы в Делиуме. Афиняне, видя приближение этой огненной машины, поставили на здании перед своей позицией деревянный помост, на который взобрались многие из них с бочками воды и большими камнями, чтобы разбить его или погасить пламя. В конце концов, накопившийся вес стал больше, чем могли выдержать леса, и они с огромным шумом обрушились, так что все люди и вещи, находившиеся на них, в беспорядке покатались вниз. Некоторые из этих людей были ранены, но повреждения на самом деле не были серьезными; разве шум, крики и странность происшествия не встревожили тех, кто находился позади и не мог видеть, что именно произошло, настолько, что они решили, что враг уже форсировал оборону. Многие

из них обратились в бегство, а тех, кто остался, было недостаточно для успешного сопротивления, так что Брасидас, видя беспорядок и уменьшение числа защитников, отказался от своей огневой машины и снова возобновил попытку взять город штурмом, которая теперь полностью удалась. Значительная часть афинян и других жителей форта бежала через узкий залив на полуостров Паллен, воспользовавшись двумя триерами и несколькими торговыми судами, находившимися под рукой, но все, кто был найден в форте, были преданы смерти. Брасидас, овладевший фортом и считавший, что своим успехом он обязан внезапному разрушению афинских лесов, расценил это происшествие как божественное вмешательство и передал тридцать мин, обещанных в награду первому ворвавшемуся, богине Афине для ее храма в Леккифе. Кроме того, он посвятил ей весь мыс Леккиф; он не только снес оборонительные сооружения, но и разобрал частные дома, которые там находились, [680] так что не осталось ничего, кроме храма с его служителями и принадлежностями.

Какую часть торонтийцев, укрывшихся в Ликифе, побудило вернуться провозглашение Брасидаса, в равной степени великодушное и политичное, мы не знаем. Его язык и поведение были превосходно рассчитаны на то, чтобы вновь привести эту маленькую общину в гармоничное движение и стереть память о былых распрях. И прежде всего, он внушал сильные чувства привязанности и благодарности к себе лично; чувства, которые набирали силу с каждым последующим инцидентом, в который он был вовлечен, и которые позволили ему добиться большего превосходства, чем когда-либо могла приобрести Спарта, а в некоторых отношениях и большего, чем когда-либо имели Афины. Именно это удивительное развитие выдающейся индивидуальности, вдохновляемой на протяжении всего времени прямыми общественными целями и связывающей вместе так много маленьких сообществ, у которых было мало других общих чувств, придает короткой карьере этого выдающегося человека романтический и даже героический интерес.

Остаток зимы Брасидас посвятил приведению в порядок уже сделанных приобретений и разработке планов дальнейших завоеваний на весну. [681] Но начало весны - или конец восьмого и начало девятого года войны, как считает Фукидид, - принесло с собой новые события, о которых будет рассказано в следующей главе.

ГЛАВА LIV. ПЕРЕМИРИЕ НА ОДИН ГОД - ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ВОЙНЫ И БИТВА ПРИ АМФИПОЛЕ - НИКИЙСКИЙ МИР.

Восьмой год войны, описанный в предыдущей главе, начался с сангвинических надежд для Афин и мрачных обещаний для Спарты, главным образом из-за памятного взятия Сфактерии в конце предыдущего лета. В него вошли, не говоря уже о других событиях, два значительных и важных предприятия Афин - против Мегары и против Беотии; первый план частично удался, второй - не просто не удался, но сопровождался губительным поражением. Наконец, потери во Фракии, последовавшие за поражением при Делиуме, вместе с неоправданными ожиданиями, которые повсюду связывали с будущей карьерой Брасидаса, вновь серьезно снизили впечатление от афинской власти. Таким образом, год завершился среди унижений,

которые были тем более болезненны для Афин, что контрастировали с радужными надеждами, с которыми он начался.

Именно сейчас Афины ощутили всю ценность тех пленников, которых она взяла в Сфактерии. С этими пленниками, как справедливо говорили Клеон и его сторонники, она могла быть уверена, что заключит мир, когда захочет.^[682] Имея такую уверенность, она вела смелую игру и стремилась к большим приобретениям в течение последнего года; и эта спекуляция, хотя и небезосновательная сама по себе, потерпела неудачу: более того, произошло новое явление, столь же неожиданное для всех, когда Брасидас разорвал и расчленил ее империю во Фракии. Тем не менее, спартанцы так сильно желали вернуть своих пленников, у которых были влиятельные друзья и родственники на родине, что рассматривали победы Брасида, главным образом, как ступеньку к этой цели и как средство заставить Афины заключить мир. На его воодушевленные заверения, посланные домой из Амфиполя, с изложением перспектив дальнейших успехов и просьбой о подкреплении, они ответили удручающе, продиктованные в немалой степени несчастной ревностью некоторых из их главных людей;^[683] которые, чувствуя себя отброшенными в тень и рассматривая его блестящую карьеру как эксцентричное движение, вырвавшееся из спартанской рутины, были, таким образом, как по личным, так и по политическим мотивам настроены на борьбу за мир. Такие побочные мотивы, действуя на обычную для Спарты осторожность, заставляли ее использовать нынешнюю удачу и реализованные завоевания Брасидаса как основу для переговоров и возвращения пленных; не открывая возможности для последующих предприятий, которые, хотя и могли бы закончиться еще более триумфальными результатами, неизбежно подвергли бы риску то, что было теперь в безопасности.^[684] История афинян за последний год могла, действительно, служить предупреждением, чтобы удержать спартанцев от авантюрной игры.

Со времени взятия Сфактерии лакедемоняне прямо или косвенно пытались вести переговоры о мире и возвращении пленных; их миролюбивые настроения были особенно подстрекаемы царем Плейстоанаксом, чьи особые обстоятельства давали ему сильный мотив для завершения войны. Он был изгнан из Спарты за четырнадцать лет до начала войны и немного раньше тридцатилетнего перемирия по обвинению в том, что брал взятки у афинян по случаю вторжения в Аттику. Более восемнадцати лет он прожил в изгнании, недалеко от храма Зевса Ликейского в Аркадии; в таком постоянном страхе перед лакедемонянами, что его жилище находилось наполовину на освященной земле.^[685] Но он не терял надежды добиться восстановления через посредство пифийской жрицы в Дельфах, которую он и его брат Аристоклос держали у себя на жаловании. Каждому священному посланию, отправлявшемуся из Спарты в Дельфы, она повторяла одно и то же настоятельное предписание: "Они должны привезти семя (Герakла), полубога, сына Зевса, из чужой земли в свою: если они этого не сделают, то их судьба будет пахать серебряным лемехом". Повеление бога, постоянно повторяемое и подкрепленное влиянием тех друзей, которые поддерживали Плейстоанакса на родине, в конце концов привело к полной смене настроений в Спарте. На четвертом или пятом году Пелопоннесской войны изгнанник был отозван, и не просто отозван, а встречен с беспредельными почестями, принят с теми же жертвами и хорическими представлениями, которые, как говорят, были принесены первобытным царям при первом поселении Спарты.

Однако, как и в случае с Клеоменесом и Демаратом, не прошло много времени, как прежние интриги были раскрыты или, по крайней мере, в них стали подозревать и верить; к большому несчастью Плейстоанакса, хотя его не удалось изгнать снова. Каждое следующее

общественное бедствие, постигшее государство, выкидыши Алкида, поражение Эврилоха в Амфилохии и, прежде всего, беспрецедентное унижение в Сфактерии, были приписаны неудовольствию богов из-за нечестивого вероломства Плейстоанакса. Страдая от такого обвинения, этот царь очень хотел обменять опасности войны на безопасный марш мира, так что он был лично заинтересован в том, чтобы открыть все двери для переговоров с Афинами и восстановить свой авторитет, вернув пленных[686].

После битвы при Делиуме[687] мирные настроения Никиаса, Лакхеса и фило-лаконской партии стали находить все большее одобрение в Афинах;[688] а непредвиденные потери во Фракии, сменявшие друг друга, и каждый последующий триумф Брасидаса, очевидно, увеличивавший его возможности добиться большего, привели к тому, что уныние афинян переросло в положительную тревогу. Переговоры, по-видимому, велись на протяжении значительной части зимы, и постоянная надежда, что они могут быть завершены, в сочетании с невежливым отвращением Никиаса и его друзей к энергичным военным действиям, помогают объяснить нежданную апатию Афин под давлением таких позоров. Но к концу зимы ее мужество настолько ослабло, что она стала смотреть на перемирие как на единственное средство[689] сохранения против победоносного продвижения Брасидаса. Каков был теперь тон Клеона, нам напрямую не известно: вероятно, он продолжал противостоять мирным предложениям, по крайней мере, косвенно, настаивая на более выгодных условиях, чем можно было получить. В этом отношении его политические советы были бы ошибочными, но в другом они были бы гораздо более здравыми и рассудительными, чем у его соперника Никиаса: ведь он рекомендовал бы афинянам упорно продолжать военные действия против Брасидаса во Фракии. В данный момент это была самая насущная политическая необходимость для Афин, независимо от того, принимали они или отвергали мирные взгляды, и политика Никиаса, который поддерживал существующее уныние граждан, побуждая их полагаться на мирные наклонности Спарты, была непродуманной и катастрофической по своим результатам, как покажет будущее.

Мирные партии в Афинах и Спарте пытались сначала договориться об окончательном мире, но условия такого мира было нелегко определить, чтобы удовлетворить обе стороны, и они становились все более и более трудными с каждым успехом Брасидаса. В конце концов афиняне, желая прежде всего остановить его продвижение, отправили в Спарту предложение о перемирии на один год, желая, чтобы спартанцы отправили в Афины посланников с полными полномочиями для урегулирования условий: перемирие давало бы время и спокойствие для решения условий окончательного договора. Предложение о перемирии на год,[690] вместе с двумя первыми готовыми статьями, исходило от Афин, как мы и могли предположить даже без доказательств; ведь интерес Спарты был скорее против него, как дающего афинянам полную свободу действий для подготовки к дальнейшим потерям во Фракии. Но главным ее желанием было не столько поставить себя в условия для заключения наилучшего мира, сколько обеспечить мир, который освободил бы ее пленников: она рассчитывала, что, вкусив сладости мира в течение года, афиняне больше не станут добровольно налагать на себя суровые обязательства войны[691].

В марте месяце 423 года до н.э, в четырнадцатый день месяца Элафеболион в Афинах и в двенадцатый день месяца Герастий в Спарте, было заключено перемирие на один год между Афинами, с одной стороны, и Спартой, Коринфом, Сикионом, Эпидавром и Мегарой - с другой.[692] Спартанцы, вместо того чтобы просто направить в Афины уполномоченных, как того желали афиняне, пошли дальше: в согласии с афинскими посланниками они составили форму перемирия, одобренную ими самими и их союзниками, таким образом, что ее

требовалось только принять и ратифицировать афинянам. Общий принцип перемирия - *uti possidetis*, а условия по существу были следующими:- 1.

1. Что касается храма в Дельфах, то каждый грек имеет право пользоваться им честно и без страха, в соответствии с обычаями своего города. Главной целью этого договора, подготовленного и дословно присланного из Афин, было разрешить афинским посетителям посещать храм, что было невозможно во время войны из-за враждебности беотийцев^[693] и фокийцев: дельфийские власти также были в интересах Спарты, и, несомненно, афиняне не получили официального приглашения на Пифийские игры. Но беотийцы и фокийцы не были участниками перемирия: соответственно, лакедемоняне, принимая статью и провозглашая общую свободу в принципе, не обязуются добиваться ее соблюдения оружием в отношении беотийцев и фокийцев, а лишь пытаются убедить их дружескими представлениями. Свобода приносить жертвы в Дельфах была в этот момент тем более желанной для афинян, что они, похоже, считали себя под неудовольствием Аполлона^[694].

2. Все договаривающиеся стороны будут дознаваться и наказывать, каждая по своим законам, тех лиц, которые могут нарушить собственность дельфийского бога.^[695] Эта статья также подготовлена в Афинах, по-видимому, с целью примирить благосклонность Аполлона и дельфийцев. Лакедемоняне, разумеется, принимают эту статью буквально.

3. Афинские гарнизоны в Пилусе, Кифере, Ниссее и Миноа, а также Метана в окрестностях Трезена должны оставаться на прежнем месте. Между Китерой и любой частью материка, принадлежащей Лакедемонскому союзу, не должно быть никаких сообщений. Солдаты, занимающие Пилус, должны ограничиться пространством между Буфрасом и Томеем; солдаты в Ниссее и Миноа - дорогой, ведущей от часовни героя Нисса к храму Посейдона, без всякого общения с населением за этим пределом. Точно так же афиняне, живущие на полуострове Метана близ Трезена, и жители этого города должны соблюдать заключенный между ними особый договор о границах^[696].

4. Лакедемоняне и их союзники будут пользоваться морем для торговых целей у своих берегов, но не будут иметь права плавать ни на военных кораблях, ни на гребных торговых судах тоннажем в пятьсот талантов. [Все военные корабли обычно приводились в движение веслами: иногда они использовали паруса, но никогда, когда это было необходимо для боя. Торговые суда, по-видимому, обычно ходили под парусами, но иногда были гребными: ограничение по размеру добавлено, чтобы лакедемоняне не могли под видом торговых судов создать воинственный флот].

5. Между Пелопоннесом и Афинами должно быть свободное сообщение как по морю, так и по суше для вестников или посольств с подходящими сопровождающими для заключения окончательного мира или урегулирования разногласий.

6. Ни одна из сторон не должна принимать дезертиров от другой, будь то свободные или рабы". [Эта статья была одинаково важна для обеих сторон. Афины должны были опасаться восстания своих подданных-союзников, Спарта - дезертирства гелотов].

7. Споры будут разрешаться обеими сторонами полюбовно, согласно их установленным законам и обычаям".

Такова была суть договора, подготовленного в Спарте, по-видимому, в согласии с афинскими посланниками, и отправленного спартанцами в Афины на утверждение, со следующим дополнением: "Если есть какое-нибудь положение, которое покажется вам более почетным или справедливым, чем это, приходите в Лакедемон и скажите нам, ибо ни спартанцы, ни их

союзники не будут противиться никаким справедливым предложениям. Но пусть те, кто приедет, привезут с собой все полномочия для заключения, как вы того желаете от нас. Перемирие должно быть заключено на один год".

Постановлением, которое Лахес предложил афинскому общественному собранию, ратифицировав перемирие, народ постановил открыть переговоры для заключения окончательного договора и поручил стратигам предложить следующему собранию схему и принципы ведения переговоров. Но в тот самый момент, когда посланники между Спартой и Афинами доводили перемирие до окончательного принятия, во Фракии произошли события, грозившие полностью его отменить. Через два дня^[697] после важного четырнадцатого числа Элафеболиона, но еще до того, как о перемирии стало известно во Фракии, Скионес поднял восстание против Афин Брасидаса.

Скион был городом, называвшим себя Ахейским, одной из многочисленных колоний, которые, не имея признанного города-матери, вели свое происхождение от воинов, возвращавшихся из Трои. Он располагался на полуострове Паллен (самом западном из трех узких языков земли, на которые разветвляется Халкидика) и граничил с эретрийской колонией Мендек. Скионцы, не без значительных разногласий между собой, провозгласили восстание из Афин, согласованное с Брасидасом. Он немедленно переправился через залив в Паллен, сам в маленькой лодке, но с триремой рядом, рассчитывая, что она защитит его от любого маленького афинского судна, а любая афинская трирема, которую он может встретить, нападет на его трирему, не обращая внимания на маленькую лодку, в которой он сам находился. Восстание Скионки, судя по положению города, было более ярким вызовом Афинам, чем все предыдущие события. Ведь на перешейке, соединяющем Паллен с материком, находился город Потидея, который в период его захвата за семь лет до этого был отнесен к афинским поселенцам, хотя, возможно, в нем проживали и другие жители. Кроме того, перешеек был настолько узким, что стена Потидеи не позволяла его полностью от моря до моря: Таким образом, Паллен был квази-островом, не открытым для помощи сухопутной силы с континента, как города, ранее приобретенные Брасидасом. Таким образом, скионцы без посторонней помощи вступили в противоборство со всей мощью Афин, поставив под вопрос ее империю не только над континентальными городами, но и над островами.

Даже для самого Брасидаса их восстание показалось шагом удивительной смелости. Приняв город, он созвал общественное собрание и обратился к ним тем же языком, что и при Аканте и Тороне, отвергая все партийные предпочтения, а также всякое вмешательство во внутреннюю политику города, и призывая их к единодушным усилиям против общего врага. В то же время он воздал им самые теплые похвалы за их мужество. "Они, подвергаясь всем опасностям, которым подвергаются жители островов, по собственной воле добились свободы,^[698] не дожидаясь, как трусы, пока иностранная сила подтолкнет их к тому, что явно было их собственным благом". Он считал их способными на любой подвиг в будущем, если опасность, надвигающаяся сейчас со стороны Афин, будет предотвращена, и назначил им самый первый почетный пост среди верных союзников Лакедемонии". Этот щедрый, прямой и вдохновляющий тон увещевания, обращенный к сильнейшему политическому инстинкту греческого ума, любви к полной автономии города, и исходящий из уст человека, все поведение которого до сих пор соответствовало ему, оказался весьма эффективным во всех предыдущих городах. Но в Скионке она подняла население на высочайший уровень энтузиазма:^[699] она подействовала даже на чувства несогласного меньшинства, заставив его принять искреннее участие в движении; она породила единодушную и возвышенную уверенность, которая заставила их с радостью смотреть вперед на все отчаянные шансы, в которые они себя вовлекали; и в то же время она породила в еще более беспредельном

проявлении ту же личную привязанность и восхищение, которые Брасидас внушал в других местах. Скионцы не только публично проголосовали за золотую корону, как за освободителя Греции, но и когда она была возложена на его голову, взрыв индивидуальных чувств и симпатий был самым сильным, на который была способна греческая грудь. "Они толпились вокруг него по отдельности и обхватили его голову филейными частями, как победоносного атлета", - говорит историк^[700]. Этот примечательный инцидент иллюстрирует то, что я уже отмечал ранее: достижения, самодостаточный поход, прямолинейная политика и честность этого прославленного человека, который по характеру был скорее афинянином, чем спартанцем, но с преобладанием хороших качеств Афин, вызывали к нему такие личные чувства, которые редко встречались в греческой политической жизни. Симпатия и восхищение, испытываемые в Греции по отношению к победоносному атлету, были не просто интенсивным чувством греческого ума, но, возможно, самым распространенным и общеэллинским из всех других. Оно было связано с религией, вкусом и любовью к отдыху, общими для всего народа, в то время как политика скорее разъединяла отдельные города: это было одновременно знакомое и исключительно личное чувство. Философы часто жаловались на его преувеличенную интенсивность во всей Греции, и не без оснований; но Фукидид не может передать более живое представление о том энтузиазме и единодушии, с которыми Брасида приветствовали в Скионке, сразу после отчаянного решения, принятого гражданами, чем с помощью этого сходства.

Лакедемонский полководец хорошо знал, насколько необходима была максимальная решимость скионцев, и как быстро их изолированное положение привлекло бы к ним энергичное вторжение Афин. Поэтому он переправил в Паллен значительную часть своего войска не только для защиты Скионы, но и для того, чтобы удивить Менде и Потидею, в обеих которых находились небольшие партии заговорщиков, готовых открыть ворота.

Именно в таком положении его и застали уполномоченные, прибывшие официально объявить о заключении перемирия на год и привести в исполнение его положения: Афиней из Спарты, один из трех спартанцев, присягнувших на верность договору: Аристоним из Афин. Это сообщение существенно изменило положение дел; к большому удовлетворению новоприобретенных союзников Спарты во Фракии, которые сразу же приняли перемирие, но к большому огорчению Брасидаса, чья карьера была внезапно остановлена. Но он не мог открыто отказаться от повиновения, и его армия была переведена с полуострова Паллен в Торон.

Однако дело Скионэ сразу же вызвало препятствие, несомненно, очень приятное для него. Комиссары, прибывшие на афинской триреме, ничего не слышали о восстании в этом месте, и Аристоним был поражен, обнаружив врага в Палленке. Но, выяснив, в чем дело, он обнаружил, что скионцы подняли восстание только через два дня после дня, назначенного для начала перемирия; поэтому, санкционировав перемирие для всех остальных городов Фракии, он отказался включить в него Скион, немедленно отправив известие в Афины. Брасидас, громко протестуя против этого решения, отказался со своей стороны покинуть Скиону, которая особенно понравилась ему в результате недавних событий, и даже заручился поддержкой лакедемонских комиссаров, лживо заявив, что город восстал до дня, указанного в перемирии. Сильный взрыв негодования, когда весть, посланная домой Аристонимом, достигла Афин, не утих, когда лакедемоняне, основываясь на версии дела, присланной им Брасидасом и Афинеем, отправили посольство, чтобы потребовать защиты для Скионки или, во всяком случае, добиться разрешения спора арбитражем или мирным решением. Имея на своей стороне условия договора, афиняне меньше всего были склонны отступать от своих прав в пользу первых восставших островитян. Они сразу же решили

предпринять экспедицию для отвоевания Скионки, а затем, по предложению Клеона, предать смерти всех взрослых мужчин, населяющих это место, как только оно будет отвоевано. В то же время они не проявили никакого желания отказываться от перемирия в целом; состояние чувств с обеих сторон привело к тому, что, пока война продолжалась во Фракии, она была приостановлена во всех остальных местах[701].

Вскоре пришло новое известие о восстании Мендека, соседнего со Скионом города, которое еще больше усилило раздражение Афин. Мендейцы, задумавшие тайно внедрить Брасидаса, сначала были обескуражены прибытием уполномоченных по перемирию; но они увидели, что он продолжает удерживать Скион, несмотря на условия перемирия, и убедились, что он готов по-прежнему защищать их, если они восстанут, хотя и не может быть соучастником, как первоначально предполагалось, в захвате города. К тому же, будучи лишь небольшой партией и имея настроения всего населения против них, они боялись, что если откажутся от своего плана, то будут обнаружены и наказаны за уже предпринятые частичные шаги, когда афиняне выступят против Скионки. Поэтому в целом они сочли наименее опасным продолжать действовать. Они провозгласили свое восстание из Афин, заставив неохотно подчиниться им граждан:[702] правительство, по-видимому, и раньше было демократическим, но теперь они нашли средства, чтобы вместе с восстанием произвести олигархическую революцию. Брасидас сразу же принял их приверженность и охотно взялся защищать их, считая, что имеет на это право, поскольку они открыто восстали после объявления перемирия. Но перемирие в этом вопросе было явным, что он сам фактически признал, приведя в качестве оправдания некоторые якобы имевшие место случаи, когда афиняне сами нарушили его. Он немедленно приготовился к обороне Мендека и Скионки от нападения, которое теперь стало более вероятным, чем раньше, переправив женщин и детей этих двух городов в халкидский Олинф и отправив туда в качестве гарнизона пятьсот пелопоннесских гоплитов с тремястами халкидских пельтастов; командир этого войска, Полидамид, овладел акрополем со своими войсками отдельно.[После этого Брасидас удалился с большей частью своего войска, чтобы сопровождать Пердикку в экспедиции в глубь страны против Аррибея и Линкесты. На каком основании он, ранее заключивший соглашение с Аррибеем, теперь стал его активным врагом, остается только догадываться: возможно, его отношения с Пердиккасом, союз с которым был крайне важен, были таковы, что этот шаг был вынужден сделать против его воли, или же он действительно считал, что силы Полидамида достаточны для обороны Менде и Скионки, чему вполне могла способствовать безотчетная отсталость Афин в течение последних шести или восьми месяцев. Если бы он даже остался, он вряд ли смог бы спасти их, учитывая положение Палленка и превосходство Афин на море; но его отсутствие сделало их гибель несомненной[704].

Пока Брасидас был занят далеко в глубине страны, афинское войско под командованием Никиаса и Никострата достигло Потидеи: пятьдесят трирем, из них десять хианских; тысяча гоплитов и шестьсот афинских лучников; тысяча наемных фракийцев с пельтастами из Метона и других окрестных городов. Из Потидеи они отправились морем к мысу Посейдония, возле которого высадились, чтобы напасть на Мендек. Пелопоннесский полководец Полидамид занял со своим отрядом из семисот гоплитов, в том числе трехсот скионцев, возвышенность вблизи города, сильную и труднодоступную: афинские полководцы разделили свои силы; Никиас с шестьюдесятью афинскими отборными гоплитами, ста двадцатью метонскими пельтастами и всеми лучниками попытался подняться на холм по боковой тропе и таким образом повернуть позицию; Никострат же с главным войском

атаковал ее спереди. Но трудности местности были таковы, что оба были отбиты: Сам Никиас был ранен, а дивизия Никострата была повергнута в великий беспорядок, едва избежав уничтожающего поражения. Мендейцы, однако, ночью освободили позиции и ушли в город; а афиняне, отплыв на следующий день в пригород со стороны Скионки, опустошили соседние земли; Никиас же на следующий день распространил свои опустошения еще дальше, даже до границы скионской территории.

Но в стенах города уже начались раздоры, и скионские помощники, не доверяя своему положению, воспользовались ночью, чтобы вернуться домой. Восстание в Менде было вызвано против воли граждан интригами и в интересах олигархической фракции; кроме того, не видно, чтобы Брасидас лично посетил город, как он посетил Скион и другие восставшие города: если бы он приехал, его личное влияние могло бы многое сделать для успокоения оскорбленных граждан и создать некоторую склонность принять восстание как свершившийся факт, после того как они однажды пошли на компромисс с Афинами. Но его вдохновляющие слова не были услышаны, а пелопоннесские войска, которые он послал в Мендек, были лишь инструментом для поддержания вновь созданной олигархии и недопущения афинян. Чувства граждан в целом по отношению к ним вскоре недвусмысленно проявились. Никострат с половиной афинского войска был посажен перед теми воротами Мендека, которые открывались в сторону Потидеи: По соседству с этими воротами, в пределах города, находилось оружейное место и главный пост как пелопоннесцев, так и горожан; и Полидамид, намереваясь выступить, приводил их обоих в боевой порядок, когда один из мендейских демосов, проявляя с яростью чувства, свойственные большинству из них, сказал ему, "что он не выступит и не желает участвовать в поединке". Полидамид схватил его, чтобы наказать, когда масса вооруженных демосцев, вместе со своим товарищем, внезапно бросилась на пелопоннесцев. Последние, не готовые к такому натиску, понесли сначала некоторые потери и вскоре были вынуждены отступить в акрополь; тем более что они видели, как некоторые из мендейцев открыли ворота перед осаждающими, что заставило их заподозрить заранее обдуманное предательство. Однако такого соглашения не было, хотя осаждающие генералы, увидев внезапно открытые ворота, вскоре поняли истинное положение дел. Но они не смогли удержать своих солдат, которые сразу же ворвались внутрь, от разграбления города; им даже с трудом удалось спасти жизни горожан[705].

Взяв Менде, афинские полководцы пожелали, чтобы граждане вернулись к прежнему управлению, предоставив им самим выявлять и наказывать виновных в восстании. Как воспользовались этим разрешением, нам не известно, но, вероятно, большинство его авторов уже скрылись в акрополе вместе с Полидамидом. Воздвигнув вокруг акрополя крепостную стену, с двух концов выходящую к морю, и оставив силы для ее охраны, афиняне двинулись в путь, чтобы начать осаду Скионы, где нашли и горожан, и пелопоннесский гарнизон, расположившийся на сильном холме, недалеко от стен. Поскольку невозможно было окружить город, не овладев этим холмом, афиняне сразу же атаковали его и оказались более удачливыми, чем перед Мендеком; они взяли его штурмом, вынудив защитников укрыться в городе. Воздвигнув свой трофей, они приступили к возведению обводной стены. Прежде чем она была закончена, гарнизон, запертый в акрополе Менде, ночью ворвался в Скион, вырвавшись внезапным броском там, где окружавшая их стена вдавалась в море. Но это не помешало Никиасу продолжать свои операции, так что Скиона в скором времени была полностью окружена, а для охраны обводной стены поставлена дивизия[706].

Таково было положение дел, в котором оказался Брасидас по возвращении из внутренней Македонии. Не имея возможности ни вернуть Менде, ни освободить Скион, он был вынужден

ограничиться защитой Торона. Однако Никиас, не атаковав Торон, вскоре вернулся со своим войском в Афины, оставив Скиону в блокаде.

Поход Брасидаса в Македонию был неудачным во всех отношениях, и ничто, кроме его необычайной галантности, не спасло его от полной гибели. Объединенные силы его и Пердиккаса состояли из трех тысяч греческих гоплитов, пелопоннесцев, акантийцев и халкидцев, тысячи македонских и халкидских коней и значительного числа неэллинских вспомогательных войск. Как только они вышли за горный перевал на территорию Линкесты, их встретил Аррибей, и завязалась битва, в которой этот принц потерпел полное поражение. Здесь они остановились на несколько дней, ожидая - прежде чем двинуться вперед, чтобы напасть на деревни на территории Аррибаеуса - прибытия иллирийских наемников, с которыми Пердиккас заключил сделку. [707\]](#) Вскоре Пердиккасу не терпелось двинуться в путь без них; Брасидас же, напротив, опасаясь за судьбу Менде во время его отсутствия, стремился вернуться назад. Разногласия между ними усугубились, они разошлись и расположились отдельными лагерями на некотором расстоянии друг от друга, когда оба получили неожиданное известие, заставившее Пердиккаса отступить с таким же нетерпением, как и Брасидаса. Иллирийцы, нарушив свой договор, присоединились к Аррибею и теперь полным ходом шли на захватчиков. Неисчислимое количество этих варваров, как сообщалось, было подавляющим, а их свирепость и доблесть настолько велики, что македонская армия Пердикки, охваченная внезапной паникой, ночью распалась и бежала без приказа, поспешив за самим Пердиккой и даже не предупредив Брасидаса, с которым ничего не было согласовано об отступлении. Утром он обнаружил, что Аррибей и иллирийцы уже близко к нему, а македонцы уже далеко продвинулись в обратном направлении.

Контраст между людьми Эллады и Македонии, как полководцами, так и солдатами, никогда не был столь разительным, как в этот критический момент. Солдаты Брасидаса, хотя и были удивлены и покинуты, не потеряли ни мужества, ни дисциплины: полководец сохранил не только присутствие духа, но и всю полноту власти. Его гоплитам было приказано выстроиться в полый квадрат или продолговатую форму, с легковооруженными и сопровождающими в центре, для отступающего марша: молодые солдаты были размещены либо во внешних рядах, либо на удобных постах, чтобы быстро выбежать и отразить нападающего врага; в то время как сам Брасидас с тремя сотнями отборных людей составлял арьергард [\[708\]](#).

Короткая речь, с которой, по общему для греческих полководцев обычаю, он обратился к своим войскам непосредственно перед приближением врага, во многих отношениях примечательна. Хотя некоторые из них были акантийцами, некоторые халкидцами, некоторые гелотами, он называет всех почетным титулом "пелопоннесцы". Убеждая их от дезертирства союзников, а также от превосходящего числом наступающего врага, он взывает к их исконной, родной храбрости: [\[709\]](#) "Вам не нужно присутствие союзников, чтобы внушить вам храбрость, и вы не боитесь превосходящего числом врага; ведь вы принадлежите не к тем политическим сообществам, в которых большее число управляет меньшим, а к тем, в которых несколько человек управляют более многочисленными, чем они сами, подданными, получившими свою власть не иначе, как благодаря превосходству в бою". Далее Брасидас попытался подорвать *престиж* имени иллирийцев; его армия уже победила линкийцев, и эти другие варвары были ничуть не лучше. Ближайшее знакомство вскоре показало, что они грозны только по шуму, жестам, лязгу оружия и сопровождению их наступления, и что они неспособны выдержать реальный ближний бой рука об руку. "У них нет регулярных порядков (говорил он), которые бы внушали им стыд за дезертирство с поста: бегство и нападение у них в равной степени в почете, так что нет ничего, что могло бы

проверить действительно храброго человека: их битва, где каждый сражается по своему усмотрению, как раз и обеспечивает каждому достойный предлог для бегства". "Отбивайте их натиск, когда бы он ни начался; и как только представится возможность, возобновляйте отступление в строю и порядке. Вы скоро прибудете в безопасное место; и вы убедитесь, что такие толпы, когда их враг стоит, чтобы отразить первое нападение, держатся в стороне с пустой угрозой и парадом храбрости, которая никогда не поражает; в то время как если их враг уступает, они показывают себя умными и смелыми, убегая за ним, где нет никакой опасности"[710].

Превосходство дисциплинированной и полковой силы над беспорядочным числом, даже при равном безраздельном мужестве, сегодня является настолько привычной истиной, что нам требуется усилие воображения, чтобы перенестись в пятый век до христианской эры, когда эта истина была признана только среди эллинских общин; когда практика всех их соседей - иллирийцев, фракийцев, азиатов, эпиротов и даже македонян - предполагала незнание или противоречие ей. Что касается эпиротов, то разница между их военными привычками и греками уже была отмечена, она ярко проявилась в памятном совместном нападении на акарнанский город Стратус на втором году войны.[711] Однако и эпироты, и македоняне на шаг ближе к грекам, чем фракийцы или иллирийские варвары, с которыми Брасидасу предстояло сражаться, и в случае с которыми контраст проявляется еще более ярко. Лакедемонский полководец внушает своим солдатам не просто контраст между двумя способами ведения боя: он дает то, что можно назвать моральной теорией принципов, на которых этот контраст основан, - теорию, имеющую широкий диапазон и лежащую в основе греческой общественной жизни, как в мире, так и на войне. Чувства, живущие в душе каждого человека, определенное место, которое он должен занять, и обязанности, которые он должен выполнять, в сочетании со страхом перед неудовольствием соседей, а также перед собственным неудовольствием, если он уклонится, но в то же время связанный и отвечающий взаимностью с чувством, что его соседи несут соответствующие обязательства по отношению к нему, - это чувство, которое Брасидас называет устоявшимся военным кредо своих солдат в их рядах, было не менее регулирующим принципом их общения в мире как граждан одной общины. Каким бы простым ни казался этот принцип, он не нашел бы отклика ни в армии Ксеркса, ни у фракийца Ситалкеса, ни у галла Бреннуса. Персидский солдат бросается на смерть по приказу великого царя, возможно, под страхом кнута, который великий царь приказывает ему применить: иллириец или галл презирает такой стимул и подчиняется лишь побуждениям собственной драчливости, или мести, или любви к крови, или любви к добыче, но отступает, как только это индивидуальное чувство либо удовлетворено, либо побеждено страхом. Только греческий солдат чувствует себя связанным со своими товарищами взаимными и неразрывными узами,[712]- он подчиняется не воле царя, не собственному индивидуальному порыву, а общему и настоящему чувству долга, - его честь или позор связаны с его собственным местом в строю, которое никогда нельзя покидать или переступать. Такие представления о воинском долге, сложившиеся в сознании солдат, к которым обращался Брасидас, будут более подробно проиллюстрированы при описании памятного отступления Десяти тысяч; сейчас же я просто указываю на них как на часть той общей схемы морали, как социальной и политической, так и военной, благодаря которой греки возвышались над окружавшими их народами.

Но в речи Брасидаса есть еще один момент, который заслуживает внимания. Он говорит своим солдатам: "Храбрость - это ваше родовое достояние, ибо вы принадлежите к сообществам, где малое число управляет большим, просто в силу превосходства в себе и

завоеваний своих предков". Во-первых, примечательно, что значительная часть пелопоннесских солдат, к которым обращается Брасидас, состояла из гелотов, покоренной расы, а не завоевателей: однако военная или полковая гордость так легко вытесняет расовые симпатии, что эти люди почувствовали бы себя польщенными, если бы к ним обратились так, будто они сами происходят от расы, поработившей их предков. Далее, мы видим, как офицер дорийской расы, олигархической политики, неизвращенного интеллекта и достойного характера ссылается на право сильнейшего как на законный источник власти, а также как на почетное и облагораживающее воспоминание: И мы, соответственно, будем готовы, когда в будущем найдем аналогичный принцип, изложенный афинскими посланниками на Мелосе, не принимать объяснения тех, кто рассматривает его просто как теорию, придуманную демагогами и софистами, на тех или иных из которых принято сваливать вину за все предосудительное в греческой политике или морали".

Закончив свою речь, Брасидас отдал приказ к отступлению. Как только он двинулся в путь, иллирийцы бросились на него со всей уверенностью и криками преследователей летящего врага, полагая, что полностью уничтожат его армию. Но где бы они ни приближались, молодые солдаты, специально расставленные для этой цели, разворачивались и отбивали их с тяжелыми потерями, а сам Брасидас со своим арьергардом из трехсот человек везде оказывал энергичную помощь. Когда линкесты и иллирийцы атаковали, армия остановилась и отбила их, после чего возобновила отступление. Варвары оказались настолько грубыми в обращении и столь неожиданно энергичными, поскольку, вероятно, не имели опыта общения с греческими войсками, что после нескольких попыток отказались вмешиваться в дела армии, отступавшей по равнине. Они стремительно побежали вперед, отчасти для того, чтобы нагнать бежавших раньше македонцев под командованием Пердикки, отчасти для того, чтобы занять узкий проход с высокими холмами по обе стороны, который образовывал вход в Линкестис и лежал на пути Брасидаса. Когда последний приблизился к этому узкому проходу, он увидел, что варвары владеют им; несколько из них уже были на вершинах, и еще больше поднимались, чтобы подкрепить их, а часть них двигалась вниз по его тылу. Брасидас немедленно отдал приказ трем сотням своих отборных воинов с максимальной скоростью устремиться вверх по самому труднодоступному из двух холмов, пока он не стал более многочисленным, не переставая сохранять компактные ряды. Это неожиданное и энергичное движение смутило варваров, и они обратились в бегство, оставив грекам возвышенность и оставив своих людей в проходе беззащитными на одном из флангов.^[713] Отступающая армия, овладев одним из боковых холмов, получила возможность пробиться через средний проход и прогнать линкестских и иллирийских оккупантов. Пробравшись через этот узкий проход, Брасидас оказался на возвышенности, и враги не осмелились атаковать его дальше, так что он смог достичь, даже в тот же день марша, первого города или деревни в царстве Пердиккаса, называемого Арнисса. Его солдаты были так разгневаны на македонских подданных Пердиккаса, которые при первой же вести об опасности бежали, не предупредив их, что захватили и присвоили весь багаж, немалый по количеству, случайно оброненный в беспорядке ночного бегства; они даже отцепили и зарезали волов из телег с багажом^[714].

Пердиккас был крайне возмущен таким поведением войск Брасидаса, которое последовало сразу после его собственной ссоры с этим полководцем и после того, как он получил отпор от Линкестиса. С этого момента он разорвал свой союз с пелопоннессцами и начал переговоры с Никиасом, который в то время занимался строительством блокадной стены вокруг Скионки. Однако общая верность этого принца была столь велика, что Никиас потребовал в качестве условия союза какого-то явного доказательства искренности его

намерений; и Пердиккас вскоре смог предоставить это доказательство, имевшее большое значение[715].

Отношения между Афинами и Пелопоннесом после заключения перемирия в предыдущем марте сложились в любопытную комбинацию. Во Фракии война велась по взаимному согласию и с неослабевающей энергией, но везде соблюдалось перемирие. Однако главная цель перемирия - дать время для переговоров, предшествующих заключению окончательного мира, - была полностью нарушена; не было выполнено и постановление афинского народа, включенное в голосование, санкционировавшее перемирие, о направлении и приеме посланников для переговоров о заключении такого мира.

Вместо этого лакедемоняне отправили по суше значительное подкрепление к Брасидасу, вероятно, по его собственной просьбе, а также подстрекаемые слухом об афинских войсках, находившихся сейчас под командованием Никиаса в Палленке. Но Исагор, командующий подкреплением, достигнув границ Фессалии, счел дальнейшее продвижение невозможным и был вынужден отправить свои войска обратно. Ибо Пердиккас, благодаря одному лишь влиянию которого Брасидасу удалось пройти через Фессалию, теперь приказал своим фессалийским гостям не пускать новоприбывших; что было гораздо легче выполнить, и это было приятно для чувств самого Пердиккаса, а также оказало существенную услугу афинянам.[716] Исагор же с несколькими спутниками, но без своего войска, направился к Брасидасу, получив от лакедемонян особое указание осмотреть положение дел и доложить о нем. В числе его спутников было несколько избранных спартанцев военного возраста, которых предполагалось назначить гармостами или губернаторами в городах, захваченных Брасидом: это было одно из первых нарушений древнего спартанского обычая, который, по-видимому, часто повторялся впоследствии, - не назначать на такие должности никого, кроме пожилых мужчин, достигших военного возраста. Действительно, сам Брасидас был ярким отступлением от древнего правила. Миссия этих офицеров была призвана оградить от назначения на такие должности кого-либо, кроме спартанцев, поскольку в армии Брасидаса спартанцев не было. Один из новоприбывших, Клиаридас, был назначен губернатором Амфиполя, другой, Пасителидас, - Торона.[717] Вероятно, эти инспектирующие комиссары способствовали ограничению активности Брасидаса: вновь объявленная враждебность Пердикки, а также разочарование от неприбытия свежих войск, предназначенных для соединения с ним, значительно сократили его средства. Мы слышим только об одном подвиге, совершенном им в это время, и то более чем через шесть месяцев после отступления из Македонии, примерно в январе или феврале 422 г. до н. э. Установив связь с некоторыми сторонами в городе Потидея, чтобы удивить его, он сумел ночью подвести свою армию к подножию стен и даже установить лестницы, не быть обнаруженным. Дозорный, несущий и звонящий в колокол, только что прошел по стене, оставив на короткий промежуток времени неохраемое место (видимо, было принято передавать этот колокол вдоль стен от одного дозорного к другому в течение всей ночи), когда некоторые из солдат Брасидаса воспользовались моментом и попытались взобраться наверх. Но не успели они подняться на вершину стены, как дозорный вернулся, была поднята тревога, и нападавшие были вынуждены отступить[718].

В отсутствие фактической войны между восходящими державами в Пелопоннесе и его окрестностях в течение этого лета Фукидид упоминает некоторые происшествия, которые, возможно, он бы опустил, если бы нужно было описать большие военные действия. Великий храм Геры, расположенный между Микенами и Аргосом (ближе к первому и в ранние времена более тесно связанный с ним, но теперь являющийся его придатком, поскольку сами Микены были подвергнуты аргейцам и почти обезлюдели), пользовался древней

общеэллинской репутацией; каталог его жриц, кажется, со статуей или бюстом каждой, сохранился или воображался на протяжении веков прошлого времени, реального и мифического, начиная с самой богини или ее ближайших выдвиженцев. Хризис, старуха, которая была жрицей в этом храме пятьдесят шесть лет, случайно заснула в храме с горящим светильником возле головы: филадельфия, окружавшая ее голову, загорелась, и хотя сама она спаслась невредимой, сам храм, очень древний и, возможно, построенный из дерева, сгорел. Опасаясь гнева аргейцев, Хризис бежала во Флию, а впоследствии сочла нужным искать защиты в храме Афины Алеа в Тегее: Вместо нее жрицей была назначена Фейнис.^[719] Храм был перестроен на соседнем участке Евполемом из Аргоса, максимально сохранив древность и традиции прежнего, но с большим великолепием и размахом: Путешественник Павсаний, который описывает этот храм как посетитель, примерно через шестьсот лет после этого, видел рядом с ним остатки старого храма, который был сожжен.

Далее мы слышим о войне в Аркадии между двумя важными городами - Мантинеей и Тегеей, каждый из которых имел своих аркадских союзников, частично свободных, частично подданных. В битве, разыгравшейся между ними при Лаодикионе, победа была спорной: каждая сторона воздвигла трофей, каждая отправила трофеи в храм в Дельфах. Вскоре у нас будет повод подробнее рассказать об этих аркадских разногласиях.

Беотийцы не были участниками перемирия, заключенного между Спартой и Афинами в предыдущем марте; но они, похоже, последовали примеру Спарты, воздержавшись от военных действий *де-факто*; и мы можем заключить, что они уступили просьбе Спарты, разрешив проезд афинских гостей и священных посланников через Беотию к Дельфийскому храму. Единственный реальный инцидент, о котором мы слышим в Беотии в этот период, - это случай, убедительно иллюстрирующий суровое и неблагородное господство фиванцев над низшими беотийскими городами.^[720] Фиванцы разрушили стены Феспии и обрекли город на неукрепленность, обвинив *его* в *аттических* наклонностях. Насколько обоснованными были эти подозрения, мы судить не можем: но феспийцы, далеко не опасные в этот момент, были совершенно беспомощны, потеряв цвет своей военной силы в битве при Делиуме, где они находились на побежденном крыле. Именно эта беспомощность, вызванная их помощью Фивам в борьбе с Афинами, побудила и позволила фиванцам привести в исполнение вышеупомянутый строгий приговор^[721].

Наступил март, или аттический Элафеболион, 422 г. до н. э., время, установленное для истечения годичного перемирия. Уже упоминалось, что это перемирие никогда не соблюдалось более чем частично: Брасидас во Фракии игнорировал его с самого начала, и обе договаривающиеся державы молчаливо соглашались с аномальным состоянием, когда война во Фракии сочеталась с миром в других местах. Таким образом, любая из них имела прекрасный предлог для полного разрыва перемирия; а поскольку ни одна из них не воспользовалась этим предлогом, мы ясно видим, что главные чувства и главенствующие партии в обеих странах склонялись к миру по собственному желанию в то время. Не было ничего, кроме интересов Брасидаса и тех восставших афинских подданных, с которыми он связал себя узами брака, что поддерживало бы войну во Фракии. При таком положении дел клятва, данная для поддержания перемирия, все еще казалась обязательной для обеих сторон, всегда исключая фракийские дела. Кроме того, афиняне были в некоторой степени успокоены успехами при Менде и Скионе, а также приобретением Пердикки в качестве союзника летом и осенью 423 года до н. э. Но состояние чувств между договаривающимися сторонами было не таким, чтобы можно было заключить более длительный мир или новое соглашение, хотя ни одна из сторон не была склонна отступить от уже заключенного.

Сам факт наступления последнего дня перемирия поначалу ничего не менял в таком положении вещей. Перемирие истекло: любая из сторон могла возобновить военные действия, но ни одна из них не возобновила их. Для афинян существовал дополнительный мотив воздержаться от военных действий еще на несколько месяцев: в июле или начале августа в Дельфах должен был состояться великий пифийский праздник, а поскольку они были лишены доступа к этому священному месту в течение всего периода между началом войны и заключением годичного перемирия, их благочестивые чувства, похоже, теперь испытывали особую тягу к связанным с ним посещениям, паломничествам и празднествам. Хотя перемирие, таким образом, действительно прекратилось, реальных военных действий не было до окончания Пифийских игр[722].

Но хотя действия афинян оставались неизменными, разговоры в Афинах стали совсем другими. Клеон и его сторонники возобновили свои попытки добиться энергичного продолжения войны, причем возобновили их с большим запасом аргументов; теперь вопрос был открыт для соображений политического благоразумия, без каких-либо обязательных обязательств.

"В это время (замечает Фукидид)[723] великими противниками мира были Брасидас с одной стороны и Клеон с другой: первый - потому что он был в полном успехе и прославился войной; второй - потому что он думал, что если будет заключен мир, то его уличили бы в нечестной политике, и ему было бы менее легко поверить в свои обвинения против других". Что касается Брасидаса, то замечание историка бесспорно: было бы удивительно, если бы он, в котором война выявила столько великолепных качеств и который, кроме того, заключил с фракийскими городами обязательства, внушавшие ему надежды и опасения, полностью отделился от Лакедемона, - было бы удивительно, если бы война и ее продолжение не были в его глазах первостепенной задачей. По правде говоря, его положение во Фракии представляло собой непреодолимое препятствие для любого прочного и устойчивого мира, независимо от расположения Клиона.

Но окраска, которую Фукидид придает поддержке Клеоном войны, допускает гораздо больше комментариев. Во-первых, мы вполне можем поставить вопрос о том, был ли у Клеона реальный интерес к войне, усиливало ли она его личное или партийное влияние в городе. У него самого не было ни таланта, ни компетенции для ведения военных действий, которые неизбежно приводили к тому, что власть переходила в руки других, а его самого отбрасывало в тень. Что касается его способности с успехом вести бесчестные интриги, то это должно было зависеть от степени его политического возвышения; в то время как поводов для клеветы на других, предполагая, что он не заботится о правде или лжи, вряд ли могло не быть ни на войне, ни в мире; и если война выдвигала неуспешных генералов, открытых для его обвинений, то она также выдвигала успешных генералов, которые, безусловно, затмили бы его и, вероятно, низложили бы его. В житии Фокиона, простого и прямолинейного военного, которое приводит Плутарх, мы читаем, что один из частых афинских ораторов, склонных к преступлениям, с характером, аналогичным тому, который приписывают Клиону, выразил свое удивление, услышав, как Фокион отговаривает афинян от новой войны: "Да (сказал Фокион), я считаю правильным отговаривать их; хотя я хорошо знаю, что если будет война, я буду командовать вами; если будет мир, вы будете командовать мной"[724] Это, несомненно, более рациональная оценка того, как война влияет на сравнительную важность оратора и военного офицера, чем та, которую Фукидид высказывает в отношении интересов Клеона. Более того, если мы проследим политическую историю Сиракуз, то обнаружим, что демагог Афинагор ультратихий, а аристократ Гермократес гораздо более воинственный:[725]

первый не без основания опасается, что война приведет к появлению энергичных военачальников, опасных для народной конституции. Можно добавить, что и сам Клеон не всегда был настроен воинственно: он начал свою политическую карьеру как противник Перикла, когда тот упорно отстаивал необходимость и благоразумие начала Пелопоннесской войны[726].

Но если даже допустить, что у Клеона был отдельный партийный интерес в продвижении войны, все равно остается вопрос, не было ли в этот конкретный кризис применение энергичных военных мер во Фракии действительно разумной и благоразумной политикой для Афин. Если взять Периклеса в качестве лучшего судьи этой политики, то мы увидим, что в самом начале войны он настойчиво разъяснял два важных момента: 1. Энергично обороняться, сохраняя в неприкосновенности свою морскую империю, "держат в руках своих союзников", терпеливо перенося разорение Аттики. 2. Воздержаться от попыток расширить свою империю или совершить новые завоевания во время войны. [727] В соответствии с этим четко определенным планом действий Периклес, если бы он был жив, позаботился бы о том, чтобы энергично и своевременно вмешаться, чтобы помешать Брасидасу совершить свои завоевания: если бы такое вмешательство было невозможно или случайно сорвалось, он бы не посчитал никаких усилий слишком большими, чтобы вернуть их. Сохранение целостности империи, а также того впечатления от афинской силы, на котором она покоилась, было его кардинальным принципом. Теперь невозможно отрицать, что в отношении Фракии Клеон придерживался политики Перикла более тесно, чем его соперник Никиас. Именно Никиасу, а не Клеону, следует вменить в вину роковую ошибку Афин, которые не вмешались сразу после того, как Брасидас впервые ворвался во Фракию: именно Никиас и его сторонники, желая мира почти любой ценой и зная, что лакедемоняне также желают его, побудили своих соотечественников в момент сильного общественного упадка духа оставить Брасидаса без сопротивления во Фракии и положиться на возможность переговоров со Спартой, чтобы задержать его продвижение. Партия мира в Афинах заключила перемирие на год, обещая и прямо намереваясь сдержать дальнейшие завоевания Брасидаса, а также обещая перевести это перемирие в постоянный мир и добиться восстановления Амфиполя.

Такова была политика Никиаса и его партии, друзей мира и противников Клеона. И обещания, которые они при этом давали, могли показаться правдоподобными в марте 422 года до н. э., в момент заключения перемирия на один год. Но последующие события самым вопиющим образом их разочаровали и даже показали, что есть все основания полагать, что подобные надежды не оправдаются, пока Брасидас будет действовать без помех и противодействия. Лакедемоняне, хотя и искренне заключили перемирие на основе *uti possidetis*, желая распространить его как на Фракию, так и на другие места, не смогли заставить Брасидаса соблюдать его или удержать его даже от новых приобретений, так что Афины так и не воспользовались перемирием именно в той области, где больше всего в нем нуждались. Лишь отправив свои войска в Скион и Менде, она сохранила за собой даже Паллен. Какой же урок следовало извлечь из этого опыта, когда афиняне собрались обсудить свою дальнейшую политику после окончания перемирия? Главной целью всех партий в Афинах было возвращение утраченных владений во Фракии, особенно Амфиполя. Никиас, все еще настаивая на мирных переговорах, продолжал надеяться, что лакедемоняне согласятся вернуть это место в качестве цены за пленников, находящихся сейчас в Афинах; его связь со Спартой позволяла ему даже авторитетно заявлять о ее заявлениях. Но на это Клеон мог дать и, несомненно, дал исчерпывающий ответ, основанный на самом последнем опыте: "Если лакедемоняне и согласятся на возвращение Амфиполя (сказал бы он), то, вероятно, лишь для того, чтобы найти средство избежать наказания и при этом вернуть своих

пленников. Но если допустить, что они совершенно искренни, они никогда не смогут контролировать Брасидаса и те партии во Фракии, которые связаны с ним общностью чувств и интересов; так что в конце концов вы вернете им пленников под страхом эквивалента, который они не в состоянии реализовать. Посмотрите, что произошло за время перемирия! Взгляды и обязательства Брасидаса во Фракии настолько отличаются от взглядов и обязательств лакедемонян, что он даже не подчинился их приказу, когда они велели ему стоять на месте и воздержаться от дальнейших завоеваний: тем более он не подчинится им, когда они велют ему сдать то, что он уже получил: меньше всего, если они предпишут сдать Амфиполь, его главное приобретение и центральный пункт для всех будущих усилий. Если ты захочешь вернуть Амфиполь, ты вернешь его только энергичным применением силы, как это случилось со Скионкой и Мендеком, и ты должен немедленно приложить все свои силы для этой цели, пока лакедемонские пленники еще в твоих руках, а не ждать, пока тебя обманом заставят отдать их и тем самым потерять всю свою власть над Лакедемоном".

Такие ожидания полностью подтвердились результатом: последующая история покажет, что лакедемоняне, связав себя договором об отдаче Амфиполя, не хотели или не могли добиться выполнения своего условия даже после смерти Брасидаса: тем более они не могли сделать этого при его жизни, когда его огромное личное влияние, напряженная воля и надежды на будущее завоевание служили для них еще большим препятствием. Подобные предвидения также явно вытекали из недавнего прошлого: так что, вкладывая их в уста Клеона, мы лишь предполагаем, что он читал урок, открытый перед его глазами.

Итак, поскольку военная политика Клеона, предпринятая в этот момент после истечения годичного перемирия, может быть показана не только как более соответствующая гению Перикла, но и основанная на более справедливой оценке событий как прошлого, так и будущего, чем мирная политика Никиаса, Что же мы скажем историку, который, не опровергая подобные предположения, каждое из которых вытекает из его собственного повествования, более того, даже не указывая на их существование, просто говорит нам, что "Клеон противился миру, чтобы скрыть бесчестные интриги и найти повод для правдоподобного разоблачения?" Мы не можем не сказать об этой критике, с глубоким сожалением, что такие слова должны быть произнесены в отношении любого суждения Фукидида, что она сурова и несправедлива по отношению к Клеону, и небрежна по отношению к истине и наставлению его читателей. Оно не дышит тем же духом благородной беспристрастности, который пронизывает его общую историю: это интерполяция офицера, чья неосторожность привела к роковой потере Амфиполя для его соотечественников, мстящего гражданину, который справедливо обвинил его: оно задумано в том же тоне, что и его безотчетное решение по делу Сфактерия.

Отвергая в этом случае суждение Фукидида, мы можем с уверенностью утверждать, что у Клеона были рациональные общественные основания призывать своих соотечественников энергично взяться за отвоевание Амфиполя. Демагог и торговец кожами, каким бы он ни был, он занимает почетное место в этом списке, отличаясь как от послушного и бездеятельного Никиаса, который с поспешным легковерием ухватился за мир из-за болезни от военных усилий, так и от беспокойного движения и новинок, не только невыгодных, но и губительных, которые мы увидим в скором времени под эгидой Алкивиада. Периклес говорил своим соотечественникам в то время, когда они терпели все бедствия от моровой язвы и находились в состоянии уныния, еще большего, чем то, которое царило в 422 г. до н. э.: "Вы удерживаете свою империю и свое гордое положение при условии готовности к затратам, усталости и опасности: воздержитесь от всякой мысли о расширении империи, но не считайте никакие усилия слишком большими, чтобы сохранить ее в неприкосновенности.

Потерять то, что мы однажды получили, более позорно, чем потерпеть неудачу в попытках приобретения"[728] Этой же фразы, вероятно, придерживался Клеон, когда увещевал своих соотечественников к экспедиции для повторного завоевания Амфиполя. Но, произнесенная им, она произвела бы совсем иной эффект, чем тот, который она произвела в прошлом, когда ее занимал Периклес, и также отличный от того, который она произвела бы сейчас, если бы ее занимал Никиас. Вся партия мира отвергла бы его, когда он исходил от Клеона; отчасти из-за неприязни к оратору, отчасти из-за убеждения, которое, несомненно, испытывал каждый, что экспедиция против Брасидаса была бы опасной и болезненной службой для всех, кто в ней участвовал, как генералов, так и солдат; отчасти также из-за убеждения, которое было искренним в то время, хотя впоследствии оказалось иллюзорным по результатам, что Амфиполь действительно может быть возвращен через мир с лакедемонянами.

Если бы Клеон, предлагая экспедицию, изначально предложил себя в качестве командира, то появилось бы новое основание для возражений, причем весьма веское. Поскольку все, что делает Клеон, понимается как проявление какого-то порочного или глупого свойства, нам говорят, что это был пример его нелепого самомнения, возникшего из-за успеха при Пилусе и убедившего его в том, что он единственный полководец, способный сразить Брасидаса. Но если успех в Пилусе действительно наполнил его таким непомерным военным самомнением, то совершенно необъяснимо, почему он не добился для себя какого-нибудь командования в течение года, который непосредственно последовал за делом в Сфактерии, на восьмом году войны: в сезон наиболее активного военного предприятия, когда его самомнение и влияние, возникшее после победы в Сфактерии, должны были быть свежими и сияющими. Поскольку он не получил никакого командования в течение этого непосредственно следующего периода, мы можем справедливо сомневаться, действительно ли он когда-либо задумывал такую чрезмерную личную уверенность в своих военных талантах, и не сохранил ли он после дела Сфактерия тот же характер, который он проявил в этом деле, нежелание участвовать в военных экспедициях самому и склонность видеть их под командованием, а также осуществляемыми другими. Ни в коем случае нельзя с уверенностью утверждать, что Клеон, предлагая экспедицию против Амфиполя, изначально собирался сам принять командование ею: Я думаю, по крайней мере, не менее вероятно, что его первоначальным желанием было побудить Никиаса или стратегов принять командование, как в случае со Сфактерией. Никиас, несомненно, противился экспедиции, как только мог: когда она была решена народом, несмотря на его противодействие, он решительно отказался бы от командования и сделал бы все возможное, чтобы навязать его Клиону, или, по крайней мере, был бы более рад видеть ее под его командованием, чем под командованием кого-либо другого. Он был бы не менее рад освободить себя от опасной службы, чем видеть своего соперника втянутым в нее; и перед ним была бы та же альтернатива, которую он и его друзья с таким удовольствием рассматривали в деле Сфактерия: либо экспедиция будет успешной, и тогда Амфиполь будет взят, либо она провалится, и следствием этого будет гибель Клеона. Последний вариант был более вероятен в Амфиполе, как ошибочно полагал Никиас в Сфактерии.

Однако легко понять, что экспедиция, предложенная Клеоном при таких обстоятельствах, хотя и получила бы большинство голосов в общественном собрании, вызвала бы неприятие у значительной части граждан и даже желание, чтобы она провалилась. Кроме того, Клеон не обладал ни талантами, ни опытом командования армией, а участие под его командованием в сражении с самым искусным офицером того времени не могло внушить доверия ни одному человеку, надевшему доспехи. Исходя из всех этих обстоятельств, как политических, так и военных, мы не удивляемся, что гоплиты, которых он взял с собой, отправились в путь с большой неохотой.[729] У невежественного полководца с нежелающими идти солдатами,

многие из которых политически не любили его, было мало шансов отвоевать Амфиполь у Брасидаса: но если бы Никиас или стратиги выполнили свой долг и направили все силы города под компетентным командованием на ту же цель, вопрос, вероятно, был бы другим в отношении выигрыша и проигрыша; конечно, очень другим в отношении бесчестья.

Клеон выступил из Пирея, по-видимому, в начале августа, с двенадцатью сотнями афинских, лемнийских и имбрийских гоплитов и тремя сотнями всадников - войсками отличного качества и состояния: помимо вспомогательного войска союзников, число которых точно не известно, и тридцати трирем. Это вооружение не было по масштабам равным взятию Амфиполя, так как Брасидас имел равное количество войск, а также все преимущества позиции. Но в планы Клеона, прибывшего в Эйон, входило получить македонские и фракийские подкрепления, прежде чем начать атаку. Сначала он остановился в плавании у Скионэ, откуда забрал всех гоплитов, которых можно было спасти от блокады. Затем он переплыл залив из Паллена на Ситонский полуостров, к месту, называемому гаванью колофонцев, недалеко от Торона. [Узнав, что в Тороне нет ни самого Брасида, ни сколько-нибудь значительного пелопоннесского гарнизона, он высадил свои войска и двинулся в поход на город, одновременно направив десять трирем вокруг мыса, отделявшего гавань колофонцев от Торона, чтобы напасть на последний с моря. Случилось так, что Брасидас, желая расширить укрепленный круг Торона, разрушил часть старой стены и использовал материалы для строительства новой, более крупной стены, охватывающей проастейон, или предместье: эта новая стена, по-видимому, была еще не завершена и находилась в несовершенном состоянии обороны. Пелопоннесский полководец Паси Телидас сопротивлялся нападению афинян до тех пор, пока мог; но когда он уже начал сдаваться, то увидел десять афинских трирем, вошедших в гавань, которая почти не охранялась. Бросив оборону предместья, он поспешил отразить этих новых нападавших, но подоспел слишком поздно, так что в город вошли сразу с двух сторон. Брасидас, находившийся неподалеку, с величайшей быстротой оказал помощь, но, узнав о захвате, был еще в пяти милях от города и вынужден был безуспешно отступить. Полководец Пасителида с пелопоннесским гарнизоном и мужским населением Торонны были отправлены в качестве пленников в Афины, а женщины и дети тороннцев, что было слишком распространенной в те времена участью, были проданы в рабство[731].

После этого немаловажного успеха Клеон отплыл вокруг Афонского мыса к Эйону в устье Стримона, в трех милях от Амфиполя. Отсюда, во исполнение своего первоначального плана, он отправил посланников к Пердиккасу, призывая его оказать действенную помощь как союзника Афин в нападении на Амфиполь со всеми своими силами; и к Поллесу, царю фракийских одомантов, приглашая его также прибыть с таким количеством фракийских наемников, какое только можно было собрать. Эдонийцы, ближайшее к Амфиполю фракийское племя, приняли участие вместе с Брасидасом: местное влияние изгнанного Фукидида больше не будет служить ни Афинам, ни тем более Клеону. В ожидании подкреплений Клеон предпринял атаку сначала на Стагир в Стримонском заливе, которая была отбита, а затем на Галепс на побережье напротив острова Тасос, которая была успешной. Но подкрепления прибыли не сразу, и, будучи слишком слабым, чтобы атаковать Амфиполь без них, он был вынужден бездействовать в Эйоне; Брасидас же со своей стороны не сделал ни одного движения из Амфиполя, а довольствовался постоянным наблюдением за войсками Клеона, вид на которые открывался ему с его позиции на холме Кердилион, на западном берегу реки, сообщаемой с Амфиполем мостом. Несколько дней прошло в таком бездействии с обеих сторон; но афинские гоплиты, устав от бездействия, вскоре начали давать волю тем чувствам неприязни, которые они вынесли из Афин против своего генерала, "чье невежество и трусость (говорит историк) они противопоставляли мастерству и

храбрости его противника". "Афинские гоплиты, если они испытывали подобные чувства, вряд ли могли воздержаться от их проявления; и вскоре Клеон был поставлен в известность об этом факте достаточно болезненным образом, чтобы заставить его против его воли предпринять какое-то движение; которое, однако, он не собирался рассматривать иначе как марш с целью осмотра местности вокруг города и демонстрацию, чтобы избежать видимости бездействия, понимая, что невозможно атаковать это место с каким-либо эффектом до прибытия подкреплений.

Чтобы понять последовавшие за этим важные события, необходимо сказать несколько слов о топографии Амфиполя, насколько мы можем понять ее по имеющимся у нас несовершенным свидетельствам. Этот город располагался на левом берегу Стримона, на заметном холме, вокруг которого река делает изгиб, сначала в юго-западном направлении, а затем, после короткого хода на юг, снова в юго-восточном. Амфиполь имел единственное искусственное укрепление - длинную стену, которая начиналась у северо-восточной точки города, где река снова сужается в русло, после прохождения через озеро Керкинитис, поднималась вдоль восточной стороны холма, пересекая хребет, соединяющий его с горой Пангея, и затем спускалась вниз, чтобы снова коснуться реки в другой точке к югу от города; таким образом, это была как бы тетива для сильно изогнутого лука, образованного рекой. Таким образом, с трех сторон - с севера, запада и юга - город защищался только Стримоном и был виден без всякой промежуточной стены зрителям как со стороны моря (юг), так и со стороны континента (запад и север).^[733] На небольшом расстоянии ниже того места, где стена касалась реки к югу от города, находился мост,^[734] сообщение, имевшее огромное значение для всей страны и соединявшее территорию Амфипа с территорией Аргила. На западном или правом берегу реки, гранича с ней и образуя внешний изгиб, соответствующий изгибу реки, находилась гора Кердилиум: фактически, течение Стримона здесь определяется этими двумя крутыми выступами, Кердилиумом на западе и холмом Амфиполя на востоке, между которыми он протекает. В то время, когда Брасида впервые занял это место, мост был совершенно не соединен с длинной городской стеной; но за прошедшие восемнадцать месяцев он возвел палисад - вероятно, земляную насыпь, увенчанную частоколом, - соединяющий их. Таким образом, во время экспедиции Клеона мост оказался в пределах городских укреплений, и Брасидас, неся вахту на горе Кердилиум, мог проходить через него в город, когда ему вздумается, не опасаясь никаких препятствий^[735].

Во время похода, который предпринял Клион, он поднялся на вершину хребта, который тянется почти в восточном направлении от Амфиполя до горы Пангея, чтобы осмотреть город и прилегающую к нему территорию с северной и северо-восточной стороны, которую он еще не видел, то есть со стороны озера и Фракии,^[736] которая не была видна с нижней площадки возле Эйона. Дорога, по которой он должен был идти из Эйона, пролегла на небольшом расстоянии к востоку от длинной городской стены и от частокола, соединявшего эту стену с мостом. Но он не ожидал, что на него нападут во время марша, тем более что Брасидас с большей частью своих сил был виден на горе Кердилиум: кроме того, все ворота Амфиполя были закрыты, на стене не было ни одного человека, и не было никаких признаков движения. Поскольку не было никаких признаков намерения напасть, он не принял никаких мер предосторожности и шел небрежно и беспорядочно.^[737] Достигнув вершины хребта и расположив свою армию на сильном выступе, обращенном к самой высокой части Длинной стены, он на досуге осмотрел озеро перед собой и ту сторону города, которая лежала в

сторону Фракии или Миркинуса, Драбескуса и т. д., таким образом обозрев всю нисходящую часть Длинной стены на север к Стримону. Совершенное спокойствие города его поразило: он казался совершенно не защищенным, и ему почти казалось, что, если бы он взял с собой таранные орудия, он мог бы взять его немедленно. [738] Впечатленный убеждением, что нет врага, готового к бою, он не спешил осматривать местность, а его солдаты становились все более расслабленными и небрежными в своей выправке, некоторые даже подходили вплотную к стенам и воротам.

Но вскоре положение дел существенно изменилось. Брасидас знал, что афинские гоплиты долго не выдержат томительного бездействия, и рассчитал, что, изобразив крайнюю отсталость и видимый страх, он соблазнит Клеона на какое-нибудь неосторожное движение, из которого можно будет извлечь выгоду. Находясь на горе Кердилиум, он мог наблюдать за походом афинской армии из Эйона, и когда он увидел, что они прошли по дороге за Длинной стеной Амфиполя, [739] он немедленно переправился через реку со своими войсками и вошел в город. Но в его намерения не входило выходить и предлагать им открытый бой, поскольку его армия, хотя и равная им по численности, сильно уступала им в вооружении и снаряжении, [740] а афинские войска, находившиеся в данный момент в городе, были настолько превосходно снабжены, что его люди не сочли бы себя равными им, если бы две армии столкнулись в открытом бою. Он полностью полагался на эффект внезапного нападения и своевременной неожиданности, когда афиняне должны были впасть в чувство презрительной безопасности из-за преувеличенной демонстрации бессилия своего врага.

Принеся боевую жертву в храме Афины, Брасидас собрал своих людей, чтобы обратиться к ним с обычными ободряющими речами перед сражением. Взывая к дорийской гордости своих пелопоннесцев, привыкших к победам над ионийцами, он объяснил им свой замысел - полагаться на смелое и внезапное движение сравнительно небольшой численности против афинского войска, когда оно не готово к этому, [741] когда их мужество не возбуждено до боевого напряжения и когда, беспечно поднявшись на холм для осмотра местности, они думают лишь о том, чтобы спокойно вернуться в покои. Сам он в нужный момент выбежал из одних ворот и первым вступал в схватку с врагом: Клиаридас с храбростью, присущей спартамцам, следовал его примеру, выбегая из других ворот, и враг, застигнутый врасплох, скорее всего, не оказал бы сопротивления. Для амфиполитанцев этот день и их собственное поведение определяли, будут ли они союзниками Лакедемонии или рабами Афин, возможно, проданными в плен или даже преданными смерти в наказание за недавнее восстание.

Однако эти приготовления не могли быть завершены в тайне, так как Брасидас и его войско были прекрасно видны афинским разведчикам, когда они спускались с холма Кердилиум, переходили мост и входили в Амфиполь; более того, внутренняя часть города была так заметна для зрителей, что храм Афины и Брасидас с его служителями, совершавшими обряд жертвоприношения, были отчетливо различимы. Этот факт стал известен Клеону, когда он стоял на высоком гребне и осматривал город, а в это время те, кто подошел к воротам, сообщили, что под ними стали видны ноги многих лошадей и людей, как бы готовящихся к нападению. [742] Он сам подошел к воротам и убедился в этом обстоятельстве: надо помнить, что на стенах не было защитников и не было опасности от снарядов. Стремясь избежать реального столкновения до прибытия подкреплений, он сразу же отдал приказ об отступлении, которое, по его мнению, можно было бы осуществить до того, как атака изнутри будет полностью организована; ибо он полагал, что значительное количество войск будет выведено и выстроено в боевой порядок до начала атаки, не мечтая о том, что вылазка будет мгновенной и будет произведена всего лишь с горсткой людей. Когда был отдан приказ повернуть влево и отступить колонной на левом фланге к Эйону, Клеон, находившийся на

вершине холма с правым крылом, дождался только того, что его левый и центральный отряды двинулись по дороге к Эйону, а затем приказал своему правому отряду также повернуть влево и следовать за ними.

Вся афинская армия находилась в полном отступлении, идя в направлении, почти параллельном Длинной стене Амфиполя, с правой, не защищенной стороны от врага, когда Брасидас, выглядывая из-за самых южных ворот Длинной стены со своим небольшим отрядом, стоящим наготове возле него, разразился презрительными восклицаниями по поводу беспорядка их строя.^[743] "Эти люди не выдержат нас; я вижу это по дрожанию их копий и голов. Люди, которые так мечутся, никогда не выстоят против нападающего врага. Немедленно открой мне ворота, и пусть мы уверенно выйдем".

С этими словами ворота Длинной стены, ближайšie к палисаду, и примыкающие к ним ворота самого палисада внезапно распахнулись, и Брасидас со ста пятьюдесятью отборными воинами вышел через них, чтобы атаковать отступающих афинян. Быстро пробежав по прямой дороге, соединявшейся боком с дорогой на Эйон, по которой шли афиняне, он настиг их центральное подразделение на правом фланге:^[744] их левое крыло уже обошло его по дороге на Эйон. Оказавшись совершенно неподготовленными, осознав свой беспорядок и поразившись смелости врага, афиняне центрального полка были охвачены паникой, не оказали ни малейшего сопротивления и вскоре обратились в бегство. Даже левые афиняне, хотя и не были атакованы, вместо того чтобы остановиться для оказания помощи, разделили панику и в беспорядке бежали. Дезорганизовав таким образом эту часть армии, Брасидас прошел вдоль линии, чтобы нанести удар по афинской правой стороне: но во время этого движения он был смертельно ранен и унесен с поля боя, незамеченный врагами. Тем временем Клирид, выйдя из Фракийских ворот, атаковал афинское правое крыло на противоположном гребне, сразу после того, как оно начало отступать. Но солдаты, находившиеся справа от афинян, вероятно, видели предыдущее движение Брасида против другого подразделения и, хотя и были ошеломлены внезапной опасностью, успели за мгновение до нападения остановиться и занять тесную позицию на холме. Клеаридас встретил здесь значительное сопротивление, несмотря на дезертирство Клеона, который, пораженный больше всех в своей армии столь непредвиденной катастрофой, потерял присутствие духа и сразу же бежал, но был настигнут фракийским пельтастом из Миркинуса и убит. Однако его солдаты на правом фланге отразили две или три атаки Клирида и удержали позиции, пока, выйдя из ворот, халкидская конница и миркинские пельтасты не атаковали их с фланга и тыла, повергнув в беспорядок. Таким образом, все афинское войско было обращено в бегство: левая часть поспешила к Эйону, а правые рассеялись и искали безопасности среди холмистой местности Пангеи в их тылу. Их страдания и потери в бегстве от рук преследующих пельтастов и конницы были очень тяжелыми, и когда они, наконец, снова собрались в Эйоне, не только полководец Клеон, но и шестьсот афинских гоплитов, половина всего отправленного войска, были найдены пропавшими без вести^[745].

Атака была согласована столь великолепно, и успех ее был настолько полным, что на стороне победителей погибло всего семь человек. Но из этих семерых один был сам доблестный Брасидас, который, будучи доставлен в Амфиполь, прожил достаточно долго, чтобы узнать о полной победе своих войск, а затем скончался. Велика и горька была скорбь, которую вызвала его смерть во всей Фракии, особенно среди амфиполитанцев. Особым указом он удостоился чести быть похороненным в их городе, так как по всеобщему обычаю даже самых выдающихся покойников хоронили в предместье за стенами города. Все союзники

присутствовали на его похоронах в оружии и с воинскими почестями: его гробница была обнесена перилами, а пространство непосредственно перед ней было освящено как большая агора города, которая была соответствующим образом перестроена. Он также был провозглашен экистом, или основателем, Амфиполя, и как таковой, получал героическое поклонение с ежегодными играми и жертвоприношениями в его честь.^[746] Афинянин Агнон, настоящий основатель и первоначально признанный экист города, был лишен всех своих памятных почестей и изглажен из памяти народа: его гробница и связанные с ней здания, вместе с каждым видимым напоминанием о его имени, были уничтожены. Амфиполиты, полные ненависти к Афинам, - и не только ненависти, но и страха, ведь они только что потеряли своего спасителя и защитника, - испытывали отвращение к мысли о дальнейшем поклонении афинскому экисту. Да и поддерживать такую религиозную связь с Афинами теперь, когда они были вынуждены с тревогой искать помощи в Лакедемонии, было не слишком удобно. Клиаридас, как губернатор Амфиполя, руководил многочисленными перестройками в городе, которых требовали эти важные перемены, а также воздвиг трофей на том месте, где Брасида впервые сразила афинян; в то время как оставшееся афинское войско, получив обычное перемирие и похоронив своих мертвых, вернулось домой без дальнейших действий.

Немного найдется в истории сражений, в которых бы так ярко проявлялось несоответствие и контраст двух противостоящих друг другу полководцев - превосходное мастерство и мужество с одной стороны против невежества и паники с другой. В отношении исключительных способностей и мужества Брасидаса можно вынести только один вердикт - безоговорочное восхищение: но критика, которую Фукидид высказывает в адрес Клеона, здесь, как и в других местах, не может быть принята без оговорок. Он говорит нам, что Клеон предпринял свой поход от Эйона до холма перед Амфиполем в том же опрометчивом и самоуверенном духе, с которым он отправился в поход на Пилус, в слепой уверенности, что никто не сможет ему противостоять.^[747] В предыдущей главе я уже привел основания для вывода, что предвидения Клеона относительно взятия Сфактерии, отнюдь не отмеченные духом безмерного самомнения, были трезвыми и рассудительными, осуществленными в точности без какой-либо нежданной помощи со стороны фортуны. Замечания Фукидида по этому делу также не являются более обоснованными, чем суждения о нем в предыдущей главе; ведь неправда, как он здесь подразумевает, что Клеон не ожидал сопротивления в Сфактерии: он рассчитывал на сопротивление, но знал, что у него достаточно сил, чтобы его преодолеть. Его вина даже в Амфиполе, как бы велика она ни была, не заключалась в безрассудстве и самонадеянности. Это обвинение опровергается хотя бы тем обстоятельством, что он сам не хотел предпринимать никаких агрессивных действий до прибытия подкреплений и что отказаться от намеченного временного бездействия в этот промежуток времени его заставил лишь гневный ропот солдат, упрекавших его в невежестве и отсталости, причем последнее качество было обратным тому, которым его клеймит Фукидид.

Когда Клеон был вынужден что-то предпринять, его поход на вершину холма с целью разведки местности не был сам по себе неразумным и мог бы быть совершен в полной безопасности, если бы он держал свою армию в порядке, подготовленную к непредвиденным обстоятельствам. Но он потерпел полное поражение в генеральном составе и перевес в симулированном сознании бессилия и нежелания сражаться, которое Брасидас позаботился ему преподнести. Среди всех военных хитростей эта, пожалуй, чаще всего с успехом применялась против неопытных генералов, которых сбивали с пути и побуждали пренебречь предосторожностью не потому, что они от природы более опрометчивы или самонадеянны, чем обычные люди, а потому, что ничто, кроме высокого

уровня интеллекта или специальной практики и подготовки, не позволит человеку постоянно держать в уме обязательства, даже реальные и серьезные, когда нет никаких видимых доказательств их приближения; Тем более, когда *есть* положительные доказательства, искусно подстроенные превосходящим врагом, чтобы создать веру в их отсутствие. Подобная ошибка была допущена самим Фукидидом и его коллегой Эвклесом за полтора года до этого, когда они позволили Брасиду заставить врасплох страмонский мост и Амфиполь: они даже не приняли обычных мер предосторожности и не сочли нужным держать флот в Эйоне. Это были люди не то чтобы особенно опрометчивые и самонадеянные, но невежественные и непрактичные в военном смысле; неспособные держать перед собой опасные случайности, которые они прекрасно знали, просто потому, что не было никаких доказательств приближающегося взрыва.

Эта военная некомпетентность, заставившая Клеона попасть в ловушку, расставленную для него Брасидасом, заставила его также принять неверные меры против опасности, когда он неожиданно обнаружил, что враг внутри готовится атаковать его. Его роковая ошибка заключалась в том, что он отдал немедленный приказ об отступлении, напрасно надеясь, что ему удастся уйти до того, как будет предпринята атака противника. [Более умный офицер, прежде чем начать отступление так близко к вражеским стенам, позаботился бы о том, чтобы привести своих людей в надлежащий вид, предупредить и обратиться к ним с обычной проповедью, чтобы поднять их мужество до боевой точки: Ведь до этого момента они и не подозревали, что их призовут к бою; а мужество греческих гоплитов, застигнутых врасплох, когда они спешили уйти в беспорядке, видимом как для них самих, так и для их врагов, без каких-либо обычных предварительных приготовлений к бою, было слишком склонно к недостатку. Поворот правого или незащищенного фланга к противнику был неизбежен, исходя из направления движения отступающих; не стоит винить за это Клеона, как это делают некоторые историки, или за то, что он заставил свое правое крыло двигаться слишком рано, следуя примеру левого, как полагает доктор Арнольд. Главная вина, по-видимому, заключалась в том, что он не подождал, пока его люди соберутся и подготовятся к стоячему бою во время отступления. Добавим, однако, и это замечание, если оно служит для объяснения идеи Клеона о том, что он успел уйти до того, как на него напали, считается двойным комплиментом рассудительности и смелости Брасидаса, что ни один другой лакедемонский полководец того времени, возможно, даже Демосфен, самый предприимчивый полководец Афин, не решился бы на атаку с таким маленьким отрядом, полностью полагаясь на панику, вызванную его внезапным движением.

Но отсутствие военных знаний и предосторожности - не худший из недостатков Клеона в этом случае. Его недостаток мужества в момент конфликта еще более прискорбен и лишает его конец того личного сочувствия, которое в противном случае сопровождало бы его. Командир, которого превзошли генералы, обязан с удвоенной силой напрягаться и подвергать себя крайнему риску, чтобы устранить последствия собственных ошибок. Таким образом, он, по крайней мере, сохранит свою личную честь, какого бы порицания он ни заслуживал за недостаток знаний и суждений"[749].

То, что сказано о позорном бегстве самого Клеона, с едва ли меньшей строгостью критики следует отнести и к афинским гоплитам под его началом. Они вели себя совершенно недостойно репутации своего города; особенно левое крыло, которое, похоже, разбилось и убежало, не дожидаясь нападения. И когда мы читаем у Фукидида, что опозорившие себя люди были одними из лучших и лучше всех вооруженных гоплитов в Афинах; что они безвольно вышли под командование Клеона; что они начали свой презрительный ропот против него еще до того, как он совершил какую-либо провинность, презирая его за

отсталость, когда он еще не был достаточно силен, чтобы предпринять что-то серьезное, и проявлял лишь разумное благоразумие, ожидая прибытия ожидаемого подкрепления; Прочитав это, мы должны сравнить экспедицию против Амфиполя с прежними маневрами, связанными с нападением на Сфакторию, и увидеть другие причины ее неудачи, кроме военной некомпетентности полководца. Эти гоплиты привезли с собой из Афин чувства, царившие среди политических противников Клеона. Экспедиция была предложена и осуществлена им вопреки их желаниям: они не могли помешать ей, но их противодействие ослабило ее с самого начала, удерживало в слишком узких пределах выделенные для нее силы и было одной из главных причин, помешавших ее успеху.

Если бы Периклес был жив, Амфиполь, возможно, все еще был бы потерян, так как его захват был виной офицеров, нанятых для его защиты. Но если бы он был потерян, его, вероятно, атаковали бы и восстановили с той же энергией, что и восставший Самос, со всеми силами и лучшими генералами, которых могли предоставить Афины. С таким вооружением и хорошими офицерами отвоевание этого места не представляло собой ничего невыполнимого, тем более что в то время оно не имело защиты с трех сторон, кроме Стримона, и к нему могли подойти афинские корабли по этой судоходной реке. Вооружение Клеона,^[750] даже если бы к нему прибыло подкрепление, вряд ли было достаточным для этой цели. Но Периклес смог бы сосредоточить на нем всю мощь города, не будучи парализованным разногласиями политических партий: он так же ясно, как и Клеон, видел, что место можно вернуть только силой и что его восстановление - самая важная цель, на которую Афины могли направить свои силы.

Таким образом, афиняне, отчасти из-за политических интриг, отчасти из-за некомпетентности Клеона, потерпели катастрофическое поражение вместо того, чтобы взять Амфиполь. Но смерть Брасидаса превратила их поражение в значительную победу. Не осталось ни одного спартанца, который бы не уступал этому выдающемуся человеку ни как солдат, ни как примирительный политик; ни одного, кто мог бы заменить его в доверии и привязанности союзников Афин во Фракии; ни одного, кто мог бы осуществить те предприимчивые планы против Афин на ее незащищенной стороне, которые он впервые показал как осуществимые. Опасения Афин и надежды Спарты в отношении будущего исчезли вместе с ним. Афинские полководцы, Формион и Демосфенес, оба приобрели среди акарнанцев влияние лично для себя, помимо своей должности и страны: но карьера Брасидаса продемонстрировала степень личного возвышения и восхищения, полученного и заслуженного, такого, какого не было ни у одного военного вождя в Греции, и Платон вполне мог бы выбрать его как наиболее подходящий исторический аналог героического Ахилла.^[751] Все достижения Брасидаса были его личными заслугами, при этом его страна не получала от него ничего, кроме поддержки, иногда даже без поддержки. И когда мы вспоминаем строгую и узкую рутину, в которой он был воспитан как спартанец, столь фатальную для развития всего, что похоже на оригинальную мысль или импульс, и столь полностью отстраненную от любого опыта партийных или политических дискуссий, мы поражаемся его находчивости и гибкости характера, его способности адаптироваться к новым обстоятельствам и новым людям, и его ловкой ловкости в превращении себя в точку сплочения противоположных политических партий в каждом из различных городов, которые он приобрел. Сочетание "всех видов практического мастерства", доблести, ума, честности и мягкости в общении, которое представлял его характер, никогда не забывалось среди афинских союзников и обеспечивало другим спартанским офицерам в последующие годы благоприятные предположения, которые их поведение редко оправдывало.^[752] В то время, когда Брасидас погиб, в расцвете лет, он, несомненно, был первым человеком в Греции; и хотя нам не дано предсказать, кем бы он стал, если бы остался жив, мы можем быть уверены,

что дальнейший ход войны был бы заметно изменен; возможно, даже в пользу Афин, поскольку у нее было бы достаточно занятий дома, чтобы удержать ее от губительного предприятия в Сицилии.

Фукидид, похоже, с удовольствием рассказывает о галантных подвигах Брасидаса, от первого при Метоне до последнего при Амфиполе, не меньше, чем о темной стороне Клеона; и то, и другое, хотя и в разных смыслах, стало причиной его изгнания. Он никогда не упоминает о последнем, кроме как в связи с какими-то действиями, представленными как неразумные или дискредитирующие. Варварство, которое оскорбленное величие империи считало себя вправе практиковать в древние времена в отношении восставших и вновь завоеванных зависимых территорий, достигает своего максимума в предложениях против Митилеки и Скионки: оба они приписываются Клеону как их автору. Но когда мы переходим к резне мелийцев, столь же варварской и еще более ужасной с точки зрения оснований для оправдания, поскольку мелийцы никогда не были подданными Афин, мы видим, что Фукидид упоминает об этом деянии, не называя его автора[753].

Что касается внешней политики Клеона, то уже изложенные факты позволяют читателю составить представление о ней в сравнении с политикой его противников. Я привел основания полагать, что Фукидид забыл о своей обычной беспристрастности, критикуя этого личного врага; что в отношении Сфактерии Клеон действительно был одной из главных и незаменимых причин, обеспечивших его стране наибольшее преимущество, которое она получила в течение всей войны; и что в отношении его суждений, выступающих за ведение войны, следует выделить три различных времени: 1. после первой блокады гоплитов в Сфактерии; 2. после захвата острова; 3. после истечения годового перемирия. В первом из этих трех случаев он был неправ, так как своей манерой общения с лакедемонскими посланниками, похоже, закрыл дверь для всех возможностей переговоров. Во втором случае у него были справедливые и правдоподобные основания для своего мнения, хотя оно и оказалось неудачным: к тому же в то время все Афины были настроены воинственно, и Клеона не следует рассматривать как особого советчика этой политики. В третий и последний раз, после истечения срока перемирия, политические советы Клеона были правильными, рассудительными и истинно периклийскими, намного превосходящими по мудрости советы его противников. В следующих главах мы увидим, как эти противники управляли делами государства после его смерти; как Никиас отбросил интересы Афин, выполняя условия мира; как Никиас и Алкивиад вместе потерпели крушение могущества своей страны у берегов Сиракуз. И когда мы оцениваем демагога Клеона в этом сравнении, то находим основания заметить, что Фукидид сдержанно и даже снисходительно относится к ошибкам и порокам других государственных деятелей, сурово - только к ошибкам и порокам своего обвинителя.

Что касается внутренней политики Клеона и его поведения как политика в афинской конституционной жизни, у нас мало достоверных свидетельств. Существует, правда, его портрет, нарисованный в широких и ярких тонах, наиболее впечатляющий воображение и с трудом стираемый из памяти; это портрет в "Рыцарях" Аристофана. Именно через это изображение Клеон дошел до потомков, распятый поэтом, который признается, что имел к нему личную неприязнь, так же как и в прозе историка, изгнать которого он предлагал. Из всех произведений Аристофана, столь изобилующих комическим гением, "Рыцари" - самое совершенное и неотразимое; самое отчетливое по характеру, симметрии и цели. Рассматриваемая с точки зрения цели ее автора, как в отношении аудитории, так и в отношении Клеона, она заслуживает величайшего восхищения, и мы не удивлены, узнав, что она получила первый приз. Она демонстрирует максимум того, чего может достичь

остроумие в сочетании со злобой, покрывая врага насмешками, презрением и одиозностью. Дин Свифт не пожелал бы ничего худшего даже для Диттона и Уинстона. Старик, Демос из Пникса, представленный на сцене как олицетворение афинского народа, - Клеон, выведенный на роль своего новоприобретенного пафлагонского раба, который уговорами, ложью, наглостью и ложными доносами на других добился расположения своего хозяина и причиняет зло всем остальным, а сам обогащается, - рыцари, или главные представители афинской аристократии, составляющие хор пьесы, как явные враги Клеона, - продавец колбасы с рынка, который, подстрекаемый Никиасом и Демосфеном вместе с этими рыцарями, превосходит Клеона во всех его низких искусствах и вытесняет его в пользу Демоса; Все это, представленное с неподражаемой живостью выражения, составляет шедевр и славу клеветнической комедии. Эффект, произведенный на афинскую публику, когда эта пьеса была представлена на Ленеиском фестивале в январе 424 года до н. э., примерно через шесть месяцев после взятия Сфактерии, с самим Клеоном и большинством настоящих рыцарей, должен был быть очень сильным, что мы сейчас легко можем себе представить. То, что Клеон смог сохранить себя после такого унижительного разоблачения, является немаловажным доказательством его умственных сил и способностей. Похоже, что это не ослабило его влияния, по крайней мере, не навсегда; ведь мы не только видим его самым эффективным противником мира в течение следующих двух лет, но есть основания полагать, что сам поэт счел удобным смягчить свой тон по отношению к этому могущественному врагу.

Большинство писателей настолько готовы признать Клеона виновным, что довольствуются свидетельством против него Аристофана: хотя ни один публичный человек, ни в одном веке, ни в одной нации, никогда не был осужден на основании подобных свидетельств. Никому не приходит в голову судить о сэре Роберте Уолполе, или мистере Фоксе, или Мирабо по многочисленным пасквилям, пущенным против них в оборот: никто не станет оценивать политического англичанина по Панчу, а француза - по "Шаривари". Непревзойденные комические достоинства "Рыцарей" Аристофана - лишь одна из причин не доверять сходству их изображения с реальным Клеоном. У нас также есть возможность проверить искренность и точность Аристофана по его обрисовке Сократеса, которого он ввел в комедию "Облака" в год, следующий за годом создания "Рыцарей". Как комедия, "Облака" уступают только "Рыцарям": как изображение Сократеса они немногим лучше чистой фантазии: это даже не карикатура, а совершенно другой человек. Мы действительно можем заметить отдельные черты сходства; босые ноги и тонкость аргументации присущи обоим; но в целом портрет таков, что если бы он носил другое имя, никому бы не пришло в голову сравнивать его с Сократесом, которого мы хорошо знаем по другим источникам. Имея перед собой такую аналогию, не говоря уже о том, что мы знаем в целом о портретах Перикла у этих авторов, мы не имеем оснований рассматривать портрет Клеона как сходство, за исключением тех моментов, где есть подтверждающие доказательства. И мы можем добавить, что некоторые из выпадов против него, где мы можем случайно проверить их уместность, явно не основаны на фактах; как, например, где поэт обвиняет Клеона в том, что он намеренно и хитростью лишил Демосфена лавров в предприятии против Сфактерия[754].

В прозе Фукидида мы видим, что Клеон описывается как нечестный политик, несправедливый обвинитель других, самый жестокий из всех граждан:[755] В стихах Аристофана эти же обвинения излагаются с характерным для него акцентом, но к ним добавляются и другие; Клеон практикует самые низкие приемы и обманы, чтобы добиться расположения народа, крадет общественные деньги, получает взятки и вымогает

композиции у частных лиц оптом, и таким образом обогащается под видом заботы об общественной казне. В комедии об ахарнянах, представленной на год раньше "Рыцарей", поэт с большим удовольствием упоминает о сумме в пять талантов, которую Клеон был вынужден "отдать": подарок, преподнесенный ему афинскими островитянами, если верить Теопомпу, с целью добиться отмены их дани, и от которого рыцари, чьи уклонения от военной службы он разоблачил, заставили его отказаться[756].

Но если собрать воедино различные обвинения, выдвинутые Аристофаном, то окажется, что их нелегко примирить одно с другим; ведь афинянину, чей нрав заставлял его жестоко расправляться с другими, неизбежно умножая и раздражая личных врагов, было бы особенно опасно, если не невозможно, заниматься казнокрадством ради себя самого. С другой стороны, если бы он встал на этот путь, то был бы склонен покупать попустительство со стороны других, даже подмигивая на реальную вину с их стороны, чтобы не выдать себя клеветником на невиновных. Поэтому мы должны обсудить ту сторону обвинения, которая указана у Фукидида; не Клеона, обманывающего народ и мошенничающего ради собственной выгоды (это, конечно, не тот характер, который подразумевается в его речи о митиленейцах, как нам передает историк),[757] а Клеона как человека буйного нрава и яростных политических антипатий, ожесточенного оратора, иногда нечестного в своих клеветах на противников. Это те качества, которые во всех странах свободных дебатов формируют то, что называется великим оратором оппозиции. Именно так характеризовали в Риме старшего Катона, "всеобщего кусаку, которого Персефон боялся даже впустить в Аид после смерти", даже по признанию его поклонников, и еще сильнее - тех, кто был к нему недружелюбен, как Фукидид к Клиону.[758] В Катоне такой нрав не противоречил высокому чувству общественного долга. А Плутарх рассказывает анекдот о Клеоне, что, впервые начав политическую карьеру, он собрал своих друзей и расторг с ними близкие отношения, полагая, что частная дружба отвлечет его от первостепенного долга перед обществом[759].

Кроме того, репутация Клеона как частого и безмерного обвинителя других людей может быть частично объяснена отрывком его врага Аристофана: отрывок тем более заслуживает доверия как справедливое отражение фактов, что он появляется в комедии ("Лягушки"), представленной (405 г. до н. э.) через пятнадцать лет после смерти Клеона и через пять лет после смерти Гипербола, когда у поэта было меньше мотивов для искажений в отношении обоих. В "Лягушках" действие происходит в Аиде, куда отправляется бог Дионис в одеянии Геракла и вместе со своим рабом Ксанфием, чтобы вернуть на землю умершего поэта Эврипида. Среди происшествий Ксанфий в одеянии своего хозяина ведет себя жестоко и оскорбительно по отношению к двум хозяйкам питейных заведений: поглощает их имущество, грабит их, отказывается платить, когда к нему обращаются, и даже угрожает их жизни нарисованным мечом. После этого женщины, не имея других средств защиты, объявляют о своем решении призвать, одна - своего защитника Клеона, другая - Гипербола, чтобы привлечь обидчика к суду в дикастерии.[760] Этот отрывок показывает нам, если умозаключения на основе комических свидетельств считаются допустимыми, что Клеон и Гипербол стали участниками обвинений отчасти потому, что помогали бедным людям, которых обижали, добиться справедливости в дикастерии. Богатый человек, которому был нанесен ущерб, мог обратиться к Антифону или другому ритору за платным советом и помощью в рассмотрении его жалобы; но бедный мужчина или женщина считали себя счастливыми получить безвозмездное предложение, а иногда и вспомогательную речь Клеона или Гипербола, которые таким образом расширяли свою собственную популярность, используя средства, очень похожие на те, которые практиковали ведущие люди Рима[761].

Но помимо оказания помощи другим, Клеон, несомненно, часто выступал от своего имени в качестве обвинителя официальных преступников, реальных или предполагаемых. То, что кто-то должен был взять на себя эту обязанность, было необходимо для защиты города; в противном случае ответственность, которой подвергались официальные лица после окончания срока их полномочий, была бы просто номинальной: и у нас есть достаточно доказательств того, что общая общественная мораль этих официальных лиц, действующих индивидуально, была отнюдь не высокой. Но в то же время эта обязанность была такой, от которой большинство людей уклонялось и уклоняется. Обвинитель, вызывая всеобщую неприязнь, ничего не выигрывал даже при самом полном успехе; если же он терпел неудачу настолько, что не набирал среди дикастов меньшинства голосов, равного одной пятой от числа присутствующих, его приговаривали к уплате штрафа в тысячу драхм. Что было еще серьезнее, он навлек на себя огромную массу личной ненависти со стороны друзей, приверженцев и политического клуба обвиняемой партии, что было крайне опасно для его собственной будущей безопасности и комфорта в таком обществе, как Афины. Поэтому было мало мотивов соглашаться и много мотивов отказываться от преследования на общественных началах. Благоразумный политик в Афинах брался за это время от времени и против особых соперников, но он тщательно оберегал себя от репутации человека, делающего это часто или по склонности, и ораторы постоянно оберегали себя от этого в тех речах, которые еще сохранились.

Именно эту репутацию Фукидид приписывает Клеону, которую он, подобно цензору Катону в Риме, вероятно, заслужил; благодаря природной язвительности нрава, мощному таланту к инвективам и своему положению, одновременно низшему и враждебному по отношению к афинским рыцарям или аристократии, затмевавшим его своим семейным положением. Но в какой пропорции его обвинения были справедливыми или клеветническими - реальный вопрос, от которого зависит честное суждение, - мы не имеем возможности решить ни в его случае, ни в случае Катона. "Бить плетью злых (замечает сам Аристофан^[762]) не только не порицается, но даже является делом чести для добрых". Клеону не было принято отдавать должное этому замечанию, хотя он имеет на него гораздо больше прав, чем Аристофан. Ведь нападки поэтического клеветника не допускают ни защиты, ни возмездия, в то время как обвинитель в дикастерии находил своего противника готовым к ответу или даже к отпору и обязан был уточнить свое обвинение, а также представить его доказательства; таким образом, у невиновного был шанс не быть сведенным с виновным.

Говорят, что ссора Клеона с Аристофаном возникла из-за обвинения, которое он выдвинул против поэта^[763] в сенате пятисот по поводу его второй комедии "Вавилоняне", выставленной в 426 году до н. э. на празднике городской Дионисии в марте месяце. В это время в Афинах было много чужеземцев, особенно много гостей и депутатов от союзников, привозивших ежегодную дань, и поскольку "Вавилоняне" (ныне утраченные), как и многие другие произведения Аристофана, были полны язвительных насмешек не только над отдельными гражданами, но и над должностными лицами и учреждениями города,^[764] Клеон подал жалобу на нее в сенат, как на опасную для общественной безопасности перед чужеземцами и союзниками. Следует вспомнить, что Афины в то время находились в состоянии неловкой войны, что верность их союзников вызывала большие сомнения, что Лесбос, величайший из ее союзников, был вновь завоеван только в предыдущем году, после восстания, которое было и хлопотным, и опасным для афинян. При таких обстоятельствах у Клеона были все основания считать, что политическая комедия аристофановского толка и таланта унижает город в глазах посторонних, даже если допустить, что она безобидна, когда ограничивается самими гражданами. Поэт жалуется^[765], что Клеон вызвал его в сенат с ужасными угрозами и клеветой, но не похоже, чтобы было наложено какое-либо наказание.

Сенат также не имел права признать его виновным или наказать его, кроме как небольшим штрафом: они могли только предать его суду дикастерия, что в данном случае, очевидно, не было сделано. Однако сам он, похоже, почувствовал справедливость предупреждения: мы видим, что три из четырех его следующих пьес, написанных до заключения Никиасского мира, - "Ахарнийцы", "Рыцари" и "Осы" - были представлены на Ленейском празднике^[766] в январе, когда не было ни чужеземцев, ни союзников. Клеон, несомненно, был сильно разгневан игрой рыцарей и, похоже, досадил поэту либо тем, что выдвинул против него обвинение в осуществлении прав свободных людей без должной квалификации, поскольку никому, кроме граждан, не разрешалось появляться и выступать на драматических выставках, либо каким-то другим способом, который не имеет четкого объяснения. Мы также не можем понять, как поэт встретил его, хотя кажется, что, обнаружив меньшую симпатию публики, чем он считал себя вправе, он принес извинения, не намереваясь быть связанным ими.^[767] Несомненно, что его остальные пьесы после "Рыцарей", хотя и содержат несколько горьких насмешек против Клеона, не показывают второй преднамеренной установки против него.

Битва при Амфиполе сразу же устранила двух наиболее ярких индивидуальных противников мира, Клеона и Брасидаса. Афины тоже были более чем когда-либо обескуражены и не желали затягивать боевые действия; количество гоплитов, убитых в Амфиполе, несомненно, наполнило город трауром, кроме того, беспримерный позор теперь запятнал афинское воинство. Мирные партии под эгидой Никиаса и Лахеса, избавленные как от внутренней оппозиции Клеона, так и от заграничного предприятия Брасида, смогли возобновить переговоры со Спартой в духе, обещающем успех. Царь Плейстоанакс и спартанские эфоры года были на их стороне, одинаково настроенные на прекращение войны, и депутаты всех союзников были созваны в Спарте для обсуждения с посланниками Афин. Обсуждение продолжалось всю осень и зиму после битвы при Амфиполе, без каких-либо реальных военных действий с обеих сторон. Сначала выдвинутые претензии были признаны весьма противоречивыми, но в конце концов, после нескольких дебатов, было решено заключить договор на основе того, что каждая сторона сдаст то, что было приобретено в результате войны. Афиняне сначала настаивали на восстановлении Платеи, но фиванцы ответили, что Платея досталась им не силой и не в результате измены, а путем добровольной капитуляции и сдачи жителей. Это различие кажется нам несколько примечательным, поскольку капитуляция осажденного города - не меньший результат силы, чем взятие штурмом. Но в данном договоре оно было принято, и по нему афиняне, отказавшись от Платеи, получили возможность сохранить Ниссею, которую они приобрели у мегарцев, а также Анакторий и Соллиум,^[768] которые они отняли у Коринфа. Чтобы заручиться благосклонностью Афин, спартанцы пригрозили весной вторгнуться в Аттику и создать на ее территории постоянное укрепление; они даже разослали союзникам прокламацию, предписывающую все детали, необходимые для этого шага. Поскольку Аттика уже три года не подвергалась вторжениям, афиняне, вероятно, не остались равнодушными к этой угрозе возобновления вторжения в постоянной форме.

В начале весны, примерно в конце марта 421 года до н. э., вскоре после городских Дионисий в Афинах, был заключен важный договор сроком на пятьдесят лет. Его основными условиями были следующие: - 1.

1. Все должны иметь полную свободу посещать все общественные храмы Греции в целях частного жертвоприношения, консультации с оракулом или общественной священной миссии. Каждый человек должен быть беспрепятственно посещать и приходить. [Ценность

этой статьи станет очевидной, если вспомнить, что афиняне и их союзники с самого начала войны не могли посетить Олимпийский или Пифийский праздник].

2. Дельфийцы должны пользоваться полной автономией и владеть своим храмом и своей территорией. [Эта статья была призвана исключить древние притязания фокийской конфедерации на управление храмом; притязания, которые афиняне когда-то поддерживали, еще до тридцатилетнего перемирия; но теперь они были мало заинтересованы в этом вопросе, поскольку фокийцы были в рядах их врагов].

3. Между Афинами и Спартой с их союзниками должен быть мир на пятьдесят лет, с воздержанием от злоупотреблений, как явных, так и мошеннических, как на суше, так и на море.

4. Ни одна из сторон не будет вторгаться с целью причинения вреда на территорию другой стороны, ни какими ухищрениями, ни под каким предлогом.

Если возникнут какие-либо разногласия, то они будут разрешаться справедливыми средствами и путем принесения и принятия присяги в форме, которая будет впоследствии согласована.

5. Лакедемоняне и их союзники должны вернуть Амфиполь афинянам.

Кроме того, они *передадут* афинянам Аргилус, Стагирус, Аканф, Сколус, Олинф и Спартолус. Но эти города останутся автономными при условии выплаты дани Афинам по оценке Аристеидеса. Любой из их граждан, который решит покинуть их, будет волен сделать это и забрать свое имущество. Впредь эти города не будут считаться союзниками ни Афин, ни Спарты, если только Афины не склонят их дружескими уговорами стать ее союзниками, что она вольна сделать, если сможет.

Жители Мекиберны, Сана и Синга должны жить самостоятельно в своих городах, так же как олинфяне и аканфяне. [Это были города, которые придерживались Афин и по-прежнему считались ее союзниками; хотя они находились достаточно близко, чтобы к ним приставали Олинф^[769] и Аканф, от чего их и должен был застраховать этот пункт].

Лакедемоняне и их союзники должны также вернуть Панактум афинянам.

6. Афиняне должны вернуть Спарте Корифей, Китиру, Метону, Птелеум, Аталанту со всеми пленниками, захваченными в их руках Спартой или ее союзниками. Кроме того, они должны освободить всех спартанцев или союзников Спарты, блокированных в Скионке.

7. Лакедемоняне и их союзники также должны вернуть всех пленных, которые находятся в их руках, из Афин или их союзников.

8. В отношении Скионы, Тороны, Сермилы или любого другого города, находящегося во владении Афин, афиняне могут принять свои собственные меры.

9. Между договаривающимися сторонами будет произведен обмен клятвами в соответствии с торжественными обрядами, которые считаются наиболее обязательными в каждом городе соответственно, и в следующих словах: "Я буду придерживаться этой конвенции и перемирия искренне и без обмана". Клятвы должны ежегодно возобновляться, а условия мира должны быть начертаны на колоннах в Олимпии, Дельфах и на Перешейке, а также в Спарте и Афинах.

10. Если в настоящем договоре будет забыт какой-либо вопрос, афиняне и лакедемоняне могут изменить его по взаимному согласию, не нарушая при этом своих клятв".

Соответственно, эти клятвы были обменены: их принесли семнадцать главных афинян и столько же спартанцев от имени своих стран в 26-й день месяца Артемисий в Спарте и в 24-й день Элафеболиона в Афинах, сразу после городских Дионисий; Плейстолас был эфором-эпонимом в Спарте, а Алкей архон-эпонимом в Афинах. Среди лакедемонян, давших клятву, - два царя Агис и Плейстоанакс, эфор Плейстолас и, возможно, другие эфоры, но это нам неизвестно, а также Теллис, отец Брасида. Среди афинян, давших клятву, - Никиас, Лахес, Агнон, Ламах и Демосфенес[770].

Такой мир, известный под названием Никиасского мира, был заключен в начале одиннадцатой весны войны, которая длилась уже десять полных лет. Его условия были поставлены на голосование в Спарте, в собрании депутатов от лакедемонских союзников, большинство из которых приняли их, что, согласно условиям, принятым и присягнувшим каждым членом конфедерации,[771] делало его обязательным для всех. Правда, существовала особая оговорка, разрешавшаяся какому-либо государству в случае религиозных разногласий, вызванных опасением оскорбить какого-либо из своих богов или героев, но, за исключением этой оговорки, мир был формально заключен по решению конфедератов. Но вскоре выяснилось, как мало стоит голос большинства, даже если он был подкреплён сильным давлением самого Лакедемона, когда более влиятельные члены оказались в числе несогласного меньшинства. Беотийцы, мегаряне и коринфяне отказались принять его; не похоже, чтобы кто-либо из депутатов от союзников принес присягу вместе с лакедемонскими посланниками, хотя перемирие на год за два года до этого[772] было заключено лакедемонскими, коринфскими, мегарянскими, сикионскими и эпидаврскими посланниками.

Коринфяне были недовольны тем, что не вернули Соллиум и Анакторий; мегаряне - тем, что не вернули Нисей; беотийцы - тем, что от них требовали сдать Панактум. Несмотря на настоятельные просьбы Спарты, депутаты всех этих могущественных государств не только осудили мир как несправедливый и проголосовали против него на общем собрании союзников, но и отказались принять его, когда голосование было проведено, и отправились домой в свои города за инструкциями[773].

Таковы были условия и сопутствующие обстоятельства Никиасского мира, который завершил, или, как утверждалось, завершил великую Пелопоннесскую войну, продолжавшуюся десять лет. О его последствиях и плодах, во многом таких, которых не ожидала ни одна из сторон, заключивших мир, мы расскажем в моем следующем томе.

ФУТБОЛЬНЫЕ ССЫЛКИ

[1] Ксенофонт, Memorab. iii, 5, 18.

[2] Thucyd. v. 30: ο σπαρτανσκὴν κὼνφεδεράτιον, -εἰρημένον, κύριον εἶναι, ὅ,τι ἂν τὸ πλῆθος τῶν συμμάχων ψηφίσῃται, ἢν μὴ τι θεῶν ἢ ἡρώων κώλυμα ᾖ.

[3] Thucyd. ii, 63. τῆς τε πόλεως ὑμᾶς εἰκὸς τῷ τιμωμένῳ ἀπὸ τοῦ ἀρχεῖν, ὥπερ ἅπαντες ἀγάλλεσθε, βοηθεῖν, καὶ μὴ φεῦγεῖν τοὺς πόνους, ἢ μηδὲ τὰς τιμὰς διώκειν, etc.

[4] Plutarch, Periklēs, c. 12.

[5] Плутарх, Периклес, с. 11.

[6] Aristophan. Vesp. 707.

[7] Остров Китера был отвоеван афинянами у Спарты в 425 г. до н. э., и ежегодная дань, наложенная на него, составляла четыре таланта (Thucyd. iv, 57). В надписи № 143, ap. Boeckh, Corp. Inscr., мы находим несколько названий городов-притоков с указанием размера дани напротив каждого, но камень слишком сильно поврежден, чтобы дать нам много информации. Тиродиза, во Фракии, платила тысячу драхм: некоторые другие города или соединения городов, неясно различимые, оцениваются в тысячу, две тысячи, три тысячи драхм, один талант и даже десять талантов. Эта надпись должна быть сделана до 415 года до н. э., когда дань была преобразована в пятипроцентную пошлину на импорт и экспорт: см. Boeckh, Public Econ. of Athens, и его заметки к вышеупомянутой надписи.

Афины не всегда оценивали каждый город-приток отдельно, но иногда объединяли несколько в один коллективный рейтинг; вероятно, каждый отвечал за остальные. Это, по-видимому, вызывало периодические протесты союзников, в некоторых из которых ритор Антифон использовался для составления речи, которую жалобщики произносили перед дикастерией: см. Antipho ap. Harpokration, v. Ἀπόταξις-Συντελεῖς. Очень жаль, что не сохранились оратории, составленные Антифоном для самофракийцев и линдийцев - последних, населявших один из трех отдельных городов на острове Родос.

[8] Xenophon, Anab. vii, 1, 27. οὐ μείον χιλίων τάλαντων: ср. Boeckh, Public Econ. of Athens, b. iii, ch. 7, 15, 19.

[9] Aristophan. Vesp. 660. τάλαντ' ἑγγύς δισχιλία.

[10] Весьма замечательные писатели об афинской древности (Boeckh, Public Econ. of Athens, c. 15, 19, b. iii; Schömann, Antiq. J. P. Att. sect. lxxiv; K. F. Hermann, Gr. Staatsalterthümer, sect. 157: сравните, однако, отрывок в Boeckh, ch. 17, p. 421, англ. перевод, где он, кажется, придерживается противоположного мнения) принимают это утверждение, что дань, взимаемая афинянами с союзников, была удвоена через несколько лет после начала Пелопоннесской войны, - в то время она составляла шестьсот талантов, - и что она достигла двенадцатисот талантов. Тем не менее, я не могу следовать им, опираясь на простой авторитет Эсхина и Псевдо-Андокидеса (Æschin. De Fals. Legat. c. 54, p. 301; Andokidēs, De Pace, c. 1, и тот же оратор cont. Alkibiad. c. 4). Ибо мы можем с уверенностью утверждать, что ни одна из двух ораций, приписываемых здесь Андокидесу, не является подлинной: оратория против Алкивиада, безусловно, не подлинная. Таким образом, в качестве оригинального свидетельства остается только отрывок из Эсхинеса, который, очевидно, был скопирован автором оратории De Pace, приписываемой Андокидесу. Глава Эсхинеса, которая претендует на то, чтобы дать общий, но краткий очерк афинской истории за век, следующий за персидским вторжением, настолько полна исторических и хронологических неточностей, что мы вряд ли можем принять ее, когда она стоит отдельно, как авторитет для любого вопроса факта. В примечании к непосредственно предшествующей главе я уже обращал внимание на необычайную неточность изложения, на которую указывали различные комментаторы, среди которых особенно выделялся г-н Файнс Клинтон: см. выше, гл. xlv, примечание ², с. 409-411, в предыдущем томе.

Таким образом, утверждение о том, что дань с афинских союзников была увеличена до двенадцатисот талантов в год, дошло до нас только от оратора Эсхинеса в качестве

оригинального свидетельства, и у него оно является частью ткани заявлений, в равной степени сбивчивых и неверных. Но против этого у нас есть мощный отрицательный аргумент - полное молчание Фукидида. Возможно ли, чтобы этот историк упустил из виду столь важный по своим последствиям шаг, если бы Афины действительно приняли его? Он упоминает о замене Афинами дани, взимаемой с союзников, пятипроцентной пошлиной на их экспорт и импорт (vii, 28) - это было на девятнадцатом году войны, в 413 году до н.э. Однако подобное дублирование дани сразу изменило бы гораздо более существенно отношения между Афинами и их союзниками и стало бы в сознании последних существенной обидой, способной усугубить мотив восстания, чего Фукидид не мог не заметить. Оратор Эсхинес относит увеличение дани до двенадцати сотен талантов ко времени, последовавшему за Никиасским миром: М. Бёкх (Public Econ. of Athens, b. iii, ch. 15-19, pp. 400-434) полагает, что оно произошло раньше, чем представление Веспе Аристофана, то есть примерно за три года до этого мира, или в 423 г. до н.э. Но это было бы как раз перед экспедицией Брасидаса во Фракию и его успехом в возбуждении восстания среди зависимых от Афин народов: если Афины удвоили дань со всех союзников незадолго до этой экспедиции, Фукидид не мог не упомянуть об этом, как об увеличивающем шансы на успех Брасидаса и способствующем определению решения акантийцев и других, которые отнюдь не были приняты единогласно или без колебаний, восстать.

Что касается оратории Андокидеса против Алкивиада, то в четвертом томе "Истории" (т. iv, гл. xxxi, с. 151) я сделал несколько замечаний, показывающих, что она поддельная и относится ко времени значительно более позднему, чем то, к которому она предположительно принадлежит. Я добавлю еще одно замечание, которое кажется мне решающим и приводит к тому же выводу.

Оратор утверждает, что произносит речь в ходе состязания по остракизму между Никиасом, Алкивиадом и оратором: один из троих, по его словам, должен быть обязательно подвергнут остракизму, и вопрос заключается в том, чтобы определить, кто из них трое: соответственно, оратор останавливается на многих темах, рассчитанных на то, чтобы создать плохое впечатление об Алкивиаде и благоприятное впечатление о себе.

Среди обвинений против Алкивиада есть и такое: посоветовав в народном собрании продать жителей Мелоса в рабство, он сам купил среди пленников мелийскую женщину и родил от нее сына: преступно, утверждает оратор, иметь потомство от женщины, чьи отношения он способствовал тому, что ее предали смерти, и чей город он способствовал разрушению (с. 8).

Я не касаюсь этого аргумента, кроме как для того, чтобы уточнить хронологию. Речь, если она вообще была произнесена, должна была быть произнесена не ранее чем через год после захвата Мелоса афинянами: она может быть более поздней, но *не может быть более ранней*.

Мелос сдался зимой, непосредственно предшествовавшей великой экспедиции афинян в Сицилию в 415 г. до н. э., которая отплыла примерно в середине лета (Thucyd. v, 116; vi, 30). Никиас и Алкивиад отправились в качестве командиров этой экспедиции: последний был отозван в Афины для суда по обвинению в нечестивости примерно через три месяца после этого, но сбежал по дороге домой, был осужден и приговорен к изгнанию в его отсутствие и вернулся в Афины только в 407 году до н.э., долгое время после смерти Никиаса, который продолжал командовать афинскими вооруженными силами в Сицилии, пользуясь полным уважением своих соотечественников, до полного провала и гибели перед Сиракузами, - и после этого сам погиб в сиракузском плену.

Если взять все эти обстоятельства вместе, то сразу станет ясно, что не могло быть такого времени, чтобы через десять или более месяцев после взятия Мелоса Никиас и Алкивиадес подверглись в Афинах ostracism. Это абсолютно невозможно, и оратория, в которой воплощены такие исторические и хронологические несовместимости, должна быть поддельной: более того, она должна была быть составлена спустя долгое время после предполагаемого времени доставки, когда хронологический ряд событий был забыт.

Я могу добавить, что рассказ об этом дублировании дани Алкивиадом практически противоречит утверждению Плутарха, вероятно, заимствованному у Эсхинеса, который говорит, что демагоги *постепенно* увеличили (κατὰ μικρὸν) дань до тринадцати сотен талантов (Plutarch, Aristeid. c. 24).

[11] Thucyd. ii, 13.

[12] Thucyd. i, 80. Дальновидность афинского народа, воздерживавшегося от немедленного использования государственных денег и откладываявшего их на будущие нужды, была бы еще более наглядной, если бы утверждение оратора Эсхинеса о том, что они собрали семь тысяч талантов между заключением мира с Никием и сицилийской экспедицией, было правдой. М. Бёхк верит этому утверждению и говорит: "Не исключено, что тысяча талантов могла откладываться каждый год, поскольку сумма получаемой дани была столь значительной". (Public Economy of Athens, ch. xx. p. 446, Eng. Trans.) Я не верю этому утверждению: но М. Бозх и другие, которые его признают, должны по справедливости сопоставить его с многочисленными замечаниями, которые они делают в осуждение расточительности демократов.

[13] Thucyd. i. 122-143; ii, 13. πεντηκοστὴ, или двухпроцентная пошлина на импорт и экспорт в Пейреусе, принесла государству доход в размере тридцати шести талантов в год, когда ее ввел Андокидес, где-то около 400 г. до н. э., после восстановления демократии в Афинах после поражения и низвержения в конце Пелопоннесской войны (Andokidês de Mysteriis, c. 23, p. 65). Это было в период депрессии в афинских делах, когда торговля, несомненно, была не так хороша, как в начале Пелопоннесской войны.

Представляется вероятным, что это был наиболее значительный постоянный источник афинских доходов, наряду с данью; хотя мы не знаем, какая ставка таможенной пошлины взималась в Пейре во время Пелопоннесской войны. Сравнивая два отрывка Ксенофонта (Republ. Ath. 1, 17 и Aristophan. Vesp. 657), мы можем предположить, что обычная и привычная ставка пошлины составляла один процент или один ἑκατοστὴ, а в случае необходимости она могла быть удвоена или утроена. -τὰς πολλὰς ἑκατοστὰς, (см. Boeckh, b. iii, chs. 1-4, pp. 298-318, Eng. Trans.) Размер дохода, получаемого даже из этого источника, однако, не мог идти ни в какое сравнение с данью.

[14] По Периклему, Thucyd. ii, 63. По Клеону, Thucyd. iii, 37. Посланниками на Мелосе, v, 89. Евфим, vi, 85. Враждебные коринфяне, i, 124, как само собой разумеющееся.

[15] Плутарх, Periklês. c. 20.

[16] Плутарх, Кимон. c. 14.

[17] Plutarch, Periklês, c. 19, 20.

[18] Xenophon, Rep. Ath. ii, 16. τὴν μὲν οὐσίαν ταῖς νήσοις παρατίθενται, πιστεύοντες τῇ ἀρχῇ τῇ κατὰ θάλασσαν- τὴν δὲ Ἀττικὴν γῆν περιουῶσι τεμνομένην, γινώσκοντες ὅτι εἰ αὐτὴν ἐλεήσουσιν, ἐτέρων ἀγαθῶν μεζόνων στερήσονται.

Сравните также Ксенофонта (Memorabil. ii, 8, 1, и Symposion, iv, 31).

[19] См. случай со свободным работником и земледельцем на Наксосе, Платон, Эвтифро, с. 3.

[20] Thucyd. i. 100.

[21] Thucyd. iv, 105; Marcellinus, Vit. Thucyd. с. 19. См. Rotscher, Leben des Thukydides, ch. i, 4, p. 96, который приводит генеалогию Фукидида, насколько она может быть составлена с какой-либо вероятностью. Историк был связан кровными узами с Мильтиадесом и Кимоном, а также с Олором, царем одного из фракийских племен, чья дочь Гегесипила была женой Мильтиадеса, завоевателя Марафона. Таким образом, он принадлежал к одному из древних героических родов Афин и даже всей Греции, будучи экидом через Аякса и Филея (Marcellin. с. 2).

[22] Thucyd. iv, 102; v, 6.

[23] Diodor. xii, 35.

[24] Diodor. xii, 11, 12; Strabo. vi, 264: Плутарх, Периклес, с. 22.

[25] Афиняне претендовали на отсутствие союзников за Ионическим заливом, Thucyd. vi, 14: сравните vi, 45, 104; vii, 34. Фукидид даже не упоминает Фурии в своем каталоге союзников Афин в начале Пелопоннесской войны (Thucyd. ii, 15).

[26] Плутарх, Periklēs, с. 11.

[27] Сравните речь Никиаса о молодых гражданах и сторонниках Алкивиада, сидевших вместе с последним в собрании, - οὐς ἐγὼ ὁρῶν νῦν ἐνθάδε τῷ αὐτῷ ἀνδρὶ παρακελευστοὺς καθημένους φοβοῦμαι, καὶ τοῖς πρεσβυτέροις ἀντιπαρακελεύομαι μὴ καταισχυθῆναι, εἴ τῳ τις παρακάθεται τῶνδ᾽, и т.д. (Thucyd. vi, 13.) См. также Aristophanēs, Ekklesiaz. 298 и далее, о партизанах, сидящих рядом друг с другом.

[28] Plutarch, Periklēs, с. 8. Ὅταν ἐγὼ καταβάλω παλαίων, ἐκεῖνος ἀντιλέγων ὥς οὐ πέπτωκε, νικᾷ, καὶ μεταπείθει τοὺς ὁρῶντας.

[29] Plutarch, Periklēs, с. 11. ἢ δ' ἐκείνων ἄμιλλα καὶ φιλοτιμία τῶν ἀνδρῶν βαθυτάτην τομὴν τεμοῦσα τῆς πόλεως, τὸ μὲν δῆμον, τὸ δ' ὀλίγους ἐποίησε καλεῖσθαι.

[30] Plutarch, Periklēs, с. 12. διέβαλλον ἐν ταῖς ἐκκλησίαις βοῶντες, ὥς ὁ μὲν δῆμος ἀδοξεῖ καὶ κακῶς ἀκούει τὰ κοινὰ τῶν Ἑλλήνων χρήματα πρὸς αὐτὸν ἐκ Δήλου μεταγαγών, ἢ δ' ἔνεστιν αὐτῷ πρὸς τοὺς ἐγκαλοῦντας εὐπρεπεστάτη τῶν προφάσεων, δείσαντα τοὺς βαρβάρους ἐκεῖθεν ἀνελέσθαι καὶ φυλάττειν ἐν ὀχυρῷ τὰ κοινὰ, ταύτην ἀνήρηκε Περικλῆς, etc.

Сравните речь лесбийцев и их жалобы на Афины в момент их восстания на четвертом году Пелопоннесской войны (Thucyd. iii, 10); где выдвигается аналогичное обвинение, - ἐπειδὴ δὲ ἑωρῶμεν αὐτοὺς (афиняне) τὴν μὲν τοῦ Μήδου ἔχθραν ἀνιέντας, τὴν δὲ τῶν ξυμμάχων δούλωσιν ἐπαγομένους, и т.д.

[31] Plutarch, Periklēs, с. 20.

[32] Thucyd. i, 10.

[33] Plutarch, Periklēs, с. 11-14. Τέλος δὲ πρὸς τὸν Θουκυδίδην εἰς ἀγῶνα περὶ τοῦ ὀστράκου καταστάς καὶ διακινδυνεύσας, ἐκεῖνον μὲν ἐξέβαλε, κατέλυσε δὲ τὴν ἀντιτεταγμένην ἑταιρείαν. См.

в отношении принципа остракизма примечательный инцидент в Магнесии между двумя политическими соперниками, Кретинесом и Гермеем: также справедливые размышления Монтескье, *Esprit des Loix*, xxvi, с. 17; xxix, с. 7.

[34] Плутарх, *Periklês*, с. 16: указание времени, однако, расплывчато.

[35] Plato, *Gorgias*, p. 455, с Scholia; Plutarch, *Periklês*, с. 13: Forchhammer, *Topographie von Athen*, in *Kieler Philologische Studien*, pp. 279-282.

[36] Isokratês, *Orat. vii: Areopagit.* p. 153. с. 27.

[37] См. Dikæarchus, *Vit. Græciæ*, *Fragm. ed. Fuhr.* p. 140: сравните описание Платеи в Thucydidês, ii, 3.

Все старые города, ныне существующие на греческих островах, построены таким же образом, - узкие, грязные, кривые дороги, немногочисленные регулярные непрерывные линии домов: см. Ross, *Reisen in den Griechischen Inseln*, *Letter xxvii*, vol. ii, p. 20.

[38] Aristotle, *Politic.* ii, 5, 1; Xenophon, *Hellen.* ii, 4, 1; Harpokration, v, Ἰπποδᾶμεια.

[39] Diodor, xii, 9.

[40] Leake, *Topography of Athens*, *Append. ii и iii*, pp. 328-336, 2d edit.

[41] См. Leake, *Topography of Athens*, 2d ed. p. 111, нем. перевод. О. Мюллер (*De Phidiæ Vitâ*, p. 18) упоминает не менее восьми знаменитых статуй *Athênê*, выполненных рукой Фидия, - четыре в акрополе Афин.

[42] Плутарх, *Periklês*, с. 13-15; О. Мюллер, *De Phidiæ Vitâ*, pp 34-60, также его работа, *Archäologie der Kunst*, sects. 108-113.

[43] Thucyd. i, 80. καὶ τοῖς ἄλλοις ἅπασιν ἄριστα ἐξήρτυνται, πλούτῳ τε ἰδίῳ καὶ δημοσίῳ καὶ ναυσὶ καὶ ἵπποις καὶ ὄπλοις, καὶ ὄχλῳ ὅσος οὐκ ἐν ἄλλῳ ἐνὶ γε χωρίῳ Ἑλληνικῷ ἐστὶν, etc.

[44] Plutarch, *Periklês*, с. 13.

[45] Thucyd. i, 10.

[46] См. Leake, *Topography of Athens*, *Append. iii*, p. 329, 2d ed. нем. перевод. Полковник Лик с большой справедливостью утверждает, что сумма в две тысячи двенадцать талантов, указанная Гарпократом из Филохора как стоимость одной только Пропилеи, должна быть сильно преувеличена. Г-н Уилкинс (*Atheniensia*, p. 84) выражает то же мнение, отмечая, что перевозка мрамора из Пентеликуса в Афины легка и осуществляется по нисходящей дороге.

Деметрий Фалерей (*ap. Cicer. de Officiis*, ii, 17) порицает Перикла за большую сумму, потраченную на Пропилеи; не удивительно, что он произнес это порицание, если его заставили оценить их стоимость в две тысячи двенадцать талантов.

[47] Valer. Maxim. i, 7, 2.

[48] Thucyd. ii, 13.

[49] Plutarch, *Periklês*, с. 17. Плутарх не называет точной даты, а О. Мюллер (*De Phidiæ Vitâ*, p. 9) помещает эти шаги по созыву конгресса до первой войны между Спартой и Афинами и битвы при Танагре, то есть до 460 г. до н. э. Но эта дата кажется мне неправдоподобной: Фивы еще не обновили свое могущество, а Беотия еще не оправилась от плодов союза с

персами; кроме того, ни Афины, ни сам Периклес, похоже, не были в то время в состоянии задумать столь масштабный проект; который во всех отношениях гораздо лучше подходит для более позднего периода, после тридцатилетнего перемирия, но до Пелопоннесской войны.

[50] Thucyd. i, 115; viii, 76; Plutarch, Periklês, c. 28.

[51] Thucyd. i, 115; Plutarch, Periklês, c. 25. Большинство утверждений, которые появляются в этой главе Плутарха, помимо краткого повествования Фукидида, похоже, заимствованы из преувеличенных партийных историй того времени. Нам нет нужды останавливаться на истории о том, что Периклеса побудил выступить на стороне Милета против Самоса тот факт, что Аспазия была родом из Милета. Не более правдоподобно и то, что сатрап Писсуфнес по доброй воле к Самосу предложил Периклесу десять тысяч золотых статеров в качестве стимула пощадить Самос. Возможно, правда, что саамская олигархия и те богатые люди, чьи дети могли быть взяты в заложники, пытались воздействовать крупными взятками на разум Перикла, чтобы убедить его не менять правительство.

[52] Thucyd. i, 114, 115.

[53] Strabo, xiv, p. 638; Schol. Aristeidês, t. iii, p. 485, Dindorf.

[54] См. интересные сведения о Софоклесе у хианского поэта Иона, который встречался и беседовал с ним во время этой экспедиции (Athenæus, xiii, p. 603). Он представляет поэта как необычайно приятного и изящного в обществе, но нисколько не отличающегося активностью. Софокл в это время был в особом фаворе из-за успеха его трагедии "Антигона" за год до этого. Хронологию этих событий см. в предварительной диссертации Боэция к "Антигоне", с. 6-9.

[55] Diodor. xi, 27.

[56] Плутарх, Периклес, с. 26. Плутарх, по-видимому, имел перед собой сведения об этой саамской кампании не только от Эфора, Стесимброта и Дуриса, но и от Аристотеля: утверждения последнего, должно быть, настолько отличались от Фукидида, что он утверждал, будто саамский полководец Мелисс одержал победу над самим Периклесом, что не согласуется с повествованием Фукидида.

Саамский историк Дурис, живший примерно через столетие после этой осады, похоже, ввел много ложных сведений о жестокости Афин: см. Плутарх, *l. c.*

[57] Очень маловероятно, что этот Фукидид может быть самым историком. Если это Фукидид, сын Мелесия, то мы должны предположить, что он был восстановлен после ostracism раньше обычного времени, - предположение, конечно, само по себе недопустимое, но больше ничего не дает. Автор "Жизни Софокла", а также большинство современных критиков придерживаются этого мнения.

С другой стороны, это мог быть третий человек по имени Фукидид, поскольку это имя, как можно догадаться по двум словам, из которых оно состоит, было распространено. Мы находим упоминание о третьем Фукидиде viii, 92 - уроженце Фарсала; а биограф Марцеллина, похоже, читал о многих людях с таким именем (Θουκύδιαι πολλοί, p. xvi, ed. Arnold). Дальнейшая история Фукидида, сына Мелесия, находится в полной неизвестности. Мы не знаем инцидента, на который ссылается примечательный отрывок из Аристофана (Acharn. 703), - сравните Vespæ, 946: мы также не можем подтвердить утверждение, которое схолиаст

цитирует у Идоменея, о том, что Фукидид был изгнан и бежал к Артаксерксу: см. Bergk. Reliq. Com. Att. p. 61.

[58] Thucyd. i, 117; Diodor. xii, 27, 28; Isokratês, De Permutat. Or. xv, sect. 118; Cornel. Nepos, Vit. Timoth. c. 1.

Утверждение Эфора (см. Diodorus, xii, 28, и Ephori Fragm. 117 ed. Маркса, с примечанием Маркса), что Периклес использовал против города таранные машины под руководством клазоменца Артемона, было поставлено под сомнение Гераклидом Понтийским на том основании, что Артемон был современником Анакреона, почти за столетие до этого: а Фукидид представляет Перикла как захватившего город полностью путем блокады.

[59] Thucyd. i, 40, 41.

[60] Thucyd. viii, 21.

[61] Сравните Wachsmuth, Hellenische Alterthumskunde, sect. 58, vol. ii, p. 82.

[62] См. Westermann, Geschichte der Beredsamkeit in Griechenland und Rom; Diodor. xi, 33; Dionys. Hal. A. R. v, 17.

Периклес в погребальной оратории, сохранившейся у Фукидида (ii, 35-40), начинает словами: Οἱ μὲν πολλοὶ τῶν ἐνθάδε εἰρηκότων ἤδη ἐπαινοῦσι τὸν προσθέντα τῷ νόμῳ τὸν λόγον τόνδε, и т. д.

Схолиаст и другие комментаторы - К. Ф. Вебер и Вестерманн высказывают различные предположения о том, какой знаменитый человек здесь обозначен как создатель обычая произносить похоронные речи. Схолиаст говорит, что это Солон: Вебер - Кимон: Вестерманн - Аристеидес: другой комментатор - Фемистоклес. Но мы можем обоснованно сомневаться, что слова τὸν προσθέντα специально указывают на *какого-то одного* очень знаменитого человека. Похвала введившему практику - это не более чем фраза для похвалы самой практике.

[63] Некоторые фрагменты ее, по-видимому, сохранились во времена Аристотеля: см. его трактат "О риторике", i, 7; iii, 10, 3.

[64] Сравните восторженные демонстрации, которые приветствовали Брасидаса в Скионке (Thucyd. iv, 121).

[65] Plutarch, Periklês, c. 28; Thucyd. ii, 34.

[66] Короткий фрагмент, сохранившийся от комического поэта Эвполиса (Κόλακες, Fr. xvi, p. 493, ed. Meineke), свидетельствует о тревоге в Афинах по поводу саамской войны и о большой радости, когда остров был вновь завоеван: сравните Aristophan. Vesp. 283.

[67] Thucyd. iii, 37; ii, 63. См. конференцию на острове Мелос в шестнадцатый год Пелопоннесской войны (Thucyd. v, 89, seq.) между афинскими комиссарами и мелийцами. Я думаю, однако, что этой конференции можно доверять меньше, чем речам Фукидида в целом, о которых мы расскажем далее.

[68] Thucyd. iii, 47. Νῦν μὲν γὰρ ὑμῖν ὁ δῆμος ἐν ἀπάσαις ταῖς πόλεσιν εὖνους ἐστὶ, καὶ ἡ οὐ ξυναφίσταται τοῖς ὀλίγοις, ἢ ἂν βιασθῇ, ὑπάρχει τοῖς ἀποστήσασι πολέμιος εὐθύς, etc.

[69] См. поразительные наблюдения Фукидида, iii, 82, 83; Aristotel. Politic. v, 6, 9.

[70] Thucyd. iii, 27.

[71] Thucyd. viii, 9-14. Он отмечает также, что в отношении тасийской олигархии, только что установленной вместо прежней демократии афинскими олигархическими заговорщиками, которые в то время организовывали революцию Четырехсот в Афинах, - что они немедленно начали подготовку к восстанию из Афин, - *ξυνέβη οὖν αὐτοῖς μάλιστα ἃ ἐβούλοντο, τὴν πόλιν τε ἀκινδύνως ὀρθοῦσθαι, καὶ τὸν ἐναντιωσόμενον δῆμον καταλελύσθαι* (viii, 64).

[72] Thucyd. iv, 86, 88, 106, 123.

[73] См. важный отрывок, Thucyd. viii, 48.

[74] Xenophon. Repub. Athen. iii, 5. *πλὴν αἱ τάξεις τοῦ φόρου- τοῦτο δὲ γίγνεται ὡς τὰ πολλὰ δι' ἑτοῦς πέμπτου.*

[75] Ксенофонт. Repub. Athen. i, 14. *Περὶ δὲ τῶν συμμάχων, οἱ ἐκπλέοντες συκοφαντοῦσιν, ὡς δοκοῦσι, καὶ μισοῦσι τοὺς χρηστοὺς* и т. д.

Кто эти лица, обозначаемые выражением *οἱ ἐκπλέοντες*, кажется, будет указано более подробно немного далее (i, 18); это означает генералов, офицеров, посланников и т. д., отправленных Афинами.

[76] См. выражение в Фукидиде (v, 27), описывающее условия, необходимые, когда Аргос собирался расширить свои союзы в Пелопоннесе. Условий было два. 1. Город должен быть автономным. 2. Затем, чтобы он был готов передать свои споры на справедливый арбитраж, - *ἥτις αὐτόνομός τε ἐστὶ, καὶ δίκας ἴσας καὶ ὁμοίας δίδωσι.*

В оратории против афинян, произнесенной сиракузянином Гермократесом в Камарине, Афины обвиняются в порабощении своих союзников отчасти на том основании, что они не выполняли своих военных обязанностей, отчасти потому, что вели друг с другом войну (Thucyd. vi, 76), отчасти и по другим сомнительным поводам. Насколько это обвинение против Афин подтверждается фактами, мы вряд ли можем сказать; во всех тех конкретных примерах, которые упоминает Фукидид о покорении Афинами союзников, есть совершенно определенная и достаточная причина, а не простое притворство, придуманное афинским честолюбием.

[77] Согласно принципу, установленному коринфянами незадолго до Пелопоннесской войны, - *τοὺς προσήκοντας συμμάχους αὐτόν τινα κολάζειν* (Thucyd. i, 40-43).

Лакедемоняне, выдвинув свое обвинение в измене против Фемистокла, потребовали, чтобы его судили в Спарте, перед общим эллинским синодом, который заседал там и членом которого были тогда Афины, то есть спартанской конфедерацией, или союзом, - *ἐπὶ τοῦ κοινοῦ συνεδρίου τῶν Ἑλλήνων* (Diodor. xi, 55).

[78] Antipho, De Cæde Herôdis, c. 7, p. 135. *ὃ οὐδὲ πόλει ἔξεστιν, ἄνευ Ἀθηναίων οὐδένα θανάτῳ ζημῶσαι.*

[79] Thucyd. viii, 48. *Τοὺς τε καλοὺς κάγαθοὺς ὀνομαζομένους οὐκ ἐλάσσω αὐτοὺς* (то есть субъект-аллели) *νομίζειν σφίσι πράγματα παρέξειν τοῦ δήμου, ποριστὰς ὄντας καὶ ἐσηγητὰς τῶν κακῶν τῷ δήμῳ, ἐξ ὧν τὰ πλείω αὐτοὺς ὠφελεῖσθαι- καὶ τὸ μὲν ἐπ' ἐκείνοις εἶναι καὶ ἄκριτοι ἂν καὶ βιαίτερον ἀποθνήσκειν, τὸν δὲ δῆμον σφῶν τε καταφυγὴν εἶναι καὶ ἐκείνων σωφρονιστήν. Καὶ ταῦτα παρ' αὐτῶν τῶν ἔργων ἐπισταμένας τὰς πόλεις σαφῶς αὐτὸς εἰδέναι, ὅτι οὕτω νομίζουσιν.* Это представлено как обдуманное суждение афинского полководца Фриниха, которого

Фукидид высоко оценивает за его проницательность и с которым он, похоже, в данном случае был согласен.

Ксенофонт (Rep. Ath. i. 14, 15) утверждает, что афинские офицеры на службе вынесли множество несправедливых приговоров олигархической партии в союзных городах - штрафы, изгнания, смертные казни; И что афинский народ, хотя и был сильно заинтересован в процветании союзников, чтобы их дань была больше, все же считал, что лучше, чтобы каждый отдельный гражданин Афин прикарманивал, что мог, из награбленного союзниками, и оставлял последним не более того, что было абсолютно необходимо для их жизни и работы, без излишеств, которые могли бы склонить их к восстанию.

То, что афинские офицеры на службе слишком часто преуспевали в несправедливом обогащении за счет союзников, вполне вероятно: но то, что афинский народ был доволен тем, что его отдельные граждане так обогащаются, конечно, неправда. Широкая юрисдикция дикастерий была призвана, помимо прочего, открыть союзникам правовую защиту от подобных проступков со стороны афинских офицеров: и приведенный выше отрывок из Фукидида доказывает, что она действительно произвела такой эффект.

[80] Плутарх, Пелопидас, с. 20; Плутарх, Амастор. Narrat. с. 3, р. 773.

[81] См. далее, гл. 49.

[82] Xenophon, Rep. Athen, i, 18. Πρὸς δὲ τούτοις, εἰ μὲν μὴ ἐπὶ δίκας ἦσαν οἱ σύμμαχοι, τοὺς ἐκπλέοντας Ἀθηναίων ἐτίμων ἂν μόνους, τοὺς τε στρατηγούς καὶ τοὺς τριηράρχους καὶ πρέσβεις- νῦν δ' ἡνάγκασται τὸν δῆμον κολακεύειν τῶν Ἀθηναίων εἰς ἕκαστος τῶν συμμάχων, γινώσκων ὅτι δεῖ μὲν ἀφικόμενον Ἀθήναζε δίκην δοῦναι καὶ λαβεῖν, οὐκ ἐν ἄλλοις τισὶν, ἀλλ' ἐν τῷ δήμῳ, ὃς ἐστὶ δὴ νόμος Ἀθήνησι. Καὶ ἀντιβολῆσαι ἀναγκάζεται ἐν τοῖς δικαστηρίοις, καὶ εἰσιόντος του, ἐπιλαμβάνεσθαι τῆς χειρός. Διὰ τοῦτο οὖν οἱ σύμμαχοι δοῦλοι τοῦ δήμου τῶν Ἀθηναίων καθεστᾶσι μᾶλλον.

[83] Thucyd. i, 76, 77. Ἄλλους γ' ἂν οὖν οἰόμεθα τὰ ἡμέτερα λαβόντας δεῖξαι ἂν μάλιστα εἴ τι μετριάζομεν- ἡμῖν δὲ καὶ ἐκ τοῦ ἐπιεικοῦς ἀδοξία τὸ πλεον ἢ ἔπαινος οὐκ εἰκότως περιέστη. Καὶ ἐλασσοῦμενοι γὰρ ἐν ταῖς συμβολαίαις πρὸς τοὺς συμμάχους δίκαις, καὶ παρ' ἡμῖν αὐτοῖς ἐν τοῖς ὁμοίοις νόμοις ποιήσαντες τὰς κρίσεις, φιλοδικεῖν δοκοῦμεν, и т.д.

Я трактую *συμβολαίαις δίκαις* как связанный по смыслу с *συμβόλαια*, а не с *ξύμβολα* - следуя за Дюкером и Блумфилдом, предпочитая Поппо и Гёллера: см. подробные примечания двух последних редакторов. *Δίκαι ἀπὸ συμβόλων* означало соглашения, заключенные специальным конвентом между двумя различными городами, по согласию обоих, для решения споров между их гражданами: они были чем-то существенно отличным от обычных судебных механизмов обоих государств. Афинский оратор настаивает на прямо противоположном: он говорит, что союзники пользовались афинским судом и афинскими законами наравне с самими гражданами. Судебные механизмы, с помощью которых афинские союзники представляли перед афинскими дикастериями, нельзя с полным основанием назвать *δίκαι ἀπὸ συμβόλων*; если только акт первоначального включения в Делосскую конфедерацию не следует рассматривать как *ξύμβολον*, или соглашение, - что в значительной степени может быть, хотя и не в том смысле, в котором обычно упоминается *δίκαι ἀπὸ συμβόλων*. Более того. Я думаю, что отрывок Антифона (De Cæde Herôdis, p. 745) доказывает, что именно граждане мест, *не состоящих в союзе с Афинами*, судились с афинянами согласно *δίκαι ἀπὸ συμβόλων*, - а не союзники Афин, пока они проживали в своих родных городах; ибо я согласен с толкованием, которое Боекх вкладывает в этот отрывок, в противовес Платнеру и Шеманну (Boeckh, Public Econ. Athens, book iii, ch. xvi, p. 403, англ.

перевод; Schömann, Der Attisch. Prozess, p. 778; Platner, Prozess und Klagen bei den Attikern, ch. iv, 2, pp. 110-112, где последний обсуждает как отрывки Антифона, так и Фукидида).

Отрывки в Демосфене Orat. de Halones. с. 3, pp. 98, 99; и Andokidês cont. Alkibiad. с. 7, p. 121 (я цитирую эту последнюю орацию, хотя она, несомненно, поддельная, потому что мы вполне можем предположить, что ее автор был знаком с природой и содержанием ξύμβολα), дают нам достаточное представление об этих судебных конвенциях, или ξύμβολα, - особых и могущих отличаться в каждом конкретном случае. Они, как мне кажется, существенно отличаются от той систематической схемы, по которой афинские дикастерии разбирали все или самые важные споры между союзными городами, а также политические обвинения.

М. Бозкх проводит различие между *автономными* союзниками (Хиос и Лесбос в период, непосредственно предшествовавший Пелопоннесской войне) и *союзниками-подданными*: "Первый класс (говорит он) сохранял неограниченную юрисдикцию, тогда как последние были вынуждены рассматривать все свои споры в афинских судах". Несомненно, это различие до определенной степени превалировало, но насколько далеко оно зашло, мы вряд ли можем сказать. Предположим, что спор произошел между Хиосом и одним из подвластных островов, или между отдельным хиосцем и отдельным тасийцем; разве хиосский истец не подаст иск или хиосский ответчик не будет судиться в афинском дикастерии? Предположим, афинский гражданин или офицер вступил в спор с хианцем, разве афинская дикастерия не будет компетентным судом, независимо от того, кто из них двоих является истцом или ответчиком? Если бы гражданина или магистрата из Хианы заподозрили в разжигании мятежа, разве не вправе был бы любой обвинитель, как хианец, так и афинянин, предъявить ему обвинение в афинском дикастерии? Злоупотребление властью или казнокрадство, совершенные афинскими офицерами на Хиосе, конечно же, должны быть переданы в афинские дикастерии, так же как если бы преступление было совершено на Тасосе или Наксосе. У нас нет свидетельств, которые помогли бы нам в решении этих вопросов; но я склонен полагать, что разница в судеустройстве между автономными и подвластными союзниками была меньше, чем считает М. Бозкх. Мы должны помнить, что это соглашение не было чисто тягостным для союзников, - ответственность за судебное преследование сопровождалась привилегией судебного преследования за полученные повреждения.

Однако есть одно замечание, которое кажется мне важным для понимания свидетельств по этому вопросу. Афинская империя, как ее правильно называть, которая началась с Делосской конфедерации после персидского нашествия, была полностью разрушена в конце Пелопоннесской войны, когда Афины были завоеваны и взяты. Но по прошествии нескольких лет, ближе к 377 году до н. э., Афины снова начали совершать морские завоевания, приобретать союзников, получать дань, собирать синод и снова становиться на ноги, как имперский город. Но ее власть над союзниками в этот второй период империи была не столь велика, как в первый, между персидской и пелопоннесской войнами: мы не можем быть уверены, что то, что верно в отношении второго, верно и в отношении первого. Теперь мне кажется вероятным, что те утверждения грамматиков, которые представляют союзников как ведущих δίκας ἀπὸ ξυμβόλων в обычной практике с афинянами, могут быть действительно верны в отношении второй империи или союза. Bekker Anecdota, p. 436. Ἀθηναῖοι ἀπὸ ξυμβόλων ἐδίκαζον τοῖς ὑπηκόοις- οὕτως Ἀριστοτέλης. Pollux, viii. 63. Ἀπὸ συμβόλων δὲ δίκη ἦν, ὅτε οἱ σύμμαχοι ἐδικάζοντο. Также Гесихий, i, 489. Утверждение, приписываемое Аристотелю, вполне может быть верным в отношении второго союза, хотя его нельзя считать верным в отношении первого. Во втором союзе афиняне, возможно, действительно имели σύμβολα, или специальные съезды для судебных дел, со многими из

своих главных союзников, вместо того чтобы сделать Афины авторитетным центром и наследником Делийского синода, как они делали во время первого. Следует, однако, отметить, что Гарпократ в своем объяснении σύμβολα рассматривает их в совершенно общем смысле, как состязания для разрешения судебных споров между городом и городом, без какого-либо конкретного намека на Афины и их союзников. Сравните Heffter, Athenäische Gerichtsverfassung, iii, 1, 3, p. 91.

[84] Thucyd. i. 77. Οἱ δὲ (союзники) *εἰθισμένοι πρὸς ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ Ἰσοῦ ὀμιλεῖν*, etc.

[85] Сравните Isokratês, Or. iv, Panegyric. pp. 62-66, sects. 116-138; и Or. xii, Panathenaic. pp. 247-254, sects. 72-111; Or. viii, De Pace, p. 178, sect. 119, *seqq.*; Плутарх, Лисанд. с. 13; Cornel. Nepos, Lysand. с. 2, 3.

[86] Xenophon, Repub. Ath. i, 17.

[87] Xenophon, Repub. Ath. i, 16. Он называет это одним из выгодных последствий, побуждавших афинян приносить иски и жалобы союзников в Афины для разбирательства, - что пританеи, или пошлины, выплачиваемые при передаче дела в суд, стали достаточно большими, чтобы обеспечить все жалование дикастам в течение года.

Но в другой части своего трактата (iii, 2, 3) он представляет афинские дикастерии как перегруженные судебными делами, намного больше, чем они могли выполнить; настолько, что были большие задержки, прежде чем дела могли быть переданы на суд. Поэтому вряд ли можно считать великой целью искусственное увеличение числа жалоб для получения гонораров для дикастов".

[88] См. его известные комментарии о беспорядках в Коркире, iii, 82, 83.

[89] Thucyd. iii, 11-14.

[90] Так говорит афинский оратор Диодот в своей речи, осуждающей крайнее наказание, которому должна была подвергнуться Митиленка - *ἢν τινα ἐλεύθερον καὶ βίᾳ ἀρχόμενον εἰκότως πρὸς αὐτονομίαν ἀποστάντα χειρῶσόμεθα*, и т. д. (Thucyd. iii, 46.)

[91] Следует помнить, что Афинская империя была, по сути, *правительством зависимых* государств; Афины, как имперское государство, осуществляли власть над подчиненными правительствами. Поддерживать благоприятные отношения между двумя правительствами, одно из которых верховное, а другое подчиненное, и заставить эту систему работать к удовлетворению народа как в одном, так и в другом государстве, всегда было проблемой большой сложности. Тот, кто прочитает поучительный том мистера Г. К. Льюиса (Essay on the Government of Dependencies), и количество примеров практического неправильного управления в этом вопросе, которые там изложены, будет склонен думать, что империя Афин над своими союзниками представляет собой сравнительно достойную фигуру. Она, несомненно, выдержит полное сравнение с правительством Англии над зависимыми территориями в прошлом веке, что иллюстрируется историей Ирландии с уголовными законами против католиков, Декларацией независимости, опубликованной в 1776 году американскими колониями и излагающей основания для их отделения, а также заявлениями мистера Берка против Уоррена Гастингса.

Заявление и судебное разбирательство, на которое ссылается мистер Льюис (стр. 367), проясняет, кроме того, два момента, не маловажных для настоящего случая: 1.

Нелиберальные и унижительные настроения, которые склонны возникать у граждан верховного правительства по отношению к гражданам подчиненного. 2. Защита, которую английский суд присяжных, тем не менее, предоставлял гражданам зависимого государства от притеснений со стороны английских чиновников.

"В 1773 году в суд общей юрисдикции был подан иск уроженца Менорки Энтони Фабригаса против генерала Мостина, губернатора острова. В ходе судебного разбирательства было доказано, что губернатор Мостин арестовал истца, заключил его в тюрьму и перевез в Испанию без какого-либо судебного разбирательства на том основании, что истец представил ему петицию о возмещении ущерба, которую он посчитал неподобающей. Господин судья Гулд предоставил присяжным решать, было ли поведение истца таковым, что позволяло сделать справедливый вывод о том, что он собирался поднять мятеж в гарнизоне, или же он имел в виду не более чем искреннее желание подать иск и получить компенсацию за причиненные обиды. Если они сочли последнее, то истец имел право на возмещение ущерба по иску. Присяжные вынесли вердикт в пользу истца с возмещением ущерба в размере 3 000 фунтов стерлингов. В следующем семестре было подано ходатайство о новом рассмотрении дела, которое было отклонено всем составом суда.

"Следующие замечания адвоката губернатора Мостина на этом процессе содержат простое и *наивное* изложение доктрины, согласно которой зависимая территория должна управляться не в своих интересах, а в интересах доминирующего государства. Господа присяжные, - сказал адвокат, - теперь мне пора обратить внимание на еще одно обстоятельство, известное всем джентльменам, обосновавшимся на острове, - туземцы Минорки недоброжелательно относятся к англичанам и английскому правительству. Этому не приходится удивляться. Они - потомки испанцев, и считают Испанию страной, к которой, естественно, должны принадлежать: не стоит удивляться, что они недоброжелательно относятся к англичанам, которых считают своими завоевателями. Из всех миноркинов на острове истец, пожалуй, выделяется и является самым мятежным, буйным и недовольным подданным короны Великобритании, которого можно найти на Минорке. Джентльмены, *он является или предпочитает называться патриотом Минорки*. Патриотизм - очень красивая вещь среди нас, и мы многим обязаны ему: мы обязаны ему нашими свободами; но мы мало чем дорожили бы и имели бы мало того, чем мы сейчас наслаждаемся, если бы не наша торговля. *И ради нашей торговли не следует поощрять патриотизм на Менорке*, ибо он там разрушает нашу торговлю, и если он там появится, то нашей торговле в Средиземноморье придет конец. Но *здесь это очень хорошо*, ибо народ этой страны будет иметь его: он требовал его, и в результате своих требований он пользуется свободами, которые передаст своим потомкам, и не во власти этого правительства лишить его этого. Но они позаботятся обо всех наших завоеваниях за границей. Если бы этот дух возобладал на Менорке, то следствием этого была бы потеря этой страны и, конечно, нашей средиземноморской торговли. Нам будет жаль отпускать на свободу всех наших рабов на наших плантациях".

Невероятная сумма ущерба, присужденная присяжными, показывает силу их симпатии к миноркинской истце против английского офицера. Я не сомневаюсь, что чувства афинского дикастерия были во многом схожи, а зачастую и столь же сильны; они искренне стремились защитить подданных-союзников от неправомерных действий афинских триерархов или инспекторов.

Чувства, выраженные в приведенной выше речи, также часто находили отклик у афинских ораторов в собрании; и не составит труда привести параллельные отрывки, в которых эти ораторы подразумевают недовольство со стороны союзников как естественное положение вещей, от которого Афины не могли надеяться избавиться. Приведенная здесь речь показывает, что подобные чувства почти неизбежно возникают из-за неудобных отношений двух правительств, одно из которых верховное, а другое подчиненное. Они не являются результатом особой жестокости и угнетения со стороны афинской демократии, как это пытаются доказать мистер Митфорд и многие другие".

[92] См. важный отрывок, о котором уже говорилось в предыдущем примечании.

Thucyd. i, 40. οὐδὲ γὰρ ἡμεῖς Σαμίων ἀποστάντων ψῆφον προσεθέμεθα ἐναντίαν ὑμῖν, τῶν ἄλλων Πελοποννησίων δίχα ἐψηφισμένων εἰ χρή αὐτοῖς ἀμύνειν, *φανερῶς δὲ ἀντεῖπομεν τοὺς προσήκοντας συμμάχους αὐτόν τινα κολάζειν.*

[93] Thucyd. i. 33.

[94] Thucyd. i. 42.

[95] Thucyd. i, 38. ἡγεμόνες τε εἶναι καὶ τὰ εἰκότα θαυμάζεσθαι.

[96] Thucyd. i, 24, 25.

[97] Thucyd. i, 26. ἦλθον γὰρ ἐς τὴν Κέρκυραν οἱ τῶν Ἐπιδαμνίων φυγάδες, τάφους τε ἀποδεικνύντες καὶ συγγένειαν ἣν προῖσχομενοι ἐδέοντο σφᾶς κατάγειν.

[98] Thucyd. i, 26.

[99] Thucyd. i, 28.

[100] Thucyd. i, 29, 30.

[101] Thucyd. i, 31-46.

[102] Thucyd. i, 35-40.

[103] Thucyd. i, 33. Τοὺς Λακεδαιμονίους φόβῳ τῷ ὑμετέρῳ πολεμῆσιόντας, καὶ τοὺς Κορινθίους δυναμένους παρ' αὐτοῖς καὶ ὑμῖν ἐχθροὺς ὄντας καὶ προκαταλαμβάνοντας ἡμᾶς νῦν ἐς τὴν ὑμετέραν ἐπιχείρησιν, ἵνα μὴ τῷ κοινῷ ἔχθῃ κατ' αὐτῶν μετ' ἀλλήλων στῶμεν, etc.

[104] Thucyd. i, 32-36.

[105] Описание Геродотом (vii, 168: ср. Diodor. xi. 15) двуличия коркирян, когда их просили помочь грекам во время вторжения Ксеркса, кажется, подразумевает, что неблагоприятная характеристика их, данная коринфянами, совпадала с общим впечатлением по всей Греции.

О процветании и наглости коркирцев см. Аристотель apud Zenob. Proverb. iv, 49.

[106] Thucyd. i, 38. ἀποικοὶ δὲ ὄντες ἀφεστᾶσι τε διὰ παντὸς καὶ νῦν πολεμοῦσι, λέγοντες ὡς οὐκ ἐπὶ τῷ κακῶς πάσχειν ἐκπεμφθείσαν- ἡμεῖς δὲ οὐδ' αὐτοὶ φαμεν ἐπὶ τῷ ὑπὸ τούτων ὑβρίζεσθαι κατοικίσαι, ἀλλ' ἐπὶ τῷ ἡγεμόνες τε εἶναι καὶ τὰ εἰκότα θαυμάζεσθαι- αἱ γοῦν ἄλλαι ἀποικίαι τιμῶσιν ἡμᾶς, καὶ μάλιστα ὑπὸ ἀποίκων στεργόμεθα.

Это замечательный отрывок, иллюстрирующий положение метрополии по отношению к ее колонии. Отношения были таковы, что их можно подвести под общее слово "гегемония": превосходство и право командовать с одной стороны, неполноценность с обязанностью

почитания и послушания с другой, - ограниченные в пределах, хотя мы не знаем, где был установлен этот предел, и меняющиеся, вероятно, в каждом отдельном случае. Коринфяне ежегодно посылали в Потидею магистратов, которых называли эпидемиургами (Thucyd. i, 56).

[107] Thucyd. i, 40. φανερώς δὲ ἀντείπομεν τοὺς προσήκοντας συμμάχους αὐτόν τινα κολάζειν.

[108] Thucyd. i, 37-43.

[109] Thucyd. i, 44. Ἀθηναῖοι δὲ ἀκούσαντες ἀμφοτέρων, γενομένης καὶ δις ἐκκλησίας, τῇ μὲν προτέρᾳ οὐχ ἦσσαν τῶν Κορινθίων ἀπεδέξαντο τοὺς λόγους, ἐν δὲ τῇ ὑστεραίᾳ μετέγνωσαν, etc.

Οὐχ ἦσσαν, на языке Фукидида, обычно имеет положительное значение "больше".

[110] Thucyd. i, 44. Плутарх (Periklēs, с. 29) приписывает малочисленность эскадры, отправленной под командованием Лакедемония, мелкой злобе Перикла против этого полководца, как сына его старого политического противника Кимона. От кого бы он ни скопировал это утверждение, приписанный ему мотив кажется совершенно недостойным доверия.

[111] Πεζομαχεῖν ἀπὸ νεῶν - превращать морское сражение в сухопутную битву на корабле - было практикой, совершенно противной афинскому чувству, как мы видим, отмеченной также в Thucyd. iv, 14: сравните также vii, 61.

В конце концов, коринфские и сиракузские корабли стали противодействовать маневрам афинян, построив свои носы с повышенной прочностью и силой и вынуждая афинское судно к прямому удару, который его слабый нос был не в состоянии выдержать (Thucyd. vii, 36).

[112] Thucyd. i, 51. διὰ τῶν νεκρῶν καὶ ναυαγίων προσκομισθεῖσαι κατέπλεον ἐς τὸ στρατόπεδον.

[113] См. географический комментарий Гаттерера о Фракии, помещенный в Porro, Prolegg. ad Thucyd. vol. ii, ch. 29.

Слова τὰ ἐπὶ Θράκης-τὰ ἐπὶ Θράκης χωρία (Thucyd. ii, 29) обозначают обычно города в Халкидике, - места в направлении или на окраине Фракии, а не части самой Фракии.

[114] Thucyd. i, 57; ii, 100.

[115] См. два замечательных отрывка, иллюстрирующих это различие, Thucyd. iv, 120-122.

[116] Thucyd. ii, 29-98. У Исократы есть замечательный отрывок на эту тему в начале Or. v, ad Philippum, sects. 5-7. Указав на неосмотрительность основания колонии на окраине территории могущественного государя и на то, что прекрасное место, выбранное вдали от Кирены, находится вблизи только слабых племен, он заходит так далеко, что говорит, что обладание Амфиполем скорее вредно, чем полезно для Афин, поскольку поставит ее в зависимость от Филиппа, от его власти досаждают колонистам, - так же, как до этого она зависела от Мёдока, фракийского царя, из-за своих колонистов в Херсонесе, - ἀναγκασθησόμεθα τὴν αὐτὴν εὖνοιαν ἔχειν τοῖς σοῖς πράγμασι διὰ τοὺς ἐνταῦθα (при Амфиполе) κατοικοῦντας, οἷαν περ εἶχομεν Μηδόκῳ τῷ παλαιῷ διὰ τοὺς ἐν Χερρόνῃσιν γεωργοῦντας.

[117] Thucyd. i, 56, 57.

[118] Thucyd. v, 30.

[119] Каллий - молодой афинянин из знатной семьи, который заплатил большую сумму в сто мин философу Зенону из Элеи за обучение риторике, философии и софистике (Платон, Алкивиад, i, с. 31, р. 119).

[120] Thucyd. i, 61. Утверждение Фукидида представляет некоторые географические трудности, которые критики не оценили должным образом. Должны ли мы считать, что упомянутая здесь *Берёя* - это македонский город с таким названием, впоследствии так хорошо известный, удаленный от моря на запад на сто шестьдесят стадий, или почти на двадцать английских миль (см. Tafel, Historia Thessalonicae, p. 58), на реке, впадающей в Халиакмон, и на одном из нижних хребтов горы Бермиус?

Слова Фукидида здесь таковы: "Ἐπεὶτα δὲ ξύμβασιν ποιησάμενοι καὶ συμμαχίαν ἀναγκαίαν πρὸς τὸν Περδίκκαν, ὡς αὐτοὺς κατήπειγεν ἡ Ποτίδαια καὶ ὁ Ἀριστεὺς παρεληλυθὼς, ἀπανίστανται ἐκ τῆς Μακεδονίας, καὶ ἀφικόμενοι ἐς Βέροιαν κάκειθεν ἐπιστρέψαντες, καὶ πειράσαντες πρῶτον τοῦ χωρίου καὶ οὐχ ἑλόντες, ἐπορεύοντο κατὰ γῆν πρὸς τὴν Ποτίδαιαν-ἄμα δὲ νῆες παρέπλεον ἑβδομήκοντα.

"Естественный путь из Пидны в Потидею (отмечает д-р Арнольд в своем примечании) пролегал вдоль побережья; а Берёя находилась *в стороне от дороги*, на некотором *расстоянии к западу*, у крепости Бермийских гор. Но надежда застать Берёю врасплох побудила афинян отклониться от прямой линии марша; затем, после неудачи этой вероломной попытки, они снова вернулись к морскому побережью и продолжали следовать ему, пока не прибыли в Гигон".

Я бы отметил следующее: 1. Из слов Фукидида следует, что Берёя находилась *не в* Македонии, а за ее *пределами* (см. Porro, Proleg. ad Thucyd. vol. ii, pp. 408-418). 2. Он не использует ни одного выражения, которое бы хоть как-то намекало на то, что покушение на Берёю со стороны афинян было *вероломным*, то есть противоречило только что заключенной конвенции; хотя, если бы это было так, он, естественно, должен был бы обратить на это внимание, поскольку преднамеренное нарушение конвенции было первым шагом, который произошел после ее заключения. 3. Что побудило афинян оставить свой флот и пройти около двадцати миль вглубь страны до горы Бермий и Берееи, чтобы напасть на македонский город, который они не могут удержать, - в то время как они не могут даже остаться, чтобы продолжить атаку на Пидну, позицию приморскую, полезную и удобную, - вследствие настоятельной необходимости принять немедленные меры против Потидеи? 4. Если бы они были вынуждены в силу этой последней необходимости заключить мир на любых условиях с Пердиккасом, стали бы они сразу же подвергать этот мир опасности, отправившись в атаку на одну из его крепостей? Опять-таки Фукидид говорит, "что, двигаясь медленными сухопутными маршами, они достигли Гигона и расположились лагерем *на третий день*" - κατ' ὀλίγον δὲ προΐόντες τριταῖοι ἀφίκοντο ἐς Γίγωνα καὶ ἐστρατοπεδεύσαντο. Исчисление времени здесь должно производиться либо от Пидны, либо от Берееи; и читатель, изучивший карту, увидит, что ни с той, ни с другой стороны - если предположить, что Берёя находится на горе Бермий - армия не могла бы прибыть в Гигон на третий день, совершая марш вокруг верховья залива, с легкими дневными переходами; тем более, что ей пришлось бы пересечь реки Лидию, Аксий. и Эхеидорус, расположенные недалеко от их устьев, - или, если эти реки не удастся пересечь, взойти на борт флота и переправиться на другой берег.

Этот четкий временной ориентир, указанный Фукидидом, - даже если не принимать во внимание возражения, которые я только что привел в отношении Берееи на горе Бермий, - заставляет меня усомниться в том, что доктор Арнольд и другие комментаторы правильно представляют себе действия афинских войск между Пидной и Гигоном. *Берёя*, которую имеет

в виду Фукидид, не может быть удалена от Гигона больше, чем на треть дня легкого марша, и поэтому не может быть Берей на горе Бермий. Но был еще один город с названием Берёа, либо во Фракии, либо в Эматии, хотя мы не знаем его точного местоположения (см. Wassi ad Thucyd. i, 61; Steph. Byz. v, Βέρης; Tafel, Thessalonica, Index). Эта другая Берёа, расположенная где-то между Гигоном и Термами и находящаяся вне пределов той Македонии, которой управлял Пердикка, вероятно, и есть то место, на которое указывает Фукидид. Афиняне, сняв осаду с Пидны, переправились через залив *на кораблях* в Берёю и после тщетных попыток захватить этот город, двинулись *по суше* к Гигонусу. Тот, кто изучит карту, увидит, что афиняне, естественно, использовали свой большой флот для перевозки армии коротким путем через залив из Пидны (см. Livy, xliv, 10) и таким образом избежали утомительного марша по суше вокруг верховья залива. Более того, язык Фукидида заставляет *начинать* сухопутный марш *в Берёе*, а не в Пидне, - ἀπανίστανται ἐκ τῆς Μακεδονίας, καὶ ἀφικόμενοι ἐς Βέροϊαν κάκειθεν ἐπιστρέψαντες, καὶ πειράσαντες πρῶτον τοῦ χωρίου καὶ οὐχ ἐλόντες, ἐπορεύοντο κατὰ γῆν πρὸς Ποτίδαιαν-ἅμα δὲ νῆες παρέπλεον ἐβδομήκοντα. Κατ' ὀλίγον δὲ προϊόντες τριταῖοι ἀφίκοντο ἐς Γίγωνα καὶ ἐστρατοπεδεύσαντο. Изменение времени между ἀπανίστανται и ἐπορεύοντο, - и соединение причастия ἀφικόμενοι с последним глаголом, - кажется, разделяет все действие на две различные части; во-первых, отправление из Македонии в Берёю, как кажется, по морю, - затем, сухопутный поход из Берёи в Гигон, в течение трех коротких дней.

Это, как мне кажется, наилучшее изложение отрывка, реальные трудности которого не замечаются комментаторами.

Место расположения Гигона не может быть точно определено, поскольку все, что мы знаем о городах на побережье между Потидеей и Энеей, получено из их перечислений у Геродота (vii, 123); мы также не можем быть абсолютно уверены, что он перечислил их все в точном порядке, в котором они были расположены. Но я думаю, что и Col. Лик и карта Киперта помещают Гигон слишком далеко от Потидеи; ибо мы видим из этого отрывка Фукидида, что он составлял лагерь, из которого афинский генерал немедленно отправился дать сражение врагу, расположившемуся между Олинфом и Потидеей; и Схолиаст говорит о Гигоне, -οὐ πολὺ ἄπεχον Ποτίδαίας: и Stephan. Byz. Γίγωνος, πόλις Θράκης *προσεχὴς τῇ Παλλήνῃ*.

См. полковник Лик, "Путешествия по Северной Греции", т. III, гл. xxxi, с. 452. Этот замечательный наблюдатель подсчитал, что поход от Берёи на горе Бермиус до Потидеи длится четыре дня, примерно по двадцать миль в день. Судя по карте, это кажется ниже, чем на самом деле; но, признавая это правильным, Фукидид никогда бы не описал такой марш, как *κατ' ὀλίγον δὲ προϊόντες τριταῖοι ἀφίκοντο ἐς Γίγωνα*: это был бы довольно быстрый и утомительный марш, тем более что он включал бы в себя переход через реки. Из описания этой битвы в Фукидиде (i, 62) также не следует, что Гигон мог находиться в полном дневном марше от Потидеи. Согласно его описанию, афинская армия продвигалась тремя очень легкими маршами; затем, прибыв в Гигон, они расположились лагерем, находясь вблизи неприятеля, который со своей стороны уже расположился лагерем, ожидая их, - *προσδεχόμενοι τοὺς Ἀθηναίους ἐστρατοπεδεύοντο πρὸς Ὀλύμβου ἐν τῷ ἱσθμῷ*: несовершенное время указывает на то, что они уже были там в то время, когда афиняне разбили лагерь в Гигоне; что вряд ли было бы верно, если бы афиняне пришли тремя последовательными маршами из Берёи на гору Бермий.

Я бы добавил, что не более удивительно, что во Фракии была одна Бермея, а в Македонии - другая, чем то, что во Фракии был один Мефон, а в Македонии - другой (Steph. B. Μεθώνη).

[121] Thucyd. i, 62, 63.

[122] Thucyd. i, 65.

[123] Thucyd. iii, 2-13. Это предложение лесбиянок в Спарте, должно быть, было сделано до столкновения между Афинами и Коринфом в Коркире.

[124] Thucyd. i, 139. ἐπικαλοῦντες ἐπεργασίαν Μεγαρεῦσι τῆς γῆς τῆς ἱερᾶς καὶ τῆς ἀορίστου, etc. Плутарх, Периклес, с. 30; Schol. ad Aristophan. Pac. 609.

Я согласен с Гёллером, что здесь мегарянам вменяются два разных нарушения права: первое - то, что они обрабатывали землю, принадлежавшую богиням в Элевсисе, второе - то, что они присвоили и обрабатывали незаселенные пастбищные земли на границе. В примечании д-ра Арнольда приводится другая точка зрения, на мой взгляд, менее правильная: "Земля на границе была освящена, чтобы предотвратить ее захват: в этом случае границы могли бы стать предметом вечного спора между двумя странами" и т. д. Сравните Thucyd. v, 42, о пограничной территории вокруг Панактума.

[125] Фукидид (i, 139), объясняя причины этого приговора об исключении, вынесенного Афинами в отношении мегарян, упоминает только два обвинения, о которых здесь идет речь, - незаконное возделывание территории и прием беглых рабов. Он не ссылается на глашатая Антемокрита: еще меньше он обращает внимание на сплетни того времени, которые Аристофан и другие комедиографы этого периода используют для того, чтобы придать Пелопоннесской войне характер личных симпатий Перикла, а именно: сначала некие афинские юноши украли из Мегары придворную Симету: затем мегарская молодежь отомстила, украв из Афин "двух привлекательных куртезанок", одна из которых была любовницей Перикла; на что последний так разгневался, что предложил мегарцам наказание в виде исключения (Aristoph. Ахарн. 501-516; Плутарх, Периклес, с. 30).

Такие истории ценны прежде всего тем, что знакомят нас с политическим скандалом того времени. Но историю о глашатае Антемокрите и его смерти нельзя полностью отвергать. Хотя Фукидид, не упоминая об этом факте, не верил, что смерть герольда действительно произошла по вине мегарян, в Афинах, вероятно, существовало народное поверье на этот счет, под влиянием которого умершего герольда публично похоронили у Триасовых ворот Афин, ведущих в Элевсис: см. Philippi Epistol. ad Athen. ap. Demosthen. p. 159, R.; Pausan. i, 36, 3; iii, 4, 2. Язык Плутарха (Periklês, с. 30), вероятно, буквально правильный, - "смерть герольда, по-видимому, была вызвана мегарянами", - αἰτία τῶν Μεγαρέων ἀποθανεῖν ἔδοξε. То, что ни Фукидид, ни сам Периклес не верили в то, что мегаряне действительно стали причиной его смерти, совершенно точно: в противном случае этот факт обязательно был бы оспорен, когда лакедемоняне прислали жаловаться на приговор об исключении, - ведь этот поступок, как известно, был противен всем греческим чувствам.

[126] Thucyd. i, 67. Μεγαρῆς, δηλοῦντες μὲν καὶ ἕτερα οὐκ ὀλίγα διάφορα, μάλιστα δὲ, λιμένων τε εἶργεσθαι τῶν ἐν τῇ Ἀθηναίων ἀρχῇ, etc.

[127] Thucyd. i, 67. λέγοντες οὐκ εἶναι αὐτόνομοι κατὰ τὰς σπονδὰς. О. Мюллер (Æginet. p. 180) и Гёллер в своем примечании считают, что *перемирие* (или *договор* в целом), о котором здесь идет речь, - это не тридцатилетнее перемирие, заключенное за четырнадцать лет до настоящего времени, а древний союз против персов, торжественно ратифицированный и продолженный после победы при Платее. Доктор Арнольд, напротив, считает, что речь идет о тридцатилетнем перемирии, которое эгинетяне истолковали (справедливо или нет) как дающее им право на независимость.

В пользу первого мнения может свидетельствовать упоминание Эгины в речи фиванцев (iii, 64): Но с другой стороны, если мы обратимся к i, 115, то окажется, что формулировка тридцатилетнего перемирия могла быть общей, как, например, Ἀποδοῦναι δὲ Ἀθηναίους ὅσα ἔχουσι Πελοποννησίων: Во всяком случае, эгинетяне могли претендовать на то, что по тому же правилу, по которому Афины отдали Ниссею, Пегею и т.д., она должна была отказаться и от Эгины.

Однако мы должны помнить, что один довод не исключает другого: эгинетяне могли воспользоваться *обоими*, чтобы добиться своего вмешательства. Похоже, что именно об этом думает схолиаст, когда говорит -κατὰ τὴν συμφωνίαν τῶν σπονδῶν.

[128] Thucyd. i, 67. κατεβῶν ἐλθόντες τῶν Ἀθηναίων ὅτι σπονδὰς τε λελυκότες εἶεν καὶ ἀδικοῖεν τὴν Πελοπόννησον. Следует обратить внимание на изменение времени в этих двух глаголах.

[129] Thucyd. i, 68. οὐ γὰρ ἂν Κέρκυραν τε ὑπολαβόντες βίᾳ ἡμῶν εἶχον, καὶ Ποτίδαιαν ἐπολιόρκουν, ὧν τὸ μὲν ἐπικαιρότατον χωρίον πρὸς τὰ ἐπὶ Θράκης ἀποχρῆσθαι, ἣ δὲ ναυτικὸν ἂν μέγιστον παρέσχε Πελοποννησίους.

[130] Thucyd. i, 68. ἐν οἷς προσήκει ἡμᾶς οὐχ ἥκιστα εἰπεῖν, ὅσῳ καὶ μέγιστα ἐγκλήματα ἔχομεν, ὑπὸ μὲν Ἀθηναίων ὑβριζόμενοι, ὑπὸ δὲ ὑμῶν ἀμελούμενοι.

[131] Thucyd. i, 69.

[132] Thucyd. i, 69. ἡσυχάζετε γὰρ μόνοι Ἑλλήνων, ὧς Λακεδαιμόνιοι, οὐ τῇ δυνάμει τινὰ ἀλλὰ τῇ μελλήσει ἀμυνόμενοι, καὶ μόνοι οὐκ ἀρχομένην τὴν αὔξησιν τῶν ἐχθρῶν, διπλασιουμένην δὲ, καταλύοντες. Καίτοι ἐλέγεσθε ἀσφαλεῖς εἶναι, ὧν ἄρα ὁ λόγος τοῦ ἔργου ἐκράτει- τόν τε γὰρ Μῆδον, etc.

[133] Thucyd. i, 70. Οἱ μὲν γε νεωτεροποιοὶ, καὶ ἐπιχειρῆσαι ὀξεῖς καὶ ἐπιτελέσαι ἔργῳ ὃ ἂν γνῶσιν- ὁμοῖς δὲ τὰ ὑπάρχοντά τε σώζειν, καὶ ἐπιγνῶναι μηδέν, καὶ ἔργῳ οὐδὲ τὰναγκαῖα ἐξικέσθαι.

Значение слова *ὀξεῖς-sharp* - когда оно применяется ко второй половине предложения, носит характер сарказма. Но это соответствует характеру речи. Гёллер предполагает, что вместо *ὀξεῖς* следует понимать какое-нибудь слово вроде *ἱκανοί*: но тем самым мы должны и отступить от более очевидного синтаксиса, и ослабить общий смысл.

[134] Thucyd. i, 70. ἔτι δὲ τοῖς μὲν σώμασιν ἀλλοτριωτάτοις ὑπὲρ τῆς πόλεως χρῶνται, τῇ γνώμῃ δὲ οἰκειοτάτῃ ἐς τὸ πράσσειν τι ὑπὲρ αὐτῆς.

Трудно передать в переводе антитезу между *ἀλλοτριωτάτοις* и *οἰκειοτάτῃ* - не без некоторого самомнения, которым иногда увлекается Фукидид.

[135] Thucyd. i. c. καὶ ταῦτα μετὰ πόνων πάντα καὶ κινδύνων δι' ὅλου τοῦ αἰῶνος μοχθοῦσι, καὶ ἀπολαύουσιν ἐλάχιστα τῶν ὑπαρχόντων, διὰ τὸ ἀεὶ κτᾶσθαι καὶ μήτε ἐορτὴν ἄλλο τι ἡγεῖσθαι ἢ τὸ τὰ δέοντα πράξει, ξυμφορὰν δὲ οὐχ ἥσσον ἡσυχίαν ἀπράγμονα ἢ ἀσχολίαν ἐπίπονον- ὥστε εἴ τις αὐτοὺς ξυνελὼν φαίη πεφυκέναι ἐπὶ τῷ μήτε αὐτοὺς ἔχειν ἡσυχίαν μήτε τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους ἔῃν, ὁρθῶς ἂν εἶποι.

[136] Thucyd. i, 71. ἀρχαιοτρόπα ὑμῶν τὰ ἐπιτηδεύματα πρὸς αὐτοὺς ἐστίν. Ἀνάγκη δ' , ὥσπερ τέχνης, αἰεὶ τὰ ἐπιγιγνόμενα κρατεῖν- καὶ ἡσυχάζουσιν μὲν πόλει τὰ ἀκίνητα νόμιμα ἄριστα, πρὸς πολλὰ δὲ ἀναγκαζόμενοις ἰέναι, πολλῆς καὶ τῆς ἐπιτεχνήσεως δεῖ.

[137] Thucyd. i, 71.

[138] Thucyd. i, 72.

[139] Thucyd. i, 73. ῥηθήσεται δὲ οὐ παραιτήσεως μᾶλλον ἔνεκα ἢ μαρτυρίου, καὶ δηλώσεως πρὸς οἷαν ὑμῖν πόλιν μὴ εὖ βουλευομένοις ὁ ἀγὼν καταστήσεται.

[140] Thucyd. i, 75. Ἄρ' ἄξιοί ἐσμεν, ὧς Λακεδαιμόνιοι, καὶ προθυμίας ἔνεκα τῆς τότε καὶ γνώμης συνέσεως, ἀρχῆς γε ἧς ἔχομεν τοῖς Ἑλλησι μὴ οὕτως ἄγαν ἐπιφθόνως διακεῖσθαι; καὶ γὰρ αὐτὴν τήνδε ἐλάβομεν οὐ βιασάμενοι, ἀλλ' ὑμῶν μὲν οὐκ ἐθελήσαντων παραμεῖναι πρὸς τὰ ὑπόλοιπα τοῦ βαρβάρου, ἡμῖν δὲ προσελθόντων τῶν συμμάχων, καὶ αὐτῶν δεηθέντων ἡγεμόνας καταστῆναι- ἐξ αὐτοῦ δὲ τοῦ ἔργου κατηναγκάσθημεν τὸ πρῶτον προαγαγεῖν αὐτὴν ἐς τόδε, μάλιστα μὲν ὑπὸ δέους, ἔπειτα δὲ καὶ τιμῆς, ὕστερον καὶ ὠφελείας.

[141] Thucyd. i, 77.

[142] Thucyd. i, 78. ἡμεῖς δὲ ἐν οὐδεμίᾳ πῶς τοιαύτη ἁμαρτία ὄντες, οὐτ' αὐτοὶ οὔτε ὑμᾶς ὁρῶντες, λέγομεν ὑμῖν, ἕως ἔτι αὐθαίρετος ἀμφοτέροις ἡ εὐβουλία, σπονδὰς μὴ λύειν μηδὲ παραβαίνειν τοὺς ὅρκους, τὰ δὲ διάφορα δίκη λύεσθαι κατὰ τὴν ξυνθήκην- ἢ θεοὺς τοὺς ὀρκίους μάρτυρας ποιούμενοι, πειρασόμεθα ἀμύνεσθαι πολέμου ἄρχοντας ταύτη ἢ ἂν ὑφηγῆσθε.

[143] Thucyd. i, 79. καὶ τῶν μὲν πλειόνων ἐπὶ τὸ αὐτὸ αἰ γινῶμαι ἔφερον, ἀδικεῖν τε Ἀθηναίους ἤδη, καὶ πολεμητέα εἶναι ἐν τάχει.

[144] Thucyd. i, 80.

[145] Thucyd. i, 80. πρὸς δὲ ἄνδρας, οἳ γῆν τε ἐκὰς ἔχουσι καὶ προσέτι πολέμου ἐμπειρότατοί εἰσι, καὶ τοῖς ἄλλοις ἅπασιν ἄριστα ἐξήρτυνται, πλούτῳ τε ἰδίῳ καὶ δημοσίῳ καὶ ναυσὶ καὶ ἵπποις καὶ ὅπλοις, καὶ ὄχλῳ, ὅσος οὐκ ἐν ἄλλῳ ἐνὶ γε χωρίῳ Ἑλληνικῷ ἐστίν, ἔτι δὲ καὶ συμμάχους πολλοὺς φόρου ὑποτελεῖς ἔχουσι, πῶς χρή πρὸς τούτους ῥαδίως πόλεμον ἄρασθαι, καὶ τίνι πιστεύσαντας ἀπαρασκεύους ἐπειχθῆναι.

[146] Thucyd. i, 81. δέδοικα δὲ μᾶλλον μὴ καὶ τοῖς παισὶν αὐτὸν ὑπολίπωμεν, etc.

[147] Thucyd. i, 82, 83.

[148] Thucyd. i, 84. Πολεμικοὶ τε καὶ εὐβουλοὶ διὰ τὸ εὐκοσμον γιγνόμεθα, τὸ μὲν, ὅτι αἰδῶς σωφροσύνης πλεῖστον μετέχει, αἰσχύνης δὲ εὐψυχία- εὐβουλοὶ δὲ, ἀμαθέστερον τῶν νόμων τῆς ὑπεροψίας παιδεύομενοι, καὶ ξὺν χαλεπότητι σωφρονέστερον ἢ ὥστε αὐτῶν ἀνηκουστεῖν- καὶ μὴ, τὰ ἀχρεῖα ξυνετοὶ ἄγαν ὄντες, τὰς τῶν πολεμίων παρασκευὰς λόγῳ καλῶς μεμφόμενοι, ἀνομοίως ἔργῳ ἐπεξιέναι, νομίζειν δὲ τὰς τε διανοίας τῶν πέλας παραπλησίους εἶναι, καὶ τὰς προσιπτούσας τύχας οὐ λόγῳ διαιρετάς.

В построении последнего предложения я следую за Хааком и Поппо, отдавая предпочтение Гёллеру и д-ру Арнольду.

Формулировка этой части речи Архидама неловка и неясна, хотя общий смысл мы улавливаем довольно хорошо. Она заслуживает особого внимания, так как исходит от царя Спарты, к тому же человека весьма рассудительного. В ней раскрываются основные черты спартанского характера. 1. Узкий, строго определенный и единообразный круг идей. 2. Подавление всех других порывов и желаний, но повышенная чувствительность к собственному общественному мнению. 3. Выносливость и покорность.

Примечательно то, как черты спартанского характера выводятся из спартанских институтов, а также гордость, которую Архидам выражает по поводу невежества и узкого кругозора своих соотечественников. Подобное первенство невежества и узкого кругозора можно найти не только у тех, кто высмеивает литературные и ораторские вкусы афинской демократии (см. Aristophanês, Ran. 1070: ср. Xenophon, Memorab. i, 2, 9-49), но и в речи Клеона (Thucyd. iii, 37).

[149] Thucyd. i, 84, 85.

[150] Сравните аналогичные настроения в речи фиванцев против платейцев (Thucyd. iii, 67).

[151] Thucyd. i, 86. ἡμεῖς δὲ ὁμοῖοι καὶ τότε καὶ νῦν ἐσμέν, καὶ τοὺς συμμάχους, ἦν σωφρονῶμεν, οὐ περιοψόμεθα ἀδίκουμένους, οὐδὲ μελλήσομεν τιμωρεῖν- οἱ δὲ οὐκέτι μέλλουσι κακῶς πάσχειν.

Здесь обыгрывается слово μέλλειν, которое нелегко сохранить в переводе.

[152] Thucyd. i, 87. βουλόμενος αὐτοὺς φανερώς ἀποδεικνυμένους τὴν γνώμην ἐς τὸ πολεμεῖν μάλλον ὀρμήσαι, etc.

[153] Thucyd. i, 118. ὁ δὲ ἀνείλεν αὐτοῖς, ὡς λέγεται и др.

[154] Thucyd. i, 120, 121. Κατὰ πολλὰ δὲ ἡμᾶς εἰκὸς ἐπικρατῆσαι, πρῶτον μὲν πλήθει προὔχοντας καὶ ἐμπειρίᾳ πολεμικῇ, ἔπειτα ὁμοίως πάντας ἐς τὰ παραγγελλόμενα ἰόντας.

Я полагаю, что слово ὁμοίως здесь указывает на равный интерес всех конфедератов в ссоре, в отличие от афинской власти, состоявшей частично из скованных подданных, частично из наемников: на оба этих момента, как на слабые стороны противника, коринфский оратор ссылается далее. Слово ὁμοίως здесь обозначает тот же факт, который Периклес в своей речи в Афинах (i, 141) упоминает под словами πάντες ἰσόψηφοι: коринфский оратор рассматривает это как преимущество, когда все союзники равны и горячо поддерживают дело: Периклес, напротив, рассматривая тот же факт с точки зрения афинян, считает это недостатком, так как это мешало единству командования и решимости.

Точка зрения Поппо на этот отрывок кажется мне ошибочной.

Та же мысль воспроизведена, с. 124. εἴπερ βεβαίότατον τὸ ταῦτα συμφέροντα καὶ πόλεσι καὶ ἰδιώταις εἶναι, etc.

[155] Thucyd. i, 123, 124.

[156] Thucyd. i, 125. καὶ τὸ πλῆθος ἐψηφίσαντο πολεμεῖν. Похоже, что решение не было абсолютно единодушным.

[157] Thucyd. i, 88. Ἐψηφίσαντο δὲ οἱ Λακεδαιμόνιοι τὰς σπονδὰς λελύσθαι καὶ πολεμητέα εἶναι, οὐ τοσοῦτον τῶν συμμάχων πεισθέντες τοῖς λόγοις, ὅσον φοβούμενοι τοὺς Ἀθηναίους, μὴ ἐπὶ μεῖζον δυνηθῶσιν, ὁρῶντες αὐτοῖς τὰ πολλὰ τῆς Ἑλλάδος ὑποχείρια ἤδη ὄντα: сравните также с. 23 и 118.

[158] Биография Плутарха о Периклесе вводит в заблуждение своей невнимательностью к хронологии, приписывая более раннему времени чувства и тенденции, которые на самом деле относятся к более позднему. Так, он представляет (с. 20) желание овладеть Сицилией и даже Карфагеном и Тирренским побережьем как очень популярное в Афинах еще до восстания Мегары и Эвбеи и до других обстоятельств, предшествовавших тридцатилетнему перемирию, и ставит в заслугу Периклесу то, что он подавил эти безмерные стремления. Но честолюбивые надежды, направленные на Сицилию, могли зародиться в афинских умах только после начала Пелопоннесской войны. Невозможно было сделать ни одного шага в этом направлении, пока они не заключили союз с Коркирой, а это было сделано только в год, предшествующий Пелопоннесской войне, да и то с оговорками и большим запасом. В начале Пелопоннесской войны у афинян не было ничего, кроме опасений, в то время как пелопоннесцы возлагали большие надежды на помощь со стороны Сицилии. Поэтому, хотя

совершенно верно, что Периклес был очень полезен, препятствуя необдуманному и далекому амбициозным предприятиям в целом, мы не можем поставить ему в заслугу сдерживание афинских желаний приобрести Сицилию или Карфаген, - если, конечно, последний когда-либо был включен в каталог афинских надежд, - поскольку о таких желаниях почти не было известно до его смерти, несмотря на утверждение, повторенное Плутархом, Алкивиад, с. 17.

[159] Thucyd. i, 33-36.

[160] Thucyd. i, 40, 41.

[161] Thucyd. ii, 8.

[162] Thucyd. i, 45; Плутарх, Periklēs. с. 8.

[163] Thucyd. i, 126. ἐν τούτῳ δὲ ἐπρεσβεύοντο τῷ χρόνῳ πρὸς τοὺς Ἀθηναίους ἐγκλήματα ποιοῦμενοι, ὅπως σφίσιν ὅτι μεγίστη πρόφασις εἴη τοῦ πολεμεῖν, ἣν μὴ τι ἔσακούωσι.

[164] Thucyd. i, 125.

[165] См. рассказ о килонских смутах и последовавшем за ними святотатстве в т. iii "Истории", гл. x, с. 110.

[166] См. Herodot. v, 70: сравните vi, 131; Thucyd. i, 126; и т. iv, гл. xxxi, с. 163 этой Истории.

[167] Thucyd. i, 126. ἐκέλευον τοὺς Ἀθηναίους τὸ ἄγος ἐλαύνειν τῆς θεοῦ.

[168] Thucyd. i, 127.

[169] Plutarch, Periklēs, с. 24. Об Аспазии см. Платон, Менексен, с. 3, 4; Ксенофонт, Memorab. ii, 6, 36; Harpokration, v, Ἀσπασία. Аспазия, несомненно, была нередким именем среди гречанок; мы знаем об одной фокейской девушке, носившей это имя, любовнице Кира Младшего (Плутарх, Артаксер. с. 26). История о том, что Аспазия держала рабынь по найму, приводится как Плутархом, так и Афинеем (xiii, р. 570); но мы можем сомневаться, есть ли для нее лучшее доказательство, чем то, которое фактически цитирует последний, - отрывок из Аристофана, Ахарн. 497-505:-

Κάθ' οἱ Μεγαρήϊς ὀδύναις πεφυσιγγυμένοι

Ἀντεξέκλεψαν Ἀσπασίας πόρνα δύο или πόρνas δύο.

Афиней читает последнее, но чтение πόρνα δύο появляется в принятом тексте Аристофана. Критики расходятся во мнениях, является ли Ἀσπασίας родительным падежом единственного числа Ἀσπασία, или винительным множественного числа прилагательного ἀσπάσιος. Я полагаю, что это последнее; но оно предназначено для игры со словом, которое может быть понято либо как существительное, либо как прилагательное -ἀσπασίας πόρνas δύο, или Ἀσπασίας πόρνas δύο. Подобная игра слов есть и в строке Кратина, которую цитирует Плутарх, Periklēs, с. 24.

В то время, когда произошла эта кража мегарского юноши, Аспазия, должно быть, была любимой любовницей и спутницей Перикла; немисливо, чтобы она *тогда* держала рабынь для найма, что бы она ни делала раньше.

Такое прочтение и толкование приведенного выше стиха, которое я считаю наименее вероятным из двух, было применено комментаторами Фукидида для объяснения одной из строк его истории, и применено, как я убежден, ошибочно. Когда лакедемоняне потребовали

от афинян отменить указ, запрещающий мегарянам появляться в их портах, афиняне отказались, ссылаясь на то, что мегаряне присвоили себе некоторые земли, которые были спорными между двумя странами, а некоторые даже были священной собственностью, - а также, что "они приняли беглых рабов из Афин", - καὶ ἀνδραπόδων ὑποδοχὴν τῶν ἀφισταμένων (i, 139). Схолиаст дает совершенно справедливое объяснение этих последних слов - ὥς ὅτι δοῦλους αὐτῶν ἀποφεύγοντας ἐδέχοντο. Но Вассэ помещает к этому отрывку такое примечание: "*Aspasiae servos*, v, *Athenæum*, p. 570; *Aristoph. Acharn.* 525, et *Schol.*". Это примечание Вассе было принято и переписано тремя лучшими и самыми последними комментаторами Фукидида - Поппо, Гёллером и д-ром Арнольдом. Тем не менее, при всем уважении к их общему авторитету, это предположение не является ни естественным в применении к словам, ни приемлемым в отношении факта. Ἀνδράποδα ἀφιστάμενα означает, естественно (не *Aspasiae servos*, или более правильно *servas*, ибо сам род должен был заставить Вассу усомниться в правильности его толкования, - но) беглых рабов владельцев вообще в Аттике; из которых афиняне потеряли такое огромное количество после того, как лакедемонский гарнизон был основан в Декелее (*Thucyd.* vii, 28: ср. i, 142; и iv, 118, ο αὐτόμολοι). Периклес вполне мог изложить прием таких беглых рабов как предмет жалобы на мегарян, и афинское общественное собрание сочло бы это аналогичным: более того, мегаряне обвиняются не в том, что они *угнали* рабов, а в том, что они их *укрывали* (ὑποδοχὴν). Но если предположить, что Периклес, защищая указ об исключении мегарян, будет опираться на то, что какой-то мегарянин сбежал с двумя девушками *из кортежа* Аспасии, то это будет странным представлением и о нем, и о народе. Если бы такой случай действительно произошел или даже предполагался, мы можем быть уверены, что он был бы приведен его оппонентами, чтобы вызвать презрение к настоящему обвинению против мегарян, - цель, ради которой Аристофан приводит его. Это одна из многих ошибок в отношении греческой истории, возникающих из-за практики истолкования отрывков комедии так, как если бы они были серьезными и буквальными фактами.

[Визит Сократеса с друзьями к Феодоте, его диалог с ней и описание ее образа жизни - один из самых любопытных остатков греческой древности, с очень плохо известной нам стороны (Ксенофонт, *Memorab.* iii, 11).

Сравните цитаты из комических писателей Эвбула и Антифана, приведенные в *Athenæum*, xiii, p. 571, иллюстрирующие различия в характере и поведении некоторых из этих гетеры и других, - и *Athenæ.* xiii, p. 589.

[171] Plutarch, *Periklēs*, c. 24 Εἴτα τῆς συμβιώσεως οὐκ οὔσης αὐτοῖς ἀρεστῆς, ἐκείνην μὲν ἐτέρῳ βουλομένην συνεξέδωκεν, αὐτὸς δὲ Ἀσπασίαν λαβὼν ἔστεργε διαφερόντως.

[172] Plutarch, *Periklēs*, c. 13-36.

[173] Это кажется более вероятной историей: но есть различия в утверждениях и неясности по многим пунктам: сравните Плутарх, Периклес, с. 16-32; Плутарх, Никиас, с. 23; Диоген. Laërt. ii, 12, 13. См. также Schaubach, *Fragment. Anaxagoræ*, pp. 47-52.

[174] Плутарх, Периклес, с. 32.

[175] Plutarch, *Periklēs*, c. 7, 36-39.

[176] *Thucyd.* ii, 60, 61: сравните также его поразительные выражения, с. 65; *Dionys. Halikarn. De Thucyd.* Judic. c. 44, p. 924.

[177] Plutarch, *Periklēs*, c. 31. Φειδίας-ἐργολάβος τοῦ ἀγάλματος.

Эта история о защите Фидия от обвинения в растрате была наиболее распространена против Перикла - ἡ χειρίστη μὲν αἰτία πασῶν, ἔχουσα δὲ πλείστους μάρτυρας (Plutarch, Periklēs, с. 31).

[178] См. диссертацию О. Мюллера (De Phidiæ Vitâ, с. 17, р. 35), который излагает факты в том порядке, в котором я их привел.

[179] Плутарх, Periklēs, с. 13-32.

[180] Aristophan. Pac. 587-603: ср. Acharn. 512; Ephorus, ap. Diodor. xii, 38-40; и схолии на два отрывка Аристофана; Плутарх, Periklēs, с. 32.

Диодор (а также Плутарх, Алкивиад, с. 7) рассказывает еще одну историю о том, что Алкивиад однажды подошел к Периклему, когда тот был в явно плохом расположении духа и смущении, и спросил его о причине: Периклес сказал ему, что приближается время сдачи отчетности и что он раздумывает, как это сделать, на что Алкивиад посоветовал ему подумать, как уклониться от этого. Результатом этого совета стало то, что Периклес втянул Афины в Пелопоннесскую войну: ср. Aristophan. Nub. 855, со схолиями, и Эфор, Fragm. 118, 119, изд. Маркса, с примечаниями Маркса.

Вполне вероятно, что Эфор скопировал историю, которая приписывает Пелопоннесскую войну обвинениям против Фидия и Перикла, у Аристофана или других комических писателей того времени. Но стоит заметить, что даже Аристофана не следует считать подтверждающим это. Ибо если мы обратимся к вышеупомянутому отрывку из его комедии "Пакс", то обнаружим, что сначала Гермес рассказывает историю о Фидии, Периклесе и Пелопоннесской войне; на что и Тригей, и хор замечают, что *никогда не слышали ни слова об этом раньше*, что это совершенно *ново* для них.

Триг. Ταῦτα τοίνυν, μὰ τὸν Ἀπόλλω, γῶ' πεπύσμεν οὐδενός,

Οὐδ' ὅπως αὐτῇ (Εἰρήνῃ) προσήκοι Φειδίας ἡ κηρόη.

Припев. Οὐδ' ἔγωγε πλὴν γε νυνί.

Если бы Аристофанес изложил эту историю когда-либо так ясно, его авторитет можно было бы принять только за доказательство того, что она была частью тогдашних разговоров: но только что приведенные строки делают его свидетелем, как противоречащим, так и утверждающим.

[181] Похоже, что не только Аспазия и Анаксагор, но и музыкант и философ Дамон, личный друг и наставник Перикла, должны были быть изгнаны в то время, когда Периклес был уже стар, - возможно, где-то около этого времени. Отрывок из Платона, Алкивиад, i, с. 30, р. 118, доказывает, что Дамон находился в Афинах и был близок с Периклесом, когда последний был в солидном возрасте - καὶ νῦν ἔτι τηλικοῦτος ὧν Δάμῳνι σύνεστιν αὐτοῦ τούτου ἕνεκα.

О Дамоне говорят, что он был подвергнут остракизму, - возможно, его судили и приговорили к изгнанию: ведь эти два понятия иногда смешивают.

[182] См. Thucyd. v, 43; vi, 89.

[183] Thucyd. i, 128, 135, 139.

[184] Plutarch, Perikl. с. 33.

[185] Thucyd. i, 39. Из слов Фукидида скорее следует, что эти различные требования лакедемонян были выдвинуты *одним* посольством, к которому присоединились новые члены,

прибывшие со свежими инструкциями, но остававшиеся в течение месяца или шести недель, между январем и мартом 431 года до н. э., в доме проксена Спарты в Афинах: ср. Ксенофонт Эллинский. v, 4, 22.

[186] Thucyd. i, 139; Plutarch, Periklēs, c. 31.

[187] Thucyd. i, 140. ἐνδέχεται γὰρ τὰς ξυμφορὰς τῶν πραγμάτων οὐχ ἥσσον ἀμαθῶς χωρῆσαι ἢ καὶ τὰς διανοίας τοῦ ἀνθρώπου- διόπερ καὶ τὴν τύχην ὅσα ἂν παρὰ λόγον ξυμβῇ, εἰώθαμεν αἰτιᾶσθαι. Я мог бы пожелать при переводе сохранить игру слов ἀμαθῶς χωρῆσαι, которую Фукидид вводит в это предложение и которая, по-видимому, пришлась ему по вкусу. Ἀμαθῶς, когда речь идет о ξυμφορὰς, употребляется в пассивном смысле, отнюдь не общепринятом, - "таким образом, который невозможно узнать, отступая от всякого разумного расчета". Ἀμαθῶς, когда относится к διανοίας, имеет свое обычное значение - "невежественный, недостаточный в обучении или в разуме".

[188] Thucyd. i, 140.

[189] Thucyd. i, 141. αὐτουργοὶ τε γὰρ εἰσι Πελοποννήσιοι, καὶ οὔτε ἰδίᾳ οὔτε ἐν κοινῷ χρήματά ἐστιν αὐτοῖς- ἔπειτα χρόνιων πολέμων καὶ διαποντίων ἄπειροι, διὰ τὸ βραχέως αὐτοὶ ἐπ' ἀλλήλους ὑπὸ πενίας ἐπιφέρειν.

[190] Thucyd. i, 143. εἴτε καὶ κινήσαντες τῶν Ὀλυμπίᾳσιν ἢ Δελφοῖς χρημάτων μισθῷ μείζονι πειρῶντο ἡμῶν ὑπολαβεῖν τοὺς ξένους τῶν ναυτῶν, μὴ ὄντων μὲν ἡμῶν ἀντιπάλων, ἐσβάντων αὐτῶν τε καὶ τῶν μετοίκων, δεινὸν ἂν ἦν- νῦν δὲ τόδε τε ὑπάρχει, καὶ, ὅπερ κράτιστον, κυβερνήτας ἔχομεν πολίτας καὶ τὴν ἄλλην ὑπηρεσίαν πλείους καὶ ἀμείνους ἢ πᾶσα ἢ ἄλλη Ἑλλάς.

Это ответ на те надежды, которые, как мы знаем, питали пелопоннесские вожди и на которых остановился коринфский оратор на Пелопоннесском конгрессе (i, 121). Несомненно, Периклес был осведомлен о характере всех этих публичных выступлений в Спарте.

[191] Thucyd. i, 141, 142, 143.

[192] Thucyd. i, 143. τὴν τε ὀλόφурсιν μὴ οἰκιῶν καὶ γῆς ποιεῖσθαι, ἀλλὰ τῶν σωμάτων- οὐ γὰρ τάδε τοὺς ἄνδρας, ἀλλ' οἱ ἄνδρες ταῦτα κτῶνται.

[193] Thucyd. i, 144. πολλὰ δὲ καὶ ἄλλα ἔχω ἐς ἐλπίδα τοῦ περιέσεσθαι, ἣν ἐθέλητε ἀρχὴν τε μὴ ἐπικτᾶσθαι ἅμα πολεμοῦντες, καὶ κινδύνους αὐθαιρέτους μὴ προστίθεσθαι- μᾶλλον γὰρ πεφόβημαι τὰς οἰκείας ἡμῶν ἀμαρτίας ἢ τὰς τῶν ἐναντίων διανοίας.

[194] Thucyd. i, 143, 144.

[195] Thucyd. i, 145. καὶ τοῖς Λακεδαιμονίοις ἀπεκρίναντο τῇ ἐκείνου γνώμῃ, καθ' ἕκαστά τε ὡς ἔφρασε, καὶ τὸ ζύμπαν οὐδὲν κελευόμενοι ποιήσιν, δίκη δὲ κατὰ τὰς ξυνθήκας ἐτοῖμοι εἶναι διαλύεσθαι περὶ τῶν ἐγκλημάτων ἐπὶ ἴσῃ καὶ ὁμοίᾳ.

[196] Несмотря на противоположное мнение Плутарха, Periklēs, c. 31: сравнение Perikl. и Fab. Max. c. 3.

[197] Thucyd. iv, 21. Οἱ μὲν οὖν Λακεδαιμόνιοι τοσαῦτα εἶπον, νομίζοντες τοὺς Ἀθηναίους ἐν τῷ πρὶν χρόνῳ σπονδῶν ἐπιθυμεῖν, σφῶν δὲ ἐναντιουμένων κωλύεσθαι, διδομένης δὲ εἰρήνης ἀσμένως δέξεσθαι τε καὶ τοὺς ἄνδρας ἀποδώσειν.

См. также важный отрывок (vii, 18) о чувствах спартанцев. Спартанцы думали, говорит Фукидид, ἐν τῷ προτέρῳ πολέμῳ (начало Пелопоннесской войны) σφέτερον τὸ παρανόμημα μᾶλλον γενέσθαι, ὅτι τε ἐς Πλάταιαν ἦλθον Θηβαῖοι ἐν σπονδαῖς, καὶ εἰρημένον ἐν ταῖς πρότερον

ξυνθήκαις ὄπλα μὴ ἐπιφέρειν ἣν δίκας θέλωσι διδόναι, αὐτοὶ οὐχ ὑπήκουον ἐς δίκας προκαλουμένων τῶν Ἀθηναίων- καὶ διὰ τοῦτο εἰκότως δυστυχεῖν τε ἐνόμιζον, etc.

[198] Thucyd. i, 126. ὅπως σφίσιν ὅτι μεγίστη πρόφασις εἶη τοῦ πολεμεῖν.

[199] Thucyd. i, 146. ἐπεμίγνυντο δ' ὅμως ἐν αὐταῖς καὶ παρ' ἀλλήλους ἐφοίτων, ἀκηρύκτως μὲν, ἀνυπόπτως δ' οὔ- σπονδῶν γὰρ ξύγχυσις τὰ γινόμενα ἦν, καὶ πρόφασις τοῦ πολεμεῖν.

[200] Thucyd. ii, 2. βουλόμενοι ἰδίας ἔνεκα δυνάμεως ἄνδρας τε τῶν πολιτῶν τοὺς σφίσιν ὑπεναντίους διαφθεῖραι, καὶ τὴν πόλιν τοῖς Θηβαίοις προσποιῆσαι: также iii, 65. ἄνδρες οἱ πρῶτοι καὶ χρήμασι καὶ γένει, etc.

[201] Thucyd. iii, 56.

[202] Thucyd. ii, 2. ἅμα ἦρι ἀρχομένω- похоже, указывает на период скорее до, чем после первого апреля: мы можем считать, что деление фукидидовского года на θέρος и χειμῶν отмечено равноденствиями. Его лето и зима составляют половину года (Thucyd. v, 20), хотя Поппо ошибочно считает, что фукидидовская зима длится всего четыре месяца (Poppo, Proleg. i, c. v, p. 72, и ad Thucyd. ii, 2: см. F. W. Ullrich, Beiträge zur Erklärung des Thukydides, p. 32, Hamburg, 1846).

[203] Thucyd. ii, 2-5. θέμενοι δὲ ἐς τὴν ἀγορὰν τὰ ὄπλα ... καὶ ἀνεῖπεν ὁ κήρυξ, εἴτις βούλεται κατὰ τὰ πάτρια τῶν πάντων Βοιωτῶν συμμαχεῖν, τίθεσθαι παρ' αὐτοῦς τὰ ὄπλα.

У д-ра Арнольда есть примечание к этому отрывку, в котором он объясняет, что τίθεσθαι или θέσθαι τὰ ὄπλα означает "складывать оружие", или избавляться от копий и щитов, складывая их все в одну или несколько куч. Он говорит: "Фиванцы, таким образом, как обычно на привале, начали складывать свое оружие, и, приглашая платейцев прийти и сложить свое вместе с ними, они имели в виду, что те должны прийти с оружием из своих домов, чтобы присоединиться к ним, и таким образом, естественно, сложить свои копья и щиты с копьями и щитами своих друзей, чтобы взять их вместе со своими, когда будет повод либо для похода, либо для битвы". Такое же объяснение этой фразы ранее давали Весселинг и Ларчер, ad Herodot. ix, 52; хотя Бэр в этом отрывке более удовлетворителен.

Поппо и Гёллер также одобряют объяснение д-ра Арнольда: однако я не могу не думать, что оно не подходит для рассматриваемого нами отрывка, а также для нескольких других отрывков, в которых встречается τίθεσθαι τὰ ὄπλα: возможно, есть и другие отрывки, в которых оно подходит, но как общее объяснение оно кажется мне неприемлемым. В большинстве случаев эти слова означают "*armati consistere*" - скрепить оружие, поддерживать строй, опираясь копьем и щитом (см. Ксеноф. Эллин. ii, 4, 12) на землю. В рассматриваемом нами инциденте фиванские гоплиты входят в Платею, незнакомый город, население которого настроено враждебно и, скорее всего, будет как никогда спровоцировано таким сюрпризом; к этому следует добавить, что на улице кромешная тьма и дождливая ночь. Вероятно ли, что первым делом они соберут в кучу свое оружие? Темнота сама по себе делает медленной и неуверенной операцию по возобновлению вооружения: так что, когда платейцы напали на них, как они это сделали, совершенно внезапно и неожиданно, и пока было темно, фиванцы, по предположению д-ра Арнольда, должны были быть в полной готовности. Арнольда - совершенно беззащитными и безоружными (см. ii, 3. προσέβαλόν τε εὐθύς-οἱ Πλαταιῆς-καὶ ἐς χεῖρας ἦσαν κατὰ τάχος), каковыми они, конечно, не были. Объяснение д-ра Арнольда может подойти для солдата в лагере, но, конечно, не для солдата в присутствии врага или в условиях опасности: разницу между ними можно проиллюстрировать в Ксенофонте, Hellenic. ii, 4, 5, 6.

Отрывки, на которые ссылается сам д-р Арнольд, также не подтверждают его толкование фразы τίθεσθαι τὰ ὄπλα. Это толкование, кроме того, неудобно применять ни к Фукидиду vii, 3, ни к viii, 25, - решительно неприменимо к iv, 68 (θησόμενον τὰ ὄπλα), в описании ночного нападения на Мегару, очень похожего на нападение на Платею, - и не менее решительно неприменимо к двум отрывкам "Анабасиса" Ксенофонта, i, 5, 14; iv, 3, 7.

Шнайдер в "Лексиконе", приложенном к его изданию "Анабасиса" Ксенофонта, имеет длинную, но не очень внятную статью о τίθεσθαι τὰ ὄπλα.

[204] Thucyd. ii, 3. ἐδόκει οὖν ἐπιχειρητέα εἶναι, καὶ ξυνελέγοντο διορύσσοντες τοὺς κοινούς τοίχους παρ' ἀλλήλους, ὅπως μὴ διὰ τῶν ὁδῶν φανεροὶ ᾤσιν ἰόντες, ἀμάξας δὲ ἄνευ τῶν ὑποζυγίων ἐς τὰς ὁδοὺς καθίστασαν, ἵν' ἀντὶ τείχους ᾗ, καὶ τᾶλλα ἐξήρτουον, и т.д.

Позвольте проиллюстрировать это небольшим отрывком из письма мэра Парижа М. Марраста в Национальное собрание, написанного во время грозного восстания 25 июня 1848 года в этом городе и описывающего действия повстанцев: "На большей части длинных улиц, сплошных и покрытых баррикадами, которые тянутся от Гостиницы де Виль до улицы Св. Антуана, мобильная национальная гвардия и личная труппа должны были обставить каждый дом; И что еще более удручает, так это то, что повстанцы установили в каждом доме внутренние коммуникации, связывающие дома между собой, так что они могли выйти, как по закрытому аллею, из одной точки в другую до центра ряда баррикад, которые их защищали." (Письмо, опубликованное в журнале "National" 26 июня 1848 г.).

[205] Thucyd. ii, 3, 4.

[206] Thucyd. ii, 5, 6; Herodot. vii, 233. Демосфен (cont. Neæram, с. 25, р. 1379) соглашается с Фукидидом в утверждении, что платейцы убивали своих пленников. От кого Диодор заимствовал свою недопустимую историю о том, что платейцы отдали своих пленников фиванцам, я не могу сказать (Diodor. xii, 41, 42).

Отрывок из этой оратории против Неэры также любопытен, поскольку во многих вопросах он совпадает с Фукидидом, а в некоторых - отличается от него: в некоторых предложениях даже слова согласны с Фукидидом (ὁ γὰρ Ἀσωπὸς ποταμὸς μέγας ἐρρύη, καὶ διαβῆναι οὐ ῥᾶδιον ἦν и т. д.: ср. Thucyd. ii, 2); в то время как по другим пунктам имеются расхождения. Демосфен (или Псевдо-Демосфен) утверждает, что Архидам, царь Спарты, спланировал внезапный захват Платеи, - что платейцы только с рассветом обнаружили реальную малочисленность фиванцев в городе, - что большая часть фиванцев, когда они, наконец, прибыли к Платее после большой задержки в походе, была вынуждена отступить перед многочисленными силами, прибывшими из Афин, и что платейцы затем уничтожили своих пленников в городе. Демосфенес ничего не упоминает о каком-либо соглашении между платейцами и фиванцами за пределами города по поводу фиванских пленников внутри.

По всем пунктам, по которым рассказ Фукидида отличается от рассказа Демосфена, рассказ первого выделяется как наиболее связный и достоверный.

[207] Thucyd. iii, 66.

[208] Thucyd. ii, 1-6.

[209] Thucyd. ii, 7, 8. ἢ τε ἄλλη Ἑλλὰς πᾶσα μετέωρος ἦν, ξυνιουσῶν τῶν πρώτων πόλεων.

[210] Thucyd. i, 23.

[211] Thucyd. ii, 13. ἄπερ καὶ πρότερον, etc., ἔλεγε δὲ καὶ ἄλλα, οἷάπερ εἰώθει, Περικλῆς ἐς ἀπόδειξιν τοῦ περιέσεσθαι τῷ πολέμῳ.

[212] Thucyd. ii, 7, 22, 30.

[213] Thucyd. ii, 68. Время, когда произошла эта экспедиция Формиона и взятие Аргоса, точно не обозначено Фукидидом. Но из его слов следует, что это было до начала войны, как замечает Поппо. Формий был отправлен в Халкидику в октябре или ноябре 432 г. до н. э. (i, 64); и экспедиция в Аргос, вероятно, произошла между этим событием и морским конфликтом коркирян и афинян против коринфян с их союзниками, включая амбракиотов, - этот конфликт произошел предыдущей весной.

[214] Thucyd. ii, 9.

[215] Thucyd. ii, 13; Ксенофонт, Anab. vii, 4.

[216] Thucyd. ii, 7. ὡς βεβαίως πέριξ τὴν Πελοπόννησον καταπολεμήσοντες. vi, 90. πέριξ τὴν Πελοπόννησον πολιορκοῦντες.

[217] Thucyd. ii, 65. τοσοῦτον τῷ Περικλεῖ ἐπερίσσευσε τότε ἀφ' ὧν αὐτὸς προέγνω, καὶ πάνυ ἂν ῥαδίως περιγενέσθαι τῶν Πελοποννησίων αὐτῶν τῷ πολέμῳ.

[218] Thucyd. i, 144. ἢν ἐθέλητε ἀρχὴν τε μὴ ἐπικτᾶσθαι ἅμα πολεμοῦντες, καὶ κινδύνους αὐθαιρέτους μὴ προστίθεσθαι.

[219] Thucyd. vii, 28. ὅσον κατ' ἀρχὰς τοῦ πολέμου, οἱ μὲν ἐνιαυτὸν, οἱ δὲ δύο, οἱ δὲ τριῶν γε ἐτῶν, οὐδεὶς πλείω χρόνον ἐνόμιζον περιοίσειν αὐτοὺς (афиняне), εἰ οἱ Πελοποννήσιοι ἐσβάλοιεν ἐς τὴν χώραν: ср. v, 14.

[220] Thucyd. vi, 11. διὰ τὸ παρὰ γνώμην αὐτῶν, πρὸς ᾧ ἐφοβεῖσθε τὸ πρῶτον, περιγεγενῆσθαι, καταφρονήσαντες ἤδη καὶ τῆς Σικελίας ἐφίεσθε. Это Никиас, который, отговаривая от похода на Сиракузы, напоминает афинянам об их прошлом унынии в начале войны.

[221] Thucyd. ii, 7. Диодор говорит, что италийские и сицилийские союзники должны были предоставить двести трирем (xii, 41). На самом деле, похоже, ничего подобного предоставлено не было.

[222] Thucyd. ii, 10-12.

[223] Thucyd. ii, 11. ὥστε χρὴ καὶ πάνυ ἐλπίζειν διὰ μάχης ἰέναι αὐτοὺς, εἰ μὴ καὶ νῦν ὥρμηνται, ἐν ᾧ οὐπω πάρεσμεν, ἀλλ' ὅταν ἐν τῇ γῇ ὁρῶσιν ἡμᾶς δροῦντάς τε καὶ τᾷ κείνων φθείροντας.

Эти отчеты о речах представляют большую ценность, поскольку сохраняют запись чувств и ожиданий действующих лиц, помимо результатов событий. То, что Архидам так уверенно предвидел, не сбылось.

[224] Thucyd. ii, 12.

[225] Thucyd. ii, 18. πᾶσαν ἰδέαν πειράσαντες οὐκ ἐδύναντο ἐλεῖν. Расположение Ὀϊνόη не совсем согласовано с топографическими исследователями: он находился недалеко от Элевтера и на одной из дорог из Аттики в Беотию (Harpokration, v, Οἰνόη; Herodot. v, 74). Архидам шел, вероятно, с перешейка через Геранею и встал на этой дороге, чтобы принять соединение беотийского контингента после того, как он перешел Китерон.

[226] Thucyd. i, 82; ii, 18.

[227] Thucyd. ii, 13: ср. Тацит, *Histor.* v, 23. "Cerealis, insulam Batavorum hostiliter populatus, agros Civilis, *notâ arte ducum*, intactos sinebat." Также Ливий, ii, 39.

Юстин утверждает, что лакедемонские захватчики действительно оставили земли Перикла невредимыми и что он передал их народу (iii, 7). Фукидид не говорит, был ли такой случай на самом деле: см. также Polyænus, i, 36.

[228] Thucyd. ii, 15, 16.

[229] Thucyd. ii, 14.

[230] Thucyd. ii, 17. καὶ τὸ Πελασγικὸν καλούμενον τὸ ὑπὸ τὴν ἀκρόπολιν, ὃ καὶ ἐπάρατόν τε ἦν μὴ οἰκεῖν καὶ τι καὶ Πυθικοῦ μαντείου ἀκροτελεύτιον τοιόνδε διεκώλυε, λέγον ὡς τὸ Πελασγικὸν ἀργὸν ἄμεινον, ὅμως ὑπὸ τῆς παραχρῆμα ἀνάγκης ἐξωκλήθη.

Затем Фукидид приводит собственное объяснение этого древнего пророчества, призванное сохранить его достоверность, а также показать, что его соотечественники не нарушили, как утверждали некоторые, никакого божественного предписания, приняв жителей в Пеласгикон. Когда оракул сказал: "Пеласгикон лучше не занимать", он не имел в виду запрет на занятие этого места, но предвещал, что оно никогда не будет занято, пока не наступит время тяжелых бедствий. Необходимость занять его возникла только в результате национальных страданий. Такое объяснение предлагает Фукидид.

[231] Aristophanês, *Equites*, 789. οἰκοῦντ' ἐν ταῖς πιθάκναισι κὰν γυπαρίοις καὶ πυργιδίοις. Философ Диоген, поселившись в ванне, имел таким образом примеры для подражания в истории.

[232] Plutarch, *Periklês*, c. 33.

[233] См. "Ахарнеи" Аристофана, представленные в шестой год Пелопоннесской войны, v, 34, 180, 254 и др.

πρεσβῦταί τινες

Ἀχαρνικοὶ, στίπποὶ γέροντες, πρίνινοι,

ἀτεράμονες, Μαραθωνομάχαι, σφενδάμνινοι и т. д.

[234] Thucyd. ii, 20.

[235] Thucyd. ii, 21. κατὰ ξυστάσεις δὲ γινόμενοι ἐν πολλῇ ἔριδι ἦσαν: ср. Euripidês, *Herakleidæ*, 416; и *Andromachê*, 1077.

[236] Thucyd. ii, 21. παντί τε τρόπῳ ἀνηρέθιστο ἡ πόλις καὶ τὸν Περικλέα ἐν ὀργῇ εἶχον, καὶ ὧν παρήνευσε πρότερον ἐμέμνηντο οὐδὲν, ἀλλ' ἐκάκιζον ὅτι στρατηγὸς ὧν οὐκ ἐπεξάγοι, αἵτιόν τε σφίσιν ἐνόμιζον πάντων ὧν ἔπασχον.

[237] Plutarch, *Periklês*, c. 33.

[238] Thucyd. ii, 22.

[239] См. Schömann, *De Comitiiis*, c. iv, p. 62. Прытаны (*т.е.* пятьдесят сенаторов, принадлежавших к тому племени, чья очередь была председательствовать в это время), так же как и стратиги, имели право созывать экклесию: см. Thucyd. iv, 118, в котором, однако,

они представлены как созывающие ее вместе со стратигами: вероятно, усмотрение в этом вопросе постепенно стало пониматься как принадлежащее последним.

[240] Thucyd. ii, 22. Погребальный памятник этих убитых фессалийцев был среди тех, которые Павсаний видел возле Афин, на стороне Академии (Pausan. i, 29, 5).

[241] Диодор (xii, 42) хотел бы заставить нас поверить, что экспедиция, отправленная Периклесом и опустошавшая побережье Пелопоннеса, побудила лакедемонян поспешно вывести свои войска из Аттики. Фукидид не дает этому никакого подтверждения, да и вообще не заслуживает доверия.

[242] Thucyd. ii, 23. Чтение Γραϊκήν, относящееся к Γραία, кажется предпочтительнее, чем Πεῖραϊκήν. Поппо и Гёллер принимают первое, доктор Арнольд - второе. Граеа была небольшим приморским местечком в окрестностях Оропа (Aristotel. ap. Stephan. Byz. v. Τάναγρα), - известным и теперь как аттический дем, принадлежавший племени пандионисов: это было впервые обнаружено по надписи, опубликованной в работе профессора Росса (Ueber die Demen von Attika, pp. 3-5). Ороп не был аттическим демом; афинские граждане, проживавшие в нем, вероятно, были зачислены в Граῖς.

[243] Thucyd. ii, 25; Plutarch, Periklēs, c. 34; Justin, iii, 7, 5.

[244] Thucyd. ii, 25-30; Diodor. xii, 43, 44.

[245] Thucyd. ii, 26-32; Diodor. xii, 44.

[246] Thucyd. ii, 27.

[247] Thucyd. ii, 31; Diodor. xii, 44.

[248] Plutarch, Periklēs, c. 30.

[249] См. поразительную картину в "Ахарнеях" Аристофана (685-781) о том, как страдающий мегарянин продает своих голодных детей в рабство с их собственного согласия: также Aristoph. Pac. 432.

Положение Мегары, союзницы Спарты и врага Афин, было таким же неудобным - хотя и не таким тяжелым - в войне, предшествовавшей битве при Лейктре, спустя пятьдесят лет после нее (Demosthen. cont. Neær., p. 1357, c. 12).

[250] Pausan. i, 40, 3.

[251] Thucyd. ii, 24.

[252] Thucyd. viii, 15.

[253] Mitford, Hist. of Greece, ch. xiv, sect. 1, vol. iii, p. 100. "Затем последовала другая мера, которая, имевшая место в то время, когда Фукидид писал, а Периклес говорил, и когда Периклес имел главное влияние в администрации, ярко свидетельствует как о присущей демократическому правительству слабости, так и о его неискоренимом варварстве. Постановление народа, направленное.... Но так мало было доверия к столь важному постановлению, санкционированному только настоящей волей этого легкомысленного тирана, афинского народа, против капризов которого, со времени упадка Ареопагского суда, не осталось никакой уравнивающей силы, - что было предложено осудить на смертную казнь того, кто предложит и кто *согласится* (?) с любым постановлением об использовании этих денег на любую другую цель или при любых других обстоятельствах."

[254] Thucyd. viii, 15. τὰ δὲ χίλια τάλαντα, ὧν διὰ παντὸς τοῦ πολέμου ἐγλίχοντο μὴ ἄψεσθαι, εὐθὺς ἔλυσαν τὰς ἐπικειμένους ζημίας τῷ εἰπόντι ἢ ἐπιψηφίσαντι, ὑπὸ τῆς παρούσης ἐκπλήξεως, καὶ ἐψηφίσαντο κινεῖν.

[255] Thucyd. ii, 29.

[256] Thucyd. ii, 33.

[257] Thucyd. ii, 34-45. Иногда и союзники Афин, павшие вместе с ее гражданами в бою, принимали участие в почестях публичного погребения (Lysias, Orat. Funebr. с. 13).

[258] Критики, начиная с Дионисия Галикарнасского и ниже, в большинстве своем согласны с тем, что слабый Λόγος Ἐπιτάφιος, приписываемый Демосфену, на самом деле не его. В подлинности тех, что приписываются Платону и Лисию, также есть подозрения, хотя и на гораздо меньших основаниях. Менексенус, если это действительно работа Платона, однако, не добавляет ему славы: но харенга Лисия, очень прекрасное сочинение, вполне может быть его, и, возможно, действительно была произнесена, - хотя, вероятно, не им, поскольку он не был квалифицированным гражданином.

См. общие указания в Dionys. Hal. Ars Rhetoric. с. 6, pp. 258-268, Reisk, о содержании и составе похоронной речи, - Лисий, как говорят, составил несколько, - Плутарх, Vit. x, Orator. p. 836.

Сравните, что касается заупокойной речи Перикла, K. F. Weber, Über die Stand-Rede des Periklēs (Darmstadt, 1827); Westermann, Geschichte der Beredsamkeit in Griechenland und Rom. sects. 35, 63, 64; Kutzen, Perikles, als Staatsman, p. 158, sect. 12 (Grimma, 1834).

Дальманн (Historische Forschungen, vol. i, p. 23), кажется, думает, что оригинальная оратория Перикла содержала большое количество мифических аллюзий и историй из афинской древности, таких, какие мы сейчас находим в других погребальных ораториях, о которых говорилось выше; но что сам Фукидид намеренно опустил их в своем докладе. Однако это подозрение не имеет под собой никаких оснований. Гораздо более созвучно высокому тону достоинства, царящему во всей оратории, предположить, что мифические повествования и даже прежняя историческая слава Афин никогда не находили особого упоминания в речи Периклеса, - не более чем общее признание, с намеком, что он не останавливается на них подробно, потому что они были хорошо известны его слушателям, - μακρηγορεῖν ἐν εἰδόσιν οὐ βουλόμενος ἑάσω (ii, 36).

[259] Thucyd. ii, 35.

[260] Thucyd. ii, 36. Ἀπὸ δὲ οἷας τε ἐπιτηδεύσεως ἦλθομεν ἐπ' αὐτὰ, καὶ μεθ' οἷας πολιτείας, καὶ τρόπων ἐξ οἷων μεγάλα ἐγένετο, ταῦτα δηλώσας πρῶτον εἶμι, etc.

В Демосфенском или псевдо-Демосфенском Orat. Funebris, с. 8, p. 1397-χρηστῶν ἐπιτηδεύματων συνήθεια, τῆς ὅλης πολιτείας ὑπόθεσις, etc.

[261] Thucyd. ii, 37. οὐδ' αὖ κατὰ πενίαν, ἔχων δέ τι ἀγαθὸν δρᾶσαι τὴν πόλιν, ἀξιώματος ἀφανείᾳ κεκώλυται: ср. Платон, Menexenus, с. 8.

[262] Thucyd. ii, 37. ἐλευθέρως δὲ τὰ τε πρὸς τὸ κοινὸν πολιτεύομεν, καὶ ἐς τὴν πρὸς ἀλλήλους τῶν καθ' ἡμέραν ἐπιτηδεύματων ὑποψίαν, οὐ δι' ὀργῆς τὸν πέλας, εἰ καθ' ἡδονὴν τι δρᾷ, ἔχοντες, οὐδὲ ἀζημίους μὲν, λυπηρὰς δὲ, τῇ ὄψει ἀχθηδόνους προστιθέμενοι. Ἀνεπαχθῶς δὲ τὰ ἴδια προσομιλοῦντες τὰ δημόσια διὰ δέος μάλιστα οὐ παρανομοῦμεν, τῶν τε ἀεὶ ἐν ἀρχῇ ὄντων

ἀκροάσει καὶ τῶν νόμων, καὶ μάλιστα αὐτῶν ὅσοι τε ἐπ' ὠφελείᾳ τῶν ἀδικουμένων κεῖνται, καὶ ὅσοι ἄγραφοι ὄντες αἰσχύνην ὁμολογουμένην φέρουσι.

[263] Thucyd. ii, 40. φιλοκαλοῦμεν γὰρ μετ' εὐτελείας, καὶ φιλοσοφοῦμεν ἄνευ μαλακίας- πλούτῳ τε ἔργου μᾶλλον καιρῷ ἢ λόγου κόμπῳ χρώμεθα, καὶ τὸ πένεσθαι οὐχ ὁμολογεῖν τινὶ αἰσχρὸν, ἀλλὰ μὴ διαφεύγειν ἔργῳ αἴσχιον.

Первая строфа хора в Еврипиде. Медея, 824-841, может быть сравнена с тоном этого рассуждения Перикла: там восхваляется Атика, как страна слишком хорошая, чтобы принять виновную Медею.

[264] Thucyd. ii, 41. ξυνελών τε λέγω, τὴν τε πᾶσαν πόλιν τῆς Ἑλλάδος παιδευσιν εἶναι, καὶ καθ' ἕκαστον δοκεῖν ἂν μοι τὸν αὐτὸν ἄνδρα παρ' ἡμῶν ἐπὶ πλεῖστ' ἂν εἶδῃ καὶ μετὰ χαρίτων μάλιστ' ἂν εὐτραπέλως τὸ σῶμα αὐταρκες παρέχεσθαι.

Абстрактное слово παιδευσιν вместо конкретного παιδευτρία как бы смягчает высокомерие утверждения.

[265] Thucyd. ii, 41. μόνη γὰρ τῶν νῦν ἀκοῆς κρείσσων ἐς πεῖραν ἔρχεται, καὶ μόνη οὔτε τῷ πολεμίῳ ἐπελθόντι ἀγανάκτησιν ἔχει ὑφ' οἷων κακοπαθεῖ, οὔτε τῷ ὑπηκόῳ κατὰμεμψιν ὥς οὐχ ὑπ' ἀξίων ἄρχεται.

[266] Thucyd. ii. 42. περὶ τοιαύτης οὖν πόλεως οἶδε τε γενναίως δικαιοῦντες μὴ ἀφαιρεθῆναι αὐτὴν μαχόμενοι ἐτελεύτησαν, καὶ τῶν λειπομένων πάντα τινὰ εἰκὸς ἐθέλειν ὑπὲρ αὐτῆς κάμνειν.

Я не уверен, что правильно перевел δικαιοῦντες μὴ ἀφαιρεθῆναι αὐτὴν, - но ни Поппо, ни Гёллер, ни д-р Арнольд ничего не говорят об этих словах, которые, однако, совсем не ясны.

[267] Thucyd. ii. 43. τὴν τῆς πόλεως δύναμιν καθ' ἡμέραν ἔργῳ θεωμένους καὶ ἐραστὰς γιγνομένους αὐτῆς, καὶ ὅταν ὑμῖν μεγάλη δόξη εἶναι, ἐνθυμουμένους ὅτι τολμῶντες καὶ γιγνώσκοντες τὰ δέοντα, καὶ ἐν τοῖς ἔργοις αἰσχυνόμενοι ἄνδρες αὐτὰ ἐκτήσαντο, etc.

Αἰσχυνόμενοι: сравните Demosthen. Orat. Funebri, c. 7, p. 1396. Αἱ μὲν γὰρ διὰ τῶν ὀλίγων δυναστεῖαι δέος μὲν ἐνεργάζονται τοῖς πολίταις, αἰσχύνην δ' οὐ παριστᾶσιν.

[268] Сравните настроения Ксенофонта, прямо противоположные тем, которые здесь излагает Периклес, восхваляя жесткую дисциплину Спарты и осуждая расхлябанность афинской жизни (Ксенофонт, Мемораб. iii, 5, 15; iii, 12, 5). Любопытно, что в этом диалоге настроение появляется в устах младшего Периклеса (незаконного сына великого Периклеса) в диалоге с Сократесом.

[269] Euripidēs, Medea, 824. ἱερᾶς χώρας ἀπορθήτου τ' , etc.

[270] Замечания Дионисия Галикарнаса, стремящегося показать, что число похороненных по этому случаю мертвецов было столь мало, а действия, в которых они были убиты, столь незначительны, что недостойны столь подробной проповеди, как эта проповедь Перикла, - и обвиняющего на этом основании Фукидида, - ни в коем случае не обоснованы и не оправданы. Он относится к Фукидиду как драматический писатель, вкладывающий речь в уста одного из своих персонажей, и считает, что повод, выбранный для этой речи, был недостойным. Но хотя это предположение было бы верным по отношению ко многим древним историкам и к самому Дионисию в его римской истории, оно не верно по отношению к Фукидиду. Речь Перикла была настоящей речью, услышанной, воспроизведенной и, несомненно, подправленной Фукидидом: если поэтому сказано больше, чем того требовало число погибших или размах события, то это вина Перикла, а не

Фукидида. Дионисий говорит, что во время войны было много других поводов, гораздо более достойных подробной погребальной агитации, - особенно катастрофическая потеря сицилийской армии. Но Фукидид не мог слышать ни одного из них после своего изгнания на восьмом году войны, и мы можем предположить, что ни один из них не сравнится с этой речью Периклеса. Дионисий также не оценивает всех обстоятельств этого первого года войны, которые, если их полностью прочувствовать, сделают великолепную и обильную речь великого государственного деятеля как нельзя более своевременной. См. Dionys. H. de Thucyd. Judic. pp. 849-851.

[271] Thucyd. ii, 47-55.

[272] Thucyd. ii, 52; Diodor. xii, 45; Plutarch, Periklês, с. 34. Следует отметить, что афиняне, хотя их люди и движимое имущество были переполнены в стенах, не загнали также своих овец и скот, а перевезли их на Эвбею и соседние острова (Thucyd. ii, 14). Таким образом, они избежали серьезного обострения эпидемии: ведь в рассказах об эпидемиях, опустошавших Рим при подобных обстоятельствах, скопление большого количества скота наряду с людьми указывается как ужасное дополнение к бедствию (см. Livy, iii, 66; Dionys. Hal. Ant. Rom. x, 53: ср. Niebuhr, Römisch. Gesch. vol. ii, p. 90).

[273] Thucyd. ii, 49. Τὸ μὲν γὰρ ἔτος, ὡς ὠμολογεῖτο, ἐκ πάντων μάλιστα δὴ ἐκεῖνο ἄνοσον ἐς τὰς ἄλλας ἀσθενείας ἐτύγχανεν ὄν. Гиппократ в своем описании эпидемической лихорадки на Тасосе делает аналогичное замечание об отсутствии в это время всех других заболеваний (Epidem. i, 8, vol. ii, p. 640, ed. Littré).

[274] "Описание Фукидида (замечает М. Литтре в своем предисловии к трудам Гиппократа, том i, стр. 122), является настолько хорошим, что его достаточно для того, чтобы мы могли понять, чем была эта древняя болезнь: и очень жаль, что такие медики, как Гиппократ и Галиен, не написали ничего о великих эпидемиях, на которые они смотрели. Гиппократ был свидетелем того, как Фукидид рассказывал об этой болезни, и он ни разу не пропустил ее описание. Галиен также пережил буйную горячку, от которой страдал весь мир под именем Марка Ореля, и назвал ее "долгой горячкой". В то же время, за исключением нескольких слов в своих объемных произведениях, за исключением нескольких беглых указаний, он не передал ничего о столь важном событии в медицине; поэтому, если мы не знаем рецитат Фукидида, нам будет очень трудно составить представление о том, как выглядит Галиен, и о том, что это именно так (как считает М. Hecker s'est attaché à le démontrer), что и злокачественная болезнь, известная под названием Peste d'Athènes. Это была вспышка, отличная от варикоза, и она сохранилась до наших дней. On a cru en voir les traces dans les charbons (ἄνθρακες) des livres Hippocratiques."

И Крайсс (Disquisitio de naturâ morbi Atheniensium. Stuttgart, 1831, p. 38), и Хезер (Historisch. Patholog. Untersuchungen. Dresden 1839, p. 50) относят патологические явления, указанные Фукидидом, к различным частям Ἐπιδημίας Гиппократа. М. Литтре считает, что сходство не настолько близко и точно, чтобы можно было отождествлять одно с другим. "Le tableau si frappant qu'en a tracé ce grand historien ne se reproduit pas certainement avec une netteté suffisante dans les brefs détails donnés par Hippocrate. Болезнь Афины имеет такой тип, что все те, кто о ней говорит, не могут определить ее сущностные стороны". (Аргумент к 2^й книге эпидемий, Œuvres d'Hippocrate, tom. v. p. 64.) Есть все основания полагать, что великая эпидемия, разразившаяся в римском мире при Марке Аврелии - Pestis Antoniniana - была продолжением того, что называют афинской чумой.

[275] Thucyd. ii, 48. λεγέτω μὲν οὖν περὶ αὐτοῦ, ὡς ἕκαστος γινώσκει, καὶ ἰατρὸς καὶ ἰδιώτης, ἀφ' ὅτου εἰκὸς ἦν γενέσθαι αὐτὸ, καὶ τὰς αἰτίας ἅστινας νομίζει τοσαύτης μεταβολῆς ἰκανὰς εἶναι

δύναμιν ἐς τὸ μεταστῆσαι σχεῖν- ἐγὼ δὲ οἶόν τε ἐγίγνετο λέξω, καὶ ἅφ' ὧν ἂν τις σκοπῶν, εἴ ποτε καὶ αὔθις ἐπιπέσοι, μάλιστ' ἂν ἔχοι τι προειδῶς μὴ ἀγνοεῖν, ταῦτα δηλώσω, αὐτός τε νοσήσας καὶ αὐτὸς ἰδὼν ἄλλους πάσχοντας.

Демокрит, среди прочих, связывал возникновение этих эпидемий со своей общей системой атомов, атмосферных излияний и εἶδωλα: см. Плутарх, Symposiac. viii, 9, p. 733; Demokriti Fragment., ed. Mullach, lib. iv, p. 409.

Причины афинской эпидемии, указанные Диодором (xii, 58) - необычные дожди, водянистость зерна, отсутствие этезианских ветров и т. д., - возможно, относятся к возобновлению эпидемии на пятом году войны, но вряд ли к ее первому появлению; поскольку Фукидид утверждает, что в других отношениях год был необычайно здоровым, а эпидемия, очевидно, была занесена в Пирей из чужих краев.

[276] Thucyd. i, 22.

[277] См. слова Thucydidês. ii, 49. καὶ ἀποκαθάρσεις χολῆς πᾶσαι, ὅσαι ὑπὸ ἰατρῶν ὠνομασμέναι εἰσὶν, ἐπῆρσαν, - что, по-видимому, указывает на знакомство с медицинской терминологией: сравните также его намек на домыслы врачей, приведенный в предыдущем примечании; и с. 51-τὰ πάσῃ διαίτῃ θεραπευόμενα и т. д.

В доказательство того, как редко в древности представляли себе важность сбора и регистрации конкретных медицинских фактов, я привожу следующие наблюдения М. Литтре (Œuvres d'Hippocrate, tom. iv, p. 646, Remarques Retrospectives).

"Toutefois ce qu'il importe ici de constater, ce n'est pas qu'Hippocrate a observé de telle ou telle manière, mais c'est qu'il a eu l'idée de recueillir et de consigner des faits particuliers. En effet, rien, dans l'antiquité, n'éte plus rare que ce soin: beyond Hippocrate, je ne connois qu'Erasistrate qui se soit occupit de relater sous cette forme les résultats de son expérience clinique. Ни сам Галиен, ни Арете, ни Соранус, ни другие, прибывшие до нас, не смогли привести столь же яркого примера. Наблюдения, помещенные в сборник Гиппократ, составляют большую часть того, чем располагала античность в этом жанре: и если, комментируя работу Гиппократ, мы немного подражали ей, мы получим материалы, с помощью которых мы сможем получить более точное представление о патологии этих веков. Но, выражая это сожаление и признавая полезность этого средства по сравнению с современными и действительно значительными, следует добавить, что в древности у Гиппократ были свои факты и доктрины, и он не мог обойти их стороной, тем не менее, собрание частичных историй не могло изменить медицину, в меньшей степени научную медицину, по существу и за пределами того, что включает в себя физиология. Я хочу подчеркнуть, что доктрина Гиппократ и школы Коса была единственной твердой, единственной основанной на истинном взгляде на организованную природу; и что последующие секты, мефодизм и пневматизм, создали свои теории только на основе гипотез, не имеющих последовательности. Но сейчас я с удовлетворением отмечаю, что патология, как наука, не может развиваться иначе как на основе физиологии, поскольку она не является одним из ее аспектов: и от Гиппократ до Галиена включительно физиология не достигла такого прогресса, чтобы сделать неэффективной концепцию Гиппократ. В итоге, необходимо отметить, что патология, которая всегда считалась наукой, не могла, в соответствии с тем или иным процессом, добиться исправлений и увеличения объема".

[278] Сравните историю о том, как Талетас успокоил эпидемию в Спарте с помощью музыки и песен (Plutarch, De Musicâ, p. 1146).

Некоторые древние врачи твердо верили в действенность этих чар и заклинаний. Александр Тралльский говорит, что, первоначально относясь к ним с презрением, он убедился в их ценности на собственном опыте, и изменил свое мнение (ix, 4) - ἔνιοι γοῦν οἴονται τοῖς τῶν γραῶν μύθοις εὐκέναι τὰς ἐπὶ ὤδᾳς, ὥσπερ καὶ γὰρ μέχρι πολλοῦ - τῷ χρόνῳ δὲ ὑπὸ τῶν ἐναργῶς φαινομένων ἐπείσθηεν εἶναι δύναντες ἐν αὐταῖς. См. интересную и ценную диссертацию "Origines Contagii" д-ра К. Ф. Маркса (Stuttgart, 1824, p. 129).

Страдающий Геракл, в своей агонии под отравленной туникой, призывает αἰδὼς вместе с χειροτέχνης ἱστορίας (Sophoklês, Trachin. 1005).

[279] Thucyd. ii, 54.

Φάσκοντες οἱ πρεσβύτεροι πάλαι ᾄδεσθαι.

Ἦξει Δωριακὸς πόλεμος, καὶ λοιμὸς ἄμ' αὐτῷ.

См. также первое из посланий, приписываемых оратору Эсхину, касающееся λοιμὸς на Делосе.

Похоже, что в гекзаметре этого стиха велись споры о том, что правильнее: λιμὸς (голод) или λοιμὸς (мор), и есть вероятность, что первоначально он был составлен со словом λιμὸς, - ведь люди вполне могли заранее предполагать, что *голод* будет продолжением дорийской войны, но вряд ли они могли представить себе *мор* как ее сопровождение. Тем не менее, говорит Фукидид, чтение λοιμὸς было признано предпочтительным, как наиболее соответствующее фактическим обстоятельствам (οἱ γὰρ ἄνθρωποι πρὸς ἃ ἔπασχον τὴν μνήμην ἐποιοῦντο). И "если (продолжает он) в будущем произойдет еще одна дорийская война, а вместе с ней и голод, оракул, вероятно, будет воспроизведен со словом λιμὸς как его частью".

Это заслуживает внимания как иллюстрация того, с каким допуском люди извращали оракулы или пророчества, чтобы затронуть чувства актуального момента.

[280] Сравните Диодора (Diodor. xiv, 70), который упоминает о похожих болезнях в карфагенской армии, осаждавшей Сиракузы, во время ужасной эпидемии, с которой они были атакованы в 395 году до н.э.; и Ливия (Liv, xxv, 26) об эпидемии в Сиракузах, когда они были осаждены Марцеллом и римлянами.

[281] Thucyd. ii, 52. Οἰκίῳ γὰρ οὐχ ὑπαρχουσῶν, ἀλλ' ἐν καλύβαις πνιγγραῖς ὥρᾳ ἔτους διαιτωμένων, ὁ φθόρος ἐγίγνετο οὐδενὶ κόσμῳ, ἀλλὰ καὶ νεκροὶ ἐπ' ἀλλήλοις ἀποθνήσκοντες ἔκειντο, καὶ ἐν ταῖς ὁδοῖς ἐκαλινδοῦντο καὶ περὶ τὰς κρήνας ἀπάσας ἡμιθνήτες, τοῦ ὕδατος ἐπιθυμία. Τὰ τε ἱερὰ ἐν οἷς ἐσκήνηντο, νεκρῶν πλέα ἦν, αὐτοῦ ἐναποθνησκόντων - ὑπερβιαζομένου γὰρ τοῦ κακοῦ οἱ ἄνθρωποι, οὐκ ἔχοντες, ὅ,τι γένωνται, ἐς ὀλιγωρίαν ἐτράποντο καὶ ἱερῶν καὶ ὁσίων ὁμοίως.

[282] Thucyd. ii, 50: сравните Livy, xli, 21, описывающий эпидемию в Риме в 174 г. до н.э. "Cadavera, intacta à canibus et vulturibus, tabes absumebat: satisque constabat, nec illo, nec priore anno in tantâ strage boum hominumque vulturium usquam visum."

[283] Thucyd. ii, 52. Из языка Фукидида мы видим, что в Афинах это считалось крайне неприличным. Однако отрывок из Плутарха, кажется, показывает, что в его время было очень распространено сжигание нескольких тел на одной погребальной куче (Plutarch, Symposiac. iii, 4, p. 651).

[284] Хорошо известно описание в шестой книге Лукреция, переведенное и дополненное из Фукидида, описание чумы во Флоренции в 1348 году, которым открывается "Декамерон" Боккачио, и описание Дефо в его "Истории чумы в Лондоне".

[285] "Carthaginienses, cum inter cetera mala etiam peste laborarent, cruentâ sacrorum religione, et scelere pro remedio, usi sunt: quippe homines ut victimas immolabant; pacem deorum sanguine eorum exposcentes, pro quorum vitâ Dii rogari maximè solent." (Justin, xviii, 6.)

О фактах, касающихся миланской чумы и унтори, см. интересный роман Мандзони "Promessi Sposi" и исторический труд того же автора "Storia della Colonna Infame".

[286] Thucyd. iii, 87. τοῦ δὲ ἄλλου ὄχλου ἀνεξεύρετος ἀριθμός. Диодор считает их более 10 000 (xii, 58) свободных и рабов вместе, что, должно быть, значительно ниже действительности.

[287] Thucyd. ii, 54. τῶν ἄλλων χωρίων τὰ πολυανθρωπώτατα. Он не уточняет, что это были за места: возможно, Хиос, но вряд ли Лесбос, иначе этот факт был бы замечен при восстании на этом острове.

[288] Thucyd. ii, 57.

[289] Thucyd. ii, 56-58.

[290] Thucyd. ii, 59. ἡλλοίωντο τὰς γνώμας.

[291] Diodor. xii, 45; Ister ap. Schol. ad Soph. Œdip. Colon. 689; Herodot. ix.

[292] Thucyd. ii, 65. Ὁ μὲν δῆμος, ὅτι ἀπ' ἐλασσόνων ὀρμώμενος, ἐστέρητο καὶ τούτων- οἱ δὲ δυνατοὶ, καλὰ κτήματα κατὰ τὴν χώραν οἰκοδομίαις τε καὶ πολυτελέσι κατασκευαῖς ἀπολωλεκότες.

[293] Thucyd. i, 140.

[294] Thucyd. ii, 60. καίτοι ἐμοὶ τοιούτῳ ἀνδρὶ ὀργίζεσθε, ὅς οὐδενὸς οἴομαι ἥσσω εἶναι γινῶναι τε τὰ δέοντα, καὶ ἐρμηνεῦσαι ταῦτα, φιλόπολις τε καὶ χρημάτων κρείσσω.

[295] Thucyd. ii, 62. δηλώσω δὲ καὶ τόδε, ὃ μοι δοκεῖτε οὔτ' αὐτοὶ πώποτε ἐνθυμηθῆναι ὑπάρχον ὑμῖν μεγέθους πέρι ἐς τὴν ἀρχὴν, οὔτ' ἐγὼ ἐν τοῖς πρὶν λόγοις- οὐδ' ἂν νῦν ἐχρησάμην κομπωδεστέραν ἔχοντι τὴν προσποίησιν, εἰ μὴ καταπεπληγμένους ὑμᾶς παρὰ τὸ εἶδος ἐώρων. Οἴεσθε μὲν γὰρ τῶν συμμάχων μόνον ἄρχειν-ἐγὼ δὲ ἀποφαίνω δύο μερῶν τῶν ἐς χρῆσιν φανερῶν, γῆς καὶ θαλάττης, τοῦ ἑτέρου ὑμᾶς παντὸς κυριωτάτους ὄντας, ἐφ' ὅσον τε νῦν νέμεσθε, καὶ ἦν ἐπιπλέον βουλευθῆτε.

[296] Thucyd. ii, 60-64. Я даю общее изложение этой памятной речи, не излагая ее полного содержания, тем более точных слов.

[297] Thucyd. ii, 65: Plato, Gorgias, p. 515, c. 71: Плутарх, Периклес, с. 35; Диодор. xii, с. 38-45. О Симмии, как яром враге Перикла, см. Плутарх, Reipub. Ger. Præsept. p. 805.

И Плутарх, и Диодор утверждают, что Периклес был не только оштрафован, но и снят с должности стратига. Фукидид упоминает о штрафе, но не о снятии: его молчание заставляет меня сомневаться в реальности последнего события. Ведь для такого человека, как Периклес, голосование о снятии с должности было бы наказанием более значительным и жестоким, чем штраф; кроме того, снятие с должности, хотя и могло быть вынесено на голосование общественного собрания, вряд ли было бы наказанием со стороны дикастерия.

Я предполагаю, что события развивались следующим образом: Стратеги, как и большинство других должностных лиц содружества, сменялись или переизбирались в начале гекатомбæона, первого месяца аттического года, то есть где-то в середине лета. Теперь пелопоннесская армия, вторгшаяся в Аттику в конце марта или начале апреля и простоявшая там сорок дней, должна была покинуть страну примерно в первую неделю мая. Периклес вернулся из своей экспедиции в Пелопоннес вскоре после того, как они покинули Аттику, то есть примерно в середине мая (Thucyd. ii, 57): оставалось еще, таким образом, месяц или шесть недель до того, как его должность стратига естественным образом истечет и потребует возобновления. Именно в этот промежуток времени (который Фукидид выражает словами ἔτι δ' ἐστρατήγει, ii, 59) он созвал собрание и произнес недавно упомянутую речь.

Но когда пришло время новых выборов стратегов, враги Перикла воспротивились его переизбранию и выдвинули против него обвинение в том суде, которому подвергался каждый афинский магистрат после окончания срока его полномочий. Они обвинили его в служебных проступках, связанных с государственными деньгами, и дикастерий наложил на него штраф. Таким образом, его переизбрание было предотвращено, а в отношении человека, который так часто переизбирался, это можно было бы назвать "лишением должности генерала", так что язык Плутарха и Диодора, а также молчание Фукидида были бы, по этому предположению, оправданы.

[298] Thucyd. ii, 65.

[299] Plutarch, Periklēs, c. 36.

[300] См. Плутарх, Демосфен. с. 27, о том, как можно уклониться от уплаты штрафа: сравните также письмо М. Бёкха, в Meineke, Fragment. Comic. Græcor. ad Fragm. Eupolid. ii, 527.

[301] Плутарх, Periklēs, c. 37.

[302] Плутарх (Perik. c. 38) рассматривает медленное расстройство, от которого он страдал, как одну из форм эпидемии: но это вряд ли может быть правильным, когда мы читаем очень выраженный характер последней, описанный Фукидидом.

[303] Plutarch, Periklēs, c. 38.

[304] Плутарх, Периклес, с. 4, 8, 13, 16; Эвполис. Δῆμοι, Fragm. vi. p. 459, ed. Meineke. Цицерон (De Orator. iii, 34; Brutus, 9-11) и Квинтилиан (ii, 16, 19; x, 1, 82) считаются только свидетелями из вторых рук.

[305] Платон, Горгиас, с. 71, p. 516; Федр, с. 54. p. 270. Περικλέα, τὸν οὕτω μεγαλοπρεπῶς σοφὸν ἄνδρα. Plato, Mens. p. 94, B.

[306] Plutarch, Periklēs, c. 10-39.

[307] Plutarch, Periklēs, c. 5.

[308] Plutarch, Periklēs, c. 11. Διὸ καὶ τότε μάλιστα τῷ δήμῳ τὰς ἡνίας ἀνεῖς ὁ Περικλῆς ἐπολιτεύετο πρὸς χάριν-ἀεὶ μὲν τινα θέαν πανηγυρικὴν ἢ ἐστίασιν ἢ πομπὴν εἶναι μηχανώμενος ἐν ᾧ αἰεὶ, καὶ διαπαιδαγωγῶν οὐκ ἀμούσοις ἡδοναῖς τὴν πόλιν-ἐξήκοντα δὲ τριήρεις καθ' ἕκαστον ἐνιαυτὸν ἐκπέμπων, ἐν αἷς πολλοὶ τῶν πολιτῶν ἐπλεονόκτων μῆνας ἔμμισθοι, μελετῶντες ἅμα καὶ μαθάνοντες τὴν ναυτικὴν ἐμπειρίαν.

Сравните с п. 9, где Плутарх утверждает, что Периклес, не имея других средств противостоять обильным частным щедротам своего соперника Кимона, прибег к

распределению общественных денег между гражданами, чтобы получить влияние; он действовал в этом вопросе по совету своего друга Демонидеса, согласно утверждению Аристотеля.

[309] Thucyd. ii, 65. Ἐκεῖνος μὲν (Περικλῆς) δυνατὸς ὦν τῷ τε ἀξιώματι καὶ τῇ γνώμῃ, χρημάτων τε διαφανῶς ἀδωρότατος γενόμενος, κατεῖχε τὸ πλῆθος ἐλευθέρως, καὶ οὐκ ἦγετο μᾶλλον ὑπ' αὐτοῦ ἢ αὐτὸς ἦγε, διὰ τὸ μὴ κτῶμενος ἐξ οὐ προσηκόντων τὴν δύναμιν πρὸς ἡδονὴν τι λέγειν, ἀλλ' ἔχων ἐπ' ἀξιώσει καὶ πρὸς ὀργὴν τι ἀντειπεῖν. Ὅποτε γοῦν αἰσθητό τι αὐτοὺς παρὰ καιρὸν ὕβρει θαρσοῦντας, λέγων κατέπλησεν ἐπὶ τὸ φοβεῖσθαι- καὶ δεδιότας αὐτὸς ἀλόγως ἀντικαθίστη πάλιν ἐπὶ τὸ θαρσεῖν. Ἐγίγνετο δὲ λόγῳ μὲν δημοκρατία, ἔργῳ δὲ ὑπὸ τοῦ πρώτου ἀνδρὸς ἀρχή. Οἱ δὲ ὕστερον ἴσοι μᾶλλον αὐτοὶ πρὸς ἀλλήλους ὄντες, καὶ ὀρεγόμενοι τοῦ πρώτος ἕκαστος γίγνεσθαι, ἐτράποντο καθ' ἡδονὰς τῷ δήμῳ καὶ τὰ πράγματα ἐνδιδόναι. Ἐξ ὧν, ἄλλα τε πολλά, ὡς ἐν μεγάλῃ πόλει καὶ ἀρχὴν ἐχούσῃ, ἡμαρτήθη, καὶ ὁ ἐς Σικελίαν πλοῦς- ὃς οὐ τοσοῦτον γνώμης ἀμάρτημα ἦν, etc. Сравните Плутарх, Никиас, с. 3.

Ἀξίωσις и ἀξίωμα, используемые Фукидидом, по-видимому, различаются в этом отношении: Ἀξίωσις означает достоинство человека или его претензии на уважение и влияние, как он сам себя ощущает и измеряет; *его чувство достоинства*; Ἀξίωμα означает его *достоинство*, правильно называемое, как его ощущают и оценивают другие. См. i, 37, 41, 69.

[310] Bockh, Public Economy of Athens, b. iii, ch. xv. p. 399, Eng. Trans.

Кутцен во второй части Бейлаге к своему трактату "Периклес как государственный деятель" (стр. 169-200) собрал и вставил список различных персонажей Перикла у двадцати различных авторов, английских, французских и немецких. Лучшим из этой подборки является работа Вахсмута, хотя даже он считает, что Периклес виноват в том, что ввел ряд учреждений, которые никто, кроме него самого, не мог хорошо работать.

[311] Thucyd. ii, 65. μετρίως ἐξηγεῖτο. i, 144. δίκας δὲ ὅτι ἐθέλομεν δοῦναι κατὰ τὰς ξυνθήκας, πολέμου δὲ οὐκ ἄρξομεν, ἀρχομένους δὲ ἀμυνούμεθα.

[312] Геродот (1, 170) упоминает, что перед завоеванием Крезом двенадцати ионических городов в Азии Талес посоветовал им объединиться в единое городское правительство в Теосе, а существующие города свести к простым демам или составным, дробным муниципалитетам, -τὰς δὲ ἄλλας πόλιας οἰκεομένας μηδὲν ἥσσον νομίζεσθαι κατὰπερ εἰ δῆμοι εἶεν. Примечательно, что сам Геродот безоговорочно одобряет эту идею.

[313] Plutarch, Periklēs, с. 17.

[314] Thucyd. ii, 68.

[315] Thucyd. ii, 69.

[316] Thucyd. iii, 51.

[317] Thucyd. ii, 67-69; Herodot. vii, 137. Что касается лакедемонского каперства во время Пелопоннесской войны, сравните Thucyd. v, 115: сравните также Xenophon, Hellen. v, 1, 29.

[318] Thucyd. ii, 67. Οἱ Λακεδαιμόνιοι ὑπῆρξαν, τοὺς ἐμπόρους οὓς ἔλαβον Ἀθηναίων καὶ τῶν συμμαχῶν ἐν ὀλκάσι περὶ Πελοπόννησον πλέοντας ἀποκτείναντες καὶ ἐς φάραγγας ἐσβαλόντες.

Πάντας γὰρ δὴ κατ' ἀρχὰς τοῦ πολέμου οἱ Λακεδαιμόνιοι, ὅσους λάβοιεν ἐν τῇ θαλάσῃ, ὡς πολεμίους διέφθειρον, καὶ τοὺς μετὰ Ἀθηναίων συμπολεμοῦντας καὶ τοὺς μηδὲ μεθ' ἐτέρων.

В следующем году лакедемонский адмирал Алкидас убил всех пленников, взятых на борт торговых судов у берегов Ионии (Thucyd. iii, 32). Даже это было сочтено чрезвычайно строгим и вызвало резкие возражения; однако убитые моряки не были нейтралами, а принадлежали к союзникам Афин: кроме того, Алкидас был в бегах и вынужден был выбирать между убийством пленников и их освобождением.

[319] Thucyd. ii, 69.

[320] Thucyd. ii. 67. Д-р Тирлуолл (Hist. Greece, vol. iii, ch. 20, p. 129) говорит, что "посланники были принесены в жертву главным образом для того, чтобы придать достойную окраску подлости" убийства Аристея, от которого афиняне опасались последующего зла, в связи с его способностями и деятельным духом. Я не думаю, что это справедливо содержится в словах Фукидида. Он ставит на первый план афинского мотива, несомненно, страх перед будущей энергией Аристея; но если бы это был единственный мотив, афиняне, вероятно, убили бы его одного, без остальных: они вряд ли сочли бы нужным обеспечить себе "какой-нибудь приличный цвет", как предлагает доктор Тирлуолл. Фукидид называет особое чувство афинян к Аристею (по моему мнению), главным образом для того, чтобы объяснить крайнюю поспешность афинского приговора о казни - αὐθήμερον-ἀκρίτους и т. д.: они находились под влиянием совокупных побуждений - страха, мести, возмездия.

Убитые посланцы были сыновьями Спертиеса и Булиса, бывших спартанских глашатаев, которые отправились к Ксерксу в Сузы, чтобы принести свои головы в искупление за прежнее поведение спартанцев, убивших глашатаев Дария. Ксеркс отпустил их невредимыми, так что гнев Талтибия (героического родоначальника рода глашатаев в Спарте) остался неудовлетворенным: он был удовлетворен только смертью двух их сыновей, убитых теперь афинянами. О том, что двое убитых были сыновьями тех двоих (Спертиеса и Булиса), которые ранее отправились в Сузы, чтобы покончить с жизнью, говорят как о "романтическом и трагическом совпадении". Но удивляться тут, конечно, нечему. Функции герольда в Спарте были привилегией определенного рода, или семьи: каждый герольд, следовательно, *по должности* был сыном герольда. И когда в начале Пелопоннесской войны лакедемоняне искали двух членов геральдического рода, чтобы послать их в Сузы, на ком бы они остановились так естественно, как на сыновьях тех двух мужчин, которые были в Сузах раньше? Эти сыновья, несомненно, слышали, как их отцы много говорили об этом, - вероятно, с интересом и удовлетворением, поскольку они получили большую славу от непринятого предложения отдать свои жизни во искупление. Была особая причина, по которой именно эти два человека, а не другие глашатаи, должны были выполнить эту опасную миссию: и, несомненно, когда они погибли, религиозное воображение лакедемонян восприняло все события как завершение суда, вынесенного Талтибием в его гневе (Herodot. vii, 135-ὡς λέγουσι Λακεδαιμόνιοι).

Оказывается, убитый здесь глашатай Анкрисст лично отличился при захвате лакедемонянами рыбаков на побережье Пелопоннеса, за который афиняне теперь мстили (Herodot. vii, 137). Хотя этот отрывок Геродота не совсем ясен, но смысл, вкладываемый в него здесь, является естественным, и более ясным (по моему мнению), чем тот, который О. Мюллер предлагает вместо него (Dorians, ii, p. 437).

[321] Thucyd. ii, 70; iii, 17. Однако недовольство афинян полководцами не могло быть очень серьезным, поскольку в следующем году Ксенофонт был назначен командовать против халкидян.

[322] Diodor. xii, 46.

[323] Thucyd. ii, 71, 72.

[324] Этот предыдущий призыв вновь упоминается впоследствии, в связи с расправой над пленными платейцами (iii, 68): διότι τόν τε ἄλλον χρόνον ἤξιουν δῆθεν, etc.

[325] Thucyd. ii, 73, 74.

[326] Thucyd. ii, 71-75.

[327] Thucyd. iii, 68.

[328] Thucyd. ii, 75.

[329] Различные процессы, подобные описанным здесь, применявшиеся как для нападения, так и для защиты в древних осадах, отмечены и обсуждены в *Aeneas Poliorhetic*. с. 33, seq.

[330] Thucyd. ii, 76.

[331] Thucyd. ii, 77.

[332] Thucyd. ii, 78. καὶ ἐπειδὴ πᾶν ἐξείργαστο περὶ Ἀρκτοῦρου ἐπιτολάς, etc. в то время года, когда звезда Арктур восходит непосредственно перед восходом солнца, то есть где-то между 12 и 17 сентября: см. примечание Гёллера к этому отрывку. Фукидид не часто дает какие-либо фиксированные знаки для различения различных периодов года, как это сделано здесь. Все греческие месяцы были лунными или номинально таковыми: названия месяцев, как и практика интеркаляции для исправления календаря, варьировались от города к городу; так что если бы Фукидид указал день аттического месяца Боэдромион (вместо того чтобы указать восход Арктура), в который была закончена эта работа, многие из его читателей не поняли бы его однозначно. Гиппократ также, указывая время в медицинских целях, использует появление Арктура и других звезд.

[333] Thucyd. ii, 78; iii, 21. Из этого описания двойной стены и крытых помещений, предусмотренных для, как известно, длительной блокады, мы можем понять страдания афинских войск (у которых, вероятно, не было двойной стены) во время двухлетней блокады Потидеи, а также их готовность предоставить осажденным легкую капитуляцию: [см. несколько страниц выше](#).

[334] Thucyd. ii, 79.

[335] Thucyd. ii, 80.

[336] Thucyd. ii, 82; Diodor. xii, 48.

[337] Thucyd. ii, 83. οὐχ ὡς ἐπὶ ναυμαχίαν, ἀλλὰ στρατιωτικώτερον παρεσκευασμένοι: ср. речь Кнема, с. 87. Отмечается неумелость гребцов (с. 84).

[338] Thucyd. ii, 88. πρότερον μὲν γὰρ αἰεὶ αὐτοῖς ἔλεγε (Phormio) καὶ προπαρασκεύαζε τὰς γνώμας, ὡς οὐδὲν αὐτοῖς πλῆθος νεῶν τοσοῦτον, ἣν ἐπιπλέη, ὅ,τι οὐχ ὑπομενετέον αὐτοῖς ἐστί· καὶ οἱ στρατιῶται ἐκ πολλοῦ ἐν σφίσιν αὐτοῖς τὴν ἀξίωσιν ταύτην εἰλήφεσαν, μηδένα ὄχλον Ἀθηναῖοι ὄντες Πελοποννησίων νεῶν ὑποχωρεῖν.

Этот отрывок примечателен не только тем, что передает поразительную убежденность афинян в собственном военно-морском превосходстве, но и тем, что раскрывает откровенное и интимное общение между афинским капитаном и его моряками, столь сильно

пронизывающее и определяющее чувства последних. Сравните, что рассказывается о сиракузском Гермократесе, Xenoph. Hellen. i, 1, 30.

[339] Thucyd. ii, 83. Ἐπειδὴ μέντοι ἀντιπαραπλέοντάς τε ἐώρων αὐτοὺς (то есть, когда коринфяне увидели афинские корабли) παρὰ γῆν σφῶν κομιζομένων, καὶ ἐκ Πατρῶν τῆς Ἀχαΐας πρὸς τὴν ἀντιπέρας ἡπειρον διαβαλλόντων ἐπὶ Ἀκαρνανίας κατείδον τοὺς Ἀθηναίους ἀπὸ τῆς Χαλκίδος καὶ τοῦ Εὐήνου ποταμοῦ προσπλέοντας σφίσι, καὶ οὐκ ἔλαθον νυκτὸς ὑφορμισάμενοι, οὕτω δὲ ἀναγκάζονται ναυμαχεῖν κατὰ μέσον τὸν πορθμόν.

Значительно труднее понять, что здесь было сделано, особенно что означают слова οὐκ ἔλαθον νυκτὸς ὑφορμισάμενοι, которые схолиаст истолковал так, как если бы именительный падеж к ἔλαθον был οἱ Ἀθηναῖοι, в то время как естественная структура предложения, а также вероятность фактов заставляют лучших комментаторов считать οἱ Πελοποννήσιοι именительным падежом этого глагола. Замечание схолиаста, однако, показывает нам, что трудности в понимании этого предложения возникли еще в древности.

Доктор Арнольд, чье объяснение приняли Поппо и Гёллер, говорит: "Два флота двигались параллельно друг другу вдоль противоположных берегов Коринфского залива. Но даже когда они вышли из пролива у Риума, противоположные берега были еще так близки, что пелопоннесцы надеялись переправиться без сопротивления, если им удастся настолько обмануть афинян относительно места, где они остановились на ночь, чтобы побудить их либо остановиться слишком рано, либо продвинуться слишком далеко, чтобы не оказаться точно напротив них и не перехватить проход. Если бы им удалось заставить афинян думать, что они намерены ночью продвинуться за Патрей, афинский флот, скорее всего, продолжил бы свой собственный курс вдоль северного берега, чтобы быть готовым перехватить их, когда они попытаются переправиться в Акарнанию. Но афиняне, зная, что они остановились в Патре, сами остановились в Халкисе, вместо того чтобы идти дальше на запад; и таким образом оказались почти напротив них, что пелопоннесцы не успели пройти больше половины пути, прежде чем их встретил бдительный враг".

Это объяснение кажется мне неудовлетворительным и не учитывает всех обстоятельств дела. Пелопоннесцы прежде всего полагали, что Формион не осмелится напасть на них: поэтому, прибыв в Патре, они потянулись оттуда через залив к устью Эвены, - естественный путь, согласно древней навигации, - в направлении Акарнании (ἐπὶ Ἀκαρνανίας). Когда они таким образом растянулись, то увидели, что со стороны Эвены на них надвигается Формион: это было для них неожиданностью, и так как они хотели избежать сражения на середине канала, то в тот день не стали продвигаться дальше, надеясь обмануть Формиона в отношении своей ночной стоянки. Они сделали вид, что устроили ночную стоянку на берегу между Патре и Риумом, недалеко от узкой части пролива; но на самом деле они "снялись с якоря и вышли в море ночью", как говорит мистер Блумфилд, в надежде преодолеть более короткий проход под покровом темноты, прежде чем Формион сможет их настигнуть. То, что они так и поступили, доказывает тот факт, что последующая битва произошла на следующий день в среднем канале *вскоре после рассвета* (мы узнаем это из того, что Фукидид говорит о бризе в заливе, которого ждал Формион, прежде чем начать атаку - ὅπερ ἀναμένων τε περιέπλει, καὶ εἰώθει γίγνεσθαι ἐπὶ τὴν ἕω). Если бы Формион вернулся в Халкис, они, вероятно, добились бы успеха; но он должен был держать море всю ночь, что было бы естественным действием бдительного капитана, решившего не позволить пелопоннесцам переправиться без боя: так что он был на них в среднем канале сразу после наступления дня.

Соединив все утверждения Фукидида, мы можем быть убеждены, что именно так и было на самом деле. Но в точном смысле ὑφορμισάμενοι, признаюсь, я не уверен: Хаак говорит, что

оно означает "прикреплять моллюсков к литаврам", но здесь, я думаю, этот смысл не подходит: Ведь пелопоннесцы не хотели, да и вряд ли могли надеяться, скрыть от Формиона место, где они остановились на ночь, и заставить его предположить, что они остановились на каком-то участке берега к западу от Патрэ, тогда как на самом деле они провели ночь в Патрэ, - что и предполагает д-р Арнольд. Арнольд предполагает. Берег к западу от Патрэ делает изгиб к юго-западу, образуя Патрасский залив, так что расстояние от северной, или этолийской и акарнанской, стороны залива становится на значительное время все больше и больше, и пелопоннесцы, таким образом, навязали бы себе более длительный переход, увеличивая трудности преодоления без сражения. Но ὁφορμισάμενοι может с полным основанием означать, особенно в сочетании с οὐκ ἔλαθον, "занятие имитированной или несовершенной ночной стоянки", в которой они на самом деле не собирались оставаться всю ночь и которую можно было покинуть по первому требованию и с легкостью. Предлог ὑπὸ в композиции, таким образом, будет иметь смысл не *тайны (clam)*, а *притворства*, или простого прохождения через формы действия с целью создания ложного впечатления (как ὑποφέρειν, Xenoph. Hell. iv, 72). Мистер Блумфилд предположительно предлагает ὁφορμισάμενοι, означающее "что пелопоннесцы ночью бросили якорь": я не верю в эту догадку, но считаю, что он совершенно прав, полагая, что пелопоннесцы *действительно* бросили якорь ночью.

Остается обратить внимание еще на один момент. Битва произошла κατὰ μέσον τὸν πορθμόν. Теперь мы не должны понимать это выражение как ссылку на самую узкую часть моря или пролива, строго и точно; то есть на линию в семь стадий между Риумом и Антиррием. Но я думаю, что мы должны понимать под ним часть моря, расположенную недалеко к западу от пролива, где ширина, хотя и больше, чем в самом проливе, но все же не так велика, как на линии, проведенной к северу от Патрэ. Мы не можем понимать πορθμός (как это делают мистер Блумфилд и Поппо, - см. примечание последнего к Схолии) как просто *траекторию*, то есть проход через даже самую широкую часть Патрасского залива: да и цитируемый отрывок из с. 86 не требует, чтобы мы так его понимали. Πορθμός у Фукидида означает пролив или узкий переход через море, и сам Поппо признает, что Фукидид всегда использует его именно так: неразумно полагать, что он назвал бы линию моря через залив, от Патрэ до устья Эвены, πορθμός. См. примечание Гёллера по этому поводу.

[340] Thucyd. ii, 86. μὴ δίδοντες διέκπλους. Главная задача быстроходной афинской триремы заключалась в том, чтобы ударить клювом в какую-нибудь слабую часть корабля противника: корму, борт или весла, - но не в клюв, который был прочно сконструирован как для защиты, так и для нападения. Поэтому афинянин, гребя через промежутки в строю противника и оказываясь в его тылу, быстро поворачивался и получал возможность, прежде чем корабль противника успевал изменить свое положение, нанести ему удар либо в корму, либо в какую-нибудь слабую часть. Такой маневр назывался *diekplus*. Успех его, конечно, зависел от чрезвычайной быстроты и точности движений афинского судна, столь превосходившего в этом отношении своего противника не только лучшей конструкцией корабля, но и совершенством гребцов и рулевых.

[341] См. примечание д-ра Арнольда к этому отрывку из Фукидида, касающемуся келеуста и его функций: к отрывкам, которые он приводит в качестве ссылки, я добавлю еще два из Плавта, Mercat. iv, 2, 5, и Asinaria, iii, 1, 15.

Когда мы представим себе устройство античной триремы, мы сразу увидим, во-первых, насколько важен был келеустес, чтобы удерживать гребцов в гармоничном действии, - во-вторых, насколько огромной должна была быть разница между практикующими и непрактикующими гребцами. Всего на триреме было сто семьдесят гребцов,

распределенных по трем ярусам. В верхнем ярусе, называемом траниты, было шестьдесят два человека, или тридцать один с каждой стороны: в среднем ярусе, или зигиты, а также в нижнем ярусе, или таламиты, было по пятьдесят четыре человека, или по двадцать семь с каждой стороны. Кроме них, к каждой триреме прилагалось определенное количество, кажется, около тридцати, дополнительных весел (κῶπται περὶνέω), которые использовались экибатами, или солдатами, служившими на борту, в случае гибели гребцов или поломки весел. Каждый ярус гребцов был распределен по всей длине судна, от головы до кормы, или, по крайней мере, по большей ее части; но места верхних ярусов не располагались точно перпендикулярно над нижними. Разумеется, весла транитов, или верхнего яруса, были самыми длинными; весла таламитов, или нижнего яруса, - самыми короткими; весла зигитов - средней длины. Каждым веслом греб только один человек. Траниты, как имеющие самые длинные весла, работали меньше всех и получали самую высокую зарплату. Какова была длина весел, принадлежащих каждому из ярусов, мы не знаем, но некоторые из дополнительных весел, похоже, были около пятнадцати футов в длину.

То, о чем здесь говорится, кажется довольно хорошо выясненным, главным образом из надписей, обнаруженных в Афинах несколько лет назад, столь полных информации об афинском море, - и из наиболее поучительного комментария, приложенного к этим надписям М. Бёкхом, *Seewesen der Athener*, гл. ix, стр. 94, 104, 115. Но многое в отношении оснащения древних трирем еще остается неясным и спорным.

Теперь не было ничего, кроме голоса келеустеса, чтобы все эти сто семьдесят гребцов успевали делать свои гребки. С веслами разной длины и таким количеством гребцов это, должно быть, было нелегко и, по-видимому, совершенно невозможно, если только гребцы не были обучены действовать сообща. Разница между теми, кто был обучен, и теми, кто не был, должна была быть огромной. Мы можем представить себе разницу между кораблями Формиона и его врагов, а также трудности последних в борьбе с морскими волнами, когда читаем это описание древней триремы.

Около двухсот человек, то есть сто семьдесят гребцов и тридцать запасных, в основном экибаты или гоплиты, служившие на борту, кроме лоцмана, человека на носу корабля, келевста и т. д., возможно, около полудюжины офицеров, составляли экипаж триремы: сравните Геродот. viii, 17; vii, 184, где он считает тридцать экибатов сверх двухсот. Д-р Арнольд считает, что в начале Пелопоннесской войны на борту афинской триремы было не более десяти экибатов, но это, кажется, не совсем верно: см. его примечание к Thucyd. iii, 95.

Венецианские галеры в XIII веке были укомплектованы примерно таким же количеством людей. "Les galères Vénitiens du convoi de Flandre devaient être montées par deux cent hommes libres, dont 180 rameurs, et 12 archers. В 1333 г. все торговые галереи были вооружены дугами или балистами". (Depping, *Histoire du Commerce entre le Levant et l'Europe*, vol. i, p. 163.)

[342] Thucyd. ii, 84.

[343] Thucyd. ii, 85.

[344] Thucyd. i, 144. Πολλὰ δὲ καὶ ἄλλα ἔχω ἐς ἐλπίδα τοῦ περιέσεσθαι, ἣν ἐθέλητε ἀρχὴν τε μὴ ἐπικτᾶσθαι ἅμα πολεμοῦντες, καὶ κινδύνους αὐθαίρετους μὴ προστίθεσθαι- μάλλον γὰρ πεφόβημαι τὰς οἰκείας ἡμῶν ἀμαρτίας ἢ τὰς τῶν ἐναντίων διανοίας.

[345] Thucyd. ii, 86-89: сравните vii, 36-49.

[346] Thucyd. ii, 86.

[347] Thucyd. ii, 87. Τῶν δὲ πρότερον ἡγεμόνων οὐ χεῖρον τὴν ἐπιχείρησιν ἡμεῖς παρασκευάσομεν, καὶ οὐκ ἐνδύσομεν πρόφασιν οὐδενὶ κακῷ γενέσθαι- ἦν δέ τις ἄρα καὶ βουλευθῆ, κολασθήσεται τῇ πρεπούσῃ ζημίᾳ, οἱ δὲ ἀγαθοὶ τιμήσονται τοῖς προσήκουσιν ἄθλοις τῆς ἀρετῆς.

[348] Thucyd. ii, 89. Καὶ ἐν τῷ ἔργῳ κόσμον καὶ σιγὴν περὶ πλείστου ἡγεῖσθε, ὃ ἔς τε τὰ πολλὰ τῶν πολεμικῶν συμφέρει, καὶ ναυμαχίᾳ οὐχ ἥκιστα, etc.

[349] Thucyd. ii, 90. ἐπὶ τεσσάρων ταξάμενοι τὰς ναῦς. Матфей в своей "Грамматике" (раздел 584) утверждает, что ἐπὶ τεσσάρων означает "четыре глубины", и приводит этот отрывок из Фукидида в качестве примера. Но эти слова, несомненно, означают здесь "четыре в ряд"; хотя следует помнить, что колонна в четыре ряда, если превратить ее в линию, становится четыре в глубину.

[350] Thucyd. iii, 102.

[351] Thucyd. ii, 90. Οἱ δὲ Πελοποννήσιοι, ἐπειδὴ αὐτοῖς οἱ Ἀθηναῖοι οὐκ ἐπέπλεον ἐς τὸν κόλπον καὶ τὰ στενὰ, βουλόμενοι ἄκοντας ἔσω προαγαγεῖν αὐτοὺς, ἀναγόμενοι ἅμα ἔω ἔπλεον, ἐπὶ τεσσάρων ταξάμενοι τὰς ναῦς, ἐπὶ τὴν ἑαυτῶν γῆν ἔσω ἐπὶ τοῦ κόλπου, δεξιῶ κέρα ἡγουμένῳ, ὥσπερ καὶ ὠρμουν- ἐπὶ δ' αὐτῷ εἴκοσι νῆας ἔταξαν τὰς ἄριστα πλεούσας, ὅπως, εἰ ἄρα νομίσας ἐπὶ τὴν Ναύπακτον αὐτοὺς πλεῖν ὁ Φορμίων καὶ αὐτὸς ἐπιβοηθῶν ταύτῃ παραπλέοι, μὴ διαφύγοιεν πλέοντα τὸν ἐπίπλουν σφῶν οἱ Ἀθηναῖοι ἔξω τοῦ ἑαυτῶν κέρως, ἀλλ' αὗται αἱ νῆες περικλήσειαν.

Как видно, я представил в тексте движение пелопоннесского флота как направленное якобы и по всей видимости против Наупакта: И я перевожу слова в четвертой строке вышеприведенного отрывка -ἐπὶ τὴν ἑαυτῶν γῆν ἔσω ἐπὶ τοῦ κόλπου - как означающие "против станции афинян у залива внутри", то есть против Наупакта. Г-н Блумфилд придает такое значение отрывку, хотя и не словам; но схолиаст, д-р Арнольд, Поппо и Гёллер толкуют его иначе и утверждают, что слова τὴν ἑαυτῶν γῆν означают пелопоннесский берег. На мой взгляд, это последнее толкование делает всю схему битвы запутанной и непонятной; в то время как при другом значении она совершенно ясна, и все обстоятельства согласуются друг с другом.

Доктор Арнольд, похоже, даже не признает, что τὴν ἑαυτῶν γῆν может означать что-либо иное, кроме побережья Пелопоннеса. Он говорит: "Схолиаст утверждает, что ἐπὶ здесь используется для парά. Лучше сказать, что оно имеет смешанное значение движения к месту и соседства с ним: выражая, что пелопоннесцы плыли к своей земле (то есть к Коринфу, Сикиону и Пеллену, к которым относилось большее число кораблей), вместо того чтобы переправиться на противоположный берег, принадлежавший их врагам: и в то же время держались близко к своей земле, в смысле ἐπὶ с дательным падежом".

Мне кажется, что предположение доктора Арнольда о Коринфе и Сикионе как о значении τὴν ἑαυτῶν γῆν совершенно надуманно и неправдоподобно. На самом деле, это верно только в отношении части флота конфедератов, а в отношении кораблей из Элиса, Леукаса и т. д. это было бы неверно. А если бы это было верно в отношении всех, то расстояние Коринфа от Пелопоннеса было столь велико, что Фукидид вряд ли стал бы указывать направление, ссылаясь на столь далекий город. С другой стороны, и схолиаст, и д-р Арнольд сильно нарушают значение предлога ἐπὶ с винительным падежом и не приводят никаких примеров в его оправдание. Какой смысл имеет ἐπὶ с винительным падежом, обозначающим местность, показывает Фукидид в этом самом отрывке.-εἰ ἄρα νομίσας ἐπὶ τὴν Ναύπακτον αὐτοὺς πλεῖν ὁ Φορμίων и т. д. (снова, с. 85. ἐπὶ Κυθωνίαν πλεῦσαι; и и. 29, ἐπὶ Ἐπίδαμνον и т. д.-ἐπὶ τὴν γῆν αὐτοῦ Perdikkas, i, 57), то есть против, или идти туда с враждебной целью. Схолиаст

настолько понимает это, что утверждает, что ἐπὶ используется вместо παρὰ. Это жесточайшее предположение, ибо ничто не может быть более различным, чем две фразы ἐπὶ τὴν γῆν и παρὰ τὴν γῆν. Доктор Арнольд снова приписывает ἐπὶ с винительным падежом другой смысл, который, как он сам признает, оно имеет только с дательным.

Я делаю эти замечания с целью показать, что смысл, который д-р Арнольд и другие вкладывают в слова Фукидида, - ἔπλεον ἐπὶ τὴν ἑαυτῶν γῆν, - отличается от обычного и даже от законного значения этих слов. Но у меня есть и более сильное возражение. Если признать этот смысл, то он окажется совершенно несовместимым с последующими действиями, описанными Фукидидом; и любой, кто при чтении этой главы посмотрит на карту, ясно увидит, что дело обстоит именно так. Если, как полагает д-р Арнольд, пелопоннесский флот держался вблизи берегов Пелопоннеса, то что в их передвижениях могло встревожить Формиона за безопасность Наупакта или заставить его так неохотно войти в пролив? Или, если даже допустить это и предположить, что Формий истолковал движение вдоль ахейского побережья как замыслы против Наупакта и поэтому вошел в залив и поплыл вдоль своего берега, чтобы защитить город, - все равно пелопоннесцев отделяла бы от него вся ширина залива в этом месте; И как только они изменили бы свое направление, чтобы пересечь залив и напасть на него, у него была бы вся широта залива, чтобы принять меры для встречи с ними, так что вместо того, чтобы оказаться прижатым к суше, он мог бы выйти и сразиться с ними на широкой воде, чего он так желал. Все описание, данное Фукидидом, внезапного поворота пелопоннесского флота, когда корабли Формиона были атакованы и девять из них отрезаны, показывает, что оба флота должны были находиться очень близко друг к другу, когда было предпринято это движение. Если бы они не были близки, - если бы пелопоннесцам пришлось грести на значительное расстояние после того, как они встали на колеса, - все афинские корабли могли бы без труда уплыть вдоль берега. На самом деле слова Фукидида подразумевают, что *оба флота в момент, когда пелопоннесцы сделали колесо, плыли в параллельных направлениях вдоль северного побережья в сторону Наупакта*, - ὅπως εἰ ἄρα νομίσας ἐπὶ τὴν Ναύπακτον αὐτοὺς πλεῖν ὁ Φορμίων καὶ αὐτὸς ἐπιβοηθῶν ταύτῃ παραπλεοί, - "если *и* он, с целью защиты места, поплывет вдоль того берега" (то есть, если он, *как и они*); что, по-видимому, является отдельным значением частицы καὶ в этом месте.

Теперь, если мы предположим, что пелопоннесский флот отплыл со своей первоначальной стоянки в сторону Наупакта, все последующие события станут более ясными и последовательными. Я полагаю, что ни у кого не возникло бы иной мысли, кроме как на основании слов Фукидида, - ἔπλεον ἐπὶ τὴν ἑαυτῶν γῆν ἔσω ἐπὶ τοῦ κόλπου. Поскольку подлежащим или именительным падежом глагола ἔπλεον является οἱ Πελοποννήσιοι, предполагалось, что слово ἑαυτῶν должно обязательно относиться к пелопоннесцам; и мистер Блумфилд, с которым я согласен в отношении значения этого отрывка, предлагает изменить ἑαυτῶν на αὐτῶν. Мне кажется, что в этом нет необходимости, и что ἑαυτῶν вполне может быть истолковано так, чтобы относиться *к афинянам*, а не к лакедемонянам. Рефлексивное значение местоимения ἑαυτῶν *не обязательно* переносится на субъект действия, *непосредственно* предшествующего ему, в сложном предложении, где есть более одного субъекта и более одного действия. Так, например, в том самом отрывке из Фукидида, который я переписал, мы видим, что слово ἑαυτῶν употреблено во второй раз, причем употреблено так, что его значение отбрасывается не на непосредственно предшествующую тему, а на предмет, более отдаленный от него, - ἐπὶ δ' αὐτῷ (τῷ κέρати) εἴκοσι ναῦς ἔταξαν τὰς ἄριστα πλεούσας, ὅπως, εἰ ἄρα..., μὴ διαφύγοιεν πλέοντα τὸν ἐπίπλουον σφῶν οἱ Ἀθηναῖοι ἔξω τοῦ ἑαυτῶν κέρως, ἀλλ' αὗται αἱ νῆες περικλήσειαν. Здесь слова τοῦ ἑαυτῶν κέρως относятся к пелопоннесскому флоту, а не к афинянам, о которых идет речь

непосредственно перед этим. Поппо и Гёллер оба признают, что это истинное значение; и если это допустимо, то мне не кажется более трудным истолковать слова ἐπὶ τὴν ἑαυτῶν γῆν как означающие "землю *афинян*", а не "землю *пелопоннесцев*". Ἑαυτῶν могло бы быть более однозначно выражено ἐκείνων αὐτῶν; ведь отражательное значение, воплощенное в αὐτῶν, является здесь важным дополнением к смыслу: "Так как афиняне не поплыли в глубь залива и узких вод, то пелопоннесцы, желая привлечь их даже неохотно, поплыли *против собственной земли афинян* в глубь страны".

Другой отрывок можно привести из Фукидида, где два слова ἑαυτοῦ и ἐκείνου используются в одном предложении и обозначают одного и того же человека, ii, 13. Περικλῆς, ὑποτοπῆσας, ὅτι Ἀρχίδαμος αὐτῷ ξένος ὢν ἐτύγχανε, μὴ πολλάκις ἢ αὐτὸς ἰδίᾳ βουλόμενος χαρίζεσθαι τοὺς ἀγροὺς αὐτοῦ παραλίπη καὶ μὴ δηώσῃ, ἢ καὶ Λακεδαιμονίων κελευσάντων ἐπὶ διαβολῇ τῇ ἑαυτοῦ γένηται τοῦτο, ὥσπερ καὶ τὰ ἄγῃ ἐλαύνειν προεῖπον ἔνεκα ἐκείνου- προηγόρευε τοῖς Ἀθηναίοις ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ ὅτι Ἀρχίδαμος μὲν οἱ ξένος εἶη, οὐ μέντοι ἐπὶ κακῷ γε τῆς πόλεως γένοιτο, τοὺς δ' ἀγροὺς τοὺς ἑαυτοῦ καὶ οἰκίας ἦν ἄρα μὴ δηώσωσιν οἱ πολέμιοι ὥσπερ καὶ τὰ τῶν ἄλλων, ἀφίησιν αὐτὰ δημόσια εἶναι. Здесь ἑαυτοῦ и ἐκείνου (ср. аналогичный отрывок, Ксенофонт, Hellen. i, 1, 27) оба относятся к Периклесу; причем ἑαυτοῦ употреблено дважды, так что оно отражается не на субъекте действия, непосредственно предшествующем ему, а на другом субъекте, находящемся дальше позади. Опять же, iv, 99. Οἱ δὲ Βοιωτοὶ ἀπεκρίναντο, εἰ μὲν ἐν τῇ Βοιωτίᾳ εἰσὶν (οἱ Ἀθηναῖοι), ἀπιόντας ἐκ τῆς ἑαυτῶν ἀποφέρεσθαι τὰ σφέτερα- εἰ δ' ἐν τῇ ἐκείνων, αὐτοὺς γινώσκειν τὸ ποιητέον. Здесь примечательно использование ἑαυτῶν и ἐκείνων. Ἑαυτῶν относится к беотийцам, хотя афиняне являются субъектом непосредственно предшествующего действия; в то время как ἐκείνων относится к афинянам в другом случае, когда они являются субъектом непосредственно предшествующего действия. Мы почти должны были ожидать, что положение этих двух слов будет обратным. Опять же, в iv, 57, мы имеем-Καὶ τοὺτους μὲν οἱ Ἀθηναῖοι ἐβουλεύσαντο καταθέσθαι ἐς τὰς νήσους, καὶ τοὺς ἄλλους Κυθηρίους οἰκοῦντας τὴν ἑαυτῶν φόρον τέσσαρα τάλαντα φέρειν. Здесь ἑαυτῶν относится к субъекту непосредственно предшествующего действия, то есть к Κυθηρίους, а не к Ἀθηναῖοι: но когда мы обратимся к другой главе, iii, 78: οἱ δὲ Ἀθηναῖοι φοβούμενοι τὸ πλῆθος καὶ τὴν περικύκλωσιν, ἀθρόαις μὲν οὐ προσέπιπτον οὐδὲ κατὰ μέσον ταῖς ἐφ' ἑαυτοὺς τεταγμέναις (ναυσί)- мы находим ἑαυτῶν отброшенным к теме, а не непосредственно предшествующим ей. То же, iv, 47-εἰ ποὺ τίς τινα ἴδοι ἐχθρὸν ἑαυτοῦ; и ii, 95. Ὁ γὰρ Περδίκκας αὐτῷ ὑποσχόμενος, εἰ Ἀθηναίοις τε διαλλάξειεν ἑαυτὸν (то есть Пердиккас), κατ' ἀρχὰς τῷ πολέμῳ πιεζόμενον, и т. д.

Сравните также Гомера, Odys. xvii, 387. Πτωχὸν δ' οὐκ ἄν τις καλέοι, τρύξοντα ἔαυτόν; и Ксенофонт, Memorab. iv, 2, 28; i, 6, 3; v, 2, 24; Anabas. vii, 2, 10; 6, 43; Hellen. v, 2, 39.

Мне кажется, что, изучив употребление местоимения ἑαυτὸς, мы увидим основания убедиться, что в рассматриваемом нами отрывке из Фукидида, фраза οἱ Πελοποννήσιοι ἔπλεον ἐς τὴν ἑαυτῶν γῆν, не обязательно должна относиться к *Пелопоннесу*, но может в полном соответствии с аналогией означать *афинскую* землю. Я уверен, что, истолковав его таким образом, мы не подвергнем смысл такому насилию, какое схолиаст и доктор Арнольд совершили над предлогом ἐπὶ, когда схолиаст утверждает, что ἐπὶ τὴν ἑαυτῶν γῆν означает то же самое, что и παρὰ τὴν ἑαυτῶν γῆν, и когда доктор Арнольд соглашается с этим мнением, признавая, что παρὰ τὴν ἑαυτῶν γῆν, и когда доктор Арнольд соглашается с этим мнением. Арнольд признает это мнение, то лишь добавляет новое значение, которое обычно не принадлежит ἐπὶ с винительным падежом.

Возражение против предложенного мною значения может быть обосновано словом νομίσας, применяемым к Формиону. Если пелопоннесский флот плыл прямо к Наупакту, можно

возразить, что Формий не *думал*, что они плывут туда, а *видел* или *знал* об этом. Но в ответ на это мы можем заметить, что пелопоннесцы никогда не собирались нападать на Наупакт, хотя и направили свой курс к нему; на самом деле они хотели заманить Формиона в пролив и там напасть на него. Поэтому историк с полным основанием говорит, что Формион *поверил*, а не *воспринял*, что они идут туда, поскольку его мнение было бы ошибочным".

[352] Thucyd. ii, 90. Насколько узким было это спасение, видно из слов историка - τῶν δὲ ἔνδεκα μὲν αἴπερ ἡγοῦντο ὑπεκφεύγουσι τὸ κέραс τῶν Πελοποννησίων καὶ τὴν ἐπιστροφὴν, ἐς τὴν εὐρυχωρίαν.

Действия сиракузского флота против афинского в гавани Сиракуз и размышления историка о них иллюстрируют это нападение пелопоннесцев на флот Формиона (Thucyd. vii. 36).

[353] Сравните с подобной храбростью лакедемонских гоплитов при Пилусе (Thucyd. iv, 14).

[354] Thucyd. ii, 92. Достаточно очевидно, что афиняне разгромили и отогнали не только двадцать пелопоннесских кораблей правого или преследующего крыла, но также левого и центрального. В противном случае они не смогли бы вернуть те афинские корабли, которые были потеряны в начале битвы. Фукидид, правда, прямо не упоминает о том, что пелопоннесские левое и центральное крыло следовали за правым в своем преследовании к Наупакту. Но можно предположить, что частично они так и поступили, вероятно, не заботясь о порядке, так как вначале им казалось, что победа одержана. Поэтому, вероятно, они были приведены в замешательство без особого труда, когда двадцать кораблей правых были разбиты и отброшены назад, - хотя победоносных афинских трирем было не более одиннадцати.

[355] Thucyd. ii, 102, 103.

[356] Thucyd. ii, 93. ἐδόκει δὲ λαβόντα τῶν ναυτῶν ἕκαστον τὴν κώπην, καὶ τὸ ὑπηρέσιον, καὶ τὸν τροπῳτήρα, etc. Об этих словах есть интересное письмо д-ра Бишопа, опубликованное в приложении к Thucydidēs д-ра Арнольда, т. I. Его замечания по поводу ὑπηρέσιον более удовлетворительны, чем по поводу τροπῳτήρ. Независимо от того, была ли точка опоры весла образована пробоиной или вырезом на кильватере или перфорацией в борту корабля, в обоих случаях должен был потребоваться - поскольку, похоже, у весла не было ничего похожего на то, что д-р Бишоп называет *гайкой* - ремешок, чтобы предотвратить его соскальзывание вниз к воде; особенно это касается весел thranitæ, или верхнего яруса гребцов, которые тянули на такой большой высоте, сравнительно говоря, над водой. Объяснение д-ра Арнольда τροпῳτήρ подходит для случая лодки, но не для случая триремы. Д-р Бишоп показывает, что объяснение цели ὑπηρέσιον, данное схолиастом, не является истинным.

[357] Thucyd. ii, 94.

[358] Xenophon, Hellen. v. 1, 19.

[359] Thucyd. ii, 29, 95, 96.

[360] Thucyd. ii, 99.

[361] См. Ксенофонт, Анабас. vii, 3, 16; 4, 2. Диодор (xii, 50) называет доход Ситалкеса более тысячи талантов в год. Эта сумма не сильно отличается от той, которую Фукидид называет

ежегодным доходом Сеутеса, преемника Ситалкеза, - доход, как он правильно называется, и подарки, взятые вместе.

Торговцы из Парима, расположенного на азиатском побережье Пропонтиды, входят в число тех, кто приходит с подарками к одрисскому царю Медокусу (Xenophon *ut supra*).

[362] Xenoph. Anabas. I. c.

[363] Herodot. iv, 80.

[364] Xenophon, Anabas. vii, 2, 31; Thucyd. ii, 29; Aristophan. Aves, 366. Фукидид из кожи вон лезет, чтобы опровергнуть это бытующее мнение, - любопытный пример древней легенды, примененной к удобству нынешней политики.

[365] Thucyd. ii, 97. Φόρος δὲ ἐκ πάσης τῆς βαρβάρου καὶ τῶν Ἑλληνίδων πόλεων, ὅσον προσῆξαν ἐπὶ Σεύθου, ὃς ὕστερον Σιτάλκου βασιλεύσας πλείστον δὴ ἐποίησε, τετρακοσίων ταλάντων μάλιστα δύναμις, ἃ χρυσὸς καὶ ἄργυρος εἶη- καὶ δῶρα οὐκ ἐλάσσω τούτων χρυσοῦ τε καὶ ἀργύρου προσεφέρετο, χωρὶς δὲ ὅσα ὑφαντά τε καὶ λεῖα, καὶ ἡ ἄλλη κατασκευὴ, καὶ οὐ μόνον αὐτῷ ἀλλὰ καὶ τοῖς παραδυναστεύουσιν καὶ γενναίοις Ὀδρυσῶν- κατεστήσαντο γὰρ τούναντίον τῆς Περσῶν βασιλείας τὸν νόμον, ὄντα μὲν καὶ τοῖς ἄλλοις Θραξί, λαμβάνειν μᾶλλον ἢ διδόναι, καὶ αἰσχίον ἦν αἰτηθέντα μὴ δοῦναι ἢ αἰτήσαντα μὴ τυχεῖν- ὅμως δὲ κατὰ τὸ δύνασθαι ἐπὶ πλεον αὐτῷ ἐχρήσαντο- οὐ γὰρ ἦν πρᾶξι οὐδὲν μὴ διδόντα δῶρα- ὥστε ἐπὶ μέγα ἡ βασιλεία ἦλθεν ἰσχύος.

Эту всеобщую необходимость подарков и взяток можно проиллюстрировать на примере взаимоотношений Ксенофонта и кирейской армии с фракийским князем Сеутесом, описанных в "Анабасисе", vii, главы 1 и 2. Оказывается, даже в то время, 401 г. до н. э., владения Одризии, хотя и пережили смуту и были практически ослаблены, все еще простирались до окрестностей Византии. Комментируя продажность фракийцев, Схолиаст приводит любопытное сравнение со своим временем - καὶ οὐκ ἦν τι πρᾶξι παρ' αὐτοῖς τὸν μὴ διδόντα χρήματα- ὅπερ καὶ νῦν ἐν Ῥωμαίοις. Схолиаст здесь говорит нам, что в его время продажность в государственных делах в Римской империи была не менее универсальной: о каком веке Римской империи он говорит, мы не знаем: возможно, о 500-600 годах нашей эры.

Контраст, который Фукидид проводит между фракийцами и персами, также иллюстрируется тем, что Ксенофонт говорит о привычках младшего Кира: (Anabas. i, 9, 22): сравните также роман Cyropædia, viii, 14, 31, 32.

[366] См. Gatterer (De Herodoti et Thucydidis Thraciâ), sects. 44-57; Поппо (Prolegom. ad Thucydidem), т. ii, гл. 31, о географии этого региона, которая очень плохо известна даже в наше время. Мы едва ли можем претендовать на то, чтобы определить местонахождение этих древних имен.

Фукидид в своих кратких сообщениях об этом походе Ситалкеса говорит как человек, имеющий хорошую информацию о внутренних районах; как и должно быть, благодаря своему знакомству с побережьем и резидентскому владению Фракией (Thucyd. ii, 100; Herodot. v, 16).

[367] Thucyd. ii, 100; Xenophon, Memorab. iii, 9, 2.

[368] Thucyd. ii, 101. ἐπειδὴ οἱ Ἀθηναῖοι οὐ παρῆσαν ταῖς ναυσὶν, ἀπιστοῦντες αὐτὸν μὴ ἥξειν и т. д.

[369] Thucyd. ii, 101.

[370] Thucyd. iii, 1.

[371] Aristotel. Politic. v, 2, 3. Факт в отношении Доксандра, о котором здесь говорится, изложен Аристотелем, и нет причин сомневаться в его истинности. Но Аристотель приводит его в качестве иллюстрации к общему положению о том, что частные ссоры главных граждан часто становятся причиной больших несчастий для всего государства. Он представляет Доксандра и его частную ссору как причину недовольства Митилены афинянами и войны с Афинами - Δόξανδρος-ἤρξε τῆς στάσεως, καὶ παρώξυνε τοὺς Ἀθηναίους, πρόξενος ὢν τῆς πόλεως.

Имея перед собой рассказ Фукидида, мы можем сказать, что это неверная концепция, что касается *причины* войны, - хотя сам по себе факт может быть вполне правдивым.

[372] Thucyd. iii, 2.

[373] Thucyd. iii, 3.

[374] Thucyd. iii, 3, 4: сравните Strabo, xiii, p. 617; и Plehn, Lesbiaca, pp. 12-18.

Фукидид говорит о том, что место в устье северной гавани называлось Малеа, что, несомненно, также было названием юго-восточного мыса Лесбоса. Поэтому мы должны предположить, что на побережье Лесбоса было два места, носивших это название.

Самый восточный из двух южных мысов Пелопоннеса также назывался мысом Малеа.

[375] Thucyd. iii, 6.

[376] Thucyd. iii, 18.

[377] Thucyd. iii, 9.

[378] Thucyd. iii, 10. μηδέ τῳ χείρους δόξωμεν εἶναι, εἰ ἐν τῇ εἰρήνῃ τιμώμενοι ὑπ' αὐτῶν ἐν τοῖς δεινοῖς ἀφιστάμεθα.

Язык, на котором посланники Митиленеи описывают обращение, которому подвергся их город со стороны Афин, по существу, столь же силен, как и тот, который Клеон использует впоследствии в своей речи в Афинах, когда он упрекает их в неблагодарности, - Клеон говорит (iii, 39), αὐτόνομοί τε οἰκοῦντες, καὶ τιμώμενοι ἐς τὰ πρῶτα ὑφ' ἡμῶν, τοιαῦτα εἰργάσαντο, и т. д.

[379] Thucyd. iii, 12. οὐ μέντοι ἐπὶ πολὺ γ' ἂν ἔδοκοῦμεν δυνηθῆναι (περιγίγνεσθαι), εἰ μὴ ὁ πόλεμος ὅδε κατέστη, παραδείγμασι χρώμενοι τοῖς ἐς τοὺς ἄλλους. Τίς οὖν αὐτῇ ἡ φιλία ἐγίγνετο ἢ ἐλευθερία πιστῇ, ἐν ᾗ παρὰ γνώμην ἀλλήλους ὑπεδεχόμεθα, καὶ οἱ μὲν ἡμᾶς ἐν τῷ πολέμῳ δεδιότες ἐθεράπευον, ἡμεῖς δὲ ἐκείνους ἐν τῇ ἡσυχίᾳ τὸ αὐτὸ ἐποιοῦμεν.

[380] Thucyd. iii, 11. Αὐτόνομοι δὲ ἐλείφθημεν οὐ δι' ἄλλο τι ἢ ὅσον αὐτοῖς ἐς τὴν ἀρχὴν εὐπρεπεῖα τε λόγου, καὶ γνώμης μᾶλλον ἐφόδῳ ἢ ἰσχύος, τὰ πράγματα ἐφαίνετο καταληπτὰ. Ἄμα μὲν γὰρ μαρτυρίῳ ἐχρῶντο, μὴ ἂν τοὺς γε ἰσοψήφους ἄκοντας, εἰ μὴ τι ἡδίκουν οἷς ἐπῆσαν, ξυστρατεύειν.

[381] Thucyd. iii, 13.

[382] Thucyd. iii, 13, 14.

[383] Thucyd. i, 144. Καὶ ὅταν κάκεῖνοι (лакедемоняне) ταῖς αὐτῶν ἀποδῶσι πόλεσι, μὴ σφίσι τοῖς Λακεδαιμονίοις ἐπιτηδείως αὐτονομεῖσθαι, ἀλλ' αὐτοῖς ἐκάστοις, ὥς βούλονται.

О заложниках, удерживаемых Спартой за верность своих союзников, см. Thucyd. v, 54, 61.

[384] Thucyd. iii, 7-16.

[385] Thucyd. iii, 15, 16.

[386] Thucyd. iii, 7.

[387] Thucyd. iii, 17. Καὶ κατὰ τὸν χρόνον τοῦτον, ὃν αἱ νῆες ἔπλεον, ἐν τοῖς πλείστοι δὴ νῆες ἅμ' αὐτοῖς ἐνεργοὶ κάλλει ἐγένοντο, παραπλήσiai δὲ καὶ ἔτι πλείους ἀρχομένου τοῦ πολέμου. Τὴν τε γὰρ Ἀττικὴν καὶ Εὐβοίαν καὶ Σαλαμίνα ἑκατὸν ἐφύλασσον, καὶ περὶ Πελοπόννησον ἑτεραι ἑκατὸν ἦσαν, χωρὶς δὲ αἱ περὶ Ποτίδαιαν καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις χωρίοις, ὥστε αἱ πᾶσαι ἅμα ἐγίγνοντο ἐν ἐνὶ θέρει διακόσαι καὶ πεντήκοντα. Καὶ τὰ χρήματα τοῦτο μάλιστα ὑπανάλωσε μετὰ Ποτιδαίας καὶ др.

Я постарался как можно лучше передать этот неясный и трудный отрывок; трудный и с точки зрения грамматики, и с точки зрения смысла, и не получивший удовлетворительного объяснения ни у одного из комментаторов, - если, конечно, его можно считать таким, каким его написал Фукидид. В предыдущей главе он упоминал, что этот флот из ста парусов был укомплектован в основном из граждан класса гоплитов (iii, 16). Теперь мы знаем из других отрывков его работы (см. v, 8; vi, 31), как сильно различались внешний вид и эффективность вооружения в зависимости от класса граждан, служивших на нем. Тогда мы можем отнести слово κάλλος к совершенству экипировки, которая из этого вытекает: Хотелось бы, правда, чтобы можно было привести какой-нибудь пример κάλλος в этом смысле, но мы находим прилагательное κάλλιστος (Thucyd. v, 60) στρατόπεδον γὰρ δὴ τοῦτο κάλλιστον Ἑλληνικὸν τῶν μέχρι τοῦδε ξυνῆλθεν. В v, 8 Фукидид использует слово ἀξίωμα для обозначения того же значения; а в vi, 31 он говорит: παρασκευὴ γὰρ αὐτῇ πρώτη ἐκπλεύσασα μιᾷς πόλεως δυνάμει Ἑλληνικῇ πολυτελεστάτῃ δὴ καὶ εὐπρεπεστάτῃ τῶν εἰς ἐκεῖνον τὸν χρόνον ἐγένετο. Можно отметить, что и в этой главе он сравнивает экспедицию против Сицилии с двумя другими афинскими экспедициями, равными ей по численности, но уступающими по оснащению: то же самое сравнение, которое, как я полагаю, он имеет в виду в этом отрывке.

[388] Thucyd. iii, 19.

[389] Thucyd. iii, 20. Сравните Ксенофонт, Hellen. ii, 4, 19; Геродот. ix, 37; Плутарх, Аратус, с. 25.

[390] Thucyd. iii, 22. Д-р Арнольд в своем примечании истолковывает этот отрывок так, будто правая или левая нога с наименьшей вероятностью поскользнется в грязи, а левая или обутая - с наибольшей. Схолиаст и Васса придерживаются противоположного мнения, которое, безусловно, является более очевидным смыслом текста, хотя смысл доктора Арнольда также может быть принят. Голая нога может поскользнуться в грязи, и ее легко можно уменьшить, надев сандалии или покрытие, специально приспособленное для этой цели. Кроме того, Васса справедливо замечает, что воин, который должен использовать свою правую руку, должен иметь твердо поставленную левую ногу.

[391] Thucyd. iii, 22. φρυκτοὶ τε ἦροντο ἐς τὰς Θήβας πολέμιοι, etc. Из этого утверждения следует, что блокадники, должно быть, часто имели привычку передавать информацию в Фивы с помощью огненных сигналов; каждое конкретное сочетание огней имело более или менее особое значение. Плутарх заметил это и предвидели, что в ночь нападения будет использовано то же средство, чтобы немедленно вызвать помощь из Фив. Если бы они не заметили этого раньше, то не смогли бы подготовиться к тому моменту, когда будет поднят новый сигнал, чтобы спутать его значение - ὅπως ἀσαφῆ τὰ σημεῖα ἦ.....

Сравните iii, 80. Я согласен с общим мнением, изложенным в заметке д-ра Арнольда об этих огненных сигналах, и даже думаю, что его можно было бы поддержать более решительно.

"Non enim (замечает Цицерон, в пятой оратории против Верреса, с. 36), sicut erat nuper consuetudo, prædonum adventum significabat *ignis è speculà sublati aut tumulo*: sed flamma ex ipso incendio navium et calamitatem acceptam et periculum reliquum nuntiabat."

[392] Thucyd. iii, 24. Диодор (xii, 56) дает краткое изложение этих фактов, не отличающееся ни новизной, ни живостью.

[393] Thucyd. iii, 25, 26.

[394] Thucyd. iii, 27. ὁ Σάλαιθος, καὶ αὐτὸς οὐ προσδεχόμενος ἔτι τὰς ναῦς, ὀπλίζει τὸν δῆμον, πρότερον ψιλὸν ὄντα, ὡς ἐπεξιὼν τοῖς Ἀθηναίοις.

[395] Thucyd. iii, 28.

[396] Thucyd. iv, 34. τῇ γνώμῃ δεδουλωμένοι ὡς ἐπὶ Λακεδαιμονίου.

[397] Thucyd. iv, 75.

[398] Thucyd. iii, 32, 33-69.

[399] Thucyd. v, 56. Ἀργεῖοι δ' ἐλθόντες παρ' Ἀθηναίους ἐπεκάλουν ὅτι, γεγραμμένον ἐν ταῖς σπονδαῖς διὰ τῆς ἐαυτῶν ἐκάστους μὴ ἔαν πολεμίους διένειναι, ἐάσειαν κατὰ θάλασσαν (Λακεδαιμονίου) παραπλεῦσαι.

Мы видим, что море здесь рассматривается как часть афинской территории; и даже часть моря вблизи Пелопоннеса, - гораздо больше, что на побережье Ионии.

[400] Thucyd. iii, 33.

[401] Раздоры между Нотием и Колофоном отмечает Аристотель. Politic. v, 3, 2.

[402] Thucyd. iii, 34.

[403] Thucyd. iii, 34; C. A. Pertz, Colophoniaca, p. 36. (Göttingen, 1848.)

[404] Thucyd. v, 43. Ἀλκιβιάδης-ἀνὴρ ἡλικία μὲν ὦν ἔτι τότε νέος, ὡς ἐν ἄλλῃ πόλει, ἀξιώματι δὲ προγόνων τιμώμενος. Сравните Ксенофонт, Memorabil. i, 2, 25; iii, 6, 1.

[405] Aristophan. Equit. 130, seqq., и Scholia; Eupolis, Demi, Fram. xv, p. 466, ed. Meineke. См. замечания в Ranck, Commentat. de Vitâ Aristophanis, p. cccxxiv, seqq.

[406] Thucyd. iii, 36. Κλέων-ὦν καὶ ἐς τὰ ἄλλα βιαίτατος τῶν πολιτῶν, καὶ τῷ δήμῳ παραπολὺ ἐν τῷ τότε πιθανώτατος.

Он также упоминает Клеона во второй раз, через два года после этого, но в выражениях, которые, кажется, также подразумевают первое знакомство, - μάλιστα δὲ αὐτοὺς ἐνῆγε Κλέων ὁ Κλεαινέτου, ἀνὴρ δημαγωγὸς κατ' ἐκείνον τὸν χρόνον ὦν καὶ τῷ πλήθει πιθανώτατος, iv, 21-28, также v, 16. Κλέων-νομίζων καταφανέστερος ἂν εἶναι κακουργῶν, καὶ ἀπιστότερος διαβάλλων, и т. д.

[407] Плутарх, Периклес, с. 33. Ἐπεφύετο δὲ καὶ Κλέων, ἥδη διὰ τῆς πρὸς ἐκείνον ὀργῆς τῶν πολιτῶν πορευόμενος εἰς τὴν δημαγωγίαν.

Периклес был δηχθεὶς αἴθωνι Κλέωνι - по словам комического автора Гермиппа.

[408] Aristophan. Equit. 750.

[409] Thucyd. iii, 36. προσξυνεβάλετο οὐκ ἐλάχιστον τῆς ὀρμῆς, etc.

[410] Это общее число я определяю на основании того, что число посланных в Афины Пахезом, как главных зачинщиков, было скорее больше тысячи (Thucyd. iii, 50). Общее число ἡβῶντες, или мужчин военного возраста, должно было быть (как я полагаю) в шесть раз больше этого числа.

[411] Thucyd. iii, 36.

[412] Thucyd. iii, 36. Καὶ τῇ ὑστεραίᾳ μετάνοιά τις εὐθύς ἦν αὐτοῖς καὶ ἀναλογισμὸς, ὥμὸν τὸ βούλευμα καὶ μέγα ἐγνώσθαι, πόλιν ὅλην διαφθεῖραι μᾶλλον ἢ οὐ τοὺς αἰτίους.

Чувства моряков, находившихся на триreme, назначенной для перевозки приказа о казни, служат в этом случае ярким доказательством: τῆς προτέρας νεῶς οὐ σπουδῇ πλεούσης ἐπὶ πρῶγμα ἀλλόκοτον, etc. (iii, 50).

[413] Thucyd. iii, 36. Что касается незаконности, см. Thucyd. vi, 14, что, как мне кажется, является хорошим доказательством того, что незаконность имела место. Я согласен с Шеманном в этом вопросе, несмотря на сомнения доктора Арнольда.

[414] Thucyd. iii, 37. οἱ μὲν γὰρ τῶν τε νόμων σοφώτεροι βούλονται φαίνεσθαι, τῶν τε ἀεὶ λεγομένων ἐς τὸ κοινὸν περιγίγνεσθαι ... οἱ δ' ἀπιστοῦντες τῇ ἐαυτῶν ξυνέσει ἀμαθέστεροι μὲν τῶν νόμων ἀξιοῦσιν εἶναι, ἀδυνατώτεροι δὲ τοῦ καλῶς εἰπόντος μέμψασθαι λόγον.

Сравните язык Архидама в Спарте на конгрессе, где он ставит в заслугу спартамцам то, что они ἀμαθέστερον τῶν νόμων τῆς ὑπεροψίας παιδευόμενοι, etc. (Thucyd. i, 84) - очень похожий по духу на замечания Клеона об афинянах.

[415] Thucyd. iii, 40. μηδὲ τρισὶ τοῖς ἀξυμφορωτάτοις τῇ ἀρχῇ, οἴκτῳ, καὶ ἡδονῇ λόγων, καὶ ἐπιεικείᾳ, ἀμαρτάνειν.

[416] Thucyd. iii, 40. πειθόμενοι δὲ ἐμοὶ τά τε δίκαια ἐς Μυτιληναίους καὶ τὰ ξύμφορα ἅμα ποιήσετε- ἄλλως δὲ γνόντες τοῖς μὲν οὐ χαριεῖσθε, ὑμᾶς δὲ αὐτοὺς μᾶλλον δικαιώσεσθε.

[417] Thucyd. iii. 48: сравните речь Клеона. iii, 40. ὑμεῖς δὲ γνόντες ἀμείνῳ τάδε εἶναι, καὶ μήτε οἴκτῳ πλέον νείμαντες μήτε ἐπιεικείᾳ, οἷς οὐδὲ ἐγὼ ἐῷ προσάγεσθαι, ἀπ' αὐτῶν δὲ τῶν παραινουμένων и др.

Доктор Арнольд отличает οἶκτος (или ἔλεος) от ἐπιεικεία, говоря, что "первое - это чувство, второе - привычка: οἶκτος, жалость или сострадание, может иногда тронуть тех, кто в целом очень далек от ἐπιεικεῖς-мягкости или нежности. Ἐπιεικεία относится ко всем людям, -οἶκτος - к отдельным людям". Проведенное здесь различие, конечно, само по себе справедливо, и ἐπιεικῆς иногда имеет то значение, которое приписывает ему доктор Арнольд: но в данном отрывке, как мне кажется, оно имеет другое значение. Контраст между οἶκτος и ἐπιεικεία - как объясняет их доктор Арнольд - был бы слишком слабым и слишком слабо выраженным, чтобы служить целям Клеона и Диедота. Ἐπιεικεία здесь скорее означает склонность не уступать в своих правах; дух справедливости и приспособления; уступка с вашей стороны, которая может быть вознаграждена уступкой со стороны вашего противника: сравните Thucyd. i, 76; iv, 19; v, 86; viii, 93.

[418] Thucyd. iii, 44. ἐγὼ δὲ παρῆλθον οὔτε ἀντερῶν περὶ Μυτιληναίων οὔτε κατηγορήσων- οὐ γὰρ περὶ τῆς ἐκείνων ἀδικίας ἡμῖν ὁ ἀγὼν, εἰ σωφρονοῦμεν, ἀλλὰ περὶ τῆς ἡμετέρας εὐβουλίας ...

δικαιότερος γὰρ ὢν αὐτοῦ (Κλέωνος) ὁ λόγος πρὸς τὴν νῦν ὑμετέραν ὀργὴν ἐς Μυτιληναίους, τάχα ἂν ἐπισπάσαιτο- ἡμεῖς δὲ οὐ δικάζομεθα πρὸς αὐτοὺς, ὥστε τῶν δικαίων δεῖν, ἀλλὰ βουλευόμεθα περὶ αὐτῶν, ὅπως χρησίμως ἔξουσιν.

Так, г-н Берк в своей речи о примирении с Америкой (Burke's Works, vol. iii. pp. 69-74), обсуждая предложение о преследовании действий непримиримых колоний как преступных, сказал: "Эта вещь кажется слишком большой для моих представлений о юриспруденции. С моей точки зрения, должно казаться, что существует большая разница в разуме и политике между тем, как действовать в отношении нерегулярного поведения разрозненных индивидуумов или даже групп людей, нарушающих порядок внутри государства, - и гражданскими разногласиями, которые время от времени могут будоражить несколько общин, составляющих великую империю. Мне кажется узким и педантичным применять обычные представления об уголовном правосудии к этому большому общественному состязанию. Я не знаю метода составления обвинительного акта против целого народа" и т. д. - "Мое рассмотрение узкое, ограниченное и целиком сводится к политике вопроса".

[419] Thucyd. iii, 42.

[420] Thucyd. iii, 43.

[421] Thucyd. iii, 45, 46.

[422] Сравните эту речь Диодота со взглядами на наказание, подразумеваемыми Ксенофонтom в его "Анабасисе", где он описывает правление Кира Младшего:...

"Никто не может утверждать, что Кир позволял преступникам и провинившимся смеяться над ним: он наказывал их с самой безмерной суровостью (ἀφειδέστατα πάντων ἐτιμωρεῖτο). И часто можно было видеть вдоль дорог людей, лишенных глаз, рук и ног: так что в своем государстве грек или варвар, если у него не было преступной цели, мог безбоязненно проходить и нести все, что находил удобным". (Anabasis, i, 9, 13.)

Суровость наказания, по мнению Ксенофонта, является мерилom как его эффективности для отпугивания преступников, так и характера правителя, его назначающего.

[423] Thucyd. iii, 47. Νῦν μὲν γὰρ ὑμῖν ὁ δῆμος ἐν πάσαις ταῖς πόλεσιν εὖνους ἐστὶ, καὶ ἡ οὐ ξυναφίσταται τοῖς ὀλίγοις, ἢ ἐὰν βιασθῇ, ὑπάρχει τοῖς ἀποστήσασι πολέμιος εὐθύς, καὶ τῆς ἀντικαθισταμένης πόλεως τὸ πλῆθος ξύμμαχον ἔχοντες ἐς πόλεμον ἐπέρχεσθε.

[424] Thucyd. iii, 48.

[425] Thucyd. iii, 49. ἐγένοντο ἐν τῇ χειροτονίᾳ ἀγχώμαλοι, ἐκράτησε δ' ἡ τοῦ Διοδότου.

[426] Thucyd. iii, 49. παρὰ τοσοῦτον μὲν ἡ Μυτιλήνη ἦλθε κινδύνου.

[427] Thucyd. iii, 50.

[428] Thucyd. iii, 50; iv, 52. О лесбийских клерухах см. Voeckh, Public Econ. of Athens, B. iii, с. 18; Wachsmuth, Hell. Alt. i. 2, p. 36. Эти клерухи, должно быть, первоначально отправились туда в качестве гарнизона, как отмечает М. Бёкх; и, возможно, вернулись обратно, все или часть, когда понадобились для военной службы дома и когда стало ясно, что остров можно содержать и без них. Тем не менее, многое в этой схеме вызывает недоумение. Кажется удивительным, что афиняне в то время, когда их накопленные сокровища были исчерпаны и когда они начали платить прямые взносы из своей частной собственности, должны были пожертвовать пятью тысячами четырьмястами мин (девятисто талантов) годового дохода,

который мог быть присвоен государством, если только эта сумма не требовалась для содержания клерухов в качестве постоянного гарнизона для обслуживания Лесбоса. А поскольку впоследствии выяснилось, что в их пребывании не было необходимости, мы можем усомниться в том, что государство не превратило клерухийские пожалования в государственную дань, полностью или частично.

Далее можно заметить, что если представить себе клеруха как гражданина, проживающего в Афинах, но получающего ренту со своего участка земли на какой-то другой территории, то аналогия между ним и римским колонистом отпадает. Римские колонисты, хотя и сохраняли свои привилегии граждан, были посланы жить на своих земельных участках и составлять своего рода гарнизон над прежними жителями, которые были лишены части территории, чтобы освободить для них место.

См. по этому вопросу и по аналогии превосходную диссертацию Мадвига: *De jure et conditione coloniarum Populi Romani quæstio historica*, -Madwig, *Opuscul. Copenhag.* 1834. Diss. viii, p. 246.

М. Боекх и д-р Арнольд справедливо утверждают, что во время экспедиции Афин против Сиракуз и после нее (Thucyd. vii, 57; viii, 23) афинских клерухов, проживавших на Лесбосе, могло быть очень мало, если они вообще были. Мы можем даже продвинуть этот аргумент дальше и применить тот же вывод к более раннему периоду, восьмому году войны (Thucyd. iv, 75), когда митиленейские изгнанники так активно нападали на Антандр и другие города, первоначально митиленейские владения, на противоположном материке. У Афин не было под рукой сил для борьбы с этими изгнанниками, кроме ἀρχυρόλογοι νῆες, - если бы в Митилене были клерухи, они, вероятно, смогли бы победить изгнанников в их первых попытках и, несомненно, были бы среди самых важных сил для их последующего подавления, - но Фукидид не упоминает о них.

Кроме того, в оратории Антифона (*De Cæde Herod.* с. 13) нет никаких упоминаний об афинских клерухах, ни как о проживающих на острове, ни даже как об отсутствующих, получающих ежегодную ренту, о которой говорит Фукидид. Митиленский гражданин, отец оратора этой оратории, был одним из тех, кто, как он говорит, невольно был вовлечен в прошлое восстание города против Афин: после плачевного конца этого восстания он продолжал владеть своим лесбийским имуществом, а также выполнял свои обязательства (хорегические обязательства-χορηγίας) по отношению к Митилену, как и (обязательства денежного платежа-τέλη) по отношению к Афинам. Если бы соглашение, упомянутое Фукидидом, сохранялось, этот митиленский владелец ничего не платил бы городу Афины, а только арендную плату в размере двух мин какому-нибудь афинскому клеруху, или гражданину; что едва ли можно согласовать со словами оратора, как мы находим их в Антифоне.

[429] См. Эпиграммы Агафия, 57, p. 377. Agathias, ed. Bonn.

Ἑλλανὶς τριμάκαιρα, καὶ ἃ χαρίεσσα Λάμαξις,

ἦσθην μὲν πάτρας φέγγεα Λεσβιάδος.

Ὅκκα δ' Ἀθηναίησι σὺν ὄλκασιν ἔνθαδε κέλσας

τὰν Μιτυληναίων γὰρ ἀλάπαξε Πάχης,

Τᾶν κουρᾶν ἀδίκως ἡράσσατο, τὼς δὲ συνεύωνας

ἔκτανεν, ὥς τήνας τῇδε βιησόμενος.

Ταὶ δὲ κατ' Αἰγαίοιο ῥόου πλατὺ λαῖτμα φερέσθην,

καὶ ποτὶ τὰν κранаὴν Μοψοπίαν δραμέτην,

Δάμῳ δ' ἀγγελέτην ἀλιτήμονος ἔργα Πάχητος

μέσφα μιν εἰς ὅλοήν κῆρα συνηλασάτην.

Τοῖα μὲν, ὦ κούρα, πεπονήκατον- ἅψ δ' ἐπὶ πάτραν

ῆκετον, ἐν δ' αὐτᾷ κεῖσθον ἀποφθιμένα.

Εὖ δὲ πόνων ἀπόνασθον, ἐπεὶ ποτὶ σᾶμα συνεύνων

εὖδετον, ἐς κλεινᾶς μνᾶμα σαοφροσύνας-.

Ὑμνεῦσιν δ' ἔτι πάντες ὁμόφρονες ἡρώϊνας,

πάτρας καὶ ποσίων πῆματα τισαμένας.

Плутарх (Nikias, 6: ср. Plutarch, Aristeidês, с. 26) сообщает о том, что Пахес заклал себя перед дикастерией по случаю суда над ним. Πάχητα τὸν ἔλοντα Λέσβον, ὃς, εὐθύνας δίδους τῆς στρατηγίας, ἐν αὐτῷ τῷ δικαστηρίῳ σπασάμενος ξίφος ἀνεῖλεν ἑαυτὸν, и т. д.

Утверждения Плутарха и Эпиграммы настолько хорошо согласуются друг с другом, что каждое из них придает авторитет другому, и я думаю, что есть все основания доверять Эпиграмме. Самоубийство Пахеса, да еще на глазах у дикастов, подразумевает обстоятельства, сильно отличающиеся от тех, которые обычно выдвигаются в качестве обвинения против полководца на суде: оно подразумевает интенсивность гнева многочисленных дикастов, превышающую ту, которую могли бы вызвать акты казнокрадства, и такую, которая могла бы поразить виновного человека невыносимыми угрызениями совести и унижением. История о Ламаксисе и Элланисе как раз и должна была вызвать такие бурные эмоции у афинских дикастов. Более того, слова эпиграммы -μέσφα μιν εἰς ὅλοήν κῆρα συνηλασάτην - как раз применимы к смерти, причиненной самому себе. Кроме того, из эпиграммы следует, что даже во времена Агафия (550 г. н. э. - царствование Юстиниана) в Митилеке должен был сохраниться надгробный памятник в память об этом инциденте.

Шнайдер (ad Aristotel. Politic. v, 3, 2) ошибочно отождествляет эту историю с историей Доксандра и двух ἐπίκληροι, которых он хотел получить в жены для своих двух сыновей.

[430] Thucyd. v, 17.

[431] Thucyd. iii, 52. προσπέμπει δ' αὐτοῖς κήρυκα λέγοντα, εἰ βούλονται παραδοῦναι τὴν πόλιν ἐκόντες τοῖς Λακεδαιμονίοις, καὶ δικασταῖς ἐκείνοις χρήσασθαι, τοὺς τε ἀδίκους κολάζειν, παρὰ δίκην δὲ οὐδένα.

[432] Pausan. iii, 9, 1.

[433] Thucyd. iii, 60. ἐπειδὴ καὶ ἐκείνοις *παρὰ γνώμην τὴν αὐτῶν μακρότερος* λόγος ἐδόθη τῆς πρὸς τὸ ἐρώτημα ἀποκρίσεως. αὐτῶν здесь означает *фиванцев*.

[434] См. об этом в Orat. xiv, называемом Λόγος Πλαταϊκός, Исократеса, р. 308, sect. 62.

Вся эта оратория интересна для прочтения в качестве иллюстрации к новым страданиям платейцев спустя около пятидесяти лет после этого захвата".

[435] Thucyd. iii, 54-59. Дионисий Галикарнасский особенно высоко оценивает речь платейского оратора (De Thucyd. Hist. Judic. p. 921). Соглашаясь с ним в отношении ее достоинств, я не разделяю высказанного им мнения о том, что она менее художественно составлена, чем другие ораторские речи, которые он считает более низкими.

Мистер Митфорд сомневается, можно ли считать эти две оратории приближенными к тому, что действительно было произнесено по этому случаю. Но мне кажется, что средства, которыми располагал Фукидид, чтобы узнать, что на самом деле было сказано на этой сцене перед захваченной Платеей, должны были быть значительными и удовлетворительными: Поэтому я полностью доверяю им, как и большинству других его проповедей, *в том, что касается сути.*

[436] Thucyd. iii, 65.

[437] Thucyd. iii, 66. τὰ πάντων Βοιωτῶν πατρίαι-iii, 62. ἔξω τῶν ἄλλων Βοιωτῶν παραβαίνοντες τὰ πατρίαι.

[438] Thucyd. iii, 61-68. Вероятно, убийство фиванских пленников, взятых в городе Платея, было совершено платейцами в нарушение договора, заключенного с фиванцами, и поэтому фиванцы действительно имели основания жаловаться. Однако в отношении этой конвенции существовали две противоречивые истории, между которыми Фукидид не определился: см. Thucyd. ii, 3, 4, и эту Историю, выше, [гл. xlviii](#).

[439] Thucyd. iii, 68; ii, 74. Толковать первый из этих отрывков (iii, 68) в его нынешнем виде очень трудно, если не невозможно; мы можем лишь попытаться передать то, что кажется его существенным смыслом.

[440] Диодор (xii, 56) в своем скудном отрывке об осаде и судьбе Платеи несколько усиливает краткость и простоту изложения вопроса, приведенного Фукидидом.

[441] Thucyd. iii, 57. ὑμᾶς δὲ (вы, спартанцы) καὶ ἐκ παντὸς τοῦ Ἑλληνικοῦ πανοικησίᾳ διὰ Θηβαίου (Плᾶταιαν) ἐξαλεῖψαι.

[442] Thucyd. iii, 69.

[443] Демосфен - или Псевдо-Демосфен - в оратории против Неэры (p. 1380, с. 25), говорит, что блокада Платеи продолжалась десять лет, прежде чем она сдалась, - ἑπολιόρκουιν αὐτοῦς διπλῶ τείχει περὶ τεύχισαντες δέκα ἔτη. То, что реальная продолжительность блокады составляла всего *два* года, совершенно несомненно: соответственно, несколько выдающихся критиков - Пальмериус, Васс, Дюкер, Тейлор, Оже и т. д. - в один голос предписывают нам исправить текст Демосфена с δέκα на δύο. "*Repone fidenter δύο*", - говорит Дюкер.

Я уже протестовал против исправлений текста древних авторов, основанных на причине, которую все эти критики считают столь очевидной и убедительной; и я должен снова возобновить этот протест здесь. Это показывает, насколько мало размышляли над принципами исторических доказательств, если критики могут так единодушно принуждать несогласных свидетелей к гармонии и подменять истинное утверждение своим собственным вместо ошибочного, которое дает им один из этих свидетелей. И в данном случае принцип,

принятый этими критиками, тем менее оправдан, что Псевдо-Демосфен вводит множество других ошибок и неточностей в отношении Платеи, помимо его ошибки о продолжительности осады. Десятилетняя осада Трои постоянно присутствовала в воображении этих литературных греков.

[444] Thucyd. iii, 59.

[445] Thucyd. iii, 69. σχεδὸν δέ τι καὶ τὸ ξύμπαν περὶ Πλαταιῶν οἱ Λακεδαιμόνιοι οὕτως ἀποτετραμμένοι ἐγένοντο Θηβαίων ἔνεκα, νομίζοντες ἐς τὸν πόλεμον αὐτοὺς ἄρτι τότε καθιστάμενον ὠφελίμους εἶναι.

[446] См. выше, гл. xlvii.

[447] Thucyd. i, 55.

[448] Thucyd. iii, 70: сравните Diodor. xii, 57.

[449] Thucyd. i, 44.

[450] Thucyd. ii, 25.

[451] Thucyd. iii, 70. φάσκων τέμνειν χάρακας ἐκ τοῦ τε Διὸς τεμένους καὶ τοῦ Ἀλκίνου- ζημία δὲ καθ' ἐκάστην χάρακα ἐπέκειτο στατήρ.

Настоящее время τέμνειν, по-видимому, указывает на то, что они продолжали привычно использовать деревья в роще для этой цели. Вероятно, именно эта рубка и крепление кольев для поддержки виноградных лоз подразумевается под словом χαρακισμός в Pherekratês. Pers. ap. Athenæum, vi, p. 269.

Орация Лисия (Or. vii) против Никомаха, ὑπὲρ τοῦ σηκοῦ ἀπολογία, иллюстрирует это обвинение, выдвинутое Пейтиасом в Коркире. Недалеко от Афин находились древние оливковые деревья, освященные и охраняемые законом, так что владельцам земли, на которой они стояли, запрещалось вырывать их или копать так близко, чтобы повредить корни. Оратор в этой речи защищает себя от обвинения в том, что он выкорчевал одно из таких деревьев и продал древесину. Похоже, что существовали общественные посетители, в чьи обязанности входило следить за этими старыми деревьями: см. примечание Маркланда к этой оратории, стр. 270.

[452] Thucyd. iii, 71. ὥς δὲ εἶπον, καὶ ἐπικυρῶσαι ἡνάγκασαν τὴν γνώμην.

[453] Thucyd. iii, 71. καὶ τοὺς ἐκεῖ καταπεφευγότας πείσοντας μηδὲν ἀνεπιτήδειον πράσσειν, ὅπως μή τις ἐπιστροφὴ γένηται.

[454] Thucyd. iii, 80.

[455] Thucyd. iii, 74, 75.

[456] Thucyd. iii, 75, 76.

[457] Thucyd. iii, 69-76.

[458] Эти две триремы были с Пахесом на Лесбосе (Thucyd. iii, 33), а по возвращении оттуда, должно быть, были отправлены к Никострату в Наупактус. Мы видим, в какой постоянной службе они находились.

[459] Thucyd. iii, 77, 78, 79.

[460] Thucyd. iii, 80.

[461] Thucyd. iii, 80, 81. καὶ ἐκ τῶν νεῶν, ὅσους ἔπεισαν ἐσβῆναι, ἐκβιβάζοντες ἀπεχώρησαν. Несомненно, что чтение ἀπεχώρησαν здесь должно быть неправильным: из него нельзя извлечь никакого удовлетворительного смысла. Д-р Арнольд заменяет слово ἀνεχρῶντο; Гёллер предпочитает ἀπεχρῶντο; другие рекомендуют ἀπεχρήσαντο; Герман принимает ἀπεχώρισαν, а Дионисий, в своей копии, читает ἀνεχώρησαν. Я придерживаюсь значения слов, предложенных д-ром Арнольдом и Гёллером, которые, по-видимому, оба эквивалентны ἐκτεῖνον. Это значение, по крайней мере, правдоподобно и непротиворечиво; хотя я не чувствую уверенности в том, что мы имеем истинный смысл отрывка.

[462] Thucyd. iii, 81. οἱ δὲ πολλοὶ τῶν ἰκετῶν, ὅσοι οὐκ ἐπείσθησαν, ὡς ἐύρων τὰ γινόμενα, διέφθειραν αὐτοῦ ἐν τῷ ἱερῷ ἀλλήλους, etc. Скучное сокращение Диодора (xii, 57), касающееся этих событий в Коркире, едва ли заслуживает внимания.

[463] Thucyd. iii, 85. Οἱ μὲν οὖν κατὰ τὴν πόλιν Κερκυραῖοι τοιαύταις ὀργαῖς ταῖς πρώταις ἐς ἀλλήλους ἐχρήσαντο, etc.

[464] Читая рассказ о поведении Никострата, как и Формиона, в морских сражениях предыдущего лета, мы испытываем личный интерес к ним обоим. Похоже, Фукидид не предполагал, что его рассказ вызовет такое чувство в умах читателей, иначе он, вероятно, упомянул бы что-нибудь, чтобы удовлетворить его. Что касается Формиона, то его упущение тем более примечательно, что из просьбы акарнанцев прислать его сына в качестве полководца мы можем сделать вывод, что он должен был умереть или стать инвалидом: однако историк не говорит об этом прямо (iii, 7).

Схолиаст об Аристофане (Рас. 347) рассказывает, что акарнанцы просили Формиона, но он не мог служить, так как в тот момент был приговорен к большому штрафу, который не мог заплатить: поэтому афиняне придумали способ избежать штрафа, чтобы он мог служить. Трудно понять, как это можно согласовать с историей Фукидида, который говорит, что сын Формиона отправился вместо своего отца.

Сравните Мейнеке, *Histor. Critic. Comicc. Græc.* vol. i, p. 144, и Фрагмент. *Eupolid.* vol. ii, p. 527. Формион был представлен как главный герой Ταξίαρχοι Евполида; как храбрый, грубый, прямолинейный солдат, чем-то похожий на Ламаха, в "Ахарнее" Аристофана.

[465] Thucyd. iii, 85.

[466] Thucyd. iii, 82. γινόμενα μὲν καὶ αἰεὶ ἐσόμενα ἕως ἂν ἡ αὐτὴ φύσις ἀνθρώπων ᾗ, μᾶλλον δὲ καὶ ἡσυχαιτέρα καὶ τοῖς εἶδεσι διηλλαγμένα, ὡς ἂν ἕκασται αἱ μεταβολαὶ τῶν ξυντυχῶν ἐφιστῶνται, etc.

Множество неясностей и недоразумений в построении, которыми проникнуты эти памятные главы, знакомы всем читателям Фукидида, начиная с Дионисия Галикарнасского, чьи замечания о них достаточно суровы (*Judic. de Thucyd.* p. 883). Обсуждение трудностей, которые лучшие комментаторы иногда не в состоянии удовлетворительно объяснить, не входит в задачу этой работы: тем не менее, есть одно предложение, которое я осмелюсь заметить, как ошибочно истолкованное большинством из них, следуя Схолиасту.

Τὸ δ' ἐμπλήκτως ὅζῳ ἀνδρὸς μοίρα προσετέθη, ἀσφάλεια δὲ (доктор Арнольд и другие читают ἀσφαλεία в дательном) τὸ ἐπιβουλεύσασθαι, ἀποτροπῆς πρόφασις εὐλογος.

Схолиаст объясняет вторую половину так: τὸ ἐπιτολὴν βουλευσασθαι δι' ἀσφάλειαν πρόφασιν ἀποτροπῆς ἐνομίζετο, - и это объяснение частично принято Поппо, Гёллером и др. Арнольд, с разногласиями относительно ἀσφάλεια и ἐπιβουλευσασθαι, но все согласны относительно слова ἀποτροπῆ, так что предложение, по словам доктора Арнольда, означает: "Но безопасно согласовать меры против врага, считалось лишь достойным предлогом для отказа от поединка с ним вообще".

Теперь значение, которое здесь приписывается ἀποτροπῆ, является тем, которое ему не принадлежит. Ἀποτροπῆ, как в Фукидиде, так и в других местах, не означает "отказ от состязания": оно имеет активный смысл и означает "сдерживание, предотвращение или отговаривание другого человека от чего-то, что он может быть склонен сделать, - или предотвращение какой-то угрожающей опасности или зла": "От него происходит замечательное прилагательное ἀποτροπαῖος, а προτροπῆ, в риторике, является его противоположным термином. У Фукидида оно употребляется в этом активном смысле (iii, 45): ср. также Платон, Legg. ix, с. 1, р. 853; Исократес, Areopagatic. Or. vii, р. 143, sect. 17; Æschinês cont. Ktesiphon. с. 68, р. 442: Æschyl. Pers. 217; комментаторы также не приводят ни одного отрывка, подтверждающего пассивный смысл, который они приписывают ему в обсуждаемом здесь предложении, где они сделали бы его эквивалентным ἀναχωρεῖν-ἀναχώρησις или ἐξαναχωρεῖν (Thucyd. iv, 28; v, 65), "отступление".

Придавая ἀποτροπῆ то значение, которое они делают, комментаторы далее неизбежно оказываются в затруднении, как толковать ἀσφάλεια δὲ τὸ ἐπιβουλευσασθαι, как видно из примечаний Поппо, Гёллера и доктора Арнольда. Схолиаст и Гёллер придают слову ἐπιβουλευσασθαι очень необычное значение "многократное и тщательное обдумывание", вместо его обычного значения "закладывание ловушек для другого, согласование тайных мер враждебности": а Поппо и д-р. Арнольд изменяют ἀσφάλεια в дательный падеж ἀσφαλείᾳ, который, если бы он был понят как управляемый προσετέθη, мог бы составить справедливую конструкцию, -но которую они толкуют вместе с τὸ ἐπιβουλευσασθαι, хотя положение частицы δὲ, при таком предположении, кажется мне необычайно неудобным.

Большая трудность в толковании этого предложения возникает из-за ошибочного значения, придаваемого слову ἀποτροπῆ. Но когда мы истолкуем это слово как "сдерживание, или предотвращение", в соответствии с примерами, которые я привел, весь смысл предложения станет ясным и последовательным. Из двух способов причинения вреда врагу - 1. насильственное и открытое нападение; 2. тайные маневры и заговоры - Фукидид отмечает сначала, что думали о первом; затем, что думали о втором, в том извращенном состоянии морали, которое он обсуждает.

Τὸ δ' ἐμπλήκτως ὅξυ ἀνδρὸς μοίρᾳ προσετέθη-ἀσφάλεια δὲ τὸ ἐπιβουλευσασθαι, ἀποτροπῆς πρόφασιν εὐλόγος.

"Резкое и безрассудное нападение считалось одним из необходимых качеств мужественного характера: тайный сговор против врага считался безопасной предосторожностью, т. е. благовидным предлогом, чтобы помешать ему сделать то же самое".

Согласно этой конструкции, τὸ ἐπιβουλευσασθαι является субъектом; ἀσφάλεια относится к предикату, а заключительные слова, ἀποτροπῆς πρόφασιν εὐλόγος, являются эпексгезисом, или пояснительным комментарием, к ἀσφάλεια. Вероятно, мы должны считать, что под этим словом следует понимать некое ἐνομίζετο, - именно так, как понимает это слово схолиаст для своего взгляда на предложение.

[467] См. ценное предварительное рассуждение, приложенное к изданию "Теогниса" Велькера, стр. xxi, разд. 9, seq.

[468] Aristotel. Politic. v. 7, 19. Καὶ τῷ δήμῳ κακόνους ἔσομαι, καὶ βουλευέσω ὅ,τι ἂν ἔχω κακόν.

[469] Thucyd. iii, 51. См. примечание д-ра Арнольда и план, помещенный в его работе, для топографии Миноа, который теперь перестал быть островом и представляет собой холм на материке недалеко от берега.

[470] Плутарх, Никиас, с. 2, 3.

[471] Καίτοι ἔγωγε καὶ τιμῶμαι ἐκ τοῦ τοιοῦτου (говорит Никиас, в афинском собрании, Thucyd. vi, 9) καὶ ἥσσον ἐτέρων περὶ τῷ ἑαυτοῦ σώματι ὁρῶδῶ- νομίζων ὁμοίως ἀγαθὸν πολίτην εἶναι, ὃς ἂν καὶ τοῦ σώματός τι καὶ τῆς οὐσίας προνοῇται.

Все поведение Никиаса перед Сиракузами, при самых сложных обстоятельствах, более чем подтверждает это хвастовство.

[472] Thucyd. vii. 50; Plutarch, Nikias, с. 4, 5, 23. Τῷ μέντοι Νικίᾳ συνηνέχθη τότε μηδὲ μάντιν ἔχειν ἔμπειρον- ὁ γὰρ συνηθής αὐτοῦ καὶ τὸ πολὺ τῆς δεισιδαιμονίας ἀφαιρῶν Στυλβίδης ἐτεθνήκει μικρὸν ἔμπροσθεν. Плутарх считает это оправданием ошибок Никиаса.

[473] Xenophon, Memorab. ii, 5, 2; Xenophon, De Vectigalibus, iv, 14.

[474] Thucyd. v, 7; Plutarch, Alkibiadês, с. 21. Ὁ γὰρ Λάμαχος ἦν μὲν πολεμικὸς καὶ ἀνδρώδης, ἀξίωμα δ' οὐ προσῆν οὐδ' ὄγκος αὐτῷ διὰ πενίαν; ср. Плутарх, Никиас, с. 15.

[475] Thucyd. v, 16. Νικίας πλεῖστα τῶν τότε εὖ φερόμενος ἐν στρατηγίαις, -Νικίας μὲν βουλόμενος, ἐν ᾧ ἀπαθὴς ἦν καὶ ἡσιόυτο, διασώσασθαι τὴν εὐτυχίαν, etc.-vi, 17. Ἔως ἐγὼ τε (Alkibiadês) ἔτι ἀκμάζω μετ' αὐτῆς καὶ ὁ Νικίας εὐτυχῆς δοκεῖ εἶναι, etc.

[476] Thucyd. viii, 54. Καὶ ὁ μὲν Πείσανδρος τάς τε ξυνωμοσίας, αἵπερ ἐτύγχανον πρότερον ἐν τῇ πόλει οὔσαι ἐπὶ δίκαις καὶ ἀρχαῖς, ἀπάσας ἐπελθὼν, καὶ παρακελευσάμενος ὅπως ξυστραφέντες καὶ κοινῇ βουλευσάμενοι καταλύσουσι τὸν δῆμον, καὶ τᾶλλα παρασκευάσας, и т.д.

Организовав таким образом гетеры и объединив их для своих революционных целей против демократии, Пейсандр отправился из Афин на Самос: вернувшись, он обнаружил, что эти гетеры очень активно действовали и добились больших успехов в деле ниспровержения демократии: они убили демагога Андроклеса и других политических врагов, -οἱ δὲ ἀμφὶ τὸν Πείσανδρον-ἦλθον ἐς τὰς Ἀθήνας, -καὶ καταλαμβάνουσι τὰ πλεῖστα τοῖς ἐταίροις προειργασμένα, и т.д. (viii, 65.)

Политическая ἐταίρεια, к которой принадлежал Алкивиад, упоминается в Isokratês, De Bigis, Or. xvi, p. 348, sect. 6. λέγοντες ὡς ὁ πατὴρ συνάγοι τὴν ἐταίρειαν ἐπὶ νεωτέροις πράγμασι. Аллюзии на эти ἐταιρεῖαι и на их известные политические и судебные цели (к сожалению, это только аллюзии), можно найти у Платона, Theætet. с. 79, p. 173, σπουδαὶ δὲ ἐταιρειῶν ἐπ' ἀρχὰς, etc.: также Платон, Legg. ix, с. 3, p. 856; Платон, Республика, ii, с. 8, p. 365, где они упоминаются в сочетании с συνωμοσίαι-ἐπὶ γὰρ τὸ λανθάνειν ξυνωμοσίας τε καὶ ἐταιρείας συνάγομεν- также в Pseudo-Andokidês cont. Alkibiad. с. 2, p. 112. Сравните общие замечания Фукидида, iii, 82, и Демосфена, cont. Stephan. ii, p. 1157.

В двух диссертациях господ Вишера и Бюттнера собраны скудные сведения об этих гетерах, а также некоторые попытки расширить их и спекулировать на них, которые скорее изобретательны, чем достоверны ("Олигархическая партия и гетеры в Афинах", фон В.

Вишер, Базель, 1836; "История политических гетеров в Афинах", фон Герман Бюттнер, Лейпсик, 1840).

[477] О политической деятельности Сисситии и Гимнасии см. Plato Legg. i, p. 636; Polybius, xx, 6.

[478] Thucyd. iii, 87, 89, 90.

[479] Об этом изобилии леса, а также о месте расположения Гераклеи в целом, см. Ливий, xxxvi, 22.

[480] Diodor. xii, 59. Геракл не только был мифическим прародителем спартанских царей, но и весь регион вблизи Сѐта и Трахиса был украшен легендами и героическими происшествиями, связанными с ним: см. драму "Трахини" Софокла.

[481] Thucyd. iii, 92, 93; Diodor xi, 49; xii, 59.

[482] Horat. Sat. ii, 6, 8:-

O! si angulus iste

Proximus accedat, qui nunc denormat agellum!

[483] Thucyd. iii, 91.

[484] Thucyd. iii, 95. Δημοσθένης δ' ἀναπείθεται κατὰ τὸν χρόνον τοῦτον ὑπὸ Μεσσηνίων ὡς καλὸν αὐτῷ στρατιᾶς τοσαύτης συνειλεγμένης, etc.

[485] Thucyd. iii, 95. τὸ ἄλλο ἡπειρωτικὸν τὸ ταύτη. Ни одно из племен, правильно называемых эпирами, не подпадает под это выражение: имя ἡπειρώται является здесь общим, а не собственным именем, как замечают Поппо и д-р Арнольд. Демосфен рассчитывал получить в свое подчинение акарнанцев и эйтолийцев, а также некоторые другие племена; но *какие* именно племена, указать нелегко: возможно, среди них агрцы, живущие к востоку от Амфилохии.

[486] Thucyd. iii, 98. Эпибаты, или солдаты, служившие на кораблях (морские пехотинцы), чаще всего набирались из тетов, или беднейшего класса граждан, снабженных государством паноплией на этот случай, - а не из регулярных гоплитов, записанных в муштре. Поэтому о морских солдатах обычно говорят как о чем-то низшем: нынешние триремы Демосфена рассматриваются в свете исключения (ναυτικῆς καὶ φαύλου στρατιᾶς, Thucyd. vi, 21).

Так и у римлян служба в легионах считалась более высокой и почетной, чем служба в classarii milites (Tacit. Histor. i, 87).

Афинские эпибаты, хотя и не составляли постоянного отдельного корпуса, по функциям соответствовали английским морским пехотинцам, которые, по-видимому, впервые были выделены в постоянный корпус из других пеших воинов около 1684 года. "Во многих случаях было необходимо взять на борт наших военных кораблей некоторое количество солдат, а простые сухопутные люди поначалу были крайне нездоровы и, пока не привыкли к морю, в значительной степени непригодны к службе, - в конце концов было признано целесообразным назначить определенные полки для этой службы, которые были обучены различным способам ведения морского боя, а также были полезны в некоторых из тех маневров на корабле, где требовалось много рук. Эти люди, в силу характера их обязанностей, получили название *морских солдат*, или *маринов*". (London, 1786.)

[487] Thucyd. iii, 100. Προπέμψαντες πρότερον ἕς τε Κόρινθον καὶ ἕς Λακεδαίμονα πρέσβεις-πείθουσιν ὥστε σφίσι πέμψαι στρατιὰν ἐπὶ Ναύπακτον διὰ τὴν τῶν Ἀθηναίων ἐπαγωγὴν.

Я думаю, здесь не имеется в виду, как полагают Гёллер и д-р Арнольд, что этолийцы отправили посланников в Лакедемон до того, как возникли разговоры или мысли о вторжении в Этолию, просто в силу постоянной антипатии, которую они питали к Наупакту, но что они отправили посланников сразу же, когда услышали о подготовке к вторжению в Этолию, - еще до того, как это вторжение действительно произошло. Слова διὰ τὴν τῶν Ἀθηναίων ἐπαγωγὴν показывают, что смысл именно таков.

Слово ἐπαγωγὴ справедливо истолковывается Хааком, против схолиаста: "Потому что наупактинцы приводили афинян для вторжения в Этолию".

[488] Thucyd. iii, 98.

[489] Thucyd. iii, 101, 102.

[490] Thucyd. iii, 102-105.

[491] Thucyd. iii, 105, 106, 107.

[492] Thucyd. iii, 107, 108: сравните Polyænus, iii, 1.

[493] Thucyd. iii, 111.

[494] Thucyd. iii, 112.

[495] Thucyd. iii, 113.

[496] Thucyd. iii, 113. πάθος γὰρ τοῦτο μᾶ πόλει Ἑλληνίδι μέγιστον δὴ τῶν κατὰ τὸν πόλεμον τόνδε ἐγένετο. Καὶ ἀριθμὸν οὐκ ἔγραψα τῶν ἀποθανόντων, διότι ἄπιστον τὸ πλήθος λέγεται ἀπολέσθαι, ὥς πρὸς τὸ μέγεθος τῆς πόλεως. Ἀμπρακίαν μέντοι οἶδα ὅτι, εἰ ἐβουλήθησαν Ἀκαρνᾶνες καὶ Ἀμφίλοχοι, Ἀθηναίοις καὶ Δημοσθένει πειθόμενοι, ἐξελεῖν, αὐτοβοεῖ ἂν εἶλον- νῦν δὲ ἔδεισαν, μὴ οἱ Ἀθηναῖοι ἔχοντες αὐτὴν χαλεπώτεροι σφίσι πάροικοι ᾖσι.

Можно отметить, что выражение κατὰ τὸν πόλεμον τόνδε, когда оно встречается в первой, второй, третьей или первой половине четвертой книги Фукидида, по-видимому, относится к первым десяти годам Пелопоннесской войны, которая закончилась заключением Никиасского мира.

В тщательной диссертации Франца Вольфганга Ульриха, анализирующей структуру истории Фукидида, создается впечатление, что первая, вторая и третья книги, а также первая половина четвертой, были написаны в промежуток между заключением мира с Никиасом и началом последней девятилетней войны, называемой Декелейской; при этом допускаются два отрывка в этих ранних книгах, которые должны были быть введены впоследствии.

Позднейшие книги, по-видимому, были взяты Фукидидом как отдельное произведение, продолжающее первое, и для них дано как бы отдельное предисловие (v, 26), γέγραφε δὲ καὶ ταῦτα ὁ αὐτὸς Θουκυδίδης Ἀθηναῖος ἐξῆς и т. д. Именно в этой поздней части он впервые принимает свойственную ему точку зрения, считая все двадцать семь лет одной непрерывной войной, лишь номинально прерванной (Ullrich, Beiträge zur Erklärung des Thukydides, pp. 85, 125, 138, etc. Hamburg, 1846).

Сравните ἐν τῷ πολέμῳ τῷδε (iii, 98), что подобным образом означает войну, предшествовавшую миру с Никиасом.

[497] Thucyd. iii, 114. Диодор (xii, 60) сокращает рассказ Фукидида.

[498] Thucyd. iii, 114. Ἀκαρνᾶνες δὲ καὶ Ἀμφίλοχοι, ἀπελθόντων Ἀθηναίων καὶ Δημοσθένους, τοῖς ὡς Σαλυνθίον καὶ Ἀγραίους καταφυγοῦσιν Ἀμπρακιώταις καὶ Πελοποννησίοις ἀναχώρησιν ἐσπείσαντο ἐξ Οἰνιάδων, οἵπερ καὶ μετανέστησαν παρὰ Σαλυνθίον.

Это очень сложный отрывок. Герман предположил, а Поппо, Гёллер и д-р Арнольд одобрили чтение παρὰ Σαλυνθίου вместо двух последних слов этого предложения. Отрывок, безусловно, можно истолковать с таким изменением, хотя все равно останется неловкость в положении относительного οἵπερ по отношению к его предшественнику и в положении частицы καί, которая в таком случае должна была бы правильно стоять после μετανέστησαν, а не перед ним. Тогда предложение означало бы, что "амбракиоты и пелопоннесцы, которые первоначально укрылись у Салинтия, ушли с его территории в CEniadæ", откуда они теперь должны были благополучно уйти.

Я думаю, однако, что предложение будет понято одинаково хорошо или, по крайней мере, не более неловко, без каких-либо предположительных изменений в тексте, если мы предположим, что Οἰνιάδων - это не только название места, но и имя жителей: и слово, похоже, используется в этом двойном смысле (Thucyd. ii, 100). Поскольку слово уже имеет форму отчества, было бы трудно вывести из него новое *имя gentile*. Несколько аттических демов, которые имеют форму отчества, имеют такое же двойное значение. Если принять это предположение, то фраза будет означать, что "амбракиотам и пелопоннесцам из CEniade было предоставлено безопасное отступление, которые также-καί, то есть они, а также амбракиоты и пелопоннесцы, - поднялись на территорию Салинтия". Эти CEniadæ были врагами общей группы акарнанцев (ii, 100), и они вполне могли отправиться туда, чтобы помочь в освобождении беглых амбракиотов и пелопоннесцев.

[499] Thucyd. iii, 114.

[500] Thucyd. iii, 114. Τὰ δὲ νῦν ἀνακείμενα ἐν τοῖς Ἀττικοῖς ἱεροῖς Δημοσθένει ἐξηρέθησαν, τριακόσαι πανοπλῖαι, καὶ ἄγων αὐτὰς κατέπλευσε. Καὶ ἐγένετο ἅμα αὐτῷ μετὰ τὴν ἐκ τῆς Αἰτωλίας συμφορὰν ἀπὸ ταύτης τῆς πράξεως ἀδεεστέρα ἢ κάθοδος.

[501] Thucyd. iii, 104; Plutarch, Nikias, c. 3, 4; Diodor. xii, 58.

[502] Thucyd. iv, 2, 3.

[503] Thucyd. i, 140; ii, 11.

[504] Thucyd. iv, 26.

[505] Топография Сфактерия и Пилуса. Описание, данное Фукидидом, памятных происшествий в Пилусе и Сфактерии или вблизи них, совершенно ясно, понятно и согласуется с самим собой в том, что касается топографии. Но когда мы изучаем топографию места происшествия в ее нынешнем виде, мы обнаруживаем различные обстоятельства, которые невозможно согласовать с Фукидидом. И полковник Лик (Путешествия по Морее, т. i, с. 402-415), и доктор Арнольд (Приложение ко второму и третьему тому его "Фукидида", с. 444) дали планы побережья, снабженные ценными замечаниями.

Основное расхождение между утверждением Фукидида и современным состоянием побережья заключается в ширине двух каналов между Сфактерией и материком. Южный вход в Наваринскую бухту сейчас составляет от тринадцатисот до четырнадцатисот ярдов, а глубина воды колеблется от пяти, семи, двадцати восьми до тридцати трех саженей; в то

время как Фукидид утверждает, что его ширина достаточна для того, чтобы пропустить восемь или девять трирем в одну сторону. Северный вход имеет ширину около ста пятидесяти ярдов, поперек него лежит отмель или песчаная полоса, на которой не более восемнадцати дюймов воды: Фукидид говорит нам, что на ней можно разместить не более двух трирем, а его рассказ подразумевает гораздо большую глубину воды, чтобы сделать вход для трирем совершенно беспрепятственным.

Полковник Лик полагает, что Фукидид был дезинформирован относительно ширины южного прохода; но д-р Арнольд дал удовлетворительный ответ на этот вопрос: узость прохода не только подтверждается цифрами Фукидида, но и косвенно подразумевается в его рассказе, где он говорит нам, что лакедемоняне намеревались задушить оба прохода тесно набитыми триремами. Очевидно, что о таком способе нельзя было и мечтать, разве что для очень узкого рта. Того же ответа достаточно против сомнений, которые Блумфилд и Поппо (Comment. p. 10) высказывают относительно подлинности числительных ὀκτώ или ἑννέα у Фукидида; сомнение, которое просто переносит предполагаемую ошибку с Фукидида на автора МС.

Д-р Арнольд сам поставил еще более серьезное сомнение: действительно ли остров, который сейчас называется Сфагией, является тем же самым, что и Сфактерия, и является ли бухта Наварино настоящей гаванью Пилуса. Он подозревает, что Пале-Наварино, которое принято считать Пилусом, на самом деле было древней Сфактерией, отделенной от материка в древности каналом на севере, а также другим каналом на юго-востоке, - хотя сейчас это вовсе не остров. Он также подозревает, что озеро или лагуна под названием Озеро Осмин-Ага, расположенное к северу от гавани Наварино и непосредственно под той, которая, по его мнению, была Сфактерией, было древней гаванью Пилуса, в которой произошел морской бой между афинянами и лакедемонянами. Он, правда, не утверждает это как положительное мнение, но склоняется к нему как к наиболее вероятному, признавая, что есть трудности в любом случае.

Доктор Арнольд изложил некоторые из трудностей, с которыми сталкивается эта гипотеза (стр. 447), но есть одна, которую он не изложил, и которая кажется мне самой грозной из всех, и совершенно фатальной для приемлемости его мнения. Если Палеокастро в Наварино был настоящей древней Сфактерией, то это должен был быть второй остров, расположенный к северу от Сфагии. Таким образом, должно быть *два* острова, расположенных близко друг к другу у побережья и недалеко от места событий. Если читатель проследит за рассказом Фукидида, то увидит, что там, несомненно, было не более *одного* острова - Сфактерия, без каких-либо других, расположенных рядом или примыкающих к нему; см. особенно с. 13: афинский флот под командованием Эвримедона, прибыв на остров, был вынужден вернуться на некоторое расстояние к острову Прот, потому что *остров* Сфактерия был полон лакедемонских гоплитов: если принять гипотезу д-ра Арнольда, ничто не помешало бы им высадиться на самой Сфактерии, - тот же вывод можно сделать из с. 8. Утверждение Плиния (Н. N. iv, 12) о том, что у Пилуса было *три Сфагии*, если только мы не предположим вместе с Хардуином, что две из них были просто скалами, кажется мне несовместимым с рассказом Фукидида.

Я думаю, что нет другого выхода, кроме как предположить, что за промежуток в две тысячи четыреста лет, отделяющий нас от Фукидида, в двух проходах, отделяющих Сфагию от материка, произошли большие изменения. Материк к югу от Наварино должен был находиться гораздо ближе, чем сейчас, к южной части Сфагии, а северный проход тогда был и более узким, и более чистым. Предполагать изменение конфигурации побережья до такой

степени кажется сегодня экстравагантным: любая другая гипотеза, которую можно выдвинуть, будет сопряжена с гораздо большими трудностями.

[506] Thucyd. iv, 3. Скучный и неточный рассказ Диодора об этих интересных событиях в Пилусе и Сфактерии можно найти в Diodor. xii, 61-64.

[507] Thucyd. iv, 4.

[508] Thucyd. iv, 9. Демосфенес разместил *большее число* (τοὺς πολλοὺς) своих гоплитов вокруг стен своего поста и отобрал *шестьдесят* из них для похода на берег. Это означает, что общее количество вряд ли может быть меньше двухсот человек.

[509] Thucyd. iv, 8.

[510] Thucyd. iv, 10.

[511] Thucyd. iv, 8. τοὺς μὲν οὖν ἔσπλους ταῖς ναυσὶν ἀντιπρώροις βύζην κλήσειν ἔμελλον.

[512] Thucyd. iv, 11, 12; Diodor. xii. Обратитесь к превосходной заметке д-ра Арнольда об этом отрывке, в которой он противопоставляет вольность и преувеличение Диодора скромной отчетливости Фукидида.

[513] Thucyd. iv, 12. ἐπὶ πολὺ γὰρ ἐποίει τῆς δόξης ἐν τῷ τότε, τοῖς μὲν ἡπειρώταις μάλιστα εἶναι καὶ τὰ πεζὰ κρατίστοις, τοῖς δὲ θαλασσίοις τε καὶ ταῖς ναυσὶ πλεῖστον προέχειν.

[514] Thucyd. iv, 13. ἐλπίζοντες τὸ κατὰ τὸν λιμένα τεῖχος ὕψος μὲν ἔχειν, ἀποβάσεως δὲ μάλιστα οὔσης ἐλεῖν μηχαναῖς. См. примечание Поппо к этому отрывку.

[515] Thucyd. iv, 14.

[516] Thucyd. iv, 13. Λακεδεμόνιανε παρεσκευάζοντο, ἣν ἔσπλην τις, ὡς ἐν τῷ λιμένι ὄντι οὐ σμικρῷ ναυμαχήσοντες.

Выражение "гавань, которая не была маленькой", обозначающее просторную бухту Наварино, вызвало много замечаний со стороны г-на Блумфилда и д-ра Арнольда, и было действительно одной из причин, побудивших последнего подозревать, что гавань, которую имел в виду Фукидид, была *не* бухтой Наварино, а соседним озером Осмын-Ага.

Я уже обсуждал это предположение в [одной из предыдущих заметок](#): но что касается выражения οὐ σμικρῷ, мы можем заметить, во-первых, что использование отрицательных выражений для передачи положительной идеи было бы обычной манерой Фукидида.

Но, кроме того, в предыдущем примечании я указал, что, по моему мнению, необходимо предположить, что во времена Фукидида остров Сфактерия соприкасался с материком гораздо теснее, чем сейчас. Поэтому, весьма вероятно, что в то время бассейн Наварино не был таким большим, как мы видим сейчас.

[517] Thucyd. iv, 14. ἔτρωσαν μὲν πολλὰς, πέντε δ' ἔλαβον. Мы не можем по-английски говорить о *ранении* триремы, - хотя греческое слово живо и точно передает удар, нанесенный клювом вражеского корабля.

[518] См. [выше](#), в этой Истории, [гл. xlix](#).

[519] Thucyd. iv, 13, 14.

[520] Thucyd. iv, 16. Ченикс был эквивалентен примерно двум пинтам английской сухой меры: он считался обычным дневным рационом для раба. Каждый лакедемонский солдат, таким образом, имел двойную часть этой дневной нормы, кроме мяса, вес и количество которого не указаны: тот факт, что количество мяса не указано, кажется, показывает, что они не боялись злоупотреблений в этом пункте.

Котила содержала около половины пинты, английской меры вина: каждый лакедемонский солдат, таким образом, имел пинту вина в день. В Греции всегда было принято пить вино с большой примесью воды.

[521] Thucyd. iv, 21: сравните vii, 18.

[522] Thucyd. iv, 18. γνῶτε δὲ καὶ ἐς τὰς ἡμετέρας νῦν συμφορὰς ἀπιδόντες, etc.

[523] Thucyd. iv, 19.

[524] Thucyd. iv, 20. ἡμῖν δὲ καλῶς, εἴπερ πότε, ἔχει ἀμφοτέροις ἡ συναλλαγή, πρὶν τι ἀνήκεστον διὰ μέσου γεγόμενον ἡμᾶς καταλαβεῖν, ἐν ᾧ ἀνάγκη αἰδῖον ὑμῖν ἔχθραν πρὸς τῇ κοινῇ καὶ ἰδίαν ἔχειν, ὑμᾶς δὲ στερεθῆναι ὧν νῦν προκαλούμεθα.

Я понимаю эти слова κοινῇ и ἰδίᾳ в соответствии с объяснением схолиаста, от которого д-р Арнольд, а также Поппо и Гёллер отходят, по моему мнению, ошибочно. Вся война была начата из-за жалоб пелопоннесских союзников и обид, якобы нанесенных им Афинами: У самой Спарты не было никаких оснований для жалоб, и она не требовала возмещения ущерба.

Доктор Арнольд переводит это так: "Мы будем ненавидеть тебя не только в национальном масштабе за рану, которую ты нанесла Спарте, но и в индивидуальном, потому что многие из нас потеряют близких родственников из-за твоей непреклонности". "Спартанская аристократия (добавляет он) почувствовала бы личную рану, потеряв сразу стольких своих членов, связанных кровью или браком с главными семьями: сравните Thucyd. v, 15."

Однако мы должны помнить, что афиняне в это время не могли знать, что гоплиты, включенные в состав Сфактерия, в значительной степени принадлежали к первым семьям Спарты. А спартанским посланникам, несомненно, хватило бы дипломатического благоразумия воздержаться от любых фактов или аргументов, которые раскрыли бы или даже подсказали им столь важную тайну.

[525] Thucyd. iv, 20. ἡμῶν γὰρ καὶ ὑμῶν ταῦτα λεγόντων τό γε ἄλλο Ἑλληνικὸν ἴστε ὅτι ὑποδεέστερον ὂν τὰ μέγιστα τιμήσει.

Aristophanês, Pac. 1048. Ἐξὸν σπεισάμενοις κοινῇ τῆς Ἑλλάδος ἄρχειν.

[526] Thucyd. iv, 21.

[527] Thucyd. iv, 21. μάλιστα δὲ αὐτοὺς ἐνῆγε Κλέων ὁ Κλεαινέτου, ἀνὴρ δημαγωγὸς κατ' ἐκεῖνον τὸν χρόνον ὧν καὶ τῷ δήμῳ πιθανώτατος- καὶ ἔπεισεν ἀποκρίνασθαι, etc.

Это предложение читается как первое знакомство читателя с Клеоном. По-видимому, Фукидид забыл, что он уже представлял Клеона по случаю капитуляции Митиленеи, и тоже в очень похожем языке, iii, 36. καὶ Κλέων ὁ Κλεαινέτου, -ὧν καὶ ἐς τὰ ἄλλα βιαίωτατος τῶν πολιτῶν, καὶ τῷ δήμῳ παρὰ πολὺ ἐν τῷ τότε πιθανώτατος, etc.

[528] Thucyd. iv, 22.

[529] Плутарх, Никиас, с. 7; Филохор, *Fragm.* 105, ed. Didot.

[530] Прочтем несколько замечаний г-на Берка о нравах Англии во время американской войны.

"Вы помните, что в начале этой американской войны вы были сильно разделены: и очень сильное тело, если не самое сильное, противостояло безумию, которое каждое искусство и каждая сила использовали, чтобы сделать популярным, чтобы ошибки правителей могли быть потеряны в общей слепоте нации. Это противостояние продолжалось до нашей великой, но крайне неудачной победы при Лонг-Айленде. Тогда все курганы и берега нашего постоянства были разом снесены, и безумие американской войны обрушилось на нас, как потоп. Эта победа, которая, казалось, сразу же положила конец всем трудностям, укрепила в нас дух господства, который наше беспрецедентное процветание слишком долго питало. Мы были так могущественны и так процветающи, что даже самые скромные из нас погрязли в царских замашках и глупостях. Мы потеряли всякую меру между средствами и целями, и наши необузданные желания стали нашей политикой и нашей моралью. Все люди, желавшие мира или сохранившие хоть какие-то чувства умеренности, были подавлены или замолчали, а этот город (Бристоль) всеми способами (и, вероятно, с большим успехом, потому что я был одним из ваших членов) заставляли отличиться своим рвением к этому роковому делу". Берк, Речь перед избирателями Бристоля перед выборами (*Сочинения*, т. iii, с. 365).

Сравните письмо г-на Берка шерифам Бристоля, с. 174 того же тома.

[531] *Thucyd.* iv, 39.

[532] *Thucyd.* iv, 23.

[533] *Thucyd.* iv, 25. τῶν νεῶν οὐκ ἔχουσιν ὄρμον. Это не значит (как полагают некоторые комментаторы, см. примечание Поппо), что у афинян не было достаточно места в гавани: это значит, что у них не было никакой станции на берегу, кроме узкого пространства самого Пилуса.

[534] *Thucyd.* iv, 26.

[535] *Thucyd.* iv, 27, 29, 30.

[536] *Thucyd.* iv, 27. Καὶ ἐς Νικίαν τὸν Νικηράτου στρατηγὸν ὄντα ἀπεσήμεινεν, ἐχθρὸς ὢν καὶ ἐπιτιμῶν-ῥάδιον εἶναι παρασκευῇ, εἰ ἄνδρες εἶεν οἱ στρατηγοὶ, πλεύσαντας λαβεῖν τοὺς ἐν τῇ νήσῳ- καὶ αὐτός γ' ἂν, εἰ ἤρχε, ποιῆσαι τοῦτο. Ὁ δὲ Νικίας τῶν τε Ἀθηναίων τι ὑποθορυβησάντων ἐς τὸν Κλέωνα, ὅτι οὐ καὶ νῦν πλεῖ, εἰ ῥάδιόν γε αὐτῷ φαίνεται- καὶ ἅμα ὁρῶν αὐτὸν ἐπιτιμῶντα, ἐκέλευεν ἥντινα βούλεται δύναμιν λαβόντα τὸ ἐπὶ σφᾶς εἶναι, ἐπιχειρεῖν.

[537] *Thucyd.* iv, 28. ὁ δὲ (Κλέων) τὸ μὲν πρῶτον οἰόμενος αὐτὸν (Νικίαν) λόγῳ μόνον ἀφιέναι, ἐτοῖμος ἦν, γνοὺς δὲ τῷ ὄντι παραδωσειόντα ἀνεχώρει, καὶ οὐκ ἔφη αὐτὸς ἀλλ' ἐκεῖνον στρατηγεῖν, δεδιὼς ἥδη καὶ οὐκ ἂν οἰόμενός οἱ αὐτὸν τολμῆσαι ὑποχωρῆσαι. Αὐθις δὲ ὁ Νικίας ἐκέλευε καὶ ἐξίστατο τῆς ἐπὶ Πύλῳ ἀρχῆς, καὶ μάρτυρας τοὺς Ἀθηναίους ἐποιεῖτο. Οἱ δὲ, οἷον ὄχλος φιλεῖ ποιεῖν, ὅσῳ μᾶλλον ὁ Κλέων ὑπέφευγε τὸν πλοῦν καὶ ἐξανεχώρει τὰ εἰρημένα, τόσῳ ἐπεκελεύοντο τῷ Νικίᾳ παραδιδόναι τὴν ἀρχὴν καὶ ἐκείνῳ ἐπεβόων πλεῖν. Ὡστε οὐκ ἔχων ὅπως τῶν εἰρημένων ἔτι ἐξαπαλλαγῇ, ὑφίσταται τὸν πλοῦν, καὶ παρελθὼν οὔτε φοβεῖσθαι ἔφη Λακεδαιμονίους, etc.

[538] Thucyd. iv, 28. Τοῖς δὲ Ἀθηναίοις ἐνέπεσε μὲν τι καὶ γέλωτος τῇ κουφολογίᾳ αὐτοῦ-
ἀσμένοις δ' ὅμως ἐγίγνετο τοῖς σώφροσι τῶν ἀνθρώπων, λογιζομένοις δυοῖν ἀγαθοῖν τοῦ ἐτέρου
τεύξεσθαι-ἢ Κλέωνος ἀπαλλαγῆσεσθαι, ὃ μᾶλλον ἤλπιζον, ἢ σφαλεῖσι γνώμῃς Λακεδαιμονίους
σφίσι χειρώσασθαι.

[539] Aristophanês, Equit. 54:-

... καὶ πρωήν γ' ἐμοῦ

Μᾶζαν μεμαχότος ἐν Πύλῳ Λακωνικήν,

Πανουργότατά πως περιδραμῶν ὑφαρπάσας

Αὐτὸς παρέθηκε τὴν ὑπ' ἐμοῦ μεμαγμένην.

Это Демосфенез говорит о Клионе, который в этой комедии назван пафлагонским рабом
Демоса.

Сравните ст. 391,

Κᾶτ' ἀνὴρ ἔδοξεν εἶναι, τᾷλότριν ἀμῶν θέρος, и т. д.,

и 740-1197.

Клеон не стал хитростью протаскивать себя на пост генерала, он сделал все возможное,
чтобы избежать этой должности, и был вынужден занять ее только благодаря хитростям
своих врагов. Важно заметить, насколько мало шутки Аристофана могут быть приняты за
свидетельство исторической реальности.

[540] Thucyd. iv, 28. οἷον ὄχλος φιλεῖ ποιεῖν и т. д.

[541] Thucyd. iv, 30.

[542] Полковник Лик приводит интересную иллюстрацию этих особенностей в топографии
острова, которая может быть проверена даже сейчас (Travels in Morea, vol. i, p. 408).

[543] Thucyd. iv, 31.

[544] Thucyd. iv, 32.

[545] Thucyd. iv, 32.

[546] Thucyd. v, 71.

[547] Thucyd. iv, 33.

[548] Thucyd. iv, 33. ὥσπερ ὅτε πρῶτον ἀπέβαινον τῇ γνώμῃ δεδουλωμένοι ὡς ἐπὶ
Λακεδαιμονίους, etc.

[549] Thucyd. iv, 34: сравните с этим рассказ о разрушении Ификратесом и пельтастами
лакедемонской моры близ Лехейма (Xenophon. Hellen. iv, 5, 11).

[550] Thucyd. iv, 34. Τό τε ἔργον ἐνταῦθα χαλεπὸν τοῖς Λακεδαιμονίοις καθίστατο- οὔτε γὰρ οἱ
πίλοι ἔστεγον τὰ τοξεύματα, δοράτια τε ἐναποκέκλαστο βαλλομένων, εἶχον δὲ οὐδὲν σφίσιν
αὐτοῖς χρήσασθαι, ἀποκεκλημένοι μὲν τῇ ὄψει τοῦ προορᾶν, ὑπὸ δὲ τῆς μείζονος βοῆς τῶν
πολεμίων τὰ ἐν αὐτοῖς παραγγελλόμενα οὐκ ἑσακούοντες, κινδύνου δὲ πανταχόθεν περιστώτος,
καὶ οὐκ ἔχοντες ἐλπίδα καθ' ὃ, τι χρὴ ἀμυνομένους σωθῆναι.

Этот отрывок вызывает сомнения и затруднения еще со времен схолиастов. Некоторые комментаторы переводят *πίλοι* как *шапки* или *колпаки*, другие - как *мягкие кирасы* из шерсти или войлока вокруг груди и спины: см. примечания Дюкера, д-ра Арнольда, Поппо и Гёллера. То, что слово *πίλος* иногда используется для обозначения шлема, или головного убора, не вызывает сомнений, - иногда даже (с *χαλκοῦς* или без него) для обозначения медного шлема (см. Аристофан. *Lysis*. 562; Antiphanês ap. Athenæ. xi, p. 503); но я не думаю, что в данном случае Фукидид специально указал бы на голову лакедемонского гоплита как на его главную уязвимую часть. Доктор Арнольд, правда, предлагает причину, доказывающую, что он, естественно, мог так поступить; но, на мой взгляд, эта причина очень недостаточна.

Πίλοι означает набивную одежду из шерсти или войлока, используемую для защиты головы, тела или ног: и я полагаю, вместе с Поппо и другими, что здесь оно обозначает нательную одежду лакедемонского гоплита; его тело - часть, наиболее открытая для ранения со стороны, не защищенной щитом, а также сзади. То, что слово *πίλοι* будет иметь этот смысл, можно увидеть в Pollux, vii, 171; Plato, *Timæus*, p. 74; и *Symposion*, p. 220, с. 35: что касается *πίλος* в применении к покрытию для ног, - Bekker, *Chariklês*, vol. ii, p. 376.

[551] Thucyd. iv, 35.

[552] Thucyd. iv, 33. τῇ σφετέρᾳ ἐμπειρίᾳ χρῆσασθαι, etc.

[553] Thucyd. iv, 36.

[554] Thucyd. iv, 37.

[555] Thucyd. iv. 38. Οἱ Λακεδαιμόνιοι κελεύουσιν ὑμᾶς αὐτοὺς περὶ ὑμῶν αὐτῶν βουλευέσθαι, μηδὲν αἰσχρὸν ποιοῦντας.

[556] Thucyd. iv, 38; v, 15.

[557] Thucyd. iv, 39.

[558] Thucyd. iv, 40. παρὰ γνώμην τε δὴ μάλιστα τῶν κατὰ τὸν πόλεμον τοῦτο τοῖς Ἑλλήσιν ἐγένετο, etc.

[559] По выражению, аналог того, что приписывается *Vieille Garde* армии императора Наполеона; ср. Herodot. vii, 104.

[560] Thucyd. iv, 39. Καὶ τοῦ Κλέωνος καίπερ *μανιώδης οὔσα ἢ ὑπόσχεσις ἀπέβη*- ἐντὸς γὰρ εἴκοσιν ἡμερῶν ἦγαγε τοὺς ἄνδρας, ὥσπερ ὑπέστη.

Мистер Митфорд, рассказывая об этих происшествиях, после того, как он сказал о Клеоне: "В очень необычном ряде обстоятельств, которые последовали за этим, его дерзость и его удача (если, за неимением другого термина, мы можем использовать этот термин) удивительно благоприятствовали ему", продолжает наблюдать, двумя страницами дальше: - "Однако вскоре выяснилось, что, хотя он и не был в курсе всех событий, он не был в курсе всего, что произошло.

"Однако вскоре выяснилось, что хотя для такого человека, как Клеон, не сведущего в военном деле, затея была опрометчивой, а хвастливые обещания - просто смешными, все же дело не было столь отчаянным, как это в тот момент обычно представлялось: и на самом деле глупость афинского народа, оказавшего такое доверие такому человеку, намного превышала глупость самого человека, чья дерзость редко выходила за рамки его хитрости. Он получил сведения о том, что Демосфенез уже разработал план и готовится к попытке, располагая

силами на месте и поблизости. Отсюда его явная умеренность в требовании войск; он благоразумно приспособился к удовлетворению афинского народа, не потребовав ни одного афинянина. Он также продемонстрировал свою рассудительность, когда должен был быть принят указ, который должен был окончательно направить экспедицию, просьбой, которая была с готовностью удовлетворена, чтобы Демосфенес мог присоединиться к нему в командовании". (Mitford, Hist. of Greece, vol. iii, ch. xv, sect. vii. pp. 250-253.)

Похоже, что ни один историк не мог записать имя Клеона, не приложив к нему какой-нибудь пренебрежительный глагол или прилагательное. В одном и том же предложении нам говорят, что Клеон был *дерзким хвастуном, обещавшим осуществить предприятие*, - и в то же время, что само предприятие было *вполне осуществимо*. В одном предложении нам говорят, что он поступил опрометчиво и нелепо, пообещав это, *поскольку не разбирался в военном деле*: несколькими словами дальше нам сообщают, что он прямо попросил, чтобы самый компетентный человек, которого можно найти, Демосфенес, был назван его коллегой. Нам говорят о *хитрости Клеона* и о том, что *Клеон получил сведения от Демосфена*, как будто это было какое-то частное сообщение для него самого. Но Демосфенес не передавал Клеону никаких известий, и Клеон не знал ничего, что не было бы одинаково известно всем членам собрания. *Глупость народа в том, что он доверил это дело Клеону*, осуждается, как если бы Клеон сам искал его или как если бы его друзья первыми предложили ему это. Если глупость народа была столь велика, то что мы должны сказать о безрассудстве олигархической партии с Никиасом во главе, который подтолкнул народ к этой глупости, чтобы погубить политического антагониста, и который заставил Клеона занять этот пост вопреки его собственному безоговорочному нежеланию? Против этого маневра олигархической партии ни мистер Митфорд, ни любой другой историк не говорит ни слова. Когда Клеон правильно оценивает обстоятельства, как, по мнению мистера Митфорда, он сделал в этом случае, он заслуживает похвалы не более чем за *хитрость*.

Правда в том, что народ не совершил никакой глупости, назначив Клеона, ибо он оправдал лучшие ожидания своих друзей. Но Никиас и его друзья совершили великое безрассудство, предложив его, поскольку полностью верили, что он потерпит неудачу. И даже если исходить из изложения дела мистером Митфордом, мнение Фукидида, приведенное в начале этой заметки, совершенно неоправданно; не менее неоправданно, чем язык современного историка о "чрезвычайных обстоятельствах" и о том, как Клеон был "облагодетельствован фортуной". В повествовании не приводится ни одного случая, подтверждающего эти недобросовестные утверждения.

[561] Шутка неизвестного комического писателя (вероятно, Евполиса или Аристофана, в одной из многих утраченных драм) против Клеона: "что он показал большие способности к пророчеству после факта" (Κλέων Προμηθεύς ἐστὶ μετὰ τὰ πράγματα, Lucian, Prometheus, c. 2), возможно, относится к его действиям в отношении Сфактерия: если это так, то, конечно, незаслуженно.

В письме, которое он послал афинянам, чтобы сообщить о взятии Сфактерии и пленных, утверждается, что он начал со слов -Κλέων Ἀθηναίων τῇ Βουλῇ καὶ τῷ Δήμῳ χαίρειν. Это было осмеяно Евполисом и даже рассматривается как наглость, хотя трудно понять, почему (Schol. ad Aristophan. Plut. 322; Bergk, De Reliquiis Comœdiæ Antiquæ, p. 362).

[562] Vit. Thucydidis, p. xv, ed. Bekker.

[563] Plutarch, Nikias, c. 8; Thucyd. v, 7.

[564] Thucyd. iv, 41.

[565] Thucyd. iv, 41: ср. Aristophan. Equit. 648 с Schol.

[566] Thucyd. iv, 79.

[567] Thucyd. v, 16.

[568] Ахарнеи были исполнены на празднике Ленией в Афинах в январе 425 г. до н. э.: рыцари - на том же празднике в следующем году, 424 г. до н. э.

Взятие Сфактерии произошло около июля 425 г. до н. э.: между двумя вышеуказанными датами. См. "Fasti Hellenici" г-на Клинтона, ad ann.

[569] Thucyd. iv, 117; v, 14.

[570] Thucyd. iv, 42. Τοῦ δ' αὐτοῦ θέρου μετὰ ταῦτα εὐθύς, etc.

[571] См. географические иллюстрации этого спуска в плане и примечании д-ра Арнольда, приложенных ко второму тому его Thucydidês, - и в Colonel Leake, Travels in Morea, ch. xxviii, p. 235; xxix, p. 309.

[572] Thucyd. iv, 43.

[573] Thucyd. iv, 44. ἔθεντο τὰ ὄπλα, - выражение, которое д-р Арнольд объясняет здесь, как и в других местах, как "нагромождение оружия". Я не думаю, что такое объяснение верно даже здесь: тем более в нескольких других местах, на которые он ссылается. См. [примечание](#) о неожиданном захвате Платеи фиванцами непосредственно перед Пелопоннесской войной.

[574] Plutarch, Nikias, c. 6.

[575] Thucyd. iv, 45.

[576] Thucyd. iv, 2-45.

[577] Thucyd. iv, 46.

[578] Thucyd. iv, 47, 48.

[579] Thucyd. iv, 48.

[580] Thucyd. iv, 49.

[581] Thucyd. iv, 51.

[582] Thucyd. iv, 52.

[583] Thucyd. iv, 50. ἐν αἷς πολλῶν ἄλλων γεγραμμένων κεφάλαιον ἦν, πρὸς Λακεδαιμονίους, οὐκ εἰδέναι ὅ,τι βούλονται- πολλῶν γὰρ ἐλθόντων πρέσβων οὐδένα ταῦτα λέγειν- εἰ οὖν βούλονται σαφὲς λέγειν, πέμψαι μετὰ τοῦ Πέρσου ἄνδρα ὡς αὐτόν.

[584] Thucyd. iv, 86. ὄρκοις τε Λακεδαιμονίων καταλαβὼν τὰ τέλη τοῖς μεγίστοις, ἧ μὴν, etc.

[585] Thucyd. iv, 50; Diodor. xii, 64. Афиняне, похоже, никогда прежде не посылали посланников и не добивались союза с Великим Царем; хотя мысль об этом, должно быть, не была им чужда, как мы можем видеть по юмористической сцене Псевдартабаса в "Ахарнеях" Аристофана, разыгранной за год до этого события.

[586] Diodor. xi, 65; Aristotel. Polit. v, 8, 3; Юстин, iii, 1; Ктесий, Persica, с. 29, 30. Очевидно, что о заговоре, жертвой которого стал Ксеркс, ходили противоречивые рассказы, но у нас нет возможности определить, каковы были подробности.

[587] Ktesias, Persica, с. 38-43; Herodot. iii, 80.

[588] Diodor. xii, 64-71; Ktesias, Persica, с. 44-46.

[589] Thucyd. iv, 54; Herodot. vii, 235. То, как Геродот упоминает об опасностях, которые могли бы возникнуть для Спарты в результате захвата Китеры врагом, дает еще одну возможность предположить, что его история была написана до фактического захвата острова Никиасом, на восьмом году Пелопоннесской войны. Если бы он знал об этом последнем событии, то, естественно, сделал бы на него какое-то упоминание.

Слова Фукидида относительно острова Кифара таковы: лакедемоняне πολλήν ἐπιμέλειαν ἐποιοῦντο- ἦν γὰρ αὐτοῖς τῶν τε ἀπ' Αἰγύπτου καὶ Λιβύης ὀλκάδων προσβολή, καὶ λησταὶ ἅμα τὴν Λακωνικὴν ἥσσον ἐλύπουν ἐκ θαλάσσης, ἥπερ μόνον οἶον τ' ἦν κακοῦργεῖσθαι- *πᾶσα γὰρ ἀνέχει* πρὸς τὸ Σικελικὸν καὶ Κρητικὸν πέλαγος.

Я не понимаю этот отрывок вместе с д-ром Арнольдом и Гёллером как означающий, что Лакония была неприступна на суше, но очень опасна на море. Он скорее означает, что единственная часть побережья Лаконии, где морской захватчик мог нанести большой ущерб, находилась в глубине Лаконического залива, возле Гелоса, Гитиума и т. д., что фактически является единственным равнинным участком побережья Лаконии. Два выступающих мыса, которые заканчиваются, один на мысе Малеа, другой на мысе Тенарус, высокие, скалистые, без гаваней, и представляют очень мало соблазнов для высаживающегося врага. "Весь лаконский берег представляет собой *высокий выступающий утес*, где он обращен к Сицилийскому и Критскому морям" - *πᾶσα ἀνέχει*. Остров Китера был особенно благоприятен для облегчения спуска на территорию возле Гелоса и Гитиума. О ἀλιμενότης Лаконии упоминается у Ксенофонта, Hellen. iv, 8, 7, где он описывает захват острова Кононом и Фарнабазом.

См. описание полковником Ликом этого побережья и высоких скал между мысами Матапан-Тернарус и Каламата, которые выходят к Сицилийскому морю, а также к востоку от мыса Сент-Анджело, или Малеа, которые выходят к Критскому морю (Путешествия по Морее, т. i, гл. vii, стр. 261: "бурный, скалистый, незащищенный берег Месамани", гл. viii, с. 320; гл. vi, с. 205; Страбон, viii, с. 368; Pausan. iii, с. xxvi, 2).

[590] Thucyd. iv, 54. δισχιλίους Μιλησίων ὀπλίταις. Кажется невозможным поверить, что *милезских* гоплитов могло быть так много, как две тысячи: но мы не можем сказать, где кроется ошибка.

[591] Thucyd. iv, 56. Он утверждает, что Тирея была удалена от моря на десять стадий, или около мили и одной пятой. Но полковник Лик ("Путешествия по Морее", т. ii, гл. xxii, с. 492), обнаруживший достаточно руин для идентификации места, утверждает, "что оно находится по крайней мере в три раза дальше от моря".

Это тем яснее объясняет нам, почему эгинетяне сочли необходимым построить свой новый форт.

[592] Thucyd. iv, 58; Diodor. xii, 65.

[593] Thucyd. iv, 41, 55, 56.

[594] Thucyd. iv, 80.

[595] Thucyd. iv, 80. Καὶ προκρίναντες ἐς δισχιλίους, οἱ μὲν ἐστεφανώσαντό τε καὶ τὰ ἱερὰ περιῆλθον ὡς ἡλευθερωμένοι- οἱ δὲ οὐ πολλῶ ὕστερον ἠφάνισάν τε αὐτοὺς, καὶ οὐδεὶς ᾔσθετο ὅτῳ τρόπῳ ἕκαστος διεφθάρη: сравните Diodor. xii, 67.

Д-р Тирлуолл (History of Greece, vol. iii. ch. xxiii, p. 244, 2d edit. *note*) считает, что это убийство гелотов спартанцами произошло в какое-то другое, не установленное время, а не в то, которое указано здесь. Я не могу согласиться с этим мнением. Мне кажется, что есть самые веские основания отнести этот инцидент ко времени, непосредственно следующему за катастрофой в Сфактерии, которую Фукидид так особенно выделяет (iv, 41), произнося эмфатические слова: Οἱ δὲ Λακεδαιμόνιοι ἀμαθεῖς ὄντες ἐν τῷ πρὶν χρόνῳ ληστείας καὶ τοῦ τοιοῦτου πολέμου, τῶν τε Εἰλώτων αὐτομολούντων καὶ φοβούμενοι μὴ καὶ ἐπὶ μακρότερον σφίσι τι νεωτερισθῇ τῶν κατὰ τὴν χώραν, οὐ ῥαδίως ἔφερον. Это было как раз после того, как мессенцы впервые утвердились в Пилусе и начали вторжение в Лаконию, соблазняя гелотов на дезертирство. Естественно, именно тогда страх, который спартанцы испытывали перед своими гелотами, был преувеличен до предела, что и привело к совершению акта, о котором говорится в тексте. Доктор Тирлуолл замечает, "что спартанское правительство не стало бы отдавать приказ об истреблении гелотов в то время, когда оно могло нанять их на внешнюю службу". Но на это можно ответить, что захват Сфактерии произошел в июле или августе, а экспедиция под командованием Брасидаса была организована только следующей зимой или весной. Таким образом, существовал промежуток в несколько месяцев, в течение которых правительство еще не сформировало идею о привлечении гелотов на внешнюю службу. И этого промежутка вполне достаточно, чтобы придать полный и отчетливый смысл выражению καὶ τότε (Thucyd. iv, 80), на котором настаивает доктор Тирлуолл; без необходимости возвращаться к какому-либо более отдаленному моменту предшествующего времени.

[596] Thucyd. iv, 79.

[597] Thucyd. iv, 80. προύθυμήθησαν δὲ καὶ οἱ Χαλκιδῆς ἄνδρα ἓν τε τῇ Σπάρτῃ δοκοῦντα δραστήριον εἶναι ἐς τὰ πάντα, etc.

[598] Картина, нарисованная Аристофаном (Acharn. 760), - карикатура, но страдания, вероятно, слишком реальны.

[599] Thucyd. iv, 66. Страбон (ix, p. 391) называет расстояние между Мегарой и Нисей в восемнадцать стадий; Фукидид - только восемь. Есть достаточно оснований предпочесть последнее: см. Reinganum, Das alte Megaris, pp. 121-180.

[600] Thucyd. iv, 68. Ξυνέπεσε γὰρ καὶ τὸν τῶν Ἀθηναίων κήρυκα ἄφ' ἑαυτοῦ γνώμης κηρύξαι, τὸν βουλόμενον εἶναι Μεγαρέων μετὰ Ἀθηναίων θησόμενον τὰ ὄπλα.

Здесь фраза τίθεσθαι τὰ ὄπλα употреблена в случае, когда объяснение доктора Арнольда было бы совершенно непригодным. Не могло быть и мысли о *нагромождении оружия* в критический момент реальной борьбы, результат которой еще сомнителен.

[601] Thucyd. iv, 69.

[602] Thucyd. i, 103; iv, 69. Καὶ οἱ Ἀθηναῖοι, τὰ μακρὰ τεῖχη ἀπορρήξαντες ἀπὸ τῆς τῶν Μεγαρέων πόλεως καὶ τὴν Νίσαιαν παραλαμβάντες, τᾶλλα παρεσκευάζοντο.

Я не могу согласиться с Поппо и Гёллером, что причастие ἀπορρήξαντες следует объяснять как означающее, что афиняне снесли часть длинных стен возле Мегары. Возможно, так и было сделано, но это не имело большого значения; ведь снос части стены не закрыл бы доступ в город, что и было целью афинян. "Они прервали" сообщение по дороге между длинными стенами от города к Ниссее, построив поперек или забаррикадировав пространство между ними: подобно тому, как сказано чуть выше, -διοικοδομησάμενοι τὸ πρὸς Μεγαρέας и т. д. Диодор (xii, 66) сокращает Фукидида.

[603] Thucyd. iv, 73. εἰ μὲν γὰρ μὴ ὥφθησαν ἐλθόντες (Брасидас со своими войсками) οὐκ ἂν ἐν τύχῃ γίγνεσθαι σφίσιν, ἀλλὰ σαφῶς ἂν ὥσπερ ἡσσηθέντων στερηθῆναι εὐθύς τῆς πόλεως.

[604] Thucyd. iv, 71.

[605] Thucyd. iv, 72.

[606] Thucyd. iv, 73.

[607] Мы находим некоторых из них впоследствии на службе Афин, используемых в качестве легковооруженных войск в сицилийской экспедиции (Thucyd. vi, 43).

[608] Thucyd. iv, 74. οἱ δὲ ἐπειδὴ ἐν ταῖς ἀρχαῖς ἐγένοντο, καὶ ἐξέτασιν ὄπλων ἐποίησαντο, διαστήσαντες τοὺς λόχους, ἐξελέξαντο τῶν τε ἐχθρῶν καὶ οἱ ἐδόκουν μάλιστα ξυμπρᾶξαι τὰ πρὸς τοὺς Ἀθηναίους, ἄνδρας ὡς ἑκατόν- καὶ τούτων περὶ ἀναγκάσαντες τὸν δῆμον ψῆφον φανεράν διενεγκεῖν, ὡς κατεγνώσθησαν, ἔκτειναν, καὶ ἐς ὀλιγαρχίαν τὰ μάλιστα κατέστησαν τὴν πόλιν. καὶ πλεῖστον δὴ χρόνον αὕτη ὑπ' ἐλαχίστων γενομένη ἐκ στάσεως μετὰστασις ξυνέμεινεν.

[609] Thucyd. iv, 109.

[610] Thucyd. iv, 76. εὐθύς μετὰ τὴν ἐκ τῆς Μεγαρίδος ἀναχώρησιν, etc.

[611] Thucyd. iv, 77.

[612] Thucyd. iv, 89.

[613] Thucyd. iv, 101.

[614] Thucyd. iv, 93, 94. Он утверждает, что беотийских ψιλοὶ было более десяти тысяч, а афинских ψιλοὶ - πολλαπλάσιοι τῶν ἐναντίων. Вряд ли можно считать, что это число меньше двадцати пяти тысяч ψιλῶν καὶ σκευοφόρων (iv, 101).

У гоплитов, как и у всадников, багаж и провизию несли сопровождающие: см. Thucyd. iii, 17; vii, 75.

[615] Thucyd. iv, 90. Ὁ δ' Ἴπποκράτης ἀναστήσας Ἀθηναίους πανδημεῖ, αὐτοὺς καὶ τοὺς μετοίκους καὶ ξένων ὅσοι παρῆσαν и т. д.: также πανστρατιάς (iv, 94).

Значение слова πανδημεῖ хорошо иллюстрирует Никиас в своем обращении к афинскому войску под Сиракузами, непосредственно перед первой битвой с сиракузянами, - левиты *en masse*, в отличие от специально отобранных гоплитов (vi, 66-68), - ἄλλως τε καὶ πρὸς ἄνδρας πανδημεῖ τε ἀμυνομένους, καὶ οὐκ ἀπολέκτους, ὥσπερ καὶ ἡμᾶς-καὶ προσέτι Σικελιώτας, и т. д.

Когда происходил особый отбор, имена гоплитов, выбранных генералами для участия в той или иной службе, писались на досках по их племенам: каждая из этих досок публично прикреплялась к статуе Героса Эпонима того племени, к которому она относилась:

Aristophanês, Equites, 1369; Pac. 1184, с Схолиастом; Wachsmuth, Hellen. Alterthumsk. ii, p. 312.

[616] Thucyd. iv, 100.

[617] Thucyd. iv, 55.

[618] Thucyd. iv, 90; Livy, xxxv, 51.

[619] Dikæarch. Βίος Ἑλλάδος. Fragm. ed. Fuhr, pp. 142-230; Pausan. i, 34, 2; Aristotle ap. Stephan. Byz. v, Ὀρωπός. См. также Col. Leake, Athens and the Demi of Attica, vol. ii, sect. iv, p. 123; Mr. Finlay, Oropus and the Diakria, p. 38; Ross, Die Demen von Attika, p. 6, где дема Græa подтверждается надписью и впервые объясняется.

Дорога, по которой армия Гиппократы шла в Делиум, была той же самой, по которой лакедемонская армия во время своего первого вторжения в Аттику отступила из Аттики в Беотию (Thucyd. ii, 23).

[620] Дикеарх (Βίος Ἑλλάδος, p. 142, изд. Fuhr) много восхваляет превосходное вино, которое пили в Танагре, и обильные оливковые плантации на дороге между Оропом и Танагрой.

Поскольку инструменты и каменщики были привезены из Афин для укрепления Ниссеи примерно за три месяца до этого (Thucyd. iv, 69), мы можем быть уверены, что аналогичное оборудование было доставлено в Делий, хотя Фукидид об этом не сообщает.

[621] Thucyd. iv, 90. То, что виноградные лозы вокруг храма имели опорные колья, которые служили σταυροῦς, используемые афинянами, мы можем с полным основанием предположить: такие же, как те χάρακες, о которых говорится в Коркире, iii, 70: сравните Pollux, i, 162.

[622] "Равнина Оропа (отмечает Col. Leake) простирается от ее верхнего угла в *Оропо* к устью Асопа, и тянется примерно на пять миль вдоль берега, от подножия холмов Маркопуло на востоке до деревни Халкуки на западе, где начинаются некоторые высоты, простирающиеся на запад к Дхилиси, древнему Делиуму." Равнина Оропус отделена от более внутренней равнины Танагра скалистыми ущельями, через которые протекает Асопус". (Leake, Athens and the Demi of Attica, vol. ii. sect. iv, p. 112.)

[623] Thucyd. iv, 93; v, 38. Ακρæρhiæ, вероятно, можно считать либо зависимым от Фив, либо включенным в общее выражение Фукидида, после слова Κωπταιῆς-οἱ περὶ τὴν λίμνην. Антекдон и Лебадея, которые в различных беотийских надписях признаются отдельными автономными поселениями, в Фукидиде не названы. Но нет никаких определенных доказательств относительно числа непосредственных членов бёотской конфедерации: сравните различные предположения в Bœckh, ad Corp. Inscript. tom. i, p. 727; O. Müller, Orchomenus, p. 402; Kruse, Hellas, tom. ii, p. 548.

[624] Thucyd. iv, 91. τῶν ἄλλων Βοιωτάρχων, οἳ εἰσιν ἑνδεκα, οὐ ξυνεπαίνουσιν μάχεσθαι, etc.

Употребление настоящего времени εἰσιν обозначает число одиннадцать как число *всех бётархов*; в это время, по мнению Бёкха, ad Corp. Inscript. i, vol. i, p. 729. Число, однако, по-видимому, было непостоянным.

[625] Thucyd. iv, 91. προσκαλῶν ἑκάστους κατὰ λόχους, ὅπως μὴ ἄθροοι ἐκλίποιν τὰ ὄπλα, ἔπειθε τοὺς Βοιωτοὺς ἵεναι ἐπὶ τοὺς Ἀθηναίους καὶ τὸν ἀγῶνα ποιεῖσθαι.

Здесь доктор Арнольд замечает: "Это подтверждает и иллюстрирует то, что было сказано в примечании к ii, 2, 5, относительно практики греческих солдат складывать свое оружие, когда они останавливались в определенной части лагеря, и всегда присутствовать на речах своего генерала без него".

В рассматриваемом нами случае, похоже, что беотийцы действительно пришли отдельными лохами, согласно приказу, чтобы послушать слова Пагонды, а также что каждая лоха оставила свое оружие, чтобы сделать это; хотя даже здесь нет полной уверенности в том, что τὰ ὄπλα не означает *военную станцию*, как ее толкует Дукас. Но д-р Арнольд слишком поспешно обобщает, исходя из этого, обычную практику между солдатами и их генералом. Действия афинского полководца Гиппократы по этому же случаю под Делиумом, о которых речь пойдет на страницу или две вперед, демонстрируют совершенно иной порядок. Более того, примечание к ii, 2, 5, на которое ссылается д-р Арнольд, не имеет никакой аналогии с рассматриваемым нами отрывком, в котором нет слов τίθεσθαι τὰ ὄπλα; тогда как именно эти слова являются главными в главе ii, 2, 5. Тот, кто внимательно сравнит эти два случая, увидит, что д-р Арнольд, а за ним Поппо и Гёллер, распространили объяснение, которое подходит к рассматриваемому нами отрывку, на другие отрывки, где оно никак не применимо.

[626] Thucyd. iv, 92.

[627] Thucyd. iv, 93. ἐπ' ἀσπίδας δὲ πέντε μὲν καὶ εἴκοσι Θηβαῖοι ἐτάξαντο, οἱ δὲ ἄλλοι ὡς ἕκαστοι ἔτυχον.

Что еще более примечательно, в битве при Мантинее в 418 году до н. э. между лакедемонянами с одной стороны и афинянами, аргейцами, мантинцами и т. д. с другой, различные лохи или подразделения лакедемонской армии не были выстроены в одну шеренгу. Каждый лохаг, или командир лоха, определял глубину своего подразделения (Thucyd. v, 68).

[628] Diodor. xii, 70. Προεμάχοντο δὲ πάντων οἱ παρ' ἐκείνοις Ἡνίοχοι καὶ Παραβάται καλούμενοι, ἄνδρες ἐπίλεκτοι τριακόσιοι.... Οἱ δὲ Θηβαῖοι διαφέροντες ταῖς τῶν σωμάτων ῥώμας и т. д.

Сравните Плутарх, Пелопидас, с. 18, 19.

[629] Thucyd. iv, 93. Καὶ ἐπειδὴ καλῶς αὐτοῖς εἶχεν, ὑπερεφάνησαν (the Boeotians) τοῦ λόφου καὶ ἔθεντο τὰ ὄπλα τεταγμένοι ὥσπερ ἔμελλον и т. д.

Я привожу этот отрывок для того, чтобы показать, насколько невозможно принять объяснение, которое д-р Арнольд, Поппо и Гёллер дают этим словам ἔθεντο τὰ ὄπλα (см. Notes ad Thucyd. ii, 2). Они объясняют эти слова тем, что солдаты "сложили свое оружие в кучу", разоружившись на время. Но беотийцы в описанной ситуации не могли расстаться с оружием, они как раз собирались напасть на врага: сразу после этого Пагондас дает команду, поется песнь для зарядки, и начинается атака. У Пагонды, несомненно, были веские причины для того, чтобы сделать кратковременный привал, чтобы убедиться, что ряды находятся в идеальном состоянии перед началом атаки. Но приказывать своим войскам "навалиться на оружие" - это последнее, что пришло бы ему в голову.

В толковании τεταγμένοι ὥσπερ ἔμελλον я согласен со схолиастом, который понимает μαχέσασθαι или μαχεῖσθαι после ἔμελλον (ср. Thucyd. v, 66), не соглашаясь с д-ром Арнольдом и Гёллером, которые понимают τάσσεσθαι; что, как мне кажется, имеет очень неловкий смысл и не подтверждается отрывком, приводимым в качестве параллели (viii, 51).

Инфинитивный глагол, понимаемый после ἔμελλον, не обязательно должен быть глаголом, фактически встречающимся до этого: это может быть глагол, предполагаемый общим объемом предложения: см. ἐμέλλησαν, iv, 123.

[630] Thucyd. iv, 95.

[631] Thucyd. iv, 95, 96. Καθεστῶτων δ' ἐς τὴν τάξιν καὶ ἤδη μελλόντων ξυνιέναι, Ἴπποκράτης ὁ στρατηγὸς ἐπιπαριῶν τὸ στρατόπεδον τῶν Ἀθηναίων παρεκελεύετό τε καὶ ἔλεγε τοιάδε.... Τοιαῦτα τοῦ Ἴπποκράτους παρακελευομένου, καὶ μέχρι μὲν μέσου τοῦ στρατοπέδου ἐπελθόντος, τὸ δὲ πλεον οὐκέτι φθάσαντος, οἱ Βοιωτοὶ, παρακελευσαμένου καὶ σφίσιν ὡς διὰ ταχέων καὶ ἐνταῦθα Παγώνδου, παιωνίσαντες ἐπήεσαν ἀπὸ τοῦ λόφου, и т.д.

Этот отрывок противоречит утверждению д-ра Арнольда, Поппо и Гёллера о том, что солдаты "складывали свое оружие и *всегда* присутствовали на речах своих генералов без него". (См. его примечание к Thucyd. iv, 91.)

[632] Thucyd. iv, 96. καρτερᾷ μάχῃ καὶ ὠθισμῶ ἀσπίδων ξυνεστήκει, etc. Сравните Ксенофонт, Cyropæd. vii, 1, 32.

[633] Пословичное выражение Βοιωτίαν ὕν, "беотийская свиноматка", было древним еще у Пиндара (Olymp. vi, 90, с Scholia и примечанием Боэция): ср. также Ephorus, Fragment 67, ed. Маркс: Dikæarchus, Βίος Ἑλλάδος, p. 143, ed. Fuhr; Plato, Legg. i, p. 636; и Symposium, p. 182, "pingues Thebani et valentes", Cicero de Fato, iv, 7.

Ксенофонт (Memorab. iii, 5, 2, 15; iii, 12, 5: ср. Xenoph. de Athen. Republ. i, 13) утверждает, что природные телесные способности афинян равны телесным способностям беотийцев, но выражает сожаление по поводу отсутствия σωμασκία, или телесной тренировки.

[634] См. примечания д-ра Арнольда и Поппо, ad Thucyd. iv, 96.

[635] Сравните Thucyd. v, 68; vi, 67.

[636] Thucyd. iv, 96. Τὸ δὲ δεξιὸν, ἧ οἱ Θηβαῖοι ἦσαν, ἐκράτει τε τῶν Ἀθηναίων, καὶ ὠσάμενοι κατὰ βραχὺ τὸ πρῶτον ἐπηκολούθουν.

Слово ὠσάμενοι (ср. iv, 35; vi, 70), точно выражает толкание вперед массы гоплитов со щитом и копьем.

[637] Thucyd. iv, 96; Athenæus, v, p. 215. Диодор (xii, 70) представляет, что битва началась с боя конницы, в котором афиняне имели преимущество. Это совершенно не согласуется с рассказом Фукидида.

[638] Диодор (xii, 70) останавливается на этом обстоятельстве.

[639] О Пирилампесе говорится, что он был ранен и взят в плен при отступлении фиванцев (Плутарх, De Genio Socratis, c. 11, p. 581). См. также Thucyd. v, 35, где упоминаются некоторые пленники.

[640] См. две трудные главы, iv, 98, 99, в Thucydidês.

[641] См. примечания Поппо, Гёллера, д-ра Арнольда и других комментаторов к этим главам.

Ни эти заметки, ни "Схолиаст" не кажутся мне во всех частях удовлетворительными; они не улавливают духа спора между афинским глашатаем и беотийскими офицерами, который будет совершенно последовательным как часть дипломатического обмена.

В частности, они не обращают внимания на то, что именно *афинский* глашатай первым поднимает вопрос о том, что является афинской территорией, а что - беотийской, и что он определяет афинскую территорию как ту, на которой превосходят силы Афин. Ответ беотийцев относится к этому определению, а не к вопросу о законных притязаниях на какую-либо территорию, помимо фактического превосходства в силе".

[642] Thucyd. iv, 97.

[643] Фукидид, описывая состояние умов беотийцев, похоже, не подразумевает, что они считали это хорошим и обоснованным основанием, на котором они могли бы непосредственно занять свою позицию; но лишь то, что они считали это честным дипломатическим способом ответить на альтернативу, поднятую афинским глашатаем; ибо εὔπρεπές означает не что иное, как это.

Οὐδ' αὖ ἐσπένδοντο δῆθεν ὑπὲρ τῆς ἐκείνων (Ἀθηναίων)- τὸ δὲ ἐκ τῆς ἑαυτῶν (Βοιωτῶν) εὔπρεπές εἶναι ἀποκρίνασθαι, ἀπionτας καὶ ἀπολαβεῖν ἃ ἀπαιτοῦσιν.

Наречие δῆθεν также обозначает ссылку на специальный вопрос, изложенный афинским глашатаем.

[644] Thucyd. iv, 100, 101.

[645] См. Платон (Symposion, с. 36, р. 221; Lachês, р. 181; Charmidês, р. 153; Apolog. Sokratis, р. 28), Страбон, ix, р. 403.

Плутарх, Алкивиад, с. 7. Среди историй, рассказанных о Сократесе в отступлении из Делиума, мы находим упоминание о том, что его жизнь была сохранена благодаря вдохновению его знакомого деймона, или гения, который в одном сомнительном случае подсказал ему, по какой из двух дорог идти безопаснее (Cicero, de Divinat. i, 54; Plutarch, de Genio Sokratis, с. 11, р. 581).

Скептицизм Афиней (v, р. 215) по поводу военной службы Сократеса не подлежит защите, но его можно объяснить преувеличениями и ложью, которые он читал, приписывая философу сверхчеловеческую галантность.

[646] См. выше, с. 378.

[647] Thucyd. iv, 78.

[648] Thucyd. iv, 78. Ὁ δὲ, κελευόντων τῶν ἀγωγῶν, πρίν τι πλέον ξυστῆναι τὸ κωλύσον, ἐχώρει οὐδὲν ἐπισχῶν δρόμῳ.

[649] География Фессалии недостаточно известна, чтобы мы могли с точностью проверить эти позиции. Река, которую Фукидид называет Апиданом, образована слиянием Апидана и Энипея. См. карту древней Фессалии Киперта (Colonel Leake, Travels in Northern Greece, ch. xlii, vol. iv, р. 470; и примечание д-ра Арнольда к этой главе Фукидида).

Мы должны предположить, что Брасидас задержался на значительное время для переговоров с противостоящим отрядом фессалийцев. В противном случае, кажется, что расстояние между Мелитеей и Фарсалом было бы не таким уж большим, чтобы преодолеть его за целый день марша, учитывая, что темп движения был настолько быстрым, насколько могли выдержать войска. Гораздо большее расстояние между Лариссой и Мелитеей за одну

ночь преодолел Филипп, царь Македонский, сын Деметрия, с войском, несущим лестницы и другие приспособления для нападения на город и т. д. (Polyb. v, 97.)

[650] Thucyd. iv, 78.

[651] Thucyd. iv, 82.

[652] Thucyd. iv, 83.

[653] Thucyd. iv, 84. Οἱ δὲ περὶ τοῦ δέχεσθαι αὐτὸν κατ' ἀλλήλους ἐστασίαζον, οἳ τε μετὰ τῶν Χαλκιδέων ξυνεπάγοντες καὶ ὁ δῆμος- ὅμως δὲ, διὰ τοῦ καρποῦ τὸ δέος ἔτι ἔξω ὄντος, πεισθὲν τὸ πλῆθος ὑπὸ τοῦ Βρασίδου δέξασθαι τε αὐτὸν μόνον καὶ ἀκούσαντας βουλευσασθαι, δέχεται, etc.

[654] Thucyd. iv, 85, 86, 87.

[655] Thucyd. iv, 108.

[656] Thucyd. iv, 88. Οἱ δὲ Ἀκάνθιοι, πολλῶν λεχθέντων πρότερον ἐπ' ἀμφοτέρω, κρύφα διαψηφισάμενοι, διὰ τε τὸ ἐπαγωγὰ εἰπεῖν τὸν Βρασίδαν καὶ περὶ τοῦ καρποῦ φόβῳ, ἔγνωσαν οἱ πλείους ἀφίστασθαι Ἀθηναίων.

[657] Thucyd. iv, 88; Diodor. xii, 67.

[658] Thucyd. iv, 103. μάλιστα δὲ οἱ Ἀργίλιοι, ἐγγύς τε προσοικοῦντες καὶ ἀεὶ ποτε τοῖς Ἀθηναίοις ὄντες ὑποπτοὶ καὶ ἐπιβουλεύοντες τῷ χωρίῳ (Amphipolis).

[659] Thucyd. iv, 104. Κατέστησαν τὸν στρατὸν πρὸ ἔω ἐπὶ τὴν γέφυραν τοῦ ποταμοῦ.

Чтение Беккера πρὸ ἔω кажется мне более предпочтительным, чем πρόσω. Последнее слово действительно ничего не добавляет к смыслу; в то время как тот факт, что Брасидас переправился через реку до рассвета, является новым и существенным: он не обязательно подразумевается в предыдущих словах ἐκείνη τῇ νυκτί.

[660] Thucyd. iv, 104. Ἀπέχει δὲ τὸ πόλισμα πλέον τῆς διαβάσεως, καὶ οὐ καθεῖτο τείχη ὥσπερ νῦν, φυλακὴ δὲ τις βραχεῖα καθειστήκει и др.

Д-р Арнольд, вместе с Добри, Поппо и большинством комментаторов, переводит эти слова: "Город (Амфиполь) находится дальше (от Аргилуса), чем проход через реку". Но это, конечно, верно и не несет никакой новой информации, поскольку Брасидас должен был пересечь реку, чтобы добраться до города. Смит и Блумфилд, как мне кажется, правы, считая, что τῆς διαβάσεως управляется ἀπέχει, а не πλέον, - "город находится на некотором расстоянии от переправы:", и возражение, которое Поппо выдвигает против них, что πλέον обязательно должен подразумевать сравнение с чем-то, не может быть поддержано: ведь Фукидид часто использует ἐκ πλείονος (iv, 103; viii, 83), как точно идентичный ἐκ πολλοῦ (i, 68; iv, 67; v, 69); также περὶ πλείονος.

В следующей главе, по случаю битвы при Амфиполе, можно найти некоторые дальнейшие замечания об этой местности.

[661] Thucyd. iv, 106. Οἱ δὲ πολλοὶ ἀκούσαντες ἄλλοιότεροι ἐγένοντο τὰς γνώμας и т. д.

Слово ἄλλοιότεροι, по-видимому, указывает как на изменение взглядов по сравнению с тем, что было раньше, так и на новые расхождения, возникшие между ними.

[662] Thucyd. iv, 105, 106; Diodor. xii, 68.

[663] Thucyd. iv, 108. Ἐχομένης δὲ τῆς Ἀμφιπόλεως, οἱ Ἀθηναῖοι ἐς μέγα δέος κατέστησαν и т. д.

Невероятное значение Амфиполя с прилегающим к нему мостом, образующим сообщение между областями к востоку и западу от Стримона, ощущал не только Филипп Македонский, как будет показано далее, но и римляне после завоевания Македонии. Из четырех областей, на которые римляне разделили Македонию, "pars prima (говорит Ливий, xlv, 30) habet opportunitatem Amphipoleos; quæ objecta claudit omnes ab oriente sole in Macedoniam aditus."

[664] Thucyd. iv, 108. Τὸ δὲ μέγιστον, διὰ τὸ ἡδονὴν ἔχον ἐν τῷ αὐτίκα, καὶ ὅτι τὸ πρῶτον Λακεδαιμονίων ὀργώντων ἔμελλον πειρᾶσθαι, κινδυνεύειν παντὶ τρόπῳ ἑτοῖμοι ἦσαν (подданные-союзники Афин).

[665] Thucyd. iv, 108.

[666] Thucyd. iv, 108. Οἱ μὲν Ἀθηναῖοι φυλακὰς ὥς ἐξ ὀλίγου καὶ ἐν χειμῶνι, διέπεμπον ἐς τὰς πόλεις etc.

[667] Thucyd. v, 26. См. биографию Фукидида у Марцеллина, приложенную ко всем изданиям, p. 19, ed. Arnold.

[668] Я переписываю основные черты из рассказа д-ра Тирлуолла, чье суждение совпадает по этому поводу с общепринятым (Hist. of Greece, ch. xxiii, vol. iii, p. 268).

"Вечером того же дня Фукидид с семьей галерами, которые, как оказалось, были у него в Тасосе, когда он получил депешу от Эвклеса, приплыл в устье Стримона и, узнав о падении Амфиполя, приступил к обороне Эйона. Его своевременное прибытие спасло это место, которое Брасидас на следующее утро безрезультатно атаковал как с реки, так и с суши, а беженцы, отступившие в силу договора из Амфиполя, нашли приют в Эйоне и способствовали его безопасности. *Историк оказал важную услугу своей стране, и не похоже, что человеческое благоразумие и активность могли бы достичь чего-то большего при тех же обстоятельствах.* Однако его неизбежная неудача стала поводом для приговора, по которому он провел двадцать лет своей жизни в изгнании, и он был восстановлен в своей стране только в период ее глубочайшего унижения общественными бедствиями. Столь многое можно с уверенностью заключить из его слов: ведь он не соизволил упомянуть ни об обвинении, которое было выдвинуто против него, ни о характере приговора, который он мог вынести или избежать добровольного изгнания. Утверждение, весьма вероятное само по себе, хотя и опирающееся на незначительный авторитет, приписывает его изгнание клевете Клеона: *то, что раздражение, вызванное потерей Амфиполя, было направлено против невинного объекта, вполне соответствует характеру народа и демагога.* Потомство выиграло от несправедливости его современников" и т. д.

[669] Thucyd. iv, 104. Οἱ δ' ἐναντίοι τοῖς προδιδούσι (то есть в Амфиполе) κρατοῦντες τῷ πλήθει ὥστε μὴ αὐτίκα τὰς πύλας ἀνοίγεσθαι, πέμπουσι μετὰ Εὐκλέους τοῦ στρατηγοῦ, ὃς ἐκ τῶν Ἀθηναίων παρῆν αὐτοῖς φύλαξ τοῦ χωρίου, ἐπὶ τὸν ἕτερον στρατηγὸν τῶν ἐπὶ Θράκης, Θουκυδίδην τὸν Ὀλόρου, ὃς τότε συνέγραψεν, ὅντα περὶ Θάσον (ἔστι δ' ἡ νῆσος, Παρίων ἀποικία, ἀπέχουσα τῆς Ἀμφιπόλεως ἡμισείας ἡμέρας μάλιστα πλοῦν) κελεύοντες σφίσι βοηθεῖν.

Здесь Фукидид описывает себя как "другого полководца вместе с Эвклесом в области Фракии". Невозможно найти более четкое обозначение обширного круга его функций и обязанностей.

Я принимаю здесь чтение τῶν ἐπὶ Θράκης, родительный падеж известной фукидидовской фразы τὰ ἐπὶ Θράκης, предпочитая τὸν ἐπὶ Θράκης; которое по сути означает то же самое, хотя и не так точно, и не так соответствует обычной манере историка. Блумфилд, Беккер и Гёллер ввели τῶν в текст на основании различных MSS: Поппо и д-р Арнольд также отдают предпочтение этому варианту, хотя и оставляют τὸν в тексте.

Кроме того, слова самого Фукидида в отрывке, где он упоминает о своем долгом изгнании, ясно доказывают, что он был послан в качестве генерала не на Фасос, а в Амфиполь: (v, 26) καὶ ξυνέβη μοι φεύγειν τὴν ἐμαυτοῦ ἔτη εἴκοσι μετὰ τὴν ἐς Ἀμφίπολιν στρατηγίαν, etc.

[670] Сравните Thucyd. iv, 84, 88, 103.

[671] Thucyd. iv, 103. μάλιστα δὲ οἱ Ἀργῖοι, ἐγγύς τε προσοικοῦντες καὶ ἀεὶ ποτε τοῖς Ἀθηναίοις ὄντες ὑποπτοὶ καὶ ἐπιβουλεύοντες τῷ χωρίῳ (Amphipolis), ἐπειδὴ παρέτυχεν ὁ καιρὸς καὶ Βρασίδης ἦλθεν, ἔπραξαν τε ἐκ πλείονος πρὸς τοὺς ἐμπολιτεύοντας σφῶν ἐκεῖ ὅπως ἐνδοθήσεται ἡ πόλις, etc.

[672] Thucyd. iv, 103. φυλακὴ δὲ τις βραχεῖα καθειστήκει, ἣν βιασάμενος ῥαδίως ὁ Βρασίδης, ἅμα μὲν τῆς προδοσίας οὔσης, ἅμα δὲ καὶ χειμῶνος ὄντος καὶ ἀπροσδοκῆτος προσπεσῶν, διέβη τὴν γέφυραν, etc.

[673] Thucyd. iv, 105. καὶ ἀπ' αὐτοῦ δύνασθαι ἐν τοῖς πρώτοις τῶν ἡπειρωτῶν, etc.

Ротшер в своей "Жизни Фукидида" (Leben des Thukydides, Göttingen, 1842, sect. 4, pp. 97-99) признает вероятной истиной, что Фукидид был выбран для этого командования именно в силу своего личного влияния на окружающую местность. Однако этот биограф все же повторяет общепринятую точку зрения, согласно которой Фукидид сделал все, что мог сделать способный полководец, и был несправедливо осужден.

[674] Thucyd. v, 26.

[675] Thucyd. iv, 104-108.

[676] Это стаύρωμα, упомянутая (v, 10) как существовавшая полтора года спустя, во время битвы при Амфиполе. Я скажу больше о топографии Амфиполя, когда перейду к описанию этой битвы.

[677] См. Grisebach, Reise durch Rumelien und Brura, vol. i, ch. viii, p. 226.

[678] Thucyd. iv, 109.

[679] Thucyd. iv, 110. καὶ αὐτὸν ἄνδρες ὀλίγοι ἐπῆγον κρύφα, ἐτοῖμοι ὄντες τὴν πόλιν παραδοῦναι, iv, 113. Τῶν δὲ Τρωναίων γιγνομένης τῆς ἀλώσεως τὸ μὲν πολὺ, οὐδὲν εἶδος, ἐθορυβεῖτο и т. д.

[680] Thucyd. iv. 114, 115. νομίσας ἄλλω τινὶ τρόπῳ ἢ ἀνθρωπεῖω τὴν ἄλωσιν γενέσθαι.

[681] Thucyd. iv, 119.

[682] Thucyd. iv, 21.

[683] Thucyd. iv, 108. Ὁ δὲ ἐς τὴν Λακεδαίμονα ἐφιέμενος στρατιάν τε προσαποστέλλειν ἐκέλευε.... Οἱ δὲ Λακεδαιμόνιοι τὰ μὲν καὶ φθόνῳ ἀπὸ τῶν πρώτων ἀνδρῶν οὐχ ὑπηρέτησαν αὐτῷ, etc.

[684] Thucyd. iv, 117. Τοὺς γὰρ δὴ ἄνδρας περὶ πλείονος ἐποιοῦντο κομίσασθαι, ὥς ἔτι Βρασίδης εὐτύχει- καὶ ἔμελλον, ἐπὶ μεῖζον χωρήσαντος αὐτοῦ καὶ ἀντίπαλα καταστήσαντος, τῶν μὲν στέρεσθαι, τοῖς δ' ἐκ τοῦ ἴσου ἀμυνόμενοι κινδυνεύειν καὶ κρατῆσθαι.

Этот отрывок вызывает недоумение, и смысл, вкладываемый в него лучшими комментаторами, кажется мне неудовлетворительным.

Доктор Арнольд замечает: "Необходимый смысл должен быть примерно таким. Если бы Брасидас был еще более успешен, то следствием этого стала бы потеря людей, взятых в Сфактерии, и в конце концов риск не быть окончательно побежденным". С той же целью высказываются Хаак, Поппо, Гёллер и др. Но, конечно же, этот смысл не мог прийти в голову Фукидиду. Ибо как мог тот факт, что Брасидас был *более успешен*, привести к тому, что лакедемоняне потеряли шанс вернуть своих пленников? Чем крупнее были приобретения Брасида, тем больше шансов было у лакедемонян вернуть своих пленников, потому что им было бы что отдать в обмен на них. А предложенный комментаторами смысл, неприемлемый при любых обстоятельствах, еще более исключается непосредственно предшествующими словами Фукидида: "Лакедемоняне прежде всего стремились вернуть своих пленников, в то время как Брасидас был еще в полном успехе" (ибо ὥς с' ἔτι должен означать в основном то же самое, что и ἔως). Невозможно, чтобы сразу после этого он мог сказать далее: "Однако если бы Брасидас стал *еще более успешным*, они *потеряли бы* шанс вернуть пленников". Бауэр и Поппо, заметив это противоречие, пытаются разрешить его, говоря, "что если бы Брасидас добился еще больших успехов, афиняне были бы охвачены такой ненавистью и негодованием, что предали бы пленников смерти". Поппо поддерживает это, ссылаясь на iv, 41, отрывок, который, однако, как выяснится, не несет в себе никаких доказательств: гипотеза сама по себе неприемлема и выдвигается для поддержания неприемлемого смысла.

Далее, что касается слов ἀντίπαλα καταστήσαντος (ἐπὶ μείζον χωρήσαντος αὐτοῦ καὶ ἀντίπαλα καταστήσαντος); Гёллер переводит их: "Postquam Brasidas in majus profecisset, et sua arma cum potestate Atheniensium æquasset." С той же целью также Хаак и Поппо. Но если бы смысл был именно таким, то это означало бы, что Брасидас еще ничего не сделал и ничего не приобрел; что все его успехи должны были произойти в будущем. В то время как на самом деле все обстоит с точностью до наоборот, о чем сам Фукидид говорит нам в предыдущей строке: Брасидас уже сделал огромные приобретения, настолько большие и серьезные, что главной заботой лакедемонян было использовать то, что он уже приобрел, как средство вернуть своих пленников, прежде чем фортуна повернется против него.

Опять же, последняя часть предложения рассматривается д-ром Арнольдом и другими комментаторами как испорченная; нет согласия и с тем, к какому предыдущему предмету τοῖς δὲ относится.

По моему мнению, значение, придаваемое комментаторами общему отрывку, настолько неприемлемо, что, если бы в этих словах нельзя было найти другого смысла, я бы считал все предложение испорченным в той или иной степени. Но я думаю, что можно найти и другое значение.

Я допускаю, что слова ἐπὶ μείζον χωρήσαντος αὐτοῦ *могут* означать: "если он достигнет большего успеха;" по аналогии с i, 17, и i, 118, ἐπὶ πλεῖστον ἐχώρησαν δυνάμεως-ἐπὶ μέγα ἐχώρησαν δυνάμεως. Но они не обязательно и даже не естественно имеют такое значение. Χωρεῖν ἐπὶ (с винительным падежом) означает "идти на", "стремиться", "идти на" или "идти за" (принимая английский разговорный эквивалент), ἐχώρου ἐπὶ τὴν ἀντικρὺς ἐλευθερίαν (Thucyd. viii, 64). Эта фраза может быть использована независимо от того, преуспел ли человек, о котором она утверждается, в своем деле или нет. Я полагаю, что в данном месте слова означают: "если бы Брасидас направился к чему-то большему"; если бы

он стремился к большим целям или шел к ним;" не утверждая, так или иначе, достигнет ли он того, к чему стремился, или нет.

Далее, слова ἀντίπαλα καταστήσαντος не относятся, по моему мнению, ни к будущим приобретениям Брасидаса, ни к их величине и сравнительной пользе в переговорах. Слова скорее означают: "если он выставит на открытое состязание и вражду то, что уже приобрел" (тем самым подвергая это опасности быть потерянным), "если он выставит себя и свои уже приобретенные завоевания на фронт сражения с врагом". В таком случае смысл будет в основном тот же, что и у καταστήσαντος ἑαυτὸν ἀντίπαλον. Два слова, о которых здесь идет речь, по сути своей неясны и эллиптичны, и любое толкование должно исходить из того, чтобы пролить свет на те идеи, которые они несовершенно обозначают. Предлагаемое мною толкование сохраняет смысл этих двух слов так же близко, как и толкование Хаака и Гёллера; в то же время оно выявляет общий смысл, делая все предложение, частью которого являются эти два слова, отчетливым и поучительным. Существительное, которое можно было бы понять вместе с ἀντίπαλα, было бы τὰ πράγματα; или, возможно, τὰ εὐτυχήματα, заимствованное из глагола εὐτύχει, который непосредственно предшествует.

В последней части предложения я думаю, что τοῖς δὲ относится к тому же предмету, что и ἀντίπαλα: ведь ἀπὸ τοῦ Ἰσοῦ ἀμυνόμενοι является лишь более полным выражением той же общей идеи, что и ἀντίπαλα.

Тогда все предложение будет истолковано следующим образом: "Ибо они больше всего желали вернуть своих пленников, пока Брасидас был еще в добром состоянии; в то время как они могли, если бы он пошел дальше и вступил во враждебное противостояние, остаться без пленников; и даже в отношении их успехов, чтобы воспользоваться шансом опасности или победы в равном противостоянии".

Приведенный здесь смысл является четким и рациональным, и я думаю, что он справедливо заложен в словах. Фукидид не хочет показать, что лакедемоняне считают, что если Брасидас действительно получит больше, чем уже получил, то такое дальнейшее приобретение будет для них невыгодным и помешает им вернуть пленников. Он представляет их как предпочитающих уверенность в тех приобретениях, которые Брасидас уже сделал, шансу и опасности его стремления к большему; что не могло быть сделано без угрозы для того, что было сейчас надежно, и не только надежно, но и достаточно, если правильно управлять, чтобы обеспечить восстановление пленников.

Поппо относит τοῖς δὲ к афинянам: Гёллер относит его к остальным спартанским военным силам, не считая пленников, которые были задержаны в Афинах. Последняя ссылка кажется мне неприемлемой, поскольку τοῖς δὲ должно означать каких-то людей или вещи, которые были ранее указаны или обозначены; а то, что, по мнению Гёллера, оно означает, ранее не было указано. Чтобы отнести его к афинянам, вместе с Поппо и Хааком, во втором издании, мы должны были бы искать предмет очень далеко назад, и, кроме того, существует трудность в толковании ἀμυνόμενοι с дательным падежом. В противном случае эта ссылка была бы допустима; хотя я думаю, что лучше отнести τοῖς δὲ к тому же субъекту, что и ἀντίπαλα. Во фразе κινδυνεύειν или κινδυνεύσειν, поскольку нет достаточных оснований для изменения этого старого чтения, καὶ κρᾶτήσειν, частица καὶ имеет дизъюнктивный смысл, чему есть аналогичные примеры; см. Kühner, Griechische Grammatik, sect. 726, означающее, по сути, то же самое, что и ἢ: и примеры даже у Фукидида, в таких фразах, как τοιαῦτα καὶ παραπλήσια (i, 22, 143), τοιαύτη καὶ ὅτι ἐγγύτατα τοῦτων, v, 74; см. примечание Поппо к i, 22.

[685] Thucyd. v, 17. ἡμισυ τῆς οἰκίας τοῦ ἱεροῦ τότε τοῦ Διὸς οἰκοῦντα φόβῳ τῶν Λακεδαιμονίων.

"Причина в том, что он мог быть в святилище в любой момент и при этом иметь возможность выполнять некоторые обычные жизненные обязанности без осквернения, чего не могло бы быть, если бы все жилище находилось в пределах священного участка". (Примечание д-ра Арнольда.)

[686] Thucyd. v, 17, 18.

[687] Thucyd. v, 15. σφαλέντων δ' αὐτῶν ἐπὶ τῷ Δηλίῳ παραχρῆμα οἱ Λακεδαιμόνιοι, γνόντες νῦν μᾶλλον ἂν ἐνδεξομένους, ποιοῦνται τὴν ἐνιαύσιον ἐκεχειρίαν, etc.

[688] Thucyd. iv, 118; v, 43.

[689] Thucyd. iv, 117. νομίσαντες Ἀθηναῖοι μὲν οὐκ ἂν ἔτι τὸν Βρασίδαν σφῶν προσαποστῆσαι οὐδὲν πρὶν παρασκευάσαιντο καθ' ἥσυχίαν, etc.

[690] Это следует из формы перемирия в Thucyd. iv, 118; оно подготовлено в Спарте, в результате предыдущего предложения из Афин; в разд. 6. οἱ δὲ ἰόντες, τέλος ἔχοντες ἰόντων, ἥπερ καὶ ὑμεῖς ἡμᾶς κελεύετε.

[691] Thucyd. iv, 117. καὶ γενομένης ἀνακωχῆς κακῶν καὶ τалаипωρίας μᾶλλον ἐπιθυμήσειν (τοὺς Ἀθηναίους) αὐτοὺς πειρασαμένους ξυναλλαγῆναι, etc.

[692] Thucyd. iv, 119. Четырнадцатое число Элафеболиона и двенадцатое Герастия обозначают один и тот же день. Перемирие отправилось из Спарты в Афины в готовом виде, вместе с посланниками спартанцами, коринфянами, мегарянами, сикионянами и эпидаврами. Перемирие было принято афинским собранием, и сразу же было подписано всеми посланниками, а также тремя афинскими стратигами (σπεύσασθαι δὲ αὐτίκα μάλα τὰς πρεσβείας ἐν τῷ δήμῳ τὰς παρούσας, iv, 118, 119); этот день был установлен как начало.

Лунные месяцы в разных городах никогда не находились в точном согласии.

[693] См. Аристофан. Aves, 188.

[694] Thucyd. v, 1-32. Возможно, они полагали, что занятие Делиума оскорбило Аполлона.

[695] Thucyd. iv, 118 Περὶ δὲ τῶν χρημάτων τοῦ θεοῦ ἐπιμελεῖσθαι ὅπως τοὺς ἀδικοῦντας ἐξευρήσομεν, etc. Д-р Тирлуолл (Hist. Gr. vol. iii. ch. xxiii, p. 273) считает, что эта статья относится к прошлому присвоению дельфийских сокровищ Пелопоннесским союзом для военных целей. Если бы имелась в виду такая ссылка, мы, вероятно, должны были бы найти причастие прошедшего времени, τοὺς ἀδίκησαντας: тогда как причастие настоящего времени, как оно сейчас стоит, является совершенно общим, обозначая действия будущие и условные.

[696] Thucyd. iv, 118: см. примечание Поппо.

[697] Thucyd. iv, 122.

[698] Thucyd. iv, 120. ὄντες οὐδὲν ἄλλο ἢ νησιῶται и т. д.

[699] Thucyd. iv, 121. Καὶ οἱ μὲν Σκιωναῖοι ἐπήρθησάν τε τοῖς λόγοις, καὶ θαρσήσαντες πάντες ὁμοίως, καὶ οἷς πρότερον μὴ ἥρεσκε τὰ πρασσόμενα, etc.

[700] Thucyd. iv, 121. Καὶ δημοσίᾳ μὲν χρυσῷ στεφάνῳ ἀνέδησαν ὥς ἐλευθεροῦντα τὴν Ἑλλάδα, ἰδίᾳ τε ἐταινίου τε καὶ προσήρχοντο ὥσπερ ἀθλητῇ.

Сравните Плутарх, Periklēs, с. 28: сравните также Krause (Olympia), sect. 17, p. 162 (Wien, 1838). В Олимпии было принято возлагать на голову победителей филейную часть из ткани или льна, прежде чем надеть оливковый венок.

[701] Thucyd. iv, 122, 123.

[702] Thucyd. iv, 123. Διὸ καὶ οἱ Μενδαῖοι μᾶλλον ἐτόλμησαν, τὴν τε τοῦ Βρασίδου γνώμην ὀρῶντες ἐτοίμην, καὶ ἅμα τῶν πρᾶσσόντων σφίσιν ὀλίγων τε ὄντων, καὶ ὡς τότε ἐμέλλησαν οὐκέτι ἀνέντων, ἀλλὰ καταβιασάμενων παρὰ γνώμην τοὺς πολλούς, iv, 130. ὁ δῆμος εὐθύς ἀναλαβὼν τὰ ὄπλα περιοργῆς ἐχώρει ἐπὶ τε Πελοποννησίους καὶ τοὺς τὰ ἐναντία σφίσι μετ' αὐτῶν πράξαντας и др.

Афиняне, после завоевания этого места, желают мендейцам πολιτεύειν ὥσπερ εἰωθέσαν.

Мендек - еще один случай, когда основная масса граждан была против восстания из Афин, несмотря на пример соседей.

[703] Thucyd. iv, 130.

[704] Thucyd. iv, 123, 124.

[705] Thucyd. iv, 130; Diodor. xii, 72.

[706] Thucyd. iv, 131.

[707] Thucyd. iv, 124.

[708] Thucyd. iv, 125.

[709] Thucyd. iv, 126. Ἀγαθοῖς γὰρ εἶναι ὑμῖν προσήκει τὰ πολέμια, οὐ διὰ ξυμμάχων παρουσίαν ἐκάστοτε, ἀλλὰ δι' οἰκείαν ἀρετὴν, καὶ μηδὲν πλῆθος πεφοβῆσθαι ἐτέρων, οἳ γε (μηδὲ) ἀπὸ πολιτειῶν τοιούτων ἦκετε, ἐν αἷς οὐ πολλοὶ ὀλίγων ἄρχουσιν, ἀλλὰ πλειόνων μᾶλλον ἐλάσσους- οὐκ ἄλλω τινὶ κτησάμενοι τὴν δυναστείαν ἢ τῷ μαχόμενοι κρατεῖν.

[710] Thucyd. iv, 126. Οὐτε γὰρ τάξιν ἔχοντες αἰσχυνθεῖεν ἂν λιπεῖν τινα χώραν βιαζόμενοι- ἢ τε φυγὴ αὐτῶν καὶ ἡ ἔφοδος ἴσην ἔχουσα δόξαν τοῦ καλοῦ ἀνεξέλεγκτον καὶ τὸ ἀνδρεῖον ἔχει- αὐτοκράτωρ δὲ μάχη μάλιστ' ἂν καὶ πρόφασιν τοῦ σώζεσθαι (se sauver) τινι πρεπόντως πορίσειε.

Σαφῶς τε πᾶν τὸ προϋπάρχον δεινὸν ἀπ' αὐτῶν ὁρᾶτε, ἔργῳ μὲν βραχὺ ὄν, ὅψει δὲ καὶ ἀκοῇ κατάσπερχον. Ὁ ὑπομεινάντες ἐπιφερόμενον, καὶ ὅταν καιρὸς ᾗ, κόσμῳ καὶ τάξει αὖθις ὑπαγαγόντες, ἔς τε τὸ ἀσφαλὲς θᾶσσον ἀφίξεσθε, καὶ γνώσεσθε τὸ λοιπὸν ὅτι οἱ τοιοῦτοι ὄχλοι τοῖς μὲν τὴν πρώτην ἔφοδον δεξαμένοις ἄποθεν ἀπειλαῖς τὸ ἀνδρεῖον μελλήσει ἐπικομποῦσιν, οἳ δ' ἂν εἴξωσιν αὐτοῖς, κατὰ πόδας τὸ εὐψυχον ἐν τῷ ἀσφαλεῖ ὀξεῖς ἐπιδείκνυνται.

Слово μέλλησις, которое дважды встречается в этой главе в отношении иллирийцев, очень выразительно и в то же время трудно переводимо на любой другой язык: "то, что они, кажется, собираются сделать, но никогда не реализуют". См. также i, 69.

Речь римского консула Манлия, описывающего галлов, заслуживает сравнения: "Procera corpora, promissæ et rutilatæ comæ, vasta scuta, prælongi gladii: ad hoc cantus ineuntium prælium, et ululatus et tripudia, et quotientium scuta in patrium quendam morem horrendus armorum crepitus: omnia de industriâ composita ad terrorem" (Livy, xxxviii, 17.)

[711] Thucyd. ii, 81. См. выше, гл. xlviii, этой истории.

[712] См. памятные замечания Гиппократы и Аристотеля о различии в мужестве между европейцами и азиатами, а также между эллинами и неэллинами (Hippokratês, De Aëre, Locis,

et Aquis, с. 24, ed. Литтре, разд. 116, seq., ed. Petersen; Aristotel. Politic. vii, 6, 1-5), а также разговор между Ксерксом и Демаратом (Herodot. vii, 103, 104).

[713] Thucyd. iv, 128. Невозможно ясно понять этот отрывок без некоторого знания местности, к которой он относится. Я предполагаю, что обычная дорога через дефиле, по которой проходила главная армия Брасидаса, была длинной и извилистой, что делало подъем на вершину очень постепенным, но в то же время с обеих сторон она была открыта с высот, расположенных выше. Отряд из трехсот человек взобрался на крутую высоту с одной стороны и оттеснил врага, сделав невозможным его дальнейшее пребывание даже на главной дороге. Но я не предполагаю, как доктор Арнольд, что основная армия Брасидаса последовала за тремя сотнями и "вырвалась из долины, преодолев одну из ее сторон": они преследовали главную дорогу, как только она была для них расчищена.

[714] Thucyd. iv, 127, 128.

[715] Thucyd. iv, 128-132. Сохранилось несколько строк комического поэта Гермиппа (в Φορμόφοροι, Meineke, Fragm. p. 407) о Ситалкесе и Пердикке. Среди подарков, привезенных Дионисом домой во время его путешествия, числятся "чесотка из Ситалкеса, предназначенная для лакедемонян, и множество кораблей с ложью из Пердиккаса". Καὶ παρὰ Περδίκκου ψεύδη ναυσὶν πάνυ πολλὰ ἴς.

[716] Thucyd. iv, 132.

[717] Thucyd. iv, 132. Καὶ τῶν ἡβώντων αὐτῶν παρανόμως ἄνδρας ἐξῆγον ἐκ Σπάρτης, ὥστε τῶν πόλεων ἄρχοντας καθιστάει καὶ μὴ τοῖς ἐντιχοῦσιν ἐπιτρέπει.

Большинство комментаторов переводят ἡβώντων как "*молодые люди*", что не соответствует обычному значению этого слова: оно означает "*люди военного возраста*", куда входят как молодые, так и среднего возраста. Если мы сравним iv, 132 с iii, 36, v, 32 и v, 116, то увидим, что ἡβώντες действительно имеет это более широкое значение: сравните также μέχρι ἥβης (ii, 46), что означает "до наступления возраста военной службы".

Поэтому нет необходимости предполагать, что люди, взятые Исфагором, были очень молоды, например, что им не исполнилось тридцати лет, как хотели бы сказать Мансо, О. Мюллер и Гёллер. Достаточно того, что они находились в пределах военного возраста, причем в обоих случаях.

Учитывая необычайное почтение к старости в Спарте, нет ничего удивительного в том, что по древним обычаям и конституции старики должны были считаться исключительно подходящими для таких командований.

Однако обширные операции, в которые Спарта была вовлечена в результате Пелопоннесской войны, сделали бы невозможным сохранение такой максимы на практике: но в этот момент этот шаг все еще признавался как отход от принятой максимы, и Фукидид характеризует его как таковой под термином παρανόμως.

Я объясняю τοῖς ἐντιχοῦσιν тем, что на эти должности назначались люди, *не являющиеся спартанцами*: см. в связи с этим акцент, который Брасида делает на том, что Клирида́с был спартанцем, Thucyd. v, 9.

[718] Thucyd. iv, 135.

[719] Thucyd. ii, 5; iv, 133; Pausan. ii, 17, 7; iii, 5, 6. Элланник (современник Фукидида, но несколько старше его, находясь по возрасту между ним и Геродотом) составил

хронологический ряд этих жриц Геры с историей прошлых событий, относящихся к предполагаемому времени каждой из них. И таково было общеэллинское значение храма в это время, что Фукидид, точно описывая начало Пелопоннесской войны, сообщает нам в качестве одного из своих указаний на время, что Хризис была тогда сорока восьми лет жрицей в Херенеуме. Использовать череду олимпийских призов и олимпиад в качестве непрерывного распределения времени было практикой, которая еще не получила распространения.

Каталог этих жриц Геры, начиная с мифических и заканчивая историческими именами, иллюстрируется надписью, принадлежащей храму Галикарнаса в Бозеке, Corpus Inscr. No. 2655: см. комментарий Бозэция и Preller, Hellenici Fragmenta, pp. 34, 46.

[720] Xenophon, Memorabil. iii, 5, 6.

[721] Thucyd. iv, 133.

[722] Это кажется мне наиболее разумным смыслом, который можно вложить в вызывающий много споров отрывок из Thucyd. v, 1. Τοῦ δ' ἐπιγινόμενου θέρους αἱ μὲν ἐνιαύσιοι σπονδαὶ διελέλυντο μέχρι τῶν Πυθίων- καὶ ἐν τῇ ἐκεχειρίᾳ Ἀθηναῖοι Δηλίους ἀνέστησαν ἐκ Δήλου; опять же, v, 2. Κλέων δὲ Ἀθηναίους πείσας ἐς τὰ ἐπὶ Θράκης χωρία ἐξέπλευσε μετὰ τὴν ἐκεχειρίαν, и т. д.

Фукидид говорит здесь, что "перемирие было расторгнуто": узы, наложенные на обе стороны, были развязаны, и обе вернулись к своей естественной свободе. Но он не говорит, что "военные действия возобновились" до пифии, как утверждают Гёллер и другие критики. Промежуток между 14-м числом месяца Элафеболиона и праздником Пифии был таким, когда уже не действовало ни перемирие, ни фактические военные действия: это был ἀνακωχῇ ᾧσπονδος, по выражению Фукидида, когда он описывает отношения между Коринфом и Афинами в следующем году (ст. 32).

Слово ἐκεχειρία здесь означает, по моему мнению, перемирие, объявленное во время пифийского праздника, - совершенно иначе, чем перемирие на один год, которое истекло незадолго до этого. Изменение слова в течение одной строки с σπονδαὶ на ἐκεχειρία указывает на это различие.

Я согласен с д-ром Арнольдом, не соглашаясь ни с М. Бёкхом, ни с г-ном Клинтоном, в его концепции событий этого года. Клеон отплыл в экспедицию во Фракию после пифийского священного перемирия, в начале августа: между этой датой и концом сентября произошли взятие Торона и битва при Амфиполе. Но способ, которым доктор Арнольд отстаивает свое мнение, вовсе не является удовлетворительным. В "Диссертации", приложенной ко второму тому "Фукидида" (с. 458), он говорит: "Слова в Thucydidês αἱ ἐνιαύσιοι σπονδαὶ διελέλυντο μέχρι Πυθίων, означают, как я их понимаю, "что перемирие в течение года *продолжалось* до Пифийских игр, а затем закончилось: То есть, вместо того, чтобы истечь 14-го числа Элафеболиона, оно *молчаливо продолжалось* еще почти четыре месяца, до середины лета: и только в середине Гекатомбеона Клеон был послан вернуть Амфиполь."

Такое толкование слова διελέλυντο кажется мне неприемлемым, и защита его д-ром Арнольдом, стр. 454, не имеет большой ценности: σπονδὰς διαλύειν - это выражение, хорошо известное Фукидиду (iv, 23; v, 36), "расторгнуть перемирие". Я согласен с Бозэком и г-ном Клинтоном в толковании этих слов, за исключением того, что я вычеркиваю то, что они вводят из своего воображения. Они говорят: "Перемирие было прекращено, и *война снова возобновилась*, вплоть до Пифийских игр". Фукидид говорит только "что перемирие было расторгнуто"; он не говорит "*что война возобновилась*". Для концепции д-ра Арнольда вовсе

не обязательно, чтобы эти слова были переведены так, как он предлагает. Его замечания (с. 460) об отношении афинян к пифийским играм кажутся мне справедливыми: но он не обращает внимания на тот факт, который существенно укрепил бы его слова, что афиняне были исключены из Дельф и из пифийского праздника между началом войны и годичным перемирием. Я полагаю, что Пифийские игры отмечались в июле или августе. В одной из предыдущих частей этой Истории (гл. xxviii, т. iv, с. 67) я сказал, что они праздновались *осенью*; скорее следовало бы сказать "в конце лета".

[723] Thucyd. v, 16. Κλέων τε καὶ Βρασίδης, οἵπερ ἀμφοτέρωθεν μάλιστα ἠναντιοῦντο τῇ εἰρήνῃ, ὁ μὲν, διὰ τὸ εὐτυχεῖν τε καὶ τιμᾶσθαι ἐκ τοῦ πολεμεῖν, ὁ δὲ, γενομένης ἡσυχίας καταφανέστερος νομίζων ἂν εἶναι κακουργῶν, καὶ ἀπιστότερος διαβάλλων, etc.

[724] Плутарх, Фокион, с. 16.

[725] См. речи Афинагора и Гермократа, Thucyd. vi, 33-36.

[726] Plutarch, Periklēs, с. 33-35.

[727] Thucyd. i, 142, 143, 144; ii, 13. καὶ τὸ ναυτικὸν ἥπερ ἰσχύουσιν ἐξαρτύεσθαι, τά τε τῶν συμμάχων διὰ χειρὸς ἔχειν-λέγων τὴν ἰσχὺν αὐτοῖς ἀπὸ τούτων εἶναι τῶν χρημάτων τῆς προσόδου, etc.

[728] Thucyd. ii, 63. Τῆς δὲ πόλεως ὑμᾶς εἰκὸς τῷ τιμωμένῳ ἀπὸ τοῦ ἄρχειν, ὥπερ ἅπαντες ἀγάλλεσθε, βοηθεῖν, καὶ μὴ φεύγειν τοὺς πόνοους ἢ μηδὲ τὰς τιμὰς διώκειν, etc. с. 62, αἵσχιον δὲ, ἔχοντας ἀφαιρεθῆναι ἢ κτωμένους ἀτυχῆσαι. Напротив, в двух речах Periklēs (Thucyd. i, 140-144; ii, 60-64) Фукидид описывает простое "избегание риска" (τὸ ἀκίνδυνον), характерное для Никиаса (ст. 16).

[729] Thucyd. v, 7. καὶ οἴκοθεν ὡς ἄκοντες αὐτῷ ξυνῆλθον.

[730] Город Торон был расположен у оконечности Ситонийского полуострова, на стороне, обращенной к Паллену. Но территория, принадлежавшая городу, охватывала всю оконечность полуострова с обеих сторон, включая конечный пункт - мыс Ампелос, - Ἄμπελον τὴν Τρωναίην ἄκρην (Herodot. vii, 122). Геродот называет Сингитский залив θάλασσαν τὴν ἄντιον Τρωώνης (vii, 122).

Развалины Торонка, носящего древнее название, и Куфо, закрытой гавани рядом с ним, все еще можно увидеть (Leake, Travels in Northern Greece, vol. iii, ch. xxiv, p. 119).

[731] Thucyd. v, 3.

[732] Thucyd. v, 7. Ὁ δὲ Κλέων τέως μὲν ἡσύχαζεν, ἔπειτα δὲ ἠναγκάσθη ποιῆσαι ὅπερ ὁ Βρασίδης προσεδέχετο. Τῶν γὰρ στρατιωτῶν ἀχθομένων μὲν τῇ ἔδρᾳ, ἀναλογιζομένων δὲ τὴν ἐκείνου ἡγεμονίαν, πρὸς οἷαν ἐμπειρίαν καὶ τόλμαν μεθ' οἷας ἀνεπιστημοσύνης καὶ μαλακίας γενήσοιτο, καὶ οἴκοθεν ὡς ἄκοντες αὐτῷ ξυνῆλθον, αἰσθόμενος τὸν θροῦν, καὶ οὐ βουλόμενος αὐτοῦς διὰ τὸ ἐν τῷ αὐτῷ καθημένους βαρύνεσθαι, ἀναλαβὼν ἦγε.

[733] Thucyd. iv, 102. Ἀπὸ τῆς νῦν πόλεως, ἣν Ἀμφίπολιν Ἄγνων ὠνόμασεν, ὅτι ἐπ' ἀμφοτέρα περιῤῥέοντος τοῦ Στρύμονος, διὰ τὸ περιέχειν αὐτὴν, τείχει μακρῷ ἀπολαβὼν ἐκ ποταμοῦ ἐς ποταμὸν, περιφανῇ ἐς θάλασσαν τε καὶ τὴν ἥπειρον ὥκισεν.

Ὁ καλλιέφυρος ποταμὸς Στρύμων, Euripid. Резус, 346.

Я прилагаю план, который даст некоторое представление о холме Амфиполь и прилегающей территории: сравните план полковника Лика, Путешествия по Северной Греции, том iii, гл.

xxv, стр. 191, и план г-на Хокинса, который приложен к третьему тому "Thucydides" д-ра Арнольда, вместе с Диссертацией, которая появилась во втором томе того же труда, стр. 450. См. также замечания в Kutzen, De Atheniensium imperio circa Strymonem, ch. ii, pp. 18-21; Weissenborn, Beiträge zur genaueren Erforschung der alt-griechischen Geschichte, pp. 152-156; Cousinéry, Voyage dans la Macédoine, vol. i, ch. iv, p. 124, seq.

Полковник Лик полагает, что древний мост находился в той же точке реки, что и современный мост; то есть к северу от Амфиполиса и немного западнее угла озера. В этом вопросе я расхожусь с ним и вместе с доктором Арнольдом помещаю его у юго-восточного конца реки Стримон, которая течет вокруг Амфиполя. Но есть еще одно обстоятельство, в котором рассказ полковника Лика исправляет существенную ошибку в "Диссертации" доктора Арнольда. Полковник Лик особенно отмечает высокий хребет, соединяющий холм Амфиполис с горой Пангея на востоке (с. 182, 183, 191-194), тогда как доктор Арнольд представляет их разделенными глубоким оврагом (с. 451): при таком предположении весь рассказ о походе и исследовании Клеона кажется мне невразумительным.

Эпитет, которым Фукидид наделяет Амфиполь, - "заметный и на море, и на суше", - вызывающий некоторое недоумение у комментаторов, кажется мне вполне уместным. Амфиполь действительно располагался на холме, как и многие другие города: но его особенностью было то, что с трех сторон у него не было стены, которая могла бы помешать взгляду зрителя: одна из этих сторон была обращена к морю.

Кутцен и Кузинери считают, что длинная стена представляет собой сегмент сильно изогнутой кривой, касающейся реки с обоих концов. Но я согласен с Вейсенборном, что это недопустимо; и что слова "длинная стена" подразумевают нечто близкое к прямому направлению.

[734] Ἀπέχει δὲ τὸ πόλισμα πλεον τῆς διαβάσεως: см. [примечание](#) к этим словам, [сделанное несколько страниц назад](#). Из этого не следует, что мост находился на значительном расстоянии от крайней точки, где длинная стена касалась реки с юга: но эта последняя точка находилась на значительном расстоянии от города, называемого так, который занимал более высокий склон холма. Не стоит полагать, что все пространство между длинной стеной и рекой было покрыто зданиями.

[735] Thucyd. v. 10. Καὶ ὁ μὲν (Brasidas) κατὰ τὰς ἐπὶ τὸ σταύρωμα πύλας, καὶ τὰς πρώτας τοῦ μακροῦ τείχους τότε ὄντος ἐξελθὼν, ἔθει δρόμῳ τὴν ὁδὸν ταύτην εὐθεΐαν, ἥπερ νῦν, etc.

Объяснение, которое я здесь даю слову σταύρωμα, не дано никем другим; но оно кажется мне единственным, рассчитанным на то, чтобы придать ясность и последовательность всему повествованию.

Когда Брасида впервые удивил Амфиполь, мост был совершенно не связан с Длинной стеной и находился на некотором расстоянии от нее. Но когда Фукидид писал свою историю, между мостом и укреплениями города, как они тогда стояли, была пара *соединительных стен* - οὐ καθεῖτο τεῖχη ὥσπερ νῦν (iv, 103): все укрепления города были изменены в течение промежуточного периода.

Теперь вопрос в том, была ли длинная стена Амфиполя соединена или не соединена с мостом во время конфликта между Брасидасом и Клеоном? Тот, кто внимательно прочтет рассказ Фукидида, увидит, я думаю, что они должны были быть соединены, хотя Фукидид и не уточняет этот факт. Ведь если бы мост был оторван от стены, как это было, когда Брасидас впервые захватил это место, холм Кердилиум на противоположном берегу реки стал бы для

него небезопасным местом. Он мог быть отрезан от Амфиполя врагом, атаковавшим мост. Но мы видим, что он спокойно оставался на холме Кердилия, будучи совершенно уверенным, что сможет войти в Амфиполь в любой момент по своему желанию. Если возразить, что мост, не связанный с Длинной стеной, может находиться под отдельной сильной охраной, то я отвечу, что при таком предположении враг из Эйона, естественно, нападет на мост первым. Если бы пришлось защищать мост, полностью оторванный от города, только с помощью большой постоянной стражи, это значительно усугубило бы трудности Брасидаса. Если бы было возможно атаковать мост отдельно от города, об этом должно было бы быть сказано в описании операций Клеона, который представлен как не находящий ничего, во что можно было бы вмешаться, кроме укреплений города.

Если предположить, что между мостом и Длинной стеной существовала такая линия связи, добавленная Брасидасом со времени первого захвата этого места, то я не знаю значения, которое можно было бы так естественно придать слову *σταύρωμα*. Никакого другого значения никто не предлагает. В Длинной стене, конечно, были ворота, или даже не одни, ведущие в пространство, отгороженное палисадом; через эти ворота Брасидас входил в город, когда переправлялся из Кердилии. Эти ворота Фукидид называет *αἱ ἐπὶ τὸ σταύρωμα πύλαι*. В самом палисаде должны были быть ворота, или даже несколько, ведущие на свободное пространство: чтобы пассажиры или скот, проходящие по мосту с запада и направляющиеся в Миркинус (*например*), не были вынуждены сворачивать с дороги и въезжать в город Амфиполь.

На приведенном мной плане линия, идущая почти с севера на юг, представляет собой Длинную стену Агнона, касающуюся реки с обоих концов и ограничивающую, а также укрепляющую город Амфиполь с его восточной стороны.

Более короткая линия, отсекающая южную часть Длинной стены и соединяющаяся с рекой сразу за мостом, представляет собой *σταύρωμα*, или палисад: вероятно, это была земляная насыпь и ров, с сильным палисадом на вершине.

С помощью этого палисада мост был включен в состав укреплений Амфиполя, и Брасидас мог переходить с горы Кердилиум в город, когда ему заблагорассудится.

[736] Thucyd. v, 7; ср. Colonel Leake, *l. c.* p. 182; αὐτὸς ἐθεῖτο τὸ λιμνῶδες τοῦ Στρώμονος, καὶ τὴν θέσιν τῆς πόλεως ἐπὶ τῇ Θράκῃ, ὡς ἔχοι.

[737] Thucyd. v, 7. Κατὰ θεῖαν δὲ μᾶλλον ἔφη ἀναβαίνειν τοῦ χωρίου, καὶ τὴν μείζω παρασκευὴν περιέμενεν, οὐχ ὡς τῷ ἀσφαλεῖ, ἣν ἀναγκάζεται, περισχήσων, ἀλλ' ὡς κύκλῳ περιστὰς βίᾳ αἰρήσων τὴν πόλιν.

Слова *οὐχ ὡς τῷ ἀσφαλεῖ* и т. д. относятся не к *μείζω παρασκευῇ*, как считает схолиаст, с которым согласен доктор Арнольд, а к общей цели и склонностям Клеона. "Он шел не как тот, кто в изобилии снабжен средствами безопасности на случай, если его поставят на защиту, а как тот, кто собирается окружить город и сразу же взять его".

Эти последние слова не отражают никакого реального замысла, задуманного Клионом (ведь Амфиполь из-за его местоположения *не мог быть по-настоящему окружен*), но лишь иллюстрируют беспечную уверенность его похода от Эйона до хребта: подобно тому, как Геродот описывает стремительный рывок персов перед битвой при Платье, чтобы догнать греков, которые, как они полагали, убегали - *Καὶ οὗτοι μὲν βοῇ τε καὶ ὁμίλῳ ἐπήισαν, ὡς ἀναρπασόμενοι τοὺς Ἕλληνας* (ix, 59): ср. viii, 28.

[738] Thucyd. v, 7. ὥστε καὶ μηχανὰς ὅτι οὐκ κατήλθεν ἔχων, ἀμαρτεῖν ἐδόκει- ἐλεῖν γὰρ ἂν τὴν πόλιν διὰ τὸ ἐρήμον.

Я полагаю, что глагол κατήλθεν относится к приходу вооружения в Эйон: аналогично тому, что сказано в v, 2, κατέπλευσεν ἐς τὸν Τορωναίων λιμένα: сравните i, 51; iii, 4 и т. д. Марш от Эйона до хребта не может быть выражен словом κατήλθεν: но прибытие экспедиции к Стримону, месту назначения, может быть описано так. Двигатели для батареек должны были быть привезены ниоткуда, кроме как из Афин.

Д-р Арнольд толкует слово κατήλθεν так, что Клеон сначала поднялся на более высокую точку, а затем спустился с нее в Амфиполь. Но я оспариваю правильность этого предположения с точки зрения топографии: мне не кажется, что Клеон когда-либо достигал какой-либо точки выше вершины холма и стены Амфиполя. Кроме того, даже если бы он достиг более высокой точки горы, он не мог бы говорить о "спуске таранных машин с этой точки".

[739] Thucyd. v, 6. Βρασίδας δὲ-ἀντεκάθητο καὶ αὐτὸς ἐπὶ τῷ Κερδυλίῳ- ἔστι δὲ τὸ χωρίον τοῦτο Ἀργιλίων, πέραν τοῦ ποταμοῦ, οὐ πολὺ ἀπέχον τῆς Ἀμφιπόλεως, καὶ κατεφαίνετο πάντα αὐτόθεν, ὥστε οὐκ ἂν ἔλαθεν αὐτόθεν ὀρμώμενος ὁ Κλέων τῷ στρατῷ, etc.

[740] Thucyd. v, 8.

[741] Thucyd. v, 9. Τοὺς γὰρ ἐναντίους εἰκάζω καταφρονήσει τε ἡμῶν καὶ οὐκ ἂν ἐλπίσαντας ὥς ἂν ἐπεξέλθοι τις αὐτοῖς ἐς μάχην, ἀναβῆναι τε πρὸς τὸ χωρίον, καὶ νῦν ἀτάκτως κατὰ θέαν τετραμμένους ὀλιγωρεῖν.... Ἔως οὖν ἔτι ἀπαράσκευοι *θαρσοῦσι*, καὶ τοῦ ὑπαπιέναι πλέον ἢ τοῦ μένοντος, ἐξ ὧν ἐμοὶ φαίνονται, τὴν διάνοιαν ἔχουσιν, ἐν τῷ *ἀνειμένῳ αὐτῶν τῆς γνώμης*, καὶ πρὶν *ξυνταχθῆναι μᾶλλον τὴν δόξαν*, ἐγὼ μὲν, и т.д.

Слова τὸ ἀνειμένον τῆς γνώμης полны значения в отношении древних военных дел. Греческие гоплиты, даже самые лучшие из них, должны были быть особым образом *настроены* на битву; отсюда необходимость в проповеди генерала, которая всегда предшествовала ей. Сравните хвалебный отзыв Ксенофонта о маневрах Эпаминондаса перед битвой при Мантинее, когда он заставил врага думать, что тот не собирается сражаться, и сбил в сознании солдат подготовку к битве: ἔλυσεν μὲν τῶν πλείστων πολεμίων τὴν ἐν ταῖς ψυχαῖς πρὸς μάχην παρασκευὴν и др. (Xenoph. Hellen. vii, 5, 22.)

[742] Thucyd. v, 10. Τῷ δὲ Κλέωνι, φανεροῦ γενομένου αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ Κερδυλίου καταβάντος καὶ ἐν τῇ πόλει ἐπιφανεῖ οὔσῃ ἔξωθεν περὶ τὸ ἱεροῦ τῆς Ἀθηνᾶς θυομένου καὶ ταῦτα πράσσοντος, ἀγγέλλεται (προῦκεχωρήκει γὰρ τότε κατὰ τὴν θέαν) ὅτι ἢ τε στρατιὰ ἅπασα φανερὰ τῶν πολεμίων ἐν τῇ πόλει, и т. д.

Клеон сам не *видел* ни жертвоприношения Брасидаса, ни вражеского войска в городе; другие, находившиеся на нижней площадке, лучше видели происходящее в Амфиполе, чем он, находившийся на высоком гребне. Другие видели это и сообщили ему".

[743] Thucyd. v, 10. Οἱ ἄνδρες ἡμᾶς οὐ μένουσι (q. μενοῦσι?)- δῆλοι δὲ τῶν τε δοράτων τῇ κινήσει καὶ τῶν κεφαλῶν- οἷς γὰρ ἂν τοῦτο γίγνηται, οὐκ εἰώθασι μένειν τοὺς ἐπιόντας.

Это замечательная иллюстрация регулярного движения голов и копий, которое характеризовало хорошо организованное тело греческих гоплитов.

[744] Thucyd. v, 10. Καὶ ὁ μὲν, κατὰ τὰς ἐπὶ τὸ σταύρωμα πύλας, καὶ τὰς πρώτας τοῦ μακροῦ τείχους τότε ὄντος ἐξελθὼν, ἔθει δρόμῳ τὴν ὁδὸν ταύτην εὐθεΐαν, ἥπερ νῦν κατὰ τὸ καρτερώτατον τοῦ χωρίου ἰόντι τὸ τροπαῖον ἔστηκε.

Брасидас и его люди выступили одновременно через двое разных ворот. Одни - первые ворота в Длинной стене, которые для человека, идущего с юга, были бы первыми по порядку. Другими были *ворота на палисаде* (αἱ ἐπὶ τὸ σταύρωμα πύλαι), то есть ворота в Длинной стене, которые открывались *из города на палисад*. Через эти ворота выходили люди, чтобы напасть на врага через ворота в самом палисаде.

Ворота в Длинной стене, которые открывались из города на палисад, - это те самые ворота, через которые Брасидас со своим войском вошел в Амфиполь с горы Кердилиум. Вероятно, они стояли открытыми в тот момент, когда он направил вылазку: то, что должно было быть открыто в этот момент, было воротами в палисаде, вместе с первыми воротами в Длинной стене.

Последние слова Фукидида - ἥπερ νῦν κατὰ τὸ καρτερώτατον τοῦ χωρίου ἰόντι τὸ τροπαῖον ἔστηκε - не понятны без лучшего знания топографии, чем мы имеем. Что подразумевает Фукидид под "самой сильной точкой в этом месте", мы сказать не можем. Мы понимаем только, что трофей был установлен на дороге, по которой человек поднимался к этой точке. Мы должны помнить, что выражения Фукидида здесь относятся к земле, как она стояла некоторое время спустя, а не как она стояла во время битвы между Клеоном и Брасидасом.

[745] Почти больно читать рассказ Диодора (xii, 73, 74) о битве при Амфиполе, когда в голове всплывает отчетливое и восхитительное повествование Фукидида, испорченное лишь тем, что было слишком кратким. Трудно поверить, что Диодор описывает одно и то же событие; настолько совершенно различны все обстоятельства, за исключением того, что лакедемоняне в конце концов одерживают победу. Сказать, как Весселинг в своем примечании: "Нᾶς *non usquequaque* conveniunt Thucydideis", - значит сильно погрешить против истины.

[746] Thucyd. v, 11. Аристотель, уроженец Стагира, близ Амфиполя, приводит жертвоприношения, приносимые Брасиду, в качестве примера институтов, установленных специальными и местными постановлениями (Ethic. Nikomach. v, 7).

Что касается неприятия амфиполитанцами продолжения поклонения Аггону как своему экисту, сравните речь платейн, обращенную к лакедемонянам с мольбой о пощаде. Фиванцы, если бы они стали обладателями Платейд, не стали бы продолжать жертвоприношения богам, даровавшим победу в великой битве при Платее, и не совершали бы погребальных обрядов по убитым (Thucyd. iii, 58).

[747] Thucyd. v, 7. Καὶ ἐχρήσατο τῷ τρόπῳ ὥπερ καὶ ἐς τὴν Πύλον εὐτυχήσας ἐπίστευσέ τι φρονεῖν- ἐς μάχην μὲν γὰρ οὐδὲ ἥλπισέν οἱ ἐπεξίεναι οὐδένα, κατὰ θέαν δὲ μᾶλλον ἔφη ἀναβαίνειν τοῦ χωρίου, καὶ τὴν μείζω παρασκευὴν περιέμενεν, etc.

[748] Thucyd. v, 10. Οἰόμενος φθῆσεσθαι ἀπελθὼν и т. д.

[749] Напротив, храбро погиб лакедемонский полководец Анаксибий, когда афинянин Ификратес застал его врасплох (Xenoph. Hellen. iv, 8, 38).

[750] Амфиполь был фактически атакован афинянами через восемь лет после этого, с кораблей на Стримоне, Thucyd. vii, 9. Εὐετίων στρατηγὸς Ἀθηναίων, μετὰ Περδίκκου στρατεύσας ἐπ' Ἀμφίπολιν Θραξὶ πολλοῖς, τὴν μὲν πόλιν οὐχ εἴλεν, ἐς δὲ τὸν Στῦμόνα περικομίσας τριήρεις ἐκ τοῦ ποταμοῦ ἐπολιόρκει, ὁρμώμενος ἐξ Ἰμεραίου. (В восемнадцатый год войны.) Но укрепления этого места, кажется, были существенно изменены в течение этого промежутка времени. Вместо одной длинной стены, с трех сторон открытой к реке, она, кажется, приобрела изогнутую стену, открытую к реке только на сравнительно узком пространстве около озера; в то время как эта изогнутая стена соединялась с мостом на юг посредством параллельной пары длинных стен с дорогой между ними.

[751] Plato, Symp. с. 36, p. 221.

[752] Thuc. iv, 81. δόξας εἶναι κατὰ πάντα ἀγαθός, etc.

[753] Thucyd. v, 116.

[754] Aristophan. Equit. 55, 391, 740 и т. д. В одном из отрывков пьесы Клеона упрекают в том, что он притворяется, будто занимается в Аргосе мерами по завоеванию союза этого города, а на самом деле, прикрываясь этим, ведет тайные переговоры с лакедемонянами (464). В двух других отрывках он осуждается как человек, препятствующий заключению мира с лакедемонянами (790, 1390).

[755] Thucyd. v, 17; iii, 45. καταφανέστερος μὲν εἶναι κακούργων, καὶ ἀπιστότερος διαβάλλων-βιαιότατος τῶν πολιτῶν.

[756] Aristophan. Ахарн. 8, со схолиастом, который цитирует Теопомпа. Theopompus, Fragment, 99, 100, 101, ed. Didot.

[757] Публичные выступления Клеона характеризуются Аристотелем и Феопомпом (см. Schol. ad Lucian. Timon, с. 30) не как угодливые, а как полные высокомерия; в этом последнем пункте они также похожи на речи старшего Катона в Риме (Plutarch, Cato, с. 14). Насмешливый тон Катона в его публичных выступлениях также, как говорят, был дерзким и отвратительным (Плутарх, Reipub. Gerend. Præsept. p. 803, с. 7).

[758] Эпиграмма, которую Плутарх (Cato, с. 1) приводит от поэта, современника Катона Цензора, описывает его так:...

Πυρρὸν, πανδακέτην, γλαυκόμματον, οὐδὲ θανόντα

Πόρκιον εἰς Ἀἴδην Περσεφόνῃ δέχεται.

Ливий говорит в красноречивом энкомии о Катоне (xxxix, 40): "Simultates nimio plures et exercuerunt eum, et ipse exercuit eas: nec facile dixeris utrum magis presserit eum nobilitas, an ille agitaverit nobilitatem. Asperi procul dubio animi, et linguæ acerbæ et immodice liberæ fuit: sed invicti a cupiditatibus animi et rigidæ innocentiae: contemptor gratiæ, divitiarum.... Hunc sicut omni vitâ, tum censuram petentem premebat nobilitas; coierantque candidati omnes ad dejiciendum honore eum; non solum ut ipsi potius adipiscerentur, nec quia indignabantur novum hominem censorem videre; sed etiam quod tristem censuram, periculosamque multorum famæ, et *ab læso a plerisque et lædendi cupido*, expectabant."

См. также Плутарха (Cato, с. 15, 16: его сравнение между Аристеидесом и Катонем, с. 2) о невероятном количестве обвинений, в которых участвовал Катон, либо как обвинитель, либо как сторона обвинения. Его ожесточенная вражда с *нобилитетом* аналогична вражде Клеона с Гиппеем.

Нет нужды говорить, что сравнение Катона с Клеоном относится только к внутренней политике: в военной храбрости и энергии, которыми отличался Катон, Клеон совершенно лишен, и мы не вправе приписывать ему ничего подобного превосходству в знаниях и общем интеллекте, которое мы находим в описании Катона.

Выражение Цицерона о Клеоне: "turbulentum quidem civem, sed tamen eloquentem" (Cicero, Brutus, 7), по-видимому, является переводом эпитетов Фукидида -βιαίωτατος-τῷ δῆμῳ πιθανώτατος (iii, 45).

Замечания латинских критиков о стиле и нраве речей Катона тоже могут показаться переводом слов Фукидида о Клеоне. Фронтон сказал о Катоне : "Concionatur Cato *infeste*, Gracchus turbulente, Tullius copiose. Jam in judiciis *sævit* idem Cato, triumphat Cicero, tumultuatur Gracchus." См. издание Дюбнера "Oratorum Romanorum Fragmenta" Мейера, р. 117 (Париж, 1837).

[759] Plutarch, Reip. Ger. Præsept. р. 806. Сравните два других отрывка из того же трактата, р. 805, где Плутарх говорит о ἀπόνοια καὶ δεινότης Клеона; и р. 812, где он с правдой говорит, что Клеон совсем не годился для роли генерала в кампании.

[760] Aristophan. Ран. 566-576.

[761] Здесь мы снова видим Катона Старшего, который постоянно присутствовал на форуме в Риме, оказывая помощь такого рода и поддерживая других, имевших основания для жалоб (Плутарх, Катон, с. 3), πρῶτῳ μὲν εἰς ἀγορὰν βαδίζει καὶ παρίσταται τοῖς δεομένοις-τοῖς μὲν θαυμαστάς καὶ φίλους ἐκτᾶτο διὰ τῶν συνηγοριῶν, etc.

[762] Aristophan. Equit. 1271:-

Λοιδόρῃσαι τοὺς πονηροὺς, οὐδέν ἐστ' ἐπίφθονον,

Ἀλλὰ τιμῇ τοῖσι χρηστοῖς, ὅστις εὖ λογίζεται.

[763] Похоже, что жалоба была подана якобы на Калистрата, от имени которого поэт выпустил "Вавилонян" (Schol. ad Arist. Vesp. 1284), и который, конечно, был ответственной стороной, хотя настоящий автор, несомненно, был прекрасно известен. Рыцари" были первой пьесой, выпущенной поэтом от своего имени.

[764] См. Ахарн. 377, со Схолиями, и анонимную биографию Аристофана.

И Мейнеке (Aristoph. Fragm. Comic. Gr. vol. ii, р. 966), и Панке (Commentat. de Aristoph. Vitâ, р. сссxxx) пытаются разгадать сюжет "Вавилонян"; но нет достаточной информации, чтобы помочь им.

[765] Aristoph. Acharn. 355-475.

[766] См. "Аргументы", приложенные к этим трем пьесам; и Acharn. 475, Equit. 881.

Неизвестно, появилась ли первая комедия под названием "Облака" (представленная в начале 423 г. до н. э., через год после "Рыцарей" и за год до "Ос") на Ленеиском празднике в январе или на городских Дионисиях в марте. Она не имела успеха, и поэт частично изменил ее с целью повторного представления. Если верно, что это второе представление состоялось в следующем году (422 г. до н. э.: см. Fasti Hellenici г-на Клинтона, ad ann. 422), то оно должно было быть на городских Дионисиях в марте, как раз в то время, когда перемирие на один год подходило к концу; ведь Осы были представлены в том году на Ленеиском празднике, и один и тот же поэт вряд ли стал бы выпускать две пьесы. Вывод, который Ранке делает из Nubes

310, что она была представлена в Дионисии, однако, не очень убедительный (Ranke, Commentat. de Aristoph. Vitâ, p. ccxxi, предисловие к его изданию "Плута").

[767] См. неясный отрывок, Vespæ, 1285, seqq.; Aristoph. Vita Anonymi, p. xiii, ed. Bekker; Demosthen. cont. Meid. p. 532.

Оказывается, Аристофан был родом из Эгинета (Acharn. 629); так что обвинение в неправомерном присвоении себе прав афинского гражданина (ὑραφῇ ξενίας) было основано на реальном факте. Между завоеванием Афинами Эгины и изгнанием местных жителей в первый год Пелопоннесской войны (промежуток времени около двадцати лет), вероятно, не меньшее число эгинетян смешалось или вступило в брак с афинскими гражданами. Особенно поэтически одаренные люди из подвластных городов стремились попасть в Афины: Ион был родом с Хиоса, Ахей - из Эретрии; оба они - трагические композиторы.

Комический автор Эвполис, похоже, также направил несколько насмешек против иностранного происхождения Аристофана, если Мейнеке правильно истолковал один отрывок (Historia Comicor. Græc. i, p. 111).

[768] Thucyd. v, 17-30. Утверждение в сар. 30, по-видимому, показывает, что именно на этом основании афинянам было позволено сохранить Соллиум и Анакторий. Ибо если бы удержание этих двух мест явно и явно противоречило договору, коринфяне, несомненно, избрали бы этот факт в качестве видимого основания для своей жалобы; тогда как они предпочли прибегнуть к πρόσχημα, или притворному доводу.

[769] Сравните ст. 39 со ст. 18, что, как мне кажется, опровергает объяснение, предложенное д-ром Арнольдом и принятое Поппо.

Употребление слова ἀποδόντων в отношении возвращения Амфиполя Афинам и слова παρέδοσαν в отношении *отказа от* других городов заслуживает внимания. Составители договора, который сформулирован очень запутанно, по-видимому, хотели, чтобы слово παρέδοσαν относилось и к Амфиполю, и к другим городам, но чтобы слово ἀποδόντων относилось исключительно к Амфиполю. Слово παρέδοσαν, конечно, применимо к восстановлению Амфиполя, ибо то, что *восстанавливается*, конечно, *освобождается*. Но примечательно, что это слово παρέδοσαν не относится к другим городам: ведь они не были *отданы* Афинам, а только *отступили от них*, как объясняется в следующих за этим пунктах. Возможно, в использовании этого слова есть доля афинской гордости: сначала косвенно намекнуть, что лакедемоняне должны были *отдать* Афинам различные города, а затем добавить слова, показывающие, что города должны были быть только *переданы*, а не *сданы* Афинам.

Положение, гарантирующее свободу выезда и вывоза имущества, конечно, предназначалось главным образом для амфиполитанцев, которые, естественно, захотели бы эмигрировать, если бы город был фактически возвращен Афинам.

[770] Thucyd. v, 19.

[771] Thucyd. v, 17-30. παραβήσεσθαί τε ἔφασαν (лакедемоняне говорили) αὐτοὺς (коринфянам) τοὺς ὄρκους, καὶ ἤδη ἀδίκηϊν ὅτι οὐ δέχονται τὰς Ἀθηναίων σπονδὰς, εἰρημένον, κύριον εἶναι ὅτι ἂν τὸ πλῆθος τῶν συμμαχῶν ψηφίσηται, ἣν μὴ τι θεῶν ἢ ἡρώων κώλυμα ᾖ.

[772] Сравните Thucyd. iv, 119; v, 19. Хотя слова мира стоят ὡμοσαν κατὰ πόλεις (v, 18), тем не менее, кажется, что эта клятва не была *фактически* принята ни одним из союзных городов;

только самими лакедемонянами, по голосованию большинства конфедератов (v, 17: ср. v, 23).

[773] Thucyd. v, 22.

Примечание транскриптора

- Изображение обложки книги было создано транскриптором и является общественным достоянием.
- Сноски были перенумерованы и перенесены в конец книги.
- Пустые страницы пропущены.
- Очевидные типографские ошибки были беззвучно исправлены после сравнения с более поздним изданием этой работы. Греческий текст также исправлен после сверки с этим более поздним изданием и с Персеем, когда была найдена ссылка.
- Оригинальные орфография, дефис и пунктуация сохранены, но варианты написания приведены в соответствие, если было обнаружено преобладающее употребление.